

**ЗАРУБЕЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ПУБЛИЦИСТИКА
И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

С. С. АВЕРИНЦЕВ, Н. А. АНАСТАСЬЕВ,
Т. В. БАЛАШОВА, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ,
Д. В. ЗАТОНСКИЙ, А. А. КЛЫШКО,
П. М. ТОПЕР, А. А. ФАЙНГАР

Элиас КАНЕТТИ



Человек нашего столетия



Художественная публицистика

Перевод с немецкого



Москва «ПРОГРЕСС» 1990

ББК 84.4А
К 19

Составитель и автор предисловия
д. ф. н. Н. С. Павлова
Комментарии *д. ф. н. Р. Г. Каралаишвили*
Художник *В. Б. Гордон*
Редактор *Л. Н. Григорьева*

В работе над сборником принял участие *С. К. Ант*

ISBN 5—01—002099—8

© 1973, 1974, 1976, 1977, 1980, 1985, 1988 Carl Hanser Verlag
München Wien

© 1987 by Elias Canetti London

© Составление, предисловие, комментарии, перевод на русский язык, художественное оформление издательство «Прогресс», 1990.

МАССА, ВЛАСТЬ И ПИСАТЕЛЬ КАНЕТТИ

Недавно наши читатели смогли познакомиться с четырьмя произведениями, написанными в разные десятилетия, но глубоко связанными одной темой, — романами «Мы» (1920) Евгения Замятина, «О дивный мир» (1932) Олдоса Хаксли, «Скотный двор» (1945) и «1984» (1949) Джорджа Оруэлла. Все это антиутопии, художественные прозрения, представлявшие в гротескных образах тоталитарное государство и покорное ему стандартизированное сознание. Речь шла не только о массовом производстве и технизации жизни со всеми вытекающими отсюда последствиями — речь шла о политическом строе и о тех, кому подобное стандартизированное сознание было выгодно. В конечном счете речь шла о власти. Как писал Оруэлл: «Все звери равны, но некоторые звери равны гораздо больше». Вместо процессов развития, на которых сосредоточивалась литература в других жанрах, антиутопии давали статику, неподвижность, они констатировали: так может выглядеть будущее человечества, таково его настоящее в странах с диктаторским режимом.

Трудно не вспомнить эти романы, думая о сделанном австрийским писателем, лауреатом Нобелевской премии (1981) Элиасом Канетти. Его тоже занимало стандартизированное сознание и существо власти, в нем заинтересованной. Но Канетти подходил к проблеме с другой стороны. Он хотел исследовать те причины и механизмы, которые с древних времен превращают людей в толпу. Охваченных единым порывом людей он видел не только в эпохи революций, как это привычно в нашей литературе. И не делил народные массы на революционный авангард и непросвещенные отсталые элементы по наличию или отсутствию передового мировоззрения, что и оказывалось единствен-

ной их характеристикой. Он считал сплоченные массы людей, образующиеся по различным поводам и с разными целями, частым и важным действующим лицом в любые исторические эпохи. Масса, полагал Канетти, обладала рядом обязательных свойств независимо от характера сплотивших ее идей. Глубоко занимала его и потенциальная масса, существующая до времени в рассеянном виде как отдельные, не подозревающие друг о друге индивиды.

Главная публицистическая книга Канетти, работа над которой растянулась на десятилетия, а началась на исходе 20-х годов, так и называется — «Масса и власть». Но о том же самом написаны, по сути, и его пьесы «Свадьба», «Комедия тщеславия», «Ограниченные сроком». В обезличенном, деформированном мире, мире, чреватом «восстанием масс»¹, разворачивается действие его самого знаменитого произведения — созданного накануне захвата фашизмом власти в Германии романа «Ослепление», недавно вышедшего у нас. Отношения между публицистикой и художественным творчеством у Канетти особые: они переплетены теснее, чем у многих других писателей. Больше того, без одного нельзя глубоко понять другое: публицистика и беллетристика будто делят между собой жизнь, лишь вкупе воссоздавая мир, каким его видел Канетти.

Элиас Канетти родился в 1905 году на берегу Дуная, в болгарском городке Рушук, входившем тогда в состав Австро-Венгрии. Его далекие предки переселились сюда вместе с тысячами евреев, изгнанных в XV веке из Испании. Когда уже пожилым человеком Канетти посетил Марокко (его путевые заметки «Голоса Марракеша», 1967, почти полностью включены в нашу книгу), он искал в пестроте восточной жизни следы и той древней культуры, носителями которой были его предки. В семье деда, как и во многих семьях вокруг, продолжали говорить на староиспанском. Это был патриархальный мир, верный религиозным обрядам и традициям. Но родители любили беседовать между собой по-немецки и были привержены немецкой культуре и знаменитому венскому театру. Вокруг жили болгары, румыны, турки. Мальчик навсегда запомнил внезапные появления цыган в маленьком городке. И слыша разноязыкую речь, стал обостренно воспринимать слово. Причудливый мир детства замечательно описан Канетти в первом томе его воспоминаний «Спасенный язык» (1977).

¹ Так называется книга испанского философа и историка культуры Ортеги-и-Гассета, вышедшая в 1930 г.

В 1911 году в связи с деловыми интересами отца семья переехала в Лондон, а после его внезапной смерти мать перевезла детей в Швейцарию. Мать, своевольная, гордая, властная, оказала огромное влияние на творчество Канетти. Именно она привила ему, мало сказать, любовь — одержимость чтением. Книга была в этой семье предметом страсти. Уже на склоне лет в записках дневникового характера («Заметки 1942—1948», 1965 и «Заметки 1973—1985», 1987, в значительной своей части вошедшие в нашу книгу) Канетти поместил почти невероятное с точки зрения многих признание: «Больше всего тебе хотелось бы — какая скромность! — бессмертия, чтобы читать». Но писатель Канетти обязан матери не только этим. Она взвалила на плечи подростка непомерную ношу — превратила его после смерти мужа в своего равноправного собеседника, интеллектуального партнера. С этих времен у Канетти осталось твердое убеждение, что каждый обязан иметь обо всем собственное мнение и что все, даже самое неуловимое, можно выразить словами, сделать понятным людям. «Немота ведет к разложению», — записал он на склоне лет.

В Швейцарии мать с тем же страстным напором преподавала сыну немецкий язык (до восьми лет, кроме языка детства, староиспанского, он говорил по-английски). С тех пор немецкий стал языком его жизни и творчества. Канетти не отказался от него и в Англии, куда судьба эмигранта привела его в 1939 году, после насильственного присоединения Австрии к фашистской Германии; в Англии он прожил долгое время, пока не переехал в Швейцарию. Годы спустя, после окончания мировой войны, он произнес в Баварской академии искусств благодарственную речь немецкому языку, особенно глубоко открывшемуся ему в эмиграции, среди чужой языковой стихии.

Но мать не только обучила сына немецкому. Она сочла необходимым втолкнуть его в гущу культурной и политической жизни. С этой целью семья переехала из тихой Швейцарии в Вену. Еще гимназистом Канетти был знаком с текущей литературой и венским «Бургтеатром». Здесь же, в 1924 году он впервые попал на лекцию знаменитого публициста Карла Крауса, страстным поклонником которого остался надолго.

С жизнью же политической Канетти впервые столкнулся 1 августа 1914 года. В курортном парке под Веной дирижер вдруг прервал музыку, и нарядные, беззаботные люди услышали, что Германия объявила войну России. Гуляющие запели австрийский, а потом и немецкий гимны. Тут-то на фоне «великого события» произошло и другое, маленькое. По старой привычке, а может, из чувства противоречия мальчик Канетти запел гимн английский. Лица вдруг исказились ненавистью. Мальчика и его брата принялись нещадно избивать. Занятые до этого своим лю-

ди внезапно превратились в единый кулак — это была микромодель агрессивной толпы, массы.

В дальнейшем Канетти столкнулся с единой волей сплотившегося множества еще дважды. В 1922 году в Германии он видел демонстрацию рабочих, возмущенных убийством министра иностранных дел Вальтера Ратенау. Это была масса иного, интернационалистического настроя: Ратенау только что заключил договор с Советской Россией. Юноша Канетти сочувствовал рабочим, вышедшим на улицу. Но его взволновало не только это, а — как когда-то — и само явление массы. На этот раз масса притягивала его самого, притягивала почти физически. То же самое, но только еще сильнее, Канетти пережил в июле двадцать седьмого года. Австрийский суд оправдал тогда монархистов — убийц безработного инвалида войны и маленького мальчика. Чувство справедливости было поправлено. На улицы Вены спонтанно, вопреки воле социал-демократического руководства вышли рабочие. В едином порыве толпа двинулась ко Дворцу правосудия, предав его огню.

Демонстрация и поджог описаны Канетти во второй части воспоминаний «Факел в ухе» (1980). И еще раз в статье, посвященной истории создания романа «Ослепление». Это событие занимает важное место и в книге «Масса и власть». Когда и каким образом, без всякого руководства кристаллизовалась воля толпы? Почему она двинулась в определенном направлении? Как возникла идея поджога? Что представляло собой это гигантское шествие, внутри и вместе с которым двигался будущий писатель? Он все время чувствовал размеры происходящего. Масса людей ощущалась как целое, единым были ее дыхание, ритм движения, один источник имели звуки, доносившиеся с разных сторон. Канетти отчетливо замечал все вокруг. Но направление и воля к движению принадлежали не ему.

До 1927 года Канетти-писатель не существовал. Он был автором нескольких так и оставшихся неопубликованными пьес. Перевел ради денег несколько романов Эптона Синклера. В Венском университете изучал химию.

В 1927 году с химией было покончено. Началась работа над главными произведениями его жизни — романом «Ослепление» и книгой «Масса и власть».

Шел конец двадцатых годов. Пережитое Канетти то и дело обнаруживало себя в самых различных проявлениях. Как разделенную на две враждебные группировки бушующую массу он впервые воспринял теперь рев болельщиков на стадионе под окнами его жилища. (В книге «Масса и власть» толпе, делящейся на две части, посвящен раздел, «Двухголовая масса».) Но взбудораженная толпа появлялась на улицах и не в столь мирном обличье. Особенно очевидно это было в Германии, в Берли-

не, где Канетти жил по несколько месяцев в 1928 и 1929 годах. Впечатления от бурной, противоречивой жизни Берлина, культурного центра мирового значения, где все яснее обозначалась в то время опасная близость фашизма, а демагогия Гитлера имела широкий успех, Канетти выразил впоследствии в одной фразе: «Все было возможно».

В книге «Масса и власть» (опубликована в 1960 г.) Канетти говорит не только об очевидных внешних признаках массы: эмоциональной перевозбужденности, поразительном единомыслии, стирании различий между людьми в неделимом «мы». Из множества примеров он выводит общие законы ее существования: потребность в росте, которому трудно положить преграды, необходимость «направления», сразу объединяющего людей, и, наконец, жажду «разрядки». Он делит массы на виды, отличает, например, массу «медленную», когда цель отодвигается в далекое будущее и «разрядка» не наступает. Путь такой массы, пишет Канетти, — это история ее веры. Главная задача власти — сделать так, чтобы сцепление не распалось. Дальние цели должны сиять все ярче, тяготы настоящего — замалчиваться.

Различает Канетти массу и по аффектам. Он пишет, например, о преследующей массу. Подобное сообщество отличается неизменным численным превосходством над жертвами, что обеспечивает ему безопасность, а кроме того, жаждой убийства, в котором хочет принять участие каждый: «Соблазн безопасного, разрешенного, рекомендованного, разделенного со многими убийства непреодолим для большинства людей». Психологические законы, управляющие людьми при преследовании и травле, полагает Канетти, имеют древние истоки — они восходят к психологии своры, гонящейся за добычей. Закрывать на это глаза, полагает писатель, — значит предаваться добровольному ослеплению.

Канетти будто принимает участие в веками идущем споре о злой или доброй природе человека. Чем ближе к XX веку, тем меньше веры в гармонию изначального природного состояния, которое воспевал Руссо. Но и на разум рассчитывать все труднее. Ницше считал темную стихию инстинктов единственной силой, правящей человечеством. Как бы ни относиться к его философии, каким бы односторонним и страшным ни был этот ее тезис, Ницше был и великим пророком — он предвидел разгул темных инстинктов, сопровождающий историю нашего века.

Книжника Канетти трудно заподозрить в неуважении к интеллекту. В своих статьях он обращается к разуму и совести человечества. Но как бы ни возрастал технический прогресс,

как бы ни расширялись знания, элементарное, природное, видел он, живо в людях. Канетти не теоретизировал. Он хотел обнаружить те психологические структуры, которые оказывали непредусмотренное влияние на широком поле политической жизни.

С простейшего, элементарного он начинает и в анализе власти. Писатель призывает задуматься, например, над тем, почему нам так неприятна давка в автобусе. Кроме сдавливающей тесноты, полагает он, пугает еще близость чужого, память о хватающей тебя руке, о посягательстве на нетвердую твою свободу. Обращаясь к древним временам и в то же время нуждаясь как художник в неких обобщающих символах, Канетти видит и во власти прежде всего потребность в захвате, поглощении, «насыщении». «Поглощая» других, власть имущий получает иллюзию неприкосновенности. Ему будто обеспечивается возможность пережить свое окружение. Его могущество тем тверже, чем больше он убивает, как бы поглощая свои жертвы (по поверию древних, в убийцу переходят силы съеденного им убитого). Но действуют и другие мотивы: «До тех пор пока они позволяют себя убивать, он может спать спокойно. Но если кто-нибудь избежит приговора, он в опасности».

Большая работа Канетти, из которой в настоящее издание включены два раздела, вырастает из основательных этнографических, исторических, социологических знаний автора, собственных его наблюдений над тем, что мы назвали бы социальной психологией. Она охватывает материал от давних времен до современности. Канетти описывает обычаи древних, дошедшие до нас в мифологической оболочке, и обычаи современных индейцев и африканских племен. Но и в современной двухпартийной парламентской системе он видит характерное для «двухголовой массы» противостояние противников. Примеры же агрессивной толпы, преследующей жертву, в современности столь вопиющи и многочисленны, что Канетти умалчивает о них, упоминая лишь суд Линча.

Для публицистической работы, какой она, несомненно, является, книга Канетти на удивление спокойна. В этом одно из ее отличий от незаконченной книги другого крупнейшего австрийского писателя, Германа Броха, само название которой говорит о ее накале — «Теория массового безумия» (1938—1948 гг.). Канетти же будто не хочет апеллировать к чувствам читателей, превращать их самих в возбужденную массу. Задачи у него другие. На великом множестве примеров он стремится показать, как происходит мгновенное объединение людей в единое, неделимое целое и по каким законам оно, это целое, начинает действовать.

Богатство материала и спокойная объективность давали ос-

новация для сопоставления книги Элиаса Канетти с известными научными трудами на близкую тему. Если у нас в прошедшие десятилетия психологией массы предпочитали не заниматься, то на Западе появились сотни работ, рассматривающих эту проблему. Некоторые из них были знакомы Канетти.

Еще в 1921 году была опубликована работа Зигмунда Фрейда «Психология масс и анализ человеческого „я"». Как вслед за ним Канетти, Фрейд исходил из первостепенной роли инстинктивного и бессознательного в поведении толпы. Но важны и отличия. В центре внимания Фрейда остается личность. Пружинной поведения массы является отношение ее членов к вождю, лидеру, строящееся по модели отношения ребенка к отцу. Масса складывается как сумма стремлений ее членов. Каждый желает максимально приблизиться к лидеру, идентифицироваться с ним. Знаменитое фрейдовское «либидо» реализуется в обожании вождя, стоящего во главе массы, в почитании идола. Поведение объединившихся индивидов обретает при этом черты инфантильности, безответственности.

Канетти гораздо более социален. Сама сфера инстинктивного и бессознательного у него несравненно шире и включает все природные импульсы, сохраняющиеся в человеке: инстинкт самосохранения, обороны, нападения, преследования слабого и т. д. Роль такой массы в общественной жизни, ее динамика, рост и распад — центр интереса Канетти.

Неоднократно сопоставлялась работа Канетти и с книгой французского этнографа и социолога-структуралиста К. Леви-Строса «Печальные тропики» (1955). Но Канетти не только не обладает научным потенциалом Леви-Строса, строившего свою картину социального устройства и культуры первобытных племен на основе методологии структурной лингвистики и теории информации. У художника Канетти в сравнении с Леви-Стросом иные задачи.

Леви-Строс противопоставляет современному сознанию силу «дикарского» мышления, естественно объединявшего рациональное и чувственное начала. Канетти же намеренно избегает противопоставлений и оценок. Развернув длинный ряд примеров из истории разных эпох и народов, он видит многочисленные совпадения и повторы. Читателю обрисована конфликтная ситуация, в которой и он находится. Развитие событий — поле его жизни. Не случайно масса и власть не приведены у Канетти в столкновение. Каждому предложено понять, в какой мере он свободен или, напротив, угнетен властью, свободен или, напротив, захвачен массовым сознанием, а может быть, и эмоциональными порывами масс. «Она бурлит во всех нас, огромный, дикий, объевшийся, пышащий жаром зверь... Мы ничего не знаем о ней. Мы живем до поры до времени как предполагаемые ин-

дивиды», говорится по этому поводу в романе «Ослепление». Что это? Реальность или измышления беллетриста? Наш читатель имеет возможность убедиться в первом на примере не только чужого (фашизм), но и нашего недавнего прошлого, а кроме того, и сегодняшней нашей действительности с ее внезапно вышедшими на поверхность национальной рознью и ненавистью, приведшими к кровавым столкновениям.

Как же возникает агрессивная толпа? Что так привлекательно в скоплении, множестве, единомыслии? Что заставляет забыть собственное лицо, убеждения и намерения?

Пытаясь осветить подобные вопросы, Канетти занимается тем, что как будто бы прямо противоположно массе, — одиночеством.

На последних страницах романа Достоевского «Подросток» есть мысли, имеющие некоторое отношение к проблемам, ставшим через много десятилетий предметом пристального интереса Канетти. Достоевский писал о появлении «случайных семейств». Имелось в виду не только происхождение героя, но и явления широкие — утрата молодым поколением связей с устоявшимся культурным слоем, пошатнувшиеся представления о ценностях, людская неприкаянность и всеобщее смещение. Вскоре после мировой войны и революционных потрясений подобных «случайных семейств» стало великое множество. Вместо четко очерченных сословий появились потерявшие люди. Произойшла стремительная нивелировка не только сословий, но и классов и даже стран и континентов (эти процессы также рассмотрены в книге «Восстание масс» Ортеги-и-Гассета, многие идеи которого близки Канетти). Результатом массового производства (в непрестанном увеличении количества Канетти видит один из фетишей XX века) стало отчуждение человека от труда и его продуктов, а значит, и появление людей, лишь механически связанных со своей работой. Корней нет, связи ослаблены. Каждый сам по себе. Объединение в любые сообщества и группы поэтому гораздо легче.

В каждой стране, тем более в странах с разной политической системой подобные процессы имеют свои причины и идут по своим законам. В нашей литературе обывательскую массу с крайне эгоистическим и замкнутым сознанием описал М. Зощенко. Всем известные персонажи Зощенко наверняка не чувствуют своего одиночества. Но каждый замкнут на своих интересах, обращен внутрь себя. Откуда пришли они? От капитализма, из прошлого? Или это продукт переворотившейся жизни, революционной действительности? Как бы то ни было, у этих людей, решившихся жить, как выразился однажды Зощен-

ко, «без всяких особых намерений», валентности свободы — опасно свободны.

Свой роман «Ослепление» Канетти написал о подобных людях. Написал с графической четкостью и жесткостью. Автор не комментирует и не вмешивается в события. Царит деловитая объективность, характерная для многих романов двадцатых — начала тридцатых годов (Дос Пассос, Дёблин, Кестнер). Правда, объективность эта включает в себя вещи немыслимые и фантастические. Недаром любимейшим русским писателем у Канетти был Гоголь. Да и действительность была, хоть это не замечалось многими, зловеща и фантастична.

«Однажды, вспоминая впоследствии Канетти о ходе работы над «Ослеплением», — мне пришла в голову мысль, что мир больше невозможно изображать так, как в старых романах, так сказать, с точки зрения *одного* писателя, мир *распался*, и, лишь имея мужество показать его в состоянии распада, можно еще дать о нем истинное представление». Не стоит возражать Канетти, доказывая, что его мысль верна не для всех. Он ведь писал о себе и думал о своем творчестве. Что же касается его романа, то идея о распавшемся мире тесно связана с убеждением автора в одиночестве человека, в том, что каждый сам по себе, и единая точка зрения, точка зрения автора, не должна создавать видимость исчезнувшей цельности.

Канетти был уверен, что его роман не возник бы не только без впечатлений от массовой демонстрации 1927 года, но и без комнаты, которую он снимал на окраине Вены, и без квартирной хозяйки. Ее речь сама по себе уже была исчерпывающей социальной и психологической характеристикой, или, как выражался Канетти, «слуховой маской». С нее и списан главный женский персонаж «Ослепления». Лексикон Терезы, нанятой в прислугу ученым-синологом Кином, книжным червем, усохшим над своими рукописями, не превышает словарного запаса Элочки-людоедки. Но у Канетти эта фигура страшна и монументальна, как, впрочем, страшны и другие персонажи романа.

Содержание втиснуто в бытовую историю. Заметив страстную любовь Кина к книгам, Тереза, несмотря на свое скудоумие, хитро играет на этой страсти и становится его женой, чтобы тут же приняться выживать мужа. История банальная, но с самого начала все в ней доведено до крайности, с самого начала гут пахнет кровью.

Образы, социально и психологически точные, лишены глубины. Внутренний мир героев до крайности беден и не знает нюансов. «Меня интересуют живые люди и меня интересуют фигуры, — замечает Канетти, — гермафродиты меня отталкивают». В романе, как и в пьесах этого автора, действуют «фигуры» (человек и человеческое оставлены им, заметим, забегая вперед,

на долю публицистики — статей, воспоминаний, дневниковых заметок). Такой подход позволял добиться обнажения примитивных скрытых желаний людей, их неартикулированных стремлений. Тайные (постыдные) порывы, скрытые (преступные) страсти выведены наружу, видны в поступках, реакциях, положениях, в размеченных с театральной отчетливостью мизансценах, во «внутренних монологах» героев, оформляющих смуту желаний.

Такой подход к человеку жесток. Он не дает сказать всю правду о нем. Но позволяет зато резко осветить правду, обычно «нормальным» человеком скрываемую, правду, распространенную, и с немалыми следствиями для жизни, в XX веке.

В дневниковых заметках писатель сказал как-то о неприязни ко всякого рода беспамятству. Напротив, он хочет, чтобы люди знали и помнили. Знали и помнили в том числе о себе, включая и то, в чем человеку никак не хочется признаваться.

В мире романа встречаются любящие жены (женщина с городского дна, проститутка, содержит и любит, к примеру, своего мужа — горбуна Фишерле). Но когда муж исчезает, тут не печалятся, а вздыхают с облегчением: «Мне больше достанется».

Сосредоточенность на своих интересах, в свете которых и муж — «не-я», выражена в структуре романа чередованием внутренних монологов то одного, то другого персонажа (Канетти многому научился у Джойса с его «Улиссом»). Каждый ведет свою партию, никто не слышит другого. Каждый исходит из своих стремлений, «идею» другого никто не понимает. Мастерство Канетти в разработанных им «слуховых масках», напоминающих речь персонажей Зощенко, заключается, в частности, в том, как слаженно катятся диалоги «глухих», где каждый понимает реплики партнера по-своему, как ему надо.

Приблизительно в те же годы Канетти написал две пьесы — «Свадьба» (1932) и «Комедия тщеславия» (создана в 1933—1934 годах, напечатана в 1950 г.). Обе пьесы кажутся предвестниками послевоенного «театра абсурда». В каждой в гротескном, невероятном заострении представлено по одной человеческой страсти: инстинкт владения, собственности — в первой, инстинкт самоутверждения — во второй. (По тому же, собственно, принципу построена и не имеющая подобий в литературе книга Канетти «Недреманное ухо. 50 характере», 1974. Характеров в привычном смысле тут нет, в персонажах книги их поглотила одна какая-либо черта, или даже и не черта, а привычное проявление человека: Своеподарчица — это та, которая забирает свои подарки, и этой идеей, этой своей деятельностью и жива; Недреманное ухо — тот, от которого, кроме уха, и не осталось-то ничего: он существует, чтобы подслушивать и доносить.)

Герои комедии «Свадьба» все душевные силы кладут на то, чтобы чем-нибудь завладеть, будь то чужое имущество или чужой жених (ласками жениха спешит воспользоваться мать невесты). Коллизия второй пьесы строится на том, что в некоей стране под страхом сурового наказания запретили смотреться в зеркало. Зеркала изъяты. И оказалось, что люди не могут жить без того, чтобы постоянно, изо дня в день, не любоваться собой, стоишь ты этого или не стоишь. Человеку свойственно создавать свой — как можно более привлекательный — образ.

В книге «Масса и власть» есть раздел, не вошедший за ограниченностью объема в нашу публикацию. Это раздел о приказах. Приказы и их исполнение, настаивает Канетти, оставляют болезненные следы в душах людей, ибо разрушают положительные представления человека о себе самом. Приказ — это насильственное вторжение в твою жизнь чего-то постороннего и чужого. Приказ, как пущенная стрела, и человек, привыкший исполнять приказы, ходит по земле с покачивающимися на нем, как перья, стрелами. От унижения, которое большинство людей испытывает, исполняя приказы, человек освобождается, присоединившись к массе, где он наконец среди равных. Или когда в свою очередь отдает приказы. Исполнившему приказ нужна какая-то компенсация. Послушание рождает агрессивность. Какими тесными узами они связаны, показал еще Генрих Манн в своем «Верноподданном», герой которого Дитрих Геслинг — покорный слуга и жестокий тиран одновременно. Элиаса Канетти поражали сходные типы и явления.

В романе «Ослепление» у глазка, просверленного на лестнице в подъезде, где живет Кин, часами стоит на коленях консьерж, шпионя за жильцами дома. Это бывший полицейский на пенсии. Чревоугодник и садист, он своими руками загубил жену, а потом дочь. Но этих жертв ему мало. Он жаждет власти хотя бы над нищими, которых то пускает, то не пускает в подъезд.

У каждого персонажа Канетти сильнейший напор желаний. Но желания эти срезаны жизнью, осуществляются урывками и не полностью. Карманный вор и пройдоха Фишерле желает стать чемпионом мира по шахматам, для чего собрался за океан. Он даже ставил свои башмаки на первую ступеньку лестницы «поближе к Америке». Но его тут же убивают.

Невинная девушка, дочь консьержа Паффа, почти не смеющая выходить из дома, мечтает, как Полли в «Трехгрошовой опере» Брехта, что однажды за ней прибудет если не трехмачтовый бриг, то коляска с возлюбленным, и она гордо скажет: «Это за мной». Но возлюбленного, впрочем даже не подозревающего о ее мечтах, вскоре сажают за воровство.

Копится неудовлетворенность, кипит злоба. Но однажды кое-какие желания все же осуществляются.

Ближе к концу романа герои случайно встречаются, как у Достоевского, на площади. Пошатнувшийся в разуме, бездомный, еле живой Кин стоит на часах перед ломбардом, на последние деньги скупая приносимые сюда книги, чтобы тут же вернуть их владельцам. Ему мерещится, что люди исправятся, будут читать и больше уже никогда не расстанутся со своим Шиллером. Разумеется, его тут же надувают. На лестнице появляется Тереза, пришедшая в сопровождении Паффа закладывать фолианты мужа. Разыгрывается скандал, привлекающий общее внимание.

Это и есть момент счастья. Толпа, в том числе каждый из главных героев, может наконец взять свое, разрядиться. Люди легко заражаются безумием. Ищут вора, убийцу. Несмотря на разницу версий, толпа легко превращается в одно ревущее целое. Изоляции больше нет. Наступает восторг сообщества, единства желаний и равной для всех возможности показать себя. Выбор жертв очевиден. Это уродец-карлик и усохший интеллигент Кин, не знающий ничего, кроме своих книг. Его-то и берут под руки и, раздев догола, допрашивают в полицейском участке.

Так связаны в романе изоляция и тяга к общности, одиночество и масса. С самого начала речь ведется о невидимой, рассеянной массе, людях, тайные стремления которых, скрытые под разными масками (Тереза — «порядочная женщина», консерж — «бравый служака»), поразительно совпадают, о едва сдерживаемой психической энергии, готовой вырваться наружу. Ведь и нежная дочь консержа по ночам грезит не только о женихе, а еще и о том, как он отрежет ее отцу голову и с этой-то окровавленной головой они на свадебной коляске отправятся на могилу матери, чтобы порадовать и ее.

Фантастическая и страшная картина. Но так ли уж лишена она бытовой, психологической, социальной достоверности? Человеческое и бесчеловечность, изоляция и сообщество — два полюса, между которыми в романе напряженные связи.

Так же опасно сближаются огонь и книги. Им, однажды заговорившим с Кином человеческими голосами, все время грозит смертельная опасность. О возможном пожаре говорится на первых же страницах. На последних — Кин видит из окна пламя Дворца правосудия. И сам в панике и в помутнении разума жжет свои сложенные у дверей штабелями, как баррикада, книги. Огонь и сожжение книг в романе Канетти будто предсказали костры, на которых горели книги в фашистской Германии в мае 1933 года.

Но есть тут и еще один пласт значений. Огонь, пламя, напоминает Канетти в книге «Масса и власть», — это распространен-

ное в фольклоре символическое изображение воинственной толпы, массы. Как огонь, она всюду равна себе. Как пожар, возникает внезапно и в любом месте. Огонь разрушителен, агрессивен. Как и масса, он пытается разрастись, переброситься, захватить близлежащие территории. Пожар в романе Канетти не только реальность, но и предостерегающий знак, сгусток смысла. Такой же значительный, как «слепота», «ослепление».

Синологическая ученость Кина, подвергнутая, как и все в романе, злому осмеянию за свою совершенную беспомощность, позволяет однажды автору привести для читателя сентенцию из древнего китайского мудреца Монга: «Они действуют, но не знают, что творят; у них есть привычки, но они не знают, что их породило; они всю жизнь движутся и все же не знают пути; таковы они, люди массы». Эти люди — убеждает Канетти — слепые. Их легко ослепляет любая принесенная со стороны, чужая идея. Массовое сознание легко поддается манипуляциям.

В пьесе «Ограниченные сроком» (написана в 1952 г., издана в 1964-м) Канетти нарисовал сообщество, членам которого вешают при рождении на шею ладанку с запиской об отпущенном им сроке. И люди принимают это как непреложность. По земле ходят те, кому, как они заранее знают, суждено прожить двенадцать, тридцать, восемьдесят лет. Люди с большим сроком обращаются с остальными с высокомерной снисходительностью. С меньшим — тушуются и робеют. При этом о тайне срока знает только сам человек. Но когда ладанку усопшего вскрывает священнослужитель, каждый раз подтверждается, что смерть наступила в назначенное время. Взбунтовавшийся герой обнаруживает, что ладанка на самом деле пуста. Но и это не может раскрыть людям глаза. Внушение усвоено. Жить по-заведенному, как оказывается, удобнее.

Слепота не просто жалкое состояние. Это еще и прибежище. И результат насильственного воздействия, ослепления.

С юных лет Канетти не уставал рассматривать картины Брейгеля, и ныне висящие в Венском художественном музее. Его поражали на них маленькие фигурки суесящихся, бессильных перед близящейся гибелью людей. На краю гибели видит Канетти и современное человечество.

Чему же при таком мрачном взгляде на жизнь, при таком безжалостном ее изображении мог посвящать этот автор свои многочисленные публицистические выступления? О чем он писал свои статьи? К чему призывал? Что заносил и заносит в дневниковые записи? Он надеется. При этом — удивительное дело! — его публицистика парадоксальным образом богаче полно-

той человеческого, снисходительней, добрей, мягче, чем его художественные произведения, в которых автору важно было обнажить пружины, правящие нашим сознанием.

В «Ослеплении», как говорилось, Канетти обнажил, например, жесткую зависимость подчиненности и агрессии. Он, как под лупой, показал происходящее при этом в душах. В мемуарах он и не думает говорить о шипах, оставленных в собственной его душе приказаниями матери. Одно ее качество он видит в слиянии с другими, одно объясняет и извиняет другое. Канетти больше не препарирует — эта задача выполнена его художественным творчеством: мать, обронил он однажды, должна узнать в Терезе собственную свою властность. Фигуры романа концентрируют в себе то, что — как ни отмахиваемся мы от подобных признаний — в той или иной степени содержится в каждом из нас.

Все, написанное Канетти, помимо романа, пьес и книги «Масса и власть», вряд ли нуждается в комментариях и объяснениях. Статьи, воспоминания, путевые заметки, дневниковые записи читатель воспримет с той же непосредственностью, с какой они были написаны.

Многие его записи и статьи посвящены коллегам-писателям. Часто о них говорится прежде всего как о людях, потому что именно как люди, личности, а не только своим творчеством они оставили след в душе автора.

Нашему читателю будет интересно прочесть о встречах Канетти с Бабелем в Берлине 20-х годов. Канетти пишет, что знал и любил тогда две его книги (на немецкий язык были уже переведены «Конармия» и «Одесские рассказы». «Конармия», несомненно, была близка нашему автору изображением революционной массы).

Канетти писал о Конфуции и о Толстом, о классиках Гёте и Георге Бюхнере и о знаменитых своих современниках — австрийских писателях Германе Брохе, Карле Краусе, Франце Кафке, Роберте Музиле. Во всех случаях он писал еще и о самом себе.

Из необозримых богатств культуры, созданной человечеством, далеко не все, полагал Канетти, может сказать что-то нам, детям атомного века. Выбираешь то, что жизненно необходимо.

Творчество Германа Броха, автора романа «Смерть Вергилия», близко Канетти пониманием роли писателя в современном мире. Об этой роли больше, чем о Брохе, говорится в речи, посвященной его пятидесятилетию. Писатель, полагал Канетти, —

это слуга своего времени, его измученный пес, тыкающийся мордой во все его углы. Свободы от времени он не знает. Главная его обязанность — присутствовать. Присутствие и участие его, однако, особые: писатель противостоит времени. Преданный пес, он одновременно и непримиримый его противник.

Какой резон был переводить на русский язык статью Канетти, посвященную Карлу Краусу? Блестящий публицист и драматург, интеллектуальный властитель Вены конца 10-х — 20-х годов, Краус у нас едва известен. Не лучше ли было начать с перевода самого Крауса, чем давать очерк о его творчестве? Лучше, если очерк был бы таким, что помещают в справочниках и энциклопедиях. Канетти же пишет об оказавшем на него огромное влияние человеческом и творческом подвиге Крауса, не потерявшем и сейчас значение примера.

Люди, полагает Канетти, обладают удивительной способностью отодвигать опасность в будущее и не желают увидеть катастрофичность настоящего. Огромное влияние Крауса объяснялось, как полагает Канетти, не только его демократизмом и ненавистью к войне, но и как раз тем, что не давалось большинству, — его способностью ужаснуться, соединенной с «абсолютной ответственностью». Обладавший особым ораторским даром, Краус заставлял сотни людей, постоянно собиравшихся на его лекции, ужаснуться окружающей жизнью, с совершенной отчетливостью увидеть, но еще в большей степени услышать (этой слуховой восприимчивостью Канетти не в малой мере обязан ему же) их город, их собственную страну и мир. Краус, пишет Канетти, был «мастером ужаса» и мастером решительно реагировать на ужаснувшие его явления. В статье «Первая книга — „Ослепление“» Канетти вспоминает, как на следующее утро после расстрела демонстрации 1927 года, в минуту глубокой душевной подавленности он увидел расклеенные по городу плакаты, требовавшие, чтобы полицией-президент Вены, давший приказ о расстреле рабочих, подал в отставку. Плакат был подписан единственным человеком — Краусом. Один, от своего лица, он потребовал справедливости.

В статье о Краусе есть и еще одна тема, важная и мучительная для Канетти. Правда, решение этой темы у Канетти и у Крауса разное. Дело в том, что в интеллектуальной публике, собиравшейся слушать Крауса, он видит две стороны: это и просвещенное собрание, это и одержимая толпа, готовая к травле. Канетти настораживало, что все здесь заранее готовы согласиться с оратором, что симпатии и антипатии поделены, что говоривший обладал даром бесконтрольно увлекать слушателей. Масса не противостояла у Канетти интеллектуальной элите, как это обычно для тривиального восприятия. Элита — и это важнейший вывод Канетти — сама способна превратиться

в массу. Синдромы массового сознания вездесущи. Опасность омассовления всеобща. Каждому полезно сказать себе, в какой мере зависим он от тех или иных расхожих идей и стандартов. Идеи не только служат интеллектуальному освоению жизни. Под их флагом, слепо их разделяя, люди сбиваются в кучки. В записях 1979 года Канетти говорил о дурной заразительности веры и убеждений, убеждений, как определял их Достоевский, «не выдуманных, а предварительно данных». Против этой-то широко практикуемой слепоты, против «массового сознания» протестовал писатель.

И «Ослепление» и «Масса и власть» не раз откликаются в статьях и «Заметках» Канетти. Порой в этом есть даже некоторая навязчивость.

Естественно было включить в русскую книгу Канетти статью о Толстом. Но сопоставление семейных отношений Толстого в последние годы жизни с пружинами борьбы между Терезой и Кином кажется невозможным. Пропорции неповторимого и общего в человеческой психике столь подвижны, что рискованно видеть всюду одни и те же законы, тем более когда речь идет о гении.

Другое дело, когда речь заходит о политике.

Статья «Гитлер по Шпееру» могла бы быть просто рецензией на книгу воспоминаний гитлеровского архитектора. Но для Канетти воспоминания Шпеера — важный материал, свидетельство, подтверждающее многие наблюдения, высказанные на страницах «Массы и власти». Личность Адольфа Гитлера целиком строится как раз по общим законам, претерпевшим гротескные и страшные превращения в его ненормальном, параноическом сознании. В воспоминаниях Шпеера подробно описана владевшая Гитлером мания строительства грандиозных зданий, способных вместить огромные массы народа. Такие постройки будто и созданы были для того, чтобы держать в сплоченном единстве людей, слушающих фюрера. Они непременно должны были превзойти монументальностью, площадью, высотой соответствующие постройки в других странах. Гитлер был захвачен идеей числа, ненасытным интересом к количеству (без миллионных чисел, замечает Канетти, он говорить вообще не умел). Еще до начала второй мировой войны, в как будто бы мирном деле — строительстве реализовалась идея захвата. В конечном итоге, заключает Канетти, суть сводилась к одному: к власти.

Предваряя сборник своих статей «Совесь литературы», большинство из которых вошли в нашу книгу, Канетти каялся перед читателем в странной их разнородности. Высоты духа — Конфуций, Гёте, Бюхнер, Толстой, выдающиеся писатели XX века — и тут же речь заходит о Гитлере и нравственном ослеплении, захватившем народ Германии, или о трагедии Хи-

росимы (статья «Дневник доктора Хасия из Хиросимы»). Но оправданий не надо: в книге все так, как в жизни. После атомного взрыва над Хиросимой и Нагасаки Канетти считает главным долгом писателя заставить людей понять реальную близость грозящей им катастрофы. Выдвигая особые требования к реализму в условиях современности, Канетти пишет о новом характере будущего: оно «не такое, как раньше, оно надвигается быстрее, и мы сознательно его приближаем». От расщепленного лица будущего — спасения или атомного уничтожения — не может отвернуться ни один человек (статья «Реализм и новая действительность»). В угрозе атомной катастрофы проявилась высшая бесчеловечность власти: властитель может порешить всех на Земле, власть имущие — остаться без уничтоженных ими народов. (Именно такой образ будущего мелькает и в последнем романе швейцарца Фр. Дюрренматта «Правосудие».)

В поздних записях Канетти много печали. Как замечает автор, он стал скромнее: мечтает не о лучшем, а о том, чтобы по крайней мере все осталось как есть. «Хорошо спокойно жить на старом месте, хорошо побывать и на новых местах, о которых давно мечтал. Но лучше всего быть уверенным, что они не исчезнут, когда тебя не будет».

Но не таков Канетти, чтобы отчаяние и печаль стали главными в его творчестве. «Моя тоска полна гневом. Я из тех писателей, которые негодуют», — говорит он о себе в записи 1973 года. А в статье «Призвание поэта» он с глубоким сочувствием приводит слова неизвестного, произнесенные накануне второй мировой войны: «Будь я и в самом деле поэт, я должен был суметь помешать войне». Наивная вера! Но какая в ней сила! Как важно людям рассчитывать на себя и свое разумение, чтобы не массовое ослепление было нашей судьбой, а каждый влиял на движение жизни.

Н. Павлова

Совесть литературы



ГЕРМАН БРОХ *

Речь по случаю пятидесятилетия

Вена, ноябрь 1936 г.

Есть прекрасный смысл в том, чтобы, пользуясь пятидесятилетием человека, обратиться к нему во всеуслышанье, чуть ли не силой вырвать его из плотного переплетения жизненных связей и поставить на возвышении, видного всем, со всех сторон, да так, будто он совсем одинок, будто приговорен к каменному, неминуемому одиночеству, хотя истинное, тайное одиночество его жизни, при всей его кротости и смирении, конечно, и без того причиняет ему достаточно мук. Кажется, будто этим обращением мы говорим ему: не страшись, ты уже довольно страшился за нас. Все мы должны умереть, но еще не ясно, должен ли умереть и ты. Быть может, именно твоим словам суждено представлять нас перед будущими поколениями. Ты служил нам верой и правдой. Время тебя не отпускает.

Чтобы придать этим словам, будто заклитию, полную силу, на них ставится печать пятидесятилетия. Ведь в нашем сознании прошлое делится на столетия, и рядом со столетиями ни чему уже нет места. Как только для человечества становится важным восстановить великую непрерывность своей памяти, оно заталкивает все, что кажется ему необыкновенным и значительным, в мешок столетий. Само слово, обозначающее этот отрезок времени, стало внушать нам почтение. Люди говорят о «*секулярном*», словно на таинственном языке жрецов. Магическая сила, присущая некогда, у первобытных народов, более скромным числам три, четыре, пять, семь, — перешла теперь к столетию. Даже то множество людей, что блуждает в прошлом с одной лишь целью — отыскать там истоки своего недовольства настоящим, люди, впитавшие в себя горечь всех известных столетий, охотно отодвигают будущее, о котором мечтают, на более счастливые столетия.

Несомненно, столетие дает достаточно широкий размах мечтаниям человека. Ибо если ему очень повезет, то он проживет этот срок *, такое иногда бывает, хоть это и маловероятно. Тем немногим, кому это действительно удалось, сопутствует удивление и всевозможные рассказы. В старых хрониках такие люди педантично перечисляются по именам и званиям. Им уделяют еще больше внимания, чем богачам. Страстное желание отвоевать себе именно такой кусок жизни, видимо, с введением десятичной системы и возвело столетие в такой высокий ранг.

Но Время, чувствуя пятидесятилетний, приветствует его на полпути. Оно предъявляет его следующим поколениям как достойного сохранения. Оно отчетливо выделяет его, возможно, против его воли, из редкой кучки тех, что существовали больше для Времени, чем для себя. Оно радуется тому пьедесталу, на который его поставило, и связывает с этим робкую надежду: быть может, он, не умеющий лгать, видел землю обетованную и, быть может, еще об этом заговорит, ему бы оно поверило.

На этой высоте стоит ныне Герман Брох, и, говоря напрямик, я позволю себе утверждать, что в его лице мы должны почитать одного из немногих писателей, представляющих наше время. Это утверждение имело бы больше веса, если бы я мог перечислить здесь многих, кто не является писателем, хотя и слывет таковым. Но мне кажется более важным, чем исполнение этой присвоенной себе обязанности палача, найти у писателя такие свойства, которые должны очень резко столкнуться для того, чтобы его можно было считать представителем своего времени. Если добросовестно заняться таким исследованием, откроется отнюдь не уютная и еще менее гармоническая картина.

То сильное, полное ужаса напряжение, в котором мы живем и от которого не смогла нас избавить ни одна из вожделенных бурь, воцарилось во всех сферах, даже в наиболее свободной и чистой сфере удивления. Да, наше время, если мы пожелаем очень коротко его охарактеризовать, можно определить как время, когда люди способны *удивляться* одновременно прямо противоположным вещам: например, тысячелетнему воздействию какой-либо книги и одновременно тому, что не все книги долго сохраняют свое воздействие. Вере в богов и одновременно тому, что мы ежечасно не падаем на колени перед новыми богами. Сексуальности, которой мы поражены, и одновременно тому, что это расщепление полов не идет глубже. Смерти, которой мы никогда не желаем, и одновременно тому, что мы не умираем еще в материнской утробе, подавленные тем, что нам предстоит. Когда-то удивление поистине *было* тем зеркалом, о котором охотно говорят, которое переводит явления в более ровную и спокойную плоскость. Ныне это зеркало разбито и осколки удивления становятся все мельче. Но даже в самом маленьком

осколке отражается не одно-единственное явление, оно безжалостно тянет за собой свою противоположность; что бы ты ни увидел и как бы мало ты ни увидел, пока ты это видишь, оно уже само себя отрицает.

Так что не приходится ожидать, что с писателем, когда мы пытаемся уловить его отражение в зеркале, дело обстоит иначе, чем с закрученными песчинками повседневного бытия. С самого начала мы встречаемся с широко распространенным заблуждением, будто большой писатель стоит выше своего времени. Никто сам по себе не может стоять выше своего времени. Такие люди совсем не здесь. Им хочется быть в Древней Греции или среди тех или иных варваров. Дадим им такую возможность: чтобы оказаться так далеко, надо во многих отношениях быть слепым, а в праве заглушить в себе все пять чувств никому не откажешь. Однако такой человек возвышается не над нами, а над суммой воспоминаний, например о Древней Греции, которые мы носим в себе, это, так сказать, экспериментирующий историк культуры, изобретательно пробуя на себе то, что он верно уловил и что представляется ему истинным. Такой возвысившийся человек еще беспомощнее, чем физик-экспериментатор, у которого, хоть он и занимается только какой-то отдельной областью своей науки, всегда остается возможность контроля. Возвысившийся выступает с более чем научной, с прямо-таки культовой претензией; большей частью это даже не основатель секты; это священнослужитель для себя одного; для себя одного совершает он обряды, и единственный верующий тоже он сам.

Но настоящий писатель, каким мы его себе мыслим, всегда во власти своего времени, он его слуга, его крепостной, его последний раб.

Он прикован к своему времени короткой и нерасторжимой цепью, теснейше с ним связан; его неволя должна быть настолько полной, чтобы его невозможно было пересадить на какую-либо другую почву. И если бы в таком сравнении не было смешного оттенка, я бы сказал просто: он пес своего времени. Он бежит по его угодьям, останавливается то здесь, то там, где ему только захочется, но он неутомим, восприимчив к свисткам сверху, хотя и не всегда; его, гонимого необъяснимой порочностью, легко натравить, труднее отозвать, поистине он повсюду сует свой влажный нос, ничего не пропускает, порой возвращается назад, начинается снова, он ненасытен; впрочем, он спит и ест, но не это отличает его от других существ. То, что отличает его, — это неприятная приверженность к своему пороку, к прогнившему и обстоятельному смакованию, которое прерывается беготней, ему всегда настолько же мало того, что он получает, насколько получает он все недостаточно быстро; кажется он и бегать-то научился только ради этого своего порока.

Прошу у вас извинения за образ, который должен вам показаться в высшей степени недостойным того предмета, о коем у нас идет речь. Но для меня важно поставить во главе трех атрибутов, подобающих видному писателю нашего времени, именно тот, о котором никогда не говорится, тот, от которого другие только берут начало, тот вполне конкретный и своеобразный *порок*, какого я для него требую, и незачем, чтобы его, как преждевременно родившегося ребенка, с трудом выхаживали, делая из него то, чем он, в сущности, не является.

Этот порок связывает писателя с его окружением так же непосредственно, как нюх охотничьего пса — с местностью, где он охотится. У каждого свой порок, неповторимый и новый в новой ситуации эпохи. Его нельзя спутать с нормальной согласованной работой чувств, которыми и так обладает каждый, наоборот, нарушение равновесия в этой согласованной работе, например отказ одного из чувств или чрезмерное развитие другого, может стать толчком для развития необходимого порока. Он всегда явный, сильный и примитивный. Он четко проявляется в особенностях лица и фигуры. Писатель, позволивший ему собой овладеть, обязан ему существенной частью своего опыта.

Но и проблема оригинальности, о которой больше спорили, чем говорили что-то дельное, получает с этой позиции другое освещение. Понятно, что требовать оригинальности невозможно. Кто ее ищет, не найдет никогда, а о тщеславных и надуманных клоунадах, которыми иные нас потчевали ради того, чтобы прослыть оригинальными, у всех у нас, конечно, еще живы неприятные воспоминания.

Однако между неприязнью к погоне за оригинальностью и дурацким утверждением, будто писателю вовсе не обязательно быть оригинальным, дистанция огромная.

Писатель *оригинален*, или он не писатель вовсе. Он писатель в глубоком и простом смысле слова, писатель благодаря тому, что мы называем его пороком. Он писатель до такой степени, что даже сам этого не знает. Присущий ему порок побуждает его самостоятельно вычерпывать содержание мира, этого никто бы за него сделать не мог. Непосредственность и неистощимость, оба свойства, которых всегда упорно требовали от гения и которыми он действительно всегда обладает, суть детища этого порока — у нас еще будет возможность устроить проверку и узнать, какого рода этот порок у самого Броха.

Второе свойство, которое сегодня надо требовать от видного писателя, — это серьезное желание охватить свое время, стремление к универсальности, которое не дает себя спугнуть никакой единичной задачей, ни от чего не отворачивается, ничего не забывает, ничего не пропускает, ни в чем не дает себе поблажки.

Этой универсальностью Брех интересовался пристально

и неоднократно. Более того: можно сказать, что именно требование универсальности по-настоящему воспламенило его писательскую волю. Вначале он долгие годы был привержен к строгой философии и не позволял себе принимать так уж всерьез то, что создает писатель. Для него в этом крылось слишком много конкретного и обособленного, это были несовершенные произведения, поделки, никогда не составлявшие целого. Философия, в то время, когда Брех начинал философствовать, иногда еще находила удовлетворение в своей старой претензии на универсальность, правда, удовлетворение ненадежное, ибо эта претензия давно устарела; однако, как человек благородного ума, устремленного ко всему бесконечному, Брех охотно поддался этой обманчивой претензии. Сюда прибавилось глубокое впечатление, какое на него производила универсальная духовная замкнутость Средневековья *, впечатление, которого он так до конца и не преодолел. По его мнению, тогда существовала замкнутая система духовных ценностей, и значительную часть своей жизни он занимался исследованием «распада ценностей» *, который начинается для него с Ренессанса и находит свое катастрофическое окончание только в мировой войне...

В ходе этой работы писательское начало постепенно одержало в нем верх. Его первое крупное произведение, роман-трилогия «Лунатики» *, при ближайшем рассмотрении представляет литературное воплощение его философии истории, правда, ограниченное периодом его собственной жизни 1888—1918. «Распад ценностей» воплощен здесь в четких и очень поэтических образах. Не можешь отделаться от ощущения, что то достоверное, а иногда и неоднозначное, что в них есть, возникло против воли или же при стыдливом сопротивлении их создателя. Не перестаешь удивляться, как автор пытался здесь спрятать свою истинную сущность под нагромождением надуманного.

Благодаря «Лунатикам» Брех получил доступ к универсальности как раз там, где меньше всего предполагал, в несовершенной, кустарной форме романа, и теперь он высказывается на эту тему в самых разных местах. «Роман должен быть зеркалом всех прочих систем мира» *, сказал он однажды. «Литературное произведение в своей цельности должно охватывать весь мир» или «современный роман стал полиисторическим». «Творчество — это всегда нетерпение познания».

Яснее всего, пожалуй, он формулирует свои новые взгляды в речи «Джеймс Джойс и современность» *:

«Философия сама положила конец эпохе универсальности, эпохе больших компендиумов, ей пришлось удалить наиболее жгучие вопросы из своего логического пространства, или, как говорит Витгенштейн *, отослать их в область мистического.

А это та самая точка, где начинается миссия поэтического, миссия всеохватывающего познания, стоящего над всякой эмпирической или социальной обусловленностью, которому безразлично, живет ли человек в феодальную, буржуазную или пролетарскую эпоху, долг поэзии, в конце концов, — достичь абсолютного познания».

Третье требование, которое следует предъявить писателю, состоит в том, чтобы он противостоял своему времени. Всему времени в целом, не только тому или этому, а широкой и цельной картине времени, которую видит только он, специфическому запаху этого времени, его лицу, его закону. Протест писателя должен стать громким и обрести форму, он не должен обессилеть или смиренно умолкнуть. Он должен кричать и топтать ногами, как маленький ребенок; но никакое молоко на свете, даже из самой доброй груди, не в силах утихомирить его протест и убаюкать его самого. У него должно быть желание заснуть, но он не вправе его осуществить. Если он забудет о своем протесте, то сделается отступником, как в прежние времена истовой веры целый народ, бывало, отпадал от своего бога.

Это жестокое и радикальное требование, жестокое потому, что так резко противоречит предыдущему. Ибо писатель — это отнюдь не герой, коему надлежит одолеть свое время и сделать его своим подданным. Наоборот, мы видели, что он сам ему подвластен, его последний слуга, его пес: и вот этот пес, которого всю жизнь ведет его нюх, потребитель и безвольная жертва, пожиратель добычи и добыча одновременно, это самое существо должно в один миг всему этому воспротивиться, восстать против себя самого и своего порока, не имея возможности когда-либо от него избавиться, продолжать в том же духе и возмущаться, да сверх того еще сознавать собственное раздвоение! Поистине, это жестокое, радикальное требование; такое же радикальное и жестокое, как сама смерть.

Ибо это требование выводится из факта смерти. Смерть — это первый и древнейший, так и хочется сказать — единственный факт *. Она чудовищно древняя и ежечасно новая. Степень твердости у нее — десять, и режет она не хуже алмаза. Ей присущ абсолютный холод мирового пространства — минус двести семьдесят три градуса. Ей присуща наивысшая сила ветра — ураганная. Она — реальная превосходная степень от всего сущего, но она не бесконечна, ведь ее можно настичь на любой дороге. Пока существует смерть, всякое слово — это преколовие ей. Пока существует смерть, всякий свет — это обманчивый свет, ибо он ведет к ней. Пока существует смерть, ничто прекрасное — не прекрасно, ничто доброе — не добро.

Попытки с ней примириться — а что такое религии, как не это? — потерпели неудачу. Открытие, что после смерти ничего

нет, ужасающее и не до конца постижимое, бросило на жизнь отблеск новой и отчаянной святости. Писатель, у которого есть возможность благодаря тому, что мы несколько суммарно назвали его пороком, участвовать в жизни многих, участвует и во всех смертях, которые грозят этим жизням. Его собственный страх — а кто не испытывает страха перед смертью? — должен стать смертным страхом всех. Его собственная ненависть — а кто не питает ненависти к смерти? — должна стать смертной ненавистью всех. Это, и ничто иное, есть его протест против времени, наполненного мириадами и мириадами мириад смертей.

Тем самым писателю досталась часть религиозного наследства, и, несомненно, лучшая его часть. Ему приходится нести изрядное бремя наследств: философия, как мы видели, завещала ему свою претензию на универсальность познания; религия — приглашенную проблематику смерти. А сама жизнь, жизнь, какой она была до всякой религии и философии, животная жизнь, не сознающая ни себя, ни своего конца, передала ему в концентрированной и удачно отведенной в одно русло — в русло страсти — форме свою ненасытную алчность.

Теперь перед нами стоит задача рассмотреть, как сложилось сочетание этих наследственных долей в одном-единственном человеке. Они ведь имеют значение только во взаимосвязи. Их единство и составляет авторитет его личности. Совершенно конкретная страсть, которой он одержим, должна предоставить ему материал, дабы он мог перевоплотить его в универсальную, ответственную картину своего времени. Но эта его совершенно конкретная страсть должна также в каждом своем порыве естественно и однозначно предавать смерть. Ибо тем самым она поддерживает непрерывный, непреклонный протест против времени, балующего смерть.

Позвольте мне теперь перейти к материи, которой в дальнейшем мы будем почти исключительно заниматься — к *воздуху*. Вас, возможно, удивит, что речь вообще пойдет о чем-то настолько обычном. Вы ожидаете услышать что-то о своеобразии нашего писателя, о пороке, коему он подвержен, о его ужасающей страсти. Вы предполагаете, что за этим кроется что-то неприятное или, если вы более доверчивы по натуре, по меньшей мере что-то таинственное. Вынужден вас разочаровать. Порок Броха совершенно обыденный, еще более обыденный, чем курение табака, употребление алкоголя или игра в карты, потому что он более старый. Порок Броха — это дыхание. Он дышит с упоением и не может надышаться. При этом у него всегда своя, неповторимая манера сидеть, кажется, будто он отсутствует, потому что лишь изредка и неохотно отзываясь обычными средствами языка. В действительности же он присутствует как никто другой, ибо для него всегда важно охватить все простран-

ство, в котором он находится, важно своего рода атмосферное единство.

В этом случае мало знать, что тут стоит печка, а там — шкаф; мало слышать, что говорит один и что ему рассудительно отвечает другой, словно перед тем они единодушно это обсудили; мало также отмечать ход и количество времени: когда пришел этот, когда встал тот, когда ушел третий, — это за нас делают часы. Гораздо важнее чувствовать, чувствовать всюду, где люди собираются в одном помещении и дышат. Помещение может быть наполнено свежим воздухом, а окна в нем открыты. Может быть, недавно шел дождь. Печка может источать тепло, а оно — неравномерно доходить до присутствующих. Шкаф, возможно, довольно долго был заперт; изменившийся воздух, какой хлынул из него, когда его открыли, возможно, изменит отношение присутствующих друг к другу. Конечно, они разговаривают, им есть что сказать, но они лепят слова из воздуха и, произнося их, внезапно наполняют комнату новыми и странными колебаниями, катастрофическими изменениями прежнего состава. А время, истинное, психическое время, менее всего соотнобразуется с часами: это скорее и больше всего функция атмосферы, в которой оно протекает. Так что невероятно трудно установить хотя бы приблизительно, когда человек на самом деле присоединился к компании, когда другой встал, а третий действительно ушел.

Конечно, все это выглядит примитивно, и такой опытный мастер, как Брех, вправе посмеяться над подобными примерами. Но этим мы хотим лишь подчеркнуть, сколь существенным для него самого стало все то, что относится к дыхательному хозяйству, как он освоился с атмосферными условиями, освоился настолько, что они у него часто непосредственно определяют отношения между людьми; как он слышит, когда дышит, как при этом осязает, как он все свои чувства подчиняет чувству дыхания, так что временами он кажется большой красивой птицей, у которой подрезали крылья, но в остальном ее оставили на свободе. Вместо того чтобы безжалостно запереть птицу в одной-единственной клетке, ее мучители открыли ей все клетки мира. Ее еще гонит ненасытная жажда воздуха, свойственная преждему быстролетному, прекрасному времени; чтобы утолить ее, она спешит от клетки к клетке. В каждой она берет пробу воздуха и уносит ее с собой. Прежде она была опасным хищником и от голода нападала на все живое; теперь воздух — единственная добыча, которой она алчет. Нигде не остается она подолгу, едва придя, тут же уходит. Настоящих хозяев и обитателей клеток она избегает. Ей известно, что никогда, даже во всех клетках мира, не вберет она в себя столько воздуха, сколько у нее было раньше. В ней всегда живет тоска по настоящей связности, по сво-

боде вне всяких клеток. Так она и остается большой, прекрасной птицей, какой была, и другие узнают ее по тем крохам воздуха, которые она у них берет, она сама узнает себя по своей непоседливости.

Но нехваткой воздуха и частой сменой атмосферы для Броха дело не исчерпывается. Его способность много шире — он очень хорошо запоминает, чем он однажды дышал, запоминает в неповторимой, точно прочувствованной форме. И сколько бы новых и, быть может, более сильных впечатлений к этому ни прибавилось, опасности, что эти атмосферные впечатления перемешаются, — для нас, остальных, это опасность вполне естественная — для него не существует. У него ничто не стирается, ничто не утрачивает четкости, у него богатый и весьма упорядоченный опыт в атмосферных делах. От его желания зависит, воспользуется ли он этим опытом.

Так что приходится допустить, что Брех наделяен чем-то, что я не могу назвать иначе, как дыхательной памятью. Напрашивается вопрос, что же это, собственно, такое — дыхательная память, как она функционирует и где помещается. Этот вопрос мне зададут, и я не смогу сообщить в ответ какие-либо точные данные. И рискуя навлечь на себя презрение науки, компетентной в данной области, и прослыть шарлатаном, я должен только на основании определенных воздействий, которые иначе объяснить невозможно, сделать вывод о наличии такой дыхательной памяти. Чтобы это презрение далось науке не слишком легко, следует напомнить, как далеко отошла западная цивилизация от тончайших проблем дыхания и дыхательного опыта. Древнейшая из известных, точная, даже почти экспериментальная психология *, которую, правда, с большим основанием можно назвать психологией самонаблюдения и внутреннего опыта, творение индийцев, имела своим предметом именно эту область. Не перестаешь удивляться тому, что наука — этот парвеню человечества, бесстыдно обогатившийся в течение последних столетий за счет всего и вся, именно в этом, в области дыхательного опыта, растеряла то, что когда-то в Индии было хорошо известно и, очевидно, составляло предмет ежедневных упражнений бесчисленных адептов.

Конечно, у Броха здесь тоже неосознанно действует техника, облегчающая ему восприятие атмосферных впечатлений, память о них, а позднее их обработку. Наивный наблюдатель подметит у него многое, что могло бы иметь к этому отношение. Так, например, беседам с ним присуща совершенно своеобразная и незабываемая расстановка знаков препинания. Он неохотно отвечает «да» или «нет», для него это были бы, вероятно, слишком четкие цезуры. Речь того, кто к нему обращается, он произвольно разделяет на, казалось бы, бессмысленные отрезки. Они обо-

значаются характерным звуком, который следовало бы воспроизвести фонографически точно, собеседник понимает его как выражение согласия, а на самом деле это лишь регистрация сказанного. Отрицания мы почти не слышим. Партнер воспринимается не столько в его манере думать и разговаривать; Брех больше заинтересован в том, чтобы узнать, каким специфическим образом тот сотрясает воздух. Сам он дышит неактивно и потому, когда придерживает слова про себя, производит впечатление черствого и рассеянного человека.

Но оставим в стороне личные свойства, требующие более подробного рассмотрения, ведь лишь тогда они представляли бы действительную ценность, и спросим себя, что предпринимает Брех в искусстве с тем богатым дыхательным опытом, которым он располагает. Дает ли ему этот опыт возможность выразить что-то, что иначе не выразимо? Предлагает ли искусство, черпающее из этого опыта, новую, иную картину мира? Да и можно ли вообще представить себе искусство, литературу, создаваемую на основе дыхательного опыта? И каковы средства, которыми она пользуется, воплощая их в слова?

На это можно было бы ответить, что многообразие нашего мира в значительной части заключается также в многообразии наших дыхательных пространств. Помещение, в котором вы сейчас сидите, в совершенно определенном порядке, почти полностью отгороженные от всего окружающего, то, как ваше дыхание смешивается в общий для всех вас воздух, а затем сталкивается с моими словами, шумы, которые вам мешают, и тишина, которая вновь поглощает эти шумы, ваши подавленные движения, протест или согласие — все это, с позиции того, кто дышит, есть единственная в своем роде, неповторимая, самодовлеющая и изолированная ситуация. Но пройдите на несколько шагов дальше, и вы обнаружите совершенно другую ситуацию в другом дыхательном пространстве, на кухне, может быть, или в спальне, в пивнушке, в трамвае, причем надо постоянно иметь в виду конкретное и неповторимое сочетание существ, которые дышат на кухне, в спальне, в пивнушке или в трамвае. В большом городе полно таких дыхательных пространств так же, как полно в нем отдельных людей, и подобно тому, как раздробленность людей, из коих ни один не похож на другого — каждый своего рода тупик, — составляет главную прелесть и главное бедствие жизни, так же можно сетовать и на раздробленность атмосферы.

Стало быть, многообразие мира, его индивидуальная расщепленность — истинный материал для художественного воплощения, — существует и для того, кто дышит. В какой мере это осознавалось прежним искусством?

Нельзя сказать, что атмосферные явления при прежней трак-

товке человека не принимались во внимание. Ветры принадлежат к древнейшим мифологическим образам. Каждый народ отдавал им должное: других, столь же популярных духов или богов, мало. Китайские оракулы в своих предсказаниях очень считались с ветрами *. Бури, грозы, ураганы составляют опорный элемент действия в древнейших героических эпосах. И позднее, вплоть до нашего времени, они остаются постоянно возвращающимся реквизитом, их особенно охотно вытаскивают из чуланов для низкопробных поделок. Наука, выступающая ныне с весьма серьезными претензиями, поскольку она выдает прогнозы, метеорология, в значительной своей части занимается воздушными потоками. Но ведь все это, в сущности, очень грубо, ибо при этом речь всегда идет о динамике атмосферы, о переменах, которые нас почти что убивают, об убийстве и умерщвлении в воздухе, о сильном холоде, сильной жаре, о бешеных скоростях, рекордах буйства.

Представьте себе, что современная живопись состояла бы из грубого и примитивного изображения солнца или радуги! Перед такими картинами нас неминуемо охватило бы ощущение невиданного варварства. Возникло бы желание эти полотна продырявить. Они не имели бы никакой ценности. Им можно было бы без обиняков отказать в наименовании «картина». Потому что долгая практика научила людей извлекать из многообразия и переменчивости воспринимаемых ими красок статичные, завершенные, но в своем покое бесконечно различные плоскостные изображения, которые они называют картинами.

Поэзия атмосферных явлений как некой статики находится лишь в самом начале своего развития. Статическая атмосфера еще почти не изображалась. Обозначим то, что здесь следовало бы создать, в противоположность красочной картине живописца, как дыхательную картину, и, при близком родстве, несомненно существующем между дыханием и языком, будем твердо придерживаться предпосылки, что язык — подходящее средство для реализации этой дыхательной картины. Тогда нам придется также признать, что в лице Германа Броха мы видим основателя этого нового искусства, его первого сознательного представителя, которому удался классический образец данного жанра. Классическим и великолепным следует назвать «Возвращение» * — рассказ примерно в тридцать страниц, где описывается, как человек, только что прибывший в некий город, выходит на вокзальную площадь и снимает комнату у старой дамы с дочерью. Таково содержание, фабула в духе старого повествовательного искусства.

В действительности же изображается вокзальная площадь и квартира старой дамы. Техника, применяемая здесь Брохом, столь же нова, сколь и совершенна. Исследование ее потребова-

ло бы специальной статьи, и, поскольку понадобилось бы углубиться в детали, здесь оно, конечно, неуместно.

Его персонажи для него не узилища. Он охотно их покидает. Он должен их покидать, но он подолгу витает поблизости. Они покоятся в воздухе, он дышал за них. Его осторожность — это боязнь собственным дыханием потревожить покой других.

Однако его чувствительность отделяет его и от современников, которые воображают, будто они еще в безопасности. Правда, они тоже не так уж тупы. Общая сумма чувствительности в культурном мире значительно возросла. И все же эта чувствительность, как ни странно это звучит, имеет свою упорядоченную и несокрушимую традицию. Она определяется тем, что людям уже хорошо известно. пытки, предания а которых дошли до наших дней, о которых часто повествуют, и часто повествуют в одной и той же манере, например о пытках, которые претерпевали мученики, вызывают у нас глубочайший ужас. На некоторые эпохи в целом — так сильно впечатление, какое вызывают у нас рассказы и иллюстрации, — легла печать жестокости. Так, для огромного большинства читающих и пишущих людей Средневековье это эпоха пыток и сожжения ведьм. Даже научно подтвержденные данные, что сожжения ведьм — это, в сущности, изобретение и практика более позднего времени, мало что могут в этом изменить. Заурядный человек с содроганием думает о средних веках, например о тщательно сохраняемой башне палача в одном средневековом городе, которую он однажды посетил — возможно, во время своего свадебного путешествия. Заурядный человек в общем и целом испытывает больше ужаса перед отдаленными средними веками, нежели перед мировой войной, которую он пережил сам. Это наблюдение можно сформулировать в *одной* ошеломляющей фразе: сегодня труднее официально приговорить одного-единственного человека к смерти на костре, чем развязать мировую войну.

Итак, человечество беззащитно лишь там, где у него отсутствуют опыт и воспоминания. Новые опасности могут быть сколь угодно велики, они найдут людей плохо, в лучшем случае лишь внешне защищенными. Но величайшая из всех опасностей, когда-либо возникавших в истории человечества, избрала себе жертвой наше поколение.

То, о чем я еще хочу сказать в заключение, — это о беззащитности дыхания. Ей как-то не придают слишком большого значения. Ни для чего человек не открыт так, как для воздуха. В воздухе он все еще движется так же, как Адам в раю, чистый, невинный и не страшась хищного зверя. Воздух это последняя альменда. Он принадлежит одинаково всем. Он не поделен, и пользоваться им вправе беднейший из бедняков. И даже если како-

му-то человеку пришлось умереть с голоду, то он при всех обстоятельствах, хоть это, конечно, и не много, до последней секунды дышал.

И вот это последнее, чем мы владели сообща, теперь сообща всех нас отравит. Мы это знаем, но пока еще не чувствуем, ибо наше искусство — не искусство дыхания.

Творчество Германа Броха развивается между одной войной и другой войной, между одной газовой войной и другой газовой войной. Может статься, что он где-то еще ощущает ядовитые частицы последней войны. Но это маловероятно. Верно зато одно: он, умеющий дышать лучше, чем мы, уже сегодня задыхается от газа, который — кто ведает когда — задушит и нас, остальных.

1936

КАРЛ КРАУС *,

ШКОЛА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Для ненасытности, но также стремительности последних лет характерно, что какой-то *один* феномен, *одно* впечатление, *один* идеал вытесняет другой. Люди пылки и экспансивны, они хватаются за то и за другое, творят себе кумира, покоряются ему и привязываются к нему с такой страстью, которая исключает все остальное. Как только он кого-то разочаровывает, его сволакивают с высоты и не раздумывая вдребезги разбивают: справедливыми быть *не хотят*, слишком много этот кумир для кого-то значил. Среди осколков прежнего идола водружают нового. Людей мало заботит, что идол чувствует себя здесь неуютно. Со своими кумирами обходятся капризно и произвольно, об *их* чувствах не спрашивают, они существуют для вознесения и низвержения и следуют друг за другом в количестве, достойном удивления, в многообразии и противоположности, которых в пору было бы испугаться, приди когда-нибудь кому-нибудь в голову обозреть их всех одновременно. Тому или другому случается возвыситься до бога и устоять, его шадят, руки на него не поднимают. Ему вредит только время, но не собственная злая воля. Такой кумир может выветриться или постепенно уйти в землю, она податлива, но так или иначе, в общем и целом он остается невредимым и не теряет своего облика.

Можно представить себе разоренный храм, который человек носил в себе, если прожил какое-то время. Ни один археолог не составит себе ясного понятия о его устройстве. Даже оставшиеся нетронутыми, узнаваемые изображения богов сами по себе образуют загадочный пантеон. Но археолог найдет, кро-

ме того, обломки, и еще обломки, все более удивительные, все более фантастические. Как ему понять, почему именно эти обломки перемешаны с теми? Единственное, что есть у них общего, — это характер разрушения, и, значит, по ним он может заключить лишь одно — что здесь всякий раз свирепствовал один и тот же варвар.

Умнее всего, пожалуй, было бы не ступать на площадь храма и руин. Но я решил сегодня повести себя неумно и поговорить об одном из моих кумиров, который был богом и тем не менее после почти пятилетнего единовластия был вытеснен, а еще через несколько лет низвергнут совершенно. Это было очень давно, поэтому я могу в какой-то мере охватить происшедшее взглядом. Сегодня я знаю, почему Карл Краус пришелся мне так кстати, почему я подпал под его влияние и почему, в конце концов, был вынужден против него обороняться.

Весной 1924 года * — всего за несколько недель до этого я возвратился в Вену — друзья в первый раз взяли меня с собой на одну из лекций Карла Крауса.

Большой концертный зал был битком набит. Я сидел в одном из последних рядов и с такого дальнего расстояния мало что видел. Видел маленького, можно сказать, щедущего человека, сутуловатого, с заостренным книзу лицом, с какой-то неприятной суетливостью, для меня непонятной, — в его движениях было что-то от неведомого существа, от новооткрытого животного, какого именно, я бы сказать не мог. Голос был резкий, возбужденный, и, внезапно взлетая вверх, а это происходило часто, он легко покорял зал.

Кого я, однако, мог разглядеть внимательно, так это людей вокруг. В зале царило настроение, хорошо знакомое мне по многолюдным политическим собраниям: как будто бы все, что намеревался сказать оратор, было заранее известно. Для приезжего, который восемь лет, пожалуй самых важных лет своей жизни — с одиннадцати до девятнадцати — не был в Вене, все происходящее, каждая деталь, было ново и удивительно, ведь то, о чем там говорилось как о достойном особого внимания, говорилось горячо и с подъемом и затрагивало бесчисленные подробности общественной, а также частной жизни. Покоряюще действовало прежде всего то, что в этом городе происходило так много важных событий, более или менее касавшихся всех. Война и оставленная ею боль, порок и убийства, жажда наживы, лицемерие, но также и опечатки с одинаково неистовой силой выдергивались из контекста, назывались и атаковались, с каким-то бешеным швырялись в тысячное скопление людей, которые схватывали каждое слово, порицали, бурно приветствовали, высмеивали и встречали ликованием.

Должен ли я сознаться в том, что вначале меня больше всего

поразила мгновенность массовой реакции? Как получилось, что все точно знали, о чем пойдет речь, заранее это оценили и осудили и здесь, в этом зале, жаждали предать анафеме? Все обвинения произносились удивительно сцементированным языком, без сучка и задоринки, языком, который отдавал судебными параграфами и звучал так, будто говорить на нем начали еще много лет назад и еще долгие годы будут продолжать. Близость к правовой сфере ощущалась и в том, что во всем предполагался твердо установленный и абсолютно надежный, непреложный закон. Было ясно, что хорошо, что плохо. Все было твердым и естественным, как гранит, который никто не в силах поцарапать или исписать.

Но ведь это был закон совершенно особого рода, и потому с первого же раза, нисколько не зная его наказуемых нарушителей, я легко почувствовал, как начинаю ему подчиняться. Ибо непостижимым и незабываемым — незабываемым для каждого, кто когда-либо это испытал, проживи он хоть триста лет, — было то, что этот закон *пылал*: он сиял, жег и уничтожал. Из фраз, сложенных как циклопические крепости, фраз, всегда точно подогнанных одна к другой, внезапно вылетали молнии, не безобидные, не какие-нибудь зарницы, и не театральные, а смертельно разящие молнии: и в этом свершении убийственной кары, происходившем вполне публично, во всеуслышание, было что-то настолько жуткое и мощное, что никто не мог остаться в стороне.

Каждый приговор тут же приводился в исполнение. Однажды объявленный, он не подлежал отмене. Все мы прошли через казнь. Настроение напряженного ожидания, царившее среди людей в зале, создавалось не столько оглашением самого приговора, сколько немедленным приведением его в исполнение. Среди жертв, в большинстве своем недостойных, находились такие, что оборонялись и отвергали наказание. Многие остерегались бороться в открытую, но некоторые принимали бой, и начинавшаяся тотчас же немилосердная травля становилась представлением, которым слушатели больше всего и наслаждались. Прошли десятилетия, прежде чем я понял, что Карлу Краусу удалось превратить интеллигенцию в толпу гонителей, которая собиралась на каждое его выступление, бушевала и не успокаивалась до тех пор, пока жертва не была повержена наземь. Как только жертва умолкала, одна травля заканчивалась и могла начинаться другая.

Мир законов, которые «хрустальным голосом», как «гневный волшебник» * — слова Тракля, — соблюдал Карл Краус, объединял две сферы, далеко не всегда являвшие себя в таком тесном слиянии: сферу морали и сферу литературы. Может быть, в интеллектуальном хаосе, следовавшем за первой мировой войной, это сплетение было чрезвычайно необходимым.

Какими средствами располагал Краус для достижения такого эффекта? Я хочу сегодня назвать лишь два его основных средства: это были *абсолютная точность* и *ужас*.

Дословная точность — начнем с нее — проявлялась в мастерском применении им цитат. Цитата, как он ее употреблял, свидетельствовала против цитируемого, часто становилась настоящей кульминацией, завершением того, что комментатор мог выдвинуть против автора. У Карла Крауса была способность осуждать людей, так сказать, их собственными устами. А источник этого мастерства — не знаю, разглядел ли уже кто-нибудь эту связь, — заключался в том, что я назвал бы *слуховой* цитатой*.

Крауса преследовали голоса, состояние вовсе не столь редкое, как полагают, но с одной разницей: голоса, которые его преследовали, *существовали* в венской действительности. Это были обрывки фраз, слова, возгласы, которые он мог услышать везде: на улицах, площадях, в ресторанах. Большинство писателей того времени составляли люди, умевшие многое пропускать мимо ушей. Они были готовы водиться с себе подобными, иногда их послушать, чаще — им возражать. Коренной порок интеллигентов в том, что мир для них состоит из интеллигентов. Краус тоже был интеллигентом, иначе он не мог бы проводить дни за чтением газет, к тому же самых разных, где содержалось, по видимости, одно и то же. Но так как *его* уши всегда были открыты*, никогда не закрывались, всегда были начеку, всегда слышали, то и газеты он должен был читать так, будто он их *слышит*. Печатные черные мертвые слова для него были *звучащими* словами. Когда он потом их цитировал, казалось, будто говорят чьи-то голоса: слуховые цитаты.

Поскольку же он цитировал всех без разбора, ни одного голоса не пропускал, ни одного не заглушал, поскольку все они существовали совместно в каком-то причудливом равноправии, невзирая на ранг, вес и ценность, то Карл Краус был вне сравнения и живейшим из всего, что могла предложить тогдашняя Вена.

То был самый странный из парадоксов: этот человек, столь многое презиравший, со времен испанца Кеведа и Свифта* самый непреклонный из презиравших мировую литературу, что-то вроде бича господня для виновного человечества, давал высказаться *всем*. Он был не в состоянии пожертвовать самым малым, самым ничтожным, самым пустым голосом. Его величие заключалось в том, что он один, в буквальном смысле слова один, противостоял миру, каким он его знал, своему миру в целом, в лице всех его представителей — а их было бесчисленное множество — он их слушал, выпрашивал, атаковал и бичевал. Таким образом, он был противоположностью всем тем писателям,

огромному большинству писателей, которые подлаживаются к людям ради того, чтобы их любили и прославляли. О том, что такие фигуры, как он, необходимы именно потому, что их так недостает, конечно, говорить излишне.

В этом своем рассуждении я делаю основной упор на *живого* Крауса, вернее, на Крауса, каким он был, когда обращался ко многим одновременно. Я не устану повторять: реальный, будоражащий, терзающий, сокрушающий Карл Краус, Краус, введшийся человеку в плоть и кровь, хватая и тряса его так, что тому нужны были годы, чтобы вновь набраться сил и устоять против него, — этот Краус был *оратором*. Такого оратора на моем веку никогда не было ни в одном из европейских языковых регионов, мне известных.

Все его аффекты — а они у него были развиты до чрезвычайности, — когда он говорил, передавались его слушателям и мгновенно ими усваивались. Потребовалась бы целая книга, чтобы серьезно разобраться в этих аффектах, изобразить его гнев, его насмешку, его горечь, его презрение, его поклонение, когда речь шла о любви и о женщинах, в котором всегда было что-то от рыцарственной благодарности этому полу как таковому, его страдание и нежность к самым немощным, убийственную отвагу, с какой он затевал охоту на власть имущих, его упоение собственной проницательностью, когда он срывал с их австрийской разновидности маску слабоумия, его высокомерие, благодаря которому он создавал вокруг себя дистанцию, его неизменно активное почитание своих богов, к которым все же принадлежали столь различные, как Шекспир, Клаудиус, Гёте, Нестрой, Оффенбах *.

Я могу сейчас только назвать эти аффекты, хотя, перечисляя их, чувствую искушение привести разнообразные конкретные выдержки, более того, скопировать его так точно, будто я только что вернулся с его выступления. Но *один* аффект, упомянутый мною раньше, я все же должен выделить. Это было то, что я называл бы у Крауса истинно библейским: его *ужас*. Если бы пришлось ограничиться одним-единственным качеством, которое отличает его от всех других известных фигур эпохи, то вот оно: Карл Краус был мастером ужаса.

Еще сегодня в этом легко убедиться каждому, кто раскроет «Последние дни человечества». Бросается в глаза, как он всегда видит соседство противоположностей, тех, кого война унизила, и тех, кого вознесла: инвалиды войны рядом с нажившимися на войне, слепой солдат рядом с офицером, который требует, чтобы тот его приветствовал, благородный лик казненного возле жирной рышки палача; у него это совсем не те вещи, к которым нас приучило кино с его дешевыми контрастами, здесь они еще обладают полным зарядом неизбежного ужаса.

Когда он говорил о них, тысячи людей сидели перед ним застывшие, его ужас, что всякий раз, сколь часто бы он ни рассказывал эти эпизоды, возрождает силу их изначального впечатления, охватывал каждого. Так ему удалось создать у слушателей по меньшей мере *одно* единое и неизменное убеждение — абсолютную ненависть к войне. Должна была разразиться вторая мировая война и, после разрушения целых дышавших городов, возникнуть ее самый непосредственный продукт — атомная бомба, чтобы это убеждение стало всеобщим и почти само собой разумеющимся. В этом смысле Карл Краус был как бы предвестником атомной бомбы, ее кошмары уже присутствовали в его слове. Из его убеждения выросло ныне сознание, которым все больше и больше, волей-неволей проникаются даже власти: что войны бессмысленны как для победителей, так и для побежденных, а потому недопустимы, и что их безоговорочное осуждение — только вопрос времени.

Чему я, не считая этого, научился у Карла Крауса? Что от него вошло в меня так глубоко, что я бы уже не мог отделить это от самого себя?

Во-первых, чувство абсолютной ответственности. Оно предстало передо мной в форме, граничившей с одержимостью, казалось, ничто меньшее не достойно жизни. Этот образец и поныне стоит передо мной в такой мощи, что все последующие формулировки того же требования неизбежно кажутся недостаточными. Существует жалкое словцо «ангажированность», банальность от рождения; оно разрослось сегодня повсюду, как сорняк. Звучит оно так, будто по отношению к важнейшим вещам человек оказывается в положении служащего. Истинная ответственность во сто крат тяжелее, ибо она суверенна и сама себя определяет.

Во-вторых, Карл Краус открыл мне уши, что не удалось бы в такой степени никому другому. С тех пор как я услышал его, для меня стало невозможным не слышать самому. Началось просто с городских звуков вокруг, возгласов, криков, случайно донесшихся до тебя неправильностей речи, с претензиями на ее улучшение, и особенно того, что фальшиво и неуместно. Все это, конечно, было и смешно и страшно одновременно, и с тех пор связь между этими двумя сферами стала для меня чем-то совершенно естественным. Благодаря Краусу я стал постигать, что отдельный человек имеет свой языковой облик, который отличает его от всех других. Я понял, что хоть люди и говорят друг с другом, но один другого не понимает, что их слова отскакивают, ударившись о слова других, что нет большего заблуждения, нежели мнение, будто язык — это средство общения между людьми. Человек заговаривает с другим, но так, что тот его не понимает. Первый продолжает говорить, а второй понимает еще ме-

ныше. Первый кричит, второй кричит в ответ, речь произвольно извергается, пренебрегая правилами грамматики. Выкрики, как мячи, прыгают туда-сюда, одеяют ударами и падают на землю. В другого редко что проникает, а уж если проникает, то превратно понятое.

Но ведь те самые слова, что оказываются непонятными, что производят впечатление изолирующих и создают нечто вроде слухового образа, вовсе не какие-то редкие или новые, придуманные этими существами, стремящимися к обособлению; это слова, фразы, наиболее употребительные, все самое что ни на есть ходовое, сказанное тысячекратно, и этим, именно этим они пользуются, чтобы проявить свое упрямство. Красивые, безобразные, благородные, подлые, святые, низменные слова — все они попадают в этот беспорядочный резервуар, и каждый вылавливает оттуда то, что соответствует его собственной косности, и повторяет до тех пор, пока это слово уже нельзя узнать, пока оно не начнет выражать нечто совсем другое, противоположное тому, что оно означало когда-то.

Искажение языка ведет к хаотическому смещению разобщенных фигур. Карл Краус, чье чутье к злоупотреблению языком было отточено до тонкости, обладал талантом улавливать продукты этого злоупотребления *in statu nascendi*¹ и больше уже не упускать. Для того, кто его слушал, таким образом открывалось новое измерение языка, неисчерпаемое и ранее применявшееся лишь спорадически и без настоящей последовательности. Великое исключение из этого правила, Нестроя, у которого Карл Краус научился столь же многому, как я у него самого, я сегодня упомяну лишь *en passant*².

Сейчас я хотел бы говорить о том, что находится в явном противоречии с самопроизвольностью его слуха, — о форме его прозы. Любое длинное прозаическое сочинение Крауса можно разрезать на две, четыре, восемь, шестнадцать частей, не причинив ему, в сущности, никакого ущерба. Страницы следуют друг за другом, равные по значению. Они могут быть более или менее удавшимися — своеобразно, впрочем, чисто поверхностно, сцепленные одна с другой, они все множатся и множатся, без всяких видов на необходимый конец. Каждая вещь, обозначенная отдельным названием, могла бы быть и вдвое длиннее, и вполтину короче. Ни один неискушенный читатель не сможет определить, почему она не кончилась много раньше, почему все еще не кончается. В продолжении господствует произвол, оно не подчинено никакому объяснимому правилу. До тех пор пока автору что-то приходит в голову, он продолжает, а ему в большин-

¹ В состоянии зарождения (лат).

² Мимоходом (франц.).

стве случаев без конца что-то приходит в голову. Нигде у него не действует структурный принцип подчинения одного другому.

Но структура, которой недостает целому, присутствует в каждой отдельной фразе и бросается в глаза. Все архитектурные ухищрения, которыми так богаты писатели, у Карла Крауса исчерпываются в одной фразе. Именно фразе посвящена его забота: она неприкосновенна, ни одного пробела, ни одной трещины, ни одной неверной запятой — фраза за фразой, вещь за вещью складываются в китайскую стену. Она везде сложена одинаково тщательно, характер ее всюду ясен, но что она, в сущности, ограждает, никому не известно. За этой стеной нет царства, царство — это она сама, все соки царства, которое, возможно, существовало, ушли в нее, в ее постройку. Теперь уже нельзя сказать, что было внутри, что снаружи, царство простиралось по обе стороны, стена ограждала и то, что снаружи, и то, что внутри. Она все что угодно, циклопическая самоцель, странствующая по свету, в гору, с горы, по долинам, по равнинам и по очень и очень многим пустыням. Быть может, ей кажется — ведь она живая, — что все, кроме нее, разрушено. Из всех армий, что ее населяли, что победили ее стражу, уцелел единственный одинокий стражник. Этот одинокий стражник в то же время — ее одинокий строитель, продолжающий строить. В какую бы сторону он ни посмотрел, он чувствует необходимость построить еще кусок стены. В его распоряжении оказываются для этого самые различные материалы, ему удастся слепить из них новые блоки. Можно годами гулять по этой стене, и она так и не кончится.

Я полагаю, что раздражение, вызванное природой этой стены, и безутешный вид пустыни по обе ее стороны постепенно возмутили меня против Крауса. Ведь блоками, из которых он складывал стену, были *приговоры*, а в них вошло все, что обитало в окружающей местности. Стражника охватила страсть к приговорам; для изготовления блоков и стены, так и не сомкнувшейся, требовалось все больше и больше приговоров, и он приобретал их за счет собственного царства. То, что ему надлежало сторожить, он высасывал, разумеется ради своих высоких целей, однако кругом становилось все пустынное, и под конец человека вполне мог охватить страх, что возведение этой нерушимой стены из приговоров становится истинной, конечной целью жизни.

Суть дела в том, что право выносить приговор он присвоил лишь себе и никому из тех, для кого он был образцом, права на собственное суждение не оставлял. Последствия этого гнета мог очень скоро заметить на себе каждый его приверженец.

Первое, что наступало после слушания десяти-двенадцати лекций Карла Крауса, после года-двух чтения «Факела» *, — общий спад желания судить *самому*. Захлестывала волна силь-

ных, непререкаемых решений, в которых не возникало ни малейшего сомнения. То, что однажды решалось там, в этой высшей инстанции, считалось окончательным, человеку показалось бы дерзостью предпринять проверку самому, а потому никто никогда не брал в руки книги авторов, осужденных Краусом. Но достаточно было и мелких презрительных замечаний на полях, которые, как травинки, прорастали между блоками его фраз-крепостей, чтобы человек впредь избегал предмета этих замечаний. Наступила некая редукция: если раньше, в течение восьми лет, что я не был в Вене, прожив их в Цюрихе и Франкфурте, я интересовался всей литературой и пожирал книги с алчностью волка, то теперь начался период ограничения, аскетической сдержанности. В ней было свое преимущество, человек тем интенсивнее вчитывался в то, что одобрял Краус: в Шекспира и Гёте, в Клаудиуса, в Нестроя, которого он раскрыл, дав ему новую жизнь, — это его чисто личное и самое плодотворное достижение; в раннего Гауптмана вплоть до «Пиппы» *, первый акт которой он имел обыкновение читать вслух, в Стриндберга и Ведекинда *, которым в прежние годы выпала честь появляться на страницах «Факела», из модерна еще в Тракля и в Ласкер-Шюлер *. Ясно, что те авторы, какими он ограничивал круг вашего чтения, были отнюдь не худшими. Для Аристофана, которого он обрабатывал *, он мне был не нужен, но Краусу никогда и не удалось бы его из меня вытравить, так же, как «Гильгамеш» * и «Одиссею», все это давно стало глубочайшей сутью моей духовности. Романистов, прозаиков вообще он во внимание не принимал, я думаю, они его мало интересовали, и это было счастье. Поэтому я мог, даже при его немилосердной диктатуре, не затронутый ею, читать Достоевского, По, Гоголя и Стендаля и воспринимать их так, будто Карла Крауса не существует. Я бы назвал это моим подпольным существованием в то время. У этих писателей, а также у художников Грюневальда * и Брейгеля *, которых его слово не доставало, я, еще сам того не ведая, почерпнул силы для будущего мятежа.

Ведь тогда я на самом деле почувствовал, что значит жить при диктатуре. Я был ее добровольным, преданным, пылким и восторженным приверженцем. Враг Карла Крауса был для меня презренным, аморальным существом, и, если я и не занимался истреблением мнимой нечисти, как это вошло в обычай у более поздних диктатур, у меня все же — со стыдом должен в этом признаться, — у меня тоже были свои «жиды», — да, иначе сказать не могу, люди, от которых я отворачивался, если встречал их в ресторанах или на улице, которых не удостоивал взглядом, чья судьба меня не касалась, которые для меня были отщепенцами и отверженными, чье прикосновение меня бы осквернило, которых я со всей серьезностью больше не причислял к чело-

вечеству: жертвы и враги Карла Крауса.

Тем не менее эта диктатура оказалась не совсем безрезультатной, и, поскольку я подчинился ей сам и сам же в конце концов сумел от нее освободиться, я не имею права ее обвинять. К тому же, именно благодаря почерпнутому из нее опыту, скверный обычай обвинять других мне глубоко отвратителен.

Важно иметь образец, обладающий богатым кипучим миром, миром, который он сам для себя вынюхал, высмотрел, сам услышал, учуял и выдумал. Аутентичность *своего* мира — вот что, в сущности, дает человеку образец, чем он глубже всего впечатляет. В этот мир человек позволяет себя вовлечь, позволяет ему себя осилить, и я совершенно не могу представить себе писателя, которого когда-либо раньше не подавила бы и не обессилила чужая аутентичность. Если он унижен этим насилием, даже чувствует, что у него ничего своего нет, то в нем начинают шевелиться подспудные силы. Выявляется его личность, возникающая из сопротивления, везде, где он высвобождается, непременно существовало что-то, что его освободило.

Но чем богаче был мир того, кто держал его в подчинении, тем богаче должен стать его собственный мир, отталкивающий от себя тот, чужой. Стало быть, полезно желать себе сильных образцов. Полезно подпасть под власть такого образца, пока ты лишь втайне, в каком-то рабском мраке тяготеешь к своей собственной сути, которой стыдишься, ибо ее еще не видно.

Роковые те образцы, что проникают в этот мрак, даже в последнем жалком подполье не дают человеку дышать. Но опасны также образцы совершенно другого толка, те, что прибегают к подкупу и слишком быстро становятся полезными тебе в мелочах, те, что лживо уверяют, будто у тебя уже есть что-то свое, и все это лишь потому, что ты перед ними склоняешься и покорствуешь им. В конце концов, ты живешь их милостью, как дрессированный зверь, и довольствуешься лакомым куском из их рук.

Ведь никто из начинающих не может знать, что он в себе найдет. Да и как бы он мог об этом хотя бы догадываться, если оно еще не состоялось.

С помощью заемных инструментов вскапывает он почву, да и та тоже заемная, чужая. Когда он в первый раз внезапно оказывается перед чем-то, чего не узнает, что пришло к нему ниоткуда, он пугается и теряет равновесие: ведь это его собственное.

Это может быть самая малость — орех, корешок, крошечный камешек, ядовитая змея, новый запах, необъяснимый звук или сразу же темная, далеко идущая жила. Если у него хватит мужества и благоразумия оправиться от первого страшного приступа головокружения, узнать и назвать найденное, начнется его настоящая, его собственная жизнь.

ДИАЛОГ С ЖЕСТОКИМ ПАРТНЕРОМ

Мне было бы трудно продвигаться в работе, которую я больше всего люблю, если бы я временами не вел дневника. Не потому, что я использую эти записи, они никогда не служат сырьем для того, что я как раз пишу. Однако дело в том, что человек, знающий силу своих впечатлений, ощущающий каждую подробность каждого дня так, будто это единственный день его жизни, человек, в сущности состоящий из сплошных преувеличений, но не подавляющий в себе этой склонности, потому что для него важно выпячивание, острота и конкретность всех вещей, из которых состоит жизнь, — такой человек взорвался бы или так или иначе разлетелся бы на куски, если бы не находил *успокоения* в дневнике.

Успокоение — это пожалуй основная причина, из-за которой я веду дневник. Трудно поверить, как успокаивает и обуздывает человека написанная фраза. Фраза всегда не такая, как тот, кто ее пишет. Она стоит перед ним, как чужая, как неожиданно выросшая прочная стена, через которую нельзя перескочить. Вероятно, ее можно было бы обойти, но еще до того, как попадешь на ту сторону, под острым углом к первой стене окажется другая, новая фраза-стена, не менее прочная и высокая, и она тоже манит обойти ее. Постепенно возникает лабиринт, в котором сам строитель еще худо-бедно ориентируется. Его успокаивают собственные блуждания.

Людам, составляющим ближайшее окружение какого-либо писателя, было бы невыносимо выслушивать все, что его взволновало. Волнение заразно, а у других, надо надеяться, есть своя жизнь, которая не может целиком состоять из волнений ближнего, иначе они задохнутся. Кроме того, есть вещи, о которых нельзя сказать никому, даже близким, потому что их слишком стыдиться. Нехорошо, если они вообще останутся невысказанными, нехорошо, если они канут в забвение. Механизмы, с помощью коих мы облегчаем себе жизнь, и без того слишком уж хорошо разработаны. Сначала немного робко говоришь себе: «В сущности, я в этом не виноват», и в мгновение ока все забыто. Чтобы избежать такого недостойного поведения, надо все записать, а потом, много позже, быть может, годы спустя, когда человек уже сочтется самодовольством из всех пор, когда меньше всего этого ждет, он внезапно с ужасом натолкнется на эту запись. «Вот *на что* я был способен, вот *что* я сделал». Религия, раз и навсегда избавляющая человека от таких ужасов, вероятно, годится для тех, в чью обязанность не входит достижение полного и ясного осознания внутренних процессов.

Кто действительно хочет все знать, тому лучше всего учиться на себе. Но он не вправе себя щадить и должен подходить к се-

бе будто к другому человеку — не менее жестко, наоборот, еще жестче.

Однообразие многих дневников коренится в том, что там нет ничего, что искало бы успокоения. Многие, хоть в это верится с трудом, довольны всем вокруг себя, даже миром, готовым вот-вот рухнуть; другие, при всех вариациях, довольны собой.

Успокоение как функция дневника действует, таким образом, не столь уж долго. Это сиюминутное успокоение, от временной беспомощности, оно очищает день для работы, не более того. Спустя долгий срок дневник оказывает прямо противоположное действие, он не дает человеку себя убаюкать, он мешает естественному процессу преобразования прошлого, которое остается таким как есть, он поддерживает в человеке бдительность и едкость.

Но прежде чем говорить подробнее об этой и о некоторых других функциях дневников, я бы хотел отделить от них то, что я к таковым не причисляю. Я различаю заметки, записные книжки и собственно дневники.

Заметки

О них я уже высказывался в предисловии к своему сборнику «Заметки 1942—1948». Но все же необходимо повторить это здесь, хотя бы конспективно, чтобы меня верно поняли. «Заметки» самопроизвольны и противоречивы. Они содержат идеи, рождающиеся иногда с невыносимым напряжением, но часто и с большой легкостью. Невозможно избежать того, чтобы работа, которую продолжаешь годами, изо дня в день, не казалась тебе иногда вымученной, бесперспективной или запоздалой. Ненавидишь ее, чувствуешь, что она тебя обступает, мешает дышать. Все на свете вдруг представляется тебе важнее, чем она, и в этой стесненности ты начинаешь казаться себе халтурщиком. Как может быть хорошим то, что сознательно столь многое исключает. Каждый незнакомый звук доносится будто из запретного рая, в то время как каждое слово, прибавляемое к тому, что ты с давних пор пишешь, в своей гибкой приспособляемости, своей сервильности окрашивается в цвета дозволенного и пошлого ада. Невыносимость возложенной на себя работы может стать для этой последней весьма опасной. Человек многообразен, тысячеобразен это его величайшее счастье, — и жить так, будто он не таков, может лишь недолгое время. В такие моменты, когда он считает себя рабом своей цели, ему в состоянии помочь лишь одно: он должен поддаться многообразию своих склонностей и без разбора записывать все, что ему придет в голову. Все это должно всплывать так, будто явилось ниоткуда и никуда не ведет,

большей частью оно будет кратким, быстрым, часто — молниеносным, непроверенным, неуправляемым, несуетным и совершенно бесцельным. Тот же пишущий, что обычно строго следит за порядком, на короткий срок становится покорной игрушкой мыслей, пришедших ему в голову. Он записывает идеи, которых у себя никогда не предполагал, которые противоречат его истории, его убеждениям, даже его форме, его стыдливости, его гордости и его обычно так упорно защищаемой истине.

Давление, которым все это сопровождается вначале, потом ослабевает, и может случиться, что ему вдруг становится легко и он в некоем блаженстве записывает самые вольные вещи. То, что таким образом возникает — а таким образом возникает очень многое, — он охотнее всего оставляет лежать без внимания. Если у него это действительно получается, в течение многих лет, то он сохраняет доверие к самопроизвольности, составляющее жизненную атмосферу таких записок, ибо, если он когда-нибудь это доверие утратит, они ни на что больше не будут годиться и он может уже не отвлекаться от своей настоящей работы. Лишь много позже, когда все записанное будет казаться заметками кого-то другого, в них могут обнаружиться вещи, которые, сколь бы бессмысленными ни показались они ему когда-то, вдруг обретут смысл для других. А поскольку он и сам к тому времени будет другим, он сможет без особого труда выбрать из них полезное для себя.

Записные книжки

Всякий человек, по примеру всего человечества, хотел бы создать для себя собственный календарь. Главная привлекательность календаря состоит в том, что он все время продолжается. Столько дней уже прошло, за ними последуют другие. Возвращаются названия месяцев, еще чаще — названия дней. Но число, обозначающее год, всегда другое. Оно растет, ему никогда не стать меньше, с каждым разом прибавляется год. Число это постоянно возрастает, пропустить какой-нибудь год невозможно, точно так же, как при счете нельзя пропустить *единицу*. Исчисление времени точно выражает то, чего больше всего желает себе человек. Возврат дней, название которых он сознает, придает ему *уверенность*. Он просыпается: какой сегодня день? Среда, опять среда, сред на его веку было уже много. Но за плечами у него не только среды. Нынче ведь 30 октября, это нечто побольше, таких чисел он тоже знал уже изрядное множество. Однако от линейного роста цифр, обозначающих год, он ждет, что этот рост поведет его ко все более высоким числам. Эта уверен-

ность и желание долгой жизни сходятся в исчислении времени, последнее словно бы специально для них придумано.

Однако *пустой* календарь — это ничейный календарь, теперь же он хочет сделать его своим, а для этого он должен его заполнить. Бывают дни хорошие и плохие, свободные и трудные. Если он обозначит их несколькими словами или буквами, то календарь непременно станет его собственным. Важнейшие события отмечаются памятными днями. Пока человек молод, таких дней у него еще мало, год предстает как бы нетронутым, большинство дней еще свободно и не использовано для будущего. Но постепенно годы заполняются, все больше повторяется решающих дат, и под конец в его календаре не остается почти ни одного неиспользованного дня: у каждого своя история.

Я знаю людей, которые насмеются над чужими календарями такого рода «в них ведь мало что значится». Однако лишь тот, кто обзавелся подобным календарем, может по-настоящему знать, что там значится. Скучность этих знаков придает им ценность. Они сохраняются благодаря своей сжатости, все пережитое, что в них содержится, заперто будто волшебным ключом, оно не растрчено, и внезапно, благодаря соседству с чем-то еще, может в другом году распуститься в нечто чудовищное.

Ныне нет на свете никого, кто не имел бы права на такие записные книжки. *Каждый* человек — центр мира, но именно каждый, и мир только тем и ценен, что полон таких центров. В этом *смысл* слова «человек»: каждый из нас — центр, наряду с бесчисленными другими, которые настолько же центры, что и мы.

Записные книжки были и остаются зачатком настоящих дневников. Многие писатели, не доверяющие дневникам, так как слишком многое из дневникового материала в их сознании стирается, все же ведут записные книжки. Обычно люди путают то и другое.

Я их четко различаю. В записных книжках, которые почти всегда представляют собой маленькие календари, я совсем коротко отмечаю, что меня особенно задевает или приносит удовлетворение. Там значатся имена считанных людей, благодаря которым ты мог дышать и без которых никогда бы не выдержал все остальные дни. Встречи с ними, первое сближение, их отъезд, возвращение, их тяжелые заболевания, выздоровление, и самое страшное — их смерть. Кроме того, бывают дни внезапных идей, которые вначале обрушиваются на тебя как мечи, потом куда-то проваливаются, всплывают снова и, наконец, преобразенные, немалую часть жизни плодоносят. Бывает, отмечаешь те дни, когда что-то из этих идей получило воплощение и доставило тебе радость. Таким дням экспансивного одоления проти-

востоят другие, когда сам оказываешься одоленным: ты что-то прочел и чувствуешь, что это с тобой останется навсегда «Войцек» *, «Бесы» *, «Аякс» Софокла. Затем моменты, когда узнаешь о каких-то неслыханных обычаях, о какой-то неизвестной религии, о новой науке, о расширении мира, об еще одной угрозе человечеству или, что бывает очень редко, о надежде для него. А еще места, куда наконец попадаешь, куда ты отчаянно стремился. Все это упоминается лишь в двух-трех словах, главное — это имена, важен день, когда в твою жизнь вошло что-то новое, новые люди, или исчезнувшее объявилось опять как что-то новое.

Одно можно сказать с уверенностью про эти записные книжки — они никого не касаются. Для посторонних они непонятны, а если и понятны, то из-за однообразной манеры записей — воплощение скуки.

Как только появляется нечто большее, как только начинаешь о чем-то рассуждать, твои записи перерастают рамки календаря-памятки и превращаются в дневник.

Дневники

В дневнике человек разговаривает с самим собой. Кто этого не умеет, кто видит перед собой слушателей, пусть и будущих, пусть и после его смерти, тот фальшивит. О таких фальшивых дневниках мы здесь речь вести не будем. Они тоже могут иметь свою ценность. Среди них попадаются невероятно увлекательные, но интересна мера фальши: увлекательность зависит от дарования пишущего. Однако я хотел бы сейчас сосредоточить внимание на подлинном дневнике, вещи гораздо более редкой и более важной. Какой смысл имеет он для пишущего, точнее, для того, кто и так пишет очень много, ибо писать — его профессия?

Вот что поражает: вести дневник удастся не *всегда*, бывают длительные периоды, когда его остерегаешься, как чего-то опасного, почти как порока. Человек не всегда бывает недоволен собой и другими. Случаются времена восторженности и несомненного личного счастья. В жизни человека, для которого тяга к познанию стала второй натурой, они слишком частыми быть не могут. И тем более ценными они будут ему казаться. Он будет опасаться к ним прикоснуться. Поскольку они будут поддерживать его, как и всякого другого человека, в течение гораздо более длительного остатка его жизни, то они ему *нужны*, и потому он их не трогает, он оставляет вокруг них ауру непостижимого чуда. Лишь их утрата может заставить его образумиться. Как

он их потерял? Что их разрушило? В этот миг у него снова начинается разговор с самим собой.

В другие времена может быть так, что целый день заполнен основной работой. Она продвигается хорошо и уверенно, она достигла такого уровня, когда изначальный замысел и сомнения остались позади, она так полно совпадает с тем, что, собственно, есть ты сам, что вне ее не происходит ничего, не остается ничего. Существуют хорошие, даже значительные писатели, которые в таком состоянии способны писать книгу за книгой. *Самим себе* им сказать нечего, за них все говорит их книга. Им удастся без остатка раствориться в своих персонажах. Нередко они вырабатывают некий поверхностный слой, текстуру, настолько богатую и своеобразную, что она непрерывно занимает их внимание и чувственную память. Это настоящие литературные мастера, счастливы среди писателей. Естественно, они стараются сократить интервал между одним и другим произведением до минимума. Своеобразие выработанной ими поверхности снова манит их к работе. Переменчивость и переливчатость мира, особую подвижность внешней жизни отразили они на этой поверхности и суетятся на ней так, как другие суетятся в действительном мире.

Я вовсе не из тех, кто относится к этому роду писателей с иронией или тем паче с насмешкой. Их надо оценивать, исходя из необходимости их своеобразия: к ним принадлежит немалая часть лучших авторов мировой литературы. Бывают минуты, когда хочется жить в таком мире, где писатели другого рода были бы просто немыслимы. Но от этих писателей настоящих дневников ждать не приходится. Они усомнятся в том, что таковые вообще возможны. Их уверенность и успех должны внушать им презрение к другим, менее ровным натурам. Достаточно, однако, назвать имя Кафки *, с чьей сущностью и своеобразием не посмел бы тягаться никто, даже лучший из нынешних самоуверенных, чтобы уличить их в чрезмерной нетерпимости. Может быть, их заставило бы задуматься, что наиважнейшее из оставленного таким человеком, как Павезе, — это его дневники *, то непреходящее, что он создал, содержится именно здесь, а не в его художественных произведениях.

Итак, в дневнике человек говорит с самим собой. Но что это значит? Разве ты фактически делишься на две фигуры, которые ведут между собой настоящий диалог? И кто эти двое? Почему их только двое? Разве их не может, не должно быть больше? Разве не имел бы ценности дневник, где человек все время обращался бы ко многим, а не к одному себе?

Первое преимущество фиктивного «я», к которому обращаешься, состоит в том, что оно тебя действительно слушает. Оно всегда на месте и не отворачивается. Оно не притворяется, будто

ему интересно, оно невежливо. Не перебивает тебя, дает выговориться. Оно не только любопытно, но и терпеливо. Я могу здесь говорить лишь на основании собственного опыта, но я не перестаю удивляться, что есть некто, слушающий меня так же терпеливо, как я слушаю других. Но не надо воображать, будто этот слушатель облегчает тебе дело. Поскольку у него есть то достоинство, что он тебя понимает, перед ним невозможно лицемерить. Он не только терпеливый, но и злой. Он тебе ничего не спустит, потому что видит тебя насквозь. Замечает мельчайшие подробности, и едва начнешь лукавить, как он мигом ткнет тебя в них носом. За всю мою как-никак шестидесятилетнюю жизнь я никогда не встречал более опасного собеседника, а ведь я знал таких, каких никто бы не постыдился. Пожалуй, его особое преимущество в том, что он не защищает собственные интересы. Ему свойственны реакции самостоятельной личности, но у него нет ее мотивов. Он не защищает никакой теории, не гордится никакими открытиями. Его чутье к властолюбивым или тщеславным побуждениям просто страшно. Разумеется, весьма кстати, что он знает тебя вдоль и поперек.

Если он находит у меня неточность, недостаток понимания, слабость, медлительность, то налетает молнией. Когда я говорю: «Да ведь это неважно, я тревожусь о чем-то более значительном, чем я сам, о состоянии мира, моя задача предостеречь, вот и все», он смеется мне в лицо.

«Все-таки, все-таки», — говорит он тогда; я позволю себе процитировать его здесь дословно: «Ошибка благодетелей — это подлое словосочетание меня сразу же разозлило — в том, что из-за ответственности, которую они чувствуют, из-за блага, которого, возможно, действительно желают, они забывают выработать инструмент, способный помочь им изучить людей и постичь их во всех подробностях, грубых и тонких. Ибо от этих самых людей проистекает все: и самое страшное, и самое обыденное, и самое опасное, что происходит. Нельзя надеяться на дальнейшее существование человечества, если не знать досконально людей, из которых оно состоит. Как же ты смеешь говорить о себе такую ложь лишь потому, что она тебе удобна?»

Бывали случаи, когда я предвидел нечто страшное, — я имею в виду мировые события, и они происходили именно так. Лучше всего для меня было бы это записать. Я бы мог потом это себе доказать, это было бы зафиксировано задолго до того, как сбылось. Быть может, я хотел таким образом отхватить себе право на дальнейшие предсказания. Я привожу здесь уничтожающий ответ на это моего партнера, он важнее, чем тщеславное удовлетворение от сбывшегося предсказания:

«Предостерегающий пророк, чье прорицание сбывается, — это фигура, чтимая не по праву. Он слишком облегчил себе де-

ло, дав ужасам, которых страшится, взять над собою власть еще до того, как они наступили. Он думает, что предостерегает, но по сравнению со страстной силой его предвидения это предостережение ничего не стоит. За его предвидение им восхищаются, но нет ничего легче. Чем ужаснее его предвидение, тем скорее оно становится правдой. Восхищаться надо было бы пророком, предсказавшим что-то *хорошее*. Ибо оно, и только оно, неправдоподобно».

Совесть, добрая, старая совесть — слышу я торжествующий голос какого-то читателя, — он беседует со своей совестью! Хвастается тем, что ведет дневник, чтобы побеседовать со своей совестью! Но это не совсем так. Тот, другой, с кем ты говоришь, *меняет* роли. Верно, что он может выступать в роли совести, и я ему за это очень признателен, потому что остальные тебе ее слишком уж облегчают, кажется, будто люди с каким-то сладострастием дают себя *уговорить*. Однако не всегда совесть — он. Иногда это *я сам*, и я говорю с ним в отчаянии, обличая себя с горечью, какой никому бы не пожелал. Тогда он вдруг становится прозорливым утешителем, который точно определяет, в чем я захожу слишком далеко. Он видит, что как писатель я часто приписываю себе злобные выпады и скверные убеждения, а они совсем не мои. Он напоминает мне, что в конечном счете важно то, что человек *делает*, потому что думать каждый может что угодно. Насмешливо и весело срывает он маски зла, в которых ты предстаешь, и показывает тебе, что ты вовсе не такой уж «интересный». За эту роль я ему, в сущности, благодарен еще больше.

У него еще много ролей, в конце концов было бы скучно разбирать все. Но одно теперь ясно: дневник, не имеющий такого последовательно диалогического характера, кажется мне ничего не стоящим, свой я не мог бы вести иначе, чем в форме такой беседы с самим собой.

Я не склонен думать, что настороженность этих двух фигур, порой охотящихся друг на друга, — пустая игра. Надо помнить, что человек, не признающий внешних авторитетов веры, должен воздвигнуть внутри себя нечто им соответствующее, иначе он превратится в беспомощный хаос. То, что он позволяет собеседникам менять роли, позволяет играть, не значит, что он не принимает их всерьез. В этой игре он мог бы, если только ему это удастся, достичь под конец более тонкой моральной чувствительности, чем дают ему принятые в мире правила. Ведь последние мертвы для многих потому, что им никогда не разрешается играть, их неподвижность лишает их жизни.

Возможно, это важнейшая функция дневника. Было бы заблуждением считать ее единственной. Потому что в дневнике говоришь не только с самим собой, с другими говоришь тоже.

Все разговоры, которые в действительности никогда нельзя довести до конца, потому что они окончились бы потасовкой, все абсолютные, беспощадные, уничтожающие слова, которые ты нередко готов сказать другим, находят здесь свое выражение. Здесь они остаются в тайне, ибо если дневник не тайный, то это не дневник, и лучше бы люди, все время что-то читающие другим из своего дневника, писали письма или даже устраивали вечера с декламацией. [...]

Чтобы сохранить настоящий дневник в тайне, недостаточно самых изощренных хитростей и мер предосторожности. Замкам доверять нельзя. Тайнопись лучше. Я пользуюсь видоизмененной стенографией, которую невозможно расшифровать, не посвящая этой работе неделю за неделей. Так я могу записывать все, что хочу, не вредя и не причиняя боли ни одному человеку, и, став наконец старым и умным, решить, уничтожу ли я дневник окончательно или спрячу в надежном месте, где его можно будет найти только случайно, в безопасном будущем.

Мне еще никогда не удавалось вести дневник во время путешествия в новую для меня страну. Меня так занимает множество незнакомых людей, с которыми мы объясняемся, не понимая друг друга, то ли знаками, то ли подобием слов, что я даже не смог бы взять в руки карандаш. Язык, в обычное время инструмент, которым, как тебе кажется, ты умеешь орудовать, вдруг опять становится диким и опасным. Ты поддаешься его соблазну, и отныне он тобою орудует. Неверие, доверие, двусмысленность, хвастовство, сила, угроза, отталкивание, досада, обман, нежность, гостеприимство, удивление — все это есть, и все воспринимается так непосредственно, будто раньше ты этого никогда не замечал. Слово, написанное *об этом*, лежит на бумаге как бездыханный труп. Я остерегаюсь сделаться убийцей среди подобного великолепия. Но стоит мне только снова оказаться дома, как я наверстываю каждый день. По памяти, иногда с трудом, воздаю дням то, что им причитается. Бывали путешествия, когда дневник задним числом отнимал у меня вдвое больше времени, чем сами поездки.

Я полагаю, что, записывая путевые впечатления, скорее всего думаешь о читателях. Чувствуешь, что они могут быть, но при этом не фальшивишь. Вспоминаются рассказы других людей, ставшие соблазном к путешествию. Приятно выразить благодарность собственным рассказом.

Вообще дневники других людей имеют большое значение. Какой писатель не читал дневников, державших его в плену всю жизнь? Возможно, здесь как раз будет уместно кое-что об этом сказать.

Начать можно с того, что ты читал в детстве: дневники великих путешественников и первооткрывателей. Вначале тебя при-

влекает приключение само по себе, независимо от нравов и культур, связанных с чужеродными людьми. Самое неприятное для ребенка — это пустота, которой он не знает, его самого никогда в полном одиночестве не оставляют, он всегда окружен людьми. И вот он пускается в путешествие на Северный или Южный полюс или в длительное плавание по морям в маленькой шлюпке. Самое волнующее — пустота вокруг, опаснее всего она ночью, когда он пугается самого себя. В такой дали и пустоте ему неизгладимо врежется в память чередование дня и ночи, ведь у путешествия, которое все время продолжается, есть цель, до ее достижения или до катастрофы оно не прерывается, и я думаю, что ребенок в страхе следит за календарем.

Затем следуют путешествия в неведомо кем населенные края: в Африку и девственный лес, и вот первое проявление чужих обычаев — нападение людоедов. Ужасы подстегивают его любопытство, однако он уже хочет узнать что-то и о других, незнакомых людях. Шаг за шагом прокладывает он себе путь через девственный лес, точно отмечая число ежедневно пройденных миль. Все формы, которые позднее обретут кем-то совершенные новые открытия, здесь уже наглядно представлены. Приключение за приключением, но расписанные по дням, затем ужасное ожидание пропавших, попытки спасти их или их мучительный конец. Не думаю, что позднее, когда он станет взрослым, найдутся дневники, которые будут столь же много для него значить.

Но тяга в даль остается, и интерес к ней неутолим. Поэтому человек ненасытно копошится в минувших эпохах и чужих культурах. Застылость собственного существования усиливается, а это занятие — самое неисчерпаемое средство для метаморфозы. Впечатления, которых жаждешь и которые дома тебе заказаны, вдруг оказываются чем-то самым обычным там, куда тебя занесло чтение. Ситуация, в какой ты находишься дома, определена до мелочей, все, что ни делаешь, распределено по часам, они ежедневно одни и те же; люди, которых знаешь, знакомы между собой; тебя обсуждают и охраняют, со всех сторон — уши и знакомые глаза. Оттого что все сковано и дальше становится еще скованней, образуется гигантский резервуар неутоленной жажды перемен, и лишь известия с настоящей чужбины способны привести его в движение.

Особый и слишком мало используемый клад — дневники путешествий, где другие культуры описаны не европейцами, а людьми самих этих культур. Назову лишь два наиболее подробных, которые я постоянно перечитываю: книгу китайского паломника Сюань Цзана *, который в седьмом веке посетил Индию, и араба Ибн Баттута * из Танжера, объездившего за двадцать пять лет весь исламский мир четырнадцатого века, Индию, а возможно, и Китай. Но этим клад экзотических дневников не

исчерпывается. Из Японии мы получили литературные дневники, которые по тонкости и точности не уступают Прусту: «Записки у изголовья» придворной дамы Сэй Сёнагон * — совершеннейшие из записок, какие мне вообще известны, — и дневник создательницы романа о принце Гэндзи, Мурасаки Сикибу *; обе дамы жили где-то в десятом веке при одном дворе, были хорошо знакомы, но не расположены друг к другу.

Полной противоположностью этим рассказам из дальних стран служат дневники из *ближних*. Здесь речь идет о близких и родственных людях, в которых узнаешь *себя*. Прекраснейший пример такого рода в немецкой литературе — дневники Геббеля *. Любишь их потому, что там почти нет страницы, на которой не нашлось бы чего-то, касающегося тебя лично. Может возникнуть ощущение, что то или иное ты уже где-то записал сам. Возможно, ты даже действительно это сделал. А не сделал, то, конечно же, мог сделать. Этот процесс интимного сближения волнует уже потому, что рядом со «своим» сразу же находишь кое-что другое, о чем ты сам так никогда бы не подумал или не написал. Это игра двух взаимопроникающих умов: в некоторых точках они соприкасаются, в других между ними образуются пустоты, которые ничем не удалось бы заполнить. Схожее, как и различное, находится так близко одно к другому, что побуждает к размышлению; нет ничего более плодотворного, чем такие дневники из ближних стран, как можно было бы их назвать. Но им неотъемлемо присуще, что они «полные», то есть весьма содержательные и писались не под контролем определенной цели.

Религиозные дневники, где описывается борьба за какую-то веру, сюда не относятся, они придают силу лишь тем, кто вовлечен в такую же борьбу. Действительно свободный, истинный ум, который воспринимает все настолько серьезно, что еще не может предаться чему-то одному, они скорее будут подавлять. Остатки свободы, которые в них еще можно обнаружить, внутреннее сопротивление, считавшееся слабостью, тронут читателя сильнее, чем то, что писавший считал своей силой: постепенную сдачу позиции. Самые поразительные примеры, взрывающие форму дневника, — дневники Паскаля и Кьеркегора * — я сюда не причисляю, они шире своего замысла, поэтому в этих дневниках есть все.

Часто приходится слышать, что дневники других людей дают тебе мужество писать правду в твоём собственном. Признания выдающихся людей, занесенные на бумагу, оказывают длительное воздействие на других. «Такой человек говорит, что он сделал то-то и то-то. Нечего мне робеть, если и я сделал то же самое». Здесь причудливым образом расширяется ценность

образца. Отрицательное в нем дает мужество выступить против отрицательного в себе.

Несомненно, что без великих образцов не создается ничего вообще. Но в произведениях великих есть и нечто парализующее: чем глубже человек их постигает, то есть чем он талантливее, тем тверже он говорит себе, что они недостижимы. Однако опыт доказывает обратное. *Несмотря* на превосходство античных образцов, возникла современная литература. Сервантес, уже *после того*, как он написал «Дон-Кихота», то есть превзошел все, что дала античность в жанре романа, считал бы для себя честью, если бы мог сравниться с Гелиодором *. Действие образца точно еще не изучено, и здесь не место всерьез поднимать эту огромную тему. И все-таки до чего любопытно видеть, какую роль Вальтер Скотт, один из самых несъедобных писателей всех времен, играл для Бальзака, с которым он не имеет ничего общего. Жажда оригинальности, столь характерная для модерна, обнаруживает себя в том, что он ищет образцы, которые лишь кажутся таковыми и которые он разрушает, дабы громко утвердиться *вопреки* им. Истинные же образцы, от которых он зависит, остаются тем надежнее спрятанными. Этот процесс может совершаться бессознательно; часто он бывает сознательным и обманным.

Для тех же, кому не нужно ни достигать оригинальности обманом, ни подчеркивать ее, для кого пыл великих умов, которые, так сказать, вытолкали их на свет, никогда до конца не иссякает, кто, нисколько себя не роняя, всегда может к ним вернуться, — для тех неоценимое счастье, если находятся дневники их духовных предков, находятся слабости, над которыми бьются они сами. Готовое произведение имеет подавляющий перевес. Кто еще глубоко увяз в своем собственном, не знает, куда оно ведет, не знает, удастся ли его завершить, может тысячу раз отчаяться. Видеть сомнения тех, чье творение удалось, придает ему силы.

Но к этой практической, рабочей ценности дневников других авторов прибавляется еще и действие более общего свойства — действие *упорства*, какое они обнаруживают. В каждом дневнике, заслуживающем этого названия, постоянно возвращаются определенные навязчивые идеи, подавленность, личные проблемы. Они проходят через всю жизнь человека, составляя ее неповторимость. Кто от них избавился, кажется каким-то неживым. Борьба с ними так же неизбежна, как их неотвязность. Сами по себе они отнюдь не всегда интересны, и все же они образуют определяющее в данном человеке, он так же не может без них обойтись, как без своих костей. Бесконечно важно распознать у других это упорство и неотвязность, дабы спокойнее взглянуть на нечто похожее у себя и не приходиться в отчаяние.

Образы какого-то произведения подобного воздействия оказать не могут, ибо они существуют благодаря счастливому отдалению от их создателя, они как можно дальше отодвинуты от его собственных внутренних процессов.

Мне кажется, что в жизни бывают такие особенности, которые точнее всего передаются в дневнике. Не знаю, у всех ли они одни и те же. Можно себе представить, что *медлительному* человеку, для которого все и без того раскрывается лишь постепенно, надо было бы обрести противоположное свойство. Мгновенность записей была бы для него необходимым упражнением, таким способом он научился бы иногда летать и оглядывать мир с таких точек зрения, для которых требуется большая скорость, и так дополнил бы свою природную способность к медленному раскрытию.

Быстрым, тем, кто подобно хищному зверю набрасывается на каждую ситуацию и на каждого человека, так вгрызается им в сердце, что разрушает их телесный облик, можно было бы предложить обратное: медлительный дневник, в котором наблюдаемое приобретает с каждым днем другой вид. С трудом принуждая себя не слишком быстро идти к цели, они волея-неволей приобретут измерение, которое иначе осталось бы для них недоступным.

Стендаль принадлежит к быстрым. Правда, он возвращается в необычайно богатом мире и неизменно на него отзывчив. Однако у его дневников было немного тем, и он все время трактует их по-новому. Впечатление, будто он свои старые дневники время от времени переписывал заново. Поскольку по-настоящему медлительным он быть не может, он все время рассматривает одно и то же. Это тот самый процесс, который в конце концов привел его к большим романам. Даже те два из них, что им закончены *, чьему воздействию на других не видится конца, для него, в сущности, не таковы. Он — полная противоположность тем писателям, кто с уверенностью отстраняет от себя одно произведение за другим и может взяться за новое, лишь когда старое покажется ему чужим.

Писателя, который полнее всех выразил наше столетие и которого я поэтому ощущаю как его самое характерное проявление, — Кафку — вполне можно в этом смысле сравнить со Стендалем. Он ничего не заканчивает, от первых и до последних дней его тревожит одно и то же. Он все время это ворочает, переписывает, меряет другими шагами. Оно неисчерпаемо, его невозможно было бы исчерпать, проживи Кафка хоть вдвое больше. Однако он принадлежит к медлительным в той же мере, что Стендаль — к быстрым. Быстрые имеют склонность считать свою жизнь счастливой. Так что творчество Стендаля окрашено в цвет счастья, творчество Кафки — в цвет бессилия. Но творче-

ство обоих коренится в пожизненном дневнике, который продолжается оттого, что ставит себя под сомнение.

Несомненно, покажется дерзостью, если, представив две такие фигуры, стойко выдержавшие испытание временем, я начну говорить о своем. Но человек может дать только свое. И я хочу еще, чтобы дополнить сказанное, назвать темы, составляющие навязчивые идеи моего дневника и занимающие в нем наибольшее место. Наряду со многим другим, что остается эфемерным и разбросанным, именно эти темы варьируются снова и снова, до истощения.

Это прогресс, регресс, сомнения, тревога, упоение работой над книгой, которая сопровождала меня большую часть моей жизни и основную долю которой я теперь мог с уверенностью выпустить из рук. Затем это загадка *превращения* * и самое концентрированное выражение, какое она получает в литературе, — драма, не перестававшая занимать меня с десятилетнего возраста, когда я впервые прочел Шекспира, и с семнадцатилетнего, когда я столкнулся с Аристофаном и греческими трагиками, и вот я веду учет всего драматического, что мне встретится, всех драм и мифов, если это еще подлинные мифы, но и того также, что теперь называется мифами, жалких псевдомифов. Кроме того, это встречи с людьми из стран, которых я либо не знаю совсем, либо знаю особенно хорошо. Это истории и судьбы друзей, которых я очень давно потерял из виду и вдруг нашел снова. Это борьба за жизнь самых близких мне людей, борьба против болезней, операций, опасностей, тянувшихся десятилетиями, борьба против угасания их воли к жизни. Это все признаки скупости и зависти, которые меня злят, я их с детства ненавижу, но также черты великодушия, доброты и гордости, которые я боготворю. Это ревность, лично мне близкая разновидность власти, тема, которую, правда, исчерпал Пруст, но ее все-таки надо вновь страдать в себе. Это все еще любой вид ослепления: хотя я очень рано попытался его воплотить, оно ни на минуту не теряло для меня своей притягательной силы. Это проблема веры, веры вообще и в каждом из ее проявлений, веры, к которой я склоняюсь по своему происхождению, которой, однако, не предамся до тех пор, пока не разгадаю ее природу. Наконец, и этим я одержим всего сильнее, это смерть, которой я не могу признать, но которой никогда не перестану заниматься, которую должен тревожить в самых ее потайных уголках, чтобы уничтожить ее привлекательность и ложный блеск.

Как видите, тем довольно много, хотя я назвал лишь самые первоочередные, и я не знаю, как бы я мог с ними существовать, не отдавая себе постоянно в них отчета.

Ведь что считаешь актуальным и в конце концов видишь воплощенным в произведения, не слишком недостойные тех лю-

дей, которые будут их читать,— это лишь малая толика того, что разыгрывается ежедневно. А так как это продолжается изо дня в день и не намерено прекращаться, то я никогда не окажусь в числе тех, кто стыдится несовершенства дневника.

1965

РЕАЛИЗМ И НОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Реализм в узком смысле слова был методом охвата действительности в романс. Действительности в *целом* — важно было ничего из нее не исключать в угоду эстетическим или буржуазно-нравственным условностям.

Это была действительность, какой ее видели некоторые непредвзятые и свободные умы девятнадцатого века. Они и тогда уже видели не все, и в этом их основательно упрекали те из современников, что упорно предавались другим, по видимости странным упражнениям. Однако даже в том случае, если бы мы могли с полной убежденностью признать, что немногие поистине выдающиеся реалисты достигли своей цели, что им удалось целиком охватить в романе тогдашнюю действительность, что их время без остатка вошло в их произведения, — что бы это нам дало? Разве могли бы те из нас, кто ставит себе ту же цель, но с позиции нашего времени, кто считает себя современными реалистами, пользоваться теми же методами?

Нетрудно предсказать, каков будет ответ на этот вопрос, но прежде, чем мы его дадим, следует вспомнить, что случилось с тогдашней действительностью. Она изменилась настолько чудовищно, что даже первое представление об этом повергает нас в небывалую растерянность. Попытка справиться с этой растерянностью приведет, по-моему, к тому, что мы начнем различать три существенных аспекта свершившихся перемен. Существует *нарастающая* и более *точная* действительность, существует и третья — действительность *грядущего*.

Легко понять, что подразумевается под первым из этих аспектов под *нарастающей* действительностью: всего стало гораздо больше, не только количественно — больше людей и вещей, — но и качественно — всего тоже бесконечно больше. Отовсюду стекается старое, новое и иное. Старое: раскопки открывают все больше прошлых культур, история и предыстория откатываются все дальше назад. Раннее искусство загадочного совершенства навсегда лишило нас права кичиться нашим собственным. Земля снова населяется своими самыми древними умершими. Они воскресают для нас из найденных костей, утвари, наскальных рисунков и живут в нашем представлении, как

жили для людей прошлого века карфагеняне и египтяне. Новое: да ведь многие из нас родились еще до того, как люди стали летать, а теперь мы, не задумываясь, полетели в Вену. Одно другого из наших молодых современников еще запустят туризмом на Луну, и, быть может, ему придется потом стыдиться, что по возвращении оттуда он опубликовал описание чего-то настолько банального, — так же, как я теперь стыжусь перечислять другие «новшества». В дни моего детства они еще фигурировали как считанные единичные чудеса: моя первая электрическая лампочка, мой первый телефонный разговор, — ныне новшества роятся вокруг нас, как москиты.

Помимо старого и нового, я упомянул еще иное, стекающееся со всех сторон, — легко достижимые чужие города, страны, континенты, второй язык, который, в сущности, усваивает каждый наряду со своим родным, а многие изучают еще третий и четвертый. Пристальное исследование чужих культур, художественные выставки других стран, переводы их литератур. Изучение еще живущих примитивных народов: их материальный быт, устройство общества, их верования и ритуалы, их мифы. Абсолютно иное, что здесь заключено (волнующе содержательные находки этнологов), безмерно, и это никак нельзя, как раньше допускали все и как ныне хотели бы допустить еще многие, мерить какой-то одной меркой.

Для меня лично *это* нарастание действительности имеет наибольшее значение, ибо его усвоение требует больших усилий, чем усвоение чего-то банально нового, что для всех очевидно, а может быть, дело еще и в том, что оно весьма полезным образом сбивает с нас спесь, раздувающуюся от всего нового без разбору. Так, люди между прочим узнают, что все уже было предугадано в мифах, что мы сноровисто реализуем сегодня древнейшие представления и желания. Что же до нашей собственной фантазии касательно новых желаний и мифов, то тут дело у нас обстоит плачевнейшим образом. Мы заученно бубним старые, как тибетская молитвенная трещотка *, и порой даже не понимаем, что означают заложенные в нее молитвы. Этот опыт должен был бы заставить особенно задуматься нас, писателей, прежде всего призванных к изобретению нового. Наконец, я не хотел бы оставить без внимания тот факт, что Иное, о котором мы теперь впервые по-настоящему узнаем, касается не только людей. Жизнь, какую испокон веков вели животные, приобретает для нас иной смысл. Расширяющиеся познания только их обрядов и игр доказывают, что животные, которых мы еще триста лет тому назад официально объявили машинами, обладают чем-то вроде цивилизации, какую можно сравнить с нашей.

Расширение нашего столетия, его действительность, нара-

стающая с ускорением, цели коего не видно, обусловили и его смятение.

Сюда непосредственно примыкает и второй аспект — более *точной* действительности. Корень этой точности очевиден, это наука, вернее сказать, естественные науки. Уже реалистические романисты девятнадцатого столетия в своих великих начинаниях ссылались на науку: Бальзак хочет исследовать и классифицировать человеческое общество с такой же точностью, как зоолог — животный мир. Его честолюбивая цель — стать Бюффоновым * общества. Золя в своем манифесте об экспериментальном романе тесно примыкает к физиологу Клоду Бернару * и страницами цитирует его «Introduction à l'étude de la médecine expérimentale» ¹. Систематической науки, например зоологии, повлиявшей на Бальзака, для Золя уже недостаточно: он убежден в том, что романист должен взять за образец экспериментальную науку, и вполне серьезно считает, что в своем творчестве применяет методы физиолога Бернара. Наивность этого образа мыслей очевидна, сегодня нет нужды об этом распространяться. (Было бы, впрочем, опасно, исходя из него, судить о ценности произведений, оказавшихся под его влиянием.) Следует однако помнить, что оглядка на научные методы или теории все время продолжается, в сущности, с тех пор она и не прерывалась. Можно еще почитать за счастье, что существует так много и таких разных научных дисциплин и направлений. Влияние Уильяма Джеймса * столь же мало повредило Джойсу, как влияние Бергсона — Прусту *, а Музилю с помощью гештальтпсихологии удалось защититься от психоанализа *, который убил бы его произведения. Точность отражается также в стремлении к полноте, отличающей Джойса: один-единственный день, но день полный, запечатленный в каждом шевелении тех, кто его прожил; ни одно мгновение не утрачено и не пропущено, книга становится тождественна дню *.

Но я хочу здесь подчеркнуть как раз влияние научной точности, научных методов на действительность вообще. Технические процессы как таковые, число лабораторий, в которых работают люди, тоже способствуют более точной действительности. Многие устройства, вошедшие в повседневность, могут действовать лишь благодаря неусыпной точности. Сектор «приблизительности» в делах и познаниях быстро сокращается.

Люди пользуются все меньшими единицами мер и весов. Аппараты, более надежные, чем мы сами, освобождают нас от все возрастающей доли умственного труда. Контроль, осуществляе-

¹ «Введение в изучение экспериментальной медицины» (франц.).

мый над всем и вся, возможен лишь при его точности. Интерес к машинам практически овладевает каждым молодым человеком. От точности механизмов, предназначенных для разрушения, зависит, уничтожат ли они свою цель или преждевременно разрушат само место своего производства. Даже особая и довольно старая сфера жизни — бюрократия изменяется в том же направлении. Можно предположить, что вскоре чиновники тоже с помощью аппаратов будут повсюду точно и немедленно все понимать, точно и немедленно на все реагировать. С усилением специализации рука об руку идет усиление точности. Действительность разделена, подразделена и постижима с разных сторон до мельчайших своих единиц.

Третьим аспектом действительности я назвал *действительность грядущего*. Грядущее не такое, как раньше, оно надвигается быстрее, и мы сознательно его приближаем. Опасности, которые оно с собой несет, — дело наших рук, но таковы и заключенные в нем надежды. Действительность грядущего раскололась: на одной стороне уничтожение, на другой — хорошая жизнь. Обе стороны активны одновременно — в мире, в нас самих. Эта расколотость, это двойное грядущее всеохватно, и ни один человек не может от него отвернуться. Каждый видит одновременно и мрачную и светлую фигуры, которые приближаются к нему с угнетающей скоростью. Как ни старайся не подпускать к себе одну, чтобы видеть только другую, обе присутствуют неизменно.

Есть достаточно оснований для того, чтобы иногда не смотреть на одну из них — мрачную. Повсюду на Земле в самых разнообразных формах существуют утопии, близкие к воплощению. Времена насмешек над утопиями и низведение их до чего-то презираемого миновали. Нет такой утопии, которую невозможно было бы реализовать. Мы обзавелись путями и средствами для того, чтобы осуществить все, абсолютно все. Смелость утопической воли возросла до такой степени, что мы уже всерьез не признаем и избегаем самого слова «утопия», избегаем его старой, несколько уничижительной окраски. Утопии разрезаются на сегменты и становятся планами, намеченными на определенное число лет. Каким бы ни было политическое кредо того или иного государства, ни одно государство, мало-мальски себя уважающее, принимающее себя всерьез, не обходится теперь без таких планов.

Ударная сила этих утопий колоссальна, но иногда они — иначе и быть не может — заглушаются уже существующим. Это не значит, что после передышки они вновь не придут в себя. Конфронтация утопии в ходе ее реализации с огромной суммой унаследованной действительности отзывается на отдельном человеке, вовлеченном в сферу этого начинания. Его оптимизм может ослабеть от грандиозности утопических требований. Пытка

усталостью может оказаться для того, кто принимал все всерьез, крайне тяжелой и гнетущей. У него может возникнуть потребность отразить чрезмерные требования насмешкой и издевкой.

Не следует, однако, забывать, что утопии бывают самые разнообразнейшие и что все они активны одновременно. Социальные, научно-технические, национальные утопии усиливают одна другую и одна об другую набивают себе шишки. Они отстаивают продолжение своей реализации, разрабатывая оружие, которое служит для запугивания. Мы знаем, какого характера это оружие. При фактическом применении оно с не меньшей силой обернулось бы против тех, кто его применил. Эту мрачную сторону грядущего, которая может стать действительностью, ощущает каждый. Наличие такого оружия впервые в истории человечества ведет к консенсусу о необходимости мира. Однако до тех пор, пока этот консенсус не превратится в план, противостоящий всем опасностям и против них всех осуществленный, мрачная сторона грядущего будет оставаться решающей частью действительности, гнетуще близкой, неотвратимой угрозой.

Именно этот двойной аспект грядущего, одинаково активно желанного и пугающего, особенно отличает действительность нашего столетия от действительности предыдущих. Нарастание и точность уже начали в ней обозначаться, и различаются они лишь по своей скорости и размаху. Аспект грядущего принципиально другой, и можно без преувеличения сказать, что мы живем в такой период мировой истории, у которого нет сходства с эпохой наших дедов в самом важном: у него нет нерасколотого будущего.

Можно ожидать, что один или несколько аспектов нашей действительности, как я кратко их изобразил, будут запечатлены в романе наших дней, иначе его навряд ли можно будет назвать реалистическим. Насколько это состоялось и как бы могло состояться, нам еще предстоит обсудить.

1965

ПАРОКСИЗМЫ СЛОВ

Речь в Баварской академии изящных искусств*

Было бы дерзко с моей стороны и, разумеется, бессмысленно говорить вам о том, чем обязаны люди языку. Я всего лишь гость в немецком языке, который я выучил только в восьмилетнем возрасте, и то, что вы сегодня приветствуете мое присутствие в нем, для меня значит больше, чем если бы я родился в его среде. Я не

могу даже считать своей заслугой, что сохранил ему верность, когда более тридцати лет тому назад приехал в Англию и решил там остаться. Ибо то, что в Англии я продолжал писать по-немецки, было для меня столь же естественно, как дышать и ходить. Иначе бы я не мог, другая возможность даже не возникала. Впрочем, я был добровольным пленником нескольких тысяч книг, которые мне посчастливилось привезти с собой, и я не сомневаюсь в том, что они изгнали бы меня из своей среды, как отщепенца, если бы я хоть в самой малости изменил свое отношение к ним.

Но, быть может, я вправе сказать вам несколько слов о том, что при таких обстоятельствах происходит с языком. Как он обороняется против неотступного нажима нового окружения? Меняется ли каким-то образом его агрегатное состояние, его удельный вес? Становится ли он более властолюбивым, более агрессивным? Или же уходит в себя и прячется? Становится более интимным? Могло ведь случиться, что он стал бы тайным языком, которым пользуешься только для себя.

Так вот, первое, что произошло: язык стал восприниматься с любопытством какого-то иного рода. Приходилось чаще сравнивать его с другим, особенно в самых повседневных оборотах, где разница была броской и осязаемой. Литературные сопоставления превращались в совершенно конкретные бытовые. Прежний или основной язык становился все более странным, особенно в деталях. Все в нем теперь бросалось в глаза, тогда как раньше — лишь немного.

Одновременно стал ощущаться спад самодовольства. Потому что перед глазами были случаи, когда пишущие люди сдавали позиции и из практических соображений переходили к языку новой страны. Теперь они жили, так сказать, своими новыми тщеславными усилиями, имевшими смысл вообще только в случае удачи. Сколь часто приходилось мне слышать, как люди, одаренные и неодаренные, с прямо-таки дурацкой гордостью заявляли: «Я пишу теперь по-английски!» А тот, кто без всякой перспективы на достижение внешнего успеха оставался верен прежнему литературному языку, должен был казаться себе самому человеком, порвавшим с внешним миром. Он ни с кем не тягался, он был одинок и даже немножко смешон. Он находился в более трудной ситуации, ситуация эта казалась безысходной, среди товарищей по несчастью он слыл чуть ли не дураком, а для людей приютившей его страны, среди которых он, в конце концов, должен был жить, долгое время был Никем.

Можно ожидать, что при таких обстоятельствах многое из написанного станет более частным, интимным. Кое-что начинаешь высказывать только для себя, чего бы ты раньше никогда не сделал. Убеждение, что это никуда не пойдет, так и останется

при тебе — ведь читателей для этого уже на найти, — дает тебе необычайное ощущение свободы. Среди всех этих людей, которые говорят о своих повседневных делах по-английски, ты владеешь неким тайным языком, он не служит больше никакой внешней цели, ты пользуешься им почти один, ты держишься за него с возрастающим упорством, как люди бывают привержены вере, которую поголовно все окружающие осуждают.

Но это лишь внешний аспект дела, есть и другой, который ты уясняешь себе лишь постепенно. Как человек с литературными интересами, ты склонен думать, что язык для тебя представляют произведения писателей и поэтов. Разумеется, это так и есть, и в конечном итоге ты ими питаешься, но к числу открытий, какие делаешь в иноязычной сфере, принадлежит одно совершенно особое: что тебя не отпускают сами слова, отдельные слова как таковые, вне каких бы то ни было широких духовных связей. Присущую словам силу и энергию особенно чувствуешь тогда, когда тебе часто приходится заменять одни слова другими. Словарь прилежного ученика, старающегося изучить другой язык, внезапно переворачивается: все хочет называться по-прежнему, так, как оно называлось раньше, называлось по-настоящему, второй язык, который ты и так слышишь все время, становится чем-то естественным и банальным, а первый, который защищается, предстает в каком-то особенном свете.

Я вспоминаю, что в Англии во время войны я страницу за страницей исписывал немецкими словами. Они не имели ничего общего с тем, над чем я работал. Не складывались они и в целые фразы и, естественно, не фигурировали в моих заметках тех лет. Это были изолированные слова, они не составляли смысла. На меня вдруг будто бешенство нападало, и я с молниеносной скоростью покрывал словами листы бумаги. Очень часто это бывали существительные, но не только, попадались также глаголы и прилагательные. Я стыдился своих припадков и прятал эти листки от жены. С нею я говорил по-немецки, она приехала со мной из Вены. Кроме этого, я мало что от нее скрывал.

Эти пароксизмы слов я воспринимал как нечто патологическое и не хотел ее этим тревожить, ведь в те годы у нас, как и у всех других людей, было достаточно много тревожного, чего нельзя было скрыть. Может быть, я должен также упомянуть, что мне крайне претит разбивать слова или каким-то образом их искажать, их облик для меня неприкасаем, я оставляю их нетронутыми. Так что трудно представить себе занятие более пустое, чем это нанизывание неприкосновенных слов. Когда я чувствовал, что предстоит такой пароксизм, я запирался, как для работы. Я прошу у вас извинения за то, что рассказываю вам про эту свою личную блажь, но должен еще добавить, что за этим занятием чувствовал себя особенно счастливым. С тех пор для меня

нет сомнений в том, что слова заряжены особым видом страсти. В сущности, они такие же, как люди, они не дают себя забросить или забыть. Как бы их ни прятать, они сохраняют жизнь, внезапно выскакивают вперед и предъявляют свои права.

Подобного рода пароксизмы слов, конечно, признак того, что нажим на язык стал очень сильным, что английский — в данном случае — не только хорошо знаешь, но что он часто и неоднократно тебе навязывается. В динамике слов произошла перегруппировка. Повторяемость услышанного приводит не только к тому, что это запоминаешь, но и к новым поводам, толчкам, движениям и встречным движениям. Какое-то старое привычное слово мертвеет в единоборстве со своим противником. Другие возвышаются над любыми соответствиями и сияют в своей неперевожимости.

Здесь речь идет — это необходимо подчеркнуть — не о случае изучения иностранного языка у себя дома, в комнате, с учителем, при поддержке всех тех, кто в твоём городе с утра до ночи говорит так, как давно привык говорить ты. Речь идет о беззащитности перед чужим языком на *его* собственной территории, где все стоит на его стороне и все вместе, с видимостью правоты, бесечно, неуклонно и непрестанно наносят тебе удары его словами. Дело еще и в том, что человек знает: он останется здесь, не уедет обратно ни через несколько недель, ни через несколько месяцев, ни через несколько лет. Поэтому для него важно понимать все, что он слышит, а это, как всякий знает, поначалу всегда самое трудное. Потом подражаешь услышанному, пока тебя тоже не начнут понимать. А еще происходит нечто, относящееся к прежнему языку: надо заботиться о том, чтобы он не вылезал не к месту. Так он постепенно оттесняется: его обносят забором, успокаивают, держат на поводке; и как ни гладят и ни ласкают втайне, на людях он чувствует себя брошенным и отверженным. Неудивительно, что иногда он за себя мстит и выпускает на человека рой слов, которые остаются изолированными, не складываются ни в какой смысл и чья атака покажется другим такой смешной, что принуждает тебя к еще большей скрытности.

Может показаться совершенно неуместным, что подобным личным языковым ситуациям я уделяю так много внимания. В наше время, когда все становится более и более загадочным, когда существование не только отдельных групп, но буквально всего человечества поставлено на карту, когда ни одно решение не оказывается идеальным, так как имеется слишком много противоречащих друг другу возможностей и большую их часть никто даже не в силах предвидеть, случается слишком много всего, и это застаёт нас врасплох, и прежде, чем мы это освоим, мы опять узнаем что-то новое; в наше время, быстрое, опасное и на-

сыщенное, которое благодаря этой опасности становится все насыщенные, — в такое время от человека, все же дерзающего мыслить, можно ожидать чего-то иного, нежели рассказ о состязании слов, происходящем независимо от их смысла.

Если же я все-таки кое-что об этом сказал, то обязан дать вам объяснения. Мне кажется, что нынешний человек, на которого в его увлеченности Всеобщим ложится все большая тяжесть, ищет для себя такой частной сферы, которая была бы его достойна, которая была бы четко отграничена от Всеобщего, но в которой это Всеобщее отражалось бы полностью и точно. Речь идет о своего рода переводе одного в другое, но не о таком переводе, который выбирают себе как свободную игру ума, а о таком, что столь же нескончаем, сколь и необходим, к которому ты принужден обстоятельствами реальной жизни, и все же это больше чем принуждение. Вот уже много лет, как я погружен в такой перевод; частная сфера, где я устроился вовсе не так уж уютно, где все должно делаться добросовестно и ответственно, — это немецкий язык. Удастся ли мне воздавать ему должное таким способом, я сказать не могу. Но я принимаю честь, которую вы мне сегодня оказываете и за которую я вас благодарю, как благоприятное предвесьтие того, что это еще может удалиться.

1969

ГИТЛЕР ПО ШПЕЕРУ

Величие и долговечность

Строительные планы Гитлера, как их показывает Шпеер *, — это, пожалуй, самая ошеломляющая часть его книги *.

Поскольку они представлены в фотографиях и являют разительный контраст со всем, к чему стремится современная архитектура, то, естественно, привлекли к себе наибольшее внимание. Каждому, кто бросит на них хоть беглый взгляд, они запомнятся навсегда.

Но мы не можем довольствоваться такими поверхностными констатациями. Нельзя полагаться на неповторимость подобных феноменов. Необходимо пристальней в них взглядеться и определить, из чего они *состоят*, как, в сущности, сложились.

Первое, что бросается в глаза — это подчеркивает и сам Шпеер, — соседство созидания и разрушения. Проекты строительства нового Берлина создавались в мирное время. Их окончание было намечено на 1950 год. Даже Шпееру, чудодею, быстрой своих свершений снискавшему доверие Гитлера, нелегко было бы осуществить их за такой срок. Одержимость, с ка-

кою Гитлер проводил в жизнь эти планы, не позволяет сомневаться в их серьезности. Однако одновременно разворачивался и его план покорения мира. Шаг за шагом, от успеха к успеху все больше раскрывались размах и серьезность также и этого намерения. Невозможно было себе представить, чтобы его удалось осуществить без войны, значит, война с самого начала принималась в расчет. Какой бы сильной позиции ни удалось добиться без войны, в конце концов она становилась неизбежной. Империя, которая поставила себе целью возвысить немцев, а возможно, и всех «германцев», поработив остальную землю, могла оперировать только страхом, *должны* были пролиться реки крови. Стало быть, Гитлер последовательно готовился к войне. Одновременность подготовки к войне со сроками осуществления строительных планов наводит на мысль, что этими планами Гитлер хотел прикрыть свои воинственные намерения. Это возможно, и Шпеер тоже допускает такое предположение, но удовлетвориться им не может. Приходится с ним согласиться, когда он обе стороны натуры Гитлера принимает как данность и ни одну из них не подчиняет другой. Обе эти страсти — к строительству и к разрушению — существуют и действуют в Гитлере с одинаковым напором.

Этим определяется и то сильное впечатление, какое его строительные замыслы производят на человека, знакомящегося с ними в наши дни. Рассматривая их, представляешь себе чудовищное разрушение немецких городов. Знаешь конец, а тут тебе вдруг показывают начало со всем его размахом. Именно в этом соседстве и кроется потрясающая сила такой конфронтации. Она кажется загадочной и необъяснимой. Но это концентрированное выражение чего-то другого, что беспокоит нас помимо Гитлера. В сущности, она и есть единственно неоспоримый, постоянно повторяющийся результат всей предшествующей «истории».

Она вынуждает нас исследовать всеми способами то внезапное обострение истории, каким можно считать появление Гитлера. Нельзя с негодованием и омерзением от этого отвернуться, хотя это и было бы так естественно. Но и довольствоваться обычными средствами исторического исследования тоже нельзя. То, что здесь их недостаточно, очевидно. Где тот историк, который сумел бы прогнозировать Гитлера? Даже если необычайно совестливой истории удалось бы сегодня раз и навсегда удалить из своего кровообращения присущее ей преклонение перед властью, то она в лучшем случае оказалась бы способна предостеречь от нового Гитлера. Но поскольку он появился бы в каком-нибудь другом месте, то и выглядел бы по-другому, и предостережение оказалось бы напрасным.

Для истинного постижения этого феномена нужны новые

средства. Их надо обнаружить, привлечь и применить, где бы они нам ни подвернулись. Метод для такого исследования пока еще утвердиться не может. Строгость специальных дисциплин оборачивается здесь предрассудком. Именно то, что от них ускользает, и составляет суть дела. Важнейшее условие — рассмотрение самого этого феномена как целого. Всякое самодовольство понятия, как бы это понятие себя ни оправдало, будет вредным.

Гитлеровские строения предназначены для того, чтобы собирать и удерживать вместе огромные массы людей. Он пришел к власти благодаря созданию таких масс, но он знает, насколько большие людские массы склонны к распаду. Чтобы противодействовать распаду массы, существуют, не считая войны, только два средства. Первое — это ее *рост*, второе — регулярное *возобновление*. Эмпирический знаток массы, каких найдется немного, он знает соответствующие ей формы и средства.

На гигантских площадях, столь огромных, что их трудно заполнить, массе дана возможность расти, она остается незамкнутой. Ее пыл — а он особенно заботит Гитлера — с ее ростом усиливается. Ему и его помощникам хорошо известно все, что обычно способствует образованию таких масс, — флаги, музыка, марширующие отряды, которые действуют как кристаллы массы, но особенно — долгое ожидание перед появлением главного действующего лица. Здесь незачем описывать все это в подробностях. Имея в виду характер строительных планов Гитлера, важно указать на понимание им незамкнутости массы, возможности ее роста.

Для регулярного *возобновления* сборищ служат здания культового характера. Прообразом для них являются соборы. «Купол-гора», запланированная для Берлина, должна иметь площадь в семнадцать раз большую, чем площадь собора святого Петра. В конечном счете такие здания служат для *замкнутых* масс. Сколь бы огромными ни были они задуманы, стоит им заполниться, и масса перестанет расти, она натолкнется на границы. Следовательно, вместо дальнейшего роста массы здесь важно, чтобы поводы для сборищ стали регулярными. Масса, которая расходится, покидая такое помещение, должна доверчиво ждать ближайшего повода, чтобы собраться снова.

Во время спортивных мероприятий масса собирается в замкнутый (или полужамкнутый) круг; бесчисленное количество людей сидит друг против друга, масса *видит себя*, следя за событиями, которые разыгрываются на середине. Как только образуются две партии, возникает двухмассовая система, порожденная борьбой на арене. Прообразы этой формы восходят к Древнему Риму.

Другая форма массы, которую я обозначил как медленную,

образуется во время процессий, манифестаций и парадов. Я не хочу повторять здесь то, что излагал по поводу этой формы в книге «Масса и власть». Однако Гитлер, несомненно, сознавал ее важность. В его планах ей особо предназначена Парадная улица шириной в 120 метров и протяженностью в 5 километров.

Эти здания и сооружения, которые на бумаге самой своей грандиозностью вызывают холодное и отталкивающее впечатление, в сознании их создателя заполнены людскими массами, и те ведут себя по-разному в зависимости от характера вмещающего их сосуда, от характера поставленных им границ. Чтобы дать точное представление о действиях, которых здесь следовало ожидать, надо было бы с начала до конца описать ход какого-нибудь массового мероприятия в каждом из этих сооружений в отдельности. Здесь мы себе такой задачи не ставим, достаточно будет отметить в общих чертах, каким образом оживлялись людьми эти здания и сооружения.

Оживление должно продолжаться и после смерти их создателя. «Ваш муж, — торжественно заявляет Гитлер жене Шпеера в тот вечер, когда они познакомились, — воздвигнет для меня здания, каких не строят уже четыре тысячи лет». Он думает при этом о египетских сооружениях, прежде всего о пирамидах из-за их величины, но и потому, что все эти четыре тысячи лет они неизменно стоят на месте. Их никак нельзя было спрятать, их ничем не заслонили, никакие события не могли им повредить, кажется, будто они, словно запас прочности, вобрали в себя тысячелетия, ради которых воздвигнуты. Их доступность, а также их долговечность произвели на Гитлера глубочайшее впечатление, возможно, он не вполне ясно сознавал, что эти пирамиды, по самому процессу их создания, служат также символами массы, однако при его чутье ко всему, связанному с массой, он, видимо, это чувствовал. Ибо эти сооружения из камней, свезенных и сложенных трудом бесчисленных людей, являются символом массы, которая больше не распадется.

Но *его* сооружения не были пирамидами, им надлежало перенять у последних только величие и долговечность. Они вмещали в себя пространство, которое должны были заново заполнять живые массы каждого поколения. Их следовало воздвигнуть из наипрочнейшего камня, во-первых, ради долговечности, но также и затем, чтобы продолжить традицию тех построек, что сохранились до его времени.

Понять эти тенденции с позиции самого создателя не составляет трудности. Конечно, вопрос долговечности — дело сомнительное, над ее сутью и ценностью следовало бы еще хорошенько задуматься. Однако, принимая во внимание, что человек охвачен таким стремлением к долговечности, что его безрассудство препятствует какому бы то ни было исследованию его смысла

или бессмысленности, представляется все же вполне возможным проследить, как оно выражается в подобных планах.

Массам, которые он привел в движение и благодаря этому пришел к власти, надо дать возможность возбуждаться снова и снова, даже когда его самого уже не станет. Поскольку его преемники не смогут делать это так, как делал он, ибо он неповторим, он оставляет им в наследство наилучшие средства, образцовые сооружения всех видов, которые послужат для дальнейшего возбуждения масс. То, что это его постройки, придает им особую ауру: он надеется прожить еще достаточно долго, чтобы их освятить и в течение нескольких лет даже заполнять собой. Воспоминание о его крепостных, его массах, которые всколыхнул он сам, должно в этих зданиях служить поддержкой его более слабым преемникам. Возможно, даже вероятно, что такого наследства они не заслуживают, но тем не менее власть, которую он приобрел благодаря своим массам, таким образом сохранится.

Ибо в конечном счете дело, разумеется, сводится к власти. К «вместилищам массы» надо прибавить то, что, так сказать, относится к его двору, резиденции власти: его рейхсканцелярию — его дворец, а неподалеку от нее — помещения министерств, которые получают власть от него.

Его особый каприз: он думает сохранить старое здание рейхстага. Это намерение вызвано у него, по-видимому, разницей в масштабах. Каким маленьким будет выглядеть старый рейхстаг рядом с новыми колоссами!

Его презрение к веймарскому времени, единственный смысл коего заключался в том, чтобы способствовать его возвышению, сообщится всем, кто углядит рейхстаг-карлик в тени его монументов-гигантов. Мы были так малы, а благодаря ему стали так велики. Но здесь играет роль и пиетет перед его собственной историей. В этом рейхстаге разыгралось множество важных для него событий, так что он должен быть причислен к алтарям его культа.

Свое собственное восхождение он почитает с суеверным трепетом. Ему недостаточно того, что каждая фаза этого восхождения будет описана официально, — этого он, как чего-то само собой разумеющегося, ждет от своей раболопной историографии, он и сам говорит об этом в присутствии своего большого и малого двора. Часами, все снова и снова распространяется он на эту тему. История его трудностей и его переменчивого счастья так хорошо известна его слушателям, что они могли бы продолжить рассказ, если сам он умолкнет. Иногда он и в самом деле умолкает и к тому же засыпает.

Особое расположение питает он к Линцу — городу своей юности. Он ничего не может забыть, а потому вспоминает и

о том, с каким презрением венское правительство относилось к Линцу. Против Вены он все еще таит глубокую злобу, там ему пришлось хлебнуть лиха, даже его триумфальный въезд туда в марте 1938 года не примирил его с Веной, и его по-прежнему интересует в этом городе только Ринг с его великолепными зданиями. Он считает непростительным, что при закладке Вены Дунай остался слева. Линц, напротив того, должен стать вторым Будапештом, с великолепными зданиями по обоим берегам Дуная. Это будет его резиденция в старости, и там он хочет воздвигнуть себе надгробный памятник. В конце концов Линц станет значительнее Вены и отомстит за унижения раннего периода его жизни своими впечатляющими новыми постройками. Лелеемое им представление — чтобы Линц *превозмог* Вену.

Поскольку прозвучало это слово, мне представляется своевременным сказать кое-что о том, какую роль играет у Гитлера стремление к превосходству. Это дает, по-видимому, наилучшую возможность глубже вникнуть в механику его ума. Каждое из его предприятий, но также его самые глубокие желания продиктованы стремлением что-либо превзойти: можно пойти дальше и назвать его *работ стремления к превосходству*. Но в этом он отнюдь не одинок. Если бы кому-то поручили определить сущность нашего общества одной-единственной чертой, то можно было бы ограничиться только этой: стремление к превосходству. У Гитлера это стремление достигло такого размаха, что на него то и дело невольно натыкаешься. Вполне вероятно, что это стремление как-то объясняет его внутреннюю пустоту — Шпеер к концу своей книги находит для ее описания впечатляющие слова.

Все соизмеримо, и все соизмеряется в борьбе, но тот, кто превосходит других, — неизменно побеждает. Представление о неизбежности борьбы и оправдании победой всех видов претензий сидит в Гитлере так глубоко, что хоть он никогда не принимает в расчет собственное поражение, но на случай, если оно все-таки произойдет, находит справедливым также свое падение и гибель. Сильнейший — это *лучший*, сильнейший заслуживает того, чтобы побеждать. Пока это возможно, он, перехитрив противника, одерживает бескровные победы. Он рассматривает их как накопление сил для окончательного решения, которое должно быть кровавым — без кровопролития ничто по-настоящему не скреплено. Над столь быстро нарушенными договорами, которые заключил Риббентроп и которыми тот так гордился, Гитлер хохочет до слез. Договоры он не может принять всерьез уже хотя бы потому, что они не стоят крови, и политиков противной стороны, опирающихся на договоры, он считает ущербными, потому что они страшатся войны.

Но страсть к тому, чтобы мериться силой и добиваться пре-

восходства, Гитлер доказывает не только войнами. Он буквально этим отравлен, непрестанно и любыми способами ищет он возможности достичь превосходства, оно применяется как панацея против всех зол. Гитлер считает важным поручать одну и ту же задачу двум разным людям, чтобы каждый из них попытался превзойти другого.

Нет на всей земле ничего выдающегося, что не побудило бы Гитлера постараться это превзойти. Наполеон — это, несомненно, та фигура, которая сильнее всего возбуждает у него дух соперничества. Елисейские поля, ведущие к Триумфальной арке, имеют протяженность в два километра. Его Парадная улица будет не только шире, она и длинной будет в пять километров. Arc de Triomphe имеет в высоту 50 метров, его Триумфальная арка будет высотой в 120 метров. Объединение Европы было целью Наполеона, а вот ему оно действительно удастся. Поход в Россию предугазан ему Наполеоном. Энергия, какую он проявил в этом деле, упрямство в удержании позиций, завоеванных в России, позиций, которых уже нельзя было удержать, упорство вопреки всем советам и доводам людей более компетентных можно объяснить также стремлением перехлестнуть Наполеона. Кавказ он хочет удержать как базу для прорыва в Персию, здесь он соприкасается с индийскими планами Наполеона. То, что Наполеона в свою очередь подзадоривал пример Александра Македонского, свидетельствует о единой исторической традиции, по-видимому неискоренимой традиции неизменного возрождения Превосходящего.

Есть и более обыкновенные достижения, которые колют ему глаза. Почетная трибуна в Нюрнберге увенчана фигурой, которая на 14 метров превосходит высотой нью-йоркскую статую Свободы. «Большой стадион» в том же Нюрнберге вмещает в два-три раза больше народу, чем Circus Maximus в Риме. Тодт * делает проект висячего моста в Гамбурге, который должен превзойти Golden Gate Bridge в Сан-Франциско. Центральный вокзал в Берлине должен был затмить Grand Central Station в Нью-Йорке. В грандиозном зале собраний под куполом могли бы многократно уместиться вашингтонский Капитолий, римский собор св. Петра и еще многое впридачу. Сам Шпеер отнюдь не преуменьшает собственной роли в этих «перещеголяниях». Он был, по его словам, опьянен замыслом создать каменных свидетелей истории. «Но я воодушевлял и Гитлера, когда удавалось ему доказать, что мы «побили» выдающиеся исторические сооружения хотя бы в том, что касается размеров». Ясно, что Шпеер заразился гитлеровской манией величия и не мог противостоять все возрастающему доверию, какое выражал ему Гитлер. Но уже тогда он сделал одно наблюдение, вся важность которого, возможно, проявилась для него гораздо позже: «Его

страсть к сооружениям на века лишала его всякого интереса к проблемам транспорта, жилым кварталам и зеленым насаждениям: социальный план был ему безразличен».

Маниакальное стремление к превосходству сочетается, как я показал в книге «Масса и власть», с иллюзией *продолжения роста*. Последнее же воспринимается как своего рода гарантия продолжения *жизни*. Так что на самом деле эти планы, рассчитанные на долгие годы, следует рассматривать также как средство для продления его жизни. В эти годы он часто выражает сомнения в том, что его жизнь будет долгой. «Я проживу недолго. Я всегда думал, что у меня останется время для моих планов. Я должен осуществить их сам!» Подобные опасения в их специфической окраске характерны для параноической натуры. В мнимой или действительной хилости тела выражаются другие опасности, связанные с неодолимой претензией на величие. В случае Шребера *, у которого паранойя зашла гораздо дальше, эта связь просматривалась очень наглядно. Опасения такого рода, разумеется, вовсе не означают, что человек хоть в самой малости отказывается от своих притязаний на величие. Но достигается «полезное» взаимодействие между опасениями и притязаниями. Планы, за осуществление которых приходится опасаться, поскольку время, отпущенное человеку, часто оказывается слишком коротким, остаются столь же грандиозными или еще более разрастаются, дабы *он мог требовать* для себя продления жизни. Он *должен* жить до 1950 года, когда планы нового Берлина воплотятся в жизнь, и еще несколько лет после этого, чтобы он успел зарядить собой эти здания для своих более слабых преемников, то есть смог бы увековечить их для назначенной им функции.

Постепенное воздействие таких интенсивно преследуемых целей на людей, даже не столь честолюбивых, в сущности, поразительно. Не будь войны, повернувшей судьбу Гитлера к катастрофе, можно предположить, что в 1950 году он увидел бы свой новый Берлин, вопреки всем опасениям и всякой хилости.

Триумфальная арка

Из множества зданий, какие Гитлер запланировал для Берлина, милее всех его сердцу Триумфальная арка — может быть, наравне с большим Купольным залом. Эскиз для нее он создал еще в 1925 году. Модель, выполненная по этому эскизу, — сюрприз Шпеера к пятидесятилетию Гитлера в апреле 1939 года. За несколько недель до этого дня его войска вошли в Прагу. Время для Триумфальной арки представляется особенно подходящим. Гитлер глубоко взволнован подарком Шпеера. Его так

и тянет к этой модели, он подолгу ее рассматривает, демонстрирует гостям, фотография, запечатлевшая его восторг, приложена к «Воспоминаниям» Шпеера. Редко когда какой-либо подарок так глубоко волновал человека.

Раньше Гитлер со Шпеером часто говорили об этой Триумфальной арке. Она должна была достигать в высоту 120 метров, то есть быть более чем в два раза выше Наполеоновой Arc de Triomphe в Париже. «Это будет по меньшей мере достойный памятник нашим соотечественникам, погибшим в мировой войне. Имя каждого из 1,8 миллиона павших будет высечено в граните!» Это слова Гитлера, как их передает Шпеер. Невозможно более сжато выразить сущность Гитлера. Поражение в первой мировой войне не признается, а превращается в победу. Она будет возвеличена Триумфальной аркой, вдвое больше той, которой был удостоен Наполеон за все свои победы в совокупности. Тем самым ясно заявлено намерение превзойти его победы. Арка, поскольку стоять ей вечно, будет сооружена из твердого камня. Однако на самом деле она сложена из кое-чего более пенного — из 1,8 миллиона погибших. Имя каждого из павших будет высечено в граните. Так им будет воздана честь, но, кроме того, так они окажутся все вместе, сомкнутые более плотно, чем это могло бы произойти в какой бы то ни было массе. Своей огромной численностью они образуют Триумфальную арку Гитлера. Это пока что погибшие не на его новой, запланированной им и желанной ему войне, а те, что пали в первой, в которой он участвовал сам, как и всякий другой. Он выжил в этой войне, но остался ей верен и никогда от нее не отрекался. В памяти павших он и почерпнул силу не признавать исхода минувшей войны. Они были его массой, пока он не располагал никакой другой; он чувствует, что это они помогли ему прийти к власти, без павших на первой мировой войне он бы никогда не существовал. Его намерение свести их воедино в его Триумфальной арке — признание этой истины и его долга перед ними. Но это его Триумфальная арка, и она будет носить его имя. Едва ли кто-нибудь прочитает множество других имен — если даже действительно удастся высечь 1,8 миллиона имен, то подавляющее большинство их никогда не привлечет к себе внимание. Что останется у людей в памяти, так это их число, а это огромное число — придаток к его имени.

Ощущение массы мертвецов для Гитлера — решающее. Это и есть его *истинная* масса. Без этого ощущения его не понять вообще, не понять ни его начала, ни его власти, ни того, что он с этой властью предпринял, ни к чему его предприятия вели. Его одержимость, проявлявшая себя с жуткой активностью, и есть эти мертвецы.

Победы! Победы!

Победы! Победы! Если есть фатальная убежденность, преобладавшая у Гитлера над всякой другой, то это его вера в победы. Немцы, как только они перестают побеждать, — это уже совсем не его народ, он без особых церемоний отказывает им в праве на жизнь. Они оказались более слабыми, их не жалко, он желает им гибели, которую они заслужили. Если бы они побеждали и дальше, как повелось при его господстве, то были бы в его глазах иным народом. Люди, одержавшие победу, — это иные люди, даже если они те же самые. То, что столь многие еще верят в него, хотя их города лежат в развалинах и практически ничто не защищает их от воздушных налетов противника, не производит на него впечатления. Несостоятельность Геринга после стольких его пустых обещаний (что вполне ясно Гитлеру, поскольку Геринга он за это ругает) в конечном счете списывается опять-таки на массу немцев, ибо они больше не в состоянии побеждать.

Фактически дело обстоит так, что он злится на армию за каждый кусок завоеванной земли, который ей приходится оставлять. Он противится, пока может, тому, чтобы от чего-то отказываться, каких бы жертв это ни стоило. Ибо все, что завоевано, он ощущает как кусок собственного тела. Его физический распад в течение последних недель в Берлине, который весьма проникновенно изображает Шпеер, распад, вызывающий у Шпеера сострадание, несмотря на все, что предпринял Гитлер против него лично, есть не что иное, как увядание его власти. Тело параноика — это его власть, вместе с ней оно расцветает или увядает. До самого конца ему важнее всего — не допустить, чтобы враг расчленил это тело. Правда, он отдает распоряжение о последней битве за Берлин, дабы погибнуть, сражаясь, — клише из того исторического хлама, которым набита его голова. Но «я сражаться не буду, — говорит он Шпееру, — слишком велика опасность, что я буду только ранен и живым попаду в руки русских. Не хотелось бы мне также, чтобы враги надругались над моим телом. Я распорядился, чтобы меня сожгли». Он уйдет из жизни, не сражаясь сам, в то время как другие сражаются, и что бы ни случилось с этими другими, сражающимися за него, у него одна забота: чтобы не тронули его мертвое тело, ибо это тело было для него тождественно с его властью, содержало ее в себе.

Однако Геббельсу, который умирает совсем рядом с ним, удастся превзойти его даже в смерти. Он принуждает свою жену и детей умереть вместе с ним. «Моя жена и мои дети не могут меня пережить. Американцы только натакают их для пропаганды против меня». Это собственные слова Геббельса в переда-

че Шпеера. Последнему не разрешается проститься *наедине* с женой Геббельса, с которой он был дружен. «Геббельс все время был рядом со мной... Только перед самым концом она намекнула мне на то, что ее действительно волновало: „Как я счастлива, что хоть Харальд (ее сын от первого брака) остался жив"». Последний акт власти Геббельса состоит в том, что он не позволяет своим детям его пережить. Он боится, что их могут натаскать в его основной профессии, в пропаганде, против него. Что он под конец обеспечил себе *такое* посмертное удовлетворение, не следует рассматривать как возмездие за его деятельность — это ее кульминация.

Равнодушие Гитлера к судьбе своего народа, чье величие и процветание он столько лет выдавал за истинный смысл, за цель и содержание своей жизни, предстает в описании Шпеера с такой очевидностью, что оно кажется просто беспримерным. Это Шпеер неожиданно перенимает прежнюю мнимую роль Гитлера: пытается спасти то, что еще можно спасти для немцев. Его упорство в борьбе против Гитлера, который принял решение о полной гибели немцев и благодаря своей командной власти обладает еще достаточным могуществом, чтобы этого добиться, внушает уважение. Гитлер своего намерения нисколько не скрывает. «Если будет проиграна война, — говорит он Шпееру, — то погибнет и народ. Нет необходимости считаться с теми основами, которые необходимы немецкому народу для его хотя бы примитивного дальнейшего существования. Напротив того, лучше и эти вещи разрушить. Ибо этот народ оказался более слабым, и будущее принадлежит исключительно более сильному восточному народу. Те, что уцелеют после этих битв, так или иначе люди неполноценные, ибо лучшие пали!»

Здесь победа четко объявляется высшей инстанцией. Поскольку его народ, который он сам погнал на войну, оказывается более слабым, то и те, что от него остались, не имеют права жить. Более глубокий мотив для этого: он не желает, чтобы его пережили. Врагам, одержавшим победу, он не может помешать его пережить. Зато очень даже может истребить остатки своего собственного народа. По испытанному образцу он объявляет всех этих людей неполноценными, «ибо лучшие пали». Те, что еще живы, на верном пути к тому, чтобы в его глазах превратиться во вредных насекомых. Нет, однако, даже необходимости в том, чтобы этот процесс обесценивания довести до конца, ему достаточно объявить их неполноценными, как до этого он объявил недостойными жить всех душевнобольных. Все, кого он уничтожил, неусыпно присутствуют в нем. *Масса убиенных взывает к своему умножению.*

Он очень хорошо помнит, сколь велико их число: то, что факт и способ их уничтожения держались в тайне, будучи

известны лишь тем, кто в нем участвовал, усиливает их воздействие на него. Они стали самой большой массой, какой он располагает, и они — его тайна. Как всякая масса, они напирают, требуя умножения. Так как он больше не может прибавить к ним врагов, ибо те взяли верх, он испытывает необходимость умножить эту массу за счет своего народа. До него и после него должно умереть как можно больше людей. Не зная внутренней связи этих событий — часть их еще была от него скрыта, — Шпеер не мог не испытывать глубочайшего ужаса от высказываний Гитлера, в которых эти события проглядывали. Что означали его разрушительные приказы, было ясно как день. Но то, как он их обосновывал, когда им пытались противиться, заставило Шпеера желать ему смерти. Сегодня нам трудно понять, почему каждый немец, узнавший об этих приказах, не чувствовал и не реагировал точно так же.

Но мы все, немцы и немцы, узнав позднее о тех делах, стали недоверчиво относиться к приказам. Мы теперь знаем больше, тот чудовищнейший пример к нам еще достаточно близок, и даже те, кто еще способен верить в приказы, хорошенько в них вникнут, прежде чем повиноваться. Тогда, однако, люди еще были воспитаны Гитлером так, что в слепом исполнении каждого его приказа видели высшую доблесть. Не было ценности, стоящей выше этого, отмена всех тех ценностей, которые в итоге очень длительных периодов истории были признаны общим достоянием человечества, произошла с ужасающей быстротой. Можно вполне уверенно сказать, что именно осознание этого факта объединило человечество в удивительнейшую коалицию для борьбы против Гитлера. В презрении к этим ценностям, в принижении их значения для людей всякого рода Гитлер проявил слепоту, не знающую себе равных. Даже если бы он победил, что немислимо, его власть уже по одной этой причине очень быстро бы рухнула. Во всех углах и на всех концах его империи начались бы восстания, и этими восстаниями были бы в конце концов охвачены и его собственные сторонники. Он, черпавший свою уверенность в победах Наполеона, был неспособен учиться на собственных поражениях. Его глубочайшим стремлением было превзойти победы Наполеона. Невероятно, чтобы Гитлер, как уже было замечено, настаивал на завоевании России, если бы Наполеон не потерпел там неудачу. Сознание Гитлера — в плену у всех военных побед в истории. Но и поражения своих кумиров он должен для себя претворить в победы, хотя бы для того, чтобы их превзойти.

Он отталкивался от Версальского мира и поражения Германии в первой мировой войне. Борьбой против Версаля он начал покорять массы и в конце концов завоевал власть в Германии. Шаг за шагом удавалось ему ликвидировать последствия Вер-

ся. С момента его победы над Францией, которая означала Версаль наоборот, он был *обречен*. Ибо теперь он был уверен в возможности обратить *каждое* поражение, в том числе поражение Наполеона в России, в победу.

Смакование скачущего числа

Он считает себя способным на все, самое трудное ему по плечу, если он берется за дело, оно будет удаваться. Речь при этом идет о решениях, о внезапных акциях, о сокрытиях, требованиях, угрозах, торжественных обещаниях, нарушении договоров, временных ненападениях, в конце концов, о войнах, но речь также идет о некоем роде всезнания, и особенно в специальных областях.

Его память на цифры — особая тема. Цифры и числа играют для него иную роль, чем для других людей. В них есть что-то от масс, которые умножаются скачкообразно. Самая пылкая его страсть — это число немцев, которые должны оказаться все вместе в его рейхе. Смакование скачущего числа в его речах поражает. Сильнейшее средство для того, чтобы возбудить массу, — это показать ей ее рост. Пока масса чувствует, что она увеличивается, ей незачем распадаться. Чем выше число, которого, как ей говорят, она может достичь, тем сильнее ее впечатление от самой себя. Но ей надо дать также живое ощущение того, как она достигает такого числа. Все в нарастающем возбуждении карабкаются вверх. 60, 65, 68, 80 миллионов немцев! Без миллионов здесь не обойтись, воздействие этого числа он испытал на себе. Ему удастся свести их всех вместе. Масса, пораженная этими цифрами, воспринимает их как свое мгновенное приращение. Ее напряженность таким образом достигает предельно возможной меры. Человек, зарядившийся этой напряженностью, не может внутренне от нее освободиться. У него возникает неодолимое стремление опять оказаться в этом состоянии также и внешне.

Другие средства, которые пускаются в ход в таких случаях, известны. Не о них теперь речь. Так или иначе, примечательно, какое верное чутье проявил Шпеер в начале своей карьеры, рисуя чудовищного размера знамена и намечая особый порядок их расположения.

Что же касается пристрастия Гитлера к большим числам, то С людей оно перешло и на многое другое. Он с удовлетворением отдает себе отчет в огромной стоимости своих берлинских зданий, он хочет, чтобы она была как можно больше. Пример Людвига II Баварского его не пугает *, а наоборот, притягивает.

Он представляет себе, что со временем можно будет зама-

нить американских туристов суммой в миллиард марок — столько стоила его Купол-гора в Берлине, — и его забавляет мысль, что им в угоду эту сумму можно повысить до полутора миллиардов. Числа, которые что-то перекрывают, он запоминает особенно охотно, эти числа у него — любимые.

Как только в войне происходит поворот, он начинает оперировать другими числами. Так как от него не смеют ничего утаивать — он во всех случаях оставляет за собой возможность общего обзора и решения, — то его министрам вменяется в обязанность знакомить его с производственными показателями его врагов. В их скачкообразном росте есть фатальное сходство с его собственными числами, какими он привык пользоваться раньше для своих целей. Он боится их и отказывается что-либо о них знать. Живость скачущих цифр ему слишком хорошо известна. Теперь, когда они повернулись против него, он ощущает их враждебность и старается избежать контакта с ними, от них отворачиваясь.

Несостоявшиеся посещения

Когда крупные немецкие города один за другим превращались в развалины, Шпеер был не единственным человеком, кто считал целесообразным, даже необходимым, чтобы Гитлер посетил эти города. Пример Черчилля был у всех перед глазами. Последний снова и снова навещал жертв войны, не принимавших непосредственного участия в боях. Он показывал им не только свое бесстрашие, но и свое сочувствие. Несмотря на дела, которыми он был нагружен сверх меры, он находил для этого время и своим присутствием демонстрировал, как важен вклад этих людей, как много они значат. Он требовал от гражданского населения гораздо больше, но зато и принимал его всерьез. Будь поведение Черчилля иным, состояние духа англичан в течение целого года, когда они в одиночестве противостояли врагу, превосходившему их силой и повсюду побеждавшему, возможно, пострадало бы в угрожающей степени.

Гитлер же, напротив того, упорно не желал показываться в разбомбленных городах. Трудно предположить, что ему — по крайней мере на ранней стадии этих событий — не хватало физического мужества для такого решения. Его войска оккупировали большую часть Европы, и ему вовсе не приходило в голову признавать себя побежденным. Однако кроме людей, ожидавших от него прямых приказов, и тех немногих, что составляли его узкий придворный штат, он привык иметь дело только с массами, и это были массы совершенно определенного рода.

Он овладел искусством *обвинения*, в годы подъема оно было

его основным средством для возбуждения людей и сплочения их в массу. Когда они помогли ему достичь власти, то он в течение нескольких лет делал все возможное, чтобы удовлетворить чаяния этих масс и увериться в их восторженной привязанности. То было время его триумфальных поездок по Германии, атмосферы стихийного ликования, не всегда заранее организованного. Обратное действие этой атмосферы на него самого изображено Шпеером: Гитлер считал себя самым большим любимцем народа за всю историю Германии. Со времен Лютера * не было человека, к которому бы повсюду сами собой устремлялись крестьяне. Из этого и из своей организационной подготовки Гитлер почерпнул силы, чтобы перейти в наступление за пределами Германии. Началась серия легких побед, тем более воспринятых как чудо, что они дались без кровавых жертв. Он выглядел триумфатором еще до того, как прогремел хоть один выстрел, и остался им, когда прогремели первые выстрелы. Для него было естественно, чтобы его восторженно приветствовали как победителя. Эти приветствия как бы продолжали род и конъюнктуру массы, к которой он привык с самого начала. Масса, благодарившая своего фюрера, стала многочисленнее, но по роду своему это была та же масса, которую он вызвал к жизни, которой всегда оперировал.

Его представление о себе определялось именно этим, и он был не в состоянии предстать перед массой другого рода. Впервые, он не желал, считал вредным менять или расширять то представление о нем, какое уже существовало у людей. Подобно тому, как он следил за тем, что публиковалось из его фотографий, как скрывал существование Евы Браун, чтобы не лишиться привязанности немецких женщин, считавших его одиноким, так же не хотел он и появляться в сочетании с разрушенными немецкими городами. От этого пострадал бы образ неизменно побеждающего и утратила бы вероятность его способность к окончательной победе. Он предпочел сохранить свой образ невредимым, нисколько не тронутым какими бы то ни было разрушениями внутри своего рейха, ни с одним из них не совмещааясь.

Нелегко решить, был ли он неправ в этом со своей ограниченной точки зрения. Вера в чудодейственное оружие, сохранявшаяся до конца, возможно, тоже была связана с невредимостью его образа как неизменного победителя. Пока он не принимал к сведению разрушения в Германии, пока не допускал их до себя лично, Германия, которая соответственно его мании была воплощена в его личности, казалась непобедимой.

Но надо также сказать, что он был бы совершенно неспособен посетить людей, имевших действительную причину для скорби и плача. С какими словами мог бы он к ним обратиться? Он не знал жалости ни к кому, кроме себя, и то в самые последние дни; кому бы он мог убедительно доказать свое сочувствие

в несчастье? Он был неспособен даже сыграть «слабые» чувства, которые презирал, не говоря уже о том, чтобы их испытывать. Гитлера невозможно себе представить среди скорбящих. Недостаток всего, что только и делает человека человеком, — движений души, которые без цели и расчета, без всякой мысли об успехе или влиянии распространяются на других, даже незнакомых людей, — этот несомненный изъян, ужасающая пустота выявили бы его беспомощность и бессилие. Он, конечно, ни секунды не помышлял о том, чтобы поставить себя в такое положение.

Тайна и исключительность

Близкое окружение Гитлера в Оберзальцберге *, те несколько человек, среди которых он проводит изрядную часть своего времени, удивительно немногочисленно. Оно состоит из старого, испытанного фотографа, шофера, секретаря, подруги, двух женщин-секретарш, кухарки и, наконец, еще одного человека совсем иного рода — лейб-архитектора. Все, за этим единственным исключением, подобраны по принципу самой примитивной полезности. Они не только целиком и полностью от него зависят — они никоим образом не способны иметь о нем какое-то собственное мнение. Среди них он всегда уверен в своем бесконечном превосходстве. О том, что его действительно занимает, о его планах и решениях они ничего не знают. Он может жить без всякой опаски за свою тайну: ее соблюдение для него высшая жизненная потребность. Это тайна великого государства, судьбы которого вершит он один, и он вполне может оправдать перед собой необходимость абсолютной секретности. Он достаточно часто замечает, что не доверяет никому, меньше всего — женщинам, и так как мыслящих женщин он к себе не подпускает, ему легко сохранять презрение к ним. В этом окружении, где никто не может проникнуть ему в душу, он чувствует себя хорошо, здесь он неприкосновенно живет как Единственный, коим себя считает. Поскольку никто не имеет на него права, он чувствует себя защищенным от прошений о помиловании, могущих до него дойти. Свою безупречность он видит в жесткости. От своего представления о власти он никогда не отклоняется, он впитал в себя всю власть своих исторических образцов и в ее последовательной защите видит причину своих успехов.

Но он все-таки ясно отдает себе отчет в том, что не может осуществлять власть без помощи тех, кто участвовал в его возвышении, кто уже им испытан. Этим людям он многое позволяет, до тех пор пока они ему служат и каждое его решение принимают безоговорочно. У него зоркий глаз на их всевозможные

слабости, вплоть до коррупции. Пока он их *знает*, пока ничто подобное от него не укроется, он их терпит. К его кардинальным требованиям относится всеведение и в том, что касается этих людей. Он сам заботится, чтобы всеведение было исключительно его прерогативой, и для этого четко разделяет полномочия остальных. *Он* должен быть информирован обо всем, но кроме него — никто. В четком разделении задач, возлагаемых им на каждого из его помощников, он считает себя мастером. Он остерегается подпускать их близко к себе на долгое время, ибо таким образом они могли бы узнать больше, чем он им разрешает. В этом он проявляет по-своему верное чутье, так как единственный человек, который всегда рядом с ним, Борман, узнающий многое благодаря своему положению секретаря, вскоре действительно обретает власть.

Создается впечатление, что Гитлер прямо-таки *нуждается* в слабостях тех, кому он уделил долю власти. Не только потому, что таким образом он крепче держит их в руках и ему не нужно долго искать причины, если он хочет их сместить. Он сохраняет по отношению к ним чувство морального превосходства. Для него это потребность иметь право сказать себе, что он свободен от таких распространенных слабостей, как алчность, сладострастие, тщеславие, всего того, что относится к обыкновенной «мелкой» жизни. Если он контролирует образ, в каком предстает перед публикой, то имеет возможность обосновать это политически. Его беспокоит, что он может растолстеть, но тут нет ни капли тщеславия: фюрер с брюшком немислим. Его грандиозные здания должны произвести впечатление на других властителей и сделать их более покорными. Но в основном они, как он говорит, задуманы для вечности: они должны укреплять самосознание его народа, когда его самого уже не будет в живых. Все, что он предпринимает, даже самое чрезмерное, служит этой цели, а так как он щедро наделен даром параноика для всего подыскивать *основания*, то он не находит в себе ничего такого, чего бы не мог убедительно оправдать и перед другими, и перед самим собой.

В мирном узком кругу он может свободно распространяться о своих приспешниках, тут он себя не принуждает к сдержанности, и очень занятно, но вместе с тем поучительно читать у Шпеера, как он о них высказывается. Геринга он высмеивает за страсть к охоте: легче легкого стрелять зверей издалека. Убивать животных — дело мясника. О тех, кто убивает людей, он не говорит. Мог ли он действительно считать это во всех случаях для себя опасным? «Философия» Розенберга * представляется ему непонятной. Он ее ни во что не ставит, но возникает впечатление, что распространение этой книги, ее огромные тиражи ему не по нутру. Правда, тиражи его собственной во много раз боль-

ше, но он не терпит, когда что-нибудь в какой-либо области приближается к нему и хотя бы издалека посягает на его исключительность. Германофильство Гиммлера его раздражает. Стоит ли напоминать человечеству, что германцы, будучи современниками Римской империи, жили в глинобитных хижинах? Он, Гитлер, вроде бы стыдится состояния этих древних германцев, живших вне культуры и искусства. Он, способный оценить Грютценера * и венскую Рингштрассе, чувствует свое высокое превосходство над ними. Довольно резко высказался он о Гиммлере, когда тот назвал Карла Великого истребителем саксов *. Он одобряет избиение саксов, ибо через империю франков в Германию пришла культура. Это одобрение расправы с саксами словно бы предзнаменование его позднейшего равнодушия к немцам. Карла Великого он не позволяет осуждать хотя бы потому, что видит в нем своего предшественника. В сущности, германцев он уважает только со времен их Священной Римской империи, притягательная сила, какой обладают империи для него, человека, намеревающегося основать *свою* Всемирную империю, неодолима.

Его отношение к Шпееру существенно отличается от отношения ко всем другим. Гитлер видит в нем, как тот и сам понял, свою собственную молодость. Через него получит полное воплощение не только архитектурское честолюбие его молодых лет. В общении со Шпеером он вновь обретает частицу того воодушевления, которое переполняло его в его тогдашнем одиночестве. Возможно, он как-то догадывается об относительной чистоте своих ранних лет, лет прилежно-бесперспективных эскизов, выразивших восхищение *иным*, уже существовавшим до него. Быть может, он ничем так не восхищался, как «великой» архитектурой. Но он был бы неспособен понять, что, реализуя эти эскизы, разрушает единственно ценное, что было в этом восхищении, — его мечтательно-почтительный характер. Все виды «реализации» ныне возымели над ним какую-то свирепую власть, и он подчиняет ей каждое побуждение своего прошлого, которое в себе сохранил.

Разрушение

Двойная страсть — к долговечности и к разрушению, — характерная для параноика, подробно рассматривалась в «Случае Шребера». Угроза собственной личности, ощущаемая так остро, будто она присутствует неизменно, преодолевается в двух направлениях: во-первых, огромным расширением пространства, которое, так сказать, отводится собственной личности, а затем достижением прочности «на века». Формулу о «тысячелетнем рейхе» при полностью развившейся паранойе нельзя

считать проявлением нескромности. Все, что не есть он сам, надо искоренить или подчинить себе, причем подчинение — это лишь временная мера, оно легко оборачивается полным истреблением. Всякое сопротивление в сфере собственной власти совершенно нетерпимо. Сопротивление, говорит Шпеер, могло довести Гитлера до белого каления. Приспосабливаться он может лишь там, где он еще не достиг абсолютной власти, так как там дело идет пока еще о процессах, способствующих достижению этой власти. Империя на всем ее пространстве — это его собственная персона, которой наконец больше ничто не угрожает, но пока эта империя не охватит всю Землю, ему не знать настоящего покоя. Сюда как бы естественно относится и стремление к долговечности, свидетельств о том и о другом в «Воспоминаниях» Шпеера предостаточно.

На самой вершине гитлеровской Купол-горы в Берлине, на высоте 290 метров, должен сидеть орел. Весной 1939 года он говорит об этом Шпееру: «Здесь орел не должен больше опираться на свастику (гаммированный крест), здесь он будет попираť земной шар. Венчающим элементом этого высочайшего в мире здания должен быть орел на земном шаре!»

Еще за два года до этого, в 1937-м, при обсуждении Большого стадиона он как бы между прочим сказал: «В 1940 году Олимпийские игры еще раз состоятся в Токио. Но потом их местом, на все времена, станет Берлин».

Книги, какие он внимательнее всего изучает, — это книги о войне или об архитектуре, это его любимое чтение.

В этих областях он поражает своими точными знаниями даже специалистов, при его памяти ему ничего не стоит в беседах на эти темы выбить их из седла. Его архитектуру можно объяснить только стремлением строить «на века»; все, кроме камня, он ненавидит, а стекло, за которым нельзя спрятаться и которое к тому же еще и хрупкое, вызывает у него как материал для больших зданий глубочайшее отвращение.

Свою страсть к разрушению он поначалу успешно скрывает. Тем чудовищней она оказывается, когда ей дается выход. В конце июля 1940 года, спустя три дня после вступления в силу перемирия во Франции, он берет с собой Шпеера и еще нескольких человек и едет в Париж, где он еще никогда не был. За три часа он успевает осмотреть «Оперу», показав основательное знакомство с этим зданием («Вот видите, как я здесь хорошо ориентируюсь!»), церковь св. Магдалины, Елисейские поля, Триумфальную арку, Эйфелеву башню, Дом инвалидов, где он воздаст почести Наполеону, Пантеон, Лувр, улицу де Риволи и, наконец, Сакре-Кёр на Монмартре. После этих трех часов он говорит: «Мечтой моей жизни было увидеть Париж. Не могу выразить, как я счастлив, что эта мечта сбылась!»

В тот же вечер, вернувшись в свою ставку, в маленькой комнате крестьянского дома он поручает Шпееру вновь взяться за берлинские стройки и добавляет: «Разве Париж не прекрасен? Но Берлин должен стать намного прекрасней! Раньше я часто раздумывал над тем, не следует ли разрушить Париж. Но когда мы завершим строительство в Берлине, Париж станет всего лишь тенью. Так зачем нам его разрушать?» Шпеер потрясен тем, что Гитлер с таким спокойствием, «будто речь идет о самом что ни на есть обыкновенном деле», говорит о разрушении Парижа. Здесь сказывается близость превосходства и разрушения.

Превосходство — замена победы, и если оно достигается быстро, то разрушение откладывается. Легкая победа над Францией до поры до времени спасла Париж. Париж может покамест сохраниться, чтобы служить тенью для Берлина.

Вскоре после этого, в том же 1940 году, Шпееру довелось наблюдать, как Гитлер за ужином в рейхсканцелярии «все больше распалялся, охваченный разрушительным угаром». «Видели вы когда-нибудь карту Лондона? Он так тесно застроен, что достаточно одного очага пожара, чтобы разрушить весь город, как уже однажды случилось более двухсот лет назад. Геринг собирается множеством новых, необычайно эффективных зажигательных бомб создать в самых разных частях Лондона очаги пожара, очаги пожара повсюду. Тысячи очагов. Потом они сольются в огромное море огня. У Геринга здесь единственно верная мысль: разрывные бомбы не действуют, а вот зажигательными можно достигнуть цели: разрушить Лондон до основания! Что они смогут поделать со своей пожарной командой, когда все кругом будет охвачено огнем?»

Здесь страсть к разрушению бесстыдно нацелена на город с восемью миллионами жителей, и такое число жителей, вероятно, особенно разжигало эту страсть. Соединение тысяч очагов пожара в один грандиозный пожар представляется как некое скопление сил. Огонь часто служит символом разрушительной силы. Гитлер не довольствуется символом, он снова обращает символ в действительность, которую тот выражает, и пользуется огнем как силой для разрушения Лондона.

В двух разных аспектах этот «разрушительный угар», возникший сначала в голове Гитлера, обернулся против Германии. То, что он задумал для Лондона и что не удалось там, стало реальностью для немецких городов. Кажется, будто Гитлер и Геринг побудили и уговорили своих врагов применить то оружие, которое изобрели сами. А второе и не менее ужасное заключается в том, что Гитлер так сжился со своими мыслями о тотальном разрушении, что оно уже не могло произвести на него достаточно глубокого впечатления. Ужаснейшие события больше не казались ему невероятными, он сам их придумал и долго носил в се-

бе. Разрушение целых городов зародилось у него в голове и успело уже стать новой военной традицией, прежде чем все-речь коснулось Германии. Эти катастрофы надо было «выстоять», как и все остальное. Он противился тому, чтобы убедиться в них воочию. Разрушение Гамбурга, равно как и Берлина, не могло заставить его вернуть хотя бы пядь завоеванной земли в России.

Так сложилась ситуация, кажущаяся ныне чудовищной, — его рейх территориально еще охватывал немалую часть Европы, и в то же время крупные немецкие города один за другим рассыпались в прах. Невредимость его личности в узком смысле была обеспечена. Его личность в более широком смысле определялась масштабом занимаемого пространства.

Мы недостаточно ясно представляем себе, какое разрушение совершается в голове параноика. Его противодействие этому, способствующее его распространению вширь и увековечиванию, как раз и направлено против этой бациллы разрушения. Но она сидит в нем, ибо составляет его часть, и если она вдруг появляется во внешнем мире, безразлично на какой стороне, то никоим образом не может его удивить или возмутить. Интенсивность процессов, происходящих в нем самом, — вот что он навязывает миру как свое видение. Пусть его ум ничтожен, подобно уму Гитлера, ему, так сказать, нечего предъявить, что представляло бы ценность перед судом беспристрастной инстанции, — интенсивность происходящих у него внутри разрушительных процессов позволяет ему предстать перед людьми в качестве духовидца или пророка, спасителя или вождя.

Дивизии, рабы, газовые камеры

Во время войны радость Гитлера от присутствия живой массы вокруг него быстро остывает. Он привык с помощью радио собирать наимногочисленную массу, то есть всех немцев. Нет у него больше и возможности говорить о мирном приращении числа немцев. Он занят войной, которую считает, наряду с архитектурой, своим настоящим ремеслом. Теперь он оперирует дивизиями. Они стоят сформированные, ожидая его приказа, он может распоряжаться ими, как ему вздумается. Его главная цель ныне — держать в руках генералитет. Теперь ему надо убедить профессиональных военных. Сперва ему удастся сделать их покорными благодаря ошеломляюще легким победам. Победы, к которым он раньше призывал массы, обещанием коих только и сумел сплотить массу, становятся теперь реальностью — это следующая стадия.

Нет для него ничего важнее, чем своей правотой преодолеть

сомнения специалистов. Каждое сбывшееся предсказание становится имманентной частью его самосознания. Паранойя, имеющая два лица — величие и преследование, — одно из этих лиц — второе — временно прячет, и теперь целиком состоит из величия.

Масса по-прежнему не выходит у него из головы, но ее состав и назначение изменились. Своих немцев он покорил, теперь он покоряет *рабов*. Они полезны, и их будет гораздо больше, чем немцев. Но как только ход войны наталкивается на препятствия, прежде всего в России, и как только его собственным городам начинают грозить бомбежки, в нем оживает другая масса: масса евреев, подлежащих истреблению. Он собрал их вместе, теперь может уничтожить. Он уже давно достаточно ясно сказал, что собирается с ними сделать, но когда *дело* всерьез подошло к их истреблению, он заботится о том, чтобы оно оставалось тайной.

Было вполне возможно стоять так близко к истокам власти, как стоял Шпеер, и не столкнуться напрямую с фактом уничтожения евреев. Здесь свидетельство Шпеера представляется мне особенно важным. О стадии рабства, каторжных работ он не только знал, но и использовал их в своей сфере. Его планы отчасти основывались на этих факторах. Об истреблении людей он по-настоящему узнал лишь много позже, в то время, когда война казалась уже проигранной. Настоящие открытия, касающиеся лагерей, настигают Шпеера под конец, когда он вступает в борьбу против Гитлера, но сильнейшее действие они оказывают на него только в Нюрнберге. Этому можно поверить хотя бы потому, что именно это побуждает Шпеера счесть несомненной коллективную вину руководства Германии.

Решительность его поведения в трудных обстоятельствах — он должен отстаивать себя перед обвиняемыми, которые смотрят на него как на предателя, — искренность его показаний — он ничего не приукрашивает, — поставленная им главная задача, которую он выполняет потом в течение ряда лет в тюрьме, когда пишет воспоминания, задача помешать возникновению легенды о Гитлере — все это позволяет предположить, что шок от сделанных открытий у него недавний.

Стало быть, Гитлеру в общем и целом удалось не допустить до сознания большинства немцев самого чудовищного из его предприятий — газовых камер. Зато в его сознании оно было тем действеннее. В силу этого все пути назад были для него отрезаны. У него больше не было возможности заключить мир. Оставался один-единственный выход — победа, и чем невозможнее она казалась, тем вернее становилась единственной.

Мания и действительность

Мания и действительность у Гитлера трудно делимы, они беспрестанно переходят одна в другую. Но в этом он едва ли отличается от других. Разница заключается в силе его мании, ибо ему в отличие от большинства прочих людей недостаточно какого-то мелкого удовлетворения. Его мания в своей законченности — первостепенна, и он не склонен поступиться хотя бы самой ее малостью. Все, что происходит в действительности, соизмеряется с этой манией, как с неким целым. Ее содержание такого рода, что питать ее можно только одним — успехами. Не-успех не может по-настоящему ее задеть, у него только одна функция: он подстегивает искать новые рецепты успеха. Эту непоколебимость своей мании Гитлер ощущает как твердость. Все, что он когда-то захватил, остается при нем, ничто не распадается. Ни одно строение, которое он мыслит когда-нибудь возвести, не основано так прочно, как его мания. Эта мания не такого рода, что могла бы позволить ему сосредоточиться на себе и жить рядом с остальным миром; он устроен так, что свою манию должен навязать своему окружению. Путь, которым идут другие в лишь мнимородственных случаях — изобретатели или особо одержимые творческие личности, — путь, состоящий в том, чтобы убедить отдельных людей или создать произведения, которым они как бы препоручают задачу убеждения, — это не его путь. Этот путь был бы не только слишком долгим — он не соответствует содержанию его мании. Со времени катастрофического исхода первой мировой войны в нем живет масса павших немецких солдат, в его представлении они никак не могли пасть напрасно, а потому остаются живыми благодаря способу, какой свойствен только ему. Он хочет вновь превратить их в прежнюю массу, существовавшую ко времени начала войны. Это и есть та масса, что составляет его силу, с ее помощью ему удастся возбудить и сплотить вокруг себя новые массы. Он очень скоро осознает эффективность этой силы и благодаря непрерывной практике и росту становится мастером в овладении массами. Он открывает для себя, что там, где дело за массами, для него становится вполне возможным претворить свою манию в действительность. Он обнаружил, так сказать, слабое место действительности, ту ее часть, где она наименее плотная, то, перед чем в испуге отступает большинство людей, боящихся массы.

Его уважение к иной, к *статичной* действительности от этого не становится выше. Власть, которая питается массами, власть в сыром виде, долгое время остается единственной властью, какой он располагает, и, хотя она быстро наращивается, он хочет, в сущности, отнюдь не такой власти: его мания требует абсолют-

ной политической власти в государстве. Как только он ее достигнет, он может хорошенько взяться за действительность. Он очень хорошо умеет отличать ее от своей мании. Его чувство реальности, которому он приписывает многие свои успехи, заключается в осуществлении власти. Он использует ее для того, чтобы постепенно, шаг за шагом навязать содержание своей мании окружающим его людям, своим орудиям. Пока все идет хорошо, у последних нет возможности, да и желания распознать маниакальный характер структуры, в которую они включены, в которой участвуют. Только с началом неудач со всей очевидностью открывается безнадёжная мертвенность, то есть именно маниакальность его предприятия. Трещина между манией и действительностью расширяется, и теперь оказывается, что укрепление его веры в себя во времена его счастья было несчастьем для Германии, подобно тому, как оно с самого начала было несчастьем для остального мира.

Он по-прежнему настаивает на своем праве предсказывать. Только он, и никто другой, имеет право предсказывать, что произойдет. Верность его предсказаний подтверждалась достаточно часто. Реальность будущего принадлежит ему, он включил ее в сферу своей власти. Предостережения он воспринимает как помеху своему будущему. Они его ожесточают, даже если исходят от его ближайших помощников. Он со всей резкостью их отвергает как форму неподчинения. Его предсказания приняли теперь для него характер приказов, которые он отдает будущему.

Проницательность, в равной мере свойственная ему как параноику и как властителю, начинает проявлять свой маниакальный характер. Она была ему полезна для оценки врагов. Он умел разгадать их замыслы, когда они еще составляли полную тайну. К этому и к его верным предсказаниям сводится его «шестое чувство». Но теперь, когда он в трудном положении, выясняется, какой ложной может оказаться его проницательность. Высадку в Нормандии он долго считает обманным маневром *, настоящая высадка должна совершиться в районе Кале. Меры, какие он принимает против врага, определяются этой лжепроницательностью, от которой его невозможно отвратить, за которую он держится всеми силами, пока не становится слишком поздно.

Неудавшееся покушение 20 июля * вызвало у него последнее существенное усиление чувства власти. Он словно чудом уцелел, это и есть чудо. Неожиданно образцом для него становится Сталин. Он одобряет истребление последним русского генералитета, и, хотя ему неизвестны какие-либо факты предательства этих генералов, он принимает на веру, что они, несомненно, виноваты, ибо своих собственных генералов он ненавидит.

Он назначает против них жесточайшее следствие и приказывает казнить их самым унижительным образом. Из расправы над ними он извлекает примитивнейший вид власти — жизнь после гибели врага. Он смакует фильмы об этих казнях и велит показывать их в своем интимном кругу. Но некоторые жертвы он еще приберегает на потом и время от времени, в зависимости от ситуации и от своей потребности, назначает дальнейшие казни.

12 апреля 1945 года, за восемнадцать дней до смерти Гитлера, Шпеера срочно вызывают к нему. «Он увидел меня и с необычной для него живостью, как одержимый, бросился ко мне, размахивая газетой с каким-то сообщением: „Вот, читайте! Вот! А вы не хотели верить! Вот! — Он захлебывался словами: — Вот оно, великое чудо, которое я всегда предсказывал. Так что оказался прав? Война не проиграна. Читайте! Рузвельт умер!“ — Он никак не мог успокоиться».

Продолжение войны до этого момента представляется оправданным. Кажется, будто повторяются события в конце Семилетней войны, когда Фридриха спасла от грозной опасности смерть его злейшей врагини*. Мало что так сильно способствовало совершенно бессмысленному продолжению войны, как мысль об этом историческом повороте судьбы. Фридрих Великий издавна был для Гитлера одним из *постоянных* образцов: под конец он стал единственным.

Сидя в своем бункере, который Шпеер сравнивает с тюрьмой, среди сплошных руин, когда русские на пороге Берлина, от которого мало что осталось, он еще способен надеяться на поворот в войне из-за смерти его *личного* врага. До самого конца настоящие события разыгрываются в его представлении между несколькими, совсем немногими властью имущими, все дело только в них, ход истории зависит от того, кто из них кого переживет, — ничто не показывает яснее тех опустошений, какие произвело в его мозгу представление о власти и его приверженность этому представлению. С уходом из жизни того самого Рузвельта, которого он презирал и высмеивал как «паралитика», он связывает теперь свою последнюю надежду.

Что же касается влияния исторических образцов, их все еще не осознанной опасности, то было бы целесообразно включить сцену в бункере, как ее описал Шпеер, во все хрестоматии мира. Самое большое, что мы покамест в силах сделать, — это противопоставить неослабевающему влиянию фатальных образцов безупречно правдивые образы. Стыд от подобной ситуации, понимание ее мерзости, сущность ложного видения — все здесь должно сложиться в одно нерушимое впечатление.

1971

КОНФУЦИЙ В СВОИХ «БЕСЕДАХ» *

Отвращение Конфуция к красноречию: вес имеют лишь избранные слова. Он боится ослабить их легким и бездумным употреблением. Медлительность, размышление, время до произнесения слова — это все, но и время после — тоже важно. В ритме чередования вопроса и ответа есть нечто, повышающее их ценность. Ему ненавистны скорое слово софистов, усердная переброска словами. Дело не в находчивости, неожиданности скорого ответа, а в медленном оседании слова, взыскующего ответственности.

Он любит придерживаться чего-то существующего и это объяснять. Долгие беседы Конфуция до нас не дошли, они казались бы противоестественными.

Его ученики, в противоположность ему самому, угождают правителям больше своим красноречием, нежели знаниями. Среди них есть и такие, что делают карьеру благодаря речам, но это не те ученики, которые милы его сердцу.

У Конфуция очень впечатляет тщетность его усилий, особенно в период, когда он бродит из города в город.

Вряд ли можно было бы принимать его всерьез, стань он где-нибудь действительно министром и останься таковым. От власти, какая она есть на самом деле, он отказывается, его интересуют только ее возможности. Она для него никогда не самоцель, а задача, ответственность за людское сообщество. Таким образом, он становится мастером говорить «нет» и умеет сохранить цельность. Но он не аскет, он участвует во всех аспектах этой жизни и никогда от нее по-настоящему не замыкается. Лишь в периоды траура по умершим он признает какое-то подобие аскезы, она служит поддержанию живой памяти об умерших.

Его счастье, не знающее конца, — это учение. Его интерес к древностям всегда имеет человеческое содержание и служит упорядочению жизни. Приверженность к порядку заходит у него очень далеко. Ритуальный характер порядка входит у него, в конце концов, в плоть и кровь. «На циновку, которая лежала не так, как надо, он не садился» *. У него есть чутье на промежутки, и он воздает им должное.

Конфуций ни одному человеку не разрешает быть орудием. С этим связано его отвращение к мастерству, черта особенно важная, потому важная, что и по сей день сказывается в Китае. Ва-

жно не то, что ты умеешь делать одно или другое, важно, что ты с любым твоим обособленным умением — человек.

Но большой упор делается и на то, чтобы ты действовал не из расчета; это, если разобраться, и значит, что людей нельзя использовать как орудие. Что бы ни думать о социальном происхождении такого образа мыслей, заключающего в себе презрение к коммерческой деятельности, тот факт, что он ясно изложен, что благодаря изучению «Бесед» Конфуция остался хотя, конечно, и не решающим, но все же достаточно действенным, имеет большое значение для понимания того, что можно было бы назвать наследием китайской культуры в целом.

Идеальным человеком остается тот, кто действует не из расчета.

Конфуций терпелив в своих усилиях привлечь слух власть имущих, правящих князей. Нельзя сказать, что он им льстит, и если он признает их авторитет, то лишь потому, что требует от них многого при использовании этого авторитета.

О природе власти, о том, что она такое по сокровенной своей сути, он никакими сведениями не делится. Эти сведения поставляют его позднейшие враги, легисты *. Весьма примечательно, что все мыслители в истории человечества, что-то понимающие в фактической власти, ее одобряют. Мыслители, выступающие против власти, почти не проникают в ее сущность. Их отвращение к ней столь велико, что они не желают ею заниматься, боясь о нее испачкаться, в их позиции есть что-то религиозное.

Науку о власти разрабатывали только те мыслители, которые ее одобряют и находят удовлетворение в том, что они ее советчики. Как ее завоевать и вернее удержать? На что надо обращать внимание, чтобы ее сохранить? Какие сомнения следует отбросить, чтобы они не мешали ее осуществлению?

Самый интересный из этих знатоков власти, относящихся к ней положительно, Хань Фэй-цзы* (он жил спустя 250 лет после Конфуция). Его исследование необходимо именно для законченного противника власти.

«Беседы» Конфуция — это древнейший законченный духовный портрет человека. Эту книгу воспринимаешь как современную; важно не только все, что она содержит, но и то, чего в ней недостает.

Тот, кого мы из этой книги узнаем, человек очень цельный, но это не просто *какой-то* человек. Это человек, пекущийся о своей образцовости и с ее помощью желающий воздействовать на других. Каждая отдельная черта, а их здесь отмечено очень

много, имеет определенный смысл. При всей беспорядочности изложения, не подчиненного какому-либо видимому принципу, в целом вырисовывается существо, правдоподобно действующее, мыслящее, дышащее, говорящее, умолкающее и составляющее прежде всего одно — *образец*.

По Конфуцию можно с особой ясностью усвоить, как возникает и утверждается образец. Для этого прежде всего необходимо, чтобы человек сам был увлечен каким-то образом, которого он придерживается при всех обстоятельствах, в котором не сомневается, от которого никогда не отрекается, которого хотел бы достичь, но вполне достичь не может. Даже если удастся его достичь, признать, что он достигнут, нельзя. Ибо достигнутый образец теряет свою силу. Он питает лишь того, кто от него на большом расстоянии. Попытку преодолеть это расстояние, попытку, так сказать, вплотную подступить к образцу надо все время возобновлять, но она не должна удаваться. Пока она не удастся, пока расстояние остается в силе, можно снова и снова предпринимать прыжок в том направлении. Все дело в этих, казалось бы, тщетных попытках, казалось бы тщетных, ибо в ходе их одно за другим приобретаются опыт, способность, качество.

Конфуций помещает свой образец на большом расстоянии от себя. Это властитель Чжоу, живший за 500 лет до него *, которому приписывалась большая часть уложений нового тогда царства. Чтобы его постичь, Конфуций занимается всем, что происходило в те времена и с тех времен, историческими документами, песнями, обрядами. Он проверяет эти предания, сортирует их и располагает по порядку; позднее считалось, что все известное о том времени было установлено им. Образец является ему во сне *, в более поздние годы его охватывает беспокойство, если он некоторое время ему не снится. То, что он не является, Конфуций воспринимает как знак неодобрения, слишком многое не удалось ему из того, что удалось властителю.

Но это не единственный его образец. Можно сказать, что всю китайскую историю, насколько он, по его мнению, ее знает, он группирует вокруг образцов; в начале каждой из трех сменявших одна другую известных династий, однако и непосредственно перед первой из них он помещает одну или две фигуры, которые благодаря своей образцовости надолго определяют время после себя. Он не только сознает огромное значение образцов, он знает также, что они изнашиваются, и потому заботится об их обновлении. Об их воздействии он узнает по себе и своим ученикам.

Князя, которых он пытается наставлять и которые не желают слушать, открывают для него антиобразцы. Как бы ни были они ему неприятны, он их не утаивает. Он вводит их в историю, а помещать предпочитает в конце династий. Но он по-

стоянно заботится также о том, чтобы в истории их побеждали и смещали образцы.

Занимаясь таким способом своими образцами, он сам сделался образцом и, что примечательно, — образцом в значительно большей степени и на гораздо более долгую временную дистанцию, чем те.

«К молодому человеку, — говорит Конфуций, — надо относиться с большим уважением. Как можешь ты знать, не станет ли он в один прекрасный день столь же достойным, как ты теперь. Кто дожил до сорока или до пятидесяти лет, ничем не отличившись, не заслуживает уважения» *.

Это суждение Конфуций проводил в жизнь в длительном общении со своими учениками. Как он их наблюдает! Как осторожно оценивает! Он остерегается повредить им преждевременной похвалой. Он оставляет их в покое и бывает счастлив, когда они заслуживают неограниченных похвал. Он не порицает, предварительно не отняв у порицания вредоносного острия. Он позволяет своим ученикам себя критиковать и отвечает им. При всех принципах, из которых он исходит, оценка характера остается у него эмпирической. Когда двое учеников находятся вместе, он спрашивает их о сокровеннейших желаниях и тогда выражает свои собственные. При этом почти не чувствуется порицания, скорее — столкновение различных натур.

Но он не скрывает также своей глубокой любви к Янь Сюю, чистому и в миру не преуспевшему; когда этот его любимый ученик умирает в возрасте тридцати двух лет, Конфуций не таит своего отчаяния.

Я не знаю другого мудреца, который бы серьезнее относился к смерти, чем Конфуций. На вопросы о смерти он отвечать отказывается. «Если еще не знаешь жизни, то как можешь знать смерть?» * Фразу на эту тему, которая была бы более уместной, никто никогда не произносил. Он прекрасно знает, что все подобные вопросы подразумевают время *после* смерти. Любой ответ на них перескакивает через смерть, а сама она и ее непостижимость исчезают, словно под руками фокусника. Если что-то есть *потом*, как что-то было *раньше*, то смерть сама по себе теряет свой вес. На этот недостойнейший из всех трюков Конфуций не поддается. Он не говорит, что потом ничего нет, он не может этого знать. Но создается впечатление, что ему совсем и не важно это выяснить, даже если бы оно было возможно. Таким образом, вся ценность придается самой жизни, ей возвращается та серьезность и тот блеск, что у нее отняли, перемещая добрую, быть мо-

жет, лучшую часть ее силы *за грань* смерти. Так что жизнь остается полностью такой, какая она есть, да и смерть остается нетронутой, они не взаимозаменяемы, не сравнимы, они не смешиваются, остаются различными.

Чистота и человеческая гордость этого убеждения вполне согласуются с тем эмфатически преувеличенным почитанием умерших, какое мы находим в «Ли-цзи»*, ритуальной книге китайцев. Самое достоверное, что я когда-либо читал о приближении к умершим, об ощущении их присутствия в дни, посвященные их памяти, содержится в этой ритуальной книге. Это вполне в духе Конфуция, и, хотя в такой форме оно было записано лишь позднее, это именно то, что всегда ощущаешь при чтении его «Бесед». Сочетанием нежности и упорства, какое трудно найти где-либо еще, он старается усилить чувство почтения к некоторым умершим. Слишком мало внимания обращалось на то, что таким образом он пытается ослабить жажду жизни, — это одна из самых щекотливых задач, которая по сей день ни в коей мере не решена.

Кто три года горюет об отце, то есть полностью и надолго прерывает свою привычную деятельность, не может радоваться своему выживанию, всякое удовлетворение от него, даже если бы оно еще было возможно, будет окончательно вытравлено в ходе обязательного соблюдения траура. Ибо в это время надо также показать, что ты достоин отца. Сын перенимает его жизнь во всех подробностях, становится им, но именно благодаря непрерывному поклонению. Отца не только не вытесняют из памяти, но мечтают о его возвращении и в некоторых обрядах добиваются такого ощущения. Он продолжает существовать как фигура и образец. Человек остерегается быть к нему несправедливым, перед ним надо выдержать испытание.

«Через три дня опять начинают есть, через три месяца опять начинают мыться, через год под траурным одеянием носят опять чесучу. Самоистязание не должно доходить до уничтожения бытия человека, дабы смерть не повредила жизни. Траур не превышает трех лет» *.

«Жертвы должны быть не слишком частыми, не то они станут обременительными и утратят свою торжественность. Но и слишком редкими они тоже быть не должны, иначе можно облениться и забыть умерших.

В день жертвы сын думал о своих родителях, он ясно представлял себе их жилище, их улыбки, звучание их голосов, их образ мыслей; он думал о том, чему они радовались, что с удовольствием ели. Если он таким образом три дня постился и предавался размышлениям, то он видел тех, ради кого постился.

В день жертвы, когда он входил в комнату предков, то напряженно ждал, что снова увидит их на почетном сиденье; рас-

хаживая по комнате, выходя и входя, был сосредоточен, словно наверняка ожидал услышать, как они движутся или разговаривают; когда он выходил в дверь, то прислушивался, затаив дыхание, словно слышал, как они вздыхают».

Это, насколько мне известно, единственная серьезная попытка, когда-либо предпринимавшаяся в одной из цивилизаций, пригасить сладострастное упоение жизнью. Как таковую и следует без всяких предрассудков признать конфуцианство в его исконном виде, наперекор всем позднейшим искажениям, хотя бы в этом аспекте.

При всем уважении, которое мы оказываем за это Конфуцию, никак нельзя отрицать, что важнее для него была другая забота. Он пекся о том, чтобы память об умерших положить в основу традиции. Это средство он предпочитал принудительным мерам, законам и штрафам. Преемственность от отца к сыну казалась ему действенной, но лишь таким образом, чтобы отец стоял перед глазами у сына как цельная личность, как образец, не подверженный распаду. Три года траура представлялись ему необходимыми для того, чтобы сын полностью стал тем, чем был отец.

Он ставит условием большое доверие к тому человеку, каким был отец. Он хочет предотвратить *ухудшение* — от отца к сыну. И все же закрадываются сомнения, не затрудняет ли он тем самым и улучшение.

1971

ТОЛСТОЙ, ПОСЛЕДНИЙ РОДОНАЧАЛЬНИК

Манией самообличения, которой с ранних лет страдал *Толстой*, его заразил Руссо *. Но обличения Толстого наталкиваются на цельную личность — каких бы упреков он себе ни делал, себя самого он не разрушает. Самообличение придает ему вес, делает его центром мира. Удивительно, как рано написал он историю своей юности, с нее началась его писательская деятельность.

Он не может слышать о каком-то новом предмете без того, чтобы тотчас же не взяться составлять для него «правила». Ему непременно надо во всем отыскивать законы, это высокомерие, но в законах он ищет еще и устойчивость. Она нужна ему из-за смерти, с которой он столкнулся очень рано, а позднее сталкивался многократно. Двух лет от роду он потерял мать, девяти лет отца, а вскоре и бабушку, которую рассматривал в гробу и целовал мертвой.

Но он не созрел преждевременно. Свое упорство он копил долго. Все, что он испытал, входит неизменным в его рассказы, романы, драмы и т. п. Это тяжелые испытания, но так как они никогда не крошатся, то придают ему нечто монументальное. Всякий человек, таким образом себя сохраняющий, — это в некотором роде диковина. Другие люди ослабляют себя тем, что распливаются. Он преувеличивает, видя в правде абсолютный закон, а дневникам своим придает как бы всемогущество. Читением своих ранних дневников, которые изобилуют неприятными, но переоцененными откровенностями, он хочет воспитать свою восемнадцатилетнюю жену, подвести ее к своему собственному, еще шаткому закону. Шок, который он причинил ей этим чтением, длится пятьдесят лет.

Он принадлежит к людям, которые никогда не оставят втуне ни одного наблюдения, ни одной мысли, ни одного переживания. Все удивительным образом остается у него в сознании. Он неожидан в своих антипатиях, в неприязни, наивен в приверженности к унаследованным обычаям и представлениям. Его сила в том, что он не дает себя уговорить; для того чтобы прийти к новым убеждениям, ему нужны собственные сильные впечатления. Его отчеты перед собой по Франклинову образцу*, которые он начинает так рано, были бы немного смешны, если бы все, что в них содержится, не повторялось позднее с таким пугающим упорством.

Но у него есть покоряющие высказывания, за которые в его дневниках многое можно ему простить, например когда в письме к жене он полностью включает в свое бытие Русско-турецкую войну 1877—1878 годов: «Пока война, ничего не смогу писать, так же, как если пожар в городе, то нельзя ни за что взяться, и все тянет туда»¹.

Религиозная эволюция *позднего* Толстого подчинена неодолимому нажиму. То, что он считает свободным решением своей души, определено чудовищным отождествлением себя с Христом. Однако, его счастье — крестьянская работа, господство над ним ручного труда — с Христом ничего общего не имеет.

Он не столько Христос, сколько помещик-отступник, барин, который вновь становится крестьянином. Чтобы загладить все преступления, совершенные барам, он прибегает к помощи Евангелия. Христос — его костыль. Его чисто лично заботит обратное превращение в крестьянина. Для него важно не право, а крестьянская жизнь сама по себе, добиться ее силой он не может. Но для него важно также, чтобы его *признали* крестьянином.

¹ Толстая С. А. Дневники в 2-х томах, т. 1, М., ИХЛ, 1978, с. 503.

Семья, препятствующая этому превращению, становится ему в тягость. Его жена вышла замуж за графа и писателя, о крестьянине она и слышать не хочет. Она наградила его восемью детьми, и это отнюдь не крестьянские дети.

Свое имущество он делит при жизни. Он хочет избавиться от собственности, и все споры, обычные между наследниками, разгораются между его женой и детьми у него на глазах. Кажется, будто он нарочно старался выявить в своих близких все самое гадкое.

Жена объявляет себя издательницей его сочинений. Она советуется по этому поводу с вдовой Достоевского, с которой только ради этого и знакомится. Можно подумать, будто сидят и совещаются две вдовы, очень деловые вдовы.

В последние годы жизни Толстого живьем раздирают на части два предприятия, два дела, можно сказать, результаты того, чем он действительно был в течение десятилетий.

Его жена представляет издательское дело: продажей собрания его сочинений она намерена выколотить как можно больше денег. Чертков, секретарь Толстого, представляет его веру — новооснованную религию или секту. Он тоже деловой человек, следит за каждым высказыванием Толстого и поправляет его. Памфлеты и трактаты Толстого он распространяет задешево по всему миру. Он узурпирует каждую фразу учителя, могущую пойти на пользу вере, и требует копии дневника *in statu nascendi*¹. Толстой привязан к своему любимому ученику и все ему позволяет. Этому делу он придает важность, предприятие жены вызывает у него меньше интереса, а часто только жестокую ненависть. Но оба начинания живут самостоятельной жизнью, и до него им вообще дела нет.

Когда у него случается тяжелый приступ и начинает казаться, что он вот-вот умрет, жена неожиданно вскрикивает: «Где ключи?» — подразумевая доступ к его рукописям.

Целую ночь я, как околдованный, вчитывался в жизнь Толстого. В старости, когда он стал жертвой своих родных и приверженцев, объектом того, с чем так яростно боролся, его жизнь приобрела такое значение, какого не достигло ни одно из его творений. Он раздирает наблюдателя, любого наблюдателя, потому что любой видит, что в этой жизни воплощены важнейшие для него убеждения, и тут же рядом, в резком контрасте, другие, те, что ему более всего ненавистны. Все они четко выражены, произносятся без обиняков, не забываются, возвращаются вновь. В Толстом как будто бы соединяется то, что страстно про-

¹ В состоянии зарождения, возникновения (*лат.*).

тивоборствует в человеке. Наибольшую достоверность придают ему его противоречия. Это единственная фигура такого возраста в нашей современности, которую можно принимать всерьез. Поскольку он громко заявляет обо всем, не может отказать себе в порицании, в осуждении, в установлении закона, то кажется открытым со всех сторон, даже там, где он резче всего себя отгораживает.

Острая боль пронизывает меня, когда я вижу, как человек, насквозь прозревающий и отвергающий любую форму власти, войну, суд, правительство, деньги, как человек такой неслыханной и неподкупной чистоты заключает что-то вроде пакта со смертью, которой он долго боялся. Обходным путем, через религию, он близко подступает к смерти и так долго обманывается на ее счет, пока не оказывается способным ей льстить. Таким образом ему удастся в значительной степени избавиться от страха перед смертью. Разумом он принимает ее, будто бы это какое-то моральное благо. Он приучает себя спокойно смотреть, как умирают самые дорогие ему люди. В тридцать пять лет умирает его дочь Маша, единственная взрослая толстовка в его семье. Он наблюдает ее болезнь и умирание, присутствует на похоронах. Последующие записи исполнены удовлетворения, он продвинулся в своих упражнениях со смертью, сделал успехи, он одобряет Ужасное: то, к чему еще за несколько лет перед тем, когда умер его семилетний сын Ванечка, ему пришлось себя принуждать, дается ему теперь без всякого труда.

Сам он опять *выживает* и становится все старше. Он не вдумывается в процесс выживания. Он ужаснулся бы, узнав, что смерть молодых членов его семьи укрепляет его волю к жизни, фактически продлевает его собственную жизнь. Правда, размышляя о Христе, он желает себе жребий мученика, но власть имущие на этом свете, которых он презирает, остерегаются его трогать. Единственное, что с ним происходит, — его отлучают от церкви. Вернейших его приверженцев отправляют в ссылку, его оставляют жить в имении и не лишают права передвижения. Он продолжает писать что хочет, где-то его печатают, заставить его замолчать невозможно. Он выздоравливает даже от самых тяжелых болезней.

Но чего не делает с ним государство, делает семья. Не правительство, а жена Толстого открыто поставила в имении сторожей. Борьба не на жизнь, а на смерть, которую ему предстоит с ней вести, касается не его памфлетов и воззваний — она касается ежедневного интимнейшего расчета с самим собой в его дневнике. Это она, его жена, в союзе с сыновьями затеяла против него смертельную травлю. Она мстит ему за войну против ее пола и против денег, и надо сказать, что важнее всего для нее при этом деньги. Мания преследования, которая, в сущно-

сти, должна была бы развиваться у него в силу бескомпромиссной борьбы с могущественными врагами, на самом деле развивается у нее. Этого искреннейшего из людей в престарелом возрасте она объявляет заговорщиком. До конца дней любит он свое учение, причудливым образом воплотившееся в его секретаре Черткове. Любит так сильно, что отношения с Чертковым в глазах его сумасшедшей жены принимают гомосексуальный характер. Истинного Толстого для нее представляют его дневники, связанные с началом их супружества. Его рукописи она кропотливо переписывала и потому считает своей собственностью. Ее паранойя говорит ей, что после Толстого останутся только рукописи и дневники, и она во что бы то ни стало хочет их заполучить.

Но образцовость его жизни, непрестанный спор с самим собой, в который втянута и жена, она ненавидит. Ей удастся с какой-то бесовской силой последние годы этой жизни испортить. Нельзя сказать, что она сильнее его, потому что в конце концов, после несказанных мучений, он бежит. Но и в последние дни, когда он полагает, что от нее освободился, она тайком прокрадывается к нему поближе и в самые последние его мгновенья шепчет ему на ухо, что все время была здесь, рядом.

Десять дней я был погружен в жизнь Толстого. Вчера в Астапове он умер, и его повезли хоронить в Ясную Поляну.

В комнату, где он лежит больной, входит женщина, он думает, что это его умершая любимица — дочь, и громко восклицает: «Маша, Маша!» Так он испытал счастье встречи с одной из дорогих усопших, и если это и не была его дочь, обманчивый миг этого счастья был для него одним из последних.

Толстой умирал тяжело — какая цепкая жизнь. С церковью он не помирился. Во всяком случае, его окружали ученики, они охраняли его от последних эмиссаров церкви.

Его жена и сыновья — все, за исключением старшего, Сергея, жалкие субъекты — жили в салон-вагоне на станции Астапово, совсем близко от него. Он чувствовал, что жена подглядывает в окно, — окно занавесли. Возле него находились шесть врачей, конечно, не так уж много, он немало их презирал, но все-таки предпочитал их присутствию заботам жены.

Я не знаю ничего более захватывающего, чем жизнь этого человека. Что же меня в ней так покоряет, почему я уже десять дней не могу от нее освободиться?

Это *полноценная* жизнь, до последнего мгновенья, до смерти в ней есть *все*, что должно быть в жизни человека. Она нигде и ни в чем не урезана, не обделена, не подделана. Она вобрала в себя все противоречия, на какие способен человек. Совершенная, известная во всех подробностях, простирается она перед на-

ми — с отроческих лет до последних дней все в ней в той или иной форме зафиксировано.

То, что меня часто раздражает в его произведениях — некоторая сухость и разумность, — идет на пользу его собственному жизнеописанию. У этой жизни есть свой тон, она достоверна, ее как бы видишь в целом, да и в самом деле поддаешься иллюзии, будто чью-то жизнь можно обозреть полностью.

Наверно, более важной иллюзии не существует. Можно отстаивать и ту точку зрения, что жизнь человека распадается на бесчисленные подробности, не имеющие между собой ничего общего, но эта точка зрения уж слишком распространилась и не принесла ничего хорошего. Она лишает человека мужества сопротивляться, потому что для сопротивления ему нужно чувствовать, что он остается тождественным самому себе. В человеке должно быть что-то такое, чего он не стыдится, что контролирует и отмечает у него состояния стыда, которые неизбежны. В этой непроницаемой части внутренней сущности есть что-то относительно постоянное, и если всерьез его доискиваться, то можно ощутить в себе довольно рано. Чем дольше следует человек этому постоянному началу, чем дольше период времени, в течение которого развивается его активность, тем полновесней его жизнь. Человек, который восемьдесят лет обладал этим началом и его знал, являет собой зрелище столь же устрашающее, сколь и необходимое. Он делает мироздание по-новому реальным, так, словно он может оправдать его пониманием, противодействием и терпением.

На сей раз я занимался только *жизнью* Толстого, а не его произведениями¹. Таким образом, меня не могло сбить с толку то, что мне в этих произведениях порой кажется скучным. Его жизнь никогда не кажется скучной, его жизнь грандиозна, при таком конце это примерная жизнь. Его религиозное и нравственное развитие не имело бы никакой ценности, если бы не поставило его в ужасную ситуацию поздних и позднейших лет.

То, что он еще и бежал, что умер не дома, превратило эту жизнь в легенду. Но время перед его бегством, пожалуй, следует оценить выше. Сопротивление всему, что не казалось ему истинным, сделало самых близких ему людей, жену и сыновей, его врагами. Если бы он сразу бросил жену, если бы не дрожал за ее жизнь, если бы повернулся к ней спиной, а для этого было достаточно причин, как только их совместное существование стало невыносимым, его бы не стоило принимать всерьез. Но он

¹ Многими идеями я обязан биографии А. Труайя*, который использует обширный материал на русском языке. — *Прим. автора.*

остался и в глубокой старости подверг себя ее дьявольским угрозам. Его терпение удивляло окружающих его крестьян, и некоторые из них, с кем он говорил, ему об этом сказали. Их мнением он не пренебрегал, ведь они казались ему лучшими из людей.

В борьбе, которую ему приходилось выдерживать, Толстой, как он писал сам, стал вещью, а это было для него невыносимо.

Он не остался совсем одинок. У него были верные ученики, одного из них он особенно любил, так как применял по отношению к нему свое учение во всей строгости. Была у него и слепо преданная дочь. Именно это делает события вокруг Толстого такими наглядными и конкретными. Не все разыгрывается только у него в душе. Происходит обычное между людьми.

Жизнь Толстого под конец разворачивается как в «Ослеплении»*: борьба вокруг завещания, копанье в бумагах. Брак, начавшийся с почитания и понимания, с беспрестанного многократного переписывания каждой написанной им страницы, кончается ужасающей войной при абсолютном непонимании. В последние годы оба — Толстой и его жена — так же далеки друг от друга, как Кин и Тереза. Однако их мучительство более интимного свойства, ибо после десятилетий совместной жизни они больше *знают* друг о друге. Есть дети от этого брака, есть приверженцы пророка, поэтому место действия не выглядит таким зловеще пустым, как квартира Кина. Изображение конфликта в «Ослеплении» более схематичное, а потому, быть может, более ясное, но поскольку оно оперирует средствами, которые Толстой отвергает, то людям столь же «естественного» восприятия покажется невероятным. Он и при жесточайшем притеснении никогда не узнал бы себя в Кине, но, может быть, в Терезе узнал бы свою жену.

В престарелом возрасте ищет он в учебнике психиатрии Корсакова* симптомы безумия своей жены. Ему они должны быть уже досконально известны. Но он никогда по-настоящему не занимался безумием, а пренебрежительно предоставил его Достоевскому.

Перед самым бегством он читает «Братьев Карамазовых», а именно про ненависть Мити к отцу, стало быть, так или иначе, про ненависть. Он это отвергает, не приемлет, может ли быть, чтобы моральное неприятие им ненависти замутило ему взгляд и он не увидел покоряющего изображения Достоевского?

Тем не менее перед побегом он просит дочь Сашу достать ему второй том «Братьев Карамазовых».

1971

ДНЕВНИК ДОКТОРА ХАСИЯ ИЗ ХИРОСИМЫ

Расплавленные лица людей в Хиросиме, слепые, мучимые жаждой, белые зубы, торчащие на исчезнувшем лице. Улицы, загроможденные трупами. Мертвец на велосипеде. Пруды, заполненные мертвецами. Врач, у которого сорок ран. «Вы живы? Вы живы?» Как часто приходится ему это слышать. Высокий гость: его превосходительство. В честь посетителя он приподнимается на постели и думает, что ему лучше.

Единственный свет ночью — пылающий город, горящие мертвые тела. Запах, как от горелых сардин.

Когда это случилось, первым, что он вдруг заметил, было то, что он совершенно голый.

Тишина, все фигуры движутся бесшумно, как в немом фильме.

В больницу к раненому приходят посетители: первые известия о происшедшем, об уничтожении Хиросимы.

Город сорока семи ронинов *, — может быть, он за это был избран жертвой?

Дневник врача Мисихико Хасия охватывает 56 дней в Хиросиме, с 6 августа, дня взрыва атомной бомбы, до 30 сентября 1945 года.

Он написан, как произведение японской литературы: точность, нежность и ответственность — вот его главные черты.

Современный врач, японец настолько, что колеблемо верит в императора, даже когда тот объявляет о капитуляции.

Почти каждая страница в этом дневнике заставляет задуматься. Из него узнаешь больше, чем из всех позднейших описаний, потому что с самого начала сопереживаешь загадочность происходящего — все совершенно необъяснимо. Пребывая сам в мучительном состоянии, среди мертвых и раненых, автор по крохам собирает факты; его предположения сменяются все более уверенным знанием, превращаясь в теории, требующие экспериментов.

В этом дневнике нет ни одной фальшивой ноты, нет в нем и тщеславия, которое не было бы основано на стыде.

Если бы имело смысл поразмыслить о том, какая форма литературы сегодня необходима, необходима знающему и прозорливому человеку, то это именно такая.

Поскольку все разыгрывается в больнице, то наблюдение все время ведется за людьми, за теми, кто ее посещает, и за теми, кто в ней работает. Называются имена людей, в течение нескольких

дней они умирают. Другие, из городов и селений вдали от Хиросимы, посещают больницу. Нет предела радости, когда те, кого считали погибшими, оказываются в живых. Эта больница — лучшая в городе, в сравнении с другими — просто рай, каждый старается туда попасть, и многим это удается. Единственный свет ночью — от костров в городе; дарители этого света — мертвецы, которых сжигают. Позднее вокруг одной-единственной свечи собирается группа из трех человек, которые говорят о событии — «пикадоне» *.

Каждый старается сообщением другого дополнить то, что знает сам, — впечатление, будто монтируются разрозненные и случайные кадры фильма, и то здесь, то там он чем-то пополняется. Люди выходят в город, прокладывают себе дорогу через руины или раскапывают их в поисках ценностей, потом возвращаются в свое новое общество — общество умирающих, и надеются.

Никогда еще японец не казался мне таким близким, как в этом дневнике. Сколько всего я читал про них раньше. Только теперь у меня такое чувство, будто я их действительно знаю.

Неужели это правда, что других людей ощущаешь, как самого себя, только в час их величайшего несчастья? Неужели несчастье и есть то, что больше всего роднит людей?

Возможно, что с этим связано глубокое отвращение ко всякой идиллии, невыносимость идиллической литературы.

В случае Хиросимы речь идет о мощнейшей катастрофе, когда-либо разражавшейся над человечеством. В одном месте своего дневника доктор Хасия вспоминает о Помпеях. Но и эта трагедия несравнима с хиросимской. Над Хиросимой разразилась катастрофа, точно рассчитанная и осуществленная людьми. «Природа» здесь вне игры.

Зрелище катастрофы различно в зависимости от того, где оказался человек: внутри, в самом городе, — «пика», где только видят, но ничего не слышат, или извне, где, кроме того, все слышно, — «пикадон». Ближе к концу дневника автор описывает человека, который *видел* «облако», не будучи им непосредственно задет. Он потрясен его красотой: красочный блеск облака, его резко очерченные края, прямые линии, идущие от него в небо.

Что означает *выживание* после катастрофы такого масштаба? Записи в этом дневнике сделаны, как я уже говорил, врачом, необыкновенно добросовестным современным врачом, который привык мыслить научно и перед лицом такого небывалого феномена не понимает, с чем он имеет дело. Лишь на седьмой день от одного посетителя издалека он узнает, что Хиросиму поразил

атомная бомба. Один его приятель, капитан, приносит ему гостинец — корзинку персиков: «Просто чудо, что вы остались в живых, — говорит он доктору Хасия, — ведь взрыв атомной бомбы — это страшное дело».

«Атомная бомба! — воскликнул я и сел в постели. — Но это же та самая бомба, про которую я слышал, будто она может разнести на куски Формозу, и для этого довольно каких-нибудь десяти граммов водорода!»

Очень рано начинают приходить к доктору Хасия посетители, поздравляющие его с тем, что он еще жив. Он уважаемый и популярный человек, у него есть благодарные пациенты, школьные товарищи, коллеги, родные. Их радость от того, что он жив, безгранична, они удивлены и счастливы, может быть, более чистого счастья не существует. Они любят его, но также изумляются некоему чуду в его лице.

Это одна из тех ситуаций в дневнике, которые чаще всего повторяются. Как радуются его друзья и знакомые, найдя его живым, так же радуется и он, узнав то же самое про других. У этого переживания есть разные варианты: он узнает, например, что его и его жену уже объявили умершими. Один из находящихся в больнице, выбравшийся из своего горящего дома, но не сумевший спасти жену, считает ее погибшей. Вскоре он возвращается в свой разрушенный дом и ищет там ее останки. На том месте, откуда он в последний раз слышал ее крики о помощи, он находит кости, приносит их с собой в больницу и, исполненный пиетета, возлагает у домашнего алтаря. Когда он, дней десять спустя, везет эти кости в деревню, к родственникам жены, то находит там ее самое, целой и невредимой. Ей каким-то образом удалось выбраться из горящего дома, а проезжавший мимо армейский грузовик доставил ее в безопасное место.

Здесь это уже нечто большее, чем выживание, это возвращение умерших, сильнейшее и чудеснейшее переживание, какое вообще может быть у человека.

К числу удивительнейших феноменов в этой больнице, которой раньше заведовал доктор Хасия и где он лежит теперь как нечто промежуточное между врачом и пациентом, относится непоследовательность смерти. От людей, которые поступают в больницу обожженными и отмеченными ее печатью, ожидают, что они умрут или выздоровеют. Очень тяжело наблюдать, как им становится все хуже и хуже; но некоторые как будто бы выдержали и начинают понемногу поправляться. Их уже считают спасенными, но неожиданно они снова заболевают и только теперь внезапно оказываются в настоящей опасности. Есть также люди, в том числе сестры и врачи, которые поначалу кажутся непораженными. Они работают день и ночь, не щадя сил, но вдруг у них обнаруживаются признаки болезни, и они умирают.

Никто не может быть уверен, что тот или иной человек избежал опасности, замедления в действии бомбы опрокидывают все нормальные врачебные прогнозы. Врач очень скоро начинает понимать, что он бредет ощупью в потемках. Он прилагает все усилия, но, пока ему не известно, с какой болезнью он имеет дело, он кажется себе лекарем домедицинской эры и вынужден довольствоваться тем, чтобы утешать больных, вместо того, чтобы лечить.

Доктор Хасия, ломающий голову над проявлениями болезни у других, сам тоже пациент. Каждый симптом, который он обнаруживает у других, беспокоит его как угрожающий ему самому, и он потихоньку ищет его в собственном организме.

Выживание *сомнительно* и крайне ненадежно.

Он никогда не теряет почтения к умершим и в ужасе от того, что оно пропадает у других. Когда он заходит в деревянный бак, где его коллега из другого города производит вскрытия, он не может не склониться перед покойником.

Под окнами его больничной палаты ежевечерне сжигают мертвецов. Рядом с тем местом, где это происходит, находится ванна для купанья. В первый раз, когда он присутствует внизу при кремации, он слышит, как кто-то кричит из ванны: «Сколько трупов ты сегодня сжег?» Кошунственность этой ситуации — здесь человек, который еще недавно был жив и которого теперь сжигают, а там другой, голый в ванне здесь же, рядом, — возмущает его до глубины души.

Но всего через несколько недель он ужинает с приятелем у себя в палате тоже во время сжигания трупов. Замечает запах «будто горелых сардин» и продолжает есть дальше.

В честности и искренности этого дневника невозможно сомневаться. Написавший его — человек высокой нравственной культуры. Как всякий другой, он придерживается усвоенных традиций, не ставя их под сомнение. Его вопросы и сомнения возникают в сфере медицины, где они дозволены и необходимы. Он верил в войну, принимал милитаристскую политику своей страны и, хотя в поведении офицерской касты наблюдал кое-какие черты, которые ему не нравились, считал своим патриотическим долгом об этом молчать. Но именно такое положение вещей делает его дневник намного интересней. Наблюдаешь не только разрушение Хиросимы атомной бомбой — становишься свидетелем того воздействия, какое оказало на этого человека осознание поражения Японии.

В этом целиком и полностью разрушенном городе хоронят не врагов, а родных и близких, коллег и сограждан. Война еще продолжается, но враги, которым желают смерти, находятся

в другом месте. Оттуда исходит угроза, и гибель своих людей эту угрозу еще усиливает.

В случае с бомбой смерть обрушилась сверху, нанести ответный удар можно лишь по отдаленным целям, и было бы утешительно об этом *узнать*.

Желание, чтобы это свершилось, настолько необоримо, что кажется уже сбывшимся. Через несколько дней приезжает человек из другого города и приносит якобы совершенно достоверное известие — он получил его из надежнейшего источника, — что японцы нанесли ответный удар тем же оружием и таким же образом превратили в руины не один, а несколько крупных городов Америки.

Настроение в больнице мгновенно меняется, воодушевление охватывает даже тяжелораненых. Люди снова сплываются в массу и верят, что смерть, устремившись в другое место, их пощадила. Вполне вероятно, что многие, пока не проходит это чувство ликования, веруют в то, что теперь не умрут.

Тем тяжелее поражает их, через десять дней после бомбы, известие о капитуляции. Император никогда еще не выступал по радио. Правда, и теперь речь его остается непонятной, она произнесена архаическим языком двора. Но высокопоставленные лица, которые должны знать его голос, признают, что говорит император, содержание его заявления переводится. При упоминании имени императора все собравшиеся в больнице склоняются в поклоне. Никогда раньше не слышали люди голоса императора, не этим голосом был отдан приказ о начале войны. Но именно он теперь ее отменяет. Только ему верят, что потерпели поражение, а иначе не поверили бы.

Находящиеся в больнице потрясены этим сильнее, чем разрушением своего города, своей болезнью, мучительной смертью, которая предстоит многим из них. Теперь уже нечего думать о том, что смерть отвлечется в другую сторону, всю тяжесть ран и смерти придется нести самим. Все зыбко и безнадежно. Многие противятся этой безнадежности, она пассивна, и предпочитают воевать дальше. Возникают две партии, одна — за, другая против продолжения войны. Масса потерпевших поражение, прежде чем окончательно распасться, расщепляется, теперь это двухголовая масса. Но той части, что за продолжение войны, приходится слишком трудно: она противостоит приказу императора.

Удивительно наблюдать, как в течение следующих дней власть, бывшая во время войны предельно централизованной, в сознании доктора Хасия расщепляется на злую — власть военных, которая привела страну к катастрофе, — и добрую — власть императора, желающую блага стране. Таким образом, для доктора Хасия одна инстанция власти остается в силе,

поэтому внутренняя структура его существования не затронута. Теперь его мысли непрестанно вертятся вокруг императора. Он, как и страна, оказался жертвой военных. Он достоин глубочайшей жалости, его жизнь становится еще драгоценней. Ему приходится терпеть унижение из-за того, чего он вовсе не хотел, — из-за войны. Это позволяет каждому лояльному подданному поискать и в себе что-то, не хотевшее войны. Наблюдения за военными, подмеченные у них черты: высокомерие, ограниченность, презрение ко всем, кто не принадлежит к их собственной касте, — вдруг становятся действенными. На место врага, против которого больше не разрешено воевать, становятся военные, теперь враги *они*.

А император все время был здесь, продолжение собственной жизни зависит от того, жив ли он: даже во время катастрофы, поразившей город, его портрет удалось спасти.

История спасения императорского портрета записана в дневнике ближе к концу — на 39-й день, только тогда доктор Хасия ее услышал. Она расписана во всех подробностях. Через несколько часов после взрыва атомной бомбы сквозь скопления умирающих и тяжелораненых проносят к реке портрет императора. Умирающие уступают дорогу: «Портрет императора! Портрет императора!» Тысячи людей еще сгорят *после того*, как портрет вынесут из города и увезут на лодке.

Первым рассказом о спасении портрета доктор Хасия не насытился. Он не может успокоиться, ищет все новых свидетелей, особенно тех, кто принимали участие в священнодействии. Еще один рассказ об этом вписывает он в свой дневник. В те дни в Хиросиме происходило много такого, что заслуживает похвалы. Хасия справедлив и не пропускает ни одного достойного поступка. Хвалу он отмеряет тщательно и осмотрительно. Однако о спасении императорского портрета он говорит с неудержимым восторгом. Чувствуется, что из всего случившегося это вселяет в него наибольшую надежду: это звучит так, будто император *выжил*.

К нему все еще приходят люди, которые удивляются, что он жив, и с этим его поздравляют. Их радость ощущается даже в его записях, и она передается читателю. Под окнами больницы еще долго будут сжигать пациентов, которые скончались, умирание продолжается. Это словно новая, неизвестная эпидемия. Ее истинная причина, ее течение не изучены. Только благодаря вскрытиям врачи начинают постепенно понимать, с чем они имеют дело. Жажда исследовать эту новую болезнь ни на миг не оставляет доктора Хасия. В той же мере, в какой для него остается непоколебленной традиционная структура страны,

имеющая своей вершиной императора, так же не разрушен в нем и современный врач. Насколько естественно может одно сочетаться с другим, насколько мало одно мешает другому, я впервые до конца понял только из этого дневника.

Самое неприкосновенное в этом человеке — его почтение к умершим. Речь уже шла о том, как тяжело ему видеть, что люди привыкают к смерти, для него она всегда остается чем-то очень серьезным. Не чувствуется, что мертвые сливаются для него в общую массу, в которой отдельный человек уже не имеет значения. Он думает о них как о личностях. Не надо забывать, что он врач, и притупление ужаса перед смертью должно быть свойственно ему в силу профессии. Но что бы ни случилось, создается впечатление, что он скорбит о каждом, кто жил, о каждом, каким тот был в действительности, каким он сохранил его в воспоминаниях.

Сорок девятый день после несчастья — дата поминовения умерших. Доктор едет на велосипеде в город и не пропускает ни одного места, ставшего священным благодаря умершим, как его близким, так и тем, о которых ему стало известно.

Он закрывает глаза, чтобы увидеть погибшую соседку, и она ему является. Как только он открывает глаза, ее образ исчезает, он закрывает глаза опять, и она является снова. Он ищет дорогу среди руин своего города, но нельзя сказать, что он блуждает, он знает точно, что ищет, и находит места мертвых. Он ни в чем себя не щадит, все представляет себе воочию. Говорит, что молится за каждого. А я себя спрашиваю: были ли в городах Европы люди, обследовавшие развалины в поисках мест, где другие люди умерли, и молившиеся за них вот так, ясно представляя себе погибших, и не за ближайших родственников, а за соседей, друзей, знакомых, даже за тех, кого они никогда не видели, о чьей смерти им только рассказывали? Я с опаской употребил слово «молится» в отношении действий Хасия в тот день, но он употребляет его сам и не только по этому поводу называет себя буддистом.

1971

ГЕОРГ БЮХНЕР

Речь в связи с присуждением премии Георга Бюхнера

Уважаемые дамы и господа! Благодарить за награду, названную именем Георга Бюхнера, представляется мне отчаянно смелым начинанием. Ведь благодарность выражается словами,

а когда называется имя Бюхнера, кому же не вспомнятся его слова, и разве найдется в любой стране Земли человек, который осмелился бы поставить рядом с этими словами свои собственные?

Поэтому я хотел бы сказать нечто совсем простое, а именно что я не знаю награды, которую считал бы более высоким отличием, нежели эта, и я счастлив, что до нее дожил. Я благодарю Германскую академию языка и литературы, благодарю землю Гессен, благодарю город Дармштадт, которым мы год от года чувствуем себя все более обязанными за то, что они — родина двоих из числа самых светлых и свободных умов человечества — Лихтенберга * и Бюхнера.

Я не знаток научной литературы о Бюхнере, и весьма сомнительно, имею ли право высказываться о нем здесь, перед вами, поскольку все вы, по-видимому, знаете и эту литературу тоже. Если что-то и говорит в мою пользу и могло бы послужить мне извинением, так это лишь тот факт, что Бюхнер изменил мою жизнь больше, чем какой-либо другой писатель.

Истинная субстанция писателя, то, что представляется в нем неповторимым, образуется, по-моему, в те немногие ночи, которые отличаются от всех других ночей своей интенсивностью и силой свечения. Это те редкие ночи, когда ему трудно, но он вполне осознает себя, осознает настолько, что способен раствориться в своем совершенстве. Темный космос, из коего он состоит, пространство для коего ощущает, еще не ведая, что этот космос содержит, внезапно смешивается с другим, с ясно выражающим себя миром, и столкновение этих миров настолько сильно, что вся материя, рассеянная в нем и предоставленная самой себе, вспыхивает в одно и то же мгновение. Это миг, когда звезды у него внутри, разделенные ужасающе огромным пространством, замечают друг друга. Теперь, когда они знают, что существуют, возможно все. Теперь их язык может подавать сигналы.

Такую ночь я пережил в августе 1931 года, когда в первый раз прочитал «Войцека». Весь предыдущий год я прожил в «Ослеплении». Это была замкнутая жизнь, что-то вроде барщины, помимо нее ничего не было, все, что происходило в том году, я от себя отталкивал. Но вот Кин сжег себя вместе со своими книгами; каким-то непостижимым образом я чувствовал, что и мои собственные книги разделили ту же судьбу; было ли то моей виной, что я позволил Кину расправиться с книгами; было ли справедливостью, что мне пришлось за его книги пожертвовать собственными, — так или иначе, но книги мне не давались, я чувствовал себя выжженным дотла и слепым в сотворенной мной самим пустыне.

И вот тогда, однажды ночью, я раскрыл Бюхнера и напал на «Войцека», на сцену между Войцеком и доктором. Меня она как

громом поразила, и мне представляется жалким, что я не нахожу для этого более сильных слов. Я прочел все сцены так называемого фрагмента, помещенные в той книжке, и поскольку я не мог осознать, что такое бывает, просто не мог в это поверить, то перечитал их четыре-пять раз подряд. Не знаю, что еще так потрясло меня за всю мою жизнь, отнюдь не бедную впечатлениями. Когда наступил день, я не выдержал — я больше не мог оставаться с этими сценами наедине. Рано утром я поехал в Вену, к той, что была мне больше чем жена и стала ею на самом деле, к той, кого я сегодня, когда ее уже нет в живых, хотел бы видеть здесь. Она была гораздо начитаннее меня, *она* читала Бюхнера в двадцать лет. Я принялся ее ругать, почему она никогда, ни единого раза не называла мне «Войцека», ведь не было почти ничего, о чем бы мы не сообщали друг другу. «Ты должен радоваться, что никогда этого не читал, — сказала она, — разве иначе ты бы мог что-нибудь написать сам? Зато теперь, когда это произошло, ты можешь наконец прочитать и „Ленца“! *»

Я это сделал прямо у нее, в то же утро, и после чтения «Ленца» мое «Ослепление», которым я все-таки гордился, так страшно сжалось, что я понял, как хорошо она со мной поступила.

Это единственное оправдание тому, что сегодня я осмеливаюсь говорить перед вами о Бюхнере.

Я думаю о станциях на жизненном пути Бюхнера: Дармштадт, Гисен, Дармштадт, Страсбург, Цюрих, и мне бросается в глаза, как близко эти города друг от друга. Даже для тех времен все это по соседству. Как ясно это чувствовалось в Дармштадте, по крайней мере в отношении Страсбурга, видно из последнего письма матери к Бюхнеру. Хотя она и испытывает облегчение от того, что он прибыл в Цюрих, она пишет:

«Я считаю, что теперь, покинув Страсбург, ты оказался на чужбине, пока ты был в Страсбурге, мне казалось, что ты рядом» *. Только Цюрих, который на самом деле недалеко, кажется ей чужбиной. Для размаха бюхнеровского творчества, конечно, характерно, что это близкое соседство нам даже не приходится в голову. Другие писатели, может быть, тоже далеко не ездили, это выглядит естественно, у Бюхнера это поражает.

Правда, следует помнить, *как много* значил когда-то Страсбург: инкубатор новой немецкой литературы, молодые Гердер и Гёте и, как требует сказать запоздалая справедливость, не менее видный в те годы Ленц *. Это воспоминания, отстоящие от Бюхнера не более, чем на шестьдесят лет, воспоминания такие же близкие, как, скажем, те, что мы с вами можем почерпнуть из времени перед первой мировой войной. Но в промежутке — самое эпохальное событие новейшей истории, которое лишь при жизни нашего поколения сменилось еще более эпохальны-

ми, — Французская революция. В Страсбурге отклик на эту революцию не был подавлен, как в тогдашней Германии. Бюхнер приезжает во Францию во времена буржуазного королевства, когда во многих направлениях начала разворачиваться духовная жизнь, пропитанная политикой, оплодотворенная суждениями об общественных делах, жизнь настолько активная и современная, что мы во многом кормимся ею и по сей день.

В Страсбурге Бюхнер впервые сталкивается с массой: через несколько недель после его приезда граждане и студенты встречают Раморино, борца за свободу Польши *. Через город проходят триста-четырееста студентов, впереди несут черный флаг, их сопровождает огромная толпа народа, с пением «Марсельезы» и «Карманьолы»; повсюду слышатся призывы «Vive la liberté! Vive Ramorino! À bas les ministres! À bas le juste milieu!»¹

Возле Страсбургского собора ему встретился длинноволосый бородатый молодой человек, сен-симонист, который, несмотря на свой пестрый костюм, произвел на него довольно сильное впечатление. В Страсбурге Бюхнер становится свидетелем, как полиция набрасывается на протестующую массу демонстрантов. Два года находился Бюхнер в этом открытом мире. То, что он привез туда из дома, было бесценно. В Страсбург он приехал не сентиментальным юнцом, у него был зоркий глаз на все плотское, индивидуальное, конкретное — свойство, которым он был обязан нескольким поколениям своих предков-врачей и впечатлениям в отчем доме. Нельзя сказать, что он совсем нечувствителен, но в его юные годы в нем более заметна прямая и твердая нота: нет ни следа поэтических набросков, никакого самоотражения, никакого самоупоенного смакования своей слабости. Бюхнер — старший сын крепкого, осмотрительного отца, который доживет до семидесяти пяти лет, и, наверно, не бесполезно напомнить, что три его брата дожили до семидесяти шести, семидесяти пяти, семидесяти семи лет. Мать и сестры тоже умерли немолодыми. В этой большой семье он единственный, кому вследствие злосчастной инфекции выпало умереть молодым.

В Страсбурге он учится свободно пользоваться французским, один язык не вытесняется другим. Он обзаводится друзьями, хорошо изучает Эльзас и Вогезы. Новый город, новая страна не таковы, чтобы в них можно было потонуть. Два года в Париже наверняка прошли бы по-другому. В жизни Бюхнера обращает на себя внимание то, что он ничего не растрчивает попусту. Натура, собирающая в себе свои темы, но хорошо их различающая, различающая также отдельных людей и отдельное в людях; на-

¹ «Да здравствует свобода! Да здравствует Раморино! Долой министров! Долой умеренных!» (франц.)

тура, для которой игровой момент не становится самоцелью, — даже сон, даже легкость наделены определенной резкостью. Натура, которая при всем своем богатстве не знает затруднений, для которой нет ничего неразрешимого, — этим, но только этим, отличаясь от Ленца и скорее напоминая Гёте.

Он не теряет не только людей и вещи, но также когда-либо воспринятые импульсы: все у него работает, долгих заторов он не знает. Удивительно, как быстро и энергично реагирует он на новую обстановку. Возвращение из Страсбурга в убожество Дармштадта и Гисена мучает его, как тяжелое заболевание. Но он находит единственно возможный выход из гнетущей тесноты, передавая воспринятые им революционные импульсы дальше, невзирая на лица, передавая без подделки, в точном соответствии с их содержанием, тем людям, которые не стремятся к высокомерной обособленности. Он основывает Общество прав человека, начинается время заговора, а с ним и его двойная жизнь.

Можно показать, в какой форме продолжается эта двойная жизнь после краха его акции, какой она становится плодотворной, сколь многим обязаны ей его произведения, как она вливается в его «Ленца» и даже еще в «Войцека». В той же мере, в какой он приносит с собой на родину, в ее стесненность размах французских дел, точно так же прихватывает он с собой при бегстве из родного города в Страсбург самое тесное, что там есть, — тюрьму, которая ему угрожает, и страх перед ней еще живет в нем, когда ему удастся достичь цюрихского рая.

Страх Бюхнера, который его уже не оставит, носит особый характер потому, что это страх человека, активно боровшегося с опасностью. Его смелое поведение перед следователем *, его старания выволить из тюрьмы своего друга Миннигероде *, явка к следователю брата Вильгельма, вместо поэта, вызванного на допрос *, его письмо Гуцкову *, наконец, удавшееся бегство — все это обнаруживает сильный характер, который вполне сознает сложившуюся ситуацию и ей не поддается.

Но дело выглядело бы слишком просто, если бы мы упустили из виду «Дантона» *, которого он набросал на бумаге в течение месяца, когда готовился к бегству. Дантон тоже вполне способен осознать свою ситуацию: в разговоре с Робеспьером он даже делает все возможное, чтобы ее ухудшить. Он хочет, чтобы она была непоправимой, предельно острой. Но когда дело доходит до того, чтобы принять решение спастись, бежать, он парализует себя фразой, которую часто повторяет: «Они не посмеют». Эта фраза в пьесе — самая навязчивая; уже в первый раз она вызывает у читателя неприятное чувство, а под конец, после нескольких повторов, он воспринимает ее, как хотелось бы воспринимать лозунг революции, но только с обратным знаком. Эта фраза выдает подлинную тему пьесы, а именно: надо ли спасаться?

Дантон хочет остаться, его нежелание трогаться с места пересиливает опасность. «В сущности, вся эта история мне смешна, — говорит он. — У меня есть чувство постоянства, оно говорит мне, что завтра будет, как сегодня, и послезавтра, и дальше все будет так же. Это шум из ничего, меня просто хотят запугать, они не посмеют!»

Бюхнеру надо вывести этого человека, не желающего спасаться, для того, чтобы спастись самому. Речь идет о грозящей ему опасности, Консьержери и арестный дом в Дармштадте — это одно и то же. Он пишет в лихорадке, у него нет выбора, он не может дать себе передышку, пока не положит Дантона под гильотину. Этим он делится с Вильгельмом, своим младшим братом, своим ближайшим поверенным в эти недели, он говорит ему также, что должен бежать. Но его еще удерживают разные причины: мысли о раздоре с отцом *, забота о друзьях, томящихся в тюрьме *, вера в то, что его не тронут, и отсутствие денег.

«Вера в то, что его не тронут» — в устах Дантона это звучит так: «Они не посмеют!» Этой фразой Дантона Бюхнер пытается преодолеть собственную расслабленность, она подстегивает его с этой расслабленностью бороться. Мне представляется несомненным, что Бюхнер принимает судьбу Дантона, как бы поневоле воспроизводит ее, чтобы самому избежать подобной.

Дела Бюхнера остаются с ним еще долгое время после того, как он их сделал, он оглядывается на них, как будто бы они одновременно и не сделаны, и сделаны. Бегство, центральное событие его жизни, внешне ему удалось, но от ужаса перед тюрьмой он уже никогда не избавится. Свой долг друзьям, оставленным в Дармштадте, он погашает тем, что ставит себя на их место. Письма, которые он отправляет из Страсбурга семье и которые должны служить для ее успокоения, где он сообщает о своих трудах и перспективах, на самом деле полны неизбежного беспокойства. От беженцев он узнает о новых арестах дома и со всеми подробностями сообщает эти известия родным. Хотя зачастую он лучше информирован, чем они, он и от них ждет сообщений о судьбах друзей. Ничто не затрагивает его ближе, не интересует больше, чем это. Он, прекрасно понимающий ценность свободы, делающий все для того, чтобы ее сохранить при помощи работы, но также и при помощи бдительности и прозорливой оценки опасностей, одновременно ощущает себя в тюрьме вместе с друзьями. Их страх — это и его страх, это чувствуешь, когда он пишет о казнях, которых на самом деле не было. С момента его вторичного приезда в Страсбург можно говорить о новой двойной жизни Бюхнера, которая иным образом продолжает его двойную жизнь дома во времена заговора. Одну жизнь, внешнюю, фактическую, он ведет в эмиграции и при этом старается не дать никакого повода для выдачи его гессенским

властям. Другую он в чувствах и мыслях ведет дома, вместе со своими несчастными друзьями. Необходимость бегства все еще неотступно стоит перед ним, месяц подготовки к нему в Дармштадте для него так никогда и не кончился.

Такова судьба эмигранта — ему хочется верить, что он спасся. Но он не может в это поверить, ибо те, которых он оставил позади, — другие люди, — не спаслись.

Через два месяца после его приезда в Страсбург Гуцков в одном из писем * к нему упоминает «Вашу новеллу „Ленц“». Видимо, Бюхнер довольно скоро после приезда написал ему о замысле такой новеллы.

О значении этой повести, о том, что связывает Бюхнера с Ленцем, можно сказать бесконечно много. Я хотел бы отметить здесь только один момент, конечно, мелкий в сравнении со всем, что надо бы сказать: как сильно эта повесть пропитана и окрашена бегством. Вогеzy, хорошо знакомые Бюхнеру по странствиям с друзьями — еще два года назад он описал их в письме к родителям, — превращаются 20-го, когда Ленц шел через горы, в ландшафт страха *. Состояние Ленца, если его вообще можно определить одним словом, — это состояние бегства, которое, однако, распадается на множество мелких, по видимости, бессмысленных бегств. Тюрьма ему не грозит, но он отвержен, изгнан из своей отчизны. Его отчизной, единственной, где ему вольно дышалось, был Гёте, а Гёте его оттолкнул. Теперь он бежит в места, связанные с Гёте, места более или менее отдаленные; приходит, осваивается и пытается осесть. Но изгнание, которое сидит в нем занозой и не дает покоя, заставляет его снова все оборвать. Он все время повторяет одни и те же мелкие, растерянные движения, спасаясь бегством то в воду, то через окно, в соседнюю деревню, в церковь, в крестьянский дом, к мертвому ребенку. Если бы ему удалось этого ребенка воскресить, он считал бы себя спасенным.

В Ленце Бюхнер нашел свою собственную тревогу, страх перед бегством, охватывавший его всякий раз, когда он приходил к друзьям в тюрьму. Кусок ненадежного пути Ленца он прошел с ним вместе, перевоплотившись в него и в то же время как его сопровождающий, который в роли *другого* неотступно наблюдал его со стороны. Не было конца ничему — ни отверженности, ни бегству, неизменно повторялось одно и то же. «Так он и жил...» — написав эту последнюю фразу, Бюхнер расстался с Ленцем.

Другой же Бюхнер, каким знало его тогдашнее окружение, своей основательной и упорной научной работой — исследованием нервной системы усачей * — завоевал уважение естествоиспытателей Страсбурга и Цюриха. Он получил степень доктора и ездил в Цюрих для чтения пробной лекции.

В цюрихский период, который длится не более четырех месяцев, ему удается показать себя и занять прочное место. Он сразу становится доцентом, среди его слушателей есть видные люди. Длинное письмо отца к нему свидетельствует об отцовском прощении. Швейцария ему нравится: «Повсюду приветливые деревни с красивыми домами!» Он хвалит «здоровый крепкий народ» и «простое, доброе, чисто республиканское правление».

Сразу после этого, в последнем письме к родным, которое те получили, от 20 ноября 1836 года, молнией вспыхивает известие, самое ужасное для него: «Миннигероде умер, как мне сообщают, это значит, что его три года мучительно умерщвляли. Три года!» Так близко соседствуют обретенный цюрихский рай и смертная мука друга.

Я полагаю, что именно это известие побудило его к окончанию «Войцека». Как ни в одном из своих произведений, здесь он обращается к людям, живущим рядом. Что печальное известие оказалось ложным *, он, возможно, узнать не успел. Во всяком случае, свое действие на него оно оказало. Прошло два года четыре месяца с тех пор, как арестовали Миннигероде, не удивительно, что для Бюхнера, неизменно пребывавшего также в Дармштадте, это время растянулось до трех лет. И все же это выразительное число «три» напоминает о заточении другого человека, а именно — исторически реального Войцека. Более трех лет прошло между убийством его возлюбленной и его публичной казнью. Дело это, конечно, было Бюхнеру знакомо по заключению надворного советника Кларуса об убийце Войцеке *.

Помимо известия о смерти его арестованного друга, помимо живых воспоминаний как об угнетенных, так и о торжествующих людях дома, в замысел «Войцека» влилось нечто, что сразу на ум не приходит, — философия.

К признакам совершенства Бюхнера относится то, что он, скрежеща зубами, схватился с философией. Эту склонность он привез с собой. Люнинг *, встретивший Бюхнера в Цюрихе в бытность свою студентом, замечает у него «некоторую, крайнерешительную определенность при составлении утверждений». Но он чувствует отвращение к философскому языку. Еще в ранние годы в письме к эльзасскому другу Августу Штёберу * он писал: «Я со всей силой ринулся в философию. Ее профессиональный язык отвратителен, я полагаю, что для человеческих дел надо бы находить и человеческие выражения». А два года спустя, когда он этим языком уже овладел, он пишет Гуцкову: «Я совершенно дурею от изучения философии, с новой стороны узнаю убожество человеческого духа». Он занимается философией, не подпадая под ее власть, и не жертвует ей ни граном реальности. Он воспринимает ее серьезно, когда она действует в малейшем

из малых, в Войцке, и высмеивает в тех, кто чувствует себя выше Войцкеа.

Войцек, солдат, как обезьяна ярмарочного зазывалы, — «низшая ступень рода человеческого», преследуемый голосами, словно приказами, арестант, гуляющий на свободе, кому предназначено быть арестантом, посаженный на арестантскую пищу, всегда одну и ту же — горох, арестант, низведенный до состояния животного доктором, который осмеливается ему сказать: «Войцек, человек свободен, в человеке индивидуальность преобладает в свободе», подразумевая под этим всего только, что Войцек должен уметь удерживать мочу. Это свобода покорствовать любому злоупотреблению его человеческой природой, свобода закабалиться за три гроша, которые он получает на питание горохом. И когда с удивлением воспринимаешь из уст доктора слова: «Войцек, ты опять философствуешь» — как похвалу хозяина балагана дрессированному животному, то в следующей фразе эта похвала снижается уже до некоего «Aberratio», а еще дальше с научным уточнением до «Aberratio mentalis partialis»¹, с прибавкой.

Но капитан, хороший, хороший человек, который кажется себе хорошим потому, что ему слишком хорошо живется, который боится быстрого бритья, как вообще боится всего быстрого перед лицом огромного времени — вечности, упрекает Войцкеа: «Ты слишком много думаешь, это изводит, у тебя всегда такой загнанный вид».

Занятия Бюхнера учениями отдельных философов воздействовали на создание «Войцкеа» и другим, скрытым образом. Я думаю о лобовом представлении важных фигур, которое можно было бы определить как их *саморазоблачение*.

Уверенность, с какой они исключают все, что не суть они сами, агрессивное отстаивание самих себя, которое сказывается и в выборе слов, беззаботное игнорирование действительного мира, в котором они, однако, крепко и злобно наносят удары во все стороны, — в этом есть что-то от оскорбительного самоутверждения философов. Уже в первых своих фразах эти фигуры вполне себя раскрывают.

Капитан в той же мере, что и доктор, и прежде всего — тамбурмажор выступают как глашатаи своей собственной персоны. Насмешливо, хвастливо или завистливо они ставят границы, ограждают себя от одного и того же презренного создания, которое считают ниже себя и которое для того только и существует, чтобы они попирали его ногами.

Войцек — жертва всех троих. Заученной философии доктора, капитана он может противопоставить подлинные мысли. *Его*

¹ «Частичное умственное отклонение» (лат.).

философия конкретна, привязана к страху, боли и тому, что он видит. Он боится, когда мыслит, а голоса, которые его преследуют, для него существенней, чем растроганность капитана по поводу его висящего мундира и бессмертные гороховые эксперименты доктора *. В противоположность им он представлен не лобово, он от начала до конца состоит из живых, часто неожиданных реакций. Поскольку он всегда в опасности, то неизменно бдителен, и слова, которые ему подсказывает бдительность, — это еще слова, пребывающие в невинности. Они не стерты, не служили во зло, это не монеты, не оружие, не запасы, это слова, как будто бы только что возникшие. Даже если он подхватил их, не поняв, они проходят в его сознании своим путем: масоны у него опустошают Землю изнутри: «Пустота, слышишь? Все там внизу пустое! Масоны!»

На скольких же людей расщеплен мир в «Войцек»! В «Смерти Дантона» у персонажей еще очень много общего, всем присуща безудержная словоохотливость, а умом наделен не один только Дантон. Можно попытаться объяснить это тем, что это было словоохотливое время и вожди революции, действующие в этой пьесе, выдвинулись в конечном итоге благодаря тому, что пользовались словом. Но потом вспоминаешь историю Марион * — это тоже защитительная речь, совершеннее которой по ее делу и представить себе нельзя, и тут не без внутреннего протеста приходится признать: «Смерть Дантона» — пьеса, вышедшая из школы риторики, разумеется, из самой неизмеримой среды этих школ — Шекспировой.

От пьес других учеников она отличается напористостью и стремительностью, а также своей особой субстанцией, какая в немецкой литературе больше не повторяется, — субстанцией, где в равных долях смешаны огонь и лед. Это огонь, заставляющий человека бежать, и лед, в котором все кажется прозрачным, и человек бежит, чтобы его не обогнал огонь, и останавливается, чтобы взглянуть в лед.

Спустя неполных два года Бюхнеру удалось своим «Войцек» произвести полнейший переворот в литературе: это было открытие *Малого*. Это открытие предполагает сострадание, но Малое останется *нетронутым* только в том случае, если это сострадание скрыто, если оно молчит, не выражает себя. Писатель, который чванится своими чувствами, который раздувает Малое своим состраданием, — оскверняет и разрушает его. Войцек преследуют голоса и слова других, но писатель его не трогает. В этом целомудрии по отношению к Малому Бюхнер и по сей день ни с кем не сравним.

В последние дни жизни Бюхнера сотрясают лихорадочные фантазии, об их характере и содержании известно немного и лишь приблизительно. Это немного мы находим в записях Ка-

ролины Шульц *, в ее словах. Читаем:

«14-е (февраля)... Около 8 часов бред возобновился, и было странно, что он часто говорил о своих фантазиях, сам их оценивал, когда его пытались разубедить. Одна фантазия повторялась часто — он воображал, что его выдали...

15-е... Когда он был в сознании, то говорил немного затрудненно, но стоило ему начать бредить, как речь его лилась легко. Он рассказал мне длинную связную историю: как его вчера уже привезли в город, как он сначала произнес речь на рыночной площади и т. д.

16-е... Больной много раз порывался бежать, потому что воображал, будто его хотят запереть в тюрьму, или думал, что он уже там, и хотел бежать».

Мне кажется, что, располагая мы полным текстом этих фантазий, мы оказались бы очень близки к Войцеку, ведь даже в этом отчете, смягченном любовью и печалью, где не передан страх загнанного человека, чувствуется что-то от Войцека. 19-го, когда Бюхнер умер, он был еще полон Войцеком.

Не бесполезно ломать голову над тем, как сложилась бы дальнейшая жизнь Бюхнера, потому что это мешает нам искать смысл в его смерти. Как всякая смерть, она бессмысленна, но именно смерть Бюхнера делает эту бессмысленность особенно явной. Он не сложился до конца, несмотря на весомость и зрелость каждого оставленного им творения. Таково свойство его натуры — он не сложился бы до конца и позднее тоже. Он предстает перед нами как чистый образец человека, неспособного сложиться до конца. Многообразие его возможностей, проявляющихся поочередно, одна за другой, обнаруживает натуру, которая при своей неисчерпаемости требует бесконечной жизни.

1972

ПЕРВАЯ КНИГА — «ОСЛЕПЛЕНИЕ»

Название этой статьи вводит в заблуждение: книга, которой суждено было стать у меня первой, планировалась как одна из восьми книг, и наброски для всех я сделал в течение года, с осени 1929-го до осени 1930-го. Рукопись первого из этих романов, на котором я затем сосредоточился и который написал в течение будущего года, носила название «Кант загорается».

Под этим названием книга в рукописи лежала у меня четыре года, и только в 1935 году, когда ей предстояло выйти, я дал ей название, какое она с тех пор и носит: «Ослепление».

Главное действующее лицо этой книги, ныне известное под именем Кин, в первых набросках обозначалось буквой «Б», со-

кращением от *Büchermensch*¹. Именно таким вот книжником представлялся мне этот человек, и его связь с книгами была важна до такой степени, что заслоняла его самого. Он весь состоял из книг, и тогда это было его единственным свойством, других пока что не было вообще. Но когда дело подошло к тому, чтобы связно изложить его историю, я дал ему имя «Бранд»². В этом имени был заложен его конец: он должен был погибнуть в огне. Я еще не знал, как в подробностях развернется роман, но мне с самого начала было ясно: герой подожжет себя вместе со своими книгами и в этом огне, зажженном им самим, сгорит вместе со своей библиотекой. Поэтому он звался Бранд, и, таким образом, два первых обозначения для него — «книжник» и «Бранд» — с самого начала были единственными признаками его личности.

Но было точно известно уже и кое-что другое, и это можно назвать для книги решающим: противостоящая фигура ограниченной экономки Терезы. Прототип для нее был настолько же реален, насколько нереален сам книжный червь. В апреле 1927 года я снял комнату неподалеку от Вены, на холме над Хакинггом, на Хагенберггассе. Я пожил уже в нескольких студенческих комнатах в городе и теперь, для разнообразия, решил переехать за город. Меня привлек зоопарк в Лайнце с его старыми деревьями, и мне бросилось в глаза объявление о сдаче комнаты прямо рядом с оградой зоопарка. Я отправился смотреть комнату. Хозяйка открыла мне и провела на третий этаж, где была только одна эта комната. Сама она с семьей жила внизу, на первом этаже. Я пришел в восторг от вида из окна: за площадкой для игр можно было видеть деревья большого архиепископского парка, а по другую сторону долины, на склоне холма, глазам открывался обнесенный стеной Штайнхоф — город сумасшедших. Решение я принял мгновенно — я должен жить в этой комнате, и, стоя у открытого окна, принялся договариваться с хозяйкой. Юбка у нее доходила до полу, голову она держала склоненной набок и временами перебрасывала к другому плечу; первая речь, которую она держала передо мной, дословно вошла в третью главу «Ослепления»: о нынешней молодежи и о картофеле, который стоит вдвое дороже. Это была довольно длинная речь, и она так меня раздражала, что я ее сразу запомнил. Правда, в течение последующих лет я часто слышал ее, буквально слово в слово. Но я и не смог бы забыть ее даже после одного раза.

При этом первом осмотре комнаты я выговорил себе условие, что моей подруге будет разрешено меня навещать. Хозяйка настаивала, чтобы это каждый раз была одна и та же — «фройляйн

¹ Книжник (нем.).

² «Brand» (нем.) — пожар.

невеста». Возмущение, с каким я отвечал, что это одна-единственная и есть, успокоило хозяйку. Еще у меня было много книг. «Да помилуйте, — сказала она, — у студента так и должно быть». Больше препятствий встретило мое последнее дерзкое требование: я должен иметь возможность развесить картины, которые всегда вожу с собой. Она сказала: «Такие красивые обои. Обязательно канцелярскими кнопками?» Я упрямо подтвердил: да. Уже много лет я не расставался с большими репродукциями фресок Сикстинской капеллы и был настолько в плену у пророков и сивилл Микеланджело, что не мог бы пожертвовать ими даже ради этой комнаты. Она увидела мою решимость и скрепя сердце согласилась.

Этой комнате, в которой я прожил шесть лет, я обязан не только фигурой Терезы. Ежедневно открывавшийся мне вид на Штайнхоф, где обитали 6000 сумасшедших, сидел у меня колючкой в теле. Я совершенно уверен, что вне этой комнаты никогда не написал бы «Ослепление».

Но тогда до этого было еще очень далеко, я был студентом, изучал химию, ежедневно ходил в лабораторию и писать мог только вечерами. Не хотел бы я также создавать ложное впечатление, будто у Терезы, которая возникла лишь три с половиной года спустя, есть что-то общее с моей квартирной хозяйкой, кроме манеры говорить и внешнего сходства. Она была почтовая служащая, вышедшая на пенсию, ее муж тоже служил на почте, и с ними вместе жили двое их взрослых детей. Только первая речь Терезы рождена действительностью, все остальное — плод воображения.

Через несколько месяцев после того, как я въехал в эту новую комнату, произошло событие, имевшее глубочайшее влияние на мою дальнейшую жизнь и на работу над «Ослеплением» тоже. Это было одно из тех не слишком часто случающихся общественных событий, которые так потрясают весь город, что после этого он становится совсем другим.

Утром 15 июля 1927 года я не поехал, как обычно в это время, в Химический институт на Верингерштрассе. Сидя в кафе на Обер-Сент-Фейт, я стал просматривать утренние газеты. До сих пор чувствую возмущение, которое охватило меня, когда я взял в руки «Рейхспост», — в глаза бросился гигантский заголовок: «Справедливый приговор». В Бургенланде была стрельба, убили нескольких рабочих. Суд оправдал убийц *. Этот оправдательный вердикт в органе правящей партии был назван, нет, провозглашен «справедливым приговором». Не столько даже само оправдание, сколько насмешка над всяким чувством справедливости вызвала невероятное волнение среди венского рабочего люда. Организованные шествия рабочих потянулись из всех районов Вены ко Дворцу правосудия, который самым своим

названием воплощал для них несправедливость. Это была совершенно произвольная реакция, насколько произвольная, я почувствовал по себе.

Я сел на велосипед, поспешно поехал в город и присоединился к одному из таких шествий.

Рабочие, вообще очень дисциплинированные, питавшие доверие к своим социал-демократическим вожакам и довольные тем, что социал-демократы образцово управляли венским магистратом, в этот день действовали *без* своих вожаков. Когда они поджигали Дворец правосудия, дорогу им преградил бургомистр Зейтц, стоявший на пожарной машине с поднятой правой рукой. Но его жест не подействовал, Дворец правосудия *загорелся*. Полиция получила приказ стрелять, девяносто человек было убито.

Прошло сорок шесть лет, но волнение того дня, проникшее до мозга костей, не развеялось и по сей день. То, что я испытал тогда на собственной шкуре, было на грани революции. Не хватило бы и ста страниц, чтобы изобразить то, что я видел собственными глазами. С тех пор я совершенно точно знаю — мне незачем об этом что-либо читать, — как происходил штурм Бастилии. Я стал частью массы, совершенно в ней растворился, не чувствовал ни малейшего сопротивления тому, что она предпринимала. Меня удивляет, что в таком состоянии я оказался способен воспринимать конкретные подробности всего того, что разыгрывалось у меня перед глазами. Об одной такой подробности я расскажу.

В одной из боковых улиц, недалеко от горящего Дворца правосудия, но все же в стороне, стоял человек, четко обособясь от массы. Высоко вскинув руки над головой, он в отчаянии ломал их и время от времени горестно вскрикивал: «Сгорят акты! Все акты!» «Лучше акты, чем люди!» — сказал я ему, но его это не интересовало, его голова была занята только актами, я подумал, что он, возможно, сам имел там дело с актами, как архивный чиновник. Он был безутешен, а мне, даже в такой ситуации, он показался смешным. Но и рассердил он меня тоже. «Тут людей застрелили,- сердито сказал я ему, — а вы говорите об актах!» Он посмотрел на меня, как на пустое место, и жалобно повторил: «Сгорят акты! Все акты!» Хоть он и стоял в стороне, это было для него небезопасно, его причитаний нельзя было не услышать, вот я же услышал.

Несколько лет спустя, когда я сочинял набросок «"Comédie Humaine" ¹ у сумасшедших», то дал персонажу Б., книжному червю, имя Бранд. Тогда я не сознавал, что его имя и судьба ведут свое происхождение от того дня, 15 июля, и, если бы я усмо-

¹ «Человеческая комедия» (франц.).

трел эту связь, мне бы это было, конечно, неприятно, и, возможно, я даже отказался бы от этого плана вообще. Так или иначе, во время писания романа имя Бранд стало меня стеснять. Событий в книге было еще много, а конец, которого вовсе не следовало предвидеть, прямо-таки вытекал из этого имени. Я переименовал его в Канта, и это имя он довольно долгое время носил. В августе 1931 года, через четыре года после событий 15 июля, Кант поджег свою библиотеку и погиб во время пожара.

Но это было позднейшее, непредусмотренное следствие 15 июля. Предскажи мне тогда кто-нибудь такое его литературное воздействие, я бы этого человека поколотил. Потому что сразу после случившегося, в дни глубочайшей подавленности, когда невозможно было думать ни о чем другом, и события, свидетелем которых ты стал, снова и снова разыгрывались у тебя перед глазами, преследовали тебя по ночам и во сне, — в те дни существовала лишь одна оправданная связь с литературой — Карл Краус. Мое фанатичное преклонение перед ним достигло тогда своей высшей точки. На сей раз это была благодарность за совершенно определенный общественный поступок, не знаю, когда и кому еще я был за что-либо так благодарен. Под впечатлением кровавой расправы в тот день Карл Краус дал расклеить по всей Вене плакаты, призывавшие полицией-президента Иоганна Шобера, ответственного за приказ стрелять и за девятью убитых, «уйти в отставку».

Он сделал это на свой страх и риск, он был единственным известным человеком, который это сделал, и, в то время как другие знаменитости — а их в Вене всегда хватало — не желали рисковать или, может быть, боялись показаться смешными, он один нашел в себе мужество возмутиться. Его плакаты были в те дни единственным, что давало человеку поддержку. Я ходил от одного к другому, останавливаясь перед каждым, и мне казалось, что вся справедливость, какая только есть на Земле, сосредоточилась в буквах его имени.

Год, последовавший за этим событием, прошел всецело под его знаком. До лета 1928 года мои мысли вертелись только вокруг этого. Более чем когда-либо я был полон решимости выяснить, что такое, в сущности, масса, которая не давала мне покоя. Внешне все оставалось без перемен: я занимался химией и начал работать над диссертацией, но задача, которую передо мной поставили, была настолько неинтересна, что едва задевала оболочку моего ума. Каждую свободную минуту я тратил на изучение вещей, бывших для меня действительно важными. Разными и, казалось бы, очень отдаленными путями пытался я приблизиться к тому явлению, что ощутил тогда как массу. Я искал ее в истории, но в истории *всех* культур. Все больше и больше захватывала меня история и ранняя философия Китая.

Греками я начал заниматься много раньше, во франкфуртские годы; теперь я углубился в античных историков, особенно в Фукидида *, и в философию досократиков. Было естественно, что я изучал революции — английскую, французскую, русскую, но я начал осознавать и значение масс в становлении религий, и жажда познания всех религий, которая меня уже не оставляет, зародилась именно в то время. Я читал Дарвина, надеясь найти у него что-либо о массовых образованиях среди животных, и основательно штудировал книги о гусударствах насекомых. Спал я мало, так как ночи напролет читал. Кое-что я записывал и пытался набрасывать статьи. Это были предварительные этюды для книги о массе, но теперь, когда я оглядываю их с точки зрения романа, то вижу, сколько следов оставили эти захватившие меня многостраничные исследования в «Ослеплении», возникшем несколькими годами позже.

Летом 1928 года я впервые приехал в Берлин, и это стало следующим решающим событием. Виланд Херцфельде, основатель издательства «Малик» *, искал какого-нибудь молодого человека, который мог бы оказать ему помощь в работе над книгой, и одна его приятельница назвала ему меня. Он пригласил меня приехать в Берлин на студенческие каникулы, с тем, чтобы жить у него и там же работать. Он принял меня с большой сердечностью и не дал мне почувствовать мою неопытность и неосведомленность. Неожиданно я очутился в узловом пункте берлинской духовной жизни. Он повсюду брал меня с собой, я познакомился с его друзьями и бесчисленным множеством других людей; иногда, как, например, у Шлихтера или Шванеке *, мне представляли их по десятку сразу.

Назову лишь троих, занимавших меня больше всего: среди них был Георг Грос *, чьими рисунками я восхищался со времен учебы в школе во Франкфурте; Исаак Бабель, обе книги которого я незадолго до этого прочел, из всех книг новейшей русской литературы они произвели на меня наиболее глубокое впечатление; Брехт, у которого я знал лишь несколько стихотворений, но о нем так много говорили, что это вызывало любопытство к нему, тем более что он был одним из совсем не многих молодых писателей, которых признавал Карл Краус. Грос подарил мне папку с серией «Ессе homo» ¹, которая была запрещена, Бабель брал меня повсюду с собой, особенно к Ашингеру *, где он лучше всего себя чувствовал. Я был пленен искренностью их обоих — они говорили со мной на всевозможные темы. Брехт, который сразу заметил мою наивность и которому мой «высокий образ мыслей», разумеется, действовал на нервы, старался шокировать меня циничными замечаниями о себе самом. Когда бы я его

¹ «Се человек» (лат.).

ни увидел, не было случая, чтобы он не сказал о себе чего-нибудь такого, что меня бы не сконфузило. Я чувствовал, что Бабель, которого я едва ли мог чем-то обогатить, любил меня именно за мою наивность, которая Брехта побуждала к цинизму. Грос, мало читавший, охотнее всего расспрашивал меня о книгах и, нисколько не рисуясь, с готовностью принимал рекомендации, что читать.

Об этом берлинском времени можно сказать бесконечно много, и сейчас я, в сущности, не говорю ничего. Единственное, о чем бы мне хотелось сегодня упомянуть, касается противоположности между Берлином и Веной. В Вене я не был знаком с писателями, я жил одиноко, и так как все писатели были ошельмованы Карлом Краусом, то я вовсе не стремился с кем-то из них познакомиться. О Музиле и Брохе я тогда еще ничего не знал. Многое, даже большая часть того, что было признано в Вене, представляло ничтожную ценность, и лишь сегодня мы знаем, как много значительного возникло там в это время, почти неведомое общественности или ею отвергнутое и презируемое, как, скажем, произведения Берга * или Веберна *.

И вот вдруг я очутился в Берлине, где все происходило открыто, где новое и интересное было к тому же и знаменитым. Я вращался только среди этих людей, все они друг друга знали. Они вели насыщенную и кипучую жизнь. Посещали одни и те же ресторанчики, друг о друге говорили без всякого стеснения, любили и ненавидели друг друга на глазах у всех, их своеобразие обнаруживалось в первых же фразах, казалось, будто они готовы на тебя наброситься. Я еще не видел такого скопления людей с ярко выраженной, но и столь различной индивидуальностью. Проще простого было сразу же понять, кто чем богат, и как раз в таких людях здесь, в отличие от Вены, не было недостатка. Я пребывал в сильнейшем возбуждении и то же время был испуган. Впечатлений было так много, что они могли привести в замешательство. Но я был полон решимости не дать привести себя в замешательство, и это упорное нежелание поддаться неизбежному замешательству имело мучительные последствия.

Самым тяжелым для молодого пуританина — я остался таковым в силу особых обстоятельств моих юных лет — была жесткая сексуальность. Я наблюдал многое такое, что было мне всегда отвратительно. Это показывали непрестанно, это соответствовало характеру тогдашней берлинской жизни. Все было возможно, все *происходило*, Вена Фрейда, где о столь многом *говорили*, в сравнении с этим выглядела безобидно болтливой. Никогда еще у меня не было такого ощущения, будто я близко соприкасаюсь со всем миром в каждой его точке одновременно, и этот мир, в котором я за три месяца не мог освоиться, казался мне миром сумасшедших.

Он так увлек меня, что я чувствовал себя несчастным, когда в октябре вынужден был вернуться в Вену. Все во мне оставалось каким-то нерешенным и непреодоленным, смешавшись в чудовищный клубок. Зимой я закончил свое обучение, а весной сдал экзамены. Я как-то не вполне сознавал, что делаю, потому что во мне неусыпно жил этот новый хаос. Другьям я обещал, что летом 1929 года опять приеду в Берлин. Мое второе пребывание там, длившееся опять около трех месяцев, было менее лихорадочным. Я жил отдельно и заставлял себя вести более спокойный образ жизни. Виделся опять со многими людьми, но не со всеми. Посещал другие кварталы Берлина, ходил один в пивнушки и там знакомился с людьми другого рода, прежде всего с рабочими, но также с буржуа и мелкими буржуа, которые не были интеллигентами или художниками.

Я не спешил и кое-что записывал.

Когда я на этот раз вернулся осенью в Вену, бесформенный клубок у меня внутри начал распутываться. С химией было навсегда покончено, я хотел теперь только писать. Средства к существованию я обеспечил себе несколькими книгами Эптона Синклера, которые взялся перевести для издательства «Малик» *. Я был свободным человеком и продолжал изучать разнообразные материалы, особенно меня занимавшие, то, что начал еще до Берлина, — это были уже упомянутые подготовительные работы для книги о массе. Но что меня больше всего занимало по возвращении из Берлина, что уже от себя не отпускало, были те склонные к крайностям и одержимые люди, с которыми я там познакомился. В Вене я опять жил один в той комнате, о которой уже говорил. Я почти ни с кем не виделся, а передо мной, на холме напротив, неизменно присутствовал город сумасшедших, Штайнхоф.

Однажды мне пришла в голову мысль, что мир больше невозможно изображать так, как в старых романах, так сказать, с точки зрения *одного* писателя, мир *распался*, и, лишь имея мужество показать его в состоянии распада, можно еще дать о нем истинное представление. Но это вовсе не означало, что следует приниматься писать хаотическую книгу, в которой ничего нельзя будет понять, напротив, надо было со строжайшей последовательностью изобрести крайние индивидуумы, подобные тем, из которых действительно состоит мир, и эти доведенные до края индивидуумы сопоставить во всем их несходстве. Я составил уже упомянутый план «„Comédie Humaine" у сумасшедших» и набросал восемь романов, в каждом из них один персонаж я поставил на грань безумия, и эти персонажи во всем, вплоть до языка, до сокровеннейших мыслей, отличались от всех остальных. Переживания подобного персонажа были такого рода, что никто другой того же переживать не мог. Ничего взаимозаменяемо-

го не должно было быть, и ничто не должно было смешиваться. Я внушил себе, что строю восемь прожекторов и их лучами буду обшаривать мир извне. Целый год я выписывал эти восемь фигур, бессистемно, в зависимости от того, какая в данный момент больше меня увлекала. Среди них был один религиозный фанатик, один научно-технический фантаст, живший исключительно планами покорения космоса, один коллекционер, один одержимый истиной, один расточитель, один ненавистник смерти и, наконец, также один книжник в чистом виде.

Куски этих буйно разросшихся набросков, к сожалению, лишь небольшие куски, у меня еще сохранились, и, когда я недавно их почитал, во мне пробудился задор тех времен, и я понял, почему тот год запомнился мне как самый богатый год моей жизни. Дело в том, что ранней осенью 1930 года наступила перемена. Книжник вдруг оказался для меня настолько важным, что все остальные наброски я отложил в сторону и целиком сосредоточился на нем. Год, в ходе которого я позволял себе что хотел, сменился годом почти что аскетической дисциплины. Каждое утро, не пропуская ни дня, я писал своего «Бранда», как он теперь у меня назывался. Плана у меня не было, но я остерегался горячки минувшего года. Чтобы меня не занесло слишком далеко, я систематически читал «Красное и черное» Стендаля. Я хотел продвигаться постепенно, шаг за шагом, и внушал себе, что это должна быть строгая книга, беспощадная как по отношению ко мне самому, так и по отношению к читателю. От всего, что могло быть приятным и ласкающим, я был застрахован глубокой неприязнью к господствовавшей тогда венской литературе. То, что котировалось выше всего, отдавало оперной сентиментальностью, и среди авторов встречались еще к тому же жалкие фельетонисты и болтуны. Не могу сказать, чтобы кто-то из них что-либо для меня значил, а их проза вызывала у меня тошноту.

Когда я сегодня себя спрашиваю, откуда взялась строгая манера письма, то усматриваю самые разнородные влияния. Я уже называл Стендаля, несомненно, он побуждал меня к ясности. Я закончил восьмую главу «Ослепления» — теперь она называется «Смерть», — когда в руки мне попало «Превращение» Кафки. Большой удачи в тот момент у меня быть не могло. Там я обнаружил в наивысшем совершенстве противоположность той литературной безответственности, которую так ненавидел, там была строгость, по которой я тосковал. Значит, то, что я хотел найти для себя одного, было уже достигнуто. Я преклонился перед этим чистейшим образцом, прекрасно сознавая, что он недостижим, но он придал мне силу.

Я полагаю, что знание химии, химических процессов и формул, тоже способствовало этой строгости. Таким образом, огля-

дываясь на те четыре с половиной года, что я провел в лаборатории, за делом, которое считал тогда бездуховным и угнетающим, я о них не сожалею. Это время не было потеряно, оно вылилось в удивительную дисциплинированность письма.

Год интенсивных набросков тоже не пропал зря. Так как все эти наброски я писал одновременно, то привык синхронно вращаться в разных мирах, перескакивать из одного в другой, а они не имели между собой ничего общего, различались во всем, вплоть до языка. Теперь это пошло на пользу последовательному разделению фигур в «Ослеплении». То, что раньше отделяло один роман от другого, стало теперь способствовать разделению внутри одной книги. Так что, хотя материал этих набросков большей частью остался неиспользованным, с их помощью выработался метод для «Ослепления». Даже то, что осталось ненаписанным из этих восьми романов, скрытые соки «„Comédie Humaine" у сумасшедших», влились в «Ослепление».

Несмотря на удовлетворение тем, что ежедневно я продвигался в писании романа, что он меня не отпускал и прерываться мне не хотелось, конкретная реальность фраз, которые ложились у меня на бумагу, причиняла мне страдания. Жестокость того, кто принуждает себя к истине, больше всего мучит его самого, пишущий причиняет себе во сто крат больше мук, чем читателю. Были минуты, когда моя чувствительность пыталась убедить меня — вопреки моему истинному убеждению — поскорее закончить роман. Тем, что я не поддался этому искушению, я обязан в немалой степени фототипиям Изенгеймского алтаря*, сменившим у меня в комнате фрески Сикстинской капеллы. Мне было стыдно перед Грюневальдом, который предпринял чудовищно трудное дело и четыре года от него не отступал. Сегодня это кажется мне ходульным. Но во всяком поклонении великим вещам, когда оно становится слишком интимным, есть доля высокомерия. Тогда эти Грюневальдовы детали, все время находившиеся со мной, были для меня необходимым стимулом.

В октябре 1931 года, то есть через год, роман был закончен. Бранд, как уже известно, в ходе работы сменил имя, теперь его звали Кант. Но из-за совпадения с фамилией философа это имя вызывало у меня сомнения. Так что название, которое роман носил в рукописи, «Кант загорается», было временным.

Роман во всех подробностях сохранил ту форму, которую получил тогда. Кроме названия и имени сиолога, в нем ничего не было изменено. Я отдал все три части, из которых он состоял, — каждую в отдельности — переплести в черный коленкор и эти три тяжелых тома — огромный пакет — отослал Томасу Манну. Когда он вскрывал посылку, у него, скорее всего, создалось впечатление, что ему прислали трилогию. В сопроводительном

письме я обращался к нему высокомерно-важным тоном. Трудно поверить, но я полагал, что этой посылкой оказал ему честь. Я был уверен, что стоит ему лишь раскрыть один из томов, и он будет уже не в силах оторваться от чтения. Через несколько дней все три тома вернулись ко мне нечитанными: Томас Манн извинялся, ссылаясь на нехватку сил. Я был твердо убежден, что написал необыкновенную книгу, и для меня по сей день остается загадкой, откуда я почерпнул такую уверенность. Моей реакцией на этот постыдный отказ было решение оставить рукопись лежать на месте и ничего с ней не предпринимать.

Довольно долго я придерживался этого решения. Потом время от времени стал позволять себе поблажки. Читая людям вслух отрывки из рукописи, я все больше и больше выходил из той изоляции, на какую обрек себя в Вене. Я читал Музиля и Броча, был под сильным впечатлением от их произведений и познакомился с ними лично. Были у меня и другие встречи, много для меня значившие: Альбан Берг, Георг Меркель * и Фриц Вотруба *. Для них и для кое-кого еще моя книга существовала уже до того, как стала достоянием общественности. Только перед ними, перед этими настоящими представителями Вены, хотелось мне не ударить в грязь лицом, и некоторые из них стали моими добрыми друзьями. Я нисколько не чувствовал себя униженным от того, что в течение четырех лет не нашлось издателя, который отважился бы на публикацию романа.

Время от времени, но довольно редко, я уступал настояниям кого-нибудь из друзей и отсылал рукопись в очередное издательство. Я получал письма, где мне разъясняли рискованность публикации, но почти всегда это были уважительные письма. Только Петер Зуркамп вполне четко дал мне почувствовать свое глубокое отвращение к роману. Каждый отказ лишь укреплял меня в уверенности, что эта книга будет жить позже. Когда в 1935 году дело дошло до издания книги, Броч с необычным для него упорством стал настаивать на том, чтобы я отказался от имени Кант. Я и сам имел это в виду и теперь наконец сделал. Теперь героя звали Кин ¹, и кое-что от его горячности снова попало в его имя. Вместе с именем Кант ушло и название «Кант загорается», и я решился на новое — «Ослепление».

Может быть следует упомянуть, что книгу Томас Манн прочитал сразу. Он написал мне, что из книг этого года мой роман вместе с «Генрихом Четвертым» его брата Генриха захватили его больше всего. Его письмо, где содержались кое-какие умные замечания и много лестного, вызвало у меня двойственное чувство: только прочитав его, я понял, какой нелепой была та рана, какую причинил мне его отказ четыре года назад.

¹ Kien (нем.) — сосновая лучина.

ПРИЗВАНИЕ ПОЭТА

Выступление в Мюнхене, январь 1976 г.

К словам, совершенно деградировавшим и в течение некоторого времени лежавшим в беспомощном изнеможении, словам, которые избегали употреблять и запрятали подальше, использование которых превращало неосторожного в посмешище, которые выхолащивали до тех пор, пока они, скукожившиеся и гадкие, не превратились в предостерегающий жупел, принадлежит и слово «поэт». Тот же, кто все-таки пускался в продолжавшую по-прежнему существовать деятельность, говорил о себе: «Так, пишу помаленьку».

Можно было принять это за попытку порвать с ложными притязаниями, обрести новые критерии, стать требовательней, строже к себе, в особенности же — отстраниться от всего, что ведет к недостойному и пустому успеху. В действительности происходило обратное. Именно теми, кто немилосердно лупил по слову «поэт», сознательно вырабатывались и изощренно совершенствовались методы возбуждать сенсационную шумиху. Мелкотравчатые заявления о том, что всякая литература, мол, мертва, раздувались в патетические воззвания, печатались на роскошной бумаге и дискутировались с такой серьезностью и торжественностью, будто речь шла о полновесном и сложном продукте мыслительной деятельности. Да, разумеется, этот особый случай захлебнулся вскоре в собственной смехотворности, но ведь и другие, те, что не были настолько бесплодны, чтобы исчерпать себя в одной-единственной прокламации, которые писали горькие и очень талантливые книги, весьма скоро обрели престиж в качестве «помаленьку пишущих» и занимались теперь тем, что прежде имели обыкновение делать поэты: вместо того чтобы умолкнуть, всё снова писали ту же самую книгу. И сколь бы неспособным к исправлению и достойным погибели ни представлялось им человечество, одна функция все же за ним оставалась: рукоплескать им. Кто не испытывал такого желания, кому опостытели неизменно одни и те же излияния, был проклят вдвойне: во-первых, как человек, что было уже делом обычным, а во-вторых, как тот, кто отказывается признать неудержимое стремление их автора к смерти в качестве единственного, что вообще еще имеет какую-то цену.

Думаю, понятно, что перед лицом таких явлений я испытываю к тем, что лишь пишут, не меньшее недоверие, чем к тем, которые продолжают самодовольно величать себя поэтами. Я не вижу различия между ними, они походят друг на друга как яйца из одного гнезда: значение, однажды достигнутое, представляется им их неотторжимым правом.

Потому что в действительности дело обстоит так, что тот сегодня не поэт, кто не сомневается всерьез в своем праве быть им. Кто не видит состояния мира, в котором мы живем, едва ли способен что-либо о нем сказать. Грозящая ему опасность, составлявшая прежде главный предмет религий, обрела плоть и переместилась в мир здешний. Его гибель, до которой его уже не единожды пытались довести, холодно принимается в расчет теми, которые вовсе не являются поэтами, имеются и такие, что исчисляют ее вероятность и делают это своей профессией, приносящей все более жирные доходы. С той поры как право предрекать наше будущее мы доверили машинам, пророчества утратили всякую ценность. Чем больше мы отщепляем и отчуждаем от себя, чем большее передоверяем безжизненным инстанциям, тем менее способны контролировать то, что происходит вокруг. Наша возрастающая власть над всем, как одушевленным, так и неодушевленным, и в особенности над себе подобными, породила противостоящую силу, лишь мнимо подчиненную нам. Об этом можно сказать сотню и тысячу разных вещей, но это — что самое удивительное, — все известно и до последней мелочи стало предметом ежедневных газетных упоминаний, затрепанным общим местом. Полагаю, вы не ждете, чтобы я повторил все это, у меня сегодня иные, более скромные намерения.

Быть может, стоит поразмыслить над тем, нет ли в ситуации, в которой оказалась Земля, чего-то такого, в чем поэты могли бы принести свою пользу. Ведь несмотря на все удары судьбы, выпавшие на долю обозначающего их слова, в нем все-таки звучит еще нечто от прежних высоких притязаний. И какова бы ни была литература, одного о ней не скажешь, как не сказать этого о человечестве, все еще цепляющемся за нее: что она мертва. В чем же должна состоять жизнь того, кто является ее сегодняшним представителем, каким требованиям должен бы он отвечать?

По чистой случайности я натолкнулся недавно на одну записку, принадлежащую некоему анонимному автору, имя которого я не могу назвать уже потому, что оно никому не известно. При ней есть дата: 23 августа 1939 года, всего одна неделя до начала второй мировой войны. В записи говорится:

«Но все кончено. Будь я и в самом деле поэт, я должен был суметь помешать войне».

Какая чушь, скажут сегодня, зная обо всем, что произошло с тех пор, какая самонадеянность! Чему мог помешать одиночка, и почему — именно поэт? Можно ли вообразить притязание более оторванное от реальности? И чем отличается эта фраза от напыщенной болтовни тех, что своими фразами сознательно вели мир к войне?

Я читал ее с волнением, в нарастающем волнении выписал

ее. Здесь, думалось мне, я нашел то, что больше всего отталкивает меня в слове «поэт», то самое притязание, которое находится в вопиющем противоречии с тем, что поэту в лучшем случае вообще по силам, пример заносчивой похвалы, дискредитировавшей это слово и пробуждающей недоверие, как только кто-то из пишущей братии начинает бить себя в грудь и распространяться о грандиозности своих устремлений.

Но позднее, в течение следующих дней, я, к собственному удивлению, заметил, что фраза эта не оставляет меня, все снова приходит на память, что я беру ее, раскладываю на части, отталкиваю прочь и принимаюсь за нее опять, будто от меня одного зависит, откроется ли какой-то заключенный в ней смысл. Станным было уже то, как она начиналась: «Но все кончено». Это были слова полного и безнадежного поражения — в то время, когда предстояло начаться победам. В то время, когда все настроено и нацелено на них, в его словах выражается безутешность финала, причем так, будто он неизбежен. Основное же высказывание «Будь я и в самом деле поэт, я должен был суметь помешать войне» — оказывается при ближайшем рассмотрении противоположностью бахвальства: признанием полной несостоятельности. Но в еще большей мере оно выражает признание *ответственности*, да притом как раз там — и это самое удивительное, — где менее всего уместно было бы говорить об ответственности в обыкновенном смысле этого слова.

Здесь некто, явно подразумевающий именно то, о чем говорит, ополчается против себя самого. Он не утверждает правоты своего притязания, он отказывает себе в ней. В отчаянии от *неизбежно* надвигающегося он предъявляет обвинения *себе*, а не подлинным виновникам, которые ему, безусловно, известны, поскольку, не зная их, он и смотрел бы на предстоящее по-иному. Итак, в качестве вероятного источника для первоначально испытанного волнения остается только одно: его представление о том, что должен собой представлять поэт, и то, что он почитал себя за такового, до момента, когда перед лицом неизбежной войны все для него рухнуло.

Именно это содержащееся здесь иррациональное притязание на личную ответственность заставляет меня задуматься и располагает к себе. Следует, однако, в связи с этим добавить, что именно посредством слов, сознательно и все снова недобросовестно и злонамеренно употреблявшихся слов, была создана ситуация, в которой война стала неизбежна. Если словом можно натворить такое, то отчего нельзя словом же и помешать этому? И что ж удивительного, если тот, кто более других имеет дело со словами, ожидает от их действия также больше, чем другие.

Таким образом, — не исключено, что мы слишком скоро пришли к этому выводу, — поэтом можно считать того, кто придает

большое значение словам, кто с таким же удовольствием, как и среди людей, а может и с еще большим, заинтересованно вращается в их обществе, отдаваясь на волю *обоих*, с большим, однако, доверием к словам, которые и стаскивает, может быть, с их насиженных мест, но лишь затем, чтобы, наделив новой энергией и уверенностью, опять возвратить речи; он выспрашивает их и ощупывает, ласкает и впивается ногтями, обстригивает и размалевывает, а после всех своих интимных вольностей еще способен в благоговейном трепете отступить перед ними. Даже если он, как нередко бывает, предстает как злодей и мучитель слова, то и тогда он — злодей из любви.

За всей этой пестрой деятельностью сокрыто нечто, не всегда сознаваемое им самим, по большей части слабое, но порой и наделенное грозящей разорвать его силой: желание взять на себя ручательство за все, что может быть облечено в слова, и самому ответить за их несостоятельность, если они предадут.

Какой прок может быть для других в этой его призрачной ответственности? Не лишена ли она по своей ирреальности всякой действенной силы? Думаю, что к принимаемому на себя человеком по собственной воле все, в том числе и самые недалекие, относятся серьезнее, чем к тому, что происходит с ним под давлением необходимости и принуждения. Да и нет большей близости к событиям, более глубокой внутренней связи с ними, чем ощущение ответственности и вины за них.

Если же многим под обветшалой поэтической пелериной виделась пустота, то лишь оттого, что с ним соединялось представление об обманчивой видимости и несерьезности, о чем-то уклончивом и избегающем сложностей. Это сочетание броско вычурного с эстетическим, всех мастей и оттенков, перед самым наступлением мрачайшего периода человеческой истории, распознать который они оказались не в состоянии, даже когда он уже разразился над их головой, не слишком располагало к благоговению; их заблудшая доверчивость, их непонимание окружающей реальности, с которой они пытались совладать одним лишь презрением и ничем более, их упорное отрицание какой бы то ни было причастности к ней, их внутренняя отчужденность по отношению ко всему происходившему на самом деле (во всяком случае, в языке, которым они пользовались, этого было никак не слышать) — что ж, можно понять, почему те, чей взгляд был тверже и внимательней, с ужасом отворачивались от такой безмерной слепоты.

Но не станем забывать и о том, что встречаются и высказывания, подобные тому, из которого я исходил в своих рассуждениях. До тех пор, пока существуют — а их, разумеется, больше, чем один, — пока существуют те, что принимают на себя ответственность за слова и тяжелейшим образом переживают ее, со-

зная всю полноту крушения, до тех пор мы сохраняем право упорно оставаться при слове, которое всегда служило для наименования создателей значительных творений человечества, творений, без которых нам никогда бы не осознать того, что такое это человечество. Поверяя реальность этими произведениями, в которых мы, хотя и на иной лад, нуждаемся не менее, чем в хлебе насущном, питаемые ими и поддерживаемые, пусть даже утратив все остальное, пусть даже и не зная, до какой степени держимся ими, одновременно, однако, тщетно пытаюсь отыскать в нынешнем мире нечто, что можно было бы поставить с ними вровень, мы можем сказать лишь одно: если будем очень строги в отношении нашего времени, и в особенности к себе, то придем к заключению, что нет сегодня поэтов; но страстно должны мы желать того, чтобы они были.

Это звучит весьма общо и не многого стоит, если не попытаться уяснить, какими качествами надо бы отличаться сегодняшнему поэту, чтобы соответствовать своему имени.

Как первое и важнейшее я бы отметил то, что поэт — хранитель превращений, хранитель в двояком смысле. Прежде всего, он впитывает в себя литературное наследие человечества, столь богатое превращениями. Насколько богатое, нам известно лишь теперь, когда расшифрованы письма почти всех древних культур. Еще недавно, включая и минувшее столетие, всякий, кого привлекал этот существеннейший и загадочнейший аспект человеческого естества, — дар перевоплощения, — держался бы двух основных книг античности: более поздней — Овидиевых «Метаморфоз» *, представляющих собой почти прямо-таки систематическое собрание всех известных тому времени мифологических «высоких» превращений, и более древней — «Одиссеи», главным предметом изображения которой являются сопровождаемые необычайными приключениями перевоплощения человека, то есть самого Одиссея, достигающие своего апогея в истории его возвращения в обличье нищего, ничтожнейшего из ничтожных, какого только можно было вообразить, и удающееся ему здесь совершенство лицедейского преображения не достигалось, и уж тем более не превосходилось, ни в одном из произведений поэтов более поздних времен. Смешно было бы распространяться о влиянии обеих книг на последующие европейские культуры еще до наступления Ренессанса и в особенности — начиная с него. У Ариосто * и Шекспира и у бесчисленного множества других авторов мелькают перевоплощения Овидиевых «Метаморфоз», и было бы глубоким заблуждением полагать, будто их влияние на современность исчерпало себя. Ну, а Одиссей и сам встречается нам по сей день — первый из персонажей мировой литературы, вошедший в ее центральнейшее немногочисленное ядро; нелегко было бы назвать более пяти или шести фигур,

обладающих таким же влиянием и притягательной силой.

Да, первый, всегда бывший здесь и существовавший для нас, это верно, однако не самый древний, потому что нашелся и еще более ранний. Всего лишь около столетия минуло с тех пор, как был открыт и по достоинству оценен в своем значении месопотамский «Гильгамеш». Эта эпическая поэма начинается с превращения живущего среди диких зверей вольного дитя природы Энкиду в городского цивилизованного человека — тема, которая сегодня, когда становятся известны достоверные и подробные факты о детях, ведущих жизнь среди волков, оказывается для нас тем более небезразличной. Повествование — когда Гильгамеш навсегда теряет своего друга Энкиду, — завершается грандиозным изображением столкновения человека со смертью, той единственной конфронтации, которая не оставляет современного человека с горьким привкусом самообмана. И здесь я хотел бы предложить себя в качестве свидетеля некоего почти неправдоподобного явления: ни одно произведение литературы, ни одно буквально, не оказало столь решающего влияния на всю мою жизнь, как это эпическое повествование, сложенное за четыре тысячи лет до наших дней и еще сто лет назад никому не известное. В семнадцать лет я встретился с ним впервые, и с той поры оно не давало мне покоя, я возвращался к нему как к своего рода Библии, и оно, помимо своего специфического общего воздействия, наполняло меня также ожиданием встречи с чем-то нам еще неведомым. Я не способен видеть в дошедшем и питающем нас наследии окончательное и завершенное целое, и окажись даже, что более не последует зафиксированных письменно произведений того же масштаба и значения, то и тогда остается гигантский резервуар устно сохраняемого предания нецивилизованных народов. Потому что здесь превращениям, а они-то и важны для нас в данном случае, нет конца. Можно было бы употребить жизнь на то, чтобы собирать их и пройти их волшебными путями, и это не была бы худо проведенная жизнь. Племена, состоящие порой из нескольких сот человек, донесли до нас богатство, которого мы определенно не заслужили, потому что по нашей вине они вымерли либо вот-вот вымрут на наших глазах, едва достаивающих их взглядом. Они до самого конца сохранили свои мифологические постижения, и удивительное дело — едва ли существует что-либо более подходящее и необходимое нам, наполняющее нас такой надеждой, как эти давние, несравненные поэтические выдумки людей, которые преследуемые, обездоленные, обманываемые нами и ограбляемые погибали в горести и нищете. Они, презираемые нами за скромность их материальной культуры, слепо и безжалостно истреблявшиеся, оставили нам духовное наследство, которого не исчерпать. Его спасения наукой не оплатить никакой благодарностью. Под-

линное же его сохранение, воскрешение его для нашей жизни — дело поэтов.

Я говорил о них как о хранителях превращений, но они являются ими еще и в другом смысле. В мире, где все подчинено результату и специализации, и замечающем одни рекорды, к которым все устремлено в своего рода линейной ограниченности, в мире, употребляющем всю свою силу на одиночество высшего достижения, но оставляющем без внимания второстепенное и побочное, многообразное, сущностное — не отдающее себя в услужение максимуму, презируемое и затертое, — в мире, все более выдворяющем превращение за пределы дозволенного как противодействующее всепоглощающей цели материального производства, все более, легкомысленно и бездумно, умножающем средства самоистребления и стремящемся одновременно удушить еще уцелевшие остатки ранее обретенных качеств человеческой личности, — в таком мире, который можно бы назвать ослепленным из всех миров, имеет, думается, просто-таки кардинальное значение то, что есть и те, которые наперекор ему продолжают пользоваться даром перевоплощения.

Я думаю, именно в этом и состоит задача поэтов. Им следует, используя этот дар, бывший некогда всеобщим и осужденный теперь на отмирание (но который они должны всеми средствами сохранять в себе), поддерживать открытыми пути, *ведущие к людям*. Они должны быть способны становиться *каждым*, также и крошечнейшим из малых, наивнейшим, беспомощнейшим. Их влечение к познанию других, изнутри, никогда не должно подчинять себя целям, составляющим нашу обычную, так сказать официальную, жизнь, должно быть совершенно свободно от стремления к успеху или престижу — самодовлеющая страсть, страсть к перевоплощению. И здесь не обойтись без чуткого настроенного уха *. Но одного лишь этого было бы мало, поскольку сегодня подавляющее число людей уже не владеет речью: они изъясняются расхожими фразами из газет и средств массовой коммуникации и, *не будучи* на самом деле одинаковы, все больше говорят одно и то же. Лишь через перевоплощение, в том радикальном смысле, в каком употребляется здесь это выражение, возможно было бы почувствовать, что есть человек позади всех своих слов; действительно уяснить, что существует вокруг живого, нельзя, пожалуй, никаким иным образом. Это таинственнейший, почти неисследованный в своей природе процесс и однако же единственный истинный путь доступа к другому человеку. По-разному пытались этот процесс называть: чувствованием, скажем, или эмпатией *, я же, по причинам, которые не смогу здесь коротко изложить, предпочитаю более претенциозное слово — «перевоплощение». Но как бы ни называть, вряд ли кто решится оспаривать, что под этим раз-

умеется нечто реальное и весьма драгоценное. В беспрестанном упражнении и употреблении своих способностей, в неутолимой владеющей им тяге к познанию людей всякого рода, всех, но в особенности тех, на чью долю выпадает меньше всего внимания, в не находящем покоя, никакой предвзятой системой не истощенном и не обессиленном характере этого действия склонен я видеть сущностное содержание профессии поэта. Вполне возможно, и даже весьма вероятно, что лишь часть приобретенного знания войдет в его творчество. Как судить о нем — уже снова относится к миру достижений и максимумов, сегодня это не представляет интереса для нашего рассмотрения, когда мы заняты тем, что пытаемся определить, каким был бы поэт, существуй он на деле, а не каким должно быть то, что он по себе оставит.

И если я при этом совершенно не касаюсь того, что принято считать успехом, если, более того, смотрю на него с недоверием, то связано это с той опасностью, какая известна каждому из собственного опыта. Нацеленность на успех, а также и сам успех оказывают *сужающее* воздействие. На своем пути целеустремленный воспринимает многое, что не служит непосредственно достижению намеченного, как обременительный балласт. Он отшвыривает его прочь, чтобы легче шагало, ему не до забот о том, что это, может быть, лучшее из того, чем он обладает, ему важно достигнуть намеченного пункта; от пункта к пункту рвется он все выше и ведет счет на метры. Занятая позиция — это все, она определяется извне, он не тот, кто ее создает, в ее возникновении нет его доли. Он видит ее и тянется к ней, и как бы полезны и необходимы ни были подобные усилия во многих из жизненных областей, для поэта, каким нам хотелось бы его видеть, они окажутся разрушительными.

Потому как первейшее его дело — создавать в себе больше и больше пространства: место знанию, постигаемому без каких-либо видимых целей, и место людям, которых он познает через перевоплощение и принимает в себя. Что до знания, то его он может получить лишь на путях добропорядочных и строгих процессов, определяющих внутреннее строение всякой науки. Но в выборе областей знания, которые могут располагаться далеко одна от другой, его ведет не какое-то осознанное правило, но некая необъяснимая жажда. Поскольку в то же время он раскрывается навстречу различнейшим людям, познавая их наидревнейшим, донаучным способом, а именно — через перевоплощение, поскольку пребывает вследствие этого в непрекращающемся внутреннем движении, которого ему нельзя ослабить, которого ему нельзя прекратить (потому что он не *коллекционирует* людей, не откладывает аккуратно в сторонку, а всего лишь встречается с ними и живыми принимает в себя), поскольку он получает от них чувствительные толчки, то вполне вероятно, что

неожиданное обращение к новой области знания может определяться также и этими встречами-столкновениями.

Я вполне сознаю неприемлемость этого требования, оно не может вызвать ничего иного кроме протеста. Выходит так, будто все в нем направлено на сотворение хаоса противонаправленных и несогласимых содержаний. Возражению такого рода, а оно чрезвычайно веско, я могу противопоставить пока лишь немногое. Он *и есть* ближе всего к миру, если носит в себе хаос, но он ощущает, из этого мы исходили, ответственность за этот хаос, он не одобряет его, ему плохо, ему неуютно с ним, он не представляется себе великолепным и значительным оттого, что в нем находится место для многого столь противоположного и невзаимосвязанного, он ненавидит этот хаос, он не расстается с надеждой преодолеть его для других, а тем самым и для себя самого.

Чтобы быть в состоянии высказать об этом мире нечто имеющее смысл и ценность, он не может отталкивать его и избегать. В виде хаоса, каким мир, всем целям и планированиям наперекор, является более чем когда-либо, так как со все возрастающей быстротой движется навстречу саморазрушению, таким, а не *ad usum Delphini*¹*, то бишь читателя, выглаженным и вычищенным, вынужден он носить его в себе. Но он не вправе предаться хаосу во власть, а должен, именно в силу своего знания о нем, изнутри этого знания, противопоставить ему неистовство собственной надежды.

Что же это за надежда, и почему лишь тогда она может иметь цену, когда питается пищею превращений — давних, обретаемых им в волнениях равнодушного чтения, и современных, впитываемых через открытость всей злобе дня окружающего мира?

Здесь и могучая власть персонажей, завладевших им когда-то и не желающих отдавать занятого в нем пространства. Они реагируют, находясь в нем, так, будто он составлен из них. Они — его большинство, ясно очерченное и сознаваемое, они, поскольку *живут* в нем, его сопротивление смерти. Уже и мифы, передаваемые изустно, обладают тою особенностью, что должны пересказываться. Их живость равняется их определенности, им дано не переменяться. Лишь в каждом отдельном случае особо можно установить, из чего складывается их неистощимая жизнеспособность, и быть может, слишком мало уделялось внимания вопросу о том, почему им так необходимо передаваться дальше. Было бы совсем нетрудно описать, что происходит с тем, кто сталкивается с одним из них впервые. Полагаю, вы не ожидаете от меня подобного описания во всей его полноте,

¹ Для дофина (лат.).

в ином же виде оно не имело бы смысла. Хочу назвать лишь одно — возникающее при этом чувство уверенности и неопровержимости: да, только так это было, только так, по-видимому, могло быть. Каково бы ни было то, что узнается из мифа, каким бы невероятным ни должно было это предстать в иной связи, здесь оно остается свободным от сомнений, здесь имеет единственно возможный, неисказимый облик.

Это накопилище несомненности, из содержимого которого многое достигло и нас, было злостным образом использовано в качестве источника для причудливейших заимствований. Нам хорошо известны политические злоупотребления, совершавшиеся с их помощью; изуродованные, разбавленные, искаженные, эти заимствования способны даже в таком неполноценном виде удерживаться в течение ряда лет, прежде чем лопнуть... Совсем иного рода заимствования научные; назову лишь один ярчайший пример: как бы ни расценивать содержательную истинность психоаналитического учения, добрую толику своей силы оно почерпнуло в слове «Эдип» *, и та серьезная критика, попытки которой предпринимаются в отношении этой теории, пытается подобраться к ней именно со стороны этого слова.

Всякого рода непотребствами, совершавшимися с опорой на мифы, можно объяснить отход от них, характерный для нашего времени. Их воспринимают как лживые выдумки, потому как известны лишь выжимки из них, и отбрасывают целиком вместе с этими выжимками. Содержащиеся в них превращения представляются всего лишь неправдоподобными рассказами. Из их чудес распознаются лишь те, что реализовались в изобретениях, и не возникает при этом мысли о том, что каждым из них мы обязаны его мифическому прообразу.

Но что наряду со всеми специфическими содержательными элементами составляет самую сущность мифа, так это совершаемое в нем перевоплощение — то, с помощью чего сотворил себя человек. Через него познал он мир и обжился в нем, через перевоплощение причастен к нему. Что перевоплощению обязан он обретенной властью, это мы, пожалуй, способны признать, но он обязан ему и кое-чем получше: он обязан ему своей способностью к состраданию.

Я не боюсь воспользоваться этим словом, для практиков от духа представляющимся непригодным к употреблению: сострадание, и это также один из моментов специализации, изгоняется в сферу религиозного, там можно называть его по имени и оперировать им. От трезвых деловых решений нашей будничной жизни его держат подальше.

Я сказал уже, что лишь тому дано быть поэтом, кто испытывает чувство ответственности, хотя он, быть может, делает не многим больше других для того, чтобы материализовать его

в отдельных акциях. Это ощущение ответственности за жизнь, которая себя разрушает, и нечего стыдиться говорить о том, что сердце этой ответственности — сострадание.

Грош ему цена, если оно провозглашается как чувство неопределенное и обобщенное. Оно требует конкретного перевоплощения во всякое единичное, живое и непосредственное. По мифам, по унаследованным произведениям литературы поэт учится перевоплощению и упражняется в нем. Он — ничто, если без усталости, непрерывно не применяет его к окружающей действительности. Тысячеликая жизнь, вливающаяся в него, остающаяся чувственно расчлененной во всех своих явленных формах, не свертывается в нем в голое понятие, но она дает ему силу встать против смерти и в этом поднимается до всеобщего.

Не может быть делом поэта — отдавать человечество на произвол смерти. Потрясенно станет он, не отгораживающийся ни от кого, познавать, как в множестве нарастает и сила смерти. И даже если для всех его попытки представятся полной тщетой, он не смирится с ней и не капитулирует перед ней никогда. Делом чести будет для него давать отпор все более многочисленным в литературе посланцам небытия, сражаться против них как иными, так и собственными их средствами. Он станет жить по своему закону, но не скроенному лично для него самого и гласящему:

Никого из тех не ввергают в Ничто, кто к нему стремится. В небытие погружаются лишь затем, чтобы отыскать путь назад и обозначить его для каждого. Не избегают ни бремени горя, ни муки отчаянья, — чтобы научиться, как избавлять от них другого, а не из презрения к счастью, подобающему всякому из созданий, хотя они уродуют друг друга и разрывают на части.

Воспоминания



СПАСЕННЫЙ ЯЗЫК

Фамильная гордость

Рушук на нижнем Дунае, где я появился на свет, был для ребенка городом, полным, чудес; сказать, что он находится в Болгарии, значит дать о нем неполное представление, так как проживали тут люди самого различного происхождения. Кроме болгар, приезжавших сюда в основном из деревень, было много турок, занимавших отдельный квартал, к которому примыкал наш, сефардский *. Встречались тут и греки, албанцы, армяне, цыгане. С противоположного берега Дуная приезжали румыны, моя кормилица, о которой, сказать по правде, я давно не вспоминал, была румынкой. Изредка можно было увидеть и русских.

Детский взор не мог охватить все это многообразие, но я постоянно испытывал на себе его воздействие. Отдельные фигуры запомнились лишь своими яркими одеждами, которыми отличались друг от друга разные национальные группы. Среди слуг, живших в нашем доме в течение тех шести лет, был и черкес, а потом армянин. Лучшей своей подругой мать считала русскую, Ольгу. Раз в неделю в нашем дворе толпились цыгане; их было так много, что казалось, весь цыганский народ пожаловал к нам; о том ужасе, который они наводили на меня, речь впереди.

Рушук сохранил в какой-то степени былую славу старого дунайского порта. Со всех сторон стекались сюда люди, и в их разговорах то и дело возникал Дунай. Рассказывали, что случались годы, когда Дунай замерзал, и в Румынию ездили по льду на санях, а следом гнались голодные волки.

Волки первые звери, о которых я услышал. О вервольфах * шла речь в сказках, рассказанных мне болгарскими девочками, маской волка напугал меня однажды отец.

Вряд ли мне удастся передать многоцветие тех ранних лет в Рушукe, силу испытанных в нем переживаний и страхов. Все, что ни случалось со мной позже, было уже раз изведано в Рушукe. Остальную часть мира называли Европой, и, если кто отправлялся вниз по Дунаю в Вену, говорили: он поехал в Европу; Европа начиналась там, где кончалась когда-то турецкая империя. Большая часть сефардов сохранила свое турецкое подданство. Под турками им всегда жилось хорошо, особенно по сравнению с балканскими славянами-христианами. Но поскольку многие сефарды были зажиточными купцами, новый болгарский режим поддерживал с ними хорошие отношения; король Фердинанд *, правивший долго, слыл другом евреев.

С лояльностью у сефардов дело обстояло сложно. Они были верующими евреями, и община значила в их жизни многое, можно без преувеличения сказать, стояла в центре ее. Но они считали себя особенными евреями и связывали эту особенность с испанскими традициями. За столетия, прошедшие со времен их изгнания, испанский язык, язык, на котором они общались, мало в чем изменился. Он вобрал в себя некоторые турецкие слова, но их происхождение легко угадывалось, поскольку у них были испанские соответствия. Свои первые детские песни я услышал на испанском языке, слышал я и испанские романсы, но самым сильным, против чего не мог устоять ни один ребенок, был испанский нрав. В своем наивном высокомерии сефарды третировали других евреев, слово "todesco", всегда произносившееся ими с презрением, означало евреев немецкого или европейского происхождения. О браке с "todesco" и помыслить было нельзя. Среди знакомых мне лично или понаслышке семей в Рушукe я не могу припомнить ни единого смешанного брака такого рода. Мне и шести лет не было, а дед уже предостерегал меня от подобного мезальянса в будущем. Но дело не ограничивалось общей дискриминацией. В среде самих сефардов выделялись «хорошие семьи» — так называли тех, кто уже давно был богат. Самой высокой похвалой, на которую мог рассчитывать сефард, было: "es de buena familia", т. е. он «из хорошей семьи». Трудно представить себе, сколько раз слышал это и я от своей матери. Оставаясь поклонницей «Бургтеатра» * и декламируя Шекспира, да и позже, когда Стриндберг завладел ее сердцем, она не стеснялась сказать о себе, что она «из хорошей семьи», лучше не бывает. Она, считавшая основным содержанием своей жизни литературу всех народов, языками которых владела, не чувствовала противоречия между столь пылким универсализмом и высокомерием фамильной гордости, которую она пестовала в себе.

Уже в те времена, когда я еще всецело принадлежал матери, — она распахнула передо мной все двери своего духа, и я,

ослепленный и восторженный, следовал за ней, — уже тогда это противоречие задевало меня и приводило в недоумение; я говорил с ней об этом и в наших бесчисленных беседах в пору своей юности, но все — без малейшего эффекта. Ничто не могло свернуть ее гордость с раз и навсегда проложенных каналов; меня же эта непонятная в ней узость навсегда отвратила от кичливости любым происхождением. Я не могу серьезно относиться к людям с кастовой спесью любого пошиба; они напоминают мне экзотических, немного смешных животных. Я ловлю себя на предрассудке обратного свойства, на предвзятости к людям, гордящимся своим происхождением. Я принуждаю себя снисходительнее относиться к разговорам на эту тему, которые заводят иногда немногие знакомые мне аристократы, но, знай они, каких усилий мне это стоит, они бы отказались от дружбы со мной. Все предрассудки порождены другими предрассудками, и чаще всего встречаются те, которые возникают из своих противоположностей.

Кроме того, каста, к которой причисляла себя мать, гордилась не только своим испанским происхождением, но и богатством. В моей, но особенно в ее семье я видел, что делают деньги с людьми. Самыми дрянными из них я считал тех, кто охотнее всего отдавался во власть денег. Я познакомился со всеми стадиями перехода тяги к деньгам в манию преследования. Я знал братьев, которые в своей жадности разорили себя судебными тяжбами и продолжали судиться, не имея ни гроша в кармане. Они были родом из той же «хорошей семьи», которой так гордилась моя мать. Все это она видела и обсуждала со мной. Она обладала проницательным умом и знанием людей, почерпнутым не только из великих произведений мировой литературы, но и из опыта собственной жизни. Видела она и подоплеку бешеной грызни, разъедавшей изнутри ее семью, без труда написала бы об этом роман, но ничто не могло поколебать ее гордость за такую вот семью. Будь здесь любовь, я бы еще как-то понял ее, но многих протагонистов она вовсе не любила, другими возмущалась, к третьим испытывала отвращение, а вот к семье в целом — только гордость.

До меня поздно дошло, что я в своем отношении, правда, к более крупному объекту — человечеству — такой же, как она. Лучшую часть своей жизни я потратил на то, чтобы вывести человека на чистую воду, показав его истинное лицо в ракурсе всех исторических цивилизаций. С беспощадностью вивисектора я исследовал феномен власти, как моя мать — судебные процессы. Вряд ли найдется что-нибудь хуже того, что я сказал о человеке, равно как и о человечестве. И все же с моей гордостью за него может сравниться разве только ненависть к его врагу: смерти.

«Kako la gallinica»

Волки и вервольфы

Слово, которое не раз пылко и нежно произносили при мне, звучало как «la butica». Так называли лавочку, магазин, в котором с утра до вечера пропадали дед и его сыновья. Меня редко брали туда — мал еще был. Она находилась на крутой улице, сбегавшей с высоты богатого квартала Рущука прямо к гавани. На этой улице располагались все большие магазины; лавка деда размещалась в трехэтажном здании, казавшемся мне внушительным и высоким, ведь на холме стояли одноэтажные дома. Торговали в ней оптом колониальными товарами; лавка была просторная, с чудесными запахами. Открытые мешки с разными сортами пшеницы стояли прямо на полу, были здесь и мешки с пшеном, ячменем, рисом. Если у меня были чистые руки, мне разрешалось запускать их внутрь мешка и щупать зерна. Это было приятное ощущение: я набирал полные ладони зерна, подносил их к лицу, вдыхал запах и медленной струйкой сыпал вниз, и так — по несколько раз. В лавке имелось много других достойных внимания вещей, но это занятие нравилось мне больше всего. Были там и чай, и кофе, и шоколад. Все — в крупной расфасовке и прочно упакованное, ведь в розницу, как в обычных магазинах, здесь не торговали; а открытые мешки на полу нравились мне еще и тем, что были доступны моему росту, и я, запуская в них руки, мог чувствовать прикосновение множества заветных зерен.

Продавали там в основном товар съедобный, но не только. Были и спички, мыло, свечи, а еще — ножи, ножницы, точильные камни, серпы и косы. Приезжавшие за покупками крестьяне подолгу стояли перед ними, проверяя пальцем, остро ли заточены. Я внимательно, но с опаской наблюдал за ними, потому что мне было запрещено притрагиваться к ножам. Как-то раз один крестьянин, которого я, наверное, позабавил своим выражением лица, взял мой большой палец и приложил к своему, показывая, какая твердая у него кожа. Но шоколадом меня никогда не угощали; сидящий сзади в своей конторе дед завел строгий порядок: все продавалось только оптом. Дома он показывал мне свое расположение, потому что я носил его полное имя и фамилию, но не любил, когда я приходил в лавку, и не разрешал долго задерживаться в ней. Стоило ему отдать распоряжение, и служащий стремглав бежал исполнять его; бывало, поручалось отнести заказ на дом. Больше всех мне нравился худой бедно одетый пожилой человек, который все время рассеянно улыбался. Он делал какие-то сумбурные движения и всегда вздрагивал, услышав голос деда. Он, казалось, грезил наяву, чем сильно отличался от других людей, которых я встречал в лавке. Для меня он

всегда находил ласковое слово, но говорил так неясно, что я ничего толком не понимал, лишь чувствовал, как хорошо он ко мне относится. Его звали Челебон и держали из жалости как бедного и никчемного родственника. То и дело я видел, как им помыкали, будто слугой, таковым он и остался в моей памяти, и лишь много лет спустя я узнал, что он — брат деда.

Улица перед большими воротами нашего дома была пыльной и сонной. После сильного дождя она превращалась в море грязи, в которой дрожки оставляли глубокий след. Мне не позволяли играть на улице, для этого хватало места и в нашем дворе, да и безопасней здесь было. Но иногда снаружи раздавалось сильное кудактанье, которое становилось все громче и тревожнее. Вскоре в ворота, причитая и дрожа от страха, влетал человек в черной оборванной одежде, спасаясь от уличных мальчишек. Они гнались за ним по пятам с криком: "Како! Како!" — и кудактали, как куры. Он боялся кур, за это его и преследовали. Вырвавшись на несколько шагов вперед, он превращался на моих глазах в курицу. С отчаянным страхом он визгливо кудактал и взмахивал руками, как крыльями. Потом он взлетал, задыхаясь, по ступенькам дома деда, но никогда не входил вовнутрь, а снова спрыгивал с них с другой стороны и замирал, упав на землю. Дети кудактали, стоя в воротах и не смея войти во двор. Видя, что он лежит как мертвый, они, немного струсив, убегались прочь. Но вскоре снаружи опять раздавался их триумфальный клич: "Kako la gallinica! Како la gallinica!" («Како, курица! Како, курица!»). И все время, пока они кричали, Како оставался недвижим. Когда же их голоса смолкали вдали, он поднимался, ощупывал себя, осторожно оглядывался по сторонам, боязливо прислушивался и, скорчившись, но на сей раз безмолвно, выскальзывал со двора. Он больше не хлопал руками, как крыльями, и не кудактал, он был уже не курица, а измученный местный дурачок.

Бывало, дети подкарауливали его где-нибудь неподалеку, и жуткая игра начиналась снова. Часто они перебирались на другую улицу, и мне ничего уже не было видно. Может, я и жалел Како, мне всегда становилось страшно, когда он спрыгивал на землю, но все же я мог без конца с одинаковым волнением смотреть, как он превращается в громадную черную курицу. Я не понимал, за что дети его дразнят, и, когда он, спрыгнув, тихо лежал на земле, начинал бояться, вдруг он не встанет и никогда больше не будет превращаться в курицу.

Низовье Дуная в Болгарии очень широкое. Джурджу, город на том берегу, находился уже в Румынии. Моя кормилица, говорят, была родом оттуда. Она, сильная, здоровая крестьянка,

кормила и своего ребенка, которого приносила с собой. О ней я слышал одни похвалы, потому и в слове «румынский» мне слышится какой-то теплый оттенок, хотя саму кормилицу я совершенно забыл.

Случались годы, когда Дунай замерзал; о них рассказывали драматические истории. В молодости мать часто ездила на санях на тот берег, в Румынию, она даже показывала мне меха, в которые ее закутывали. В особенно сильный мороз с гор спускались изголодавшиеся волки и набрасывались на лошадей, тащивших сани. Кучер пытался отогнать их кнутом, но если это не помогало, как зачастую и бывало, открывали по ним стрельбу. Во время одной из таких поездок оказалось, что для стрельбы ничего с собой не взяли. Слуга-черкес, который должен был сопровождать их с ружьем, куда-то запропастился, и кучер не стал его дожидаться. Они отчаянно отбивались от волков, но положение становилось все опаснее. И не попадись им навстречу двое мужчин на санях, которые одного волка убили, а других разогнали, дело могло кончиться трагически. Мать тогда очень сильно испугалась, она запомнила красные языки волков, которые были уже так близко, что она потом еще не раз видела их во сне.

Я часто просил ее рассказать мне эту историю, что она охотно и делала. Так волки стали первыми дикими зверями, поселившимися в моем воображении. Ужас перед ними подогревали сказки, которые я услышал от болгарских девочек. В нашем доме всегда было пятеро-шестеро таких совсем еще молоденьких, десяти-двенадцати лет, не старше, девочек, которых родители привозили в город из деревень и пристраивали служить в домах богатых бюргеров. По дому они бегали босиком, всегда в хорошем настроении, и те немногие дела, которые им поручались, делали сообща; они стали моими первыми товарищами по играм.

Уходя вечерами из дому, родители оставляли меня под их присмотром. Вдоль всех стен большой гостиной тянулись низкие турецкие диваны. Не считая развешенных и раскиданных повсюду ковров да нескольких маленьких столиков, они, помнится, составляли единственное убранство этой комнаты. Девочки боялись темноты и, когда смеркалось, забирались на диван под окном, усаживая меня в середину, и начинали рассказывать свои страшные истории о вервольфах и вампирах. Закончив одну, принимались за другую, мне становилось жутко, но, окруженный со всех сторон девочками, я все же чувствовал себя защищенным. Порой мы боялись шелохнуться, и родители, приходя домой, так и заставляли нас, сбившимися в кучу и дрожащими от страха.

Из тех сказок в моей памяти остались только истории о вер-

вольфах и вампирах. Вероятно, других и не рассказывали. Стоит мне взять сейчас в руки книжку с болгарскими сказками, и я сразу узнаю многие из них. Я помню в них каждое слово, но не на языке, на котором их слушал. Слушал-то я их на болгарском, а знаю на немецком. Это таинственное превращение, пожалуй, самое примечательное и достойное упоминания событие из моей юности, а поскольку языковая судьба у большинства детей складывалась иначе, стоит, наверное, немного об этом рассказать.

Мои родители говорили между собой по-немецки, тогда я совсем не понимал его. С нами, детьми, а также с родственниками и знакомыми — на испанском. Именно он использовался в качестве основного языка общения, правда, это был древнеиспанский его вариант, позже мне часто доводилось его слушать, и я никогда его не забывал. Деревенские девочки в нашем доме понимали только болгарский, от них-то я, наверное, ему и научился. Но вскоре совершенно забыл этот язык из-за того, что в Рушукe я не ходил в болгарскую школу, да и уехал оттуда шести лет от роду. Все события тех ранних лет разыгрывались на болгарском или испанском языках. Большая часть их трансформировалась потом в немецкий. Только очень уж драматические происшествия, смерти, убийства, остались в моей памяти в испанском оформлении, но зато точно и прочно. Другая, то есть основная, часть моих воспоминаний, особенно болгарского периода, например все сказки, хранится в моей голове на немецком языке.

Как в точности это произошло, я не могу объяснить. Не знаю, в какой момент и при каких обстоятельствах то или иное событие взяло и перевелось на немецкий. Я никогда не пытался проникнуть в природу этого явления, может быть боясь разрушить самые дорогие свои воспоминания методически выверенным, основанным на научном подходе анализом. С уверенностью могу сказать только, что память о событиях тех лет ничуть не ослабла и не утратила своей свежести — уже скоро шестьдесят лет, как я черпаю силы из этого источника, — хотя большая часть этих событий связана со словами, в ту пору мне незнакомыми. Сейчас мне кажется вполне естественным описывать их здесь, и я не чувствую, что что-то изменяю или искажаю. Это совсем не то, что называется литературным переводом с одного языка на другой, мой перевод происходит самопроизвольно, в подсознании, да простится мне употребление здесь в первый и единственный раз этого затасканного до потери всякого смысла слова, от которого я обычно бегу, как от чумы.

Топор армянина

Цыгане

Я лишен удовольствия с такой же легкостью, как Стендаль в «Анри Брюларе», предаться утехам топографического черчения, на свое горе я всегда был плохим рисовальщиком. Придется мне поэтом кратко описать расположение наших домов вокруг сада в Рушуке.

Сразу направо от ведущих с улицы больших ворот стоял дом деда Канетти. Выглядел он солиднее и казался выше остальных. Хотя, помнится, верхнего этажа, как другие дома, не имел. Во всяком случае, ступенек к нему наверх вело больше, отчего он и мог произвести впечатление высокого дома. Также он казался и светлее других, наверное, был окрашен в более светлые тона.

Напротив него, налево от ворот, стоял дом, в котором жила старшая сестра моего отца, тетя Софи, со своим мужем Натаном. Звали его еще и Эльким, это имя мне очень не нравилось, может, потому, что звучало не так, как другие, не по-испански. У них было трое детей: Регина, Жак и Лаурика, последняя — младшая — старше меня на целых четыре года, невероятная разница в этом возрасте.

Рядом с этим домом, по ту же левую сторону от ворот, стоял наш дом, точно такой же, как и дядин. Оба дома во всю ширину фасада обрамляла платформа, на которую взбегало несколько ступенек.

Двор между домами походил на большой сад, напротив нас чуть в стороне от центра стоял колодец, но воды в нем не хватало, ее обычно привозили на мулах в огромных бочках. Дунайскую воду перед использованием кипятили, и она остывала в больших чанах на платформе перед домом.

За колодцем раскинулся фруктовый сад, отгороженный от двора плетнем. Этот сад особой красотой не отличался, может, из-за того, что деревья росли в нем словно по линейке, а может, и из-за своей молодости. У родственников матери сады были куда лучше.

Во двор наш дом выходил узким фасадом. Сильно вытянутый в длину, он, наверное, и запомнился поэтому очень большим, хотя был одноэтажным.

Пройдя вдоль всего дома вглубь, до его противоположного конца, и обогнув угол, можно было попасть в маленький задний дворик, в который выходили двери кухни. Здесь хранились дрова для растопки, расхаживали куры и гуси, из открытых дверей кухни доносились голоса, гремели посудой, входила и выходила кухарка, неся что-нибудь в руках, деловито сновали с полдюжины девочек.

В этом дворе у кухни часто рубил дрова один слуга, которого

я помню лучше других, потому что он был моим другом, печальный армянин. За рубкой дров он пел песни, слов которых я не понимал, но они разрывали мне сердце. На мой вопрос, почему он такой грустный, мать сказала, что плохие люди в Стамбуле хотели убить всех армян, тогда он и потерял всю свою семью. Укрывшись в убежище, он видел, как убивали его сестру. Потом он убежал в Болгарию, и мой отец из жалости приютил его у нас в доме. Когда он колет дрова, он все время думает о своей младшей сестре и поэтому поет такие печальные песни.

Я испытывал к нему глубокую любовь. Увидев, что он собирается колоть дрова, я забирался на диван в дальнем конце гостиной, и, высунувшись из выходящего во двор кухни окна, смотрел на него, слушал печальные песни, думал о его сестре и очень хотел иметь младшую сестру. У него были черные усы и черные как смоль волосы, он казался мне очень высоким, наверное, оттого, что я видел его всегда с высоко поднятыми руками, сжимающими топор. Я любил его даже сильнее Челебона, слуги из лавки, с которым встречался редко. Мы сказали друг другу всего пару слов, и те не знаю, на каком языке. Но без меня он рубки дров не начинал. Завидев мою голову в окне, он еле приметно улыбался, взмахивал топором, и страшно было смотреть, с каким гневом сокрушал им дрова. При этом он мрачнел и пел свои печальные песни. Отложив топор, он снова улыбался мне, и я ждал эту улыбку, как и он, первый в моей жизни беженец, поджидал до этого меня.

Каждую пятницу приходили цыгане. По пятницам во всех еврейских домах шли приготовления к шаббату *. Дом выскабливали сверху донизу, туда-сюда сновали болгарские девочки, на кухне кипела работа, всем было не до меня. Оставшись в одиночестве, я прилипал к выходившему в сад окну гостиной и ждал цыган. Я панически их боялся. Думаю, что о цыганах мне могли наболтать только девчонки, когда мы, съехившись на диване, коротали длинные темные вечера. Я верил в то, что они крадут детей, и был убежден, что и на меня они уже положили глаз.

Однако, несмотря на свой страх, я не упускал случая полюбоваться цыганами, а вид у них был великолепный. Ворота во двор открывались нараспашку, ведь для прохода им нужно было много места. Они заявлялись табором, в центре, возвышаясь над всеми, шествовал слепой патриарх, прадед, как мне объяснили; красивый, седовласый старец в пестрых одеждах выступал очень медленно, опираясь с обеих сторон на двух взрослых внуков. Вокруг него теснились цыгане всех возрастов; мужчин было меньше, почти одни женщины и много-много детей: совсем ма-

ленькие на руках матерей, остальные егозили вокруг, однако не слишком удаляясь от величественного старца, который все время держался в центре. Вся группа производила впечатление чего-то сверхплотного, мне никогда больше не доводилось видеть, чтобы множество людей шло вперед так сплоченно, да и, кроме этого, не было ничего живописнее их в нашем весьма живописном городе. Тряпки, из которых они мастерили себе одежду, переливались всеми красками, но особенно резко выделялся красный, к тому же, явно любимый ими цвет. За спинами у многих болтались мешки, при виде которых у меня сразу возникали мысли о спрятанных в них украденных детях.

Мне казалось, что цыганам этим несть числа, но сегодня, вспоминая их шествие, я думаю, что было там не более тридцати-сорока человек. Во всяком случае, в нашем дворе никогда не собиралось такое множество людей, а поскольку из-за старца они шли очень медленно, мне казалось, что скорее вечность пройдет, чем они заполнят наш двор. Но, не задерживаясь во дворе, а обогнув наш дом, стекались они в маленький дворик перед кухней с поленницами дров, где и располагались.

Я ждал момента их появления в воротах и, едва увидев слепого старца, мчался с пронзительным криком «Zinganas! Zinganas!» по длинной гостинной и еще более длинному коридору в глубь дома на кухню. Там стояла мать и следила за приготовлениями к шаббату, кое-какие деликатесы она делала сама. Не обращая внимания на попадавших мне по дороге девчонок, я продолжал истошно вопить до тех пор, пока не оказывался вблизи матери, которая говорила мне что-нибудь успокаивающее. Но, не задерживаясь здесь ни минуты, я сломя голову мчался обратно по длинному коридору и гостинной, и, определив через окно местоположение цыган, снова летел на кухню сообщать об этом. Я хотел подольше на них посмотреть, потому что бредил ими, но, едва увидя, трепетал от страха, ведь они могли положить на меня глаз, и снова с криком мчался прочь. Так и носился я туда-сюда, думаю, что из-за этой беготни я так хорошо и запомнил длину нашего дома от одного двора до другого.

Добравшись до заветной цели, дворика перед кухней, старец опускался на землю, остальные рассаживались вокруг него; мешки открывались, и женщины, не препираясь друг с другом, укладывали в них все, что давали: большие поленья дров, почему-то особенно ценимые, а также много всего съестного. Их угощали только что приготовленными блюдами, но ни в коем случае не остатками. У меня камень падал с сердца, когда я видел, что в мешках нет украденных детей. Под охраной матери я ходил между ними, все внимательно рассматривая, однако не рискуя приблизиться к женщинам, пытавшимся меня погладить. Слепой старец медленно ел из миски, он отдыхал при этом.

Остальные к еде не притрагивались, она исчезала в больших мешках, и только детям разрешалось отведать угощения. Я дивился тому, как ласковы цыгане со своими детьми и как не похожи на злодеев-похитителей, что, правда, ничуть не уменьшало моего страха. Через какое-то время, казавшееся мне вечностью, они собирались в обратный путь вокруг дома через двор, который проделывали чуть быстрее, чем по прибытии. Из того же самого окна я следил, как они исчезали за воротами. А потом бежал в последний раз на кухню и сообщал: «Цыгане ушли». Наш слуга брал меня за руку, подводил к воротам и запирали их со словами: «Теперь они не вернутся». И в обычные дни ворота днем не запирались, но по пятницам это был особый знак для шедших следом других цыган: он свидетельствовал о том, что здесь уже побывали их люди, и тогда другие проходили мимо.

Пурим *

Комета

[...] Следующее событие — большая комета*, а поскольку, думая об одном, я тут же вспоминаю другое, между ними существует какая-то связь. Полагаю, что комета освободила меня от преследующего образа волка: мои детские страхи растворились в общем страхе, захлестнувшем в те дни людей, которых я никогда прежде не видел в таком возбуждении, как во время появления кометы. Кроме того, оба эти события — волк и комета — происходили ночью — еще одной причиной больше, чтобы соединить их в памяти.

Со всех сторон я слышал о комете, еще задолго до ее появления; говорили, настал конец света. Не зная, что это такое, я все же заметил, как изменились люди: они переходили на шепот, стоило мне подойти поближе, и смотрели на меня с состраданием. Болгарские девочки не шептались и выложили все как есть, без прикрас, от них-то я и узнал, что пришел конец света. В это верил весь город и, видимо, довольно долго поджидал появления кометы, потому что я, не зная, чего конкретно следует бояться, очень хорошо запомнил сам этот страх. Трудно сказать, разделяли или нет мои родители, как люди образованные, эту всеобщую веру, но уверен, что они не знали, что ей противопоставить, иначе, памятуя о прежнем, обязательно просветили бы меня, но этого не произошло.

Настала ночь, когда комета появилась и должна была упасть на землю. Меня не отослали спать, я слышал, как кто-то сказал, что теперь это не имеет смысла, пусть дети тоже сойдут в сад. В большом саду столпилось очень много людей, так много я их здесь никогда не видел, были тут и дети из наших и сосед-

них домов; и все они, взрослые и дети, пристально смотрели на небо, где повисла комета, огромная и сверкающая. Как сейчас, вижу ее, распластанную на полнеба, и, как тогда, у меня начинает болеть затылок от того, что приходилось сильно закидывать голову назад, чтобы увидеть комету во всю длину. Вполне возможно, что моя память немного увеличила ее, и занимала она не полнеба, а значительно меньшую его часть. Я предоставляю судить об этом другим, тем, кто в то время был взрослым и незапуганным. Но стало так светло, как днем, хотя я точно помню, что все происходило ночью, потому что первый раз в этот час меня не уложили спать, что, собственно, и явилось для меня истинным событием. Все стояли в саду, смотрели на небо и ждали. Взрослые замерли, стало необычайно тихо, говорили вполголоса, не стояли на месте только дети, на которых никто не обращал внимания. В этом ожидании я почувствовал переполнявший всех страх, потому что кто-то, стараясь отвлечь меня, протянул мне ветку с вишнями. Я положил несколько вишен в рот и, задржав голову, следил глазами за огромной кометой. То ли из-за напряжения в затылке, то ли из-за красоты кометы я забыл про вишню и проглотил косточку.

Все это длилось очень долго, люди не расходились, они стояли почти вплотную, плечом к плечу, я не могу различить среди них отца и мать, не вижу в отдельности никого из своих близких. Я вижу их всех только слитыми воедино, и, если бы я так часто потом не употреблял это слово, я бы сказал сейчас, что вижу их как массу, массу, застывшую в ожидании.

Волшебный язык

Огонь

[...] Возвратившись из магазина домой, отец сразу направлялся к матери. В ту пору они очень любили друг друга и общались между собой на только им одним понятном языке, немецком, языке их самых счастливых лет, проведенных в венской школе. Чаще всего они говорили о «Бургтеатре», в котором еще до своего знакомства восхищались одними и теми же пьесами и исполнителями. Их воспоминаниям не было конца. Позднее я узнал, что во время подобных разговоров они и влюбились друг в друга. И если каждому из них в отдельности не удалось воплотить в жизнь свою мечту о театре — оба страстно хотели стать актерами, — то, объединившись, они смогли добиться разрешения на брак, против которого имелись серьезные возражения.

Дед Ардитти, глава одного из самых родовитых и богатых семейств болгарских сефардов, сопротивлялся браку своей млад-

шей и любимой дочери с сыном выскочки из Адрианополя. Дед Канетти, в юности нищий, выброшенный на улицу сирота, хоть и добился своими силами высокого положения и благополучия, но остался в глазах другого деда комедиантом и лжецом. «Es mentirosos» — «Он лжец», — слышал я собственными ушами, когда он думал, что меня нет поблизости. Дед Канетти в свою очередь презирал спесивых Ардитти, которые смотрели на него сверху вниз. Его сын мог взять в жены любую девушку, считал дед, зачем ему это ненужное унижение — женитьба на дочери именно Ардитти. Так моим родителям пришлось сначала скрывать свою связь, и лишь постепенно благодаря невероятному упорству и активной помощи старших братьев и сестер, а также хорошо настроенных родственников им удалось приблизиться к желанной цели. В конце концов оба старика сдались, однако навсегда сохранили напряженные отношения, а по сути — терпеть друг друга не могли. В те памятные времена тайных встреч немецкий язык, на котором говорили многочисленные театральные пары героев-любовников, стал для молодых людей неиссякаемым источником любовного напитка.

Итак, у меня было достаточно оснований чувствовать себя отверженным, когда родители затевали свои бесконечные разговоры. Какими они тогда становились веселыми, оживленными! Эти перемены я связывал со звучанием немецкой речи. Я напряженно вслушивался, а потом расспрашивал, что значит то или иное слово. Они смеялись и отвечали, что я еще слишком мал, чтобы это понять. Они раскрыли мне тайну только одного-единственного слова — «Вена», — и считали это достаточным. Я думал, что речь идет о каких-то волшебных вещах, названия которых существуют только на немецком языке. После долгих и напрасных просьб я, раздосадованный, убежал прочь и, спрятавшись в почти всегда пустой комнате, произносил услышанные от них фразы с такой же интонацией, словно волшебные заклинания; я часто повторял их про себя, а оставшись один, тараторил без передышки, будь то слова или предложения, — все, что выучил, подряд, в таком темпе, что меня, наверное, никто не понял бы. Но я тщательно следил за тем, чтобы родители ничего не заметили, на их тайну я отвечал своей.

Я определил имя, которым отец называл мать, когда они разговаривали по-немецки. Ее звали Матильда, а он называл — Мэди. Один раз в саду я, изменив голос, крикнул: «Мэди! Мэди!» Так окликал ее отец из сада, возвращаясь домой. Затем я спрятался за дом и немного спустя с невинным видом появился на прежнем месте. Там стояла мать, которая растерянно спросила, не видел ли я отца. Я возликовал, как же: она приняла мой голос за отцовский. Но все же я нашел силы не выдать себя, ког-

да она как о чем-то непостижимом рассказывала об этом вернувшемся домой отцу.

Им и в голову не приходило в чем-то заподозрить меня, а я в то время больше всего хотел овладеть их тайным языком. Не могу объяснить, почему я не обижался на отца. Но на мать я за-таил глубокую обиду, которая прошла, только когда годы спустя после смерти отца она сама научила меня немецкому.

Однажды весь наш двор заволокло дымом, кто-то из девочек, выбежав на улицу, увидел, что по соседству горит дом. Огонь уже полыхал вовсю, и дом вряд ли можно было спасти. Вмиг опустели три дома в нашем дворе, все, кто там жил, кроме бабушки, которая никогда не поднималась со своего дивана, бросились на улицу по направлению к огню. Оставшись один, я немного оробел, а может, и меня притягивал огонь или, что скорее всего, направление, в котором все скрылись. Во всяком случае, я тоже, нарушив запрет, выбежал через открытые ворота на улицу и был тут же подхвачен потоком спешащих людей. К счастью, я вскоре заметил двух наших девочек постарше, и они, не в силах изменить маршрут, подхватили меня с двух сторон за руки и быстро потащили вперед. На некотором расстоянии от огня они остановились, может быть опасаясь за меня, тут-то я впервые и увидел горящий дом. Он уже полностью был охвачен пламенем, с треском рушились балки, сыпались искры. Наступал вечер, быстро темнело, но огонь освещал все кругом. Но больше, чем горящий дом, меня поразили копошившиеся вокруг люди. С нашего места они казались маленькими и черными, их было очень много, и они сновали во все стороны. Некоторые приближались к дому, другие удалялись от него, и все несли что-то на спине. «Воры! — крикнули девочки. — Это воры! Они тащат вещи из дома, пока их не застали». Это зрелище вызвало у них не меньшее возбуждение, чем вид горящего дома; это возбуждение передавалось и мне по мере того, как они все громче кричали: «Воры!» Маленькие черные фигурки без устали суетились около дома или, пригнувшись к земле, убегали прочь. Некоторые — перекинув через плечо мешки, другие — согнувшись, под тяжестью каких-то угловатых предметов, неразличимых издали; на мой вопрос, что они несут, девочки твердили только одно: «Воры! Это воры!»

Эта незабываемая картина снова как бы вошла в мое сознание много лет спустя с полотен одного художника, так что теперь я не знаю, что хранила моя память прежде и что добавилось от них. Мне было девятнадцать, когда я в Вене увидел полотна Брейгеля. Я тут же узнал множество маленьких человечков из того огня моего детства. Полотна были мне так знакомы, будто я с

ними вырос. Сильная тяга влекла меня к ним каждый день. Часть моей жизни, начавшаяся тем огнем, нашла в них свое прямое продолжение, словно и не лежало между ними пятнадцати лет. Брейгель стал самым необходимым мне художником; но я проник в его мир не через двери созерцания или размышления, как это часто потом случалось, я открыл его в себе, как будто он долго ждал меня, точно зная, что я приду к нему.

Начало войны

Лето 1914 года мы проводили в Бадене под Веной. В желтом двухэтажном домике, не помню, на какой улице, вместе с нами жил высокий офицерский чин в отставке, интендант, занимавший с женой весь нижний этаж. Время настало такое, что от офицеров негде было укрыться.

Почти весь день мы с матерью гуляли в санаторном парке. На круглой веранде в центре парка играл небольшой оркестр. Дирижировал им худой мужчина по имени Конрат, которого мы, мальчишки, дразнили „саггот“, морковка. С младшими братьями, трех и пяти лет, я тогда очень бойко говорил по-английски, в немецком они чувствовали себя еще нетвердо, ведь прошло всего два месяца, как мисс Брей вернулась в Англию. Общение не на английском было бы для нас в ту пору неестественным, вынужденным, да и в парке нас знали как маленьких английских мальчишек.

Здесь всегда толпился народ, в основном из-за музыки, но в конце июля, перед началом войны, стекающаяся в парк людская масса густела на глазах. Возбуждение нарастало, но я не задумывался почему, и, когда мать просила не кричать за игрой так громко по-английски, я слушал ее вполуха, а младшие и подавно.

Однажды днем, помнится, первого августа *, объявили, что началась война. «Морковка» дирижировал, а оркестрик играл, когда кто-то протянул ему записку; он раскрыл ее, прервал музыку и, сильно постукав по пульту дирижерской палочкой, громко прочел: «Германия объявила войну России». Оркестрик грянул гимн австрийскому кайзеру, все встали, поднялись и сидевшие на скамьях, и тоже запели: «Сохрани, господь, спаси, господи, нашего кайзера и нашу страну!» Гимн я выучил в школе и немного неуверенно стал подпевать. Едва закончив один, запел другой, германский: «Хвала тебе в венце Победителя!» В нем я уловил что-то похожее на английский «God save the King» *, но с другими словами. И хотя во всем этом я чувствовал что-то направленное против Англии, но то ли по старой привычке, то ли из своенравия запел что было сил английский текст,

а мои младшие братья в полном неведении стали подтягивать своими тоненькими голосами. Кругом стояли люди, и не услышать нас было невозможно. Вдруг я увидел рядом С собой искаженные злобой лица, и потом к нам потянулись руки и ладони, бившие наотмашь. Били в основном меня, девятилетнего, но перепало и младшим, даже самому маленькому, Георгу. Били все, скопом, до тех пор, пока оттесненная чуть в сторону мать не поняла, что происходит. Больше всего меня поразили искаженные ненавистью лица. Кто-то предупредил мать, и она, пронзительно крикнув: «Но ведь это же дети!» — протиснулась к нам, схватила в охапку всех троих и стала гневно стыдить окружающих, которые ей ничего не сделали, потому что она говорила, как венка, и даже выпустили нас в конце концов из этой страшной давки.

Я не совсем понял, что натворил, но тем неизгладимее запечатлелась во мне эта первая встреча с враждебной массой. Впоследствии я всю войну, до 1916 года в Вене и потом в Цюрихе, был настроен проанглийски. Но и побои не прошли даром: до тех пор пока мы жили в Вене, я остерегался невзначай выдать свое умонастроение. Произносить английские слова вне дома нам было строжайше запрещено. Я соблюдал этот запрет, но с тем большим рвением читал свои английские книги.

Четвертый класс народной школы — а в Вене я начал с третьего — пришлось уже на годы войны, и все мои воспоминания связаны с войной. Нам выдали желтую тетрадь с песнями, так или иначе перекликающимися с темой войны. Первым шел гимн кайзеру, который мы исполняли ежедневно в начале и в конце занятий. Две песни из желтой тетради мне понравились: «Заря, заря, светишь ты мне, молодому, в последний раз», а моя любимая начиналась словами: «Там на лугу — две галки, не больше» *, и дальше, кажется: «Знать, умру я во вражеской Польше». Много чего мы спели тогда из желтого песенника, но песни эти все же были куда пристойнее отвратительных, пропитанных ненавистью рифмовок, которые проникали и к нам, младшим школьникам: «Сербия, ты помербия», «Один пистолет — русского нет!», «Один байонет француз не берет!», «Один пинок — англичанин утек!» Когда я в первый и последний раз принес такую рифмовку домой и сказал Фанни: «Один пистолет — русского нет!» — она тотчас пожаловалась матери. Может быть, в ней заговорила чешская чувствительность, ибо патриоткой ее никак не назовешь, да и с нами, детьми, она никогда не пела военных песен, которые я разучивал в школе. А может, она просто была нормальным человеком, для которого рифмовка «Один пистолет — русского нет!» в устах девятилетнего ребен-

ка звучала особенно омерзительно. Во всяком случае, это так сильно задело ее, что она не одернула меня, а молча пошла к матери и заявила, что больше служить у нас не может, потому как ей приходится выслушивать подобные вещи от детей. Мать, оставшись со мной наедине, очень сурово спросила, что я хотел сказать этой рифмовкой. Я ответил: ничего. Мальчишки в школе твердят их все время, а я терпеть их не могу. Я не лгал, поскольку, как уже говорил, был настроен проанглийски. «Так что же ты тогда болтаешь чепуху вслед за ними?! Фанни слушать это неприятно. Ее оскорбляет, когда ты говоришь такую мерзость. Русский такой же человек, как ты и я. Моей лучшей подругой в Рущике была русская, Ольга. Ты уже забыл ее». Да, я забыл ее, а тут вдруг вспомнил, как часто слышал это имя. Мать отчитала меня всего один раз, но этого было достаточно. Она так сильно выразила свое недовольство, что я не только не повторял больше этих рифмовок, но и испытывал отвращение к любым злобным милитаристским призывам, которые позднее слышал в школе, а слышал я их ежедневно. Конечно, далеко не все болтали эту гадость, напротив, таких было мало, но зато они и твердили ее беспрестанно. Может быть, чувствуя себя в меньшинстве, они старались таким образом самоутвердиться.

Череп

Мне минуло двенадцать лет, когда я страстно увлекся историей освободительных войн греков *, и тот же 1917 год стал годом русской революции. О том, что Ленин жил в Цюрихе, говорили еще до того, как он покинул его в запломбированном вагоне. Мать, в которой горела незатухающая ненависть к войне, пристально следила за всем, что могло бы положить ей конец. Она ни с кем не поддерживала политических связей, но в Цюрих съезжались из разных стран противники войны всех направлений. Когда мы как-то проходили мимо одной кофейни, она показала мне на огромный череп человека, сидевшего у окна, перед ним на столе лежала высокая кipa газет, одну из которых, крепко сжав, он поднес близко к глазам. Внезапно он вскинул голову и, повернувшись к сидящему рядом мужчине, стал что-то энергично ему доказывать. Мать сказала: «Посмотри на него повнимательнее. Это Ленин. Ты еще услышишь о нем». Мы остановились, она немного смутилась оттого, что вот так стоит и смотрит в упор на человека (обычно она пресекала такую бестактность с моей стороны), но внезапность сделанного им движения заставила ее замереть на месте, передав ей часть энергии от резкого разворота к собеседнику. Я же дивился гриве черных вьющихся волос у другого мужчины, которая составляла резкий

контраст с оголенностью черепа сидящего рядом Ленина. Но больше всего меня поразила неподвижность матери. Внезапно она сказала: «Пошли, что мы тут встали» и увлекла меня за собой.

Спустя несколько месяцев она рассказала мне о возвращении Ленина в Россию, и я стал понимать, что речь идет о чем-то очень важном. Русским надоела бойня, убеждала она, все сыты ею по горло, поэтому с согласия правительств или вопреки им, но скоро этому придет конец. Она никогда не называла войну иначе чем «бойня». С тех пор как мы переехали в Цюрих, она говорила об этом открыто, в Вене же ей приходилось себя сдерживать, чтобы не осложнять конфликтами мои отношения с одноклассниками. «Ты не убьешь ни одного человека, который не причинил тебе зла», — заклинала она; гордясь тем, что у нее трое сыновей, она тревожилась — я это чувствовал, — что вдруг мы тоже станем «убийцами». В ее ненависти к войне было что-то первозданное; когда она однажды пересказала мне содержание «Фауста», считая, что его самого мне читать еще рано, она осудила пакт Фауста с чертом. Есть только *одно* оправдание такому пакту: положить конец войне. Только это может оправдать связь с чертом, больше ничто.

Чтение днем и по ночам

Жизнь подарков

По вечерам у нас больше не читали, скорее всего из-за перемен в ведении домашнего хозяйства. Мать освобождалась, лишь уложив нас троих спать. Она взялась за свои новые обязанности с яркой решимостью. Все, что делала, поясняла — видимо, только так, комментируя и оценивая, могла она вынести скуку повседневных дел. Вообразив, что все должно идти как по ниточке, но не имея к этому ни малейшей склонности, она искала и находила эту заветную ниточку в своих разъяснениях. «Организовывать, дети! — твердила она нам. — Организовывать!» Она так упорно повторяла это слово, что оно смешило нас, и мы хором дразнили ее. Она же, очень серьезно относившаяся к проблеме организации, пресекала все насмешки. «Вот когда начнете жить самостоятельно, увидите, что без организации далеко не уедешь». Стояло же за этим лишь то, что все надо делать по порядку, а при ее-то нехитрых делах не было ничего легче и проще. Но слово подбадривало ее, она всегда для всего находила нужное слово, а может, оттого и были те мои годы с ней истинно светлыми, что тогда говорилось обо всем.

На самом же деле она едва могла дожждаться вечера, чтобы, уложив нас спать, сесть, наконец, за книгу. То было время, когда она зачитывалась Стриндбергом. Я, лежа с открытыми глаза-

ми в постели, смотрел на полоску света под дверью в гостиную. Там, подобрав под себя ноги, положив локти на стол и подперев правой рукой щеку, сидела она, а перед ней — высокая стопка желтых томов Стриндберга. В день рождения и на рождество к ним прибавлялось еще по книге от нас, как ей того хотелось. Меня охватывало при этом радостное возбуждение, в основном из-за того, что мне нельзя было читать эти книги. Я никогда не пытался заглянуть в них, я любил этот запрет, им объяснял излучаемое желтыми томами свечение, и не было в мире силы, способной сделать меня более счастливым, чем возможность вручить ей очередной желтый том, из которого я знал только одно название. После ужина, когда стол был прибран, а младшие братья уложены спать, я приносил ей желтые тома и складывал стопкой на правой стороне стола. Мы еще немного говорили между собой. Но я уже чувствовал ее нетерпение, понимал его, ведь перед глазами — книги, и, чтобы не мучить ее больше, послушно шел спать. Я закрывал за собой дверь в гостиную и, раздеваясь, слышал, как она прохаживается по комнате. Улегшись в постель, я прислушивался, как скрипнет под ней стул, потом я ждал, когда она возьмет книгу в руки, и, убедившись, что том раскрыт, переводил взгляд на полоску света под дверью. Я знал, что теперь она ни за что на свете не встанет с места, зажигал крошечный карманный фонарик и начинал читать под одеялом свою книжку. Это была моя чутко оберегаемая ото всех тайна, точно такая же, как тайна ее книг.

Она читала до глубокой ночи, мне же надо было экономить батарейки фонарика, потому что деньги на них я выкраивал из скромной суммы моих карманных сбережений, большая часть которых упорно копилась на подарок матери. Поэтому я редко читал больше пятнадцати минут. Когда моя тайна все-таки раскрылась, мать учинила большой скандал, потому что обман она переносила тяжелее всего. Конфискованный фонарик мне, правда, удалось заменить. Но в сторожа ко мне для надежности были приставлены младшие братья, а им же просто не терпелось неожиданно стянуть с меня одеяло. Проснувшись и без особого труда рассмотрев из своих постелей, что голова моя спрятана под одеялом, они бесшумно, чаще всего вдвоем подкрадывались ко мне, беззащитному, ведь под одеялом мне ничего не было слышно. Миг — и одеяла нет. Пораженный внезапностью, я едва понимал, как это случилось, а в ушах уже звенел их победный клич. Мать, сердясь на то, что ее отрывают, неохотно поднималась со стула и с самыми обидными, уничижительными словами: «Нет, значит, на свете такого человека, кому я могла бы доверять» — отбирала у меня книгу на неделю.

Наказание было жестоким, ведь речь шла о Диккенсе. Он был из числа тех авторов, которых она рекомендовала мне сама,

и никогда больше я не читал с такой страстью, ни одного писателя. Она начала с «Оливера Твиста» и «Николаса Никльби», последний, где речь шла о тогдашней английской школе, так взял меня за сердце, что расстаться с ним я не мог. Едва закончив, я принимался за него сызнова, и так раза четыре подряд, а то и больше. «Ты же его уже знаешь, — упрекала она. — Разве тебе не хочется что-нибудь другое?» Но чем лучше я его знал, с тем большим удовольствием вновь перечитывал. Она считала это одной из моих ребяческих причуд, укоренившихся еще с тех времен, когда я по сорок раз перечитывал полученные от отца книги, хотя и знал их наизусть. Стараясь отучить меня от дурной привычки, она очень заманчиво описывала другие книги Диккенса, которых он, к ее счастью, написал очень много. «Дэвида Копперфилда», ее любимца и лучшего из всех в литературном отношении, мне предстояло получить в самом конце. Таким способом она разжигала во мне страсть к нему, надеясь этой приманкой отвлечь от зачитывания до дыр других романов. Я разрывался между любовью к моим хорошим знакомцам и любопытством, которое она всячески подогревала. «Не будем больше об этом, — произносила она с неудовольствием, смерив меня невыразимо скучающим взглядом. — Сколько можно об одном и том же! Хочешь, чтобы я опять то же самое сказала? Я не такая, как ты. Давай-ка поговорим о другом!» Для меня попрежнему не было ничего важнее нашего общения и ничего тяжелее отказа обсудить во всех деталях очередную замечательную книжку, поэтому, а также и потому, что я видел, что она действительно не хочет возвращаться к сказанному, а моя настойчивость ее утомляет, я постепенно стал уступать, ограничиваясь двумя прочтениями каждого тома Диккенса. Я испытывал глубокое горе, когда отрывал его от себя, а иногда и сам относил в библиотеку. В Вене мы оставили все: и мебель, и библиотеку, поэтому большую часть книг мать получала в читательском кружке Хоттинген *. Но предвкушение бесед о новых книгах Диккенса было сильнее; таким образом, ради всех этих прелестей исключительно из-за матери я лишился самого лучшего своего качества — настойчивости.

Временами она высказывала беспокойство по поводу той страстности, которую во мне угадывала, и пыталась отвлечь от Диккенса другими писателями. Ее самым большим просчетом стал Вальтер Скотт. То ли она вначале недостаточно тепло отзывалась о нем, то ли он и в самом деле такой книжный, как мне показался, но только я не то чтобы перечитывать, а после двух-трех романов вообще отказался брать его в руки, причем так ярко протестовал, что в итоге определенность моих вкусов пришлось ей по душе, и она наградила меня самой высокой похвалой, на которую только была способна: «Ты все-таки мой сын. Я его то-

же никогда не выносила, но подумала, ведь ты же так интересуешься историей». «Историей?! — воскликнул я возмущенно. — Какая же это история? Одни тупые рыцари со своими доспехами!» Так, к нашей обоюдной радости, закончилось короткое Скотт-интермеццо.

Во всем, что касалось моего духовного воспитания, она обычно полагалась только на себя, но однажды чей-то совет все-таки возымел действие. Может быть, ей намекнули в школе, куда она, как все родители, время от времени заглядывала, а может, ее встревожил очередной доклад, великое множество которых она тогда прослушала. Во всяком случае, в один прекрасный день она заявила: мне нужно знать, что читают ребята в моем возрасте, иначе как же я найду с ними общий язык. И подписалась на «Хорошего друга» *. Сейчас мне кажется просто невероятным, что я тогда мог читать его в охотку, одновременно с Диккенсом! Попадались там, правда, и занятные вещицы, например «Золото реки Сакраменто», о приключениях швейцарского старателя Зуттера в Калифорнии *, но самым увлекательным был рассказ о Сеяне, фаворите тирана Тиберия * — моя первая настоящая встреча с позднеримской историей. Этот тиран, презираемый мной как фигура власти, продолжил во мне что-то, начавшееся пять лет тому назад в Англии с истории Наполеона.

Круг чтения матери не замыкался только на Стриндберге, хотя тогда этот автор занимал ее больше всего. Особую группу составляли антивоенные книги, появлявшиеся в издательстве Рашера. «Люди на войне» Лацко *, «Человек добр» Леонгарда Франка *, «Огонь» Барбюса — об этих трех она говорила чаще всего и хотела бы, как и Стриндберга, получить в подарок. Наших скромных сбережений едва ли бы хватило на это, хотя почти все свои карманные деньги мы откладывали на подарок. Кроме того, каждый день мне дополнительно выдавалось еще несколько раппов на покупку у швейцара пончика на школьный завтрак. Как бы мне ни хотелось есть, экономить и эти деньги, чтобы хватило на новую книгу матери, было куда интереснее. Начиналось с того, что я шел к Рашеру справиться о цене. Мне доставляло удовольствие уже само посещение этого всегда многолюдного книжного магазина на набережной Лиммата, где я мог поговорить с людьми, проявлявшими интерес к нашим будущим подаркам, а самое главное, окинуть взглядом все те книги, которые мне предстояло прочесть. Приятно было не столько оттого, что среди взрослых я и сам чувствовал себя старше и значительнее, сколько от предвкушения встречи с книгами, источник которых не иссякнет никогда. Ведь если я в то время и испытывал нечто вроде тревоги за будущее, то касалась она исключительно книжных запасов планеты. Что будет, если я все прочту? Да, я с радостью перечитывал то, что любил, но эта радость покоилась

на уверенности в том, что еще больше книг ждет меня впереди. Узнав цену, я принимался за подсчеты, сколько раз надо сэкономить на школьных завтраках, чтобы хватило на книгу. В ответе всегда получалось несколько месяцев, за которые денежка к денежке и набиралась нужная сумма. Эта цель перевешивала искушение купить, как другие ребята, пончик и съесть его на виду у всех. Я даже любил встать неподалеку от кого-нибудь, поглощавшего свой пончик, и с наслаждением, по-другому и не скажешь, представить себе изумление матери, когда мы ей вручаем подарок.

Она всегда изумлялась, несмотря на то, что это повторялось много раз. И никогда не догадывалась, что это будет за книга. Хотя стоило ей послать меня в читательский кружок Хоттингена за очередной книгой, которая была нарасхват, поскольку о ней только и говорили, стоило ей с нетерпением повторить заказ, и я уже знал, что будет моим следующим подарком, и соответственно выстраивал приоритеты своей «политики». В план моих действий входили также и обманные маневры. Я продолжал справляться в читательском кружке, возвращался с разочарованной миной и говорил: «Лацко опять на руках». Разочарование нарастало и накануне дня сюрприза могло дойти до того, что я с досадой топал ногой и предлагал матери в знак протеста покинуть читательский кружок Хоттингена. «Это ничего не изменит, — говорила она в раздумье. — Тогда мы вообще останемся без книг». А на следующий день она уже держала в руках новехонький том Лацко; как тут не изумиться. Правда, всякий раз я давал обещания больше этого не делать и отныне завтракать в школе, однако она никогда не грозила оставить меня без денег на пончики. Видимо, это входило в ее политику воспитания моего характера, а книга доставляла ей особую радость также и потому, что требовала от меня ежедневных актов самопожертвования. Сама она любила поесть и знала толк в рафинированных блюдах. За нашим пуританским столом она, ничуть не смущаясь, описывала любимые кушанья и была среди нас единственной, кто тяготился собственным решением приучить нас к скромной пище.

Скорее всего из-за книг подобного рода ее духовные интересы приобрели политический оттенок. «Огонь» Барбюса долго не отпускал ее. Она рассказывала мне об этой книге больше, чем считала нужным. Я атаковал ее просьбами разрешить почитать ее, но она оставалась непреклонна, ограничившись, правда, подробным, но смягченным пересказом содержания. Однако от всех пацифистских кружков она держалась в стороне. И хотя выступление Леонгарда Рагаза * привело ее в такое волнение, что мы полночи не смыкали глаз, сама она не могла преодолеть своего стеснения перед публикой. Она объясняла, что живет то-

лысо для нас троих, но за все то, что ей не удалось свершить — кто же станет слушать женщину в этом мужском мире войн — будем бороться мы, когда вырастем, каждый по-своему, но в духе ее идеалов.

В Цюрихе тогда проводилось много всевозможных вечеров, лекций, встреч, и не только антивоенных. Она стремилась не упустить ничего. У нее не было никого, кто направлял бы ее, духовно она действительно находилась в полном одиночестве, среди редко заходивших к нам знакомых она слыла самой открытой и умной; сейчас я поражаюсь, когда вспоминаю все, за что она бралась по собственному усмотрению. Даже если речь шла о ее самых глубоких убеждениях, она сохраняла способность судить непредвзято. Помню, с каким презрением она высказалась о «Иеремии» Стефана Цвейга *: «Бумага! Одни пустые фразы! Видно, что сам он ничего этого не пережил. Лучше бы Барбюса почитал, чем всякую дребедень сочинять!» Ее преклонение перед *личным опытом* было безмерно. Она бы ни звуком не посмела прилюдно отозваться о войне, о том, какой она была в действительности, так как сама в окопах не сидела; она доходила даже до утверждений, что надо бы и женщин посылать на войну, вот тогда они всерьез будут бороться против нее. Наверное, этот пиетет перед сутью вещей удерживал ее от сближения со своими единомышленниками. Болтовню, в письменном или устном виде, она люто ненавидела и беспощадно била меня по губам, если я позволял себе говорить о чем-нибудь неточно.

В это время, когда я уже стал мыслить самостоятельно, мое восхищение матерью не знало границ. Я сравнивал ее с учителями из нашей кантональной школы, среди которых многие пользовались моим признанием и даже уважением. Только Ойгену Мюллеру был свойствен ее огонь, соединенный с серьезностью, только он, когда говорил, так же неотрывно смотрел перед собой широко раскрытыми глазами на предмет, во власти которого он находился. Я рассказывал ей все, что узнавал на его уроках; это занимало ее, так как о греках она знала только из классических драм. Греческой истории она училась у меня, ничуть не стесняясь своих расспросов. На какое-то время мы менялись ролями. Ведь сама она историю не читала, потому что там слишком много места занимали войны, что не мешало ей, однако, расспрашивать меня, едва сев за стол, о Солоне * и Фемистокле *. Особенно ей нравился Солон за то, что он не захотел венца тирана и отказался от власти. Она удивлялась тому, что о нем нет драм, во всяком случае, она не знала ни одной, где бы о нем говорилось. Однако она считала несправедливым, что у греков почти нет сведений о матерях таких замечательных мужей. Она, не смущаясь, считала своим идеалом мать братьев Гракхов *.

Я без труда могу перечислить все, что ее интересовало, поскольку, что бы то ни было, это как-то отражалось и на мне. Только мне она могла рассказать все до мельчайших подробностей. Только я понимал серьезность ее строгих оценок, потому что знал, какой порыв их вдохновил. Многое она гневно осуждала, но всегда указывая, что следует этому противопоставить, и приводила резкие, но убедительные доводы. Хотя время совместных чтений миновало и драмы, а также их великие исполнители перестали быть основным содержанием мира, им на смену пришло другое, не меньшее «богатство»: чудовищность происходящего, его последствия и истоки. Она была недоверчива по натуре, и у Стриндберга, умнейшего, по ее мнению, человека, находила оправдание своей недоверчивости, с которой свыклась и без которой не могла теперь обойтись. Она ловила себя на том, что заходила подчас слишком далеко, открывая мне вещи, становившиеся источником моего собственного, еще неокрепшего недоверия. Испугавшись и стараясь исправить положение, она рассказывала о каком-нибудь особенно восхитившем ее деянии. Обычно это было нечто связанное с неимоверными трудностями, но великодушные еще не перевелось на свете. Во время таких попыток она была мне ближе всего. Она полагала, что я не понимаю причину перемены тональности. Но во мне уже было многое от нее, и я упражнялся в своей проницательности. Прикинувшись наивным, я внимал благородной истории, которая всегда мне нравилась. Однако я знал, почему она как раз теперь направляла разговор в такое русло, но держал это знание при себе. Так и утаивали мы кое-что друг от друга, но, поскольку было это одно и то же, выходило, что и тайна наша — одна и та же. Неудивительно, что в такие минуты, когда я молча чувствовал себя ей ровней, она была мне особенно дорога. Она была убеждена, что ей вновь удалось скрыть свое недоверие, мне открывалось и то и другое: ее беспощадная резкость и ее великодушные. Что такое «широта», я тогда еще не знал, но я ее «ощущал», я понимал, что можно вместить в себя так много разного и противоречивого, что сосуществует якобы необъединяемое, что можно это чувствовать, не исходя при этом страхом, что это следует называть и учитывать, подлинное величие человеческой натуры — это было то истинное, чему я у нее научился.

Гипноз и ревность

Тяжелораненные

Она часто ходила на концерты. Музыка по-прежнему много значила в ее жизни, хотя сама она после смерти отца редко садилась за рояль, но скорее всего мать стала строже в своих вку-

сах, получив возможность чаще слушать виртуозов-исполнителей, которые жили тогда в Цюрихе. Она, не пропустившая ни одного концерта Бузони *, пришла в некоторое замешательство, узнав, что он живет недалеко от нас. Не сразу поверив в то, что я встречал его на улице, она перестала сомневаться, только услышав от других, что это действительно был он. Отчитав меня за то, что по примеру других мальчишек я называю его «Джоддо-иди-к-папе» вместо Бузони, она пообещала взять меня на один из его концертов при условии, что я перестану дразнить его этим прозвищем. Он ведь самый великий из всех мастеров игры на фортепьяно, которых ей когда-либо доводилось слушать. Просто возмутительно, что после него кто-то еще смеет называть себя пианистом! Она присутствовала и на всех выступлениях квартета Шэше *, названного так по первой скрипке, они приводили ее в непонятное раздражение, причина которого выяснилась, лишь когда она однажды с досадой воскликнула: «Вот таким скрипачом всегда хотел стать твой отец! Он мечтал научиться играть так, чтобы можно было выступать в квартете. На мой вопрос: „Но почему же не в сольном концерте?“ — он, покачив головой, ответил, что никогда не сможет так хорошо играть, ибо знает меру своей одаренности. Вот членом квартета или первой скрипкой в оркестре он смог бы, наверное, стать, не помешай дед его занятиям. А дед был настоящим тираном, деспотом; он вырывал из рук сына скрипку и бил его, едва слышав игру. А однажды в наказание велел старшему сыну связать и запереть его на всю ночь в подвале». Гнев ее распался, и, чтобы смягчить впечатление, она печально добавила: «Вот каким скромным был твой отец!» Кончилось тем, что, заметив мое недоумение — причем тут «скромный», если дед избивал его? — и вместо того, чтобы объяснить его скромность тем, что выше концертмейстера он и не помышлял подняться, она насмешливо обронила: «Но ты-то весь в меня!» Мне это не понравилось, я терпеть не мог ее рассуждений о недостатке честолюбия у отца, как будто хорошим человеком он стал только потому, что у него не хватало честолюбия.

Исполнение «Страстей по Матфею» * привело ее в такое состояние духа, которое запомнилось мне уже хотя бы потому, что несколько дней подряд мы не могли нормально разговаривать. Целую неделю у нее не было сил даже читать. Раскрыв книгу, она не различала ни строчки, поскольку внутри у нее звучал голос Илоны Дуриго *. Однажды ночью она в слезах вошла ко мне в спальню со словами: «С книгами все кончено, никогда больше я не смогу читать». Я принялся ее успокаивать, предложил побыть вместе с ней во время чтения: тогда она не будет слышать голоса. Ведь это происходит из-за того, что она там одна, и я, сидя рядом за столом, могу ведь что-нибудь сказать, и вмиг все

голоса исчезнут. «Но я же *хочу* ее слушать! Как ты не понимаешь! Никого, кроме нее, я не хочу слушать!» Страстность этого порыва и испугала и восхитила меня, я замолчал и в последующие дни только изредка вопросительно поглядывал на нее, она понимающе отвечала со смесью радости и отчаяния: «Все еще слышу ее».

Я так же внимательно следил за ней, как и она за мной; при такой близости отношений приучаешься безошибочно угадывать все совпадающие с твоими движения души. И как бы ни подавляла порой меня ее страстность, фальшивую ноту я различил бы сразу. Право на столь бдительный надзор было завоевано в результате глубокого доверия, а не дерзких посягательств на ее свободу. Едва уловив чужое, незнакомое влияние, я, не колеблясь ни минуты, переходил в наступление. Одно время она посещала лекции Рудольфа Штайнера *. Рассказывая о них, она так сильно менялась, словно передо мной был другой человек. Я не знал, что обратил ее внимание на эти лекции, во всяком случае, не она сама, но, услышав однажды брошенное ею незначай замечание о чем-то «гипнотическом» у Рудольфа Штайнера, тут же атаковал ее вопросами. Поскольку мне ничего не было известно о нем, свое мнение я мог составить только на основе ее наблюдений и вскоре понял, что он заморозил ее обилием цитат из Гёте.

А что здесь может быть для нее новым, спросил я, она же наверняка это уже давно знает, ведь сама говорила, что прочла всего Гёте. «Видишь ли, *всего* его никто не прочел», — призналась она, смутившись. «А из этих вещей я ничего не могу припомнить». Ее неуверенность показалась мне странной, так как я привык к тому, что она помнила каждую строку своих любимых поэтов и была нетерпима к пробелам подобных знаний у других, называя их «пустомелями» и «путаниками», которые морочат голову людям вместо того, чтобы, не лениясь, во всем досконально разобраться. Ее ответ меня не убедил, и я продолжал попытаться: как она считает, надо ли и мне теперь в это верить. Ведь не можем же мы верить в разное! И если нескольких лекций Штайнера оказалось достаточно, чтобы она перешла на его сторону, потому что в нем есть нечто гипнотическое, то и я заставляю себя верить всему, что она говорит, чтобы ничто не могло встать между нами. Вероятно, это прозвучало как угроза, на самом же деле я немного лукавил: мне хотелось установить меру влияния на нее этой новой, совершенно чуждой мне силы, о которой я ранее ничего не слышал и не читал, так внезапно ворвалась она в нашу жизнь; мне почудилось, что теперь из-за нее все между нами изменится. Больше всего я боялся обнаружить ее равнодушие к тому, смогу ли я перейти в новую веру или нет, ведь это означало бы, что я уже совершенно ей безразличен. Но

мои опасения оказались напрасными, потому что ни о какой моей «сопричастности» она и слушать не захотела, возразив немного раздраженно: «Ты еще мал. Не для тебя это. Не нужна тебе такая вера. Впредь и я не скажу о ней ни слова». У меня как раз набралось немного денег, чтобы купить ей очередной том Стриндберга, вместо чего я, не долго думая, приобрел какую-то книгу Рудольфа Штайнера и торжественно преподнес с лицемерными заверениями: «Это же тебя интересует, а запомнить все ты не можешь. Сама говоришь, что такое с наскока не понять, сначала нужно во всем хорошенько разобраться. Теперь, не торопясь, можешь его почитать и лучше подготовиться к лекциям».

Но подарок ей явно не понравился. И зачем я купил эту книгу, спрашивала она то и дело. Она ничуть не уверена, что хочет оставить ее у себя. Может быть, окажется, что это совсем не в ее духе. Она ведь ничего из его произведений не читала. Книги следует приобретать, если абсолютно уверен, что хочешь иметь их в своей библиотеке. Она опасалась, что теперь я сам примусь за чтение Штайнера, а это, по ее мнению, могло бы слишком рано склонить меня в пользу какого-то одного направления. Она остерегалась всего, что не было подкреплено личным опытом, и недоверчиво относилась к слишком поспешным обращениям в новую веру, смеясь над такими людьми: «И этот как травинка на ветру!» Она испытывала неловкость за то, что обмолвилась о «гипнозе», и уверяла, что имела в виду не себя, а других слушателей, показавшихся ей как бы загипнотизированными. Наверное, нам следует вернуться к этим вещам позднее, когда я созрею для более глубокого их понимания. В сущности, и для нее самым важным было то, что мы могли обсуждать между собой вещи без каких-либо их искажений и вывертов, не выдавая за сокровенное то, что еще не стало частью нашей души. Я понял, и не в первый раз, что она уступила моей ревности. У нее-де времени нет на эти лекции, да и начинаются они очень неудобно, она упускает возможность заняться другими, более доступными ее уму делами. Так принесла она в жертву мне Рудольфа Штайнера, о котором больше никогда не упоминала. Я не чувствовал ничего недостойного в этой победе, которую одержал над мыслителем, не опровергнув по причине полного незнания ни одного его тезиса. Я помешал утвердиться его идеям в ее голове, так как считал их чуждыми всему тому, о чем мы говорили друг с другом. Я добивался только одного: оттолкнуть их от нее.

Что же мне думать об этой ревности? Я не могу ее ни оправдать, ни осудить, я могу ее только описать. Она так рано стала частью моего естества, что было бы прегрешением против истины не упомянуть о ней. Она всегда давала о себе знать, едва кто-нибудь становился мне дорог, и лишь немногим не пришлось мучиться от этого. Но особенно пышным цветом она расцвела

в моих отношениях с матерью. Она придавала мне сил в противоборстве с тем, что во всех отношениях превосходило меня: по силе, опыту, знаниям, да и по степени самоотверженности тоже. Я не замечал, насколько своекорыстна моя борьба, а скажи кто-нибудь тогда, что из-за меня мать несчастна, — я бы удивился. Кто же, как не она сама, дал мне право на себя. Одиночество накрепко привязало ее ко мне, потому что вокруг не было равных ей. Повстречай она тогда такого человека, как Бузони, — ничто бы меня не спасло. Я был предан ей безраздельно в ответ на ту щедрость, с которой она раскрывалась мне, делилась со мной всеми важными для себя мыслями, а если что и утаивала из-за моего возраста, то это была лишь мнимая сдержанность. Упорно замалчивала она все эротическое; табу, наложенное на балконе нашей венской квартиры, ничуть не утеряло силу воздействия на меня, словно сам господь объявил его на горе Синай. Не занимало меня это, потому и не расспрашивал, она же, пылко и умно открывая предо мной все тайны мира, от одной оберегала, той, что смутила бы мой дух. Не ведая о том, как нужна людям такая любовь, я и представить не мог, в чем она себе отказывала. Ей было тогда тридцать два года, и она жила одна, а я, исходя из тогдашних своих представлений о жизни, считал это вполне естественным. Порой, когда мы сердили, разочаровывали или приводили ее в растерянность, она говорила, что жертвует своей жизнью, и если мы того не стоим, то она отдаст нас в сильные руки мужчины, который уж покажет, как себя вести. Но я не понимал, да мне просто в голову не приходило, что она имела в виду свое женское одиночество. А жертву я видел в том, что она тратит столько времени на нас вместо того, чтобы *читать и читать* не отрываясь.

За это табу, которое вызывает подчас опасную ответную реакцию, я благодарен ей по сей день. Не скажу, что оно уберегло мою невинность, ибо в своей ревности я был далеко не безгрешен. Но оно сохранило мне свежесть и наивность восприятия всего, что я хотел узнать; я учился самыми разными способами, никогда, однако, не принуждая или обременяя себя, ибо ничто не отвлекало меня, тайно не занимало. Всему, что западало в душу, пускало там глубокие корни, места хватало; у меня никогда не возникало подозрений, будто от меня что-то прячут, напротив, казалось, что все передо мной, только руку протяни. Едва проникнув в меня, оно соотносилось с другим, сплеталось с ним, разрасталось, создавало свою ауру, призывало новое. Свежесть в том и заключалась, что все обретало новую форму, а не просто суммировалось. Наивность состояла, пожалуй, в том, что ничто не забывалось, в отсутствии сна.

Другое благодеяние матери во время нашей жизни в Цюрихе имело еще большие последствия: она избавила меня от *практич-*

ности. При мне никогда не говорили о чем-то, что делалось ради практической пользы. Ни одно дело не затевалось только из-за «выгоды». Все, что предлагалось моему выбору, было равноправно. Я двигался сразу по сотне дорог, избавленный от советов, что какая-то из них удобнее, щедрее и доходнее. Самое главное заключалось в самих вещах, а не в пользе от них. Надо быть точным и основательным, уметь честно, не лукавя, отстаивать свое мнение. Но основательность относилась к изучению самой вещи, а не к извлечению выгоды из нее. Редко говорилось о том, чем станем заниматься, когда вырастем. Все, связанное с профессиями, отступало в тень, открывая возможность выбора любой из них. Успех состоял не в личном продвижении; успех в том, что всем хорошо, а иначе это уже нечто другое. По сей день для меня остается загадкой, как женщина ее происхождения, оценившая, что значит авторитет ее семьи в купеческой среде, и открыто гордившаяся этим, смогла добиться такой свободы и широты взглядов, такого бескорыстия. Думаю, что только потрясения войны и сострадание всем потерявшим на ней своих близких помогли ей преступить свои пределы и стать самым великодушным ко всему думающему, чувствующему и страдающему, причем на первом месте стояло восхищение светоносным, доступным каждому даром мышления.

Лишь однажды я видел, как она потеряла контроль над собой, это произвело на меня сильное впечатление: она, обычно сдержанная, скрывавшая от людей свои чувства, вдруг расплакалась при мне на улице. Мы прогуливались по набережной Лиммата, я хотел показать ей кое-что в витрине у Рашера. Неожиданно впереди появилась группа французских офицеров в яркой униформе. Часть из них с трудом передвигалась, остальные принаравливались к их шагу. Мы задержались, давая им возможность не спеша обогнать нас. «Это — тяжелораненые, — сказала мать. — Они на отдыхе в Швейцарии. Их обменивают на немцев». И вот уже с другой стороны показалась группа немцев, некоторые тоже на костылях, другие — замедлив шаг. Помню, как я похолодел от ужаса. Что сейчас будет? Вдруг они набросятся друг на друга. В своем замешательстве мы не успели отойти в сторону и оказались зажатыми между двумя группами в самой середине. Дело происходило в галерее, места было достаточно, однако мы почти вплотную увидели их лица, когда они, еле передвигаясь, шли друг мимо друга. Вопреки моим ожиданиям ни одно не искажала гримаса ненависти или ярости. Они разглядывали друг друга спокойно и приветливо, словно ничего и не было, некоторые даже брали под козырек. Двигались они очень медленно, и мне показалось, прошла вечность, пока они миновали друг друга. Один из французов еще раз обернулся, поднял костыль и, размахивая им, кри-

кнул вдогонку немцам: «Salut!» Услышав это, какой-то немец тоже поднял свой костыль, взмахнул им и ответил на приветствие по-французски: «Salut!» Глядя со стороны, можно было подумать, что костыли поднимали, угрожая друг другу, на самом деле это было не так: на прощание они показали, что осталось им одно и то же — костыли. Мать поднялась на тротуар и встала у витрины спиной ко мне. Увидев, что она вздрагивает, я подошел поближе и осторожно заглянул ей в лицо — она плакала. Мы сделали вид, что рассматриваем витрину, я не проронил ни слова: когда она успокоилась, мы молча пошли домой. Позже мы никогда не говорили об этой встрече.

Юбилей Готфрида Келлера *

Увлечение литературой сблизило меня с Вальтером Врешнером из параллельного класса. Он был сыном профессора психологии из Бреслау. Выражаясь всегда «образованно», он и в беседах со мной избегал диалекта. Наша дружба началась с разговора о книгах. Однако в своих пристрастиях мы отличались друг от друга как небо от земли: его интересовали только самые современные авторы, те, кто в данный момент занимал умы, а таковым в ту пору был Ведекинд *.

Ведекинд иногда приезжал в Цюрих и выступал в «Шаушпильхаузе» в «Духе земли». Вокруг его имени кипели жаростные споры, возникали партии «за» и «против»; та, что «против», была многочисленнее, зато «за» — интереснее. За отсутствием личных впечатлений я не мог судить о нем самостоятельно, а на точность характеристики из, правда, красочного рассказа видевшей его в спектакле матери (особенно подробно описывалась сцена с бичом) никак нельзя было положиться. Она ожидала нечто в духе Стриндберга и, не отрицая полностью их сходства, считала все же, что Ведекинд похож и на проповедника, и на бульварного журналиста сразу. Поднимая шум, он подогревает интерес к своей персоне. Ему безразлично, чем привлечь к себе внимание, лишь бы заметили. Стриндберг, напротив, всегда строг и сдержан, хотя всех видит насквозь. В нем есть что-то от исцелителя, но не болезней и не тела. Она полагала, я пойму, что имеется в виду, когда позднее сам прочту его. Во всяком случае, о Ведекинде у меня сложилось весьма смутное представление, но мне не хотелось забегать вперед, и, внимая предостережениям сведущего человека, я проявлял редкостное терпение и не подпал под его чары.

Врешнер, напротив, говорил о нем без умолку, даже сочинил драму à la Ведекинд и дал почитать. Стреляли в ней направо

и налево, неожиданно, без видимых причин, а я не понимал — зачем? История показалась мне более странной, чем если бы она происходила на Луне. В это время я обошел все книжные магазины в поисках «Дэвида Копперфилда», который как награда должен был увенчать мое длившееся полтора года увлечение Диккенсом. Вместе со мной ходил и Врешнер. «Дэвид Копперфилд» нам нигде не попадался. Врешнер, которого такая старомодная литература ничуть не привлекала, подшучивал надо мной, утверждая, что если «Дэвидик Копперфилд», как он уменьшительно именовал его, пропал, то это плохой признак, который означает, что он никому не нужен. «Только тебе», — добавлял он иронически.

В конце концов роман я купил, но на немецком и в издании «Реклам» *, а Врешнеру заявил, что Ведекинда (которого знал только в его интерпретации) нахожу глупым.

Однако эта напряженность в наших отношениях была приятна; он внимательно выслушивал то, что я рассказывал о своих книгах, так он узнал во всех подробностях содержание «Копперфилда»; я же в свою очередь был в курсе всех престраннейших событий, происходивших в пьесах Ведекинда. Он не упрекал меня за то, что я всякий раз повторял: «Это невероятно! Этого не может быть». Мое удивление даже доставляло ему удовольствие. Поразительно, однако, что сегодня я не могу припомнить ничего из тех диковинных вещей, которыми он так изумлял меня. Не оставили они во мне следа, словно и не было их вовсе; я не мог соотнести их с чем-нибудь внутри себя, поэтому и считал ерундой.

Но вот однажды высокомерие каждого из нас слилось воедино, и мы как партия двоих противопоставили себя массе. В июне 1919 года отмечался столетний юбилей Готфрида Келлера. Вся наша школа собиралась по этому поводу в кафедральном соборе. Врешнер и я спускались к соборной площади по улице Рэми. О Готфриде Келлере мы ничего не слышали. Родился сто лет назад, писательствовал в Цюрихе — вот и все, что нам было известно. Удивительно, почему торжества решили провести в кафедральном соборе. Никогда такого не бывало. Дома я попытался разузнать о нем, но напрасно: мать и названий-то его книг не слышала. Врешнер тоже ничего не выяснил и лишь обронил: «Он же швейцарец».

У нас было задорное настроение, потому что мы чувствовали свою непричастность, нас ведь интересовала только литература большого мира: меня — английская, его — немецкая. Во время войны мы считали себя чем-то вроде врагов. Я твердо отстаивал 14 пунктов Вильсона *, он же мечтал о победе немцев. Поражение стран Центральной Европы оттолкнуло меня от победителей, уже тогда я начал испытывать неприязнь к ним, а узнав, что

с немцами поступили не так, как заверял Вильсон, принял их сторону.

Итак, в тот момент между нами стоял только Ведекинд, но, несмотря на то что мне он был совершенно чужд, слава его ни на минуту не казалась мне незаслуженной. Кафедральный собор заполнился до отказа. Отзвучала музыка, и настало время для большой речи. Не помню уже, кто ее произносил, по всей вероятности, один из профессоров нашей школы, но у нас в классе не преподававший. Мне запомнилось только, как стремительно взвинчивал он оценку творчества Готфрида Келлера. Врешнер и я украдкой обменивались ироническими взглядами. Мы мнили себя знатоками поэзии, и если не знали какого-нибудь поэта, то, следовательно, таковым он и не был. А докладчик продолжал превозносить Келлера; но, когда он заговорил о нем так, как я привык слышать только о Шекспире, Гёте, Викторе Гюго, о Диккенсе, Толстом и Стриндберге, меня охватил неизъяснимый ужас, словно попирали самое святое на земле — славу поэта. Я так вознегодовал, что хотел было громко высказать свой протест. Но почувствовал вокруг себя благоговейный трепет массы, вызванный скорее всего церковной атмосферой, так как отлично понимал, что многим моим товарищам Готфрид Келлер так же безразличен, как и вообще все поэты, особенно те, которые изучались в школе. Благоговение ощущалось в почтительном молчании, с которым все не шелохнувшись внимали происходящему, моя же робость, а быть может, и воспитание не позволяли буянить в церкви; гнев улегся и перерос в страстное желание дать обет не менее торжественный, чем вызвавшие его обстоятельства. Выйдя из церкви, я тотчас и весьма серьезно обратился к Врешнеру, который уже готов был свести все к привычным насмешкам: «Мы должны поклясться, мы оба должны поклясться, что никогда не позволим себе опуститься до „местных знаменитостей"». Он заметил, что мне не до шуток, и дал вслед за мной клятву, хотя сомневаюсь, что от чистого сердца, потому что считал Диккенса, которого не читал так же, как и я Келлера, моей «местной знаменитостью».

Возможно, что в этой речи действительно было много пустых фраз, это я уже тогда угадывал безошибочно, но все же я был потрясен до самого основания своих наивных взглядов тем, что на такой высокий пьедестал возносили писателя, о котором не слышала даже моя мать. Мой рассказ озадачил ее, и она заключила: «Не знаю, право. Надо мне, наконец, почитать что-нибудь из него».

Зайдя вскоре после этого в читательский кружок Хоттингена, я, слегка перепутав название, спросил, правда в последнюю очередь, «Людей из Зельдвилы». Выдававшая книги девушка улыбнулась, а пришедший за своим заказом господин поправил

меня как недоучку какого-нибудь, не хватало еще, чтобы он спросил: «А читать-то ты умеешь?» Я устыдился и впредь в отношении Келлера всегда проявлял сдержанность. Но тогда я и представить себе не мог, с каким восторгом прочту однажды «Зеленого Генриха», а когда в Вене мною, студентом, целиком и полностью завладел Гоголь, я только одну-единственную новеллу, «Трех праведных гребенщиков» *, из всей известной мне немецкой литературы считал достойной встать с ним в один ряд. Если бы мне посчастливилось дожить до 2019 года и удостоиться чести произнести речь в кафедральном соборе по случаю двухсотлетнего юбилея Келлера, я воспел бы его в таких гимнах, которые пробили бы броню высокомерия даже четырнадцатилетних юнцов.

1977

ФАКЕЛ В УХЕ

В толчее знаменитостей

Берлин 1928

Братья

У Виланда Херцфельде была квартира в мансарде дома на Курфюрстендамм, 76. Дом стоял на бойком месте, но на самой верхотуре было тихо, шум сюда почти не долетал. Этим летом Херцфельде жил с семьей за городом, в Николасзее, одну часть городской квартиры он сдавал внаем, а другую предоставил мне для работы. Мне досталась маленькая спальенка и рядом с ней рабочий кабинет, в котором стоял великолепный круглый стол. На нем в полнейшем беспорядке валялось все то, что нужно было для работы. Главное, здесь мне никто не мешал. Я мог не ходить в издательство, где было многолюдно и шумно. По дороге из издательства Херцфельде забегал ко мне на часок-другой, чтобы поговорить о своих планах. Он носился с мыслью написать биографию Эптона Синклера, которому скоро исполнялось пятьдесят лет. Издательство «Малик» прославилось публикацией рисунков Георга Гросса. Но оно интересовалось и русской литературой, причем не только новейшей. Наряду с полным собранием сочинений Горького здесь увидело свет такое же собрание сочинений Толстого, но в первую очередь все же издавались писатели, которые добились известности после революции *. Мне ближе других был Исаак Бабель, которым я восхищался ничуть не меньше, чем Георгом Гроссом.

У издательства «Малик», таким образом, было не только доброе имя, но и коммерческий успех, которым оно было обяза-

но своему ведущему автору Эптону Синклеру. Заклеймив рядки на чикагских скотобойнях *, он стал одним из самых читаемых писателей Америки. Писал он очень много и старательно выискивал все новые и новые объекты, чтобы пригвоздить их своим пером к позорному столбу. Достойных обличения объектов было более чем достаточно, прилежания и мужества Синклеру тоже было не занимать, поэтому каждый год он издавал по книге, одну толще другой. О Синклере говорили с уважением, особенно в Европе. К пятидесяти годам он написал уже столько книг, что иному писателю хватило бы на целую жизнь. Выяснилось к тому же, что его чикагский роман помог улучшить условия труда на бойнях. Крайне важным для его репутации было то, что современная американская литература, которой предстояло завоевать мир, только-только зарождалась. Слава Эптона Синклера была славой «специфической», поскольку была связана с американской «спецификой»; свою роль сыграло и то, что именно он, настоящий «muck-raker»¹ Америки, почтивший своим вниманием сатирика почти все, что того заслуживало, внес огромный вклад в распространение интереса к своей стране и даже к возникновению моды на все американское, которая тогда свирепствовала в Берлине и которой отдали дань Брехт, Георг Грос и другие. Влияние Дос Пассоса, Хемингуэя, Фолкнера, писателей несравненно более высокого ранга, проявилось значительно позднее.

Тогда, летом 1928 года, Виланда Херцфельде вряд ли можно было упрекать за то, что он принимал всерьез Эптона Синклера и даже хотел написать его биографию. Будучи крайне занят издательскими делами, он нуждался в помощнике для этой работы и по рекомендации Ибби * пригласил меня на летние месяцы к себе в Берлин.

И вот я в Берлине, где шагу нельзя ступить, чтобы не натолкнуться на знаменитость. Виланд знал всех и тут же знакомил меня со всеми. Я пока был никто и отдавал себе в этом отчет, я еще ничего не совершил и в свои двадцать три года не имел за душой ничего, кроме уверенности в своих силах. Меня поразило, как здесь ко мне отнеслись: не с пренебрежением, а с любопытством. Никому и в голову не приходило меня осуждать. Сам я, много лет находившийся под влиянием Карла Крауса, был полон презрения ко всему, что несло на себе печать себялюбия, алчности и легкомыслия. Все это я начисто отметал. Я знал, что нужно осуждать, этому научил меня Краус. Я даже не имел права приглядываться к тому, что было достойно порицания, об этом заранее побеспокоился и вынес свое решение Краус. Духовная жизнь в Вене отличалась *стерильностью*, особой гигиеной,

¹ «Разгребатель грязи» (англ.).

не допускавшей влияний извне. Едва в нее проникало что-то новое, едва об этом становилось известно из газет, как тут же это новое объявлялось вне закона и всякие контакты с ним запрещались.

И вдруг совершенно иная атмосфера в Берлине, где непрерывные контакты самого разного свойства заполнили мою жизнь до отказа. Видимо, такого рода любознательность подспудно жила во мне, соответствовала моей натуре, я отдался ей всей душой, без раздумий и колебаний. И как когда-то, приехав в Вену, я оказался во власти тиранов, очень мило оберегавших меня от всяческих соблазнов, так и в Берлине я, совершенно беззащитный, был брошен на несколько недель в это скопище пороков. Правда, я был не один, у меня были два проводника, очень разных и потому опекавших меня с разных сторон: Ибби и Виланд.

Виланд жил здесь давно и знал всех. В Берлине он оказался еще до войны, семнадцатилетним юношей, и добился дружбы Эльзы Ласкер-Шюлер *. Благодаря ей он познакомился с очень многими писателями и художниками, особенно с теми, кто имел отношение к журналу «Штурм» *. Более того, именно ей он обязан названием издательства, которое он, тогда 21-летний юноша, основал вместе с Гроссом и своим братом. Не один я считаю, что экзотическое название «Малик» способствовало популярности издательства. Ко всеобщему удивлению, Виланд оказался неплохим организатором. Его деловые качества настолько не соответствовали мальчишеской свежести его внешнего облика, что казались просто невероятными. По своему характеру он не был склонен к авантюрам, но многих привлекал к себе жадной приключений, которую ему приписывали. Он быстро, как ребенок, сходилась с людьми и так же легко расходился, избегая глубоких привязанностей. У меня никогда не возникало чувства, что кому-то он предан всей душой. Казалось, в любой момент он может прервать разговор и уйти. Его считали человеком без привязанностей и задавались вопросом, откуда он черпает свои силы. Он был горяч, непостоянен и подвижен, его не отягощали ненужные знания, он с недоверием относился к образованию, полученному обычным путем, информация накапливалась в нем не благодаря прилежному чтению, а благодаря отличному нюху; когда нужно было что-либо выяснить, он действовал на удивление точно и был по-стариковски упрям. Оба этих качества — мальчишеская непосредственность и стариковская опытность — удачно в нем уживались и проявлялись поочередно там, где они более всего были к месту.

Был человек, который значил для него больше, нежели просто родственник. Их связывали родственные узы, которые они, похоже, ни от кого не скрывали, но которые мало кто замечал. Они настолько отличались друг от друга, будто появились на

свет на разных планетах. Этим человеком был Джон Хартфилд *, брат Виланда, на пять лет старше его. Виланду нравилось быть мягким, растроганным, он мог даже показаться человеком сентиментальным, каким был далеко не всегда. Ему были свойственны, причем органически, разные душевные состояния, но состояние растроганности посещало его чаще и задерживалось дольше. Хартфилд же действовал всегда стремительно и реагировал настолько спонтанно, что это утомляло его самого. Он был тощ и мал ростом, но если его что-то задевало, он вдруг подпрыгивал и как бы вытягивался вверх. Говорил он отрывисто, будто наскакивал на собеседника, а потом сердито, по-осиному, гудел, забегая то с одной, то с другой стороны. Впервые я столкнулся с этим его свойством прямо на Курфюрстендамм: ни о чем не подозревая, я шел между ним и Виландом и что-то рассказывал одному из них о термитах. «Они слепые, — объяснял я, — и могут передвигаться только в подземных переходах». Тут Джон Хартфилд вдруг ни с того ни с сего подпрыгнул и зашипел на меня, будто это я был виноват, что термиты слепые, и упрекал их за это: «Ну ты, термит! Сам ты термит!» Я тогда испугался и подумал, что чем-то обидел его, хотя и не мог понять чем, ведь я не обзывал его «термитом». Только спустя какое-то время я понял, что таким образом он реагирует на все новое. Так он учился, так, агрессивными наскоками, вбирал в себя знания. В этом, на мой взгляд, секрет его фотомонтажей. Он сопоставлял и сталкивал то, что поражало его, заставляя подпрыгивать от удивления, напряжение этих прыжков чувствуется в его графических работах.

Джон, по-моему, был самым опрометчивым человеком на свете. Он весь был соткан из резких, неожиданных порывов. Задумывался он только тогда, когда работал над своими монтажами. А поскольку, в отличие от многих, он не был все время погружен в расчеты, непосредственность и горячность не покидали его. В его выпадах были вспышки гнева, но гнева отнюдь не эгоистического. Он усваивал только то, что воспринимал как посягательство на себя, и чтобы узнать что-то новое, он был вынужден от него защищаться. Другие пропускают это новое мимо ушей или глотают его, как сладкий сироп. Джону же приходилось набрасываться на него, чтобы удержать в памяти и сохранить остроту восприятия.

Только со временем я понял, до какой степени братья нуждались друг в друге. Виланд никогда не критиковал Джона. Он не пытался оправдать его необычное поведение, объяснить его, а принимал как должное. Лишь когда он рассказал мне о своем детстве, я понял, что лежало в основе этой привязанности. Их было четверо сирот, два брата и две сестры, когда они оказались в доме приемных родителей, живших в Айгене, близ Зальцбург-

га. Виланду с приемными родителями повезло, а старшему, Гельмуту (так звали Джона до того, как он взял себе английское имя), пришлось труднее. Они никогда не забывали о своем сиротстве и крепко держались друг за друга. Сила Виланда была в привязанности к старшему брату. Вместе они обосновались в Берлине. Протестуя против войны, Гельмут официально поменял имя и фамилию и стал Джоном Хартфилдом. Война еще не кончилась, и этот шаг требовал мужества. Георг Грос, с которым их свела судьба, стал им близким другом. Вполне естественно, что когда было основано издательство «Малик», Джон Хартфилд стал делать эскизы обложек. Братья жили порознь, своими семьями, но всегда держались вместе. В бурной, необыкновенно насыщенной берлинской жизни они были неразлучны.

Брехт

Первое, что бросилось мне в глаза при виде Брехта, была его страсть к маскировке. Меня повели в ресторан Шлихтера, где вращался весь интеллектуальный Берлин. Здесь бывало великое множество актеров, на них то и дело указывали, их тут же узнавали, благодаря иллюстрированным журналам они были как бы частью общественной жизни. Надо сказать, в том, как они себя вели, как здоровались, делали заказы, как ели, пили и расплачивались, было все же не очень много театральности. Картина была пестрая, но это была другая пестрота, не театральная. Единственный из всех, кто *обращал на себя внимание* своей маскировкой под пролетария, был Брехт. Он выглядел очень тощим, голодное лицо из-за кепи казалось слегка скошенным набок, говорил он отрывисто и нескладно. Под его взглядом я почувствовал себя ненужной вещью, принесенной в ломбард, а в нем увидел оценщика, прикидывающего своими колючими черными глазками, кто чего стоит. Брехт говорил мало, узнать что-либо о результатах оценки было невозможно. Казалось невероятным, что ему только тридцать лет, он выглядел не так, как выглядят рано состарившиеся люди, а так, будто он всегда был стариком.

В те недели меня не оставляла мысль о старом оценщике из ломбарда. Она преследовала меня хотя бы уже из-за своей явной нелепости. Мысль эта подкреплялась еще и тем, что Брехт ничего так не ценил, как полезность, и всеми способами давал понять, до какой степени он презирует «высокие» убеждения. Под полезностью он понимал нечто практическое, прочное, нечто англосаксонское, в духе американского прагматизма. Культ Америки пустил в то время глубокие корни, особенно в среде левой интеллигенции. По количеству световой рекламы и автомобилей Берлин напоминал Нью-Йорк. Больше всего на свете

Брехт любил свой автомобиль. В том, как воспринимались книги Эптона Синклера, вскрывавшие социальные пороки, была известная двойственность. С одной стороны, здесь с пониманием относились к общественной позиции, с которой подвергались бичеванию указанные пороки, с другой — впитывали в себя тот самый американский образ жизни, из которого эти пороки вырастали, и связывали свои надежды с ростом и укреплением американизма. Так случилось, что Чаплин в то время работал в Голливуде, и его успехам, даже в атмосфере той поры, можно было со спокойной совестью аплодировать.

К противоречиям внешнего облика Брехта относилось и то, что в его фигуре было что-то аскетическое. Могло показаться, что он не голодал, а постился, намеренно воздерживаясь от того, что было предметом его вожделения. Он не был сибаритом, не воздавал должное мгновению и не растягивал удовольствие от него. Что бы он ни брал (а брал он справа и слева, спереди и сзади все, что могло ему пригодиться), он тут же пускал в дело, использовал как сырье. Процесс производства не прекращался в нем ни на минуту. Он постоянно что-то фабриковал, это было главное, что составляло смысл его жизни.

Мои тирады раздражали Брехта, особенно когда я начинал твердить, что писать нужно по убеждению, а не из-за денег; в тогдашнем Берлине такое воспринималось почти как курьез. Брехт прекрасно знал, чего хотел, он в такой мере был под властью своих идей, что ему было все равно, получал он за них деньги или нет. Наоборот, после периода материальных затруднений деньги, которые он получал, воспринимались как символ успеха. Он умел ценить деньги, для него было важно, *кто* их получил, а не откуда они взялись. Он был уверен, что ничто не сможет совлечь его с избранного пути. Кто помогал ему на этом пути, тот ходил в его друзьях. От других он безжалостно отрезался. Берлин кишел меценатами, они были неременной частью декораций. Брехт использовал их, стараясь не попадать к ним в зависимость.

Тирады, с которыми я на него обрушивался, не могли поколебать его убеждений. Я почти никогда не видел его одного. С ним всегда была Ибби, он, в соответствии со своей натурой, считал ее шутки циничными. Он заметил, что Ибби относится ко мне с уважением и в наших спорах с ним никогда не встает на его сторону; если она о чем-нибудь спрашивала меня в его присутствии, он старался меня припугнуть или осыпал градом насмешек. Если же Брехт ошибался иногда в какой-либо мелочи, она не позволяла сбить себя с толку и принимала мою поправку, принимала без колебаний, не моргнув глазом, но и не опускаясь до насмешливых замечаний по адресу Брехта. В его присутствии она никогда над ним не подтрунивала, из этого он делал

вывод, что общение с ним ей приятно. Она тоже, на свой лад, поддалась влиянию окружавшей его навязчивой атмосферы авангардизма.

Брехт был невысокого мнения о людях, но относился к ним снисходительно, а ценил только тех, в ком испытывал нужду. На всех остальных он обращал внимание лишь постольку, поскольку они разделяли его несколько монотонное представление о мире. Оно, это представление, все больше и больше определяло характер его драматургии, в то время как в поэзии он начал писать живее и непосредственнее других своих современников и позже — об этом будет сказано в другом месте — пришел благодаря китайцам к собственному пониманию мудрости.

Как это ни странно звучит, но ему я обязан очень многим, несмотря на неприязнь, которую я к нему испытывал. В то самое время, когда почти ежедневно между нами возникали короткие стычки, я читал «Домашние проповеди». Я был увлечен этими стихами и читал их запоем, не думая об авторе. Среди них попадались вещи, которые потрясали меня до глубины души, — «Легенда о мертвом солдате», «Против соблазна», но и другие: «Воспоминание о Марии А.», «О бедном Б. Б.». Многое, почти все поражало меня. Почти все, написанное мной самим, рассыпалось в прах. Мало сказать, что я стыдился своих стихов, они для меня просто больше не существовали, от них не осталось ровным счетом ничего, даже чувства стыда за них во мне не осталось.

Уже года три мое чувство собственного достоинства поддерживалось стихами, которые я писал. Я не показывал их никому, кроме Вецы, ей, однако, я показывал почти все. Ее одобрение я принимал всерьез, ее мнению доверял. Некоторые стихотворения так переполняли меня, что я казался себе беспредельным — как космос. Я писал самые разные вещи, не одни стихи, но настоящему ценил только их, да еще замысел книги о массе. Но это был только замысел, работа над ним могла затянуться на годы, во всяком случае, пока я не написал еще ничего, кроме нескольких предварительных заметок и набросков да того, что я изучал в связи с предстоящей работой. Но изученное принадлежало не мне, моим собственным мыслям еще только предстояло родиться. Своими я считал несколько законченных вещей, коротких и длинных стихотворений, но теперь все это было разрушено одним ударом. Мне не было жаль того, что я написал, я без сожаления вымел сор и пыль, но я и не восторгался человеком, писавшим настоящие стихи, все в нем меня отталкивало — от пристрастия к маскараду до нескладного языка. Однако его стихами я восхищался, я любил их.

Моя антипатия к его личности была так сильна, что при встречах я даже не упоминал о его стихах. Когда я видел его,

особенно когда слышал то, что он говорил, меня всякий раз охватывало бешенство. Я скрывал свои чувства — и бешенство, и восхищение «Домашними проповедями». Едва он изрекал очередную циничную фразу, как я раздражался строгой, высококонравственной сентенцией. Однажды я заявил — в тогдашнем Берлине это, должно быть, прозвучало забавно, — что поэт, прежде чем создать что-либо, должен *уединиться*. Ему нужно жить и в мире, и *вне* мира, в резком контрасте с ним. Брехт отвечал, что у него всегда стоит телефон на столе, и чем чаще он звонит, тем лучше ему пишется, что на стене перед ним висит большая карта мира и он поглядывает на нее, чтобы не терять связи с миром. Я не сдавался и настаивал на своем, хотя и был раздавлен сознанием ненужности и убожества собственных стихов. Я перечил человеку, который писал стихи лучше меня. Мораль — это одно, а польза — нечто совсем другое, твердил я. В присутствии человека, который придавал значение только пользе, я превыше всего ставил мораль. Я возмущался рекламой, которая буквально наводняла Берлин. Ему она не помеха, отвечал Брехт, напротив, у рекламы есть свои хорошие стороны. Он, например, написал стихотворение об автомобиле марки «Штейр» и за это получил машину. Его слова звучали для меня кощунственно. Своим признанием, в котором слышались нотки хвастовства, он сокрушил меня, заставил замолчать. Едва мы с ним расстались, Ибби сказала как ни в чем не бывало: «Он обожает водить машину». Я был разъярен до предела, Брехт в моих глазах был убийцей. В моей душе звучат строки «Легенды о мертвом солдате», а их автор участвует в конкурсе на лучшую рекламу автомобиля марки «Штейр»! «Сейчас он дает автомобилю ласковые клички и говорит о нем так, как говорят о возлюбленной, — добавила Ибби. — Так почему бы ему не сказать о нем лестные слова *раньше*, ради того, чтобы стать его владельцем?»

Ибби нравилась ему, он ценил ее манеру держаться, остроумную, лишенную даже намека на сентиментальность и никак не ввязавшуюся с ее видом цветущей деревенской девушки. Ему нравилось в ней и отсутствие претенциозности, желания перешеголять кого-то. В Берлине она появилась внезапно, как Помона *, и в любой момент могла снова исчезнуть. Я — иное дело, я прибыл из Вены, полный высоких притязаний на чистоту и строгость, предписанных мне Карлом Краусом, которому я после его плаката к 15 июля прошлого года был как никогда предан душой и телом. К тому же его возвышенные идеи я не хранил про себя, меня так и *подмывало* поделиться ими с окружающими. Не прошло еще и двух-трех лет с тех пор, как я бежал от домашних разговоров о деньгах, во мне еще не заглохло отвращение к ним, поэтому при каждой встрече с Брехтом я не упускал возможности выразить свое презрение к деньгам. Я был

обязан высоко нести знамя и не поступаться своими убеждениями: писать надо не для газет и не ради денег, за каждым написанным словом должна стоять личность художника. Это раздражало Брехта по двум причинам. Во-первых, я еще ничего не опубликовал, он обо мне ничего не слышал, для него, ценившего реальность, за моими словами не стояло ровным счетом ничего. Во-вторых, я еще ничего не отверг, потому что и отвергать-то было нечего: ни одна газета пока не предлагала мне писать для нее, и мне не доводилось никому отказывать. «Я пишу только за деньги, — сухо и неприязненно сказал Брехт. — Я написал стихотворение об автомобиле марки „Штейр" и за это получил автомобиль марки „Штейр"».

Опять он заговорил об этом, он часто с гордостью упоминал об автомобиле, на котором разъезжал, проверяя его на прочность. После аварии, приключившейся с ним, он благодаря трюку с рекламным стихотворением сумел получить у фирмы новую машину.

Однако мое положение было еще сложнее, чем может показаться из сказанного выше, ибо человек, который воплощал в себе мою веру и мои принципы, которого я почитал больше всех людей на свете, без ярости и страстности которого я не мыслил своей жизни, к которому я ни разу не осмелился приблизиться (не считая того единственного случая, когда после 15 июля я послал ему благоговейное письмо, не просьбу, а благодарственную молитву, даже не зная, услышана ли она им), — этот человек, Карл Краус, находился как раз в Берлине и был в дружеских отношениях с Брехтом, с которым часто встречался. Благодаря Брехту я и познакомился с Краусом, спустя несколько недель после премьеры «Трехгрошовой оперы». Я не заговаривал с ним, боясь дать ему понять, как много он для меня значит. С весны 1924 года, когда я приехал в Вену, я не пропустил ни одной его публичной лекции. Но он обо мне не знал, и даже когда Брехт, который наверняка догадывался, что со мной происходит, обронил однажды шутовское замечание на этот счет (в чем я, однако, не совсем уверен), Краус сделал вид, что это его не касается. На мое восторженное изъяснение благодарности по поводу его плаката в связи с событиями 15 июля он тогда не обратил внимания, мое имя ничего ему не говорило, он, надо полагать, получал и, не читая, откладывал в сторону бесчисленное множество писем, подобных моему.

Я предпочитал, чтобы он ничего обо мне не узнал. Поэтому я помалкивал, сидя за столом рядом с Ибби. Меня угнетала мысль, что я сижу за одним столом с божеством. На душе у меня было беспокойно, будто я пробрался сюда без разрешения. Он был совсем другим, не таким, каким я его знал по лекциям. Он не метал громы и молнии и никого не проклинал. Из всех, сидев-

ших за столом, — а было там человек десять-двенадцать — он был самый вежливый. С каждым он был необычайно внимателен и заботлив, будто хотел уверить в своем особом расположении. Никто не чувствовал себя обойденным его вниманием, он не утратил ни капли того всеведения, которое в нем предполагали. Но он нарочито отступал в тень, миролюбиво прятался за спины других, чтобы быть равным среди равных и не задевать ничьих самолюбий. Он улыбался с такой непринужденностью, что мне казалось, будто он притворяется. Я видел его в бесчисленных ролях и знал, как он умеет притворяться, но его теперешняя роль была для меня совершенно неожиданна, и он выдерживал ее час и более. Я ждал от него чего-то неожиданного, чрезмерного, а он рассыпался в любезностях, был нежен с каждым из сидящих за столом, но к Брехту относился с любовью, как к сыну, юный гений был его *избранником*.

Разговор вертелся вокруг «Трехгрошовой оперы», которая так еще не называлась, ее заглавие только обсуждалось в этом кругу. Предложения сыпались одно за другим, Брехт выслушивал их спокойно, будто речь шла вовсе не о его пьесе, и по его виду нельзя было сказать, что именно ему принадлежит последнее слово. Предложений было так много, что я уже не помню, что от кого исходило. Был свой вариант и у Карла Крауса, он представил его на общий суд без тени сомнения, вопросительным тоном, будто сомневаясь в том, что предлагал. Его заглавие тут же было вытеснено другим, более удачным, которое, однако, тоже не удержалось. Не знаю, от кого исходило окончательное название, его предложил сам Брехт, но вполне могло быть, что он услышал его от кого-то, кого сейчас не было за столом, и хотел узнать мнение присутствующих. Его свобода относительно границ и права собственности в вопросах творчества была поразительной.

Ессе Номо *

«Сейчас мы пойдем к Гросу», — сказал Виланд. Мне не верилось, что можно вот так запросто взять да и пойти к художнику. Виланд хотел прихватить у него кое-что для издательства, но еще больше ему хотелось поразить меня, он давно заметил, что в Берлине есть человек, с которым я горел желанием познакомиться. Ему доставляло удовольствие знакомить меня со всем, что было примечательным в этом городе. Моя неопытность была ему по душе. Я напоминал ему его самого в пору первого появления в Берлине. Он не был властолюбив, как Брехт, всегда окруженный поклонниками. Брехту нравилось выглядеть таким прожженным плутом, он, похоже, с ранних лет стремился к этому.

Лишь бы не казаться молодым, лишь бы выглядеть старше своего возраста. К неопытности он относился с презрением, невинность ненавидел, ставил ее наравне с глупостью. Он не хотел стать чьей-либо жертвой, и даже тогдаставлял напоказ свою раннюю зрелость, когда в ней никто не сомневался. Он напоминал школьника, который впервые в жизни закурил сигарету и собрал вокруг себя товарищей, чтобы подбить их на то же самое. Виланд же был влюблен в невинную пору своего детства, она сделалась ему идиллией. Ему удалось утвердить себя в циничном Берлине. Беззащитным он не был, в его распоряжении были все необходимые приемы самообороны, он доказал свою способность к так называемой борьбе за выживание, для которой нужны твердость и в еще большей мере хладнокровие. Но утвердить свое достоинство он мог только в одном случае: если цепко держался за образ невинного мальчика-сироты, каким он когда-то был. В своих воспоминаниях он все еще оставался мальчишкой. Иногда мы вместо работы отводили душу в таких разговорах. Несмотря на всю нашу занятость — а человек в Берлине всегда занят чрезвычайно, — мы, сидя за круглым столом в чердачной комнатке, забывали о предмете наших занятий, Эптоне Синклере, и говорили о юности Виланда. Ему и сейчас было только тридцать два года, но нынешнего Виланда от Виланда пятнадцатилетней давности отделяло огромное расстояние.

Он показывал мне все, в первую очередь людей, которых можно было увидеть в Берлине, с такой непосредственностью, будто он сам только что оказался в этом городе. Ему нравилось видеть мое изумление, но он не отличался особой наблюдательностью, его занимал не столько я, сколько он сам в ту пору, когда он был в моем возрасте. Мне было приятно, что он никогда не унижал меня и всюду представлял своим «другом и сотрудником». При этом он был знаком со мной всего лишь несколько дней, и я еще ничего не успел для него сделать. Он не требовал от меня доказательств моих литературных способностей, не читал ничего из написанного мной, вероятно, это было ему в тягость (удивительно, но он, издатель, с которым меня связывали самые добрые и самые тесные отношения, ни в то время, ни позже не опубликовал ни одной моей книги). Ему было достаточно наших разговоров. Кое-что он узнал обо мне от Ибби, кое-что рассказал я сам, но главным для него было то, что в *своем* Берлине он мог поведать мне о своей невинности, о любви к своему детству, а также то, что я внимательно слушал его. Я завоевал его дружбу благодаря своему умению слушать, мне сейчас трудно сказать, делал ли я это из хитрости или же просто потому, что всегда любил слушать людей, рассказывающих о себе, эта на первый взгляд тихая, незаметная страсть так во мне сильна, что сос-

твояет глубочайшую суть моей жизни. Я просто умру, если не буду слушать то, что люди рассказывают мне о своей жизни.

Почему я так много ждал от Гроса? Что он значил для меня? С тех пор как в витрине магазина молодежной книги во Франкфурте я увидел его рисунки, прошло шесть лет, но я не переставал восхищаться ими, хранил их в своей памяти, а ведь шесть лет для молодости — срок немалый. Его рисунки с первого взгляда запечатлелись в моем сознании. Точно такие же чувства обуревали меня после того, что я увидел в годы инфляции, после визита господина Хунгербаха *, после глухоты матери, не желавшей обращать внимание на то, что происходило вокруг нас. Мне нравились его рисунки — резкие, грубые, беспощадные и страшные. Он изображал крайности, а крайности я почитал за истину. Правда примиряющая, смягчающая, объясняющая и извиняющая была для меня не в счет. О том, что такие, как на его рисунках, люди существуют, я знал, знал с детских лет, проведенных в Манчестере, когда моим врагом стал — и остался им навсегда — дядя Огер *. Когда некоторое время спустя я слушал в Вене Карла Крауса, впечатление было точно такое же, с той лишь разницей, что я, избравший своим поприщем литературу, начал подражать Краусу, учился у него искусству слушать и в какой-то мере (не без внутреннего сопротивления) риторическим приемам обвинения. Георгу Гросу я не подражал никогда, я был начисто лишен таланта рисовальщика. Правда, я искал и находил в реальной жизни его характеры, но между его и моим способом воплощения действительности всегда оставалась дистанция. Его искусство было мне недоступно, он говорил на другом языке, который я хотя и понимал, но не умел воспользоваться им в собственном творчестве. Это значит, что он никогда не был для меня образцом. Он был объектом величайшего восхищения, но не примером для подражания. Когда я впервые появился у него, Виланд по своему обыкновению представил меня как своего «друга и сотрудника». Благодаря этому я не выглядел в собственных глазах *слишком уж* ничтожной личностью. Я не подумал о том, что Грос отлично знает всех друзей Виланда и легко поймет, что я не из их числа. В Берлине я появился неожиданно, никаких разговоров обо мне не было, просто Ибби сообщила о моем скором приезде из Вены — только и всего. Но моя неуверенность в себе улетучилась, как только Грос начал показывать свои рисунки. Я мог рассматривать вещи, которые только что были созданы. У Гроса вошло в привычку показывать рисунки Виланду, который их публиковал, представляя на суд общественности. Они вместе отбирали рисунки для публикации, и Виланд придумывал им названия. Вот и сейчас он, по обыкновению, придумывал подписи. Делал он это сразу, без ко-

лебаний. Грос без лишних слов соглашался, ведь названия Виланда обеспечивали успех его рисункам.

На нем была мягкая шерстяная куртка, он, не в пример Виланду, выглядел крепким и загорелым. С неизменной трубкой во рту, Грос походил на молодого морского волка, только не на английского, поскольку любил поболтать, а на американского. Он был сама откровенность, сама благожелательность, поэтому его костюм не показался мне маскарадом. В его присутствии я чувствовал себя раскованно, что бы он ни показывал, все вызывало во мне восхищение. Это радовало его, будто мое восхищение и впрямь что-то для него значило, время от времени, когда я высказывал свое мнение о том или ином рисунке, он одобрительно посматривал на Виланда. Я чувствовал, что попадаю в точку, тогда как в присутствии Брехта мне рта не удавалось раскрыть, чтобы не вызвать его раздражение. Грос относился ко мне с интересом и симпатией. Он спросил, знаю ли я его серию «Ессе Ното», Я ответил, что нет, ведь она запрещена. Тогда Грос подошел к ларю, открыл крышку, достал папку с рисунками и как ни в чем не бывало протянул мне. Я подумал, что он дает ее мне посмотреть, и тут же раскрыл папку, но меня поправили: я могу сделать это дома, папка мне подарена. «Такой подарок достается не каждому», — заметил Виланд, знавший импульсивную натуру своего друга. Он мог об этом и не говорить, я подмечал любое проявление людского великодушия, но то, что сделал Грос, меня поразило.

Чтобы не выглядеть смешным с папкой в руках, я отложил ее в сторону и не успел договорить до конца слова благодарности, как появился еще один посетитель, которого я менее всего ожидал и хотел здесь увидеть. Это был Брехт. Он пришел выразить свое уважение, едва заметно поклонился и подарил Гросу карандаш, самый обыкновенный карандаш, который, однако, был положен на рабочий стол с многозначительной миной. Грос принял этот скромный знак внимания, придав ему особый смысл. «Карандаша-то мне и не хватало, — сказал он. — Пригодится». Этот визит нарушил состояние восторга, в котором я пребывал, но мне было интересно узнать Брехта с другой стороны. Таким, значит, он был, когда хотел выразить свое расположение. Его сдержанная, скупая манера держаться производила впечатление. Я спрашивал себя, как к нему относится Грос, любит ли он его. Брехт долго не задержался. Когда он ушел, Грос как бы между прочим бросил Виланду фразу, предназначенную, похоже, для меня: «У европейского рагу нет времени». Это прозвучало беззлобно, быть может, с легким оттенком сомнения, будто у него было несколько мнений о Брехте, и все они противоречили друг другу.

Распрощавшись в Гросом, мы пошли в разные стороны: Ви-

ланд отправился в редакцию, а я подался в свою мансарду, где меня ждали на круглом столе материалы о жизни Эптона Синклера. В сравнении с тем, что он раскопал как «tuck-raker», как «разгребатель грязи», его собственная жизнь выглядела скучной. Скука шла не от обстоятельств жизни, ему приходилось нелегко, а от прямолинейности взглядов. Он был человеком насквозь пуританских воззрений, и хотя в этом я мало чем от него отличался, хотя я всей душой одобрял его выпады против пороков общества, против унижения и несправедливости, этим выпадам все же недоставало сатирического блеска. Неудивительно, что я не сел тут же за работу, а открыл папку с рисунками «Ессе Ното»: там я нашел все, чего так недоставало Эптому Синклеру.

Серия была запрещена как непристойная. Не стану отрицать, кое-что в ней действительно могло показаться скабрёзным. Я впитывал все это со странным смешанным чувством ужаса и одобрения. На рисунках были изображены отвратительные создания ночной жизни Берлина, но такими, думалось мне, они были лишь потому, что их создатель испытывал к ним отвращение. Гадливое чувство, возникавшее во мне, когда я на них смотрел, я принимал за отношение к ним самого художника. Пока еще я мало знал о нем, в Берлине я был не больше недели, и Грос оказался в числе первых, кому я нанес визит. С Брехтом меня познакомила в ресторане Шлихтера Ибби, он был поэт, и она считала его самой интересной берлинской достопримечательностью. Мы ходили туда ежедневно, Брехту нравилась Ибби, но она каждый раз тащила с собой меня, вероятно поэтому я стал мишенью его язвительных насмешек. Но и Виланд не прятал от меня своих друзей, Грос был для меня несравненно интереснее, и уже на шестой день моей жизни в Берлине состоялся этот визит к художнику.

Но вот я принес «Ессе Ното» к себе домой, папка легла между мной и Берлином, и отныне я смотрел на многое глазами художника, особенно на то, что открывалось мне по ночам. Быть может, в ином случае эти вещи вошли бы в меня не столь быстро. Свобода в вопросах секса все еще не очень меня занимала. Теперь же неслыханно жестокие, безжалостные рисунки Гроса лицом к лицу столкнули меня с этим миром, мне и в голову не приходило сомневаться в его подлинности; и так же как иные ландшафты мы воспринимаем глазами известных художников, так и я стал смотреть на Берлин глазами Георга Гроса.

Первое разглядывание рисунков захватило меня и в то же время напугало, я до тех пор не мог от них оторваться, пока не пришла Ибби и не увидела разложенные на столе цветные акварели, которые я по одной доставал из папки. Ей еще не приходилось видеть меня за подобным занятием, и она принялась надоедливо подшучивать:

— Быстро же ты освоился в Берлине. В Вене тебя интересовали гипсовые маски, снятые с покойников, а тут... — Она повела рукой над листами, как бы давая понять, что я разложил их на столе намеренно, с умыслом. — Видишь ли, — продолжала она, — Грос обожает натуру. Подвыпив, он заводит речь об «окороках», имея в виду женское тело, и взгляд у него становится какой-то особенный. Приходится делать вид, что не понимаешь. А он знай себе поет гимны «окорокам».

— Неправда! — возмутился я. — Он ненавидит все это! Именно поэтому так хороши его вещи. В противном случае они бы мне не понравились.

— Я знаю, знаю, *тебе* такое не может нравиться, — возразила она. — Поэтому я и не скрываю от тебя ничего. Но ему это по нутру! погоди, вот увидишь его в подпитии, когда он заведет свою шарманку об «окороках».

В устах Ибби это звучало естественно. Мне было ясно, что она имела в виду, когда произносила слово «окорока»: пьяный Грос искал близости с ней и нахваливал ее тело. Других женщин такое ухаживание покорило бы или по крайней мере разозлило. «Окорока» относились к ней, она повторила это слово несколько раз, и оно звучало так, будто не имело к ней никакого касательства. Оно не пристало к ней, несмотря на приставания Гроса, ее, похоже, интересовало только одно: рассказать мне о том, что произошло.

Я потому и нужен был ей в Берлине, чтобы было кому изливать душу. Стоило ей где-нибудь появиться, как за ней тут же увязывались мужчины, говорили двусмысленности. К ней приставали трое или четверо сразу, рассчитывая, видимо, что хотя бы одного из них ждет удача, и были в полном недоумении, когда все оставались с носом. Дело доходило до самых нелепых домыслов, говорили, например, что она лишь внешне похожа на женщину, а внутри устроена совсем по-другому, серединка на половинку. Самый недоверчивый из окружения Брехта, некто Борхардт *, объявил ее шпионкой: «Откуда она взялась? И кто она такая? Появилась вдруг среди нас и прислушивается к нашим разговорам». Она в ответ смеялась и не теряла присутствия духа. Все это забавляло ее, но она помалкивала, пока была в Берлине одна: эти люди, считавшие, что им все позволено, к вопросам секса относились с благоговейной серьезностью, они не простили бы Ибби насмешек и равнодушия к этой стороне их жизни. Но она жить не могла без насмешки, без шутки, без язвительных уколов, в этом была *ее* внутренняя потребность, *ее* натура, поэтому она не успокоилась, пока не заманила меня в Берлин.

Нас связывал ненасытный интерес к разнообразию человеческих характеров. У нее этот интерес был окрашен шуткой, мне

же просто нравилось слушать ее рассказы. Но в ее шутках я не находил ничего смешного. Меня смущало многообразие человеческой природы. Каждый старается изо всех сил, рассчитывая найти понимание у других. Но понимания не было. Каждый был предоставлен самому себе, и хотя, вопреки всем иллюзиям, избавиться от одиночества не удавалось никому, все по-прежнему из кожи вон лезли в поисках взаимности. Возникали смешные недоразумения, о которых и рассказывала мне Ибби. С многими из тех, о ком шла речь, я сталкивался в жизни, но она обогащала меня опытом иного рода, — опытом, о котором я, как мужчина, не имел ни малейшего представления. Она была красива и пользовалась успехом, но предложения получала самые нелепые, адресованные не живому человеку, не ей самой, а только ее оболочке. То, как она отвечала на приставания, никого не интересовало, ее ответы не доходили до ушей ухажеров, они только заявляли о своем желании и требовали его скорейшего удовлетворения. Им было невдомек, почему у них ничего не получается, они были просто не в состоянии уловить смысл ее ответов. Даже соперники их не интересовали, хотя цель у всех была одна; мысль о соперничестве казалась им дикой и непонятной. Ибби совершенно точно во всех подробностях помнила их подходы и попытки, но, чтобы *понять* другого, нужно забыть о себе, а этого не хотел никто.

Исаак Бабель

Большое место в моих воспоминаниях о Берлине занимает Исаак Бабель. По всей вероятности, он оставался там недолго, но у меня такое чувство, будто я видел его ежедневно многие недели подряд, час за часом, хотя говорили мы мало. Он пришелся мне очень по душе, больше, чем множество других людей, с которыми я тогда встречался. В моей памяти он занял такое прочное место, что она охотно отвела бы ему любой из 90 моих берлинских дней.

Он приехал из Парижа, где его жена, художница, училась живописи у Андре Лота *. Во Франции он побывал в разных городах. Французскую литературу он предпочитал всем другим, Мопассана считал своим непосредственным учителем. Бабеля открыл Горький, он же помогал ему советами, делая это настолько умно и деликатно, что лучше и не пожелаешь. Горький заботился о его будущем, развивал его способности, критиковал без самолюбования, с мыслью только о нем, а не о себе, серьезно и без насмешки, хорошо понимая, как легко уничтожить младшего по возрасту, слабого, неизвестного, не успевшего узнать, на что он способен.

Бабель задержался в Берлине, возвращаясь в Россию после долгого пребывания за границей. Мне кажется, он приехал в конце сентября и оставался в Берлине не более двух недель. В издательстве «Малик» вышли на немецком языке две его книги, «Конармия» и «Одесские рассказы». Последнюю я читал не раз и не два. Я восхищался им, я чувствовал, что он мне чем-то близок. Еще в детстве я слышал об Одессе, имя этого города было связано с самым ранним периодом моей жизни. Черное море я считал своим, хотя видел его только несколько недель, в Варне. Казалось, буйство красок и необузданную силу одесских рассказов Бабель почерпнул из воспоминаний о моем собственном детстве; сам того не ведая, я нашел у него естественную столицу той маленькой области в нижнем течении Дуная, где я родился, я бы ничуть не удивился, если бы его Одесса возникла в устье Дуная. Тогда знаменитое путешествие, о котором я мечтал в детстве, можно было бы совершать вниз и вверх по Дунаю, из Вены в Одессу и из Одессы в Вену, и Рушук, расположенный очень далеко в нижнем течении, занял бы на этом пути свое истинное место.

Бабель возбуждал мое любопытство, мне казалось, что он выходец из той самой местности, которую я с некоторым усилием называл своей родиной. По душе мне было только такое место на земле, которое впускало в себя весь мир. Таким местом была Одесса. Именно так воспринимал Бабель город и те истории, которые в нем случались. В доме моего детства все окна выходили на Вену. Теперь в глухой стене появилось окно, открытое в сторону Одессы.

Бабель был маленький, приземистый человек с очень круглым лицом, на котором выделялись очки с толстенными стеклами. Может быть, из-за них его широко раскрытые глаза тоже казались круглыми и выпученными. Едва он появился, как у меня возникло ощущение, что он уже успел разглядеть меня с ног до головы; как бы в отместку за его наблюдательность я тоже отметил про себя, что он широк в плечах и отнюдь не производит впечатления хилого очкарика.

Встреча произошла в ресторане Шванеке, казавшемся мне шикарным, вероятно, потому, что мы ходили туда поздно вечером, после театра; в ту пору он буквально кишел театральными знаменитостями. Едва обратишь внимание на одного знаменитого человека, как тут же появляется другой, еще более знаменитый. В то время — время расцвета театра — их там было пруд пруди, так что очень скоро приходилось замечать далеко не каждого. Помимо них, там бывали писатели, художники, меценаты, критики, известные журналисты, и Виланд, с которым я приходил в ресторан, всякий раз любезно растолковывал мне, кто есть кто. Он уже давно знал их всех, они не производили на

него никакого впечатления, в его устах их имена звучали отнюдь не возвышенно, а скорее так, будто он оспаривал их право на славу, будто они вознеслись незаслуженно и скоро опять исчезнут со сцены. У него были свои любимчики, те, на кого он делал ставку, кого сам открыл, чьи книги напечатал, к кому хотел привлечь внимание общественности; естественно, он любил подробно рассказывать о них. У Шванеке он не садился за особый стол вместе со своими любимчиками и не отделялся от остального общества, а предпочитал раствориться в большой компании, где друзья сидели рядом с врагами, и выбирал себе среди них жертву. Свои дела он обделывал, не защищаясь, а нападая, но по обыкновению оставался в одной группе недолго, а тут же подмечал другую и в ней того, кто возбуждал его воинственный пыл. Я скоро выяснил, что он был не единственный, кто прибегал к этому агрессивному способу общения. Но были и такие, что обращали на себя внимание своими жалобами на жизнь. Попадались даже типы, которые приходили сюда только затем, чтобы помолчать среди всеобщего шума, их было немного, но они бросались в глаза: спокойные островки лиц с поджатыми губами посреди бурлящего ландшафта, кролики, знающие толк в выпивке; о них приходилось расспрашивать других, потому что сами они на вопросы не реагировали.

В тот вечер, когда впервые появился Бабель, в первом зале ресторана за длинным столом собралась большая компания. Я пришел с опозданием и робко устроился у самого выхода, на краешке стула, готовый в любой момент сорваться с места и убежать. «Гвоздем» программы был Леонгард Франк. У него было запоминающееся, изборожденное глубокими морщинами лицо, как бы говорившее, что его владелец прошел огонь, воду и медные трубы и теперь не прочь, чтобы об этом узнали все; его стройная мускулистая фигура в элегантном, сшитом точно по мерке костюме напоминала сжатую пружину: одно слово — и она пантерой распластается над столом, не нарушив при этом ни одной складочки на костюме. Несмотря на глубокие морщины, он отнюдь не выглядел стариком. Это был мужчина в расцвете сил. О нем с уважением говорили, что в молодые годы он работал кузнецом (другие называли менее поэтическую профессию слесаря). При его силе и проворстве в этом не было ничего удивительного. Я представил себе, как он стоит у наковальни, разумеется, не в этом раздражавшем меня костюме, но нельзя не признать, что и у Шванеке он чувствовал себя преотлично.

То же можно было сказать и о русских писателях, сидевших за столом. В те годы они много путешествовали и любили останавливаться в Берлине, раскованное бурление здешней жизни пришлось им по нраву. Они хорошо знали своего издателя Херцфельде, он не был единственным, кто интересовался их

книгами, но самым активным из всех. Тому, кого он издавал, известность была обеспечена, хотя бы благодаря обложкам, которые создавал его брат, Джон Хартфилд. Там сидела Аня Аркус *, женщина замечательной, невиданной красоты, о ней говорили как о начинающей поэтессе. Трудно поверить, но у нее было рысье лицо. Я потом ничего о ней не слышал, может быть, она стала писать под другим именем или рано ушла из жизни.

Мне надо бы рассказать о многих, сидевших тогда за столом, особенно о тех, что сегодня уже забыты, в памяти моей остались только лица, имен я уже не помню. Но сейчас не время для этого, поскольку значительность вечера придавало то, перед чем бледнело все остальное: на этом вечере впервые появился Бабель, человек, ничем не походивший на завсегдатаев Шванеке: он не был актером, не изображал самого себя, он не был «берлинцем», хотя ему и нравился Берлин, он был скорее «парижанином». Жизнь знаменитостей интересовала его ничуть не больше жизни остальных смертных, а может быть, даже чуточку меньше. В кругу знаменитостей ему было неуютно, он старался ускользнуть от них, вот почему он обратил внимание на единственного человека за столом, который не был знаменит и чувствовал себя в этом кругу чужаком. Этим единственным был я, и уверенностью, с какой Бабель это сразу же определил, говорит о его проницательности и непоколебимой ясности его взгляда.

Я не помню первых фраз, которыми мы обменялись. Я предложил ему место рядом с собой, но он остался стоять. Казалось, он колебался — сесть на предложенное место или уйти. Но и в этой ситуации он производил впечатление незыблемости и напоминал человека, собственным телом загородившего одному ему известную расселину. Вероятно, эта мысль возникла во мне оттого, что своими широкими плечами он закрыл от меня входную дверь. Я не видел тех, кто входил и выходил, я видел только Бабеля. Он сделал недовольную мину и бросил сидевшим за столом русским писателям несколько фраз, которые я не понял, но которые вселили в меня чувство уверенности. Я не сомневался, что он высказал свое мнение о ресторане, который ему не понравился. Мне это заведение тоже не нравилось, но *он* сразу сказал об этом. Вполне возможно, что только благодаря ему я осознал, что меня здесь отталкивало. Поэтесса с лицом рыси сидела недалеко от меня, и ее красота все искупала. Мне хотелось, чтобы он остался, и я связал свои надежды с ней. Ради нее остался бы кто угодно. Она кивнула ему и знаками дала понять, что освобождает место рядом с собой, но он покачал головой и показал пальцем на меня. Этим он всего лишь хотел сказать, что я первый предложил ему место. Его вежливость меня восхитила и смутила. *Я сам* не колеблясь, хотя и не без смущения, сел бы рядом

с ней. Однако он не захотел меня обидеть и отказался. Я заставил его сесть на мое место и отправился на поиски стула. Найти его оказалось непросто, я подходил к каждому столу и какое-то время безуспешно рыскал по залу, пока наконец не возвратился на место с пустыми руками. Бабеля не было. Поэтесса сказала, что он ушел, чтобы не оставлять меня без места.

Этот его первый поступок, связанный со мной, может показаться незначительным, но на меня он произвел огромное впечатление. Его крепкая, коренастая фигура напомнила мне о «Кон-армии», об удивительных и жутких историях, которые он пережил, находясь среди казаков во время русско-польского похода. Подмеченное мной неудовольствие, которое вызвал в нем ресторан, тоже не противоречило облику человека, который прошел через страшные, жестокие испытания, но умел проявить нежность и такт к совсем еще зеленому незнакомому юнцу, выделив его своим вниманием из всех остальных.

Он был очень любознателен и хотел увидеть в Берлине все, но «всем» для него были *люди*, причем люди самые разные, а не только те, что вращались в изысканных аристократических ресторанах. Больше всего ему нравилось обедать у Ашингера, мы стояли рядом и не спеша ели гороховый суп. Он оглядывал зал своими круглыми глазами за толстенными стеклами очков, разглядывал каждого в отдельности и всех вместе и никак не мог наглядеться. Когда суп кончался, он недовольно морщился, ему хотелось, чтобы тарелка была бездонной, он жаждал одного — наблюдать и наблюдать. Люди приходили и уходили, наблюдать было за кем. Мне еще не приходилось видеть человека, который бы с такой страстью отдавался наблюдению, оставаясь при этом совершенно спокойным. Менялись люди — и беспрерывно менялось выражение его глаз. Он замечал все и ко всему относился с одинаковой серьезностью, ему было интересно и обыденное, и необыкновенное. Скучал он только среди тех, кто пиршествовал у Шванеке или у Шлихтера. Входя, он отыскивал меня глазами и усаживался рядом со мной. Долго он, однако, не выдерживал и очень скоро предлагал: «Пошли к Ашингеру!» И с кем бы я в это время ни сидел, его предложение я воспринимал как высочайшую в тогдашнем Берлине честь для себя, поднимался и шел с ним.

Однако, произнося слово «Ашингер», он осуждал не расточительство шикарных ресторанов. Его отталкивала павлинья самовлюбленность людей искусства. Каждый выпендривался как мог, воздух был буквально насыщен бездушным тщеславием. Сам он был человеком широкой души, и, чтобы быстрее попасть к Ашингеру, он брал такси, даже если ехать было совсем недалеко, а когда дело доходило до расчета, он стремительно подсаживался к шоферу и объяснял мне с изысканной вежливостью,

почему именно он *должен* платить. По его словам, он только что получил большую сумму денег, которые не имело смысла брать с собой, их *нужно* было потратить в Берлине, и хотя я догадывался, что все это неправда, я заставлял себя верить ему, потому что меня восхищало его великодушие. Он даже не заикнулся о том, о чем не мог не подумать: что я скорее всего студент и вряд ли что-либо зарабатываю. Я признался, что еще ничего не опубликовал. «Ничего, успеется», — сказал он таким тоном, будто желание быстрее напечататься считал позором. Я думаю, он потому проявил ко мне интерес, что среди сплошных самовосхвалений воспринимал мое смущение как свое собственное. Я мало говорил в его присутствии, значительно меньше, чем в присутствии других. Да и он не отличался разговорчивостью, предпочитая разглядывать людей. Словоохотливее он становился, когда речь заходила о французской литературе. Стендаля и Мопассана он ставил выше всех.

Я надеялся многое услышать от него о великих русских писателях, но они, надо думать, были для него чем-то само собой разумеющимся. Вполне вероятно, он не хотел распространяться о литературе своей страны, чтобы не показаться хвастуном. А может быть, в этом было еще что-то, может быть, его отпугивала неизбежная поверхностность такого разговора: он сам творил на языке, на котором были написаны великие произведения русской литературы, я же в лучшем случае знал ее лишь по некоторым переводам. Мы говорили бы о разных вещах. Он с такой серьезностью относился к литературе, что все приблизительное, кое-как пристегнутое было ему ненавистно. Да и я боялся не меньше его: мне так и не удалось преодолеть робость и высказать свое мнение о «Конармии» и «Одесских рассказах».

Но по нашим разговорам о французских писателях, о Стендале, Флобере и Мопассане, он мог почувствовать, что значили для меня его рассказы. О чем бы я ни спрашивал его, втайне я всегда имел в виду его собственные произведения. Он сразу догадывался, о чем я не решался спросить прямо, и давал простой и точный ответ. По выражению моего лица он видел, что я удовлетворен, видимо, ему нравилось и то, что я не приставал к нему с дальнейшими расспросами. Он рассказывал о Париже, где вот уже год жила его жена, художница. Совсем недавно он встречался с ней там, и вот его уже снова терзала тоска по Парижу. Мопассана он предпочитал Чехову, но, когда я произнес имя Гоголя — его я любил больше всего на свете, — он сказал, к моему радостному удивлению: «Гоголя у французов нет, им недостает Гоголя». Потом подумал немного и, чтобы не показаться хвастуном, добавил: «А у русских нет Стендаля».

Я замечаю, что рассказываю о Бабеле очень мало конкретного, и все же он значит для меня много больше, чем кто-либо другой

из тех, с кем я тогда встречался. Я не отделял его от его произведений, которые я прочитал, их было немного, но они были так концентрированы, что окрашивали собой все остальное. Я, кроме того, видел, как он впитывал в себя все вокруг в незнакомом, говорившем на другом языке городе. Он не произносил высоких слов и старался держаться незаметно. Лучше всего он *видел* тогда, когда за ним никто не наблюдал. В других он замечал все, не упускал ни одной мелочи, даже того, что ему не нравилось, что ему глубоко претило, — к таким вещам он присматривался особенно внимательно. Я знал об этом по «Конармии», никто не мог устоять перед ее кровавым блеском, но никто и не упивался кровью. Теперь, когда он столкнулся с блеском Берлина, я видел, каким равнодушным оставляло его то, чем другие восторженно тешили свое тщеславие. Он с недовольной миной проходил мимо пустого блеска, зато жадными глазами разглядывал тех, кто довольствовался миской горохового супа. Чувствовалось, что все ему давалось с трудом, но он об этом никогда не говорил. Литература была для него священным делом, он не щадил себя и был просто не в состоянии щадить и приукрашивать что бы там ни было. Цинизм был ему чужд, это вытекало из его серьезного отношения к литературе. Он никогда бы не смог *воспользоваться* чужими находками, подобно тем, кто принимают ко всему вокруг, а потом дают понять, что считают себя венцом творения. Он знал, что такое литература, и не ставил себя выше других. Он был одержим самой литературой, а не теми почестями и преимуществами, которые она давала. Не думаю, что Бабель был другим, не таким, каким он предстал перед мной в наших разговорах. Я знаю: не будь встречи с Бабелем, Берлин, как щелок, разъял бы мою душу.

Перевоплощения Людвиг Хардта

В одно из воскресений я попал на утренний концерт Людвиг Хардта, мастера художественного чтения, которого очень ценили писатели; его признавали все, но особенно высоко ставили авангардисты. Когда речь заходила о нем, никто не строил недовольную мину, даже Брехт воздерживался от неуклюжего приговора, а это случалось с ним не часто. Людвиг Хардт считался единственным чтецом классической и современной литературы, та и другая в одинаковой мере были подвластны его искусству. Хвалили его дар перевоплощения, говорили, что он не столько чтец, сколько драматический актер, но актер на редкость умный. Его программы были составлены чрезвычайно изобретательно. Говорили, что на его концертах не скучал еще ни один человек, а это много значило в Берлине, где каждый го-

нялся за своей удачей. Ко всему прочему добавлялось еще одно обстоятельство, занимавшее меня с точки зрения моей тогдашней крепостной зависимости: когда-то он был дружен с Карлом Краусом и в молодые годы даже читал отрывки из его «Последних дней человечества». По этому поводу у них возникли разногласия, закончившиеся разрывом. Теперь в его программу входило все значительное, что имелось в современной литературе, не было только того, что было ему запрещено, — Карла Крауса.

Утренник, на который мы пошли вместе с Виландом, посвящался Толстому. Хардт собирался читать отрывки из произведений Толстого, вышедших в издательстве «Малик». Иначе Виланда не заманить бы туда никаким калачом. Он не очень жаловал актеров и заглядывал на их представления, только когда не было другого выхода. Так он защищался от избытка культурной жизни в Берлине. Он объяснил мне, как быстро Берлин высасывает из людей все соки. Кто не сумел приспособиться, тот обречен. Надо не разбрасываться и только тогда удовлетворять свое любопытство, когда это нужно для собственной работы. В конце концов, мы не туристы, которым через пару недель уезжать, надо смириться с тем, что жить нам здесь годы и годы, и научиться невосприимчивости. Даже на Людвига Хардта, которым восторгались все без исключения, он пошел ради собрания сочинений Толстого, но уговорил пойти с ним и меня.

Я пошел и не пожалел. Мне никогда не забыть того, что говорил Хардт в тот день. На встрече после концерта, состоявшейся в доме одного берлинского мецената, я испытал такое чувство стыда, которое учит лучше любых оскорблений. Спустя восемь лет, в Вене, Хардт стал моим другом.

Это был человек очень маленького роста, такого маленького, что даже я был поражен. У него было узенькое, смуглое, южного типа лицо, которое умело в мгновение ока перевоплощаться, да так стремительно и сильно, что одно лицо ничем не походило на другое. Когда он *говорил*, то казалось, будто его сотрясают молнии, так глубоко вживался он в образ. Казалось, что отрывки и стихотворения, которые он помнил наизусть, были частью его самого, принадлежали ему от рождения. Он не мог ни секунды посидеть спокойно, за исключением случаев, когда ему приходилось изображать спокойных, медлительных людей, таких, как Ерошка в «Казаках» Толстого. В этой роли я и увидел его впервые. Голова его стала совершенно круглой, а сам он превратился в приземистого, плотного крепыша. Он так ловко шевелил усами, что я готов был поклясться, что он их себе приклеил. (Когда позже он утверждал, что никогда не носил усов, ни на лице, ни тем более в кармане, я ему не поверил.) Этого казака я запомнил лучше, живее всех остальных персонажей Толстого, потому что его изобразил *он*. Удивительно было видеть, как ма-

ленький, хрупкий Хардт на наших глазах превращается в крупного, плотного, массивного казака, при этом артист даже не вставал из-за стола, не вскакивал и не помогал себе жестами. Он читал довольно длинный отрывок, показавшийся мне очень коротким, я все время боялся, что он вот-вот закончится. За ним последовали народные рассказы, в том числе «Много ли человеку земли нужно?». Они так глубоко запали мне в душу, что я был убежден: именно эти рассказы и составляют главное и лучшее в творчестве Толстого. Что бы я позднее ни читал у Толстого, все казалось мне не таким ярким, потому что мне не хватало исполнения Людвиг Хардта. В известной мере он испортил мне Толстого. Его Ерошка из «Казаков» стал близким мне человеком. Мне кажется, что с тех пор, с 1928 года, я хорошо его знаю, даже лучше тех, кто был среди моих близких друзей.

Но его вторжение в мое восприятие Толстого на этом не кончилось. Когда вскоре после войны я перечитал «Смерть Ивана Ильича», повесть захватила меня так же сильно, как и народные рассказы в 1928 году. Я почувствовал, что перенесся куда-то в другое место, и сперва подумал, что это комната, в которой умирал Иван Ильич, но потом с удивлением обнаружил, что слова повести доходят до моего сознания в исполнении Людвиг Хардта и что воображение перенесло меня в полутемный театральный зал, где он выступал. Хардта уже не было в живых, но его программа расширилась, и к слышанным мной в его исполнении народным рассказам добавилась куда более длинная «Смерть Ивана Ильича».

Самое сильное впечатление, оставшееся у меня от того утренника, — распространение его влияния на более позднее время. Чтобы мои слова не показались слишком уж неправдоподобными, добавлю, что и позже я не раз слушал выступления Людвиг Хардта. В Вене, когда мы подружились, он частенько заходил к нам домой и читал часами, пока мы не уставали его слушать. Он выпустил книгу, куда включил свои программы. Так вот, мы слышали в его исполнении почти все из вошедших туда замечательных вещей. Я узнал голос Хардта во всех его богатейших возможностях, мы часто говорили о перевоплощении, которое занимало меня все больше и больше. Его перевоплощение в Ерошку на памятном берлинском утреннике послужило первым осознанным мной толчком в этом направлении. После войны, узнав о смерти Хардта, я взял в руки «Смерть Ивана Ильича» и как бы услышал в его исполнении то, чего он никогда не читал при жизни, это была своего рода панихида по теще.

Но вернемся к тем первым впечатлениям, о которых я еще не все рассказал. Я не упомянул о сатирической драме, терпеливой жертвой которой я оказался. После утренника нас, довольно большую компанию во главе с тещом, пригласили в дом к одно-

му берлинскому адвокату, где нас обильно потчевали и где мы, почувствовав себя как дома, остались почти до вечера. Все было на высшем уровне, не только угощение. На стенах висели картины живописцев, которые были в моде, на столиках лежали новые книги, те, что нашли отклик у читателя — неважно, радушный или враждебный. Гости ни в чем не испытывали недостатка, стоило заикнуться о чем-нибудь, как хозяин тут же приносил упомянутое, раскрывал, совал под нос. В общем, есть не хочу. Нас оберегали от всего, что требовало хоть каких-то усилий, за столом сидели знаменитости, жевали и рыгали. И все же, вопреки стараниям хозяина, то тут, то там вспыхивали разговоры, остроумные или возбужденные. Людвиг Хардт чувствовал себя как рыба в воде. Он был единственный, кто превзошел хозяина в красноречии, да и в подвижности тоже. Он вскакивал на низенькие столики и произносил речи известных деятелей, речи Мирабо или Жана Поля. Он нисколько не устал, был полон новых затей и, что самое удивительное, проявлял интерес к тем, с кем еще не был знаком. В паузах между своими прыжками он втягивал их в разговоры и не успокаивался до тех пор, пока не выяснял, какому кумиру поклонялся тот, кто сидел перед ним. Когда пришла моя очередь, я, зараженный его экспансивностью, не постеснялся и высказал ему свое восхищение.

Он отблагодарил меня по-своему, рассказав интереснейшие вещи о своем происхождении. Хардт был из племени фризов, он вырос в семье коневода и в молодые годы много возился с лошадьми. Маленький и легкий, он был похож на жокея. Мне стало ясно, отчего он так прыгуч и подвижен, и я почтительно высказал ему свою догадку. За каждую приятную для него фразу он платил изысканной вежливостью. Своей неумемной фантазией и своими чудачествами он напомнил мне Э. Т. А. Гофмана. Хардт не отрицал этой связи, но не исключал и других. Кому бы ни принадлежало произведение, он не мог его читать, не пытаясь *походить* на автора. Мое посрамление — а именно об этом я и хочу сейчас рассказать — началось с одного из таких прыжков. Он перескочил с Гофмана на Гейне, и его подвижность сразу же возросла до такой степени, что стало ясно: Гейне — один из самых любимых его поэтов. Уловив, о ком речь, я, должно быть, слегка растерялся, свободный обмен мнениями замедлился, но он мгновенно уловил мое замешательство и тут же стал читать то, что было направлено *против* Гейне, используя целые куски из Карла Крауса, которые я знал вдоль и поперек. Он вошел в роль, декламация звучала убедительно. Я попался на удочку, стал дополнять кое-что точно по тексту, не замечая, что он меня высмеивает. Игра затянулась, мне стало казаться, что он экзаменует меня на знание «Факела», и только когда он вдруг остановился и перешел к другим материалам «Факела», к дифи-

рамбам Клаудиусу, Нестрою, Ведекнду, у меня будто пелена спала с глаз и мне стало ясно, как капитально я опростоволохился. Словно извиняясь, я сказал: «Но вы же смотрите на Гейне по-другому». «Разумеется», — ответил он, после чего отменной пощечиной мне прозвучала великолепная декламация гейневских стихов, входивших в ядро репертуара Хардта.

Мне кажется, тогда впервые была поколеблена моя вера в Карла Крауса. Хардт померялся с ним силами на самом близком ему поприсе, как чтец-декламатор, — и выстоял. Он прочитал «Странствующих крыс» и «Силезских ткачей», и в его чтении была такая сила и такое неистовство, что он ни в чем не уступал Краусу. Это было возвращение отвергнутого, и я, несмотря на все запреты, угрозы и проклятия, все же сохранил в себе здоровое чувство и принял изгнанника. Действие стихов усилилось еще и оттого, что перед этим Хардт перечислил все обвинения в адрес Гейне. Обвинения рассыпались в прах. Я чувствовал, что во мне что-то надломилось и что последствия этого не замедлят сказаться. Плотина, воздвигнутая во мне Краусом, защищала меня от вторжения Берлина. Я чувствовал, что становлюсь беззащитнее, мое смятение росло. Противник атаковал меня сразу с двух сторон. Мое божество сидело рядом с Брехтом, воспевавшим в рекламных стихах автомобили, и обменивалось с ним комплиментами, а Людвиг Хардт, с которым Краус находил когда-то общий язык, пробил во мне широченную брешь, в которую хлынул Гейне.

Приглашение в пустоту

В Берлине *все* было доступно, разрешалась любая активность; каждому, кто не боялся трудностей, не возбранилось заявить о себе. Однако сделать это было нелегко, шум вокруг стоял невообразимый, и в этом шуме и толчее ты всегда помнил: в Берлине есть много такого, что стоило увидеть и услышать. Все было позволено, запреты, недостатка в которых не было нигде, тем более в Германии, здесь теряли свою силу. Неважно, что ты пришел из старой столицы империи, из Вены, здесь ты чувствовал себя провинциалом и до тех пор тарасил на все глаза, пока они не привыкали оставаться открытыми. В самой атмосфере было нечто пряное, едкое, нечто такое, что освежало и возбуждало. Ничего не боясь, люди набрасывались на все подряд. Ужасающая неразбериха и толкотня, изображенная на рисунках Гросса, не была преувеличением, это было естественное для Берлина состояние, новая естественность, без нее нельзя было обойтись, к ней надо было привыкнуть. Любая попытка отгородиться от этой жизни воспринималась как извращение, только это извра-

щением и считалось. И если на какое-то время удавалось от всего отрешиться, то очень скоро в тебе возникало неодолимое желание снова броситься в этот водоворот. Все было *на виду*, не существовало никакой интимности, а если она и появлялась, то это была интимность показная, рассчитанная на то, чтобы кого-то в этом деле перешеголять.

Чувственность и интеллект, оголенные и доведенные до точки кипения, выступали в неразрывном единстве и действовали по принципу переменного тока. Тому, в ком просыпалась чувственность, нужно было ее сперва подхлестнуть, чтобы не осрамиться перед другими, и если здоровье было не очень, все быстро кончалось полным истощением. Тому же, кто хранил верность интеллекту и не поддавался набегам чувственности, угрожало обилие соблазнов духа. Многочисленные и многообразные, эти соблазны обрушивались на человека, не давая пощады, не оставляя времени разобраться, что к чему. Удары сыпались со всех сторон, и едва успевали сойти вчерашние синяки, как сейчас же появлялись новые. В Берлине чувствуешь себя куском отбивного мяса, которое знает, что отбивали его еще недостаточно, и ждет новых ударов.

Но больше всего меня поражала *несовместимость* того, что на меня обрушивалось, она наложила отпечаток на всю мою дальнейшую жизнь. Каждый, кто хоть что-нибудь значил (а здесь многие кое-что значили), старался обратить на себя внимание. Неважно, понимали его или нет, он стремился быть услышанным, и ему не мешало, что другие на свой манер стремились к тому же. Услышанный, он обретал какой-то вес, и с этого момента прилагал все силы, чтобы остаться на слуху общественности. Похоже, никто не задавался вопросом, что из всего этого выйдет. Ясной, целеустремленной жизни не выходило во всяком случае, но к этому никто и не стремился; стремились к тому, чтобы выходило как можно больше книг, картин, пьес, самых разных, непохожих друг на друга.

Я был все время то с Виландом, то с Ибби и никогда не бродил по Берлину в одиночку — не лучший способ знакомства с городом, но для тогдашнего Берлина, по-моему, вполне подходящий. В Берлине жили группами, кликами, видимо, иначе нельзя было выдержать суровую тамошнюю жизнь. Повсюду произносились имена, большей частью известные: кого-то ждали, кто-то приходил. Что такое блестящая эпоха? Это эпоха, когда множество великих имен сосуществуют рядом и при этом не подавляют друг друга, хотя и ведут между собой борьбу. Важно то, что они ежедневно, постоянно приходят в соприкосновение, сталкиваются, блеск готов мириться с этим, от этого он не тускнеет. В столкновениях вырабатывается невосприимчивость, поэтому их искали, желая испытать себя.

Имена терлись друг о друга, это и было их целью, в таинственном осмосе одно имя старалось содрать с другого как можно больше блеска и тут же спешило прочь — найти еще одно имя и проделать с ним то же самое. Взаимное ощупывание и трение проходило в спешке, имена сталкивались по воле случая, самое интересное в том и заключалось, что никто не знал, какое имя будет следующим. Все было в руках случая, а поскольку знаменитости в поисках удачи приезжали отовсюду, то были возможны любые неожиданности.

Жажда неожиданного или страшного повергала в состояние легкого опьянения. Чтобы не сломаться и не впасть в замешательство, берлинские старожилы научились ничего не принимать всерьез, особенно имен. Я часто встречался с человеком, который цинично относился к именам. Он неодобрительно отзывался о каждом, кто хоть чем-нибудь выделялся на общем фоне. Это могло показаться выражением политической позиции, но на деле было всего лишь формой борьбы за существование. Кто признавал лишь очень немного, а все остальное отвергал, тот и сам что-то значил. Тот же, кто не умел наносить удары направо и налево, был обречен и мог убираться восвояси, в Берлине ему делать было нечего.

Важно было как можно чаще, ежедневно, в течение многих недель и месяцев бывать на людях. Посещение «Романского кафе» (а на более высоком уровне — ресторанов Шлихтера и Шванеке) само по себе доставляло удовольствие, но дело было не в нем. Оно диктовалось необходимостью показать себя, от которой никто не уклонялся. Если не хочешь, чтобы о тебе забыли, бывай на людях. Это касалось людей всех рангов и слоев, в том числе и попрошаек, ходивших в «Романском кафе» от стола к столу и всегда получавших подаяния, если только они не выпадали из своего образа и не допускали его искажения.

Существенной приметой тогдашней берлинской жизни были меценаты. Их было множество, они торчали повсюду в ожидании клиентов. Одни жили в Берлине, другие приезжали сюда на время, были и такие, что часто наезжали в Берлин из Парижа. С первым — господином с усиками на лунообразном лице и с губами, говорившими о привычке к хорошей кухне, — я познакомился в «Романском кафе». Я пришел с Ибби, зал был полон, за нашим столиком освободилось место, господин с усиками подсел к нам и держался незаметно. Мы снова говорили о стихах Ибби, у нее попросили подборку, она прочитала несколько стихотворений, и мы обсуждали, что из них можно отдать в печать. Господин с усиками прислушивался к нашему разговору и улыбался, как будто понимал то, о чем мы толковали. При этом он походил на меню из французского ресторана. Пару раз он прищелкнул языком, будто хотел что-то сказать, но опять затих.

Может быть, подбирал нужные слова. Наконец он представился с помощью визитной карточки, вынутой из портмоне. Это был владелец сигаретной фабрики, он жил в Париже, недалеко от Буа-де-Булонь; там, мол, он знает всех рабочих как свои пять пальцев. О рабочих и о пяти пальцах было сказано резко и с угрозой, мы оба испугались, после чего он очень чинно и сердечно пригласил нас пообедать. Мы отказались, сославшись на занятость, но он настаивал, уверяя, что ему надо кое о чем с нами переговорить. Он был так настойчив, что мы загорелись любопытством и последовали за ним.

Он привел нас в дорогой ресторан, в котором мы еще не бывали, высказал несколько общих мест по поводу французской кухни, упомянул Баден-Баден, откуда он был родом, а затем нерешительно спросил меня, может ли он предложить молодой поэтессе ежемесячную стипендию в 200 марок, на год. Сумма небольшая, пустяк, но зато от всей души. О стихах, которые он слушал, не было сказано ни слова. С него было достаточно, что он их не понимал. Час тому назад он увидел Ибби впервые в своей жизни. Да, она была красива, и когда читала стихи, то ее немецкий с венгерским акцентом звучал соблазнительно. Но я сомневаюсь, чтобы он был способен это почувствовать. Когда она, вопреки моему сдержанному ответу, согласилась принять предложенное, он благодарно поцеловал ей руку, но это было все, что он себе позволил. При всем том это был мужчина в расцвете сил, знавший толк не только в ресторанных меню. Однако на сей раз он хотел быть великодушным — и только. Он сдержал слово, и поскольку жил не в Берлине, то и не пытался навязать свое общество Ибби.

Я делил меценатов на шумных и тихих, наш был из породы тихих. Громкость их голоса зависела от меры владения жаргоном того круга, который они поддерживали. В обществе Гросса и людей, близких к издательству «Малик», можно было часто видеть молодого человека, имя которого я забыл. Он был богат, шумлив и хотел, чтобы его принимали всерьез. Он встревал в разговоры, что-то доказывал, быть может, даже и разбирался кое в чем, но первое, что я от него услышал, была теория стакана воды. Эта теория была тогда в ходу, ее знал весь Берлин, но, говоря о ней, молодой человек и впрямь брал пустой стакан, подносил его ко рту, делал вид, что выпивает до дна, и с презрительной миной ставил на стол: «Любовь? — Стакан воды, выпил — и точка!» У него были светло-русые усы, всякий раз, когда он вылезал со своей теорией, усы топорщились и раздувались от гордости. Этот молодой человек был щедрым меценатом, вполне возможно, он помогал финансировать даже издательство «Малик», во всяком случае, он покровительствовал Георгу Гроссу.

По-настоящему тихим меценатом, меценатом, который настолько хорошо разбирался в собственных делах, что не считал себя вправе лезть с глупостями в чужие, был молодой человек по фамилии Штарк; он имел отношение к электрическим лампочкам «Осрам». Он часто бывал в нашей компании, внимательно прислушивался к разговорам, но молчал и только иногда, при случае, предлагал свою помощь, делая это незаметно и деликатно. В одном из домов в центре города, принадлежавшем ему или его фирме, освободилась квартира, три прекрасные смежные комнаты. Он предложил ее Ибби, на несколько месяцев, пока она пустовала. Устланные коврами комнаты были абсолютно пусты. Он велел поставить диван, чтобы Ибби было на чем спать, вот и вся меблировка. Остальное было предоставлено самой Ибби.

Ей пришла в голову забавная мысль оставить квартиру пустой, не покупая никакой мебели, и пригласить в эту пустоту гостей. «Пусть нарисуют мебель в своем воображении, — сказала она. — Мне нужны гости с фантазией». А чтобы их фантазии было от чего оттолкнуться, она пустила пастись на зеленом ковре в средней комнате маленького фарфорового ослика. Ослик был премиленький, она увидела его в витрине антикварного магазина, вошла и предложила хозяйке взамен ослика стихотворение о нем. «Брехту машина, а мне осел. Что тебе больше нравится?» — спросила она меня, зная заранее, что я отвечу. Хозяйка магазина согласилась, в Берлине еще встречались такие люди. Ибби так была этим поражена, что написала свое «лучшее стихотворение», которое потерялось.

На новоселье она пригласила большую компанию, каждого гостя вели сначала к ослику, знакомили с ним, а потом предлагали устраиваться поудобнее. Во всей квартире не было ни одного стула, гости стояли или сидели на полу. Выпивки было вволю, об этом тоже позаботились меценаты. Пришли все, каждому хотелось посмотреть на пустую квартиру, о которой уже пошли слухи, и почему-то никто не ушел, остались все. Ибби просила меня поблагодарить за Георгом Гросом, она боялась, что он, подвыпив, полезет к ней с приставаниями и начнет нести то, во что я никак не хотел поверить. Он пришел и был очарователен, как истинный денди; с ним был еще кто-то, нагруженный бутылками для Ибби. «Жаль, что я ни в кого не могу влюбиться, — сказала она мне. — Сегодня все начинается очень мило. Но погоди!»

Ждать пришлось недолго. Грос пришел в легком подпитии и какое-то время играл в благородство. Он сидел на диване, Ибби недалеко от него на полу. Он протянул к ней руку, она отодвинулась за пределы досягаемости. И тут его вдруг прорвало. «Вы никого к себе не подпускаете! Тоже мне недотрога! Что все

это значит? — кричал он, не зная удержу и распаляясь все больше. Потом он поменял пластинку и перешел к восхвалению „окороков": — Окорока, окорока, к вам тянется моя рука». Она предупредила меня, что все будет именно так, еще тогда, когда я, впервые побывав у него, принес подаренную мне папку с «Ессе Ното» и был полон восхищения им самим, остротой его глаза, непреклонностью, с которой он обличал пороки берлинского общества. И вот он сидит красный как рак, пьяный, возбужденный, потерявший над собой контроль, потому что Ибби не дается ему в руки, и бесстыдно ругается на глазах всей честной компании, которую его поведение несколько не шокирует. В этот момент он вдруг напомнил мне один из своих рисунков.

Мне было невмоготу, я был в отчаянии и злился на Ибби, которая довела его до такого состояния, заранее зная, чем все кончится. Я был единственный, кому здесь было не по себе, я решил уйти и пробрался к выходу, но уйти не удалось: у дверей, преграждая мне путь, уже стояла Ибби. Ей было страшно. Она спровоцировала всю эту историю, чтобы доказать мне, что он действительно обращается с ней так, как она говорила. Но приступ ярости Гроса был так силен и продолжителен, что она испугалась. Она, никогда ничего не боявшаяся, умевшая выпутаться из самых сложных и опасных ситуаций, в которые не раз попадала (я знал о ней все, она ничего от меня не скрывала), теперь не решалась остаться в квартире, которая была полна гостей. Она искала у меня защиты. Я ненавидел ее за то, что в эту минуту не мог оставить ее одну. Пришлось остаться и наблюдать за тем, как один из немногих людей в Берлине, которыми я восхищался, человек, который был ко мне великодушен и вел себя, на мой взгляд, безукоризненно, на глазах у всех терял человеческое достоинство. Я следил за тем, чтобы Ибби не попала ему в руки. Мне было невыносимо слышать его неистовства, уж лучше бы она пошла с ним. Выходка Гроса никого не удивила, к ней привыкли, она была частью повседневной жизни. Я рвался прочь, прочь отсюда, и поскольку я не мог уйти из квартиры, мне хотелось уехать из Берлина.

Бегство

Это случилось в разгар сентября. В конце августа мы с Ибби были на премьере «Трехгрошовой оперы». Изошренная, рассчитанная до мелочей постановка как нельзя лучше выражала суть тогдашнего Берлина. Зрители ликовали, они узнавали на сцене себя и любовались *собой*. Сперва у *них* шла жратва, а уже потом нравственность, никто не сказал бы об этом точнее, но они восприняли слова Брехта буквально. Призыв прозвучал,

и они купались в блаженстве, как свиньи в навозе. Позаботились и об отмене наказания: об этом возвестил гонец на живом коне. От спектакля веяло таким откровенно бесцеремонным самодовольством, что я бы не поверил, не будь сам тому свидетель.

Если задача сатиры в том, чтобы бичевать людей за допущенные ими несправедливости, за скотство и низость, которые в них разрастаются, то в спектакле, наоборот, прославлялось то, о чем обычно стыдливо умалчивают; особенно много насмешек выпало на долю милосердия. Разумеется, все там было позаимствовано и только слегка сдобрено новыми грубыми выпадами, но именно эти выпады и составляли истинную суть пьесы. Перед нами была не опера и не пародия на нее, как в первоначальном варианте, а самая настоящая оперетта. Слащавой венской оперетте, в которой зрители легко находили все, о чем мечтали, противопоставлялась берлинская оперетта, с ее жестокостями, подлостями и банальным оправданием того, к чему берлинцы стремились не меньше, а, пожалуй, даже больше, чем венцы к слащавости.

Моя спутница была ко всему этому равнодушна, неистовство зрителей, толпившихся у рампы и готовых в приливе восторга разнести все вокруг в щепы, было ей столь же неприятно, как и мне. «Романтика преступления, — сказала она, — все насквозь фальшиво». И хотя я был благодарен ей, хотя я тоже чувствовал фальшь и сказал об этом, но мы с ней имели в виду совершенно разные вещи. Она высказала мысль более оригинальную, нежели сама пьеса: всякий бы хотел быть на месте этих нищих, но был слишком труслив, чтобы решиться на такой шаг. Она видела в пьесе искусно замаскированное лицемерие, бездушную жалостливость, которую держат под контролем и используют по мере необходимости; это доставляет удовольствие, но избавляет от ответственности. Мне же все представлялось значительно проще: каждый втайне считал себя Мэкки Ножом, а тут вдруг тайное стало явным и вызвало одобрение и восхищение. Наши взгляды разошлись, но они нигде не соприкасались, не мешали друг другу и лишь укрепили нас в нашем неприятии спектакля.

В тот вечер я почувствовал, что Ибби близка мне, как никогда. Ее ничем нельзя было удивить. Беснующуюся публику она просто не замечала. Масса никогда не притягивала ее. На общественное мнение она просто не обращала внимания, будто его и не существовало. Море берлинской рекламы оставляло ее равнодушной, она не помнила названия ни одного «товара», и если ей нужно было что-нибудь для повседневного обихода, она не знала, как называется то, что ей нужно, и где его искать; расспросы в магазинах ставили ее в рискованное положение. Сто-тысячная демонстрация, проходившая мимо, не привлекала и не отталкивала ее, то, что она говорила после прохождения демон-

страции, ничем не отличалось от того, что говорилось накануне. Она была наблюдательна и подмечала массу подробностей, но все это не складывалось вместе и не становилось направлением, целью, принуждением. В Берлине, сотрясаемом острейшими политическими битвами, я не слышал от нее ни слова о политике. Может быть, это было связано с тем, что она ничего не умела повторять вслед за другими. Она не читала ни газет, ни журналов. Увидев в ее руках журнал, я знал: там напечатано ее стихотворение и она хочет показать его мне. Так оно каждый раз и было, и если я спрашивал, что еще интересного в журнале, она качала головой: не знаю. Меня это неприятно задевало, и я часто обвинял ее в чрезмерном себялюбии. Она вела себя так, будто была одна на свете. Но я ошибался, она замечала в людях — причем в людях самого разного склада — больше, чем кто-либо другой. Для меня было загадкой, почему она не дает массе увлечь себя, но на премьере «Трехгрошовой оперы» мне пришлось по душе то, в чем я ее не раз упрекал.

В Берлине я увидел много такого, что меня ошеломило и привело в замешательство. Все это в преображенном виде, перенесенное в другие местности, узнаваемое только мной, вошло в мои более поздние сочинения. Сокращать и приспосабливать к своим целям то, что уже сложилось и существует, противоречит моим принципам. Я предпочел выделить из этих трех берлинских месяцев лишь очень немногое, прежде всего то, что сохранило узнаваемые очертания и не успело раствориться в таинственных закоулках сознания, откуда мне пришлось бы все это вытаскивать на свет божий и облекать в новую форму. В отличие от многих, особенно тех, кто находится во власти многословного психологизирования, я не разделяю убеждения, что память можно терзать, насиловать, шантажировать или подвергать воздействию хорошо рассчитанных соблазнов. Я преклоняюсь перед памятью, память каждого человека для меня священна. Я хочу оставить ее точно такой, какой она сложилась в человеке, отстаивающем свою свободу, и не скрываю отвращения, которое внушают мне те, кто не стесняется до тех пор подвергать ее хирургическому вмешательству, пока она не начинает походить на память всех остальных людей. Пусть они с помощью своих операций меняют людям носы, губы, уши, кожу и волосы, пусть, если уж им так хочется, вставляют им глаза другого цвета и даже чужие сердца, которые позволят прожить лишний годик, пусть ощупывают их, укрепляют, приглаживают, нивелируют, но память пусть оставят в покое.

Высказав свое кредо, я намерен рассказывать только о том,

что ясно вырисовывается перед моими глазами, постараюсь сохранять объективность и впредь.

Когда в «Трехгрошовой опере» эпоха нашла свое законченное выражение, когда всех без исключения, объединив противоборствующие силы, захватил лозунг «Сперва жратва, а нравственность потом», во мне стал назревать протест. До сих пор соблазн остаться в Берлине был велик. Казалось, я блуждал в хаосе, которому не было конца. Ежедневно новое вытесняло старое, которое еще три дня назад считалось новым. В море хаоса мертвыми островками плавали вещи, даже люди становились вещами. Это называлось новая вещьность или новая деловитость. По-иному и быть не могло после затянувшихся ламентаций экспрессионизма. Но при всем том здесь умели жить независимо от того, чему отдавалось предпочтение — все еще ламентациям или уже деловитости. Если новичок, прожив в Берлине несколько недель, не впадал в растерянность, а сохранял ясную голову, он считался дельным человеком и получал заманчивые предложения, побуждавшие его остаться в этом городе. Здесь любили новеньких, хотя бы уже потому, что таковыми они оставались недолго. Их встречали с распростертыми объятиями, но тут же начинали высматривать других, идущих следом, ибо существование и процветание этого на свой лад великого времени зависело от постоянного притока нового. Ты еще ничего собой не представляешь, а тебя уже используют, тебе приходится вращаться главным образом среди тех, которые недавно тоже были новичками.

Старожилами считались те, у кого была «порядочная» профессия. Самой порядочной — причем не только в моих глазах — была профессия врача. Ни Дёблин *, ни Бенн * не относились к фигурам заурадным. Работа отвлекала их от каждодневной непрекращающейся саморекламы. Того и другого я видел редко и вскользь и не мог бы рассказать о них ничего существенного. Но я обратил внимание, в каком тоне о них говорили. Брехт, не считавшийся ни с какими авторитетами, имя Дёблина произносил с величайшим уважением. Я крайне редко видел его неуверенным; тогда он говорил: «Об этом мне надо посоветоваться с Дёблином». Это звучало так, будто Дёблин был мудрецом, у которого Брехт спрашивал совета. Бенн, симпатизировавший Ибби, был единственным, кто к ней не приставал. Она подарила мне полученную от него новогоднюю открытку. Он желал ей в новом году всего того, что может пожелать себе молодая красивая девушка, и перечислял пожелания. Среди них не было ничего, о чем Ибби когда-нибудь мечтала. Он судил о ней по внешности и не менял своего суждения. Создавалось впечатление, что открытку, не имевшую ничего общего с Ибби, написал уверенный в себе, полный нерастрченных сил человек.

В качестве «новичка» я мог бы остаться, и внешний успех был бы мне обеспечен. Этой среде нельзя было отказать в известном великодушии. Да и трудно было сказать «нет», когда тебя с такой теплотой и настойчивостью уговаривали остаться. Я попал в неловкое положение: все желали мне добра, более того, из рассказов Ибби я знал о каждом таком, о чем остальные даже не догадывались. Ей были известны их самые смешные стороны, ее наблюдательность не ведала жалости и не терпела неточности, в ее рассказах никогда не было фальши или приблизительности, то, чего она не видела собственными глазами или не слышала собственными ушами, для нее просто не существовало. Ибби была *вожделенным* свидетелем, она могла рассказать больше других, потому что умела оставаться независимой.

Я держался за нее в те недели после премьеры, когда во мне стало крепнуть желание бежать. Мне надо вернуться в Вену, говорил я, чтобы сдать экзамены, тогда весной я смогу получить докторскую степень. Так планировалось с самого начала. А летом следующего года я вернусь в Берлин и решу по обстоятельствам, что делать дальше. Ибби не была сентиментальна. «У тебя нет прочных привязанностей, — сказала она. — Ты на это просто не способен. С этим у тебя обстоит точно так же, как у меня с любовью». Она хотела сказать, что никому еще не удавалось заморочить ей голову, взять ее лестью или принуждением. «И с предстоящими экзаменами ты ловко придумал, — добавила она. — Люди искусства тебя поймут! Это же куда не годится: четыре года мучиться в лаборатории и не стать доктором! Черт знает что!»

У Ибби был запас стихотворений, которого ей с избытком хватил на год, многие я отредактировал, придал им немецкую форму. Сигаретный фабрикант, который присутствовал при обсуждении стихов, положил ей на год ежемесячную стипендию, деньги приходили уже дважды, каждый раз в сопровождении вежливой, почтительной открытки.

Как я и ожидал, она легко меня отпустила. Между нами не было близости, мы даже ни разу не поцеловались, но нас связывали живые люди, те, о ком она мне рассказывала, целый лес людей, который продолжал расти и о котором мы оба не могли забыть. Мы не любили писать письма, ни она, ни я. Конечно же, она иногда писала мне, и я писал ей, но это были пустяки, они не шли ни в какое сравнение с нашими встречами, с ее рассказами.

Потом, через три недели после премьеры, случилась эта вечеринка в пустой квартире, которая повергла меня в шоковое состояние и разрушила очарование ее рассказов.

Я начал стесняться того, что она рассказала мне о других. Мне стало ясно, что она нарочно разжигала мужчин, чтобы бы-

ло о чем мне рассказать. Когда, наконец, я обнаружил, что свежесть, неповторимость и точность ее «донесений» напрямую связаны с провоцированием мужчин на нелепые поступки, что она дирижировала хором голосов, которые я так любил слушать, когда я окончательно уяснил для себя, что никогда, в буквальном смысле слова ни разу мне не довелось слышать от нее ни одного *доброго* слова о ком бы то ни было, и все из-за ее боязни показаться скучной, я вдруг почувствовал к ней антипатию и предпочел ее насмешкам молчание Бабеля.

Последние две недели в Берлине мы виделись ежедневно. Я приходил к нему один и чувствовал себя свободнее, да и ему, как мне кажется, так было приятнее. Я узнал от него, что можно очень долго вглядываться и не замечать ничего особенного, что лишь много позже выяснится, знаешь ли ты хоть что-нибудь о человеке, за которым наблюдал, выяснится тогда, когда этот человек уже исчезнет из виду; что увиденное и услышанное можно запомнить неосознанно, что все это будет покоиться в тебе в целостности и неприкосновенности, если ты не злоупотребишь накопленным для развлечения других. И еще я научился у него тому, что после долгих лет учебы у «Факела», видимо, было для меня еще важнее: мне открылось убожество осуждения и проклятия, превратившихся в самоцель. Я усвоил его манеры наблюдать за людьми: долго, пока они не исчезали из виду, ни слова не говоря об увиденном; я усвоил его неторопливость, сдержанность, молчаливость, его умение придавать значение тому, что открывалось его взгляду. Он не уставал наблюдать, это было его единственной страстью, да и моей тоже, только моя была еще неопытной, неуверенной в себе.

Я думаю, нас связывало слово, которое мы ни разу не произнесли, оно пришло мне на ум сейчас, когда я вспоминаю о Бабеле. Это слово — «учение». Он был буквально одержим жаждой учения. Он рано начал учиться и относился к учению с глубоким благоговением, оно разбудило в нем, как и во мне, страсть к познанию. Но его жажда познания была целиком обращена к людям. Чтобы изучать их, ему не нужен был предлог, он не ссыался на необходимость расширения знаний, на пользу дела, на целесообразность или на далеко идущие планы. Именно в это время я тоже всерьез повернулся лицом к людям и с тех пор большую часть своей жизни занимаюсь их изучением. В ту пору я еще убеждал себя, что занимаюсь этим во имя той или иной цели, которую я перед собой ставил. Но когда все другие предлоги рассыпались в прах, у меня осталась единственная цель — *ожидание*, для меня было архиважно, чтобы люди и я сам стали *лучше*, поэтому я должен был знать обо всех как можно больше. Бабель с его громадным жизненным опытом, хотя он и был старше меня всего на одиннадцать лет, давно прошел через это.

Он изучал человека не потому, что мечтал его усовершенствовать. Я чувствовал, что эта мечта была в нем такой же неутолимой, как и во мне, но его она никогда не толкала к самообману. Он изучал людей независимо от того, радовало его это, мучило или угнетало, изучал, потому что не мог иначе.

1980

ПЕРЕМИГИВАНИЕ

Музиль

Музиль всегда был готов к отпору и нападению, хоть внешне это и не бросалось в глаза. Он постоянно был начеку. Поневоле возникала мысль о защитной броне, но верней тут будет слово «скорлупа». Он не надевал на себя эту оболочку, ограждавшую его от мира, — она к нему приросла. Междометий он в речи не допускал, чувствительных слов избегал; всякого рода любезность казалась ему подозрительной. Рамки, в которые он поставил себя, распространялись на все вокруг. Неразборчивость и панибратство, словоизлияния и чрезмерность чувств были ему чужды. Это был человек твердого состояния, все жидкое и газообразное ему претило. Он знал толк в физике, и не только знал, она вошла в его плоть и кровь. Трудно, пожалуй, назвать другого писателя, который был бы до такой степени физиком и пронес это свойство через все свое творчество. В разговорах о том, о сем он не участвовал; попав в компанию тех любителей поболтать, от которых в Вене нигде не укрыться, он замыкался в своей скорлупе и помалкивал. Зато он чувствовал себя своим среди ученых и с ними держался естественно. Он считал, что как исходные позиции, так и цели должны быть определенными. Всякие извилистые пути казались ему отвратительными и достойными презрения. Но это отнюдь не означало ориентации на *простоту*, своим безошибочным инстинктом он чувствовал, насколько она недостаточна, и его тщательные описания не оставляли от нее камня на камне. Слишком изощренным, слишком деятельным и острым был его ум, чтобы довольствоваться простотой.

Никогда, ни в каком обществе он не чувствовал себя ниже других, и хотя на людях редко любил подавать голос и вступать в борьбу, каждый такой случай он воспринимал как брошенный ему вызов. Борьбой это оборачивалось потом, годы спустя, когда он оставался один. Он ничего не забывал. Каждое столкновение со всеми подробностями запечатлевалось в его душе, а поскольку натура его требовала все доводить до победы, он никак не мог закончить труд, который должен был так много в себя вместить *.

Он избегал нежелательных прикосновений. Ему хотелось сохранить власть над своим телом. Мне кажется, он неохотно подавал руку. Ему, наверно, пришлось бы по душе обычаи англичан обходиться без рукопожатий. Он поддерживал хорошую физическую форму, стараясь, чтоб тело во всем было ему послушно. О теле он заботился больше, чем это было принято среди интеллигентных людей того времени. Спорт был для него неотделим от гигиены, этим определялся режим его дня, которому он себя подчинил. В любом созданном им персонаже есть частица того здорового человека, каким был он сам. Разного рода странности выделялись на фоне, который определялся его здоровьем и работоспособностью. Музиль, понимавший невероятно много, обладавший точным взглядом и еще более точным умом, не растворялся до конца ни в одном из своих персонажей. Зная выход, он любил подводить к нему не сразу, именно потому, что был в нем так уверен.

Думаю, его значения не умалит, если подчеркнуть в нем непокладистость. С мужчинами он был настроен на борьбу. На войне он был в своей стихии, тут он умел себя проявить. Он был офицер и заботился о своих людях, стараясь этим как-то компенсировать проявившуюся жестокость жизни, которая так угнетала его самого. Природа или, если угодно, традиция требовали от него остаться в живых, и он этого не стыдился. После войны все это уступило место соревнованию, и в нем он был подобен греку.

Человек, положивший руку ему на плечо таким благодушным располагающим жестом, попадал в число персонажей, которые занимали его особенно долго. Даже смерть не избавляла беднягу. Непрошенное прикосновение руки продлевало ему жизнь еще лет на двадцать.

Слушать, как Музиль говорит, было переживанием особого рода. Разнообразием речь его не отличалась. Он был слишком самим собой, чтобы кого-либо изображать. Я не слышал, чтобы кто-то уличил его в актерстве. Говорил он довольно быстро, но отнюдь не летел куда-то стремглав. По его речи нельзя было сказать, что этот человек обдумывает одновременно много мыслей: прежде чем заговорить, он уже выделял какую-то одну. Во всех его рассуждениях царил подкупающий порядок. Вдохновенная экзальтация, отличавшая обычно выступления экспрессионистов, вызывала у него презрение. Он слишком высоко ценил вдохновение, чтобы злоупотреблять им, демонстрируя самого себя. Всего отвратительней была ему верфелевская пена у рта *. Стыдливость не позволяла Музилю выставлять вдохновение на показ. Оно могло проявиться вдруг в неожиданных, удивительных образах, но он тут же вводил его в рамки своих ясно выстроенных фраз. Он не любил всякого рода словоизвержений,

и если терпеливо сносил чей-то поток слов (к удивлению самого говорящего), то лишь потому, что решился его переплыть и доказать себе самому, что в любом, даже самом худшем случае можно добраться до другого берега. Он всегда был готов что-то преодолевать, но никогда по нему нельзя было сказать, что он настроен на борьбу. Никакой борьбы не было заметно, он просто погружался вдруг в материал, и ты уже оказывался в плену его мысли, но хотя победитель стоял перед тобой, подвижный и в то же время непоколебимый, ты ни о какой победе не думал — слишком важной оказывалась суть дела.

Но это была лишь одна сторона поведения Музиля на людях. Ибо эта уверенность сочеталась с чувствительностью, подобной которой я ни у кого не встречал. Чтобы разговориться, ему надо было ощутить себя в компании, где понимали, кто он такой. Не везде он мог себя показать, тут нужны были особые ритуальные условия. Была категория людей, при которых он замыкался и молчал. Тогда особенно заметно было сходство этой его повадки с черепашей, многие судили о нем только по его панцирю. В неподходящем окружении из него было не выжать ни слова. Он мог появиться в кафе и покинуть его, не проявив себя ни единой фразой. Не думаю, что это давалось ему легко, и хотя внешне он этого никак не показывал, чувствовалось, что такая немота для него тягостна. А не признавать над собой ничьего превосходства он имел все основания: среди тех, кто числился в Вене писателями, некого было сравнить с ним по значению, а может, и во всем немецкоязычном регионе не было ему равных.

Сам он себе знал цену, по этому важнейшему вопросу он был до конца жизни от сомнений избавлен. Те немногие, кто также это понимали, понимали, казалось ему, недостаточно, ибо, желая подчеркнуть свое высокое мнение о нем, они любили сравнивать его с другими. В последние четыре или пять лет австрийской независимости, когда Музиль вернулся из Берлина в Вену, обычно звучали три имени, поднимавшихся на щит авангардом: Музиль, Джойс и Брок, или Джойс, Музиль и Брок. Когда сейчас, спустя полвека, задумываешься над тем, кто оказался объединен в этой странной троице, можно понять, что Музиля участие в ней не особенно радовало. «Улисса», только что появившегося тогда по-немецки *, он категорически не принимал. Ему было глубоко чуждо расщепление языка, он называл его — если вообще заговаривал на эту тему — старомодным и связывал с концепциями ассоциативной психологии, давно ставшей достоянием прошлого. В Берлине он общался с основателями гештальтпсихологии *, которая оказала на него влияние и которой он, пожалуй, отдал дань в своем главном произведении. Имя Джойса было ему неприятно, он не видел в своей работе ничего

общего с ним. Когда я стал рассказывать ему о своей «встрече» с Джойсом в Цюрихе, в начале 1935 года, он нетерпеливо спросил меня: «И что это вам дало?» Мне еще повезло, что он тут же отвлекся от Джойса и не прервал разговор вовсе.

Но кто его в литературе особенно раздражал, так это Брех. Он давно его знал как промышленника, как мецената, как запоздалого студента-математика. Но как писателя он его просто не принимал всерьез. Ему казалось, что трилогия Бреха* подражает его собственному замыслу, над которым он трудился не один десяток лет, и то, что Брех, едва начавший работу, уже довел ее до конца, вызывало у него крайнее недоверие. Говорил он в таких случаях без обиняков, и я не слышал от него о Брехе ни одного доброго слова. Я не сумел запомнить конкретных его высказываний о Брехе, может, потому, что сам находился в непростой ситуации, ведь мне-то были дороги они оба. То, что между ними установились напряженные отношения, чуть ли не противоборство, было для меня особенно мучительно. Я ведь знал, что оба они принадлежали к числу тех немногих, для кого литература — серьезный труд, кто пишет не ради популярности или денежного успеха. В ту пору это было для меня, пожалуй, даже еще важнее, чем их творчество.

Странно должен был чувствовать себя Музиль, слыша свое имя в составе такой троицы. Как мог он поверить, будто человек понимает значение его творчества, если тот сразу же, не переводя дыхания, заводил речь о Джойсе, чьи поиски представлялись ему прямой противоположностью его собственным! Практически не существовавший для читателя ходовой литературы тех лет от Цвейга до Верфеля, он в результате не чувствовал себя своим и в компании, где его, казалось бы, поднимали на щит. Когда друзья рассказывали ему, как кто-то восхищался «Человеком без свойств» и за какое счастье он почел бы познакомиться с автором, первый его вопрос был: «А кто ему еще нравится?»

Эта чувствительность нередко оборачивалась против него самого. И хотя я сам от нее пострадал, мне со всей убежденностью хотелось бы высказаться в ее защиту. Музиль был погружен в свой замысел, который надо было довести до конца. Он не мог знать, что движется к бесконечности, в двояком смысле: не только к бессмертию, но и к невозможности завершить работу. В истории немецкой литературы этот замысел не имеет себе равных. Кто, в самом деле, отважился бы воссоздать в романе саму Австрию? Кто мог бы сказать о себе, что знает эту империю через себя самого, а не просто через населяющие ее народы! И ведь это не единственное, что составляет богатство романа; но тут тема для особого разговора. Он *сам*, как никто другой, был этой закатившейся Австрией, и это сознание давало ему в каком-то смысле право на особую чувствительность, чего явно никто не

понимал. Нужно ли было дергать ту несравненную материю, которую он собой являл? Нужно ли было нарушать чистоту этого вещества, замутнять его добавкой посторонних примесей? Чувствительное отношение к собственной личности, может быть, смешное, когда речь идет о Мальволио *, отнюдь не смешно, когда речь идет об особом, невероятно сложном и богатом мире, который человек вынашивает в себе и который старается с помощью этой чувствительности защитить, покуда ему не удалось выявить его вовне.

Чувствительность его была ничем иным, как защитой от всего, что могло замутнить этот мир и нарушить его чистоту. Ясность и прозрачность письма отнюдь не даются сами собой и не сохраняются, достигнутые однажды; их надо непрестанно вырабатывать. Нужна сила, чтобы сказать себе: я хочу только так. А значит, мне нужна определенность, чтобы не допустить в себя ничего, способного повредить. Существует невероятное напряжение между огромным богатством мира, который уже в тебе живет, и всем, что грозит в него вторгнуться, что надо отвергнуть. И решить, что надо отвергнуть, может лишь тот, кто носит в себе этот мир, позднейшие же толки об этом людей, особенно тех, кто никакого мира в себе не носит, выглядят жалкими и самонадеянными.

Речь идет о чувствительности к неподходящей пище, а ведь имя человека тоже надо постоянно питать, поддерживать, чтобы тот, кто его носит, был уверен в правильности своего курса. Имя тоже растет и нуждается в собственной пище, а какова она должна быть, никто со стороны знать и решать не может. Покуда столь богатый замысел находится еще в работе, такая чувствительность необходима.

Потом уж, когда он, сумев благодаря своей чувствительности выстоять и осуществить свой труд, умрет, а имя его, раздутое и обезображенное, как тухлая рыба, будет валяться по всем базарам, тогда уж пусть бегут по его следу ищейки, всегда все лучше знающие и сочиняющие задним числом правила благопристойного поведения, пусть обличают эту чувствительность, объявляя ее непомерным тщеславием — произведение уже существует, с ним больше ничего не поделаешь, а они со своим бесстыдством растают и сгинут бесследно.

Для многих предметом насмешки была беспомощность Музиля в делах материальных. Брех, хорошо понимавший его значение, никогда не унижавшийся до злословия и вообще всегда сострадавший другим, сказал мне о Музиле, когда я впервые зашел о нем речь: «Он король в бумажном царстве». Имелось в виду, что Музиль властен над людьми и вещами лишь за своим

столом, над листом бумаги, а в обычной жизни, когда оказывается с вещами и обстоятельствами один на один, становится беспомощным и беззащитным, не может обойтись без других. Все знали, что Музиль совершенно не умеет обращаться с деньгами, он даже избегал брать их в руки. Он не любил никуда ходить один, повсюду его сопровождала жена, она покупала ему билеты в трамвае и расплачивалась за него в кафе. Он никогда не носил при себе денег, я ни разу даже не видел у него в руках монету или ассигнацию. Казалось, деньги несовместимы с его представлениями о гигиене. Он просто не хотел думать о деньгах, ему это было скучно и неприятно. Жена отгоняла от него деньги, как мух, и это было вполне в его духе. В результате инфляции он потерял все, что у него было, и оказался в положении очень тяжело. Масштаб замысла, за который он взялся, никак не соответствовал средствам, которыми он располагал.

Когда он вернулся в Вену, его друзья образовали Музилевское общество, члены которого должны были вносить ежемесячные взносы, чтобы обеспечить ему возможность продолжать работу над «Человеком без свойств». Он был в курсе этой затеи и интересовался, исправно ли эти люди вносят свои суммы. Не думаю, что существование этого общества вызывало у него чувство неловкости. Он не без основания полагал, что эти люди знают, о каком произведении идет речь. Возможность внести в это свой вклад была для них честью. Еще лучше, если бы таких людей набралось побольше. Я всегда подозревал, что он рассматривает это Музилевское общество как своего рода орден. Принадлежность к нему была высокой честью, и я задавал себе вопрос, не склонен ли он исключить из него недостойных. Благородное презрение к деньгам вполне сочеталось с таким способом продолжать работу над произведением, каким был «Человек без свойств». Когда Гитлер оккупировал Австрию, этому пришел конец: большинство членов общества были евреи.

В последние годы жизни Музилю, оказавшемуся в Швейцарии совершенно без средств, пришлось жестоко поплатиться за свое презрение к деньгам. Как ни тяжело думать об унижительности его тогдашнего положения, мне все-таки не хотелось бы представить его себе другим. Это величественное презрение к деньгам при отнюдь не аскетических наклонностях в жизни, это полное отсутствие таланта к заработку, столь обычного у других, что грех как-то и употреблять здесь слово «талант», характеризует на мой взгляд саму суть его духовного устройства. Он не создавал из этого проблем, не изображал из себя бунтаря, вообще об этом не говорил, его тайная гордость была в том, чтобы *самому* не обращать на это никакого внимания, но при этом, конечно, сознавать и не упускать из виду, что это значило для других.

Брох был членом Музилевского общества и каждый месяц аккуратно вносил свой взнос. Сам он об этом никогда не говорил, я узнал это от других. Резкая неприязнь Музиля к нему как к писателю, обвинение, высказанное в одном письме, будто для трилогии «Лунатики» он скопировал план «Человека без свойств», все это должно было его раздражать, так что к оброченным в разговоре со мной словами насчет «короля в бумажном царстве» стоит отнестись снисходительно. Я не согласен с этой иронической характеристикой. И сейчас, когда их обоих уже столько лет как нет в живых, я хотел бы об этом сказать. Брох, сам немало натерпевшийся из-за отцовского финансового наследства, умер в эмиграции в такой же нищете, как Музиль. Королем он не был и быть не хотел. Музиль *был* королем в «Человеке без свойств».

1986

Недреманное ухо. 50 характеров



Гере и Йоханне

Возгласительница Королей

Есть в Возгласительнице Королей нечто величественное, она знает, к чему обязывает ее принятая на себя миссия, и славится тем, как потчует гостей. Но одно только угощение еще не все. И приглашенные чувствуют, что предстоит также и нечто особенное. Не сразу сообщает она о том, что это такое, и нетерпеливое напряжение нарастает. Нет, ниже чем Король это быть не может, о меньшем она не возвещает. Возгласительница Королей высока ростом и импозантна, и неисчерпаем запас ее презрения. По малейшему движению распознает она холопа и держит его, еще до возглашения, подальше от Короля. Впрочем, и на вельмож глаз ее остер, этих она умеет и ловко поддержать, и продвигать и находит им применение при всех дворах.

Так и чувствуешь, как она собирает свое воодушевление, приберегая его для великого мига. Она сурова и презирает нищих, интересуясь ими лишь в случае необходимости и выстраивая шпалерами целые сонмы, когда предстоит возглашение Короля. Тогда разлетаются настежь все двери в ее жилище, оно разрастается, превращаясь в дворец, ангелы поют, епископы раздают благословение, она, в новом своем облачении, зачитывает телеграмму от Господа Бога и ликующе возглашает Королевское Имя.

Волнующее и трогательное зрелище видеть ее вместе с королями уже позабытыми; она не забывает никого и никогда, берет на заметку даже самые задрипанные экземпляры, пишет им, посылает подобающие случаю мелкие подарки, раздобывает для них работу, а когда почести и слава давно уже миновали, она единственная, кто еще помнит обо всем. И в толпе нищих, которых она преподносит по большим оказиям, можно обнаружить того или иного из прежних Королей.





Band 2083, DM 9,80



Band 5404, DM 12,80



Band 606, DM 12,80



Band 5058, DM 11,80



Band 5429, DM 5,80



Band 2103, DM 5,80

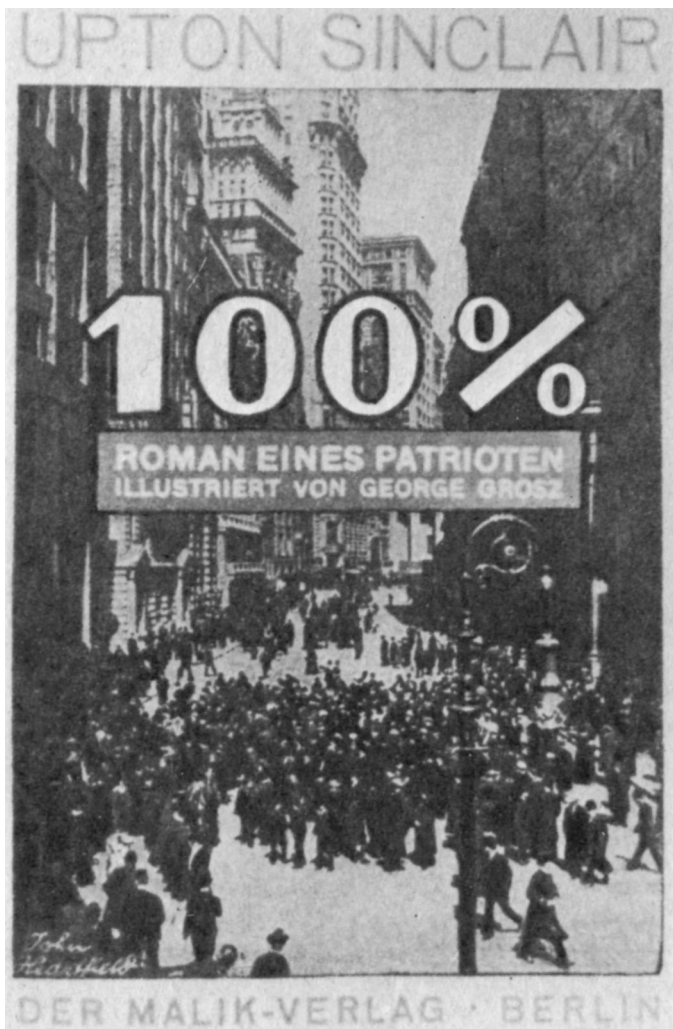


Band 6544, DM 16,80



Band 1677, DM 9,80

Карманные издания книг Э. Канетти



Суперобложка романа У. Синклера «100%», выполненная художником Дж. Хартфилдом. Этот роман вышел в издательстве «Малик» в переводе Э. Канетти



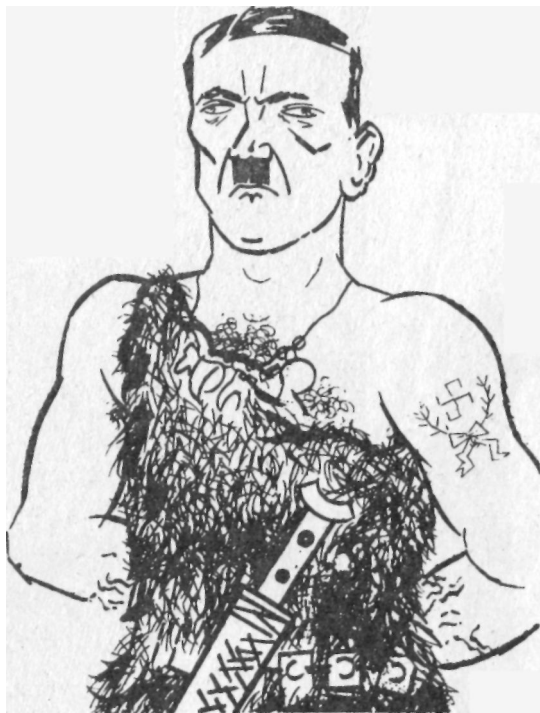
Карл Краус, 1908



Бертолт Брехт, 1927



Исаак Бабель. Карикатура А. Гофмейстера, 1934



Гитлер-спаситель. Карикатура К. Гросса, 1931



Герман Брох, 1937



Роберт Музиль



Э. Канетти, начало 80-х годов



Э. Канетти. Рисунок Р. Шёнвальда

Имялиз

Имялиз хорошо знает, что ему нужно, он чувствует это за тысячу верст и не жалеет сил, чтобы добраться до Имени, которое намерен полизать. С автомобилями и самолетами это сегодня дело немудреное, труд не так уж велик, но следует, однако, сказать, что он, будь это необходимо, не пожалел бы и больших усилий. Его аппетит разгорается при чтении газеты; что в газеты не попадает, не будит его страсти. А если Имя мелькает раз за разом и, уж тем более, появляется в заголовках, тогда влечение становится необоримым и он спешно отправляется в путь. Хватает денег на поездку — отлично, нет — занимает сколько нужно и рассчитывается сиянием своего великого намерения. Его речи на эту тему всегда впечатляющи. «Мне надо полизать И. И.» — говорит он, и это звучит так, как звучали когда-то сообщения об экспедициях к недостижимому Северному полюсу.

Он умеет объявиться неожиданно, и ссылается он на кого-нибудь или нет, всякое слово стоит таких усилий, будто он в последней стадии изнеможения. Именам льстит, что кто-то чуть не погиб от жажды, иссушаемый горячим стремлением к встрече с ними, что весь огромный мир — пустыня, а они — единственный источник, и имена, не забывая предварительно посетовать на недостаток времени, изъявляют готовность принять Имялиза. Можно даже сказать, что они ожидают его появления с некоторой долей нетерпения. Приготавливают для него лучшие свои части, моют их (правда, лишь их — как следует) и полируют до полного блеска. Появляется Имялиз. Он ослеплен. Его безудержное желание тем временем разрослось; и он не делает из него тайны, приближается без стыда и хватается за Имя. Основательно и не жалея времени облизав его, он щелкает затвором камеры. Разговоры не относятся к делу; возможно, он и бормочет что-то напоминающее славословия, но на эту удочку никто не попадает, всем известно, что ему требуется только одно — пройти языком. «Вот этим моим языком», — заявляет он после, старательно высовывая его и принимая выражения благоговейного трепета, каких еще не выпадало на долю ни единому Имени.

Своеподарочница

Она живет подарками, которые забирает обратно. Ни один не забыт. Она знает их все, ей известно, где находится каждый. Она обшаривает все эти места в охоте за ними и всегда находит подходящий предлог. С удовольствием посещает она и дома, где никогда не бывала, надеясь и здесь найти какой-нибудь из своих

подарков. Даже поникшие цветы расцветают вновь, чтобы быть забранными ею обратно.

И как только она ухитрилась все это надарить, да как не забрала еще раньше. Обо всем на свете забывающая — подарков она не забывает никогда и с трудностями сталкивается только в отношении тех из них, которые съедены. До чего же обидно бывает явиться, когда все уже подчищено без остатка. Тогда она сидит в задумчивости и потерянно припоминает, что здесь должно было быть. Косится украдкой по сторонам (человек она вежливый), выясняя, не припрятано ли где что-нибудь. Кухни влекут ее с особой силой. Один взгляд на отбросы — укол в сердце: вот они, шкурки от ее апельсинов. О, если б она принесла их попозже... или пришла бы за ними пораньше.

«Мой чайничек!» — говорит она и прижимает его к себе. «Мой шарфик! Мои цветочки! Моя блузка!» Если блузка на той, кому подарена, она просит разрешения примерить и, не забыв восхищенно повертеться перед зеркалом туда и сюда, уходит в ней восвояси.

Но не ожидает ли она, чтобы ей принесли обратно сами? Нет, она предпочитает забирать собственноручно. А не прихватывает ли заодно и что-нибудь еще? Нет, ей важны лишь собственные подарки. Именно они дороги, именно они желанны, они принадлежат ей. Но тогда зачем же она отдала их? Да что-бы забрать назад, для того и отдавала.

Переносчик

Переносчик не в силах держать при себе что-либо, что может кого-то обидеть. Он поспешает усердно и является раньше из всех прочих Переносчиков. Порою доходит до жестокой гонки, и хотя не все устремляются из одного и того же пункта, он, чувствуя, как близко уже остальные, обгоняет их гигантскими скачками. Он сообщает свое быстро и торопливо, и всегда по секрету. Никто не должен проведать о том, что ему все известно. Он ждет в ответ благодарности, а она — в соблюдении тайны. «Говорю об этом только вам. Это не касается никого кроме вас». Переносчик всегда в курсе, если чье-то положение под угрозой. И поскольку он движется с такой быстротой (он торопится изо всех сил), опасность по дороге все нарастает. Вот он на месте, и все уже совершенно точно. «Вас увольняют». Собеседник бледнеет. «Когда? — спрашивает он и — Как же так? Мне ничего не говорили!» — «Скрывают. Скажут в самый последний момент. Я должен был вас предупредить. Но только не выдавайте меня». Тут он долго и подробно распространяется о том, как бы-

ло бы ужасно, если б его выдали, и жертва, еще не успевшая до конца осознать всю меру грозящей ей опасности, уже полна сочувствия к Переносчику, этому лучшему другу.

Переносчик не упускает ни единого оскорбления, высказанного в порыве гнева, и заботится о том, чтобы оно достигло ушей оскорбленного. С меньшей охотой переносит он похвалы, однако, в доказательство своей благожелательности, принуждает себя по временам и к этому. В таких случаях он не спешит, тянет, прежде чем отправиться в путь. Похвала — будто гадкая отравка на языке. И пока он ее не выплюнет, ему кажется, что он вот-вот задохнется. В конце концов он выкладывает свои новости, весьма застенчиво, впрочем, и сдержанно, как бы робея перед чужой наготой.

А в остальном — ему неведомы ни стыд, ни отвращение. «Вам нужно защищаться! Вы должны что-то делать! Не можете же вы это вот так проглотить!» Он охотно наставляет пострадавшего, уже потому, что так все тянется дольше. Советы его того сорта, что страх жертвы возрастает. Для него-то ведь главное — человеческое доверие, разве может он прожить без доверия.

Слезогрей

Слезогрей ежедневно ходит в кино. И совершенно не обязательно, чтобы показывали что-нибудь новое, его привлекает и старый репертуар, главное, чтобы фильмы выполняли свое назначение и вызывали обильные слезы. Сидишь себе, невидимый для других, в темноте и ждешь результата. Холоден, бессердечен окружающий мир, и без этого ощущения теплой влаги на щеках жизнь была бы и вовсе невыносима. Но лишь только заструятся слезы, благодно и хорошо становится на душе, и сидишь тихонько, не шелохнувшись, и упаси боже стереть что-то платком, каждая слезинка должна отдать все свое тепло до последнего, и докатится ли она до губ или до подбородка, или даже ей удастся пробежать по шее и до самой груди — все принимает он с благодарной сдержанностью и поднимается со своего места лишь после хорошего купанья.

Не всегда Слезогрею было так хорошо, было время, когда приходилось довольствоваться своими собственными бедами, и если те заставляли себя ждать, ему казалось, что вот-вот он зачоченеет, до смерти. Он бился и вился, пробираясь по жизни от потери к потере, навстречу боли, навстречу своей неуголимой печали. Люди, однако, помирают не всякий раз, как тебе необходимо погоревать, многие живучи и упираются. И случалось, вот, он готов уже к волнующему событию, уже разливалась по телу

блаженная слабость... и тогда (казалось — сейчас, совсем близко)... тогда не происходило ничего; только растрочена впустую уйма времени и надо опять искать подходящего случая, и ждать, начиная все с самого начала.

Понадобилось немало разочарований, прежде чем Слезогрею стало ясно, что ни с кем не случается в жизни достаточно для того, чтобы можно было прожить на свой собственный счет. Чего он только не перепробовал, пытался даже радости приспособить. Да ведь всякому, кто обладает в этом хоть каким-то опытом, известно, что на слезах радости далеко не уедешь. Пусть даже они и наполняют глаза, ведь случается по временам и такое, но нет — не текут они как положено, а что касается продолжительности действия, то это уж и вконец никудышное дело. И злость, и гнев тоже едва ли способны на большее. Есть лишь единственный надежный повод — утраты; причем предпочтительней всех других утраты непоправимые, в особенности если они постигают таких, что ничем этого не заслужили.

За плечами у Слезогрея долгая школа, зато уж теперь он в своем деле дока. Чего не выпало на его долю, он находит в судьбе других. И коли жизнь их не имеет к нему абсолютно никакого отношения, — незнакомые, далекие, прекрасные, невинные, великие, — тогда сила воздействия достигает пределов неисчерпаемости. Самому же ему от всего этого никакого вреда, и он спокойно направляется после кино домой. Здесь все по-прежнему, здесь не о чем беспокоиться, и грядущий день не готовит ему ни тревог, ни забот.

Скопидомок

Скопидомок предпочитает, чтобы все было в тесной кучке. Она не разбрасывается, не распыляется, любит видеть свое добро разом. И отнюдь не обязательно, чтобы все было большое, маленькое тоже греет душу, если всегда под рукой. С деньгами она обходится аккуратно и с нежной заботой, никогда не тратит больше десятой части и печется об остальном. Она подкармливает свои капиталы, чтобы те не исхудали. Ни кусочка и капельки без того, чтобы перепало немного и ее деньгам.

Трогательное зрелище, когда Скопидомок повязывает своим денежкам салфетку, перед трапезой. Ей не по душе бумажки-замарашки, чистенькие куда приятней. Хотя и случается, что к ней попадают банкноты, не блещущие новизной. Однако они преобразаются под ее заботливой рукой и сияют как в первый день творения. По временам она раскладывает их отдельно, одну подле другой, на столе, будто многочисленное и чинное семейство, и дает им всем имена. Потом пересчитывает, чтобы убе-

диться, что все на местах, а когда покушают, послушненько и молодцом, укладывает их баиньки.

Скопидомок мелкими шажками семенит от сундука к постели и все носит да носит что-то, там возьмет, сюда положит. Она с удовольствием берется и за тряпку, но пыль пылью, а должно ведь и кой-какое время подкапливаться, со временем и ценность добра прирастает, времени-то надо бы побольше. Скопидомку рисуется, сколько все это будет стоить к ее 80-летию. Она штудирует движение цен и расспрашивает сына, навещающего ее раз в месяц. Уж тут она готовится по всем статьям, все должно быть в порядке и ясности, чтобы ни минуты визита не пропало зря. Ведь сколько всплывает всякого, о чем хотелось бы спросить, а только он за порог — вот уже и другое тут как тут, поэтому лучше обдумать все как следует загодя.

Скопидомок не поддерживает отношений с соседями. Они только стаптывают порог да вынюхивают по всем углам; не успеют войти в комнату, как уже чего-то недостает. Обищешься потом, пока снова найдешь. Нет, она отнюдь не хочет сказать, будто все кругом воры, совсем нет, но только вещи боятся посторонних и заползают подальше, и не прячась они как следует, кто знает, не украли ли бы их тогда и на самом деле.

Скопидомок получает почту. Она оставляет ее вылежаться несколько дней не вскрывая. Положит такое письмо перед собой на стол и представляет, сколько там, и даже больше. Немного и страшновато тоже, что, может, и меньше, но поскольку такого еще не бывало и все с течением времени дорожает, она может ждать и надеяться, что все-таки — больше.

Славошуп

С той поры как появился на свет, Славошуп знает, что лучше него никого нет. Не исключено, что это ему было известно и раньше, но тогда он еще не мог сказать об этом. Теперь же он речист и старается продемонстрировать, до чего гнусно все устроено в этом мире. Ежедневно пробегает он газету в поисках новых имен. «Да что он здесь делает, этот фрукт, — вскрикивает возмущенно Славошуп, — его же здесь еще вчера не было! Э-э, да тут что-то не так: раз, два — и пробрался в газету...» Он зажимает его между большим и указательным пальцем, кладет на зуб и прикусывает. Слов не найти, как поддается эта новая чепуха. «Тьфу, черт, воск! А туда же, в металлы!»

Это не дает Славошупу покоя, он исследует и расследует, он беспристрастен и справедлив, если он что-то и принимает всерьез, так это общественность, его на мякине не проведешь, уж он покажет беспардонному Имени что почем. Раз обнаружив, он

с самого первого мгновения следит за каждым движением этого отребья. Тут — сказал что-то не то, там — с орфографией неважно. Да где он и школу-то кончал? Он что, и в самом деле учился в университете или только на словах? Отчего это он никогда не был женат? А что делает в свободное время? И вообще, как же так получилось, что никто о нем до сих пор и слыхом не слыхивал? Мир не вчера родился, и где же это был он, а? Если стар, то что-то долгонько собирался, если молод — пусть сперва пеленки просушит. Славошуп справляется во всех имеющихся энциклопедиях и, к своему полному удовлетворению, нигде не находит подопечного.

Славошуп, можно сказать, прямо-таки живет с этим авантюристом, он беспрестанно говорит о нем и видит его во сне. Ему не по себе: о, этот докучный, этот преследователь. И он упрямо сопротивляется, не желая представить полную характеристику на этого прохвоста. Когда он приходит домой и хочет наконец отдохнуть, то ставит его в сторонке, где-нибудь в углу комнаты, говорит «место!» и грозит для убедительности плеткой. Однако это хитрющее Новое Имя терпеливо и ждет своего часа. Оно распространяет вокруг себя странный запах, который, когда Славошуп спит, резко бьет ему в нос.

Любитель Красот

Любитель Красот — некоторые кратко называют его Красолюб — в погоне за всем, что только существовало, существует и будет существовать на свете прекрасного, и находит это во дворцах, музеях, святых местах, церквях и пещерах. Его несколько не смущает, что кое-что из этого, с давних пор уже слышное прекрасным, успело тем временем несколько тронуться, для него оно остается таким, каким было всегда, пусть даже новые красоты все время добавляются к прежним, каждая — сама по себе, ни одна не исключает другой, каждая ждет от него, чтобы он в благоговейном восхищении остановился перед нею и любовался. На него стоит посмотреть перед «Сикстинской мадонной» или перед «Обнаженной махой» — как он заходит с разных сторон, как останавливается на различном расстоянии, то надолго, то на несколько кратких мгновений, на множество разных ладов, и огорчен, если нет возможности зайти сзади.

Любитель Красот, он же Красолюб, избегает пускаться в рассуждения, чтобы не нарушить своего молитвенного экстаза. Он распахивает все поры тела и души и немеет, он не сравнивает, не хулит и не разбирает по косточкам, не распространяется о временах, периодах, стилях и нравах. Ему нет дела до того, как жилось создателю этого прекрасного, а до того, что тот ду-

мал, — и подавно. Всякий — как-нибудь да жил, и абсолютно неинтересно, была ли жизнь трудна, да и не могла она быть слишком тяжелой, иначе не было бы здесь этого прекрасного творения, и одно то уже, что он носил это в себе, было счастьем, из-за которого он достоин зависти, если все эти субъективные мелочи вообще что-нибудь значат.

У самого Красолюба все в полном порядке, лично у него нет никаких особых трудностей: он посещает свои красоты и отдает им все силы и время. Он воздерживается от покупки каких-либо из них, чтобы не стать пристрастным, да к тому же это было бы довольно безнадежной затеей, поскольку большинство красот находится в крепких руках. Деньги, которыми он располагает, предмет неинтересный, он расходует их разумно и аккуратно на свои постоянные поездки. В пути он исчезает, его никогда не встречают в дороге, будто он путешествует под шапкой-невидимкой. Зато он обнаруживается перед красотою, и если кто видел его в Ареццо или в Брера, наверняка снова столкнется с ним в Борободуре или Наре.

Красолюб безобразен, и всякий спешит уклониться от встречи с ним; было бы грубой бестактностью изображать его отталкивающую внешность. Одно то уже, что у него никогда не было носа. Его выпученные глаза, оттопыренные уши и торчащий кадык, его почерневшие гнилые зубы и бьющий изо рта зловонный смрад, его то писклявый, то скрипучий, каркающий голос, его рыхлые, липкие руки... но что в том, что в том — ведь он никому не сует их и с безошибочной уверенностью находит свое место перед прекрасными творениями.

Поспеши-Словечко

Поспеши-Словечко говорит — будто на коньках бежит, и опережает тех, кто ходят пешком. Слова сыплются у него изо рта, как пустые орехи. Легки, поскольку пусты, но их зато много. На тыщу пустых один с ядром, но и это чистая случайность. Поспеши-Словечко не говорит ничего такого, над чем бы поразмыслил, он говорит до того. Слова рвутся у него не из сердца, а с кончика языка. Да и какая разница, что говорить, стоит только начать. Подмигнув, он дает понять, что еще не все, что он продолжает, затем мигает снова и подмигивает до тех пор, пока другой не потеряет всякую надежду и станет слушать.

Поспеши-Словечко не удосуживается присесть, слишком это долгая канитель, предпочитая резвиться на катках, где светло и гладко и где другие ему подобные второпях любят им. Темноты он избегает. Газету — проглатывает, читает так, будто сам ее говорит, с тою же быстротой; и вот уж она переходит в его

слова, кувырком выкатывается из рта и вещает о вчерашнем и послезавтрашнем. Время ему не помеха; пока другие бьются и мучаются с этой упрямой штукой, он обгоняет его и оставляет далеко позади, никогда не останавливаясь, чтобы перевести дух. Так что не имеет значения, что за газету он читает; выуживает какую-нибудь из первой попавшейся кучи, годится любая, ни одна не стара, лишь бы другая, ну, а заголовки — те все на одно лицо.

Поспешно-Словечко никогда не меняется, потому что все скатывается с него как с гуся вода. Что люди, что наряды — все едино, все — мимо: еще не приглядевшись и к этим, он уж с другими; а что до людей, то у них у всех такие имена, которые вечно повторяются. Если без имени не обойтись, он называет какое-нибудь, и уже подмигивает опять, едва его произнеся; это принимают за шутку и вопросов никто не задает.

Близкие служат Поспешно-Словечку для тренировки и ничем не отличаются в его глазах от всякого другого, разве что, вот уж досада, не вполне новы. Насколько лучше, если б их можно было обменивать на других, а тех — опять, и так далее, без конца, а то больно уж много значения они придают тому, что с ними знакомы, и с легкостью злоупотребляют этим обстоятельством, то и дело раскрывая рот и говоря что-то.

Хрустальные Уста

У Хрустальных Уст есть весы, сделанные из золота; она достает их из сумочки, устанавливает и отходит в сторонку. Затем вынимает из рта слово и быстро кладет на весы. Ей с давних пор известно, сколько оно потянет, но у нее требовательная совесть. Прежде взвесить и лишь потом — в дело. Она заботится о том, чтобы каждому слогу досталось что полагается, и следит, чтобы ни один не был проглочен. А когда каждый уляжется на свое место, не слишком широко, не слишком тесно, четко очерченный, без фокусов и капризов, она удовлетворенно кивает и дает себе разрешение определить по шкале общий вес слова. Отклонения маловероятны и незначительны, но главное — убедиться. Словами, вес которых чересчур неустойчив, она не пользуется.

Хрустальные Уста говорит с такой непогрешимой правильностью, что другие слушают ее раскрыв рот. Они, может быть, надеются сами проглотить эти слова и приберечь до подходящей okazji. Пустые мечты! Слова годятся не для всяких уст, из иного рта они выскакивают обратно, будто непослушные шарики. Отрадно, что их не удержать там, где они чувствуют себя не на месте. Хрустальные Уста — редкость, их можно пересчитать

по пальцам на одной руке. Это особый удел, тут требуется самоотречение, неподкупность и твердость убеждений. Нужно уметь так хранить слова, чтобы они не перепутывались и не смешивались между собой, и никогда не злоупотреблять ими в эгоистических и корыстных целях. Не имеет значения, о чем говорить, но речь должна быть чиста. Верней всего довольствоваться одними словами, чисто-начисто отрешившись от содержания.

Иногда Хрустальные Уста берется за книгу, для того только, чтобы основательно ее обследовать. Слова не совсем пропащие она извлекает из безнадежного окружения и укладывает в золотую ванну. Здесь она тщательно обмывает их благородными кислотами, а когда исчезнут последние следы скверны и грязи, извлекает их замороженным на льду пинцетом, относит к источнику, воды которого тщательно проверены, и оставляет там вылежаться в лунном свете семи ночей. И это должен быть редкостный источник, чтобы любители пикников не потревожили процесса очищения.

У Хрустальных Уст такой рот, что в нем словам не угрожает никакая порча. Известно, что она никогда не пользуется им для еды, дабы не подвергать опасности своих подопечных, а питается ароматическими жидкостями, которые им на пользу. Жизнь ее девственна, как у весталки. Но такая святая жизнь дается ей без труда: она ведет ее во имя языка, того языка, каким ему должно быть, и пока весы и ванна остаются золотыми, она неустрашима и не позволит никакому неотесанному погубителю увлечь себя с праведной стези.

Недреманное Ухо

Недреманное Ухо не утруждает себяглядением, но зато и слышит он — лучше некуда. Он приходит, становится, неприятно притулившись, где-нибудь в уголке, полистывает книжку или разглядывает товары на полках, прислушивается к тому, что удастся услышать, и отбывает прочь, чуждый всему, с отсутствующим видом. Можно подумать, что его здесь и вовсе не было, столь искусен он в своих исчезновениях. И вот он уж где-то еще, уже прислушивается снова; ему известны все места и местечки, где есть что послушать, он запрятывает услышанное подалее и ничего не забывает.

Не забывает ничего. Он стоит того, чтобы на него посмотреть, когда приходит время все это выложить. Уж тут он совсем другой, вдвое толще и на десяток сантиметров выше. И как только ему это удастся, специальные башмаки у него, что ли, на высокой платформе для моментов выбалтывания? Набивает он под

одежду подушек, чтобы увесистей и значительней звучали его слова? Ничуть не бывало. Ничего такого он для этого не делает, говорит все точно как слышал, и не у одного возникает запоздалое желание, чтобы сказанное когда-то осталось несказанным. Куда всем этим новомодным аппаратам да устройствам: его ухо лучше и верней всякого аппарата — ничто не стирается, ничто не заглушается и не забивается; и пусть это будет как угодно ужасно, пусть будет вранье или крепкое словцо, проклятья, непристойности всех родов и оттенков, ругательства из самых захолустных и малоизвестных языков — даже то, чего не понимает, он засекает до последней подробности и выдает без искажений, только пожелай.

Недреманного Уха не подкупить никому. Коли дело касается этой его полезной способности, свойственной только ему одному, то уж тут он не станет считаться ни с женщиной, ни с ребенком, ни с собственным братом. Что слышал, то слышал, уж здесь и самому создателю ничего не поделать. Однако человеческое не чуждо и ему, и как бывают у других выходные и свободное время, когда они отдыхают от работы, так и он, хоть и редко, но опускает порой клапаны-заглушки на свои уши и прекращает накопление услышанного. Делается это куда как просто: достаточно дать себя заметить и смотреть людям в глаза; то, что они говорят при подобных обстоятельствах, абсолютно неинтересно и недостаточно для того, чтобы отправить их на гильотину. Когда он отключает свои потайные уши, то становится милейшим малым и всякий с ним доверителен, всякий рад пропустить с ним стаканчик, перебраться безобидными замечаниями. Никто и не подозревает тогда, что перед ним — палач собственной персоной, этот разговаривающий с ним. Трудно даже поверить, до чего безвинны люди, когда их не подслушивают.

Теряльщик

Он умудряется терять все подряд. Начинает по мелочам. А потерять нужно так много. Каких только нет мест, где теряет так здорово.

Карманы, которые ему пришивают специально для этого на заказ. Дети, мчащиеся за ним по улицам: «мистер» — тут, «мистер» — там. Он довольно ухмыляется и никогда не удосуживается нагнуться. Упаси боже, найти что-нибудь снова. Что потеряно, то потеряно. И зачем он вообще брал это с собой. Но каким образом у него остается так много? Они что, так никогда и не кончатся, все эти вещи? Неисчерпаемы они, что ли? Да-да, вот именно, только никто этого не понимает. Будто у него громад-

ный дом, битком набитый мелкими предметами, и кажется просто невероятным, что удастся от всех от них избавиться.

Может, к черному ходу прибывают тяжелогруженные вагоны и опорожняют свое объемистое нутро, пока он совершает те-ряльные вылазки. Возможно, ему невдомек, что творится в его отсутствие. Он не ломает себе над этим головы, это его не интересу-ет; да он бы вытарашил глаза, окажись нечего больше те-рять. Но он никогда еще не оказывался в подобном положении, этот человек беспрестанных потерь, счастливый.

Счастлив, потому что все время замечает это. Можно было бы подумать, что все происходит незаметно для него, можно было бы подумать, он блуждает, словно во сне, и знать не знает, как ходит и теряет, и все происходит само собою, непрерывно, всегда. Но нет, это не так, ему необходимо еще и чувствовать это, он чувствует каждую мелочь, иначе какая ж в том радость, он должен знать, что терпит убыль за убылью, знать это каждое непрерывающееся мгновение.

Попорченная

Попорченная изучает и изучает себя и натывается на все новые изъяны. Она недовольна своей кожей, запирается с ней наедине и никогда не обследует больше крошечного пространства за один присест. Она исследует его при помощи луп и пинцетов, смотрит, колет, щиплет и проверяет опять, многократно одно и то же место, поскольку то, что при первом обследовании казалось безупречным, уже при следующем оказывается подпорченным. Когда она принялась за это впервые, после одного тяжкого разочарования, ей и невдомек было, сколько у нее недостатков. Теперь она прямо-таки усеяна разного рода дефектами и знает еще далеко не все. Однажды обнаружив что-то, она как следует это примечает, и когда дойдет очередь, педантично проверяет снова.

Нелегко Попорченной жить под грузом такого знания о себе, ведь лучше так и не становится. Что найдено, то найдено и никогда уже больше не меняется, всегда на месте и отыскивается без труда. Хорошо, что так много еще предстоит обследовать, ведь если бы она покончила со всей своей кожей, то бремя знания просто раздавило бы ее, а так мысль о том, что впереди столько работы, помогает держаться.

Иного подобная задача повергла бы в отчаянье. Она же посвящает себя этому занятию охотно, потому что живет ради собственной истины. Она ни с кем об этом не говорит (кому есть до этого дело) и желала бы, прежде чем умрет, довести начатое до конца. Что будет, когда дойдет до спины, она не осмеливается и ду-

мать. Это она оставляет напоследок и надеется на вдохновение, на какую-нибудь идею, которая подскажет, как обследовать и спину.

Попорченная мечтает о том, что вот стянули бы с нее кожу, всю целиком, до последнего пятнышка, и распялили удобно в укромном месте на чердаке. Там, где вешают для просушки белье, можно, будто невзначай, пристроить и кожу; если сделать это толково, то никто ничего и не заметит. Тогда бы многое упростилось. Проблема со спиной была бы разрешена и можно было бы действовать спокойней и справедливей. Все бы пошло равномерней и не было этого неотвязного ощущения, будто то здесь, то там один участок возмущен предпочтением к какому-то другому.

Попорченная всех женщин подозревает в том, что они тайком занимаются похожими вещами, поскольку кому же, кто хоть раз действительно пригляделся, даст его кожа успокоиться? Поэтому-то она и зудит: желает, чтобы ее разглядывали и относились к ней серьезно. Попорченная не завидует никому, она разбирается что к чему, цветущим личиком ее не проведешь, в других местах все выглядит совсем по-иному, и ее удивляет, что мужчины позволяют себя надувать и без тщательнейшей проверки, для которой потребовались бы годы и годы, обзаводятся женами.

Археократка

Археократка не мирится на меньшем, чем тысячелетия, и умеет ими обзавестись. Ее бабушка, будь она тех же наклонностей, удовольствовалась бы Троей, но это уже дела минувших дней. Прогресс заглядывает все дальше назад, и она приспособляет его для своих нужд. Люди все роют и роют, и ей известно — где. От нее ничему не укрыться. Золото она носит самое старое, никому не дозволяется к нему прикасаться, оно было предназначено для нее уже во времена, когда гибли те древние города, они знали — ради кого. Волшебная палочка-указочка, скрытая у нее в сердце, всегда подскажет ей, где лежали населенные земли.

Она смеется над этими низкими натурами, что толкуются в ювелирных лавках и по ценникам определяют стоимость украшений. Что продается, годится для нуворишей да прочей шушеры. Археократка же сознает свой долг перед самою собой, у нее просто в крови те древние культуры, когда один камешек шлифовался годами и рабы состояли из благоговейного трепета, умения и терпения.

Породами обольщаться не приходится, все они замузнены

и разбавлены — дело известное, как появляются на свет люди, по воле какого случая, ни на какую гордость нельзя полагаться — кто только не торгует собой. И она-то уж поостережется копаться в собственной родословной; что бы там ни обнаружилось, ее просто вывернуло бы от отвращения. Лишь то незапятнанно, что лежало в земле, и чем больше тысячелетий пролежало в ней, тем незапятнанней. А над этими пустоголовцами, верящими в незыблемость пирамид, разве что со смеху помереть. Пусть никто не суется к ней с каким-то там фараоном, все мумии — фальшивки, а ей нужно подлинное, о котором ничего не известно, и то мгновение, в которое это появляется на свет, одно только оно и есть мгновение истины.

Уже через несколько дней на все это набрасываются жулики и шарлатаны, и как только драгоценные предметы отчищены до блеска, они будто сегодняшние.

Археократка не терпит подле себя никого, и семьи у нее нет. Охраняемая свирепыми, однако послушными псами, живет она, если только не находится в дороге, в полном одиночестве. Но она большей частью в пути. Со своим несметным богатством, которое презирает, она поддерживает археологов во всех концах земли и должна быть, если что произойдет, на месте события, чтобы позаботиться о причитающейся ей по праву доле, прежде чем все опрофанится, станет достоянием общественности да угодит в музеи, где и сгинет навсегда.

Бумажный Пьяница

Бумажный Пьяница читает все книги подряд. Это может быть все что угодно, было бы только увесистым и трудным. Его не устраивают книги, которые у всех на языке; годятся лишь редкостные и позабытые, какие нелегко разыскать. Иную ему, случалось, приходилось раздобывать целый год, потому что она никому не известна. Заполучив же наконец свою книгу, он скорее-нько прочитывает ее, усваивает и мотает на ус, всегда готовый процитировать подходящее к случаю место. В семнадцать у него уже был такой вид, как теперь, в сорок семь. И чем больше читает, тем больше остается таким, каков есть. Всякая попытка заставить его врасплох и поразить каким-нибудь именем кончается неудачей: он одинаково хорошо подкован во всех областях. Но поскольку всегда найдется что-то, чего он еще не знает, ему никогда не доводилось скучать. Однако он остерегается распространяться о том, что ему неизвестно, неровен час, кто-то возьмет да и опередит его с чтением.

Бумажный Пьяница напоминает ларь, который никогда не открывался, чтобы ничего не потерять. Он избегает говорить

о своих семи диссертациях и упоминает лишь три; ему не составило бы труда защищать каждый год новую. Он благожелателен и любезен и любит поговорить; чтобы иметь возможность сказать свое, дает высказаться и другим. Если он заявляет: «Этого я не знаю», следует ждать подробной и содержательной лекции. Он подвижен и быстр, потому что все время ищет людей, готовых его послушать. И никого из них не забывает, мир для него состоит из книг и из слушателей. Он весьма ценит чужое молчание, сам же молчит недолго, в кратких паузах перед началом нового доклада. Никто, впрочем, не проявляет желания чему-нибудь у него учиться, поскольку он знает еще и многое другое. Его окружает атмосфера недоверчивого удивления: не то чтобы он никогда не повторялся, однако он и в самом деле никогда не повторяется перед одним и тем же слушателем. Он был бы смешон, не оказываясь это всякий раз нечто другое. Он беспристрастен и справедлив ко всем своим знаниям, всякое достойно и значимо; многое дали бы иные за то, чтобы нащупать такое, что он ставит над прочим. Он извиняется за время, которое, как и обыкновенные люди, тратит на сон.

А сколько напряженного ожидания, когда снова встречаются с ним после долголетнего перерыва и горят желанием поймать его на нечистой игре. Но тут, карауль не карауль, никакое терпение не поможет: он хоть и говорит теперь о совершенно других вещах, сам, до последнего слога, все тот же. Иногда он успел за это время жениться, иногда — снова в разводе. Женщины являются и исчезают, всякий раз это было ошибкой. Он в восторге от людей, пробуждающих в нем желание перешеголять, и, превзойдя, ставит на них крест. Ни единого города он не посетил, заблаговременно не почитав о нем. И города приноравливаются к его сведениям, старательно подтверждая то, что он о них прочел; нет, не существует, похоже, нечитабельных городов.

Еще на расстоянии его уже одолевает смех, когда приближается дурак. Женщине, вознамерившейся женить его на себе, следует писать ему письма с просьбами о сведениях и разъяснениях. И если она станет писать достаточно часто, он окажется в зависимости и захочет, чтобы эти вопросы постоянно витали вокруг него.

Искушаемая

Стоит Искушаемой показаться на улице, ее тут же начинают преследовать мужчины. Она не сделала еще и трех шагов, а уж ее заметили и идут следом, некоторые даже переходят ради нее через улицу. Она не имеет представления, в чем тут дело,

может, в походке, но сама она ничего особенного в своей походке не находит. Она ни на кого не смотрит, другое дело, если бы она провоцировала мужчин своим взглядом. Одета неброско, и духи у нее не какие-то там особенные, во вкусе ей, правда, не откажешь, во вкусе и изысканности, это верно, а ее волосы... может, это из-за волос? Она своих волос не выбирала, разве что причесывается на особый, неповторимый манер.

Только одно ей нужно — покой, но ведь и воздухом надо подышать, и невозможно вечно избегать улиц. Иногда она останавливается перед витриной, и вот уж он виден в стекле, тот, что стоит позади и собирается морочить ей голову. И верно, вот он уже и заговаривает с ней. Она и не слушает вовсе, можно представить, что он там говорит, и отвечает она не тотчас, много было бы чести. Но если тот становится так навязчив, что никак его не стряхнуть, она вдруг резко оборачивается к нему и с возмущением шипит прямо в лицо, так близко, что ее волосы слегка задевают его галстук: «Да что вам, собственно, от меня нужно? Я вас не знаю и знать не хочу! Не приставайте ко мне! Я не из тех!»

Чего еще ждут от нее? Почему ей не верят? Она и не смотрит вовсе, не знает даже, как все эти мужчины выглядят. Но волшебное действие ее слов не остается без последствий — он становится еще назойливей. А может, это влияние ее волос на его галстук. Ей приходится произносить это, придвинувшись как можно ближе, чтобы не привлекать внимания прохожих. Что бы иначе подумали люди, услышав ее сердитые слова? Но этот ведет себя так, будто она именно «из тех», и проводит рукой по ее волосам. Не будь здесь людей, он получил бы свою оплеуху. Однако Искушаемая достаточно себя уважает, она справляется с бешенством и спасается бегством к следующей витрине. Если она и теперь от него не отделается, то молча заставит переходить за ней от витрины к витрине, она не удостоит его больше ни единым звуком и хорошенько последит за тем, чтобы его галстук оставался на достаточном расстоянии. В конце концов он, приуныв, отстает. Но Искушаемая ждет еще и того, чтобы ей сказали: «Извините, я вижу, вы не из тех».

Искушаемая, однако, женщина и должна хоть немного следить за собой, а потому не может совершенно отказаться от витрин. Она сменила духи, чтобы ее оставили в покое, — не помогает. Она даже волосы красит теперь по-другому, перепробовала уже все цвета, но они пристают и пристают все с тем же, ее преследуют повсюду, беспрестанно, ей нужен рыцарь, который защитит ее от этих мужчин, но где же найти такого?

Смиренный Путь

Смиренный Путь, мурлыча, трется о ноги судьбы, неизбежное — его отрада. Бесполезно говорить неизбежному «нет», вот он и говорит ему «да», еще прежде, чем оно объявится у дверей. Ходит он чуть пригнувшись, демонстрируя свою готовность склониться под любое ярмо. При этом старается, однако, не ози- раться лишний раз по сторонам, чтобы не привлекать к себе без нужды внимания случайных ярем. Ведь всякому из них любо, чтобы под ним сгибались на особый лад, но если их слишком много, то все их своеобразие пропадает, а что может быть пе- чальной безликой рутины.

Смиренный Путь ползет от одного порабощения к другому. Чувство подсказывает ему, насколько это верно и хорошо, и он умеет найти для вразумления других сердечные и убедительные слова. Он твердо уверен, что людское предназначение в привер- женности неизбежному, именно это и отличает человека от жи- вотных. *Те* ничего не знают, бегство — их вечный удел. Бегут, будто в силах ускользнуть от своей судьбы. Но в итоге их все же съедают, а они, бедняги, даже не подозревают о том, что так и должно быть. Человек же всегда начеку: всегда готов встретить свою судьбу и приветственно склониться перед ней.

«Ты что же, собираешься жить вечно?» — обращается он к своему чаду, едва оно научится говорить, и с молодых ногтей готовит его к покорности; оно должно стать таким же, как он, а не брести слепо по жизни, оно должно умножить ряды Сми- ренных Путьей.

Ему известно — кто смолоду смирению учился, тот и в смер- ти отличился, а искусство в том, чтобы и зная это продолжать жить. Искусство особое, а ключ к нему — не делать ничего напе- рекор тому, чему суждено быть. «Но как отличить то, чему су- ждено быть, от всего другого?» Человек рождается с инстинктом, говорящим об этом, объясняет он, и мудрость человеческая в том, чтобы не дать ему заглухнуть.

Желательно ничего не узнавать об освободительных войнах, о восстаниях, строптивом неповиновении или даже всего лишь о протестах. Но если уж узнал о чем-то подобном, то следует идти до конца и уяснить себе, до чего все они были бессмыслен- ны и бесполезны. Они либо терпят неудачу, либо не терпят неудачи. И если не терпят, то и тогда все вскоре становится по-старому. Кто видит все и приемлет как оно есть и всег- да было, сохраняет достоинство. Наихудшее суть благо, еже- ли приходит по воле судьбы, потому что оно есть бремя тяг- чайшее.

Смиренный Путь упражняется в перенесении трудностей и ударов. Он так понаторел в этом, что временами в нем просы-

пается задор, и тогда ему удастся подхватить что-нибудь тяжелое еще прежде, чем оно по-настоящему объявилось. Так одно бремя попирает другое, что ж, и у него, у Смиренного Пути, есть склонность к разнообразию. С каждой новой тяготой возрастает величие человеческое.

Смиренный Путь просто лопается от обилия нажитой мудрости. Он раздает советы направо и налево. Вечно все те же.

Бессултанница

Бессултаннице исчезновение гаремов причиняет страдания. Да, то были мужчины, понимавшие в женщинах толк, не довольствовавшиеся вечно все одними и теми же. Они были кое на что способны, с огнем в крови, не замыкавшиеся в делах, не помещавшиеся на одних лишь доходах. Нет, вы только взгляните на этих владык, устало возвращающихся из своих контор домой к единобрачному очагу. Это безразличие! Эта скука! Этот несчастный рыхлый покой! Будто женщины — так, пустое место, кухарки или матери. Любая служанка, первая попавшаяся уборщица могла бы занять твоё место. Что ж удивляться, если женщины вырождаются и теряют всякое представление о том, для чего существуют на свете. Иные все же не опускаются до идиотизма ходить на службу и вести жизнь уподобясь мужчинам: ворочать делами, становиться бесчувственными и холодными и точно так же устало являться по вечерам домой; так же выглядеть, как мужчина, ходить в его штанах, говорить его языком и удовлетворяться самоутверждением где-то там среди мужчин, вместо того чтобы отстаивать себя среди женщин дома.

Бессултаннице, которая спит и видит гаремы, жаль впавшую в такое состояние Турцию, где упразднено теперь то, что составляло некогда славу империи. Конец завоеваниям, конец величию, страна как страна, как и все другие, современной, чем прежде, но, ах, как невзрачна! Пока владели гаремами, были турки недюжинным народом; чтобы наполнить их, приходилось вести войны, все завоевания турок подогревались жаждой новых женщин, ну как не любить их за эту великолепную ненасытность! Чувствовать на себе взгляд мужчины, чьего благосклонного внимания ждут многочисленные главные жены, бесчисленные побочные и наложницы! Знать, что тебя сравнивают со всеми прочими, доставлять ему наслаждение и радость на совершенно особый лад, куда там другим до тебя — вот это победа! Как и его победы на поле брани! Удерживать его, даря ему то, чего не даст ни одна другая! Ядом и интригами с помощью евнухов служить возвышению своего сына, поддерживать в нем твердость воли

и силу стремления, убирать с дороги братьев его и соперников!

Бессултаннице омерзителен этот мир, где нет больше настоящего женского дела. Стать кинозвездой и ловить ту же удачу, что и мужчина, который делает то же самое, что и ты? Танцевать на потеху публике? Или петь? Чем не занимаются сегодняшние мужчины? И только затем, чтобы делать все то же, что и другой, быть женщиной? Единственное, на что способна лишь женщина, — родить принца, который отправит на тот свет всех других принцев, а в конце концов, когда тот станет уж слишком дряхл, и султана.

Бессултанница сама устраивает себе свой гарем и запирается в нем. Остается там навсегда, не покидая его стен. Она облачается в прозрачные одежды, как и подобает этому месту, и упражняется, только для него одного, в томных интимных танцах. Здесь она ожидает султана, который все не идет, и представляет себе, что он в дороге, на пути к ней. Здесь найдет он все, к чему привычен и что подобает ему по праву, и даже больше, и лучше. Здесь она повергается к его стопам и просит осчастливить ее своими наигнуснейшими желаниями.

Боготряс

Боготрясу нет необходимости задаваться вопросом о том, что такое хорошо и что такое плохо, он справляется об этом в Книге Книг. Здесь он находит все что нужно. Это надежная опора. И он прислоняется к ней старательно и крепко. Что бы он ни предпринимал, под этим подписывается Бог.

Необходимые слова он найти умеет, он нашел бы их и во сне. О противоречиях беспокоиться не стоит, они ему даже на руку. Он пролистывает то, что ему совсем ни к чему, и вцепляется в обнаруженное неоспоримое высказывание. Его он впитывает на вечные времена, до той поры, пока не добьется с его помощью желаемого. Но жизнь не стоит на месте, и он потом отыскивает другое.

Боготряс полон доверия к стародавнему и обращается к нему за помощью. Все эти изыски нового времени совершенно излишни, без них получается гораздо лучше, а они только осложняют жизнь. Человеку надобен ясный ответ и такой, который всегда остается тем же. А в нерешительном, расплывчатом ответе прок невелик. Для различных вопросов и различные высказывания. Пусть-ка зададут такой, на который не найдется подходящего ответа.

Боготряс ведет жизнь упорядоченную, размеренную и не тратит времени понапрасну. Если мир вокруг него рухнет, у не-

го не возникнет сомнений. Кто устроил его, тот и спасет от гибели в самое последнее мгновенье; а коли его уже не спасти, — тот вновь восстановит его по разрушению, с тем чтобы все было по слову его, верно и нерушимо. Большинство погибнут, ибо не слушают его слова. Но те, что слушают, не погибнут по-настоящему. Из всех бед и опасностей бывал спасен Боготряс. Тысячи пали вокруг него. Он же, однако, здесь, и ничего с ним не случилось — разве этого мало?

Во всегдашнем своем смирении, Боготряс не видит здесь никакой собственной заслуги. Ему известна людская глупость, и он сожалеет о ней, ведь иначе людям могло бы житься и легче, и лучше. Но они не желают. Воображают себя свободными и даже не подозревают, до какой степени поработаны самими собою.

Когда Боготряс гневается, он грозит им. Не своими словами, для бичевания есть слова получше. Тогда он поднимается и стоит, напружив шею и скатывая громы гремящие, извергает огонь и мечет молнии, потрясая весь этот сброд до слез. Зачем снова не послушали его, когда же наконец станут к нему прислушиваться?

Боготряс — видный мужчина, с звучным голосом и пышной гривой.

Звездосветная

Звездосветная избегает безжалостных солнечных лучей. Они нескромны, бестактны, до боли ярки и резки; много есть в каждом таком, что желало бы дожидаться своей минуты, но это бесцеремонно извлекается наружу, раскладывается для всеобщего обозрения, освещается и раскаляется, до тех пор, пока уже больше и не понять, где, в ком это, собственно, находилось, — в этом, в том ли, или во всех.

Звездосветная питает пристрастие к кристаллам, они-то не открываются. Даже самые прозрачные из них надежны в своей твердости, и потому, что бы там ни виднелось, этого не заполучить. Ее сердце принадлежит всему надежно замкнутому, на которое падает слабый и проверенный свет. Пусть он и нашел к ней путь от звезд, однако — ничего не зная о ней, до того как отыскать, а она долго и настороженно поджидала в своей укромной защищенности, пока он дойдет до нее, — неуверен и тускл.

Лишь раз в жизни заглянула она в телескоп, о, как мучил ее за это стыд! Ей почудилось, будто она беззастенчиво бросилась навстречу одному из этих ночных светил и принудила его блистать для себя ярче, чем хотелось ему самому. Она не забыла то-

го, каким оно вдруг стало одиноким, отделенное от других, общавших ему эту спокойную тишину и звенящее равновесие. Она вырвала его для себя из целого неба, ее глаз, всегда неспешный и осторожный, вытаращился на него, и она испугалась, что теперь оно погублено и потеряно для небес навсегда. Она отпрянула от окуляра, предала анафеме прибор, и неделю за неделей потом несла на свой лад покаяние за совершенное, избегая глядеть на эту треклятую звезду. А когда отважилась снова ее поискать и нашла, то так была счастлива, что купила на радостях орудие своего позора, разбила его вдребезги и разбросала осколки в ночной темноте.

Звездосветная облегченно вздыхает, когда скрывается солнце, и желает, чтобы оно никогда больше не возвращалось. Дни проводит в затененных местах и работает лишь затем, чтобы скоротать время до вечера. Ее кожа чиста, словно солнечный свет. Но она этого не знает, так как не видит себя. Она еще не потратила на себя ни одной мысли. Ее единственное зеркало — ясная ночь, и состоит оно из такого множества точек и точекек, что в отражении нет цельности. Где ее начало? Где скрыт предел? Возможно ли ясно представить это, не увидев себя?

Приходят мысли, Звездосветная держит их при себе, опасаясь растерять, если выскажет вслух. Но они не отвердевают в ней, прибывают и сокращаются, и когда опять становятся так малы, что ускользают от нее, тогда просыпаются в других.

Дёргальщик

Дёргальщик имеет дело с памятниками: щиплет великих, Полубогов и Героев, за штаны. Из бронзы, из камня ли — они оживают под его рукой. Некоторые из них возвышаются посреди оживленных площадей, с такими лучше не связываться. А вот те что в парках — прямо как по заказу. Он крадучись вьется вокруг или прячется и караулит в кустах. Когда скрывается из виду последний посетитель, он выскакивает из своего укрытия, ловко взлетает на постамент и пристраивается рядом с Героем. Тут он стоит некоторое время, собирается с духом. Он полон почтительности и хватает не сразу. К тому же надо прикинуть, где сподручнее взяться. Недостаточно положить руку на какую-нибудь округлость, он непременно должен захватить что-то между пальцев, иначе и не дернешь. Ему нужны складки. И ухватив подходящую, он долго не отпускает, а ощущение такое, будто закусил ее зубами. Он чувствует, как величие переходит на него, и его охватывает трепет. Теперь ему ясно, кто он в действительности такой и на что способен. Теперь он вновь полон ре-

шимости (тут он дергает по-настоящему), сила бурлит и пылает в нем — завтра он начинает.

Дёргалычик не пытается вскарабкаться выше, это было бы непристойно. А он мог бы вскочить на это каменное плечо и шепнуть кое-что Герою на ушко. Он мог бы оттащить его за ухо и предъявить ему немало претензий. Но уж это было бы верхом нечестия. И он довольствуется подобающей ему скромной позицией, все еще держась за складки брюк. Но если он прилежен, не пропускает ни одной ночи и дергает все сильнее и сильнее, то приходит однажды день, белый день, когда он мощным броском взмetyвается наверх и перед всем миром злорадно плюет Герою на самую макушку.

Маэстро

Маэстро, если вообще передвигается, то вышагивает по колоннам. Они неторопливы, но держат надежно. И им есть что держать. Там, где колонны понижаются, образуется храм, и в мгновение ока стекаются обожатели. Он возносит трость, и все смолкает, а он заполняет воздушное пространство размеренными знаками. Поклонники не издают ни звука, поклонники медитируют, поклонники ловят знак за знаком, силясь открыть их смысл.

В паузах между возвышенными мгновениями Маэстро питается икрой. Времени мало, сейчас он вновь займет свое место. Однако он ничего не совершает в одиночестве, их много здесь, обступающих его и глядящих на икру, предназначенную для него одного. Маэстро мелодично рыгает.

Маэстро торжественно разъезжает по свету, все камни спешно устраняют с его пути; камни, горы и моря. Он восседает в своем особом персональном купе, и адепты с обнаженной головой толпятся в проходе, в то время как его рука размашисто и мощно наносит пометы в листах лежащей перед ним партитуры, отмечая то, что дозволено только ему, только его руке, а остальные, стоящие Снаружи, благоговейно провожают взглядом каждое из его движений. Поезд останавливается, стоит ему только приподняться, и не едет дальше, пока он не усядется снова; поезд не делает остановок ни в одном из мест, для которых нет на то волеизъявления Маэстро, и останавливается в угоду ему в чистом поле.

В каждом из храмов Маэстро оставляет по женщине, верно и терпеливо ждущей его, как в стародавние времена. Она сидит и сидит тут, и принадлежит ему вся, от детей до ногтей и корней волос, и когда он вновь приходит, ступая с колонны на колонну, — еще и нескольких лет не минуло, — она трепещет и стоит,

молясь, в рядах поклоняющихся ему. Он ее видит, однако не пришло пока время узнать ее, кто ждал вечность, подождет и еще немного. Но вот... вот... он кивает — это ей, ей из всех он кивнул, да она бы позволила сжечь себя на костре за этот наклон головы!

Маэстро известно, что придет старость, он знает число прожитых лет. Когда он особенно доволен явлением своей особы, то устраивает небольшое празднество, во время которого и другим дозволяется посидеть и выпить, но никогда он не пьет того же. Затем он улыбается (не бывало еще, чтобы он смеялся) и велит поочередно каждому из окружающих подойти к нему. «Покажи-ка руку!» — требует он и окидывает сведущим оком ладонь. Он сообщает стоящему перед ним, как рано предстоит тому умереть, и подзывает следующего.

Придуманная

Придуманная никогда не жила на свете, и все-таки она здесь и настойчиво заявляет о себе. Она очень красива, однако для всякого — по-иному. Описания ее внешности безудержно восторженны. Одни особо отмечают волосы, другие — глаза. Впрочем, в отношении цвета царит полнейшее несогласие: от сияющего золотисто-синего до глубочайшего черного, что относится также и к волосам.

Придуманная — всякого роста и любого веса. Многозначителен и многообещающ блеск ее зубов, которые она охотно обнажает снова и снова. То сжимается, то полнеет ее грудь. Она ступает, она возлежит. Она нага, она пышно разодета. Об одной лишь ее обуви и то собрана сотня разных свидетельств.

Придуманная недоступна, Придуманная податлива и покорна. Обещает больше, чем выполняет, выполняет больше, чем обещает. Она порхает, она пребывает на месте. Она не произносит ни слова, сказанное ею незабываемо. Она разборчива, она не отвергает никого. Тяжела, словно земля, легка, как дыхание эфира.

Сознает ли Придуманная свое значение, вопрос неясный. В этом ее поклонники также непримиримо враждуют друг с другом. И как только у нее получается, что каждый знает: это — она? Конечно, все для Придуманной легко и просто, но было ли ей так легко с самого начала? И кто выдумал ее до незабвенности? И кто распространил ее по этой многонаселенной земле? И кто боготворит, и кто распродает по изрядной цене? И кто рассыпал по серебристым пустыням Луны, до того как на ней появился вымпел? И кто окутал плотными облаками одну из планет, оттого что та носит ее имя?

Придуманная раскрывает глаза и никогда их больше не закрывает. В войнах ей принадлежат погибающие обеих сторон. В древние времена и войны разгорались из-за нее; нынче — нет, нынче она является мужчинам на поле боя и оставляет им, усмехаясь, портрет.

Черта-с-два

Черта-с-два не принудить никому, пусть-ка кто попытается. Он не слушает тех что справа, не слушает и тех что слева, может, он и вовсе не слышит? Нет, он прекрасно понимает, чего от него хотят, да только раньше еще, чем понять, уже качает несогласно головой и дергает плечом. Вместо хребта у него доброе, крепкое «нет», куда надежней, чем кости.

Черта-с-два сплевывает раз за разом, приказы-то так и свистят вокруг, и хотя он шарахается от них как от чумы, нечто от всего этого проникает внутрь и там застревает. Для того и нужен ему этот платок, и прежде чем тот совсем отсыреет, Черта-с-два сжигает его.

Черта-с-два никогда не обращается во все эти задвижные окошки. Зарешеченные лица за ними наводят на него дурноту, их и одно от другого не отличить. Лучше сразу отправиться к автоматам и получить от них что нужно, без отвращения и тошноты. Они к тому же не напустятся на тебя ни с того ни с сего, и не надо клянчить и убеждать. Здесь он бросает в прорезь монету когда пожелает, жмет на кнопку и получает то, что хочет, а на то, чего не хочет, и внимания не обращает.

Черта-с-два не выносит на себе пуговиц, распускает все свободней и не носит штанов. Галстуки для него чистая дьявольщина, того и гляди удавят. «Я вешаться не намерен», — говорит он при виде пояса и поражается наивной простоте его ничего не подозревающего обладателя.

Черта-с-два перемещается ходом коня и адреса не имеет. Он забывает о том, где находится, чтобы не проговориться об этом. «Я не здешний», — отвечает он, когда его останавливают и спрашивают о какой-нибудь улице. Но фокус не в том, что он не здешний тут, фокус в том, что он везде не здешний. Ему случилось выйти из того или иного дома и не знать о том, что он в нем ночевал. Один скачок — и он далеко в стороне, все здесь зовется иначе и выглядит по-другому; вместо того чтобы прятаться, он скачет прочь своим ходом коня.

Черта-с-два говорит лишь тогда, когда это — ну совершенно необходимо. Слова оказывают давление, как чужие, так и собственные. О, это состояние после разговоров, когда остаешься один, а все слова всплывают опять и говорят, говорят! Без пауз

и передышки, и никак не увернуться, они жмут, и теснят, и давят, воздуху, воздуху! Как спастись от них, куда скрыться?! Есть среди них и такие, что повторяются с дьявольским злокозненным упорством, в то время как другие постепенно смолкают и пропадают. Избавиться от этой муки можно, лишь действуя обдуманно: ни в коем случае не произносить этих слов — пусть уснут.

Черта-с-два стряхнул наконец свое имя — как его теперь назовешь? Хитро и с легкостью скачет он по своей шахматной доске, и никто не может его окликнуть.

1974

Заметки



1942—1972

Веще Канетти

1942

Было б чудесно, начиная с определенного возраста, становиться год за годом все меньше и пробегать те же ступени, по которым взбирался некогда с гордостью, в обратном направлении. Однако так, чтобы заслуги и почести оставались теми же, что и нынче; тогда махонькие человечки, напоминающие шести- или восьмилетних мальчишек, считались бы наимудрейшими и опытнейшими. Старейшие из королей были бы самыми крошечными малютками, существовали бы только совсем маленькие римские папы, епископы глядели бы сверху вниз на кардиналов, а кардиналы — на пап. И ни одному ребенку уже не хотелось бы вырасти во что-то большое. История поутратила бы значительности ввиду ее почтенного возраста: было б такое чувство, будто события трехсотлетней давности разыгрывались меж существами, напоминающими насекомых, и прошлое вкусило бы наконец счастья не приниматься во внимание.

Как непостижимо скромны люди, без остатка посвящающие себя одной-единственной религии! У меня очень много религий, а та единственная, что все их объединит, сложится лишь в течение моей жизни.

От сбалансированности знания и незнания зависит то, насколько становишься мудр. Незнание не должно истощаться знанием. На каждый ответ — вдалеке и без всякой видимой с ним связи — должен выскакивать вопрос, до той поры смиренно дремавший. У кого много ответов, должно быть еще больше вопросов. Мудрый остается ребенком в течение всей жизни, а одни лишь ответы иссушают почву и дыхание. Знание — оружие лишь для властителя, мудрому ничто не презренно так,

как оружие. Он не стыдится своего желания любить еще больше людей, чем знает сам, и не станет высокомерно чуждаться тех, о которых ему ничего не известно.

Скорей всего мы походим на кегли. Нас устанавливают семьями, примерно по девять. Коротенькие, деревянно стоим мы себе, не зная, что делать со стоящими рядом. Удар, которому предстоит нас опрокинуть, давно в пути; мы тупо ждем; в падении мы сбиваем столько соседних кеглей, сколько можем, и этот передаваемый им удар — единственное соприкосновение, какого мы устаиваем их в стремительности бытия. Считается, что нас устанавливают снова. Но ежели так, то и тогда, в нашей новой жизни, мы в точности те же самые, только переменили место меж этими девятью, в семье, да и то не всегда, и деревянно и тупо мы снова ждем все того же удара.

Величайшее мое желание — увидеть, как мышка живьем пожрает кошку. Но она должна еще и вволю поиграть с ней.

По временам мне чудится, что фразы, которые я слышу, были сложены для меня другими за три тысячи лет до моего существования. Стоит мне прислушаться внимательней — и они становятся все старше.

Человек собрал воедино мудрость всех своих предков, и, гляди-ка, каков болван!

Доказательство есть первородный грех мышления.

Войны всегда принимают такой оборот, будто человеку еще никогда не доводилось набрести на понятие справедливости.

Человечество как целое уже никогда больше не сможет умирить своих притязаний.

В мысли о некоей будущей религии, о которой нам сейчас еще абсолютно ничего не известно, есть что-то невыразимо мучительное.

Тот факт, что существуют *различные языки*, — наиболее зловещий факт на свете. Он означает, что для одних и тех же вещей имеются различные имена, и, пожалуй, не столь уж несомненно, одни ли это и те же вещи. За фасадом всей лингвистической науки скрывается стремление свести эти языки к *одному-единственному*. История о вавилонской башне — это история второго грехопадения. После того как люди утратили невинность

и вечную жизнь, они вознамерились собственным искусством до-
расти до самого неба. Сначала отведали плода не с того дерева,
теперь же разобрались, что к чему, и устремились прямехонько
наверх. За это у них было отнято последнее, что еще сохрани-
лось после первого грехопадения: единство наименований. Это
деяние Божье было самым дьявольским из всех когда-либо со-
вершенных. Смешение имен было смешением его собственного
творения, и никак не взять в толк, зачем он еще спасал что-то из
волн потопа.

Если бы люди имели хоть малейшее и самое общее представ-
ление о скрытой жизни, копошащейся внутри многих слов
и присловий, они с дрожью отшатывались бы от них, как от за-
чумленных.

Всякий раз, стоит внимательно понаблюдать за животным,
возникает ощущение, будто человек, который сидит в нем, по-
смеивается над тобой.

О драме. Постепенно мне становится ясно, что я хотел осуще-
ствить в драме нечто, берущее свое начало в музыке. При этом
конstellляции персонажей становились своего рода темами. Ос-
новное сопротивление, ощущавшееся мною в отношении «разви-
тия» характеров (как если бы они были настоящими, живыми
людьми), наводит на мысль о том, что ведь и в музыке инстру-
менты представляют собою конкретную данность. Раз остановив
свой выбор на том или ином инструменте, ты уже твердо его
придерживаешься, уже не можешь по ходу развития произведе-
ния переконструировать его в другой. Нечто в прекрасной стро-
гости музыки покоится на этой ясной очерченности инструмен-
тов. Трактовка драматического персонажа как животного впол-
не согласуется с таким представлением. Каждый является впол-
не конкретным животным или по крайней мере вполне особен-
ным и определенным созданием, с которым возможно играть
лишь на его особый лад. [...]

Следовало бы показать, какую сумятицу внесла в драматиче-
ское искусство опера. Музыкальная драма — это низкопробней-
шая и нелепейшая из всех когда-либо измышленных в искусстве
расхожих поделок. Драма есть совершенно особый род музыки
и переносит ее в качестве дополнения лишь изредка и в количе-
ствах незначительных. Унисонное звучание музыкальных ин-
струментов и действующих лиц совершенно недопустимо: пер-
сонажи обретают аллегоричность и полностью утрачивают свое
драматическое значение — не более чем фантастические живот-
ные, выведенные на подмости; в то время как музыка становит-
ся всем, драматическое действие оказывается не у дел.

Никогда люди не знали о себе меньше, чем в этот «психологический век». Они не в силах остановиться и катят прочь от собственных превращений. Они не ждут их, а предвосхищают нетерпеливо, предпочитая быть чем угодно, только не тем, чем могли бы стать. В летящем авто пересекают они ландшафты собственной души, и поскольку останавливаются у одних лишь бензозаправочных станций, то и верят, будто это единственные элементы пейзажа. Их инженеры и не строят ничего иного; все, что они едят, отдает бензином. Грезят они — черными лужами.

Не стало больше никакой меры, ни для чего, с тех пор как перестала быть ею человеческая жизнь.

Война, которая ведется не одним только духовным оружием, внушает мне отвращение. Мертвый противник не доказывает ничего, кроме собственной смерти.

Не хочу внушать страх. Нет на свете ничего, что вызывало бы во мне больший стыд. Лучше пусть презирают, чем боятся.

Человек влюблен в свое оружие. Как справиться с этим? Оружие должно быть таково, чтобы оно почаше и совершенно неожиданно обращалось против того, кто им пользуется. Скрытые в нем ужасы слишком односторонни. Недостаточно, что враг орудует теми же средствами. Самому оружию надо бы жить капризной и непредсказуемой жизнью, и пусть бы опасного в своих руках люди страшились больше, чем врага.

Из всех имеющихся в человеческом распоряжении возможностей выразить себя драма — наименее лжива.

Всякий раз, когда англичанам приходится туго, меня охватывает чувство восхищения перед их парламентом. Он словно сияющая и звучащая рукотворная душа, некая демонстрационная модель, в которой на глазах у всех разыгрывается то, что иначе оставалось бы скрытым. [...]

Нет ничего более удивительного, чем сей народ, на ритуальный, спортивный манер разрешающий свои проблемы и не отступающий от этого, даже когда его того и гляди накроет с головой.

Роман не должен спешить. Прежде спешка могла проникать в его пределы, теперь же ею завладел фильм, и как бы роман ни торопился, ему не поспеть за ним. Роман, это создание из более спокойных времен, может привнести в нашу жизнь толику

того старинного покоя. Многим из людей он мог бы послужить в качестве лупы времени. Мог бы пробудить в них упорство. Заменить пустые медитации их культов.

Ненавижу эту вечную готовность к истине, истину по привычке, истину по обязанности. Истина — это, скорее, гроза: очистила воздух и прокатилась дальше. Истина должна ударять, как молния, иначе нету в ней силы. Кому она ведома — пусть боится ее. Нельзя истине стать собакой при человеке, горе тому, кто вздумал бы ей посвистеть. Не по ней поводок, негоже ей быть и жвачкой во рту. Не надо ее откармливать, не надо ее измерять — пусть себе растет, мирно и страшно. Даже и Бог чересчур фамильярно обошелся с истиной, *ею* и задохнулся.

Самая большая опасность, какой следует остерегаться человеку расширяющегося сознания, — быстрая смена освещения, в мелькании которого все больше предстают для него вещи и убеждения. Все становится зыбким, текучим, и самое текучее всего заметней; ни в чем ни конца, ни окончательности; в каждой стене калитка, и все еще что-то есть и за нею; те же цветы предстают в новых красках; твердая как гранит дорога размягчается в глину. Двадцать лет можно чего-то желать, а при возросшем сознании это оказывается уже и ни к чему. Что казалось отвратительным, раскрывается в многообразных и прекрасных обличьях, они расплываются и тают, совершив свой легкий мерцающий танец. Становится возможным все, неодобрение дрябло, суждение гнется, как былинка под ветром; кости растягиваются до любой длины, во всякой мысли столько жизни, сколько душе угодно, и человек, ставший всем, способен также на все.

Сколько предметов должен был изготовить человек, прежде чем добраться до философии материализма.

Для *Свифта* предметом главного интереса является власть. Он — несостоявшийся властитель. Сатирические выпады заменяют ему смертные приговоры. В реальной жизни он не распоряжался ими, и они перебрались в его сатиру, которая поэтому в теснейшем смысле слова самая ужасная из всех когда-либо выходивших из-под пера литератора.

Он изображает королевства, преображает королевства, двory не идут у него из головы. Язвительно рисует он раз за разом, как дворы устраиваются в своих владениях, и раз за разом дает почувствовать это единственное, что он дает почувствовать, — насколько лучше мог бы все устроить сам.

«Дневник для Стеллы» * потому единственное в своем роде произведение, что голо и без прикрас, не считая немногих лож-

ных претензий, показывает мыслящего человека, который в условиях безжалостной двухпартийной системы своего времени тянется к власти и не может позволить себе обладать ею, потому что слишком ясно различает всю подноготную этой системы.

Действуй так, как не смог бы больше никогда.

Уроdlивость жизни собак между собой: самой маленькой дозволено приступить к самой огромной, и порою дело доходит до потомства. Жизнь собак — в значительной мере больше, чем наша, — жизнь среди чудищ и карликов, которые, однако, друг другу ровня и говорят одним языком. Чего только не приключается с ними! Какие только антиподы не ищут союза друг с другом! Сколько страха, какая тяга к опаснейшему и ужаснейшему! И все время их боги где-то рядом, всегда — свист и возвращение в мир символических обязанностей. Часто все это выглядит так, будто религиозная картина мира, рисуемая нашим воображением, с ее чертями, гномами, духами, ангелами и богами, целиком почерпнута из действительности собачьего существования. Оттого ли, что оно предстает нам как зримый образ наших многочисленных и разнообразных верований и суеверий, оттого ли, что мы являемся людьми лишь с тех пор, как стали держать собак, — так или иначе мы можем найти у них все, чем, собственно, богаты и сами, и, надо полагать, в душе большинства хозяев больше благодарности за это подспудное знание, чем по отношению к богам, не сходящим у них с языка.

Музыка уже хотя бы потому лучшее из утешений, что не порождает новых слов. Даже когда она пристегивается к словам, ее собственная магия одерживает верх и подавляет их опасную активность. Но чище всего она тогда, когда наигрывает для себя самой. Ей веришь непременно, потому что ее гарантии — это заверения чувства. Она разворачивается свободней, чем, по видимому, все остальное в пределах человеческих возможностей, и эта свобода несет избавление. Чем гуще будет населяться земля и чем более будут машинизироваться все формы жизни, тем необходимей и незаменимеей будет музыка. Наступит время, когда только с ее помощью можно будет ускользнуть от тесных ячей функциональности, и задача сберечь ее как мощный и неповрежденный резервуар свободы должна рассматриваться как важнейшая для будущей духовной жизни. Музыка является достоверной, живой историей человечества, от которой во всех остальных случаях перед нами лишь мертвые куски. Нет нужды

черпать из этого источника, потому что она всегда здесь, в нас, и достаточно лишь просто слушать, тогда как в остальных случаях безрезультатно штудируешь.

Что такое тигр, я по-настоящему знаю лишь после стихотворения Блейка *.

У всякого языка свое молчание.

Победили, несомненно, те, кто снова втиснул мир в духовную структуру войны. Они могут гибнуть долго, но и погибнув все, до последнего, они оставят за собой войну и будущие войны.

Евреи снова в Египте, но их разбили на три группы: одних отпустили прочь, других впрягли в подневольный труд, третьих убивают. Так суждено разом повториться всем их древним судьбам.

Будь проклята месть, и даже если их рука убьет моего последнего брата, я не желаю отмщения, я хочу других людей.

1943

С тех пор как они сидят в креслах и едят за столом, их войны стали более продолжительными.

Наука себя предала, превратившись в самоцель. Она стала религией, религией убийства, и старается внушить, будто переход от традиционных религий смерти к этой религии убийства является прогрессом. Весьма скоро придется установить над наукой господство иных, высших стремлений, которые низведут ее до положения прислужницы, согнув ей выю, но не ломая хребта. Для этого ее порабощения остается уже немного времени. Она нравится себе в роли религии и спешит истребить человека прежде, чем он соберется с духом и свергнет ее с престола. Таким образом, знание — действительно сила, но обезумевшая и бесстыдно превозносимая; набожные поклонники довольствуются волосами и перхотью с ее главы, а коли не удастся заполучить ничего другого — следами ее тяжелых искусственных стоп.

Старинные путевые заметки станут так же драгоценны, как величайшие творения искусства, потому что священна была неизведанная земля, а ей уже не стать такою снова.

Дьявол оказался столь вредоносен потому, что выглядел так безобидно и усыпил бдительность людей ложным ощущением безопасности.

Это эпоха, особенностью которой являются новые вещи, но отнюдь не новые мысли.

Главная отвага жизни в том, что она ненавидит смерть, и презренны и безнадежны в своем отчаянии те религии, что задушевивают эту ненависть.

Если бы какой-то совет, который мне пришлось бы дать, некий технический совет, привел к гибели одного-единственного человека, я не мог бы более признавать за собой права на жизнь.

И вообразить невозможно, до чего опасным станет мир без животных.

Тысячелетние царства были: царство Платона, Аристотеля, Конфуция.

Судить о людях по тому, приемлют они историю или стыдятся ее.

Власть кружит голову и тем, кто не обладает ею вовсе; только выветривается она здесь скорее.

Не могу я стать скромным, слишком на многое чешутся руки; прежние ответы рассыпаются в прах, к новым мы не приблизились ни на йоту. Вот я и принимаюсь за все сразу, будто в моем распоряжении сто лет. Но смогут ли другие, когда истекут немногие действительно отпущенные мне годы, как-то воспользоваться этими сырыми догадками и предположениями? Я не в силах помириться на меньшем: ограничение чем-то отдельным, так, будто это все, слишком ничтожно. Хочу все ощутить, перечувствовать в себе, прежде чем думать над этим. Мне требуется время; это долгая история, пока то да се обживется во мне и я без предвзятости могу взглянуть на все. Эти вещи должны во мне пережениться и завести детей, и детей детей, по которым я их испытаю и оценю. Сто лет? Какие-то несчастные сто лет! Да разве ж это много для серьезного замысла?

Лишь в изгнании осознаешь, в какой степени этот мир всегда был миром изгнанников и ссыльных.

Какими только хитростями, какими уловками, обманами,

предлогами и подлогами ни воспользовался бы человек лишь затем, чтобы умерший снова оказался здесь.

Что есть человек без поклонения? И что поклонение сделало с человеком!

Великие авторы афоризмов читаются так, будто все они хорошо знали друг друга.

Если мне вопреки всему и довелось выжить, то обязан я этим Гёте — так, как можно быть обязанным только Богу. Но не какое-то одно произведение, а атмосфера и подробная тщательность полноты бытия — вот что неожиданно захватило меня. Я могу раскрыть его где угодно, могу прочесть стихотворения тут и письма или несколько страниц описания здесь — уже после немногих фраз это завладевает мной, и я полон такой надежды, какой мне не в силах дать ни одна религия. Я отлично сознаю, что именно главным образом воздействует на меня. Все годы я был суеверно убежден, будто внутреннее напряжение широко мыслящего и богато одаренного духа должно в каждое мгновение заявлять о себе. Ничто, мнилось мне, не может быть вяло и равнодушно, да, даже успокоительно — ничуть и никогда. Я презирал освобождение и радость. Революция была мне своего рода образцом; и чем-то вроде ненасытимой, непрерывной, неожиданными и непредсказуемыми мгновениями освещаемой революции представлялась отдельная жизнь. Я стыдился иметь какую-либо собственность, даже для обладания книгами измышлял искусные оправдания и уловки. Стыдился, коли оно было недостаточно жестким, кресла, на котором сидел за работой, и ни под каким видом оно не должно было принадлежать мне. Но это хаотическое пламенное существование выглядело так лишь в теории. На деле же все больше и больше оказывалось областей знания и мысли, возбуждавших мой интерес и не проглатывавшихся тотчас, потихоньку прибывавших и разраставшихся год за годом, как у разумных людей, и я не выставлял их за дверь, будто посторонних, из-за того, что они не устраивали немедленно тарарама, обещая плоды лишь много позднее, но тогда порой действительно принося их. Так подрастало, почти неприметно, нечто вроде разума и души. Но они находились под владычеством своенравного деспота, превыше всего ставившего непокой и горячность, проводившего свою внешнюю политику так неверно, лениво и скачкообразно, что все вечно шло вкривь и вкось, а в остальном беззащитного перед лестью любого червя.

Мне кажется, что Гёте постепенно освобождает меня от этой деспотии. До того как снова начать его читать — просто один

пример, — я всегда немного стыдился своего интереса к животным и тех знаний, которые постепенно о них приобрел. Никому не отважился я признаться в том, что сейчас, среди этой войны, почки растений могут так же неудержимо привлекать меня и волновать, как и человек. Мифы я читал охотнее, чем любое сложное психологическое творение современности, и чтобы оправдать перед самим собой этот голод по мифам, я подвел под него научные мотивы и подробно вникал в историю народов, их создавших, и проводил зависимости между ними и жизнью этих народов. Но важным для меня было не что иное, как сами мифы. С того момента как я читаю Гёте, все мне представляется законным и естественным, не то чтобы это были *его* начинания, нет, это другие, и еще весьма сомнительно, приведут ли они к каким-либо результатам, но он поддерживает во мне чувство собственной правоты: делай что должен, говорит он, пусть даже и нет в этом никакого неистовства, дыши, наблюдай, обдумывай!

А не переоцениваешь ли ты способность других к перевоплощениям? Как много таких, что носят всегда одну и ту же маску, а попытайся сорвать ее, так увидишь: это и есть их *лицо*.

Не могу больше видеть географических карт. Имена городов смердят горелым мясом.

От каждой бомбы отлетает кусок назад, в неделю Творения.

Все яснее для меня становится то, что в лице *Фрэнсиса Бэкона* перед нами одна из тех редких и центральных фигур, у которых можно научиться всему, чему можно желать научиться от человека. Он не только знает то, что можно было знать в его время, он беспрестанно высказывается об этом, преследуя своими высказываниями отчетливо различные цели. Есть великие умы двух родов: открытые и замкнутые. Он принадлежит к последним: он любит цели, намерения его ограничены; всегда он чего-то хочет, и он знает, чего хочет. Инстинкт и сознание достигают в таких людях полнейшего совмещения. Что именовали его загадкой, есть его полная беззагадочность. У него очень много общего с Аристотелем, на котором он все время пробует свою силу; он желает сменить Аристотеля на его троне. Эссекс — его Александр *. Многие лучшие свои годы он употребляет на осуществление этого замысла. Но как только замечает, что это предприятие обречено на неудачу, равнодушно оставляет его. Власть в любой ее форме — вот что интересует Бэкона. Он методичный любитель власти. Ни один из ее потайных уголков не остается необысканным. Одних лишь корон для него недостаточно, сколь бы ни был великолепен и заманчив их блеск. Ему известно, насколько

ко скрыто можно властвовать. Особенно притягательно для него правление человека, простирающееся за пределы собственной смерти: в качестве законодателя и философа. Вмешательство извне, чудеса, он презирает, признавая их разве только как сознательные средства влияния на верующих. Чтобы лишить старые традиционные чудеса их силы, он стремится *делать* собственные: его философия эксперимента — не что иное, как метод подобраться к чудесам, чтобы *похитить* их.

Эта давняя уверенность в языке, отваживающаяся нарекать вещам имена. Поэт в изгнании, в особенности же драматург, заметно лишается силы более чем в одном отношении. Вырванный из своей языковой атмосферы, воздуха, которым дышал, он страдает без привычной пищи имен. [...]

Вот и остается поэту на чужбине, если он не сдастся окончательно, только одно: вдыхать новый воздух до тех пор, пока и он не оживет обращенным к нему окликом. Тот сопротивляется долго, принимается и умолкает. А он это чувствует и глубоко уязвлен; может статься, сам зажмет уши, и тогда ни единому имени не достигнуть его. Чужбина нарастает, и когда он очнется — возле него лишь старый иссохший ворох, и он утоляет свой голод зернышками, сохранившимися от времен юности.

Даже рациональные следствия существования мира без смерти никогда не были продуманы до конца.

Есть *одно* законное поле напряжения для поэта: близость к современности и сила, с какою он отталкивает ее прочь; жадное стремление к ней и сила рывка, с которой он снова притягивает ее к себе. И потому ей никак не удастся достаточно приблизиться к нему. И потому ему никак не удастся оттолкнуть ее достаточно далеко.

Истина — это море травинки, колышающееся под ветром; она хочет, чтобы ее ощущали как движение, втягивали как дыхание. Скала она лишь тому, кто не чувствует ее, не дышит ею; такой может в кровь биться о нее головой.

В день Страшного суда из каждой братской могилы восстанет лишь одно-единственное существо. И пусть Господь отважится судить его!

Сколько нужно сказать, чтоб тебя слышали и тогда, когда ты наконец умолкнешь.

Почти до непереносимости мучительна даже мысль о том, сколько знания никогда не войдет в твою жизнь. И уж совершенно невозможно *по собственной воле* решиться исключить его.

Все, что *записывается*, еще содержит крупицу надежды, каким бы отчаяньем это ни диктовалось.

1944

Величайшее духовное искушение в моей жизни, единственное, с которым мне приходится вести тяжелую борьбу, таково: быть вполне евреем. Ветхий завет, где бы я его ни раскрыл, захватывает меня. Почти в каждом месте я нахожу что-то соответствующее мне. Я бы охотно звался Ноем или Авраамом, однако и мое собственное имя наполняет меня гордостью. Я пытаюсь говорить себе, когда истории Иосифа или Давида грозят поглотить меня, что они околдовывают меня как поэта *, да и какого поэта они бы оставили равнодушным. Это, однако, неправда, тут скрыто много больше. Иначе почему я снова встретился в Библии с моей мечтой о будущем человеческом долголетии, представшей здесь в виде списка старейших патриархов, в образе минувшего? Почему псалмист ненавидит смерть так, как только я сам? Я презирал своих друзей, когда они оставляли все прелести и соблазны культуры других народов и слепо снова становились евреями, всего лишь иудеями. Как же мне трудно теперь не последовать их примеру. Все эти новые мертвецы, все эти задолго до своего срока ставшие мертвыми, просят так настойчиво, и у кого хватит духу отказать им. Но разве же новые и новые покойники не повсюду, не со всех сторон, не от каждого народа? Отгородиться от русских, потому что существуют евреи, от китайцев, потому что они далеко, от немцев, потому что дьявол обуял их? Разве не могу я и впредь принадлежать ко всем, как и прежде, и все же быть евреем?

Все несноснее для меня случайность большинства убеждений.

Одна отдельная фраза чиста. Но уже следующая что-то отнимает у нее.

У прогресса есть свои недостатки: время от времени он взрывается.

Языком моей души и мысли и впредь будет немецкий, и именно потому, что я еврей. То, что останется от этой всеми

возможными способами опустошаемой страны, я, еврей, хочу сохранить в себе. И *их* судьба — это тоже моя судьба; но от себя я привношу также нечто из общечеловеческого наследия. Я хочу возвратить их языку тот долг, что числится за мной. Хочу внести свою лепту в то, чтобы и им остались кое за что благодарны.

Плохие поэты стирают следы превращений, хорошие — открыто демонстрируют их.

Идущий к толкователям снов разбазаривает лучшее свое добро и заслуживает того рабства, в котором неизбежно из-за этого оказывается.

Египтянин встречается с китайцем и обменивает мумию на предка.

Кто не верует в Бога, принимает всю вину за этот мир на себя.

1945

В пространстве меж двумя основополагающими полярными взглядами на человека разыгрывается все происходящее в сегодняшнем мире:

1. Всякий — еще чересчур хорош для смерти.
2. Всякий — уже достаточно хорош для смерти.

Примирение обоих этих мнений невозможно. Одно либо другое победит. И вовсе не решенное дело, которое из них победит.

Германия, разрушенная в начале года, как еще никакая страна. Но если возможно так разрушить *одну* страну, разве может это закончиться одной только Германией?

Города гибнут, люди заползают поглубже.

В случившемся в Германии осуществились все исторические возможности, какими еще располагает человек. Все минувшее вынырнуло разом. Происходившее последовательно вдруг одновременно оказалось рядом. Ничто не выпало, не было упущено или забыто. Нашему поколению привелось узнать, что все лучшие усилия человечества тщетны. Плоха, говорят немецкие события, жизнь как таковая. Она ничего не забывает. Она повторяет все. И ты даже не знаешь, когда она затеет это. На нее

накатывают капризы, в этом наибольший ужас. Но в своем содержании, в этой скопившейся эссенции тысячелетий, она не поддается воздействию; кто жмет слишком сильно, тому гной брызжет в лицо.

Изобретение, которого еще недостает: загонять обратно взрывы.

Непомерное тщеславие всяких занятий, имеющих дело с Богом, — как если бы кто-то беспрестанно восклицал: Подобие! Подобие!

Слишком в нас много от прошлого. Слишком ничтожно продвигаемся мы вперед.

От ничтожнейшего из людей учишься наибольшему. Чего ему недостает, то задолжал ему ты. Без него никак не определить размеров этого долга. А долг этот как раз то, для чего и живешь.

О прекрасном. В прекрасном есть что-то очень знакомое, но отодвинутое далеко-далеко, будто и не могло это никак быть знакомо. Потому-то прекрасное и волнующе и холодно в одно время. Стоит заполучить его — и оно уж и не прекрасно. Но его нужно распознать, иначе оно не волнует. В прекрасном всегда как бы некая отрешенность. Оно было в свое время здесь, а после долго находилось далеко, и потому оно неожиданно, когда вновь встречаешься с ним. Любить его нельзя, но к нему стремиться. На пройденные им таинственные пути далекой отрешенности оно богаче, чем все, что в тебе самом.

Прекрасное должно оставаться *вовне*. Есть безумцы, полагающие, что прекрасны. Но даже и сами они знают, что могут быть таковы только совсем, совсем снаружи. Выражение «внутренняя красота» заключает в себе противоречие. Зеркала прибавили красоты в мире; они изобразят вам и отдаленность; многое в древнейшей красоте обязано, должно быть, своим происхождением взгляду, скользящему по воде. Однако зеркала стали слишком часты, потому и получаешь от них обыкновенно то, чего ждешь. Лишь самые грубые натуры склонны полагать, будто прекрасное противоречит себе. Для человека может обрести красоту все, что долгое время было знакомо, затем отдалено, а потом, неожиданно, возвратилось опять. Когда-то любимый и умерший человек оказывается прекрасен, если видишь его, но не помнишь уже о том, что он мертв, и все же не можешь его любить: во сне.

Всему древнему легко быть прекрасным, поскольку оно долгое время было погребено и не существовало. Следы минувшего исчезновения в виде патины красоте весьма на пользу, и то, что ценится при этом, — не старина и древность сама по себе, а старина, столетиями скрытая от глаз. Прекрасному угодно, чтобы его находили на долгих путях, по прошествии многих времен.

Народам следовало бы одалживать друг другу своих высокопоставленных представителей, месяца на два, и пусть бы те разъезжали туда и сюда, произносили на многих языках одни и те же речи да разрешали в спальных вагонах дела войны и мира.

«Беседы» Конфуция — самый ранний, наиболее полный духовный портрет человека; поразительно, как много можно дать в пяти сотнях заметок, какой полноты и завершенности можно достигнуть; как все понятно и как непостижимо до конца, будто пробелы — сознательно брошенные складки одежд.

С ужасающими событиями в Германии в жизнь пришла новая ответственность. Прежде, во время войны, он стоял в одиночку. Что он думал, думалось за всех; ему предстояло, возможно, в какие-то будущие времена держать за это ответ, но он не обязан был отчитываться и оправдываться ни перед кем из живущих сегодня. Все стало им не по силам, они довольствовались беспорядочными порывами ветра жизни; дышать полнотой бытия было не для них, они спасовали. В то время ему еще не виделось никакого особого значения в том, что на этом немецком языке он думал и писал. В любом другом языке он нашел бы то же, случай выбрал для него этот. Что ж, язык этот был ему послушен, им можно было пользоваться; он был еще богат и темен, не сверх меры гладок для не лежавших на поверхности вещей, за которыми он охотился, не слишком китайский, не слишком английский; педагогически-нравственное, небезразличное, разумеется, и для него, не преграждало пути к познаниям, а лишь вытекало из них. Этот язык был, безусловно, на свой лад всем, но он был ничто по сравнению со своею свободой.

Сегодня, после свершившегося в Германии крушения, все это стало для него иным. Люди, живущие там, очень скоро начнут искать свой язык, украденный у них и изуродованный. И всякому, кто содержал его в чистоте во все эти годы безумия, придется его выложить. Что ж, верно, он и дальше живет за всех, и он всегда должен будет жить в одиночку, ответственный перед самим собой как высшей инстанцией... Однако теперь он *задолжал* немцам их язык. Он содержал его в чистоте, но теперь придется

его выложить, с любовью и благодарностью, с процентами и процентами на проценты.

Август 1945

Материя разрушена, мечта о бессмертии разлетелась вдребезги, мы были близки к тому, чтобы прикоснуться к ней. Звезды, придвинувшиеся было так близко, теперь потеряны. Ближайшее и отдаленнейшее спеклись в одно, под сверканье молний. Лишь тишина, лишь неспешное еще стоит жизни. Время его сочтено. Краткой была радость полета. Существой души, эта новая катастрофа настигла бы и их. Вот и нет желания, чтобы что-то было, потому что — чему ж уцелеть? Разрушение, в сознании божественности собственного происхождения, проникает до мозга вещей, и Творец раздавливает вместе с глиной свою создающую руку. Существование! Долголетие! Прочность! О недостойные речи! Деревья были мудрейшею формой жизни, но и они падут вместе с нами, разбойниками, укравшими атом.

Коли сумеем выжить, тогда важно и многое другое. Но мысль о том, что нам, возможно, не жить, — невыносима. Всякая уверенность шла от вечности. Без нее, без этого восхитительного чувства какой-то, пусть даже не твоей собственной, продолженности все пресно и тщетно.

Какое благо, что все это время нас не жгло пылающее сознание вероятностей, о которых мы не подозревали. Рай *был* вначале, да вот теперь кончился. И больней всего мне за судьбу других созданий. Мы так виновны, что почти и не важно, что станется с нами. Остается лишь спать, чтоб не думать об этом. Бодрствующий разум чувствует себя виновным, и не без оснований.

Последовательность открытий в нашей истории сама по себе трагедия. Несколько небольших изменений — и все сложилось бы по-иному. Горсточка десятилетий времени на то да се, и эта участь уже не постигла бы нас. Несомненно, как все, так и это несчастье имеет свои законы. Но кого уж там могут интересовать законы мира, наверняка не имеющего перспектив на долголетие.

Не то чтобы ничего не виделось впереди. Но будущее расщеплено. Выпадет либо так, либо этак: на этой стороне весь кошмар, на той — вся надежда. И у тебя нет больше возможности распорядиться этим, даже в себе самом. Двухязыкое будущее, пифия снова в почете.

Свергнуто Солнце, последний живой миф уничтожен. Повзрослевшая Земля вышла из-под опеки, как-то она распорядится собой? До сей поры была она, ясно и бесспорно, дитя Солнца: в полной зависимости от него, неспособная без него выжить, без него — пропащая. Но свергнут с престола свет, атомная бомба стала мерою всех вещей.

Мельчайшее победило. Парадокс власти. Путь к атомной бомбе — путь философский; есть же и пути куда-то еще, не менее заманчивые. Время, о только бы время, чтобы найти их; ты потерял, возможно, четырнадцать лет, за которые можно было что-то спасти. Так и сам ты ничем не отличаешься от тех, что те же четырнадцать лет работали над разрушением.

Сатирик, неспособный более обращаться против внешнего мира, погибает как нравственное существо: судьба Гоголя.

Постепенно ненависть против собственных персонажей осознается им как ненависть к самому себе. Что бы там ни было предметом отвращения, это было отвращение к *себе*. Он выискивает для себя строгого судью, грозящего ему адом. Заключительная часть «Мертвых душ», его собственная судебская миссия, не удастся. Швыряя ее в огонь, он швыряет туда и себя самого, и становится горсточкой пепла.

Мучительная мысль: что, если, начиная с определенного пункта во времени, развитие истории не было *настоящим*? Просто все человечество целиком, не заметив этого, покинуло пределы действительности; все происходившее после — неистинно, но мы неспособны были этого заметить. И вот теперь наша задача отыскать этот пункт, и пока мы его не ухватим, оставаться нам в теперешней истории разрушения.

В философских идеях греков меня все снова пугает то, что мы еще полностью опутаны ими. Все наши устремления имеют греческий облик. Разрозненность дошедшего увеличивает впечатляющую силу его воздействия. Выглядит наш мир сегодня так потому, что нет в нем ни одной вполне новой, вполне оригинальной мысли? Или же он выглядит так потому, что слишком различное от греков действует в нем?

1946

Подлинные поэты встречаются со своими персонажами лишь *после* того, как создали их.

Меня в самом деле глубоко волнует *всякая* вера. В каждой вере мне покойно, пока я знаю, что могу снова расстаться с нею. Но мне при этом важны не сомнения. Мне свойственна загадочная готовность к вере и легкость в ней, будто мое назначение в том, чтобы изобразить вновь все то, во что когда-либо веровалось. На само религиозное чувство я посягнуть не в состоянии. Оно сильно во мне и живет на разные лады. Я вполне мог бы представить, что провожу свою жизнь возле таинственно скры-

того уголка, хранящего источники, мифы, диспуты и истории всех известных форм веры. Там я читал бы, размышлял и медленно переворачивал бы все, что только вообще существует.

Меня радуют любые системы, если они хорошо обозримы, будто игрушка на ладони. Становясь же подробней, они пугают меня. Слишком многое от нашего мира оказывается тогда не там, где следует. И как же прикажете вызволять все это оттуда снова?

И что выдумывал *ужасаясь*, оказывается позднее простой истиной.

Как легко говорится: найти самого себя! Какой испуг, если это и в самом деле случается!

Читать, пока ресницы не зазвенят тихонько от усталости.

В буквах собственного имени заключена страшная магическая сила, из них будто составлен весь мир.

Мыслим ли мир без имен?

Мучительнейшее представление: *все* драмы уже разыграны до конца, и лишь меняются маски.

Хочу знать о людях больше, чем все, даже поэты, знали до сих пор. И потому я должен углубиться в собственных, немногих известных мне людей, как если бы мне предстояло целиком, до мельчайших подробностей *сделать* их, как если бы, не будь меня, они и не существовали бы вовсе, будто слово мое — их дыхание, моя любовь — биение их сердца, мой разум — их мысль. Таинственность этих связей, которые мне никогда не исчерпать, служит мне *оправданием*.

Литература как профессия — разрушительна: следует иметь больше *страха* перед словами.

Леонардовы цели были столь многочисленны, что он остался свободен от них. Он мог пускаться на любые начинания, поскольку ничто не делало его ни на йоту беднее. Меж его созерцанием и воображением не было расщепленности. Готовым он не брал ничего; или же то, что он брал, становилось для него новым. Наиболее выделяющаяся черта его натуры — рассудочность: он указатель на нашем погибельном пути. Наши разрозненные устремления еще заключены в нем все вместе. Хотя оттого и не менее разрозненны. Вера его в природу холодна и ужасна; это

вера в новый вид господства. Он, пожалуй, и предвидит его последствия для других, сам же не страшится ничего. Это как раз то самое бесстрашие, что обуяло нас, и техника — продукт его. Сосуществование в Леонардо машины и организма — самый зловещий факт в истории развития человеческого духа. Его машины пока еще не более чем рисунки, игра, сдержанный каприз. Поглощающая его интерес анатомия человеческого тела, главная его страсть, позволяет ему эти маленькие машинные игры. Открытие смысла и назначения в той или иной телесной конструкции пробуждает в нем стремление к созданию остроумных устройств собственного изобретения. Знанию еще присущ тот удивительный характер брожения, когда оно не желает успокоенно храниться где-то в укромном уголке и чуждается системы. Его непокой есть непокой созерцания, не желающего просто видеть то, во что верит: *бесстрашное* созерцание, всегда и ко всему готовое бесстрашие и всегда готовый взгляд. Это движение Леонардова духа противоположно тому, к которому стремятся мистические религии. Те хотят достигнуть бесстрашия и покоя через созерцание. Леонардо же его своеобразное бесстрашие служит как путь к созерцанию, которое для него, направленное на любой отдельный предмет, заключает в себе цель и предел всех усилий.

Моя ненависть к смерти требует непрерывной осознанности ее существования; удивительно, как я могу так жить.

Придумать для себя, что похвального могли бы животные найти в человеке.

Каждому следовало бы прийти к своей фундаментальной аскезе; моя была бы аскезой молчания.

Жить так, будто впереди неограниченно много времени. Свидания, назначенные на сто лет вперед.

1947

Указ, согласно которому *скупцы* оплачивают все по двойной цене. [...]

Мифы значат для меня больше, чем слова, и это то, в чем наиболее глубоко мое различие с Джойсом. Но и почтительность моя к словам тоже иного рода. Их суверенная целостность почти свята для меня. Мне претит расчленять их, и даже их старинные формы, из тех, что и в самом деле употреблялись, вселяют в меня робость, я не любитель пускаться с ними на безудержные аван-

тюры. То таинственное и жутковатое, что содержится в словах, их сердце, я не хочу вырывать им из груди подобно мексиканскому жрецу на жертвоприношении; мне эти кровавые замашки ненавистны. Изображение должно разворачиваться лишь в образах, соотноситься всегда только с ними, а не со словами как таковыми. В одних словах, без губ, произносящих их, мне чудится что-то надувательское. Как поэт я все еще живу в дописьменные времена, во времена *кликов*.

Если он долго не читает, дырочки в сите его разума расширяются, и все пролетает насквозь, и всего этого, кроме самого грубого, как не бывало. Именно прочитанное служит ему для улавливания собственных впечатлений и чувств, а нет прочитанного — и пережитого нет.

Каждому назначено быть пастырем нескольких жизней, и горе тому, кто не находит те, что должен оберегать. Горе ему, коли худо пасет он те, которые нашел.

Больше всего не нравятся мне мысли, которые слишком скоро подтверждаются. Что уж там такого сказано, если через каких-нибудь два года оказывается, что это верно?

Крики, должно быть, умолкли. Но я слышу еще молчание мыслей.

Ненавижу людей, быстренько выстраивающих системы, и послежу за тем, чтобы моя никогда не завершилась окончательно.

Кафке и в самом деле чуждо какое-либо тщеславие поэта, он никогда не чванится, он не способен к чванству. Он видится себе маленьким и передвигается маленькими шажками. Куда бы ни ступила его нога, он чувствует ненадежность почвы. Она не держит; пока ты с ним, тебя ничто не держит. Так он отказывается от поэтических обманов и трюков. От того блеска, который он прекрасно чувствовал у других, в собственных его словах нет и следа. С ним приходится ходить его маленькими шажками, и это учит скромности. Нет ничего в современной литературе, что делало бы тебя таким скромным. Он сбивает спесь со всякого. Читая его, становишься хорошим, не раздуваясь от гордости за это. Проповеди наполняют взволнованного ими чувством гордости, *Кафка* отказывается от проповеди. Он не занимается передачей заповедей отца; некая удивительная закоснелость, его величайший дар, позволяет ему оборвать цепной привод заповедей, все передаваемых с давних пор сверху вниз, от отцов к сы-

новьям. Он чуждается их насильственности; внешне энергичное, животное в них — все улетучивается у него без следа. Но тем больше интересуется он их внутренним содержимым. Заповедь оборачивается *размышлением* и *сомнением*. Он из всех поэтов единственный, кого абсолютно не задела инфекция власти; нет никакой власти, в каком бы то ни было виде, в его руках. Он лишил Бога последних покровов отеческой драпировки. И все, что осталось, — это плотная и несокрушимая сеть размышлений, относящихся к самой жизни, а не к претензиям ее породителя. Другие поэты гримируются под Бога и принимают позу творцов. Кафка, никогда не стремящийся к божественному рангу, также никогда не дитя. То, что воспринимается в нем некоторыми как пугающее и что выводит из равновесия и меня, — его неизменная взрослость. Он мыслит не повелевая, но также и не играя.

А может, Бог никакой не творец, а прежде всего — чудовищное сопротивление: он защищает мир от нас; медленно он подается назад; мы, люди, становимся все могущественней; пока не станем могучими настолько, чтобы разрушить все разом — и мир, и нас, и его.

Коренной вопрос всякой этики: следует ли говорить людям, до чего они плохи? Или следует оставить их в невинном неведении? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно быть в состоянии прежде решить, останется ли, при знании того, как они плохи, для людей возможность стать лучше или же именно это знание непоправимо закроет перед ними путь к исправлению. Ведь может быть и так, что плохому придется оставаться плохим, как только оно будет выделено и обозначено в качестве такового; оно хотя и могло бы тогда благополучно скрывать себя, продолжало бы, однако, существовать.

Человека, если уж он привык самостоятельно мыслить, может спасти от отчаянья только одно: та вещь, которую он не делает достоянием других, которую он записывает для себя и забывает, которую с полнейшим удивлением обнаруживает позднее снова. Потому что все, что он сознательно продолжает, над чем планомерно размышляет изо дня в день, плотней и плотней вплетает его в судьбы мира, который гнетет его и теснит. Остаться свободным он может, лишь мысля впустую. Спасти его должны противоречия, их многообразие, их неисповедимая бессмысленность. Потому что человек творческий становится жертвой собственной дотошности; гибель его — продолжение, в которое он впутывается, даже чтение превращается в *самопродолжение*, как если бы листаемые страницы уже прежде сформирова-

лись в нем. Одно-единственное может ему помочь: самосотворенный хаос его мыслей — непродолженных, разрозненных, позабытых.

Разочаровывающее в языках: сугубая обязательность их облика, с их звуками, словами и правилами, и что почти то же самое можно сказать совершенно иным образом на другом языке.

Процесс перевода интересен лишь своими *потерями*; чтобы обнаружить ускользающее, следовало бы иногда переводить.

Ночью, в тиши, когда все, кого он хорошо знает, спят, он становится более хорошим человеком.

Глубочайший смысл аскезы состоит в том, что она помогает состраданию. У едока его все меньше и меньше и в конце концов не остается вовсе.

Человек, избавленный от необходимости есть и, однако, превосходно себя чувствующий, духовно и эмоционально проявляющий себя как человек, хотя никогда не ест, — вот был бы высочайший моральный эксперимент, какой можно себе представить; и только если бы он успешно завершился, можно было бы всерьез подумать о преодолении смерти.

Страна, где громадные женщины разгуливают с крошечными мужьями в сумочке. Когда эти женщины ссорятся, они вдруг выхватывают из сумочек своих мужей и тычут ими навстречу друг другу, будто маленькими устрашающими божками.

А если вообразить, что за этой жизнью есть другая, и наша еще тиха и успокоительна — место отдыха для пришельцев оттуда!

1948

Deus ex machina¹: Бог выжидал и теперь появляется из атома.

Быть Богом, а потом махнуть на все рукой, будто это ничто. Не махнули ли также рукой и на нас?

Принцип искусства: находить больше, чем потеряно.

¹ Бог из машины (лат.).

Силой удерживать мысли врозь. Слишком легко они спутываются, будто волосы.

А если это всегда были худшие — те что сохранялись? Обратный дарвинизм.

Труды по древнейшей истории убивают в ней собственно историческое. Древнейшая история повествует о предметах безмифологичных, о них говорится так, будто они изготовлены нами. Наше современное разделение веры и производственной деятельности переносится, таким образом, назад, во времена, которым оно не свойственно. Способ выстраивания экспозиционных рядов в музеях крадет у этих предметов лучшее: то время и терпение, что были отданы их изготовлению. Столь многое и столь различное жмется вплотную друг к другу, и этот порядок *отнимает* у предметов их историю.

Подумать только, что жестокость ассирийцев, именно эта методичная жестокость, еще померкнет перед лицом другой! И мы сами стали очевидцами того, как это произошло. Так сместилась навсегда нравственная веха в истории, и теми варварами, о которых с ужасом читали в детстве, оказались мы, наше время, наше поколение. Только мы превзошли их.

И вдруг ситуации, раскручивавшиеся целые годы, стягиваются в одну-единственную сцену конкретной действительности. Тогда то, что прежде происходило в течение недель и месяцев, повторяется в считанные мгновения; все кажется знакомым, только вот непонятно — откуда: изменение ритма и длительности происходящего не дает осознать этого. Но после, когда сцена завершилась, сразу приходит облегчение и становится видна жуткая компактность разыгравшегося: за один или два часа перед тобой пролетели годы; годы, памятные до подробностей, потому что в них было много боли. Не исключено, что вообще только так и можно освободиться от выстраданного и, быть может, именно здесь берет свое начало драма.

1949

Меньше ли страха у животных оттого, что они живут без слов?

Гоббс *. Среди мыслителей, не связанных с какой-либо религией, меня способны впечатлять лишь те, что мыслят достаточно экстремально. К ним принадлежит Гоббс; в настоящий момент он для меня важнейший.

Лишь немногие из его мыслей представляются мне верными. Он все объясняет эгоизмом *, и хотя имеет представление о массе (он нередко упоминает ее), ему, по сути, нечего сказать о ней. Моя же задача как раз и состоит в том, чтобы показать, каковы состав и устройство эгоизма, показать, как то, над чем он господствует, ему вовсе не принадлежит, а берет свое начало в других областях человеческого естества, именно в тех, в отношении которых Гоббс остается слеп.

Но отчего же тогда так впечатляют меня его построения? Почему радуется даже ошибочнейшая его мысль, если только сформулирована она достаточно экстремально? Сдается мне, что я обнаружил у него духовный корень того, против чего главным образом и намерен бороться. Он единственный из известных мне мыслителей, кто не драпирует власть, ее значение и вес, ее центральное положение во всем человеческом поведении; он, однако, и не прославляет ее, просто оставляет как есть.

Подлинный материализм, материализм изобретений и исследований, начался в его время. Он испытывает перед ним уважение, не отказывая ради него во внимании и более давним людским интересам и качествам. Ему ведомо, что такое страх; своими расчетами он срывает с него покров. Все последующие, явившиеся от механики или геометрии, отворачивались от страха, и потому он снова стекался обратно, туда, где безымянно мог продолжать в потемках действовать без помех.

Ему чужда недооценка чудовищной значимости государства. До чего жалкое впечатление, в сравнении с ним, производят политические спекуляции позднейших столетий. Руссо в этом соседстве выглядит наивным болтуном. Наиболее ранний период современной истории, уже содержащий нас в том виде, каковы мы сегодня, это XVIII столетие. Гоббс воспринимал этот период осознанно. Все те острые противостояния и расколы партий, среди которых ему приходилось лавировать в течение всей долгой жизни, были достаточно категоричны и опасны, чтобы представлять угрозу и для него. Другого они бы полностью поглотили либо сломали. Он же умел взглянуть на них одновременно изнутри и снаружи, затягивая с ответом на их откровенную враждебность до тех пор, пока собственная его мысль не оформилась и не пришла к окончательным выводам.

Как мыслитель он действительно стоит особняком. Мало найдется психологических течений и направлений в философии последующих столетий, предтечу которых нельзя было бы усмотреть в нем. Он, как я уже сказал, знал много страха и так же открыто говорил об этом страхе, как и обо всем остальном, что занимало его мысли. Его религиозное безверие было удачей, не имеющей себе равных: расхожими обещаниями и провозвестиями его страха было не одолеть.

Приятия существующей политической власти вначале королевской, затем Кромвелевой — как раз ему-то и нельзя вменить в вину: он был убежден в правильности такой ее концентрации. Своей антипатии к воплям массы он не объяснил, но письменно засвидетельствовал. Ни от кого нельзя ждать, что он объяснит все.

Макиавелли *, вокруг которого поднимают столько шума, не более чем половина, классическая половина Гоббса, для которого Фукидид был * тем, чем для того — Ливий *. В религиях Макиавелли, общавшийся с кардиналами, абсолютно ничего не понимал. Опыта массовых религиозных движений и войн, происходивших в течение доброго столетия, разделившего его и Гоббса, он не мог еще использовать. С той поры как существует Гоббс, занятия фигурой Макиавелли имеют всего лишь историческое значение.

Смутное представление о значимости Гоббса было у меня с давних пор. Он импонировал мне еще до того, как я познакомился с ним достаточно подробно. Теперь, после серьезных занятий «Левиафаном» *, я знаю, что включу его в свою «Библию для раздумий» — в собрание важнейших книг, среди которых на первом месте труды моих врагов. Это книги, на которых оттачивается мысль, а не такие, над которыми размякаешь, потому что они давно уже высосаны и исчерпаны до дна. В «Библию», и это я знаю определенно, не войдут ни «Политика» Аристотеля, ни "*Principe*"¹ Макиавелли или "*Contrat Social*"² Руссо.

Масса и заглушение. Одна из важных функций массы — заглушать голос опасностей: как землетрясений, так и врага. Люди сбиваются в кучу, чтобы орать громче. И если другое тогда замолкает — подземные толчки либо враги, — то вот и победа. Здесь важно, однако, вспомнить о том, что *моря* не заглушить. Ведь если даже какой-то могучей массе и удалось бы на мгновение перекрыть своим ревом шум волн, это все равно не заставило бы его замолчать. И потому в сознании людей, которым оно знакомо, море осталось как наибольшая масса, с которой им на самом деле не сравняться никогда.

Слова, без которых нельзя прожить, такие, как любовь, справедливость и добро. Им позволяют вводить себя в заблуждение, видят это и сознают — но лишь затем, чтобы с еще большей страстью верить в них.

¹ Зд.: «Государь» (итал.).

² Зд.: «Общественный договор» (франц.).

Вот уже неделю занимаюсь книгой, от которой мне становится необыкновенно тревожно: это «Размышления нервно-больного», принадлежащие перу бывшего председателя судебной коллегии Шребера, книга, почти пятьдесят лет назад, в 1903 году, изданная на средства самого автора, скупленная его близкими, изъятая из продажи и уничтоженная, а потому сохранившаяся в нескольких считанных экземплярах. Один из них при необычных обстоятельствах попал в 1939 году в мои руки и находился с тех пор у меня. И я, еще не читая книги, чувствовал, что она будет важна для меня. Подобно многим другим, она ждала своего часа, и теперь, взявшись приводить в порядок мои соображения относительно паранойи, я раскрыл ее и прочел, трижды кряду. Не думаю, что когда-либо еще другой параноик, годами в качестве такового содержащийся в лечебнице, изложил свою систему с подобной полнотой и убедительностью.

Чего только я не нашел у него! В том числе и свидетельства, подкрепляющие некоторые из мыслей, занимавших меня в течение многих последних лет: к примеру, о неразрывной связи между паранойей и феноменом власти. Вся его система есть выражение борьбы за власть, причем Бог собственной персоной — главный его противник. Шребер долгое время жил в плену представления, будто он единственный в мире оставшийся в живых человек; все же остальные — души умерших и, многочисленных воплощениях, Бог. Это представление о собственной единственности как о реальном факте либо стремление к ней, взгляд на себя как на единственного живущего в окружении мертвецов — определяющий момент как в психологии параноика, так и в экстремальных проявлениях психологии властителя. Эта связь впервые открылась мне в 1932 году в Вене, когда я присутствовал на судебном процессе над железнодорожным налетчиком Матушкой.

Но Шребер также носил в себе в форме безумия готовую идеологию национал-социализма. Он видит в немцах народ избранный и видит угрозу его существованию, идущую от евреев, католиков и славян. Под «витязем», которому предстоит спасти народ от этой опасности, он понимает часто самого себя. Такое предвосхищение позднейших событий в жизни мира «душевно-здоровых» само по себе уже достаточное основание, чтобы заняться его записками. Однако это еще не все. Он вообразил себе и многое другое. Его преследует мысль о гибели мира, в его мозгу рождаются грандиозные видения заката, которых не позавидовать. Нет смысла перечислять все, что можно обнаружить в его сочинении, я рассматриваю это в двух подробных главах, предназначенных для «Массы и власти». Но некоторые детали, представляющие для меня интерес в связи с «Ослеплением», хо-

чу все же упомянуть. Здесь есть описание некоего периода «неподвижности», приводящее на память соответствующую главу, «Окоченение», из романа. Да и беседы с воображаемыми партнерами будто вышли из «Ослепления»...

В этих занятиях паранойей есть свои опасности. Уже после немногих часов мною овладевает ощущение запертости, и чем убедительней построения безумной системы, в которую вникаешь, тем сильнее нарастает страх.

И действуют здесь, соединяясь, причины двоякого рода.

Во-первых, завершенность и целостность этого бреда, делающая чрезвычайно трудным побег из него: нигде никаких дверей, все замкнуто крепко-накрепко; тщетно ищешь чего-то подвижного, текучего, в которое можно было бы нырнуть, скрыться, с которым можно было бы уплыть прочь; даже если бы нечто такое и обнаружилось, то оказалось бы вычленным, лежащим за пределами целого; все — будто гранит; все сумрачно, и до чего естественно передается тебе эта твердая мрачность. Во всех моих собственных начинаниях я всегда остерегался именно этой завершенности; только не закрывать всех проемов, только бы оставалось место, простор — такова была руководившая мною мысль; пока остается довольно пространства, ничто еще не потеряно. А здесь безумец измыслил для себя такой мир, построить подобный которому было бы для меня легчайшим делом, игрой, не требующей никакого усилия. Никогда я не боюсь самого себя так, как во власти законченности и целостности чужого, но понятного мне безумия.

Второе же, и значительно более опасное, то, что я начинаю сомневаться в справедливости собственных представлений. Ведь если возможно столь завершенно и с такой захватывающей убедительностью подать даже это явное безумие, то чего же тогда не изобразить с тою же непреложностью, при условии, что обладаешь толикой этой «параноидальной» силы. Безусловная очевидность собственных умозаключений и представлений, часто ощущаемая мною, точно так же воспринимается и им. Различие, впрочем, состоит в том, что я тотчас отворачиваю в сторону, не доводя до завершенности то, что кажется мне чересчур убедительным, откладываю на потом и оттягиваю, бросаю надолго, принимаюсь за что-то совсем другое, захожу на ту же проблему с новых сторон, никогда не продавая души одному методу, и уж ни в коем случае — какому-либо собственному; во всю прыть, зигзагами шахматного коня скачу я прочь от ограниченной тесноты устоявшихся дисциплин и укрываюсь в других; погружаясь во все новые области знания, размягчаю собственные индивидуальные затверделости; прежде же всего, вопреки настояниям моих благожелательно настроенных друзей, год за годом уклоняюсь от завершения давно начатой работы, предоставляя ходу

вещей все возможности опровергнуть и выбросить на свалку все эти открытия и самого их автора.

И все же не могу отрицать, что я не в состоянии жить без веры в эти открытия. Не могу поставить их на одну доску с какой бы то ни было разновидностью безумия. А потому — ненавижу себя за ту опасность, какой подвергаю новые мысли, углубляясь в чуждые и ограниченные порождения безумия.

Любовное письмо из Швеции. На марках — Стриндберг.

1950

Многое дал бы я за то, чтобы отвыкнуть от исторического взгляда на мир. Сколько отвратительного убожества в этом подразделении на годы и распространении его задним числом на жизнь животных и растений, еще не обремененную нашим присутствием. Это подсчитыванье лет — венец тиранического господства человека, а наиболее мрачная и удручающая из легенд — сотворение мира для нас.

Страна, вывешивающая своих подонков из окон, как флаги.

Самая ужасная масса, какую можно вообразить, состояла бы сплошь из знакомых.

Истинно утонченный и любезный врач, изобретающий для каждого из своих пациентов новую болезнь.

Хищность некоторых названий болезней: менингит.

Может быть, каждый твой вздох — последнее дыхание другого.

История представляет все так, будто иначе и быть не могло. Но все могло сложиться на тысячу ладов. История берет сторону случившегося и с помощью какой-либо сильной взаимосвязи выделяет его из неслучившегося. Из всех возможностей она избирает в качестве опоры одну, ту, что выжила. В результате история всегда производит впечатление, будто она за *более сильное*, то есть за действительно происшедшее: оно не могло, мол, не произойти, должно было произойти.

Это неотвязное ощущение, что я должен знать все обо всех людях, когда и как бы они ни жили, будто мое вечное блаженство зависит от каждого из них, от его особенностей, его неповтори-

мости, течения его жизни и плюс еще от того, как должно это было выглядеть все вместе.

Специальная молния для скупердяев, разом лишаящая их всего.

1951

Что более всего отталкивает меня в философах, так это процесс *опорожнения* их мышления. Чем чаще и ловче ввертывают они свои излюбленные словечки, тем меньше остается вокруг них от мира. Они будто варвары в высоком просторном доме, полном чудесных творений. И вот они стоят засучив рукава и методично, с непоколебимой уверенностью вышвыривают в окошко все подряд: кресла, картины, посуду, животных, детей, — до тех пор, пока не останется ничего, кроме совершенно пустых залов и комнат. Порою, в довершение всего, следом летят двери и оконные рамы. На месте остается голое здание. Они воображают, будто это опустошение ему *на пользу*.

В каждой войне содержатся и все предыдущие.

От людей, которых хорошо знаю, я снова и снова с удовольствием выслушиваю одни и те же истории, особенно если речь идет о центральных событиях в их жизни. Я в силах выносить лишь общество таких людей, у которых эти истории всякий раз звучат несколько по-иному. Остальные представляются мне лицедеями, чересчур хорошо затвердившими роль, я не верю им ни на грош.

Надо бы выдумать некий мир, где никогда не бывало убийства. Как выглядели бы тогда, в таком мире, все другие преступления?

Поведение мучеников никому не кажется достойным презрения, хотя все, что делали, они делали в расчете на *вечную жизнь*. Сколь жалкими предстали бы для приверженцев христианства те же самые мученики, пекись они о вечной жизни *здесь*, а не где-то еще.

Мужчины, голые и на поводке у пышно разодетых дам: комнатные мужчинки, вроде хинов.

Жест подлинного идиота, неспособного быть иным, волнует меня больше, нежели жест Всемогущего.

Его мечта: знать все, что он знает, но все еще не знать этого.

Суммировав всех друзей, он обнаруживает *себя*; после всех прибавлений, вычитаний, умножений, делений в результате, в сумме неожиданно — *он*. Неужели он так подобрал их себе, что при этом и не может получить ничего другого? *Так много* — и этот старый результат?

Одно лишь нежданное делает счастливым, однако оно должно наткнуться на многое ожидаемое и развеять его.

1952

Кое-что примечаешь лишь оттого, что это ни к чему не относится.

Хочу разбивать себя до тех пор, пока не стану целым.

Я окружен врагами, желающими меня утешить. Они стараются сломить мое упорство, на двоякий манер. То они говорят о ней, признанной безнадежной, для которой всякое спасение кажется невозможным: «Раз так все равно *должно* быть, то уж лучше, чтобы *теперь*». Или же вопят: «*Я умираю! Я умираю!*» Но я еще никогда не признавал, что так должно быть, ни в отношении кого не признавал, и пусть отсохнет мой язык, если я когда-нибудь соглашусь с этим, пусть лучше я стану зловонными клубами дыма, чем скажу этому «да». А о том, что и другие тоже все умрут, я знаю, я вполне серьезно отношусь к этому, но что они *угрожают* мне этим, чтоб завладеть моим страхом для одних себя и отнять его у другого, который *сейчас* в опасности, — этим я задет крепко, этого я никому не собираюсь прощать.

О легкость, легкость! Будет ли он стареть и становиться все легче, пока не станет понимать всех, не говоря об этом, всех любить, не стремясь к этому, поддерживать всех, не давая им этого почувствовать?

По поводу замысла пьесы «Ограниченные сроком». Для меня непостижимо, что этой тайной, продолжительностью своей жизни, люди не занимаются *больше*. Весь фатализм в основе своей связан с ответом на этот единственный вопрос: предопределена продолжительность жизни всякого отдельного человека или же она складывается как результат течения его жизни? Являешься ли на свет, имея с собой определенный квантум жизни, скажем, 60 лет, или этот квантум долгое время остается неопределенным и тот же самый человек, прожив ту же молодость, мог бы все еще

дожить до 70 или только до 40? И где тогда расположен тот пункт, по достижении которого ограничение становится *ясным*? Кто верит в первое, тот, разумеется, фаталист; кто не верит в это, приписывает человеку поразительную степень свободы и признает за ним возможность влияния на продолжительность собственной жизни. И вот живут в этой расплывчатой неопределенности так, как если бы второе предположение было верно, и утешаются, вспоминая о смерти, первым. Возможно, необходимы оба и должны использоваться попеременно, помогая малодушным людям переносить неизбежность смерти.

1953

Это ужасающее спокойствие, что охватывает человека по мере того, как все больше и больше вокруг него павших. Становишься совершенно пассивен, не отвечаешь ударом на удар, превращаешься в пацифиста на войне со смертью и подставляешь ей другую щеку и следующего человека.

Вот здесь-то, на этом изнеможении и слабости, и наживают религии свой капитал.

Нет ничего нудней, чем быть предметом поклонения. И как только Бог это выдерживает.

Первый признак подлаживания под других — *скука*, которую начинаешь вызывать.

Безошибочный признак большой книги: читая ее, стыдишься того, что когда-либо написал хоть строчку... а после берешься все же против собственной воли за перо и пишешь так, будто никогда еще не написал ни единой строки.

Опасности гордости. Становишься таким гордым, что уже ни с кем не меришься силой. Не доверяешься больше никому из тех, кого побаиваешься. Доверителен лишь там, где тобою восхищаются. Делаешь все меньше и меньше и в конце концов — совсем ничего, чтобы не подвергать опасности свою горделивую осанку.

1954

Какие фразы выписывают для себя из встреченных в собрании афоризмов?

Ну, во-первых, те, что подтверждают собственные воззрения: то, что сам воспринимаешь точно так же, о чем часто задумывался, что противоречит распространенному взгляду и оправды-

вает тебя. Здесь немало от тщеславного стремления быть правым, в этом настойчивом желании найти подтверждение и поддержку у великих или мудрых мужей. Но может скрываться и большее — чистая радость от встречи с действительно родственной душой. Ведь если многие высказывания одного отдельного человека созвучны твоим собственным чувствам и мыслям, пустое желание строптиво отстоять свое оборачивается удивлением: в какое-то совсем иное время, среди совсем других людей некто так же стремился постигнуть себя, как и ты сам; та же форма витала перед его мысленным взором, та же определенность, то же предназначение. Какое счастье, если бы лучшее в тебе оказалось достойно сравнения с лучшим в нем. Лишь легкий страх не дает броситься в его, старшего брата, объятия: ощущение того, что много в тебе и такого, что ужаснуло бы его.

Затем идут два рода высказываний, не относящихся к тебе самому. Одни шутивы и вызывают улыбку, смеша неожиданным оборотом либо сокращением, они новы как фразы и обладают свежестью новых слов. Другие будят образ, давно уже готовым лежавший в глубине, наделяя его той ясностью, которая позволяет ему подняться на поверхность.

По своему действию наиболее удивительны, возможно, те фразы, от которых чувствуешь себя *пристыженным*. У каждого много разных слабостей, над которыми никогда не ломаешь себе головы. Они настолько часть тебя, что просто принимаешь их, как глаза или руки. Возможно даже, к ним испытывают тайную нежность: они могли заслужить обладателю чью-то симпатию или восхищение. И вот их держат вдруг перед тобою жестко и без прикрас, вырванными из всякого контекста собственной твоей жизни, так, будто их можно встретить повсюду. Распознаешь их не тотчас, однакостораживаешься. Перечитываешь снова и пугаешься. «Так ведь это же ты!» — говоришь себе вдруг резко и гонишь фразу, будто нож, глубже. И краснеешь, разглядев весь свой внутренний облик. Клянешься даже себе стать лучше, исправиться, и, хотя едва ли становишься лучше, фраз этих не забываешь уже никогда. Они способны лишить непосредственности, что, может, была привлекательна. Но под такими жестокими резами совершается таинство посвящения человека в его собственную сущность. Без них ему никогда не увидеть *всего* себя. Они должны быть неожиданны и наноситься извне. Наедине с собой человек все устраивает поудобней. Наедине с собой он неотразимый лжец. Потому что никогда не скажет себе ничего по-настоящему неприятного, не уравновесив тут же чем-нибудь лестным. Суждение, пришедшее извне, действительно, поскольку неожиданно. И ты *помогаешь* ему с такой же силой, с какой при иных обстоятельствах *дал бы отпор*.

Есть еще и неприкосновенные, или священные, фразы, как

тс, что сказаны, например, Блейком. Неприятно бывает встретить их среди других: пусть даже те и мудры — в свете неприкосновенных они фальшивы и серы. Рука не поднимается выписать неприкосновенную фразу. Она требует отдельного листа или тетради, где нет ничего другого и никогда ничего другого не будет.

Лондон после Марракеша. Он сидит в одном зале с десятью женщинами, расположившимися за несколькими столиками; их лица непокрыты. Легкое возбуждение.

И даже здесь, с тех пор как я вернулся, ничто не стерлось, не поблекло. Все только больше наливается светозарной силой. Мне кажется, что, просто изображая события, без всяких изменений, выдумок, преувеличений, я смогу выстроить в себе нечто вроде нового города, в котором снова пойдет на лад эта то и дело застревающая работа над книгой о массе. И важны для меня не те непосредственные впечатления, которые я намереваюсь теперь записать: нужно заложить в себе новый фундамент, создать другое, неистощенное пространство, в котором я мог бы существовать, — новое дыхание, новый, безымянный закон.

Труслив, по-настоящему труслив лишь тот, кто страшится своих воспоминаний.

1955

Управителю слов, кто бы он ни был: дай мне слов темных и дай мне слов ясных, но не надо цветов, ароматы оставь для себя. Я хочу слов, которые не опадают, слов, которые не отцветают; хочу шипов и корней и изредка, очень редко — просвечивающий лист, но других слов мне не надо, их раздай богачам.

Он до тех пор подставлял другую щеку, пока ему не вlepили на нее орден.

«Если верблюдов продают в чужие руки, они заболевают, от отращения к цене».

Она хромает столь прекрасно, что идущие рядом походят на инвалидов.

Все живущие жизнью духа также кормятся воровством и знают об этом. Но реакция их на этот факт совершенно различна. Одни безудержно рассыпаются перед обобраным в бла-

годарностях; они возносят его имя до небес и упоминают о нем столь часто, что он, как предмет их утрированного культового служения, становится несколько смешон. Другие, едва успев обобщить, уже *злобствуют* на свою жертву; они никогда не называют его, а если другие произносят в их присутствии его имя, предпринимают коварные вылазки. А поскольку они, будучи его лейб-ворами, интимно с ним знакомы, то и удары их точны и приводят к тяжким повреждениям.

Диктаторы *обратного действия*. Новый способ рассмотрения истории.

Страх перед аристотелизацией моих мыслей: перед классификациями, дефинициями и тому подобными пустыми забавами.

Эшбах, президент Штрасбургского коммерческого суда рассказывал моей приятельнице Мадлен К., что он в молодости навещал в Сульце одного старого господина, проживавшего там в замке. У того уже немного мешалось в голове, и как-то раз он сказал: «*Dans ma jeunesse quand j'étais en Russie, j'ai tué quelqu'un en duel. Mais je ne sais plus qui c'était*»¹.

Это был Пушкин.

Все, что было, поддается улучшению. Душа историографии, скрытая от нее самой.

1956

Об *именах* в истории.

Это сплошь могучие имена, все другие умирают. Таким образом, по имени можно измерять силу выживания. По сей день это единственная реальная форма долгожительства. Да, но как выживает имя?

Удивительная прозорливость имени. У имени каннибальские замашки. Жертвы его приготавливаются различными способами.

Есть имена, которые принимаются за дело лишь после смерти их обладателя, до той поры у них нет аппетита. Есть имена, принуждающие их носителя пожирать все, что подвернется еще при жизни, имена ненасытные. Есть имена, что иногда постятся.

¹ «Когда я жил в России, я убил там кого-то на дуэли. Теперь уже и не помню, однако, кто это был» (*франц.*).

Есть имена, зимующие под снегом. Есть имена, вынужденные долго таиться, чтобы затем объявиться со своим волчьим аппетитом, весьма опасные имена.

Есть имена, питающиеся по равномерно растущему рациону, имена солидные, скучные имена. Их разумная гигиена не обещает долголетия.

Есть имена, питающиеся исключительно коллегами, цеховые, так сказать, имена, и иные, процветающие лишь среди посторонних.

У некоторых *зубки прорезаются* среди чужих, а уж пропитание они находят после среди своих.

Имена, живущие потому, что хотят умереть. Имена гибнущие, потому что единственное их стремление — жить.

Безгрешные имена, что живы, потому что воздерживались от всякой пищи.

Пока есть на земле хоть сколько-нибудь людей, не обладающих *вовсе никакой властью*, рано еще отчаиваться окончательно.

Всякое произнесенное слово — лживо. Всякое написанное слово — лживо. Всякое слово лживо. Но что остается без слов?

Провести остаток жизни в совершенно новых местах. Книги забросить. Все начатое сжечь. Отправиться в страны, языку которых никогда не научиться. Беречься всякого объясненного слова. Молчать. Молчать и дышать. Дышать непонимаемым.

То, что я ненавижу, — не выученное, я ненавижу то, что живу в этом.

Смехотворно в *порядке* то, что он зависит от всякой малости. Волосок, буквально один волосок, лежащий там, где лежать не должен, может разделять порядок от беспорядка. Все, что не должно быть там, где находится, — враждебно. Мешает даже самое крошечное; человек порядка, совершенного порядка, должен бы обшаривать зону своей деятельности с микроскопом. Но даже и тогда в нем оставался бы еще след готовности к беспорядку. Женщины в этом отношении по-видимому наиболее счастливы, поскольку они главным образом наводят порядок, и все в том же самом месте. Есть в порядке что-то убийственное: ничто не должно жить там, где нет на то дозволения. Порядок — это небольшая самодельная пустыня. И что важно — она должна иметь границы, чтобы владелец мог как следует приглядывать за порядком. Бедным и несчастным чувствует себя человек, не владеющий таким пустынным царством, где он имеет право душиť все в неистовой злобе.

Поскольку я совершенно не способен существовать без слов, то должен оберегать свое доверие к ним, а оно возможно, только если я не затеваю с ними маскарадов. И потому всякая претензия на внешний эффект, опирающийся на слова, — вещь для меня невозможная. Я могу записывать их и тихо сохранять где-то. Я не могу швырять их кому-то в лицо и не могу торговать ими. Мне неприятно даже что-то изменять в них, коль скоро они уже написаны. Всякие разговоры об искусстве, особенно разводимые теми, кто сам подвизается в какой-то из его областей, для меня нестерпимы. Я стыжусь за них, будто они знахари, разве что те интересней. Да, книги мне святы, но к литературе это отношения не имеет, а уж к написанному мною самим и подавно. Многие тысячи книг важней для меня, чем те весьма немногие, которые написал я. Впрочем, для меня каждая книга неким физическим, трудно поддающимся объяснению образом — важнейшая. Мне ненавистна безупречная красота сознательно построенной прозы. Это верно, что иные из важнейших вещей высказаны красивой прозой, но в тех случаях все произошло, так сказать, помимо воли писавшего: сами вещи были важны, вот вышла хороша и проза; они были столь тяжки и настолько глубоко упрятаны, что не так просто было лишить их меры. Красивая проза, развертывающаяся в сфере прочитанных истин, похожа на демонстрацию мод в языке, она не переставая вертится вокруг самой себя, и я даже презирать ее не могу.

В «Тайной истории монголов» я нашел нечто, затрагивающее меня особенно близко: историю обладателя громадной власти, которому до самого конца сопутствовало счастье, поданную *изнутри*. Возможно, не каждое донесенное ею слово правдиво, но целое пропитано некоей глубинной истинностью, о существовании которой я никогда и не подозревал. Мне оказываются *знакомы*, как бы странно это ни звучало, слова, с которыми обращалась к Чингисхану его мать. Я чую их запах. Я от него так близко, что вижу его и слышу. Как огромно различие между такого рода устным преданием и теми историческими описаниями, какими приходится обыкновенно довольствоваться.

Прежде всего, здесь, в этом «тайном» монгольском предании, еще присутствуют все те *животные*, которые составляют часть их жизни. Здесь имена, с которыми они обычно обращаются к местностям, селениям и людям. Здесь и *бурные мгновения*, переданные во всей взволнованности и возвышенности чувства, — не сухое перечисление страстей, а сами страсти. Эти повествования можно сравнить лишь с библейскими сказаниями, и параллель этим не ограничивается. Ветхий завет есть история власти Бога, тайная книга монголов — история владычества Чингисхана. Это

власть над группой племен, и племенные чувства так преобладают в ней над всем остальным, что можно бы поменять имена — и тогда поди разберись где находишься.

Власть Бога, это верно, начинается с творения как такового, и история притязаний этого творца и есть, пожалуй, то, что придает библейскому повествованию его неповторимое своеобразие. Однако ж и сам Чингисхан не многим скромней. Он тоже, как и Бог, орудует смертью. Он так же щедр на нее, как и тот, и еще щедрей, еще меньше оставляя живого вокруг себя. Но ему присуще также и сильно выраженное чувство семьи, чего Богу, в его единственности, не дано.

В тоне Ницше есть нечто от Корана. Мог ли он и помыслить такое!

В принципе действительно значимы для меня теперь лишь дни, отданные какой-либо из священных книг. Как другим в прежние времена необходимо было каждодневно молиться, так я должен раздумывать о какой-нибудь старинной святыне, будто мне следует отыскать там то, что мы можем учинить себе однажды злого.

Но я не желаю предостерегать. И не хочу предвидеть заранее. Терпеть не могу пророков. Я лишь хочу *ухватить* то, что мы собой представляем. Не думаю, чтобы это можно было найти в толчее аргументаций и борьбе мнений. Но *утверждения* я желаю знать все. Меня интересуют лишь эти утверждения. Что их можно опровергнуть — знаю. Однако мне хочется, чтобы эти утверждения были во мне, все, рядышком, будто они поистине живы. Мне известно, что они уж больше не те и прежними никогда не станут. Но таково мое намерение, в этом моя задача: иметь их в себе живыми и размышлять над ними.

С нарастающим пониманием того, что мы восседаем на горе мертвецов, людей и животных, что наше самосознание истинную свою пищу черпает в сумме лежащих за нами жизней, со все настойчивей заявляющим о себе пониманием этого становится все затруднительней найти решение, за которое не нужно стыдиться. Невозможно отвернуться от жизни, чью ценность и надежду ощущаешь всегда. Но невозможно также и не жить смертью других существ, чья ценность и надежда ничуть не ничтожней наших.

Счастье, у которого столуются все дошедшие до нас религии, — все отдать на откуп некоему далекому далеко — не может уже быть нашим счастьем.

Мир иной в нас самих; немаловажное знание; но он пойман и заперт в нас. В этом великая и неразрешимая расщеплен-

ность современного человека. Потому что в нас же и братская могила живых созданий.

1957

Если бы мне пришлось назвать в истории то, что для меня всего ужасней, так это были бы *примеры*: планы персидских походов Цезаря перед близящейся кончиной *, берущие свое начало от Александра; русский поход Гитлера в стремлении превзойти Наполеона... В этом возвращении великих планов есть какое-то безумие, безумие неискоренимое, потому что неискоренимо историческое предание. И так всякое предприятие будет возрождаться тогда, когда оно наиболее бессмысленно. Кто возьмется подражать Гитлеру, кто другим нашим вождям? Дети чьих детей станут умирать за того или иного эпигона?

Нет ни единого историка, не признающего за Цезарем по меньшей мере одной заслуги: что нынешние французы говорят по-французски. Будто они остались бы немцы, если бы в свое время миллион из них не были убиты Цезарем *.

Солнце — это своего рода вдохновение и потому не должно быть постоянно тут как тут.

Говорить так, будто это последняя дозволенная тебе фраза.

Нет ничего чудесней, чем серьезно говорить, адресуясь к молодому человеку. Под «серьезно» я разумею то, что ты принимаешь его всерьез. Для этого нужно утратить уверенность в себе, втайне, не показывая ему этого, и постепенно, словно впервые, пробираться ощупью вперед, пока не окажешься вблизи некоей надежной убежденности, которой можно доверять также и для него, не только для одного себя.

Ночи и дни страха. У меня странное ощущение, будто все, что удастся выучить и узнать, обращается в страх. После дней, когда мысли снова наполняются прежней жизнью, приходят ночи страха. Наступит когда-то момент, начиная с которого мне уже не дано будет воспринять ничего нового? Конец преумножения духа?

Ужасная перспектива. Потому что я хочу дальше и дальше.

Его представление о счастье. Всю жизнь спокойно читать и писать, никогда никому не показывая ни слова из написанного, никогда ничего из этого не публикуя. Все это для себя написанное оставлять в карандаше, ничего не изменяя, будто все это — так, ни для чего, как естественное течение жизни, которая

не служит никаким ограничивающим и обедняющим целям, а вся целиком является собственной целью и так записывает себя, как ходят и дышат, — сама собою.

Эти чудные мгновения по утрам, когда все личное предстает мелким и незначительным, оттого что ощущаешь в себе высокую гордость законов, которых ищешь.

Отчетливое нежелание приводить все вещи в замкнутую взаимосвязь. Ты постоянно все оставляешь открытым, всегда держишь все разъединенным. Ты хочешь, в сущности, лишь учиться и непосредственно записывать то, что понял. День ото дня ты понимаешь все больше, однако тебе не по душе *суммировать* познанное, будто должен наступить тот единственный день, когда станет возможным выразить все разом в нескольких фразах. Но уж тогда — окончательно.

Неистребимое желание, чтобы день этот пришел лишь в конце твоей жизни, как можно позднее.

Так видеть жизнь насквозь — и так любить ее! Возможно, он догадывается о том, сколь немногого стоит его пронизательность.

1958

Эти оксфордские философы скоблят и скоблят, до тех пор, пока не останется ничего. Я многому от них научился: я знаю теперь, что лучше и вовсе не затевать этого скобления.

Можно бы, разумеется, вместо мифов размышлять над словами, и коли поостережешься дефинировать их, то сумеешь добыть из них всю ту мудрость, которая накопилась у людей. Мифы, однако, *занимательней*, потому что полны превращений.

Мне часто кажется, будто все, что я учу и читаю, выдуманное. Но то, до чего дохожу сам, будто существовало всегда.

Нет ничего более причудливо переплетенного, чем пути духа. В том, как человек научается, если он воздерживается от того, чтобы тотчас воспользоваться выученным, больше необычайных приключений и тайн, чем в любой исследовательской экспедиции. В сфере духа ведь не наметить путей и не рассчитать маршрута. Бесспорно, и здесь тоже есть нечто вроде географических карт, но бесконечно большее манит тебя со всех сторон прочь, и сколько удивления, если вновь обнаруживаешь себя там же, где уже побывал когда-то: совсем другой на старом месте.

Надо же, ты все еще веришь в некий закон, хотя и знаешь, что никогда его не найдешь, хотя и знаешь, что он никому не известен.

Сомневался я всегда мало. Как же сильно еще и молодо мое сомнение.

Нет более глубокого свидетельства уважения к человечеству, чем голод по его мифам, и, когда прочтешь больше, чем способно вынести сердце, можно надеяться на сокровенную силу этой пищи.

Все другое — лучше, чем «я», но ведь его не засунешь в карман.

Мания величия интерпретатора: он чувствует себя на свою интерпретацию богаче, чем произведение.

Велик человек: на какой страх он способен, он может признавать его и выдерживать и жить с ним, никогда о нем не забывая.

1959

Каждому не мешало бы приглядеться к себе во время еды.

Не всегда пробиваться до самого конца. Так много всего по пути.

Дома я чувствую себя тогда, когда с карандашом в руке сижу и пишу немецкие слова, а все вокруг меня говорит по-английски.

Вчера рукопись «Массы и власти» ушла в Гамбург. В 1925-м, тридцать четыре года назад, явилась первая мысль о книге, посвященной массе. Однако действительный зародыш ее возник еще раньше: демонстрация рабочих во Франкфурте в связи с гибелью фон Ратенау; мне было семнадцать лет.

С какой стороны ни взглянуть, вся моя взрослая жизнь была заполнена этой книгой, но с тех пор, как живу в Англии, а значит, более двадцати лет, я, хотя и с трагическими перерывами, почти ни над чем другим не работал.

Стоило ли это таких усилий? Оплатил ли я это многими другими произведениями? Что ж я могу сказать. Я *должен* был делать то, что делал. Мною распоряжалась сила, которой мне никогда не понять.

Я вел разговоры об этом, когда не было еще ничего, кроме намерения написать это исследование. С величайшей амбицией

объявлял о не существующей еще книге, чтобы покрепче пристегнуть себя к ней. В то время как все знакомые подталкивали меня к тому, чтобы я завершил ее, я не закончил ее ни часом раньше, чем представлялось мне верным. Лучшие друзья потеряли за эти годы веру в меня; все тянулось слишком долго, нельзя было сердиться на них за это.

И вот теперь я говорю себе, что мне это удалось — схватить наше столетие за горло.

Осознание драгоценности отпущенного времени, разом вдруг получившего свой предел, возвышает человека, но только тогда, если ему по природе свойственно было делать все без какой-либо спешки. Крушение величайшего богатства неожиданно делает его больше, будто теперь он действительно раздарил все до последнего и стал нищим в гостях у того, что осталось.

1960

Самое чудесное в *Монтене* *, что он не спешит. Даже с аффектами и мыслями, полными нетерпения, он обходится неторопливо. Интерес его к самому себе неколебим, он никогда настоящему не стыдится собственной персоны, он вовсе не христианин. Что бы он ни наблюдал, оказывается для него важным, но действительно неисчерпаем для себя он сам. Это предоставляет ему своего рода свободу оставаться самим собой. Он объект, который никогда не ускользает, он в своем распоряжении всегда. Эта одна-единственная жизнь, ни на мгновение не выпускаемая им из поля зрения, течет столь же медленно, как и ее созерцание.

Придворный шут, тот, кто менее всего чем-либо владеет, рядом с обладателем всего. Как некоего рода воплощенная свобода, движется он все время перед глазами у своего господина, но в то же время он и во власти его произвола. Владыка *видит* свободу сего ничем не обремененного, но поскольку тот принадлежит ему, то господину может казаться, что и свобода — в числе ему принадлежащего.

От тебя остались одни структуры. Рожден ты геометрическим или же время схватило тебя и втиснуло в свои безнадежно прямолинейные формы? Не знаешь ты больше великой тайны? Тайны *самой длинной* дороги?

Какое это было бы счастье, так дать погрузиться на самое дно мыслям, владевшим тобою всю жизнь, чтобы они поднимались наверх лишь во сне.

К «ужасным» мыслителям, восхищающим меня, принадлежат Гоббс и де Местр*. В таких, как они, меня восхищает то, что они умеют *сказать* это ужасное. Но владеющему ими страху не дозволяется превратиться в средство самовозвеличения. Потому и называю я этих двоих, Гоббса и де Местра: как бы ни отличались они друг от друга, оба не позволяли своим мыслям постоянно кружить себе голову — говоря о себе и своей жизни, они оставались просты. Есть, в отличие от них, и другой род мыслителей, со сладострастием обращающих различаемый ими ужас против человека, так, будто это может послужить к их собственной сверкающей славе. Страх у них в руках превращается в плоть, с помощью которой они держат все на почтительном расстоянии от себя. Они восторгаются «величием» и имеют при этом в виду анималистическое величие. К таковым принадлежит Ницше, декларируемая им свобода находится в вопиющем противоречии с присущим его натуре страстным влечением к власти, жертвой которого он в конце концов и стал. Многие из его фраз, будто принадлежащие вульгарному деспоту, наполняют меня отвращением. Де Местр высказывал вещи и более ужасные. Но он говорит их, поскольку они существуют в мире (как средство этого мира и инструмент), а не ради чувственного наслаждения. Мыслители, исполненные честного страха перед человечеством, такие же жертвы этого страха, как и все остальные, и не стремятся исподтишка воспользоваться им для себя. Они не фальсифицируют состояния мира, и они остаются в нем в наибольшей степени, чем все, во власти этого страха. Протест, вызываемый их мыслями, здоров и плодотворен. Другие же изображают из себя опасных и великолепных, чтобы скакнуть, так сказать, из мира в свои высоты. Потому и все, что они говорят, фальшиво до мозга костей и может быть на пользу лишь тем, кто пользуется ими, чтобы грабить человечество, лишая его достоинства и надежды.

Параноик в роли буддиста: неповторимое своеобразие Шопенгауэра*.

Буркхардт* в роли Атланта: базельский бюргер, содержащий в себе и выдерживающий весь мир.

Все изящней часы, все опаснее время.

И снова ныряет он в море нечитанного и, отфыркиваясь и помолодев, возвращается на поверхность, гордый, будто выкрал Посейдонов трезубец.

Я не поэт: не умею молчать. Но во мне молчат многие люди,

которых я не знаю. Взрывы их красноречия превращают меня иногда в поэта.

Всякий верующий, с которым мне доводится встретиться, если только он подлинный, вызывает во мне симпатию. Незамысловатое выражение его веры захватывает меня, а если оно выглядит столь абсурдным, что хочется смеяться, то волнует меня особенно глубоко.

Но это не должен быть приверженец веры, которой в настоящее время принадлежит мир. Стоит мне почуять за ним власть победоносной церкви, стоит заметить, что верующий пытается прикрыться силой этой власти, использует ее, чтоб угрожать и пугать, — меня охватывает отвращение и ужас.

Что это? Что волнует меня — вера или ущемленная вера?

Нелегко отыскать путь назад, туда, где раздаются шаги и голоса невинных людей, после того как занимался безжалостной погоней за имущими властью. До чего ж были они ненавистны, и как привычна стала эта ненависть! И каким простым нужно стать снова, каким бережным и любезным! Вроде как самому отправиться на пенсию и после всю жизнь продолжавшейся охоты на опасных монстров разводить цветы.

Но охотник никогда не забудет, кем был, и хотя бы во сне станет преследовать себя самого.

Кто действительно знал бы, что связывает людей между собой, тот мог бы спасти их от смерти. Загадка жизни — загадка социальная. Никто не приблизился к ее разрешению.

1961

Следовало бы уметь сказать это в столь немногих фразах, как Лао-цзы * или Гераклит, а пока неспособен на это, значит, на самом деле нечего и сказать.

Ужаснейшие из людей: те, что все знают и верят в это.

Перевод мыслей, что занимали тебя более двадцати лет, на другой язык. Их недовольство, поскольку не в этом языке они родились. Смелость их тускнеет, они отказываются излучать. Они тащат за собой не имеющее отношения к делу и растеривают по дороге важное. Они выцветают, они меняют свой цвет. Они кажутся себе трусливыми и осторожными, первоначальный угол падения ими утрачен. Они скользили хищным летом,

теперь же бьются, как летучие мыши. Их бег был пружинистым наметом гепардов, теперь они ползут себе, как безногие ящерицы.

Унизительно думать, что именно в этом редуцированном виде усмирненные и оскопленные, они скорее найдут понимание!

Дух озаряющий и упорядочивающий. Гераклит и Аристотель как экстремальные случаи.

Озаряющий дух сроден молнии, он стремительно покрывает громаднейшие протяженности; оставляя в стороне все, он рвется к одному лишь единственному, что ему и самому неизвестно, пока его свет не озарит это. Действие его начинается с удара. Без мало-мальских разрушений, без трепета страха он для людей бесплотен. Одна вспышка, без них, чересчур неопределенна и бесформенна. Судьба нового знания зависит от места удара. Человек для этой молнии в значительной мере еще девственная земля.

Озаренное идет в наследство упорядочивающим. Их манипуляции столь же медлительны, сколь стремительно движение тех других; они картографы удара, к которому недоверчивы, и своими действиями стремятся предотвратить новые попадания.

1962

Фокус: швырнуть что-нибудь в мир, да так, чтоб тебя не потащило следом.

Он кладет фразы, как яйца, вот только забывает их высидеть.

Страх перед годом 1000. Заблуждение. Ему бы зваться 2000... если до него дойдет.

Там умершие продолжают жизнь в облаках и в виде дождя оплодотворяют женщин.

Там боги остаются малы, в то время как люди подрастают, выросши такими большими, что богов уже не разглядеть, они станут душить друг друга.

Там у них змеи за предков; они заботятся о них и гибнут от их укусов.

Там каждым правит его врожденный цепень, а он заботится о нем и во всем послушен.

Там они действуют, лишь сбиваясь в сотни; одиночка, никогда не слыша обращенного к нему слова, сам себе неведом и потихоньку сходит на нет.

Там они общаются шепотом и наказывают за громкое слово изгнанием.

Там живые постятся и откармливают мертвецов.

Там они селятся на громадных деревьях, которых никогда не покидают. Далеко на горизонте маячат другие деревья, недостижимые и злобные.

1963

Предустановленная гармония разрушения.

Но труднее всего — не мытарить других тем, что исправляешь в себе самом.

Святой — это тот, кому удалось ограничить все нравственные мучения пределами собственной персоны.

Мудрым же был бы тот, кто прекратил мучить уже и себя. Он знает, что совершенства не существует, и горячность оставила его.

Не покидай же меня теперь, черная туча. Останься надо мной, чтобы не стала старость пресна и пуста, останься во мне, яд горя, пусть не забуду я об умирающих людях.

1964

Общества

Общество, где люди по желанию могут стареть и молодеть и живут попеременно, то так, то этак.

Общество, где с каждого пишут портрет и он молится на свое изображение.

Общество, где люди смеются, вместо того чтобы есть.

Общество, состоящее из одних стариков, в слепоте зачинающих все более старых.

Общество, где от хороших и добрых смердит и все их сторонятся. Издали, однако, восхищаются ими.

Общество, где никто не умирает в одиночку. Тысячи собираются вместе, добровольно и публично подвергаются казни — их праздник.

Общество, где дети выполняют роль палачей, чтобы ни одному во взрослому не мариать своих рук кровью.

А что, если вера *всех* ошибочна? Или если результат действий *каждого* противоположен тому, во что он верит?

Взгляни-ка на них, этих мощных духом фанатиков, которые умели так верить, что заражали своей верой многие сонмы! Христианская вера любви — и инквизиция! Основатель тысячелетнего царства для немцев — их разделенность и духовный крах! Белый Спаситель ацтеков в образе испанцев, истребляющих их. Обособление евреев как народа избранного и завершение их обособления в газовых камерах. Вера в прогресс и его высшая реализация в атомной бомбе.

Так, будто всякая вера есть свое собственное проклятие. Может ли это быть отправным пунктом в разрешении загадки веры?

Менее всего в любви милосердия. Одна из ее особенностей в том, что и малейшее имеет значение и ничто не остается забыто: эта всеохватность и педантичность и составляет ее. Когда говорят: я хочу всего, то и *подразумевают* все. Возможно, один только каннибал и был бы тут вполне последователен. Духовный каннибализм, однако, сложнее. Да к тому же еще налицо два каннибала, одновременно поедающие друг друга.

Буддизм не удовлетворяет меня тем, что отказывается от чересчур многого. Он не дает ответа на вопрос о смерти — он обходит ее. Христианство по крайней мере отвело умиранию центральное место: чем же иным является крест. Нет ни одного индийского учения, в котором речь действительно велась бы о смерти, поскольку ни одно не выступило против нее безоговорочно и полностью: ничтожеством жизни оправдывается смерть.

Следовало бы прежде посмотреть, какова та вера, что рождается в человеке, видящем и признающем *чуждость* смерти и отказывающем ей в каком бы то ни было позитивном смысле. Вполне бескомпромиссной неподкупности, являющейся необходимым условием подобного взгляда на смерть, еще не встречалось в мире: слишком человек слаб и прекращает борьбу еще до того, как решается ее начать.

Все позабытое вопиет во сне о помощи.

Он хотел бы начать все с самого начала. А где начало?

Суверенитет человека состоит в том, что во всякое мгновение он вправе сказать себе, о чем думает.

Собственные соображения всегда представляются ему подозрительными, если удастся убедительно отстоять их перед кем-либо.

Труднее всего прощается бесцеремонность. Она перешагивает через самое святое и одновременно наиболее ранимое: через близость.

Как жаждут в любви заверений и как их боятся, будто они *расходуют* нечто, что без них прожило бы дольше.

Всем мыслителям, исходящим из негодности человека, присуща необычайная сила убеждения. В их словах звучит опыт, мужество, правдивость. Они глядят в лицо действительности и не страшатся назвать ее по имени. Что это всегда неполная действительность, замечают лишь позже; а что было бы еще мужественней, в той же самой действительности, не фальсифицируя ее и не приукрашая, найти зародыш иной, возможной при измененных обстоятельствах, — в этом признается себе лишь тот, кто еще лучше знает эту негодность, кто носит ее в себе, ищет ее в себе, находит ее в себе: поэт.

Новые, существенные открытия в изучении животных возможны лишь потому, что мы основательно поутратили нашего высокомерия в качестве венца творения Божьего. Выявляется, что мы скорее последняя тварь Господня: палачи Бога и мира его.

Не говори: я был здесь. Всегда говори: я не был здесь никогда.

Есть народы лишь избранные: те, что еще существуют.

Одно из назойливо раздающихся в английской жизни примирительных выражений «Relax!»¹. При этом мне представляется некто, говорящий Шекспиру: «Relax!»

¹ Полегче, спокойно, расслабься (англ.).

Человек: животное, замечающее, что убивает.

Льстец, вдруг видящий, к собственному ужасу, что все люди становятся такими, как он их изображает.

Последнее желание, обращающееся вокруг Земли и не изменяющееся с течением тысячелетий.

Чересчур много людей — говорят те, что не знают ни одного; слишком мало — говорит тот, кто начинает узнавать их.

Небеса, населенные космическими идиотами. Зевота звезд.

Паскаль потрясает меня до глубины души. Математика в поре невинности. И уже она кается.

Всякий старец видит себя как сумму удавшихся ухищрений. Всякий юноша ощущает себя началом вселенной.

Разложить реку на ее ручьи. Понять человека.

В любой семье, не являющейся его собственной, человек задыхается. В собственной также, только не замечает этого.

Каким будет все это людское множество, сколько воздуха останется для каждого? Научатся они обходиться без пищи? Станут обживать атмосферу и в многоэтажных постройках — земное нутро? Откажутся от движения и станут лишь медитировать? Перестанут обонять? Будут шептать? Светиться?

Особенность *Роберта Вальзера* * как поэта состоит в том, что он никогда не высказывает открыто своих мотивов. Это скрытнейший из поэтов. Всегда у него все наилучшим образом, всегда он в восторге. Но увлеченность его холодна, оттого что оставляет незатронутой одну из частей его личности, а потому не только холодна, но и жутковата. Все для него превращается во *внешнюю* природу, а ее суть, ее глубинную сущность, страх, он отрицает в течение всей своей поэтической жизни.

Лишь позднее начинают звучать голоса, мстящие ему за все утаенное.

Его поэзия — это беспрестанное усилие замолчать шевелящийся страх. Он бежит отовсюду прежде, чем тот чрезмерно разрастается в нем (его блуждающее существование), и преобразуется нередко, ища спасения, в нечто услужливое и мале-

нькое. Его глубокая и инстинктивная антипатия ко всему «высокому», и прежде всего к тому, что обладает положением и престижем, превращает его в значительного и важного поэта нашего времени, задыхающегося в объятиях власти. Язык не поворачивается назвать его, следуя обычному словоупотреблению, «великим» поэтом, ничто не претит ему так, как «великое». *Блеск* величия, перед ним лишь склоняется он, а не перед его притязаниями. Наслаждение для него — любоваться блеском, оставаясь в тени. Нельзя читать его без стыда за все то, что представлялось важным во внешней жизни, и потому он особого рода святой — не из тех, что святы по обветшалым и выдохшимся предписаниям.

Столкновение с «борьбой за существование» приводит его в ту единственную сферу, куда она уже не достигает, в сумасшедший дом — монастырь современности.

Я спрашиваю себя, есть ли среди тех, кто выстраивает свое уютное, безмятежное, устойчивое, прямое как стрела академическое бытие на судьбе в нищете и отчаянии жившего поэта, — есть ли среди них хотя бы *один*, которому совестно?

Он не говорит ничего. Да, но как он это разясняет!

Он желает стать лучше и упражняется ежедневно до завтрака.

Я есть. Нет меня. Новая считалка человечества.

Словообильные стареют первыми. Вначале увядают прилагательные, затем глаголы.

Поэт вправе оберегать свою несправедливость. Если он будет все время ревизовать все, что будило в нем противодействие, и корректировать свои антипатии, от него ничего не останется.

Его «мораль» в том, чего он не приемлет. Однако вдохновляться ему дозволено всем до тех пор, пока исправно действует его «мораль».

Что в Гёте нередко наводит скуку, так это его всегдашняя *завершенность*. Все более и более недоверчив он с годами к порывистой односторонности. Но он, разумеется, столь огромен, что нуждается в равновесии совсем иного рода, чем другие люди. Он не расхаживает на ходулях, а как чудовищный вселенский шар духа покоится, всегда завершен и округл, опираясь на себя самого, и, чтобы понять его, нужно обращаться вокруг него по-

добно крошечной Луне — роль несколько унижительная, однако единственно уместная, когда имеешь дело с ним.

Он придает силы, но не для бесшабашной отваги, а для выдержки, и мне неизвестен другой великий поэт, в чьей близости смерть так подолгу скрывала бы свой лик.

Находить новые неудовлетворенные желания, вплоть до глубокой старости.

Философом мог бы считаться тот, для кого люди остаются так же важны, как и мысли.

Все книги, которые только и демонстрируют, как мы поднялись до нынешних наших воззрений на животное, человека, природу, вселенную, вызывают во мне неудовольствие. И куда ж это мы там поднялись? В произведениях мыслителей прошлого выписываются фразы, отражающие взгляды, приведшие постепенно к нашему мировидению. По поводу большей, ошибочной части их мнений высказывается сожаление. Что может быть стерильней подобного чтива? Как раз «ошибочные» мнения прежних мыслителей и есть то, что вызывает мой наибольший интерес. В них могут содержаться зачатки вещей, которые нам наиболее необходимы, которые выведут нас из ужасного тупика нашего сегодняшнего миропредставления.

По меньшей мере дважды в истории развития философии представления о массе имели решающее значение для формирования нового миропонимания. В первый раз — у Демокрита: множественность атомов; во второй раз — у Джордано Бруно: множественность миров.

С тех пор как его можно осуществить с помощью взрывов, Ничто утратило и свой блеск, и свою красоту.

Очень старый человек, не принимающий никакой пищи. Питается своими годами.

Во сне спускался по многим лестницам, вышел наружу на вершине Мон-Венту.

1968

Лихтенберг

Его любопытство не сковано ничем, оно выскакивает и собирается отовсюду и бросается навстречу всему.

Его просветленность: даже самое темное становится светло,

окунувшись в его мысль. Он мечет лучи света, он желает попаданий, но не хочет убивать, чуждый убийства дух. И тело его ничем не прирастает — ни жира на нем, ни припухлостей.

Он не испытывает недовольства собой, слишком уж много у него идей. Роящийся дух. Но в этой толчее всегда есть простор. Что он не склонен ничего округлять, что ничего не доводит до конца — его и наше счастье: так ему удалось написать богатейшую книгу мировой литературы. Все время так и хочется обнять его за эту воздержанность.

Ни с кем так не хотелось бы поговорить, как с ним, но в этом нет необходимости.

Он не избегает теорий, но всякая из них для него повод к новым идеям. Он умеет играть с системами, сам не запутываясь в их тенетах. Наитяжелейшее он может смахнуть как пылинку с рукава. Подхваченный его движением и сам становишься легок. С ним все принимаешь всерьез, однако не чересчур. Ученость легкая, как свет.

Он слишком неповторим, чтобы можно было ему завидовать; обстоятельность, свойственная даже и величайшим умам, ему настолько чужда, что того и гляди перестанешь воспринимать его как человека.

Это верно, что он соблазняет к скачкам. Да, но кто на них способен? Лихтенберг — это блоха с человеческим интеллектом. Он обладает несравненным даром прыгать прочь от себя самого — куда-то прыгнет он в следующий миг?

Его капризный произвол находит для себя все книги, подстрекающие его к прыжкам. И если другие, обремененные тяжестью книжной премудрости, обращаются в дьяволов, то он лишь возвращает на ней свою утонченную деликатность.

Возможно, Кафка отбивает охоту ко всякому явному или тайному хвастовству. [...]

С Кафкой пришло в мир нечто новое, более отчетливое ощущение сомнительности, соединенное, однако, не с ненавистью, а с благоговением перед жизнью. Сочетание этих двух видов эмоционального отношения — благоговение и сомнение в одно и то же время — уникально, и, раз соприкоснувшись с ним, без него уж не обойтись.

Я преклоняюсь перед слабостью, которая не является самоцелью, которая всему сообщает прозрачность, которая не отдает никого, которая отвечает власти упрямой неподатливостью.

Большие имена, как только они достигнуты, должны бы собственноручно разбиваться их обладателями.

Он разрубил стол пополам и уселся писать вдвойне.

Наиболее многообещающее во всякой системе — не вошедшее в нее.

Многозначность всех социальных явлений такова, что их можно толковать как вздумается. Но наименее убедительна из всех — попытка дефинировать их функционально и тем исчерпать их содержание.

Ведь может стать, что общество — вовсе *не* организм, что оно *не* обладает строением, что функционирует лишь временно или лишь иллюзорно. Наиболее доступные аналогии — *не* самые лучшие.

Громкие слова должны бы вдруг начинать свистеть, как чайники, в которых кипятят воду, — в качестве предупреждения.

Сюнь-цзы * читаю с удовольствием: он не обманывает себя в отношении человека, но, несмотря на это, надеется. Не стану, однако, отрицать, что с удовольствием читаю и Менция *, потому что он обманывается в человеке.

С китайскими «учителями» не расстаюсь никогда. Только досократики занимают меня так же давно, как и они, — всю мою жизнь. Ни с теми ни с другими я не знаю усталости. Однако только вместе они содержат все, что нужно думающему человеку в качестве стрекала... или нет, не совсем все, остается еще нечто решающее, чем следовало бы их дополнить, это касается смерти, и это хочу сделать я.

О добре китайцы знали больше, чем греки. Восхитительное честолюбие греков, которому мы обязаны столь многим, лишило их простой непосредственности в доброте.

К тому же традиции китайцев уже на ранних этапах их истории определяются массовостью человеческого существования. Даже развитый греческий полис, вполне знакомый с явлением массы, в принципе не вызывает в современных ему мыслителях ничего, кроме неодобрения.

Разве что в Эмпедокле есть нечто от китайского мудреца. Атомы же Демокрита, хотя и неисчислимы, действуют, однако, беспорядочно, не как подлинная масса.

Возможно, наличие рабов было тем, что помешало грекам прийти к экстремальному понятию массы.

Из всех мыслителей лишь древние китайцы обладали сносным достоинством. Сохранилось ли бы это ощущение, если бы

они *говорили* с нами, вместо того чтобы нам *читать* их весьма скупые высказывания?

От них дошло так мало, что уже и в этом звучит достоинство. В Будде, к примеру, мне мешает то, что он говорил все так часто и подробно (основной недостаток индийцев). Монотонная настойчивость древних китайцев — в их позиции и поступках, а не в высказываниях.

Никто не ретроград из тех, кого гложет беспокойство за судьбу человечества. Ретроград тот, кто успокаивает себя заплесневелой риторикой.

1969

Науки отгрызают от жизни куски, и та окутывается болью и горечью.

Педантичная подробность обращается банальностью, лапидарность же безответственна. Нелегко уместиться в нужной точке между ними обеими.

Унизительное в жизни: все, что с силою и в гордом отворачивании отметал когда-то, в конце концов все же приемлешь. Так оказываешься снова в точке, которая была исходной в молодости, обратившись в свое собственное окружение тех времен. Но где же теперь ты сам? В той твердости, с какой видишь это и отмечаешь.

Достаточно серьезен не был даже Паскаль.

Не поработила меня ни одна религия, но как увлеченно я предавался им всем!

«Ребята, хотите жить вечно?» — «Да!»

Дышащий говорит: мне всем еще нужно передышать. Несчастный говорит: у меня есть еще место для несчастий других. Мертвый говорит: я еще ничего не знаю, как же мне быть мертвым?

Всякая попытка истолкования — для человека неодолимый соблазн. Последовательность предпринятых попыток истолкования стала его роковой судьбой. Если бы кто-то понял эту последовательность, если бы разобрался в ней получше. Перестановка во времени двух истолкований повлекла бы за собой изменение хода истории.

Возможна ли еще какая-то перестановка? Или уже все жестко детерминировано? И если так, где лежит тогда начало детерминации, в какой именно точке?

Маленькой стала природа на фоне наших замашек безумцев, охваченных манией величия; простушка-природа среди монстров, позволяющих себе с нею все, что вздумается.

Самое грустное в истории с Луной, что все верно. Все, вычисленное нами — расстояние, размеры, тяжесть, — верно, все на самом деле так.

Прокаженной стала Луна, с тех пор как мы коснулись ее. Оскверненная Луна: с каждой фотографией человеческих следов на ней усиливается неуютное чувство, будто нужно оправдаться за какой-то проступок.

Спрячась, иначе не узнать тебе ничего.

Язык, взятый как система, немеет.

Найти для любви более сильное слово, слово, что было б как ветер, но идущий из-под земли, слово, которому нужны не горы, а чудовищные пещеры, что служат ему жилищем, вырываясь из которых оно обрушивается на равнины и доли; будто воды, но все ж не вода, как огонь, да не жжется, светится все насквозь, как хрусталь, но не режет, сама прозрачность, но и отчетливость линий, слово — как голос животных, но ставший понятным, слово — будто ушедшие навсегда, которые снова здесь.

1970

Диалектика, особого рода челюсти.

Если чувствуешь себя очень униженным, то остается только одно: утешить другого униженного и возвысить его.

Осязаемая реальность фантастического у Чжуан-цзы *. Оно нигде не редуцируется до чего-то идеального. Неприкосновенна сама действительность, а не что-то лежащее за нею.

В даосизме * меня всегда привлекало то, что он на «ты» с превращением и одобряет его, не соскальзывая к позиции индийского или европейского идеализма.

Даосизму наиболее дорого долголетие и бессмертие в *этой* жизни, и те многочисленные обличья, к которым он ведет, здешние. Он — религия поэтов, даже если им это и неизвестно.

Поле напряженности между тремя главными учениями Китая — между Менцием, Мо-цзы * и Чжуан-цзы — представляется мне обладающим актуальностью, точнее не очертить напряженности духа и в современном человеке. Традиционный европейский конфликт, противопоставление «земного» и «потустороннего», кажется мне неистинным и надуманным.

Для сегодняшнего человека нет литературы, касающейся его ближе, чем написанное ранними китайскими философами. Все несущественное здесь отбрасывается. Насколько возможно, здесь избегается искажение понятием. Дефиниция не обращается в самоцель. Речь все время идет о позициях, возможных по отношению к *жизни*, а не к *понятиям*.

Иные романтные персонажи обладают такой силой, что держат своего автора в плену и душат его.

Деструкция персонажа в новейшей литературе: фигуры, которые потребовались бы для изображения нашего времени, столь чудовищны и отвратительны, что никто уже не проявляет безумной отваги, нужной, чтобы их выдумать.

Миф? Имеешь ли ты в виду нечто настолько древнее, что оно *больше уже* не наводит скуки?

Вместо истории литературы по принципу взаимовлияний — история литературных антивоздействий; такая была бы содержательней. Противоположности, не всегда явно, зачастую важнее, чем образцы.

Построить биографию человека на основе всего, что его отталкивало. Такое внедряется совсем иначе, засядет где-то затерянно, но всегда начеку, под кожей. Когда-то отвергнутое, оно может забыться, но эта позабытость мнимая, и отвергнутое может быть без боязни *использовано* в качестве неприемлемого и аморального.

Перевертыши

При погребении потерялся гроб. Торопливо работая лопатами, стали закапывать скорбящих. Покойник неожиданно вынырнул из засады и швырнул вслед каждому горсть земли в свою могилу.

Пес снял с хозяина намордник, но оставил его на поводке.

В световой рекламе буквы поменялись местами, предостерегая от покупки рекламируемого товара.

Господь вернул ребро на прежнее место в боку Адама, исторг из него дыхание и снова обратил его в глину.

1971

В правдивом поэте я превыше всего ценю то, о чем он из гордости умалчивает.

Не вижу никакого интереса в том, чтобы как можно точнее обрисовать человека, которого я знаю. Мой интерес в том, чтобы как можно точнее его утрировать.

Что за жалкий удел — иметь один определенный возраст! Вот если бы одновременно быть двойного возраста и знать об этом. «Вам сколько лет?» — «27 и 65». — «А вам?» — «41 и 12».

Из этих двоевозрастов могли бы возникнуть новые и заманчивые формы существования.

Никак не предугадать, что будет, если вдруг изменить все вещи вокруг. Но угадаешь разве, что будет, если их *не* изменить?

Вторгался ли ад в жизнь человека меньше, когда в него еще верили? Были ли дьявольские наши натуры сносней, когда знали, куда лежит их путь?

Гордые упразднением ада, мы распространяем его теперь повсюду.

Страна, где судьи одновременно приговаривают и себя. Никакого правосудия, не бьющего рикошетом по ним. Ни единого наказания, не затрагивающего также и их. Ни одного оправдательного приговора, который не был бы им на пользу: только он обходится для них без последствий.

Найти путь сквозь лабиринт своего времени, не заплутавшись в нем, но и не выскакивая из него.

Необходимо, чтобы люди постарались вникнуть во все, что есть вокруг *помимо техники*. Как иначе открыть те силы, которые позволят нам сохранить свободу перед лицом превосходящих сил машинного мира?

Я вскормлен мифами. По временам я пытаюсь ускользнуть от них. Насиловать их — не собираюсь.

Музилом я восхищаюсь уже по одному тому, что, и видя

насквозь, он не бросает разоблаченного. Проводит в нем сорок лет и умирает, все еще пребывая в его гуще.

Останавливаться нужно прежде, чем сказано все. Иные ска-
зали все, еще не успев начать.

[...] Стендалю я обязан убеждением в том, что всякий человек, если б ему удалось полностью себя записать, предстал бы волнующим, достойным удивления да к тому же незаменимым.

Спонтанность мысли и чувства — вот что дорого мне в нем самом; открытость и счастливое возбуждение его существа, быстрота, но без забывчивости, беспрестанность движения, никогда не теряющего пути, достоинство, никогда не впадающее в бахвальство, благодарность, доподлинно сознающая, за что она благодарна, неприкрашенность (разве что речь о картинах), насыщенная бездонность, в которой, однако, всегда светло. Свет у него повсюду, самое мышление его есть свет. Но это не какой-то религиозный или мистический свет, что всегда был ему подозрителен, — это свет жизненных процессов как таковых, осмысляющих себя в каждой конкретной детали и подробности.

Кому из людей дозволено идти своим путем, кого не швыряет беспрестанно сюда и туда, в пустынный предел, где не находишь уже ничего от себя и обречен иссохнуть, лепечущий о помощи, заплывающий солью, без цветка и листка, спаленный, проклятый?

Ни одному человеку не дано знать всей полноты горечи, ожидающей его впереди, и, если б она вдруг явилась ему, будто сон, он стал бы отрицать ее и отводить взгляд прочь.

Надеждой зовется это.

Философы, желающие *снабдить* человека на дорогу смертью, как если б она с самого начала была уже в нем.

Им нестерпимо видеть ее лишь в конце, и они старательно растягивают ее назад, к началу, производят в закадычные спутники всей жизни, и так, в этой разбавленности и доверительной близости, она становится для них сносна.

Им невдомек, что таким образом они наделили ее большею властью, чем той подобает по чину. «Не беда, что ты умираешь, — как бы заявляют они, — ты и без того беспрерывно умирал». Они не чувствуют, что берут на себя грех гнусного и трусливого трюка, парализуя силу тех, что могли бы воспротивиться смерти. Они препятствуют той борьбе, что единственная стоила б свеч. Они объявляют мудростью то, что на самом деле капитуляция.

Уговаривают каждого присоединиться к их собственной трусости.

Те из них, что полагают себя христианами, отравляют таким образом самое ядро своей веры, черпавшей силу в преодолении смерти. Всякое воскрешение, какое удавалось евангельскому Христу, оказалось бы, послушать их, бессмысленным.

«Смерть, где жало твое?» Да это и не жало вовсе, говорят они, поскольку она всегда была здесь, вросшая в жизнь, ее сиамский близнец.

Они отдают человека смерти без остатка, будто некоей невидимой крови, безостановочно пульсирующей в его жилах, пусть зовут ее кровью смирения, эту тайную тень крови подлинной, неустанно обновляющейся для жизни.

Фрейдов «инстинкт смерти» — отпрыск древних и мрачных философских учений, только он еще опасней, чем те, поскольку рядится в биологические термины, обладающие привлекательностью современности.

Эта психология, не будучи философией, живет на счет худшего ее наследия.

Лингвофилософы, опускающие смерть, будто она нечто «метафизическое». То, однако, что она угодила в метафизический разряд, ничего не изменяет в том, что смерть являет собою древнейший фактум, — более древний и коренной, чем всякий язык.

Стоики преодолевают смерть смертью. Смерть, учиненная над самим собою, не может больше ничем навредить. Отрезавший себе голову не страшится боли.

Мир, не пробуждающий страсти в том, в кого проникает, — не мир. Простого просачиванья еще мало. Человек, этот своего рода карст, должен собирать свои подземные реки, и пусть они чудовищно и неожиданно выхлестываются на поверхность.

Спрашивается, можно ли в старости сознательно и безнаказанно оглядываться назад, делать выводы и подводить итоги. Ведь вполне представимо, что под натиском поднятых пластов замкнешься от внешнего мира, ничего больше не захочешь воспринимать и не будешь воспринимать.

Возможно, значение и ценность поздних впечатлений сомнительны. Они проникают не всюду, струясь и стекая по поверхности того непромокаемого плаща, что носишь теперь от нового.

Отворенность же *внутри*, напротив, возрастает настолько, что *приходится* ей уступать, пусть даже полезный выход оправ-

дывает это лишь отчасти. Трудность в том, что некий отблеск ложится на все прежнее, просто потому, что оно было и прошло, в особенности же глянecь этот свойствен умершим. И не дано человеку не доверять этому блеску, потому что часть его субстанции — благодарность за прожитое. Но это *может* быть одно только самим тобою прожитое, личное, и чувство вины, которое нет-нет да и мелькнет порой из-за того, что это не прожито и всеми другими, из-за того, что оно их, так сказать, исключает, — чувство нескромное, поскольку как же это можно жить жизнью всех?

Воспоминания хороши тем, что расширяют границы познаваемого. Но следует особо следить за тем, чтобы они ни в коем случае не обходили ужасного.

Они могут представить его иначе, чем было оно в своей страшной реальности, иначе, но не менее жестоким, столь же невыносимым, не менее бессмысленным, болезненным, горьким. И без удовлетворенности оттого, что оно миновало: ничто никогда не минует.

Чувство облегчения подле животных: они не знают о том, что их ждет.

1972

Всякая трусость, недоговоренность и сдержанность для писателя грех. Его отвага — высказываться. И несмотря на то, что он за это в ответе, он должен говорить.

Даже если бы существовала одна-единственная неоспоримая мировая религия, он обладал бы правом не принимать ее во внимание и не высказываться на ее счет. Но этим правом он обладал бы лишь в том случае, если б ему необходимо было высказать нечто неотложно важное, что способен сказать он один.

Но что важно? То, что он ощущает и видит в других, но что они высказать неспособны. Вначале он должен почувствовать и распознать это в себе, а затем заново открыть в других. Созвучием творится неотложность.

Он должен быть способен к двоякому. Сам сильно чувствовать и мыслить и с никогда не ослабевающей страстью *слушать*, принимая всерьез, других. Чувство созвучности должно быть честным, без замутняющей примеси тщеславия.

Но ему нужно также уметь сказать это: невнятное и недовысказанное теряет свою неотложность, и он оказывается повинен в растрате драгоценного резонанса, не только ценнейшего, но и самого жуткого, что дано испытать человеку. Он должен быть

способен уберечь его, когда тот грозит угаснуть, должен питать его непрерывно новым опытом и постоянным усилием.

Он старается не потерять слишком много предрассудков разом. Осторожно! Медленно. Иначе от него и вовсе ничего не останется.

Эпитет «моралист» звучит будто наименование какой-то перверсии, было бы неудивительно вдруг обнаружить этот термин у Краффта-Эбинга *.

Есть фразы, означающие что-то лишь на другом языке. Как своей повитухи, ждут они своего переводчика.

Очень важно, какие намерения еще остаются у человека в конце. Этим определяется мера несправедливости его смерти.

Из усилий одиночек отвлечь от себя смерть сложилась чудовищная структура власти.

Бесчисленные смерти требовались для продолжения жизни одного. Возникшая из этого неразбериха зовется историей.

Здесь бы и начинаться истинному Просвещению, обосновывающему право *каждого* на продолжение жизни.

Если знаешь, как фальшиво все это, если способен измерить масштаб этой фальши, тогда, и только тогда, своенравное упрямство — самое лучшее: бесконечные прогулки тигра вдоль прутьев клетки, чтобы не упустить единственный, ничтожно краткий миг спасения.

Тайное сердце часов



ЗАМЕТКИ

1973—1985

Гере Канетти

1973

В процессе писания есть нечто бесконечное. И даже если он прерывается каждую ночь, это все одна и та же запись, и правдивее всего она звучит тогда, когда не ухищряется повыгодней подать себя какими бы то ни было искусственными средствами.

Но здесь не обойтись без доверия к языку, такому, как он есть, и меня удивляет, что его еще так много во мне. Языковые эксперименты всегда не слишком привлекали меня, я принимаю их к сведению, но избегаю, когда пишу сам.

Причина этого в том, что *субстанция* жизни полностью захватывает меня. Кто пускается на эксперименты с языком, отказывается от большей части этой субстанции; кроме крошечной ее частички, все остается лежать в стороне нетронутым и неисчерпанным — как если бы он все время играл одним только мизинцем.

Отчего ты восстаешь против представления о том, что смерть уже присутствует в живущих? Нет ее разве в тебе?

Она есть во мне, потому что мне нужно нападать на нее. Для этого, ни для чего другого, она нужна мне, для этого я обзавелся ею.

В глубочайших мыслях философов есть что-то от фокуса. Многое исчезает, чтобы кое-что вдруг оказалось в руке.

На троякий лад Шопенгауэр подкуплен смертью: рентой, оставшейся от отца, ненавистью к своей матери, философией индийцев.

Он полагает себя неподкупным, оттого что не занимает профессорской кафедры. Не желает признать, что преступнейший и ничем не возместимый компромисс — это уступка смерти.

Пользы как противник он в этом отношении не представляет. Что следовало бы сказать против него, лучше высказать против индийцев.

Как мало напутал в тебе Якоб Буркхардт, несмотря на свое приятие Шопенгауэра!

Ты многим обязан Буркхардту:

его отказу от всяких систем, донесенных историей;

его ощущению того, что ничто не стало *лучше*, а, скорее наоборот, хуже *;

его преклонению перед всем пластическим, в отличие от абстрактного;

его теплоту сочувствию всякой действительной живой жизни, питаемому мягкостью собственного отречения;

его неприукрашенному знанию греков;

его сопротивлению Ницше (с ранней поры предостережение мне).

Тень, лежавшая на Буркхардтовом мышлении, не была тенью чувственной. Его воодушевляет *единичное*. И если иное со временем поблекло, то другое сохраняет свое действие. С ним нет нужды соглашаться. Его нельзя отбросить.

Нет в прошлом столетии другого историка, которым бы я так безгранично восхищался.

В годы приготовления, когда я читал самое разное, чтоб затянуть дорогу к «Массе и власти», все выглядело так, будто я потерялся в этом океане литературы. Кто узнавал о состоянии, в котором я находился, считал меня одержимым, и даже от лучших друзей приходилось выслушивать осторожные советы. Мол, совершенно излишне читать одни лишь источники, уже и великие древние книги тысячекратно исчерпаны и сведены к немногим полноценным и окончательным резюме. Все прочее балласт, которым просто непозволительно обременять себя. Отбрасывание лишнего — важнейший элемент всякой крупной работы.

А я греб без руля по водам моего моря и не позволял сбить себя с толку. Оправдания таким действиям не было у меня никакого, пока я не наткнулся на следующее высказывание:

«Может статься, что в сочинениях Фукидида, например, имеется факт первостепенной значимости, который будет замечен кем-то лишь через сто лет». Эту фразу можно найти во введении к «Рассуждениям о мировой истории».

Самое интимное, чем я обязан Буркхардту, оправдание за те годы, — эта самая фраза.

Публичность лишает человека правдивости. Существует ли еще возможность публичной истины?

Возможна она была бы лишь при условии, что вопросы каждый ставит себе *сам*, но отвечает не только сам. Чужие вопросы влекут за собой искажения, ты подлаживаешься под них, подхватываешь слова и понятия, которых непременно следовало избегать. Надо бы использовать лишь слова, которые ты наполнил новым смыслом.

И на краю бездны он все еще цепляется за карандаш.

Спасти *преувеличение*. Не умирать разумным.

До чего же неприятно *разъяснять* записанное: будто берешь сказанное назад.

Мертв ли Бог, нет ли, невозможно молчать о нем, столь долго пребывавшем здесь.

Ты подвергал это сомнению, но все-таки, должно быть, желал себе славы. А разве в тысячу раз сильнее не хотел ты другого, возвращения одного из умерших? И не добился этого.

Одни только жалкие, никчемные, бесстыдные желания и исполняются, а значительные, достойные человека — остаются несбыточны.

Ни один не придет, не вернется никогда ни единый, сгнили те, кого ненавидел, сгнили и те, кого ты любил.

Можно ли любить больше? Вернуть умершего к жизни большей любовью? И что, никто еще не любил достаточно сильно?

Или же довольно было бы одной-единственной лжи, великой, как акт Творения?

Всякий раз после захода солнца выползал паук и ждал появления Венеры.

Поколение, утратившее небеса, завоевав их.

Он обрывал паукам лапки и швырял их, беспомощных, в их собственные тенета.

У кого чересчур много слов, тот может быть лишь один.

Гигантские паутины для людей. По краям осторожно усаживаются животные и наблюдают за попавшимися людьми.

Осушить трясину самодовольства.

Некто, кто в одиночку был бы непобедим. Но он ослабляет себя союзниками.

Как раскаляется его дыхание среди юных слушателей!

Нелегко выносить и *собственное* самодовольство. А уж чужое-то!

Этот так горячо привязан к своим старым произведениям, будто к ушедшим культурам.

А ведь вполне возможно, что Бог не дремлет, а скрывается из страха перед нами.

Философы, над которыми распыляешься: Аристотель. Философы, которыми подавляют: Гегель.

Философы для самовозвеличения: Ницше.

Для дыхания: Чжуан-цзы.

Коли записываешь свою жизнь, то на каждой странице должно быть нечто, о чем не слышал еще ни один человек.

Унамуно * мне нравится: у него те же плохие черты, какие я знаю и за собой, только он и не думает их стыдиться.

Потихоньку выясняется, что ты составлен из нескольких испанцев: Рохас (написавший «Селестину»), Сервантес, Кеведо — от каждого понемногу.

Стендаль — скорее итальянец, из-за Ариосто и Россини. Даже Наполеона он трактовал для себя как итальянца.

Дорого бы я дал за то, чтобы услышать Стендаля говорящим по-итальянски.

Стендаль бодрит меня во всякое время, в любом состоянии. Позволительно ли допускать так оживлять себя?

Может быть, одно лишь новое вправе разгонять кровь по жилам, новое и неожиданное. Может быть, это было бы законно и допустимо, все остальное имеет привкус лекарства.

«Когда Солон оплакивал смерть сына и некто сказал ему: „Этим ты ничего не добьешься“, он возразил: „Именно потому я и плачу, что ничего не добьюсь“».

Медленно самомнение отмирает в тебе, и ты становишься прост и полезен. Поскольку очень трудно было таким стать, то это бесполезно.

Он считал, что умен, потому что каждый следующий день думал иначе.

Сон точки с запятой.

Об одном отдельном человеке, каков он на самом деле, можно бы написать целую книгу. Но и тут он не будет исчерпан вполне, и никогда не разобраться с ним до конца. Стоит же проследить, как думается о ком-либо, как вызываешь его образ, как хранишь его в памяти, и придешь к весьма более простому портрету: это всего лишь несколько своеобразных черт, которые в нем наиболее заметны и особенно отличают его от прочих. Черты эти преувеличиваются за счет остальных, и как только они названы по имени, то сразу же играют в воспоминании решающую роль. Они есть то, что запечатлелось с наибольшей силой, они есть *характер*.

Всякий носит в себе некое множество подмеченных характеров, они составляют собою запас его жизненного опыта и определяют в итоге его представление о человечестве. Нельзя сказать, чтобы таких типажей было слишком много, они передаются и наследуются от поколения к поколению. С течением времени они утрачивают резкость очертаний и превращаются в своего рода общее место. Скупердяй, говорят тогда, дурак, блаженный, завистник. Было бы полезно изобретать новые характеры, еще не затасканные, способные заставить снова себя заметить. Склонность видеть людей в их неуподобленности — элементарное свойство человеческой природы и требует себе пищи. Не следует обескураживаться тем, что человеку в целом свойственно много больше, чем вмещается в один такой характер. Хочется людей очень и очень разнообразных, да и на что одинаковые, если б даже они и были такими.

Некоторые из новых «характеров», сочиненных мною, можно считать эскизами к романным персонажам, другие являются импульсами к самоосмыслению. При первом взгляде находишь знакомых, при втором — обнаруживаешь себя. Изображая их, я ничуть не сознавал, что думаю при этом о себе самом. Но составляя эту книгу с 50 характерами (из большего числа изображенных мною), я с удивлением узнал себя в двадцати из них. Так богат составляющими один человек, и таким мог бы предстать, будь один из входящих элементов последовательно утрирован до крайности.

Кажется, будто, подобно многим животным, эти характеры находятся под угрозой вымирания. Однако в действительности

мир кишит ими, нужно лишь выдумать их, чтобы увидеть. И будь они злокозненны или комичны, лучше, чтобы они не исчезли с лица земли.

С тех пор как мы знаем о миллионолетиях, времени крышка.

Вена опять так близка мне, будто я никогда ее не покидал. Притяжение Карла Крауса?

Успех — это площадь, занимаемая на газетной полосе. Успех — это бесстыдство-однодневка.

Ребенок еще не боится человека. Не боится он и никаких животных. Он боялся мухи и несколько недель — Луны. «Она сейчас боится мух. Если какая-нибудь оказывается слишком близко — она плачет. Она испуганно жмется в угол, пока жирная муха прогуливается по стенкам ее кровати».

Свободен лишь тот, кто не имеет желаний? К чему желать быть свободным?

Вконец иссох над Карлом Краусом. Все время, какого у меня уже нет, уходит на него.

Все больше моя убежденность в том, что взгляды складываются на основе массового опыта. Но разве люди повинны в своем массовом опыте? Не оказываются ли они совершенно беззащитными прямо в его гуще? Как должен быть устроен человек, чтобы найти силы противостоять ему?

Вот то, что меня действительно интересует в Карле Краусе. Нужно ли обладать способностью самому формировать массы, чтобы оградить себя от воздействия других масс?

Духовная закаменелость отца: ребенок, начинающий говорить, настолько удивительней, чем он.

1975

Не дай исказить себе минувшие времена письмами из тех лет.

Страна, где нет братьев: у всех не больше одного ребенка.

Он неспособен выдумать *в подробностях* ни одной жизни и поэтому пишет собственную.

Ты ничего не теряешь, высказывая свою молодость: между фразами вспоминаемого заявляет о себе упущенное, и ты становишься на затерявшееся богаче.

Скачки, скачки важны в человеке — то, насколько велико в нем расстояние от одного до другого.

Дух живет случайностью, но он должен уметь ее ухватить.

Учебник забывания языка.

Страна, где люди лопаются с негромким хлопком. И исчезают без следа и остатка.

Все более глупые фигуры окружают его, которые все — он сам.

Я знаю, что не сделал ничего. Что проку убеждать себя в том, что иные и того о себе не знают.

Возможно, история была в нем живей, чем во всех историках. Она была его отчаяньем, была и осталась.

Тебе меньше веры, чем Кафке, потому что ты живешь уже так долго.

Но может статься, «молодые» ищут у тебя помощи против эпидемии смерти, свирепствующей в литературе.

Как тот, кто презирает смерть с каждым годом все больше, ты несешь свою пользу.

Портрет отца, которого не было уже в живых, над кроватями в Вене, в переулке Иозефа Галла, невыразительный бледный портрет, никогда не имевший никакого значения.

Во мне была его улыбка, во мне его слова.

Ни на один портрет отца я не мог смотреть, не считая его бессмыслицей, никогда не видел ни единого написанного им слова, которому бы поверил.

Во мне он всегда был на свою смерть больше. Меня охватывает дрожь при мысли, во что обратился бы его образ, останься он в живых.

И вот ты вертишь перед собою смерть, будто она смысл, великолепие и честь.

Но она такова лишь оттого, что ее не должно быть. Она такова, потому что я возношу над нею умершего.

В примирении со смертью нет чести.

Никакая смерть не унесла еще с собой моей ненависти там, где я действительно ненавидел. Может быть, и это одна из форм неприятия смерти.

Он разучился хвалить и потерял вкус к жизни.

Лицемер мысли: всякий раз, как грозит проклянуться истина, он прячется за какую-нибудь мысль.

Исследующий себя становится, желает он того или нет, исследователем всего прочего. Он учится видеть себя, но неожиданно, если только он был при этом честен, является другое, и оно настолько содержательно и богато, насколько был он сам, и как венец всего — богаче.

Это недоверие ко всему мыслительному, просто потому, что оно сводит концы с концами и объясняет!

Запутанные случаи разрешались нередко учеными-законниками, к примеру, если один раб принадлежал двум хозяевам и бывал отпущен одним из них на волю.

Персия

Наблюдать нарастающий упадок, которым сопровождается старость, фиксировать его без эмоций и преувеличений.

Утомление всех страстей и порывов, в особенности же стремления к вечности. «Бессмертие» становится обременительным и жутковатым. Это может быть связано с тем, что покидаешь ценности лишь сомнительные и с охотой бы от них избавился.

Презрение к себе растет, но особенной боли оно не причиняет. И хочется путешествовать, двигаться, не меняя, правда, местонахождения. Более резки реакции на оскорбления и обиды, становишься неуживчивей. Все слабее приливы восхищения и восторга, нет в них прежней энергии.

Подводит память. Но все на местах. Забытое возвращается тоже, но когда ему вздумается.

«Так, например, *нам* следует непременно заботиться о том, чтобы свиньи отправлялись на смерть с легким сердцем, поскольку в противном случае от такого высокого содержания адреналина в крови страдает качество мяса».

Один из прогрессивнейших свиноводов Дании

Все чаще он ловит себя на мысли о том, что нет для человечества спасения.

Это что, одна из попыток спихнуть с себя ответственность?

Поэт, всегда ищущий середины, — да поэт ли это? Он смягчает и умеряет все докатывающееся до него, чтобы не утратить своего благообразия. Может ли существование, так себя изолирующее, действительно знать что-либо о жизни других?

Гладенькая завершенность его произведений мне тягостна. Никогда-то он не вселит в меня ужаса. Ему всегда удастся успокоить читателя. Нет в нем конвульсивного и раздражающего, нет раздавленности и бешенства, нет бездонности и загнанности. Его ирония мила и уютна, юмор никогда не перехватывает через край. Он старательно худосочен и почитает это достоинством.

Столь удивительной фигуры, как Вальзер, не измыслить никому. Он категоричней и резче, чем Кафка, которому без него никогда бы не возникнуть, которого создавал и он тоже.

Конфликт у Кафки развивается на уровне положения, его упорство — упорство закованного в цепи. Даосистом он становится, чтобы вырваться.

Счастливым обстоятельством был для Вальзера неудачник отец. Он даосист по природе, ему нет нужды, как Кафке, сначала стать им.

Корни его судьбы — в его прекрасном почерке. Таким нельзя писать некоторых вещей. И действительность послушно следует за изяществом почерка. Пока тот несет с собой удачу, можно жить и писать.

Когда почерк подводит, он расстанется с ним. Вполне возможно, что в херицауские годы он боится его.

Роберт Вальзер захватывает меня все больше и больше, в особенности его жизнь. В нем есть все, чего нет во мне: беспомощность, безгрешность и волшебство подкупающей детской правдивости.

Он правдив, не прорываясь к правде, он становится ею, ходя вокруг да около.

Это не победоносные обдуманые арабески Томаса Манна, всегда знающего, что он хочет сказать, и кружащего лишь для виду. Вальзер *стремится* к обдуманности и не может ее ухватить.

Он хочет быть маленьким, но не в состоянии сносить обвинений в малорослости.

Прославление сатирой.

Это неразрушимое ощущение непреходящей значимости, не умаляемое ни смертью, ни отчаянием, ни восхищением перед лучшими и более достойными (Кафка, Вальзер), — ничего не могу с ним поделать. Только с неудовольствием констатировать.

Но это, однако, верно, что только здесь, за своим столом, с листьями деревьев перед окном, движение которых волнует меня вот уже двадцать лет, я могу быть собою самим, только здесь это чувство — моя ужасная и восхитительная уверенность — функционирует безупречно, и, быть может, я должен иметь его в себе, чтобы не сложить оружия в борьбе со смертью.

Я знаю только *один* вид спасения: когда находившийся в опасности остается жив. И в этот миг спасения я не спрашиваю себя — надолго ль, накоротко ль.

Ослепление было в Византии средством лишения власти. Однако Дандоло *, венецианский дож, непосредственный завоеватель, а затем и властитель трех восьмых Византии, был *слеп*.

Писатели, все со всем приводящие во взаимосвязь, просто невыносимы.

Я люблю таких писателей, которые себя ограничивают, которые пишут, так сказать, ниже своего интеллекта, которые стараются укрыться от своей сообразительности и осведомленности, приседая и пригибаясь, однако ж не отбрасывая ее и не теряя. Или же тех, для которых их смысленность *нова*, — нечто поздно нажитое или обнаруженное.

Есть такие, что озаряются от малости, вдруг — чудо. Есть такие, что беспрестанно озаряются «важным» — ужас.

Из всего безграничного осталось у него лишь *единственное*: терпение. А все новое должно порождаться нетерпением.

Ошибочно представление о большей терпимости с возрастом. Великодушия не прибавляется, просто становишься восприимчив к *иному*.

Пророки ощущают божескую угрозу человеку, представляющую им справедливой.

Нынче, когда люди угрожают себе сами, пророки в смятении.

1976

Всякому приходится самому, совершенно заново разбираться со смертью.

Здесь нет ни подхода, ни руководства, которые ждали бы готовенькими.

История молодости не должна превращаться в каталог того, что оказалось важным в последующие годы жизни. Она должна содержать и расточительность, и неудачные начинания, и растраченное впустую.

Ты обманщик, коли открываешь в своей молодости только то, что и без того известно. Но можно ли утверждать, что всякое неосуществленное намерение имело какой-то смысл?

По-настоящему значительным мне представляется каждый человек, которого хранит воспоминание, каждый. И мне мучительно оставлять некоторых там, позади, ничего о них не сказав.

Чего-то я уже больше не нахожу, от чего-то отворачиваюсь. Сколько, каких попыток надо бы еще предпринять?

Отчего это так, что лишь в страхе я вполне нахожу себя? Или я воспитан для страха? Я различаю себя лишь в страхе. Но уж коли он позади, то превращается в надежду. Однако это страх за *других*. Я любил тех людей, за чью жизнь боялся.

Христианство по-звериному: сострадание к людям.

От Гераклита дошло так мало, что он всегда нов.

Меня не оставляет мысль о том, что из одного-единственного мифа можно больше уяснить о природе мифа как такового, чем из искажающих его массовых сравнений.

Этот Б., заявляющий, что с помощью самоубийства поставит смерть на место. Пока он не убедит всех в том, что смерть — самое лучшее, он себя не убьет.

Наиважнейшее: беседы с идиотами. Только идиоты должны быть настоящими, а не возведенными в этот ранг тобою.

Одна его часть стара, а другая еще не родилась.

Все, чего он не видел, но о чем знает, поддерживает в нем жизнь.

Он постоянно говорил о любви и никого не подпускал близко.

И никого, кто помог бы мне; я не позволил себе иметь Бога.

Теперь все они могут совать мне под нос своих богов и торжествовать свою правоту.

Да ведь я и не собирался доказывать собственной правоты, я только хотел выяснить, как можно выстоять одному.

Выяснил я это?

На все лады говори себе, что и ты — персонаж, но знай и не забывай никогда, что ты *один* из персонажей среди бесконечного числа других, и у каждого из них нашлось бы сказать не меньше.

Похвалы надо использовать на то, чтобы видеть, чем ты на самом деле не являешься.

Все чаще манит меня просеять и рассортировать слова, которые я ношу в себе. Они появляются вдруг, поодиночке, из разных языков, и тогда мне не хочется ничего другого — только размышлять долго-долго над таким единственным словом. Я держу его перед собой, верчу и так и сяк, обращаюсь с ним будто с камешком, но камешком удивительным: земля, в которой он лежал, это я.

Почести вызывают в нем стыд. Почести ранят его в самое сердце. Ему нужны все новые почести, чтобы перешагнуть через этот стыд.

Он ищет фраз, которых еще никто не жевал.

1977

Ничто не изменилось во мне, но порою я медлю, прежде чем выговорить имя врага.

Испытать смерть зверя, но как зверю.

«Ну, — говорит он ребенку, — и тогда засыпают, но больше уже не просыпаются». «А я всегда просыпаюсь», — радостно заявляет ребенок.

Но уж теперь возможно вполне, что все это великолепие исчезнет одним махом.

И где тогда сопротивление и бунт, где?

Там же, где и все остальное, вместе с покорностью, с Господом Богом и волей его.

Он хочет найти слова, каких не позабыть ни одному человеку. И пусть принадлежат каждому, кто швырнет их навстречу смерти.

Если примешься подводить итоги, то следует тебе задуматься и над этим: изменения от близости смерти, близости пусть даже и мнимой, эта интенсивность чувства, эта серьезность, ощущение того, что в счет идет лишь важнейшее из всего, что собой представляешь, и что все должно быть точным, ничего приблизительного, а уж тем паче неверного, потому что нет больше возможности подправить и уточнить.

И если бы действительно удалось настолько стряхнуть с себя смерть, чтобы больше не чувствовать ее близости, — что случилось бы тогда со *всей этой* серьезностью? Что смогло бы и тогда быть важнейшим, да и было ли б хоть что-то до этого важнейшего достигающее, равное ему?

Отчет этот за мною. Без него я не вправе исчезнуть.

Он — то единственное, в чем *мне* не может быть никакой пользы.

Отчет этот ничего не добавит к прежнему протесту против смерти. Он может лишь, как апология, ослабить его. Нельзя ведь, защищаясь, — а это была бы защита, — добиться того же, что и в беспощадной атаке.

В этом отчете, в нем одном, я еще смог бы быть таким, каким пытался быть в течение всей моей жизни: без целей, без пользы, без намерений, без урезываний и коверканий, свободным, насколько вообще может быть свободен человек.

Чья душа слишком рано открылась для впечатлений смерти, тот неспособен уже никогда снова замкнуться перед нею вполне: рана, как бы ставшая легкими, через которые дышишь.

«Горе человеку, чье имя больше, чем дело его».

Завет отцов

Не толкуй ничего, не разъясняй ничего. Оставь немного и тем, что желали бы поломать голову.

Достаточно ли я размышлял над выживанием? Не ограничил ли я себя чрезмерно аспектом, связанным с сущностью власти, и, одержимый им, не упустил ли из поля зрения других аспектов, не менее важных? О чем вообще можно думать, не оставляя в стороне большей части? Такова ли природа всех изобретений и открытий — отбрасывание наиважнейшего?

Может быть, это и есть одна из главных причин того, что я пишу свою жизнь, пишу настолько полно, насколько возможно. Мне бы следовало окружить мысли той атмосферой, в которой они возникали, чтобы добавить им естественности. Вполне возможно, что я придам им таким образом иной оттенок. Я не

хочу ничего изменять, подправлять, но ту жизнь, что связана с ними я хочу вернуть, приблизить, заставить ее снова наполнить их.

«Честолюбие есть смерть мышления».

«Приветствием философов друг другу должно быть: Не спеши!»

«В долинах глупости все еще растет для философа больше травы, чем на голых высотах разумности».

В литературе важно, чтобы о многом умалчивалось. Должно чувствоваться, насколько больше известно умалчивающему, чем он говорит, и что молчит он не из ограниченности, а от мудрости.

Дни обратились в капли, каждая — одна и единственная, ничто больше не соединяется вместе, год — будто до половины наполненный бокал.

Чудовишна в Гёте его *распределенность*. Он опять и опять ускользает, покидая очередной жизненный этап, и умеет не только вовремя начать свои преобразования, но и применить их. Он использует новые свои обличья и против старого ополчается лишь в тех из них, которые с чрезмерной верностью цепляются за покинутое.

Есть в нем что-то необыкновенно практичное, ничего не упускающее из виду и ничего не оставляющее неиспользованным, удивительное уже хотя бы потому, что он всегда остается поэтом, которого и скрывает. Никогда еще ни один поэт не был менее расточителен, и именно эта его повадка экономодомоправителя прежде всего вызывает досаду, когда имеешь дело с поздним Гёте.

Саморазрушение ненавистно ему так, как одна только расточительность.

Опасность того, что будешь обходиться теми немногими мыслями, которые имел, не допуская никаких новых и, таким образом, орудуя в неполноценном мире, который на свой лад так же фальшив, как и тот другой, который ты хотел подправить.

Короче, короче, пока не останется один слог, которым сказа-

Однако та главная книга, которую он должен себе, была бы длинней, чем «Карамазовы».

В музыке *плывут* те слова, которые обычно *ходят*. Я люблю поступь слов, их пути-дороги, привалы и остановки, не доверяю я их струению.

Можно без усталости читать и перечитывать одного и того же автора, восхищаться им, почитать, восхвалять его и превозносить до небес, знать наизусть каждую из написанных им фраз и повторять их беспрестанно и все же оставаться совершенно не затронутым им, будто он ничего не требовал от тебя и вообще ничего не сказал.

Его слова служат самовозвеличению читавшего, не более.

Этот особенный тон заметок, будто ты какой-то отфильтрованный человек.

Все не понятое тобой дает потом двусмысленные всходы.

За ужином я спросил ее, не хотелось ли бы ей понимать язык животных. Нет, не хотелось бы. На мой вопрос, отчего же нет, она помялась немного, а потом сказала: «Чтобы они не боялись».

1978

Он спрятался под крылышком у Бога, здесь ему уютней биться.

Пренебрежение Бога к своему неудачному творению. Творение, только и думающее о еде, — как ему быть удачным?

Путешествовал бы побольше, так и знал бы поменьше.

Посейдон. Великолепное слово. Громовый рокот спасительного моря.

Стать невнятным, скрывать свою мысль, говорить лишь едва, вырождаться в оракула.

Любопытство идет на убыль, теперь он мог бы и думать начать.

Мысли, являющиеся на зов, когда они нужны, он отпихивает от себя и засовывает в мешок для полезных вещей.

Мысли, приходящие вдруг, под которые не выдумать ни по-

вода, ни смысла, он старается удержать, прежде чем они сами собой снова потонут бесследно, — его драгоценности.

Но как ему приходится убедиться, все больше и больше мыслей обязаны своим возникновением одному только страху. Как проверять такие? Полон ли их вес?

И вот теперь он примерно все то, что вызывало в нем отвращение. Не хватает только шаркнуть ножкой, приглашая смерть.

Уж и память становится заскорузлой. Поторопись!

Выдумать человека из доисторических времен, издаваемые им звуки, его язык, так долго держать его вдали от всего, пока он не обретет уверенности в себе, — и тогда ввести его в общество сегодняшних и сделать господином над ними.

Так было.

Некто, сохраняющий свои слезы в маленькой жестяночке; он собирает их и предлагает на продажу как лекарство... от чего?

Вечность упразднена. Кому же захочется жить?

Что же, предметы твоих размышлений определены навсегда? И нет никаких новых?

Может, и нашлись бы, да только ты не доверяешь им.

У него такое ощущение, будто он состоит из десятка пленников и одного свободного, который при них надсмотрщиком.

Он живет, чтобы мешать себе.

Опасность долгой жизни: забывается, зачем жил.

Никогда не замирающий звук.

Или забыл, что тебе доводилось иметь дело с властью и всякое иное начинание казалось тебе недостойным; что ты не думал при этом об успехе или неудаче, а должен был делать свое дело, несмотря на заведомый крах?

Пробиться, успех, победа — все это были для него мерзевшие слова. И вот они ему безразличны. Он спит?

Чудесно оставаться спокойно в старых местах, чудесно так же побывать и в новых, о которых давно мечталось.

Но чудесней всего было бы знать, что им не придется погибнуть, когда тебя уже не будет.

Никак не могу понять этой тревожной заботы о мире, такой знакомой мне. Был я им доволен, одобрял я его? Никогда. Но я полагал, что его удел — сохранять себя, все более улучшаясь. Не знаю, откуда взялась во мне эта детская вера. Знаю только, что ее упорно и неудержимо отнимали у меня. И знаю еще, что стал до ужаса скромен: когда меня томят страхи грозящих катастроф, то я иногда говорю себе: может, все останется хотя бы как оно есть, может, не станет хуже. Вот то высшее, что я могу еще наскрести в себе, и я проклиная этот жалкий итог прожитой жизни.

Днем я еще могу говорить себе это, ночью же я слышу только голоса уничтожения.

Человек, неспособный отказаться от комнаты, в которой жил, — да как же ему отказаться от человека?

Минувшее во всех случаях становится распрекрасным. Пусть вам расскажут об ужаснейших событиях прошлого: как только они рассказаны, они уж и прекрасны сверх всякой меры.

Радость и удовлетворение от того, что после таких вещей еще можно жить, окрашивает изображаемое.

Маленький стул, который ребенок повсюду таскает за собой. В самых неподходящих местах он ставит его и садится. Потом поджидает некоторое время, пока кто-нибудь не подойдет, взглядывает на подошедшего, встает, поднимает свой стульчик и тащит дальше, до следующего порога.

Слова — как форпосты.

В новой жизни, начавшейся в 75, он позабыл смерть отца.

Теснота природы предрешена ее силой массового размножения. Она душит себя самое, и мы лишь ее ученики, коли сами себя удушим.

Могущественных друзей хотелось бы всякому. Тем хочется, однако, более могущественных.

Вот и выясняется. Что? Что он всегда боялся думать. Кончится это объяснением со смертью в любви? Наверстает он теперь ту трусость, от которой стойко оборонялся? Присоединится

к псалмопевцам смерти? Станет слабей всех тех, чья слабость была ему отвратительна? Восславит разложение, наполняющее его чрево, и возведет его в закон своего духа? Отречется от всех слов, составляющих смысл и гордость его жизни, и уверует в единственную, дарующую блаженство церковь, примиряющую со смертью?

Может быть, все может быть, нет такого и самого жалкого самопредательства, что не стало бы однажды правдой, и потому пусть не история сказанного, а *само оно* идет в счет, независимо от того, что было до или после.

Когда я читаю слова этого нового для меня языка, мои собственные слова наливаются свежестью и силой. Языки обретают родник молодости друг в друге.

Он все насаждает на меня, чтобы я нанес врагу главный удар. Что ж, можно, ведь я *и есть* этот главный удар.

Ни одна бойня не предотвращает следующей.

Писать до тех пор, пока собственное несчастье не станет плотным в счастье писания.

Обращать страхи в надежду. Жульничество или достижение художника.

Ищи, пока можно будет еще что-то находить в себе, вспоминать, отдаваясь *послушно* воспоминанию, не пренебрегай им, оно есть наилучшее, истиннейшее твое достояние, и все упущенное тобой в воспоминании — пропало и ушло *навсегда*.

Целый год обходился без единого прилагательного. Его гордость, его достижение.

Парализующее действие чтения в ранних тетрадях. Лучше, вернее и правильней — вспоминать свободно. Старые костыли мешают воспоминаниям, ставят им палки в колеса.

Де Местр живет весьма немногими идеями. Но как он верит в них! Повторяя их и тысячу раз, *он* никогда не испытывает скуки.

Два дня на прошлой неделе был полностью погружен в де Местра. Но не выдержал, *выскочил* наружу. И теперь спрашиваю себя, что произошло в течение этих двух дней. Я изменился? Он?

Теперь я и вправду знаю о нем намного больше, так много,

что он мне совершенно опостылел, возможно, я уже никогда не смогу его читать, даже для того, как бывало, чтобы ненавидеть его мысли.

Была ли жизнь прожита напрасно, зависит от того, что станет с нашим миром. Если он себя проглотит, то проглотит заодно и тебя. Спасется — тогда и ты сделал что-то для этого спасения.

Все время задремывает перед каждой следующей мыслью. Хочет, чтобы она ему приснилась?

Якающий Монтень. «Я» — как пространство, не как позиция.

Она спросила меня, что я еще люблю из французской литературы, кроме Стендаля. К собственному моему изумлению, первым всплыло имя Жубер *.

Последнее *дерево*. Представление столь же мучительное, как и последний человек.

В этой разорванности я *целехонек*. Без нее я был бы калеккой.

Все позабытые книги, из которых состоят те, которые вспоминаются.

Беспокойный неуют всякого выставления на всеобщее обозрение во внешнем мире, еще более — последующих свидетельств этого (фото, книги, предназначенные знакомить с тобой).

Как живет актер, что *остается* ему от *себя*?

Что потрясает тебя во всяком животном, так это твоя недостижимость. Ему, возможно, удалось бы тебя съесть, но исчерпать — никогда.

Слово «животное»... вся человеческая недостаточность в этом одном слове.

Не бывать уже больше по-прежнему, с тех пор как прикоснулись к звездам.

От чего, что уже легло ему на ладонь, в силах отказаться человек?

«Один лишь миг в этом мире драгоценней, чем тысяча лет в мире будущем».

*Нури (у Фарид-ал-дин Аттара *)*

Не рухни он тогда замертво, была бы твоя вера иной? И такою же неизменной, как та, что у тебя теперь?

От чего зависит, во что кто верит, да так верит, что заражает своей верой других?

Можно ли жить с верой не заразной?

Писать без компаса? Все время я чувствую в себе стрелку, всегда она смотрит на свой северный магнитный полюс — смерть.

Он все бухает в здоровенный старый колокол — в Бога.
А разве новые большие звонят лучше?

Время съеживается. Каждый следующий час все короче.

Ужаснейшая из всех судеб: стать модой до того, как умрешь.

«Репортерам я никогда не говорю правды».

Уильям Фолкнер

Все мысли, какие у него были, теперь откланиваются.

Отдаться на волю газет. Избегать их. Приливы и отливы неуверенности.

Ты все отмечаешь и отмечаешь то, что подтверждает твои мысли, отмечай-ка лучше то, что их опровергает!

Продолжать размышления из тысячи пунктов, не из одного-единственного.

Нет необходимости знать каждый слог в трудах философа, чтобы понять, что в нем тебе не по нутру. Может быть, после *нескольких* фраз понимаешь это лучше всего, а потом все хуже и хуже. Важно вовремя разглядеть его сети и увернуться от них раньше, чем станешь их рвать.

Чужая риторика нужна; и отвращение к ней, чтобы не увязнуть в собственной.

Настолько ненадежно стало дальнейшее существование Земли, что всякое дело и всякая идея, предполагающие его как условие, превратились в безумный ва-банк.

До какой же старости тебе нужно было дожить, чтобы прийти к неуверенности! И это не светлая *epoche*¹ скептиков, твоя неуверенность черна.

Много думай. Много читай. Высказывай свое мнение обо всем, только *молча*.

Можешь ли ты безнаказанно прикасаться к своей прошлой жизни?

Некто решает изъять греков из исторического развития с самого первоначала.

В остатке: невяница.

Я могу думать об *одном* городе только потому, что знал *другие* города.

Добрался до возраста зажившихся. За отвращение к этому остается благодарить лишь себя самого. Невозможно быть старше других, не превращаясь все больше в зажившегося. Разве что умудришься, старея, тащить в тот же возраст *вместе с собой* и других.

Великолепный выход.

Не сводишь ли ты все на нет, присовокупляя личное? Не спутаются ли все концы? — Опасность, таящаяся в жизнеописании.

Увиденное единожды еще не существует. Уже не существует виденное постоянно.

Покойник даже и не одинок.

Когда я перелистываю «Факелы» моих рабских лет, меня охватывает ужас. Так, должно быть, на душе у всякого вольноотпущенника.

Братский поцелуй у осьминогов.

1980

Похвалы ему отвратительны, но выслушивает он их внимательно.

Достаточно *возвести* что-либо в ранг воспоминаний, и оно уже воспринимается всерьез.

¹ Эпоха (*греч.*).

Не устранение ее важно для меня, которое, по-видимому, невозможно, мне важно объявить смерть вне закона.

Быть только в одном языке мне никогда не удастся. Я оттого так глубоко привязан к немецкому, что всегда ощущаю в себе и другой. Выражение *ощущаю* верно, нельзя сказать, чтобы я сознавал его. Но я испытываю радостное волнение, наткнувшись на что-либо, вдруг поднимающее его на поверхность.

Невозможно даже *представить* себе собственную смерть. Она кажется нереальной. Нереальнейшим из нереального. Отчего же ты всегда звал это протестом? Просто недостаток опыта.

«According to the defense experts World War three will last at most half an hour»¹.

И потому, что приходится все время думать об этом, *больше* думаешь о другом.

Чем можно быть довольным, пока впереди маячит такое? К кому еще обращаться верующим? Во славу какой свободы козыряют неверующие своей правдой?

Не говори, что, может, еще и пронесет! Потому что она всегда будет здесь — вся опасность четырех последних столетий, раздувшаяся в лавину, все тяжелей и тяжелей нависающую над головами живущих.

«Современному» человеку уже потому нечего добавить к современности, что ему нечего было ей противопоставить. Приносившиеся осыпаются, будто вши, с мертвого времени.

Пророчествование есть зложелательный обман. Могущество пророка — в желании недоброго. Всякий проступок пробуждает в нем недоброжелательство. Он не в силах отменить содеянное и сопровождает каждое прегрешение угрозой. Сколько прегрешений, столько угроз, а поводов, к сожалению, более чем достаточно. Ну можно ли придумать что-либо отвратительней пророка?

Но отчего же ты называешь пророчество обманом? Ведь одержимость пророка — его полномочие, и угрозы свои он принимает всерьез.

Обман коренится в вере в свое призвание, он начинается с самообмана. Но коль скоро пророчествующий привлек к себе внимание, он не остановится уже ни перед каким обманом, лишь

¹ «Согласно мнению экспертов по вопросам обороны, третья мировая война продлится не более получаса» (англ.).

бы заставить прислушиваться к себе и дальше. Он сам в плену у собственного предостерегающего голоса.

Съеден последний карандаш.

Кит, битком набитый верующими.

Горевать, хотя это и тщетно? Не в том ли и смысл?

Не думаю, чтобы кто-либо знал, что такое слова. Не знаю этого и я, но я *ощущаю* их, они составляют меня.

Он счастлив, лишь когда читает. Еще счастливей он, когда пишет. Счастливее всего он тогда, когда читает о том, о чем до сих пор не знал.

Об именах я еще *и не начинал*. Ничего не знаю об именах. Я ими жил, только и всего. Знай я на самом деле, что такое имя, так не был бы во власти собственного.

Горько принадлежать к могущественным, пусть даже лишь в будущем, после смерти.

Самыми ранними годами своей жизни он обеспечил себе внимание к последующей.

Не без резона, поскольку уже в то время сильно и отчетливо начиналось все.

Во всех видах и формах присутствовала смерть: как угроза, избавление, событие и жалоба, как непрерывно изменяющееся чувство вины год за годом. Так он набрался сил удерживать ее в отдалении. Так он толкает ее перед собой до сего дня.

Не хотеть ничего знать? Но это ведь невозможно. Не хотеть знать больше? Но слишком привычна старая карусель. Терять все больше и больше, наблюдать, как забываешь, широко вдыхать открывающийся перед тобой простор свободы, радостно спотыкаться о нее, еще незнакомую, и становиться легче и улыбаться и дышать словно по слогам, потому что слова уже слишком длинные.

Я отправился к животным, и с ними опять пришло пробуждение. Это ничего, что они так же любят *поесть*, как и мы, они хоть не болтают об этом. Мне кажется, это будет последним, самым последним в моей жизни, еще производящим на меня впечатление: животные. Им одним я удивлялся. Я так никогда и не

понял их. Я знал: это — я, и все-таки это каждый раз было что-то иное.

В истории моей жизни говорится вовсе не обо мне. Но кто этому поверит?

Никакое стихотворение не может быть правдивой картиной нашего мира. Истинное, ужасающее лицо нашего мира — газета.

Они чуть было не убили его словом «успех». Но он решительно взял его в руки и переломил.

К словам, от которых ты шарахался как от чумы, всегда принадлежало слово «объект». «Субъект» было тебе привычной и ближе.

Живящая сила Гоголя в его бессердечии. Оно столь же велико, как и его страх. Он насмехается, чтобы убежать от него, но страх его никогда не спит.

Мне не составляет труда дать себя обмануть. Но мне трудно не дать заметить, что я это знаю.

Даже узнанное и познанное, желанное и обретенное ускользает. Так, будто роняешь все и все падает на землю. Отпускаешь то, что всегда было частью тебя, и препоручаешь силе земного тяготения.

Вспомнить все обещания. Их было много дано в течение жизни и не исполнено, позабыто.

Если б удалось разбудить их снова, все опять наполнилось бы жизнью.

Со всем, что тебе было дорого, со всем, чему поклонялся и что возносил высоко над собой, — со всем этим тебя в конце концов сравнивают.

Имя этому — старость.

Во всяком принятом решении есть что-то освободительное, даже если оно ведет к несчастью. Чем же иным было бы объяснить, что столь многие с открытыми глазами и высоко поднятой головой шагают навстречу своей беде?

Сомнений нет: исследование человека делает только первые шаги. А он между тем видит уже свой предел.

Китайская выставка. Все удивительней и удивительней то, что приходит оттуда. Никому не исчерпать этого вполне в течение краткой жизни. [...]

Могильники последних лет, все эти новые захоронения, превосходят все своим великолепием. Эту экспозицию, состоящую не более чем из 100 предметов, хочется видеть так часто, что просто сам прирастаешь к подиуму, на котором она развернута.

Ошеломительная мысль о том, как мало было бы известно, не будь могил. И даже если бы вера в посмертное продолжение жизни не оставила по себе ничего иного, кроме этого наследия, она и тогда оправдала бы себя, впрочем, только для весьма отдаленных потомков вроде нас, но не для его создателей.

Некто проходит по жизни, ни разу не подписав собственного имени.

Как *целостен* был бы человек, чьего имени никто не знает.

Мне очень трудно согласовать неудовлетворенность Толстого с его верой.

По временам мне думается, что он так держится за Бога, чтобы не сознаваться в вере в *себя самого*, чтобы не возгордиться. Очень хотелось бы знать, и это чудовищно серьезный вопрос — что заступает место Бога, если человеку важны люди, а не он сам. Нуждаются ли в Боге, чтобы не раздуться от важности? Необходима ли некая последняя и высшая инстанция, которой предоставляются решения? Какой остался бы в распоряжении контроль, возьми человек это на себя? Согласие с самим собой в качестве высшей инстанции означало бы добрый кус развращающей власти. Что способно обуздать ее без веры в Бога?

Посещать покойников, локализовать их необходимо, иначе они теряются с ужасающей стремительностью.

Как только соприкасаешься с принадлежащим им по праву местом, тем местом, где они *могли* бы находиться, существуя они на свете, — и они с ошеломляющей быстротой обретают жизнь. Внезапно, в мгновение ока, снова знаешь и помнишь о них все, что мнилось позабытым, слышишь их речи, прикасаешься к их волосам и расцветаешь в лучистом блеске их взгляда. В те прежние времена, может, никогда и не знал точно цвета их глаз, теперь различаешь его ясно, даже не спрашивая себя об этом. Быть может, все в них теперь интенсивней, чем было, возможно, что лишь в этом неожиданном своем возникновении они вполне становятся самими собой. Возможно, что каждый умерший ожидает мига своего совершенства в этом воскресении, даруемом ему одним из оставшихся близких. Тут не сказать ничего опре-

деленного, одни лишь пожелания. Но они — самое святое, что есть в человеке, и найдется ли хоть один распоследний, не лелеющий и не оберегающий их на свой особенный лад?

Формы животных как формы мышления. Он составлен из животных форм. Суть их ему неведома. Взволнованно расхаживает он по зоосаду, собирая свое целое.

Слушать. Слушать лучше, прислушиваться к неожиданному, забыть, не знать больше, к чему прислушиваешься.

Положительное в учении о переселении душ — это, пожалуй, бытие, продленное до бесконечности, однако с прерванной цепью *воспоминаний*. Остроумное прямо-таки решение: хотя и тащишь за собой свои прегрешения дальше, но воспринимаешь их с невинностью, попросту не зная о них.

Как ты смотришь на то, что в свои 75 принадлежишь к людям, которых никогда не пытали? Должен ли каждый во всем иметь свою долю?

Без *беспорядочного* чтения нет поэта.

Эта *скромная* задача поэта в итоге, возможно, наиважнейшая: *нести читанное дальше*.

Меня весьма удивляет, как может *изучать* литературу тот, для кого она что-то значит. Неужели он не боится обезличения имен?

Охотнее всего представляю себе поэтов на катке, ловко раскатывающими вокруг друг друга по гладкому льду.

Меня не приводит больше в растерянность счастливый конец сказок. Я нуждаюсь в нем.

Мало, чересчур мало жизней, оставивших свое отображение. Из тех же, что есть, большая часть — будто сено на вкус.

О, быть бы книгой, книгой, читаемой с такой страстью!

«Но если кто выносит на люди свои грехи, может легко утратить и всякий стыд».

Не хочу больше ничего открывать. Как мог я этого хотеть? И забывать не хочу. Этого я не желал никогда. Я лишь хочу *испытать* все разом.

В слове «нет» заключена чудовищная сила, и мне иногда кажется, что можно было бы жить просто одной ею.

Вчера — после долгого перерыва — опять читал одну из откровеннейших среди известных мне книг, которая уже 53 года со мной: «Народ на войне» — записки одной сестры милосердия, высказывания, слышанные ею в 1915—1916 годах во фронтовом госпитале от раненых солдат. Во всем — величайшая правдивость, и звучит это как лучшее и любимое из русской литературы, и, возможно, литература эта потому так хороша, что в ней говорят, как эти раненые солдаты, большинство из которых еще неграмотны. Читал книгу до глубокой ночи, прочел всю до конца (она невелика, хотя и неслыханно насыщена), залпом; она напомнила мне об одном русском, который год назад снова возник в моих воспоминаниях и стал близок, о Бабеле. Возможно, она напомнила бы мне о *всяком* русском, которого я прочел бы последним. Это короткие фрагменты, но в каждом из них дыхание, знакомое из длинных книг. Там собраны все гадости, какие мужчины могут говорить о женщинах, бесконечно много бития, штыков, пьянства, разорванные казаками маленькие девочки, — чувствуешь себя жутко подавленным, добравшись до конца; это точнейшая, правдивейшая картина первой мировой войны из всех, что я знаю, написанная вовсе не поэтом, а наговоренная людьми, каждый из которых поэт, не подозревая об этом.

Сестра милосердия, Софья Федорченко, называет свои записки стенограммами, и, значит, могла делать их быстро, незаметно, как она говорит, поскольку все привыкли видеть ее за различными записями, что было связано с ее работой. И потому она не вызывала настороженности или недоверия, и потому эти фразы здесь в их доподлинном, неискаженном виде.

Складывающаяся из них картина войны такова, что каждому надо бы помнить эти фразы наизусть.

Ребенок ищет Олимп и находит Кувейт.

Эпоха, когда у людей было украдено бессмертие. Вором были они сами.

Все мысли, предположения и умозрения относительно иных миров в космическом пространстве станут жизненно важными в то мгновение, когда Земля в результате своей атомной возни растворится в грохоте и дыме. Что останется от нас тогда в других? Существуют ли вообще эти другие, в которых могло бы что-то сохраниться от нас? Что дало бы им это от нас оставшееся? Возможно ли, чтобы мы послужили предостережением? Или им, заразившимся от нас, идти тем же путем? Или они совершенно

независимы и свободны от нас, настолько, что и внимания не обратят на нашу гибель? Как обстоит со всем тем, что происходит в мире: *разобщено и раздроблено* все и обречено оставаться разобщенным? Или же все связано, совсем чуть-чуть, ровно настолько, что оставляет еще за собой возможность спасения? И было бы это спасение временным, снова готовым пойти из-за ошибок прахом? Или взаимозаменяемым: тут спасение, там уничтожение — позаботьтесь-ка о том, что вам по вкусу? Или спасение могло бы сменяться только худшим — чем дальше, тем хуже: падающая, но затяжная кривая?

Многое можно бы еще придумать и представить, но, может быть, то действительное, что должно случиться, и не измыслить даже.

Достоевский, пожизненно благодарный за *помилование*. Столь драгоценна жизнь, которая уже была потеряна.

Личности, становящиеся жизненной программой других. Они овладевают тобою с такой силой, что ты никогда, и по прошествии десятилетий, не решаешься разглядеть их полностью.

Поэты, подобные чайкам в полете и, будто чайки, отвратительные между собой.

1981

Небеса китайцев, высокая эпоха человеческого духа, то время, когда он еще желал оберечь нас.

И даже после всех дождей, уже пролившихся оттуда, он никак не расстанется со словом «небо».

Весьма различные типы вечных студентов: такие, что не вылезают из словарей, и такие, что не поднимают головы от книг мудрости. Но есть и такие, которые предпочитают распутывать премудрости со словарями.

Рецензируемые им книги он прочитывал лишь после. Так он по крайней мере знал, что о них думать.

Ученость такая — ну прямо не продохнуть. Узнаешь о каждом предмете столько, что уж никогда и ничего не захочется о нем слышать. Вот-вот лопнешь. Покидаешь его без сожаления. И как только можно было им интересоваться?

Три тысячи ответов на каждый вопрос. Да какой вопрос выдержит такое?

Есть какая-то безлика́я пустота в этом *расширении* ответственности. Принуждаешь себя поверить в то, будто все, что делаешь, делаешь для всех, по меньшей мере это должно представляться тебе усилиями ради всех.

Но что такое «все»? Относятся сюда живущие, сейчас живущие? Или же и те, что явятся позже? А ушедшие? Они что — пустое место? Не говорят ли в тебе именно они? Нередко такое ощущение, будто ты объединенная сумма их голосов — голосов всех напрасных, случайных, непреднамеренных жертв. Было бы это отчасти и для них, если б удалось предотвратить принесение в жертву тех, будущих?

С расширением зоны ответственности уклоняешься от того, что, возможно, как раз и был бы еще в состоянии сделать.

Твое преклонение перед человеком было бы подозрительно, не знай ты людей так хорошо.

Кто чтит наихудшее, тот верит в его преобразование.

«Творческое» — слово хорошее тем, что видишь его перед собой как непрекращающееся напряженное движение.

Он вцепился зубами в славу своего учителя. Рот его наполнился горечью.

Как он восхищается животными, довольный собственным превосходством.

Неделя полного одиночества сменялась неделями беспрестанного общения. Так он научился ненавидеть и то и другое: людей и себя.

Я не тщеславен, говорит тщеславнейший, я просто легко ра-
ним.

Вид историографии, при которой правы всегда были бы *проигравшие*.

Ценность жажды бессмертия состоит именно в убеждении, что его не существует.

Именно невозможное всего желанней. Нужно распалать и распалать это горячее стремление к нему, пользуясь каждым, пользуясь тысячью доказательств того, что исполнение этого невозможно.

Чудовищное, непрерывное напряжение единственно оно и достойно человека. Смотреть на него как на бесполезный бой с тенью умонастроение недостойное. Жалкая доля —

послушно склониться под сознанием смертности. Жалкая доля — сносить колотушки богов и обращать молитвы к их силе. И не жалка попытка вырвать у них их бессмертие, именно потому, что обречена на неудачу.

Не верю *никаким* толкованиям снов. *Не желаю* верить никаким толкованиям. Не стану посягать на эту последнюю свободу.

И вот написанная история ранней молодости вторгается в дни поздней старости, и вполне возможно, она окажется твоей судьбой, определив собою некий особенный облик твоего финала.

Ладно, он не знает ничего. Но это он знает все лучше.

Жить так, будто никто, кроме близких, тебя не знает. Это было бы совершенством старости.

Единственное спасение: жизнь другого.

Ни к чему-то я не привык, ни к чему, и меньше всего — к смерти.

Сколько фатальных замечаний, каких не прощаешь другим, ты позволяешь себе ежедневно.

«Диалог», говорят те, что предпочитают высказываться сами.

На своем неистовом упорстве, сохраняющем все когда-либо прожитое и пережитое, я начинаю постигать, что натворили в мире поэты.

Жить нужно так, будто человечеству суждено существовать и дальше, а если сам ничего не можешь сделать для того, чтобы так было, то хотя бы не давай себя запугать.

Лучше не становятся. Всякое соприкосновение делает человека хуже: оно пробуждает в нем страх.

«Лучше», «хуже» — не легкомысленно, не бессмысленно ли то, как ты пинешь эти слова, будто и в самом деле способен обозначить их содержание и очертить границы?

Нет, ты не можешь этого, и все-таки твое ощущение их вполне определенно, и ты с абсолютной уверенностью знаешь, *справедливо* ли считаешь нечто разыгравшееся перед тобой хорошим.

Знание этого — твоя единственная надежда. Потому что

если это инстинктивным и не поддающимся определению образом известно тебе, то и с другими должно происходить то же самое, и существует, по крайней мере в отношении понимания добра, меж людьми нечто общее — древнее и надежное одновременно.

Иногда он говорит себе, что сказать больше нечего, — просто оттого, что ему уже не придется сказать этого. До чего же мелко! Подлинное великодушие должно бы желать людям без зависти и от чистого сердца всего, что самому тебе уже недоступно.

Мало, что дети и без того *наследуют* все плохое, — нет, им еще старательно прививают его.

А если бы говорили себе: нет детей собственных, всякий ребенок взят лишь на время?

Враги могут быть очень и очень неприятными, но никогда они не будут так непроходимо скучны, как приверженцы.

Существуют пророки «подполья». Достоевский был первым и наиболее пронзительным из них.

Об унижении Достоевскому известно и в самом деле многое, он в нем настоящий знаток. Мне ближе великий знаток гордости, Сервантес.

«Записки из подполья», сколько же корней уходят к ним, вплоть до литературы наших дней! Самоунижение и самопоношение, христианство, извивающееся в пыли, красноречие раскаянья.

Это сознаешь в себе, каждый знает это о себе, и все-таки есть в этом нечто, бросающее на все отблеск фальши: *лабильность* чувства как истина в последней инстанции.

Когда он пишет, геккончик выскальзывает из его кармана и развлекается на потолке. Пока тот пробегает над ним туда и сюда, он записывает фразу за фразой; время от времени он посвистывает геккону или тот ему.

Когда все кончается, когда ему ничего больше не приходит в голову, геккончик забирается обратно в карман.

У меня *нет* готовых ответов: мне в любом случае пришлось бы искать и подбирать.

Моя вера еще впереди.

Газетная пилюля: глотаешь — и она растворяется в тебе вместе со всеми своими новостями.

Неясный, ускользающий зверь. Хорошо знаком по результатам своих действий; неопределенного вида, переменчив в размерах, быстроте перемещения и весе. Не вполне ясно, жив он или жил неоднократно прежде. Звуки, издаваемые им, сохранились в снах.

О дружбе с владыками и о том, какое влияние она оказывает на историков, на поэтов. Увлекательнейшая тема. К таким дружеским взаимоотношениям восходит традиция нескритичности в отношении властителей. Почему такие случаи, как Прокопий *, столь редки? Было ли больше «тайных историй», подобных написанной им? Где они? Пропали?

Он пробудился. До 75 он все смотрел сны, был все в одном и том же сне. Он проснулся, вылутился из своего кокона и понимает то, что желают сказать другие. Это лишь ненадолго, но он понимает их всех. Понимает настолько хорошо, что никого не проклиная. Он не говорит ничего, потому что проснулся. Он понимает и слушает.

А тем, что отрекаются от взрывов, раз и навсегда, навечно, — куда уйти и где укрыться им?

Нет больше лесов для отшельника, и рис в чаше для подающих напиток ядом.

Он сожалеет о многом. Но раскаиваться на публике — нет, это значило бы не раскаиваться ни в чем.

Мелочный: вместо того чтобы принять вызов смерти, он придирается к старости.

И это чудовище тоже хочет жить долго, 200 лет, говорит она.

Вместо зубов у него во рту сидят слова. Ими он и жует. Эти никогда не выпадают.

Не в том дело, насколько мысль *нова*; важно, насколько нова она *станет*.

Кому была польза от Ницше? Его *не* исказили, он воздействовал так, каков был.

Его час в этом столетии, вызванный к жизни его писаниями, миновал.

Или же лучшим из людей следует считать такого, который

не видит выхода для себя, потому что безуспешно пытался помочь найти выход другим?

Нужно ли полностью проникнуть в жизнь другого, чтобы суметь увидеть *себя*?

И приходит время, с возрастом, когда свобода твоей духовной активности простирается лишь на два шага назад и на два вперед. Назовем это периодом стесненного ареала. Но и этот период может приносить богатую добычу тому, кто прежде охотился на обширных территориях.

Теология небытия. Он разрушает все подряд, чтобы быть самому.

Думать о вещах не новых так, будто они никогда до сих пор не существовали.

Фразы, переставшие быть его собственностью, — вот это фразы!

Он пишет лоханями и выплескивает это, отвернувшись, на своих читателей. Они ведь и *хотят* намочнуть, говорит он, однако у меня самого нет никакого желания это видеть.

Столько можно всего рассказать, что становится стыдно за богатство собственной жизни, и потому умолкаешь.

1982

Даже в *наигранной* скромности есть польза: она помогает уверенности других.

Наиболее концентрирован из всех поэтов, которых я знаю, Бюхнер. Всякая его фраза нова для меня. Каждую я знаю, но она для меня нова.

Хотя он и не воспринимает больше ничего нового, учебный зуд не оставляет его. Пока он упорствует в этих усилиях, он не чувствует себя умершим.

Опасности все накапливаются, каждая в отдельности стала чудовищно огромной. Каждая распознана и поименована, каждая исчислена. Но ни одна не обуздана. Многим людям живется хорошо. Дети умирают от голода. Кое-как еще можно дышать.

То, что он обязан кое-чем *своей* прежней жизни, вовсе не означает, будто он считает заслуживающей внимания прежнюю жизнь других.

Испанское в Стендале, его итальянская жизнь, на французском языке XVIII века. Большого и пожелать невозможно.

Если все обстоит так, как в твоей жизни, если ничто не минуло, — то куда же девать все это человечеству?

К чему вспоминать? Живи теперь! Сейчас! Но я ведь и вспоминаю лишь затем, чтобы жить сейчас.

Все больше интересного, все недоступней познание, с каждым днем ему достается капелькой меньше, все больше и больше каплет мимо и исчезает, впитываясь не в него; как жадно тоскует он по тому, что мог бы знать!

Ни одного животного я не обнял. Всю жизнь с мучительной жалостью думал о животных, но ни одного не обнял.

Старайся *не* судить. Изображай. Ничего нет отвратительней осуждения. Всегда оно таково либо этак, и всегда — мимо. Кому известно довольно, чтоб осуждать другого? Кто достаточно бескорыстен для этого?

Пессимисты не скучны. Пессимисты правы. Пессимисты совершенно ни к чему.

За пять минут Земля может обратиться в пустыню, а ты все тянешься к книгам.

Чаще всего читаешь сегодня слово «пытки».

Ты совершенно не человек этого столетия, и если что-то есть в тебе значимого, так это то, что ты так и не склонился перед ним. Может, однако, тебе и удалось бы что-нибудь сделать, если бы, сопротивляясь, ты все же покорился этому веку.

Как рассказчик мягкий и добрый, он завоевал себе доверие человечества, за два месяца до того, как оно взлетело на воздух.

Беспечное размножение, эта глубочайшая слепота природы, размножение бессмысленное, безумное, беззастенчивое и тщетное, поднимается до закона лишь через объявление уничтожению бескомпромиссной ненависти. И коль скоро размноже-

ние не слепо более, коль скоро всякое отдельное и единичное обретает для него ценность, оно тотчас наполняется смыслом. Чудовищный аспект «Больше! Больше! Больше! Ради уничтожения!» переменяется в «Да святится всяческое единичное — больше!».

Прежде чем обернуться распадом, смерть — конфронтация. Мужество — принять ее вызов, всей тщете наперекор. Мужество — плюнуть смерти в лицо.

Его опыт, с давнишних пор: всякий раз как усиливаются его насмешки над смертью, она отнимает у него что-либо дорогое.

Чувствует ли он, что предстоит, или это возмездие? Чье возмездие?

К словам, сохранившим свою невинность, к тем, которые он может произносить без опаски, принадлежит само слово *невинность*.

Может быть, ты возвратил подробности ее достоинство. Может быть, это единственное твое достижение.

Возможно, его привлекает всякая вера, а потому, возможно, и нет у него никакой.

Пышное великолепие мышления, будившее в нем подозрительность. Блеск и диалектика — слова, музыкально родственные.

Если бы Бога не было, и он возник бы теперь!

Хочешь забыть о нем, так никогда и не найденном тобой?

С этим не поспоришь: в древних культурах его больше всего интересуют их боги.

«Знание жизни» — не такая уж обширная премудрость, и могло бы без всякой жизни быть почерпнуто из одних лишь романов, скажем, из Бальзака.

С ослаблением памяти обшелушивается все когда-то придуманное. И остаешься в итоге с одними унаследованными общими местами, отстаивая их с таким жаром, будто это открытия.

Коли прожил достаточно долго, то существует опасность подпасть под власть слова «бог», просто потому, что оно всегда было тут.

Что-то есть *нечистое* в этих сетованиях на опасности нашего времени, будто они могли бы послужить нам для оправдания собственной несостоятельности.

Нечто от этой нечистой субстанции содержалось от начала в плаче по умершим.

Существуют различные причины того, что художник склоняется к *образам*. Одна из них, важная и серьезная, коренится в протесте против разрушения, другая, пустая и курьезная, — в самовлюбленности, жаждущей на разный манер отразить себя самое.

Обе причины выступают в тесном сплетении, от соотношения их зависит, приходят ли к образам значительным и сильным или к тщеславным и пустым.

Что записывается как «окончательное», менее всего является таковым. А вот неуверенному или, может, поверхностному, беглому — недостающее придает жизнеспособности.

Назад, к завершенным, спокойным фразам, уверенно стоящим на ногах, а не протекающим по всем щелям.

Музиль — мой разум, как с давних пор были некоторые из французов. Он не ударяется в панику либо не подает виду. Стоек перед грозящей опасностью, как солдат, но *понимает* ее. Восприимчив, но непоколебим. Кого страшит мягкость, может укрыться у него. И не стыдно при мысли о том, что ты мужчина. Он не только лишь внимающее ухо. Он умеет ранить молчанием. Его оскорбления успокаивают.

Все тот же страх, вот уж семьдесят лет, но всегда за других.

У него не идет из головы, что, может быть, все напрасно. Не то чтобы он один — все.

Но несмотря на это, он способен продолжать жизнь лишь так, будто это не напрасно.

Не избежать никакого истолкования. Тебя выворачивают в угоду любому. Возможно, ты и существовал только для того, чтобы тебя извратили.

Народы обнаруживают то, чем обязаны друг другу. Празднества долговых обязательств.

Год, состоящий из островов.

Самое тяжкое для того, кто не верит в Бога, — что некого поблагодарить.

Больше, чем для своих бед, в Боге нуждаются для благодарности.

Скверная ночь. Не хочу читать, что записано этой ночью. Наверняка это было слабо, наверняка запретно, но все же успокоило меня.

Сколько позволительно сказать для собственного успокоения и какие это имеет последствия?

Ты не единственный из тех, кто не забывает. Сколько ты обидел таких же впечатлительных, которым никогда не перешагнуть через это.

До сих пор из всех древних народов египтяне и китайцы интересуют его больше всего: эти пишущие.

Великолепна в Шопенгауэре его обусловленность очень многими ранними моментами, никогда не забываемыми им, никогда не подвергающимися искажению. Все последующее не более чем солидная орнаментика. Он ничего за ней не скрывает. И ничто не является неосознанно. Он читает, ища подтверждения раннему. Никогда не узнаёт он нового, хотя постоянно учится. Ему бы и за сто лет не выносить первоначального.

Каждый день еще один пытается отгрызть кусок от его имени.

Разве никто не знает, до чего это горько на вкус?

И как только те, кому понятен весь ужас власти, не видят, в какой громадной степени она использует смерть! Не будь смерти, власть оставалась бы безобидна. Вот они и ведут речи о власти, воображая, что атакуют ее, и оставляют смерть в стороне. До того, что они почитают данным от природы, им дела нет. Да не бог весть что эта их природа. Я себя неважно чувствовал на природе, когда она изображала из себя неизменяемую, а я почитал ее за таковую. Сейчас, когда повсюду, со всех сторон и во всех направлениях натыкаешься на ее изменчивость и измененности, я чувствую себя еще хуже, потому что ни единому из ее преобразователей неизвестно, что именно никогда и ни под каким видом преобразованию подвергаться не должно.

Совсем нет, не убывает для него из-за грозящей опасности

значение минувшего, напротив, он прощупывает его все дальше назад, будто там можно найти то место надлома, которое нужно знать для того, чтобы успешно противостоять угрозе.

Но существует много надломов и каждый — в своем роде единственный.

Обязательно ли время от времени совершать по отношению к себе предательство, признавая невозможность осуществления своих начинаний и делая из этого подобающие выводы? Почему значительно больше симпатии вызывают люди, которые неспособны на это, которые верят себе, так сказать, насмерть?

Художник, чье искусство — в бездистанционности: Достоевский.

Наиболее ярко каждое время проявляется в том, что выражающий его современник *не* принимает в нем.

Форма «Массы и власти» еще станет ее достоинством. Продолжи — и ты разрушил бы эту книгу своими надеждами. Та-кою, какова она есть, ты вынуждаешь читателей к поиску *их собственных* надежд.

Он хотел бы самоотречения, не отказываясь от своих произведений. Квадратура поэта.

1983

Там люди живее всего — умирая.

Там люди появляются в обществе строем, считается бесстыдством показываться в одиночку.

Там каждый, кто заикается, должен еще и хромать.

Там всякая фраза вытекает из предыдущей, а между ними — столетие.

Расположенные религии, конспективно притиснутые друг к другу, лишённые живого дыхания и тем извращенные.

Как чудесно выделяется буддизм на фоне теорий наших жизнеотрицателей!

Отвращение к жизни, да, но с тысячью историй перерождения.

Больше всего тебе хотелось бы — какая скромность! — бессмертия, чтобы *читать*.

Ему жаль каждого слова, которое умрет вместе с ним.

Понять одно-единственное имя.

Наиболее чреватое следствиями в Аристотеле: его обстоятельность.

Письмо, делающее счастливым. Сразу вслед телефонный разговор с написавшим. И письма как не бывало.

Никому не ведомо тайное сердце часов.

Наистраннейшим человеком из всех, кого я знаю, представляется мне в настоящее время Х. Он сердится на меня за то, что я через 50 лет после огненной смерти Петера Кина все еще в него не превратился.

Сколько ты мог бы прожить без восторга? Еще одна причина для возникновения богов.

Необычайнейшим из зажившихся был Ницше, двенадцать лет не знавший о собственном существовании.

«Фортуна» всем уже стала не ко двору. На земле для нее больше нет места.

Неотвязное подозрение о том, что Земля должна достигнуть определенной плотности человеческого населения, до этого ей никак нельзя разлететься на куски.

Всякое место, не мешающее складываться фразам, цело. Разбитые места несут невнятицу.

Если все сходится без зазора, как у философов, то утрачивает всякое значение. Разобщенное ранит и становится важным.

С тех пор как опасность так близко, сетования ему ненавистны.

Он оставался в одиночестве до тех пор, пока не появился на свет.

Вчерашний день, наполненный ужасом от нависшей опасности: этот сбитый самолет.

Так, именно так все может начаться и тотчас закончиться. И нет слова для этого, нет хода событий, нет длительности.

Уж так ли заслужили мы это? Случается что-нибудь по заслугам? Сами мы — последняя инстанция? Свело это нас с ума? Было все с самого начала безумием? Было ли начало? Или уже был конец?

Как долго еще будет прятаться Бог?

Можно ли еще что-то изобретать, не боясь изобретенного?

С каким удовольствием он бы сам повыспросил тех, которые набрасываются на него именно с этой целью.

Столь многих знает он лучше себя и все-таки опять и опять возвращается к себе самому, которого хотел бы знать.

Надо жить так, словно все будет продолжаться. В самом деле надо? Даже если ежечасно думаешь о том, что через 50 лет может не быть больше ни одного человека?

Он может еще *говорить* «человек», еще не отворачивается с омерзением и скукой.

Слышать этого он не в состоянии.

Люди, способные прокрадываться вслед за *каждой* его мыслью. И что только они делают со всем этим?

Чего ты боишься? Разрушения, еще не имеющего названия. Как было бы просто, если бы мог выручить Бог. Нежданно-негаданно он помогает: чтобы иметь возможность молиться ему и дальше, верующие хотят спасти Землю.

Слишком *много* прошедшего. Душит.

А как великолепно было прошедшее, когда начиналось.

Лучше становиться не собирается. Но, может, хотя бы по-медленнее?

От каждого года по двенадцати капель. Все кап да кап. А что за камень?

По недоразумению угодил в историю литературы. Уже не отскрести.

Запоздалый эффект разговоров, будто лишь днями позже понимаешь то, что сам же и сказал.

Слова, раскрывающиеся лишь понемногу.
Слова, что тотчас здесь, будто выстрел.
Слова, под влиянием осмоса изменяющиеся в воспринявшем.

Для параноика нет путей-перепутьев. Все внешнее становится частью его внутреннего лабиринта. Он не может из себя выбраться.

Затеривается и пропадает, не забывая о себе.

Иной раз говоришь себе, что все, мол, сказано, что можно было сказать. Но тут раздается голос, хотя и говорящий все то же, но это — ново.

Тогда с легким жестом поднялась со своего места нежность и все взрывы смолкли.

1984

«Можно, по-видимому, утверждать, что тот, кто неспособен сочувствовать радостям и горестям всех живых существ, и не человек вовсе».

*«Цуредзурегуса» **

От слов и фраз он берет себе одни жилы и расплескивает их кровь.

Высокое чудо человеческого духа: воспоминания. Это слово так волнует меня, будто само оно, древнее и позабытое, было снова возвращено из небытия.

Брох сделал Зонне * своим Вергилием. Разве нельзя мне назвать его без околичностей и уловок — по имени?

Кто посмел сорвать с лика египетских богов маски животных?

Отец в обличье волка, мой первый Бог.

Животные! Животные! Да откуда тебе знать их? А по всему, что ты не есть, но чем охотно побыл бы на побыву.

Он больше не желает придумывать никакого другого мира, даже и такого, что был бы волнующим я чудесным. Есть один только этот.

Что будет последним? Возмущение? Боль? Чувство благодарности? Отмщение?

Все, кого оплодотворил Ницше: столь великие, как Музиль.
И все, кого он оставил девственными: Кафка.

Для меня все определяется этим разграничением:

Здесь был Ницше.

Здесь Ницше не было.

Испанской литературы преданный немецкий побег.

Г. предсказывает судьбу лауреатов. Самоубийство, бесплодие, забвение, падение по наклонной плоскости.

Спрашиваю его о судьбе нелауреатов.

От Галлея до Галлея — время твоей жизни.

Страна, где произнесший «я» немедленно скрывается под землей.

Ах, как они отвратительны мне, эти намеренно загадочные речи!

Он не стыдится приписывать ему собственных сморщенных мыслей.

Как ты сопротивлялся всему, что признает закон *кармы* *! Каким милосердным представляется тебе теперь даже это ужасное верование!

Ты оплакиваешь их, гибнущие языки, гибнущих животных, гибнущую Землю.

Оскорбление смертью. Но как изобразить это?

За свои блуждающие фантазии я не обязан Зонне ничем, но многим — за постоянную и собранную готовность к ним.

Ее он олицетворял в совершенстве, как никто другой. Я всегда мог его найти. Он отчитывался передо мною во всем. Честолюбие его — если когда и существовало — было делом прошлого. Несмотря на величайшее смирение и самоотречение, он продолжал жить жизнью пронизательного и ясного духа. Он единственный человек, которого я никогда и ничем, даже мысленно, не обидел.

Его поддерживает смерть, которой он терпеть не может.

Большие слова отказывают теперь и тебе; что остается из малых?

Предпочитал бы ты жить намеками?

Некто, обладающий даром всеми забываться.

Два рода грабителей: благодарные и ненавидящие.

Самоубийство, способное спасти другого, — дозволенное это самоубийство?

Он читает о себе и замечает — то был другой.

Старцы знают все меньше, но с достоинством осознают это.

Исторжение понятий, коли слышал их слишком часто, становится потребностью: мокрота духа... Так происходит у тебя сегодня с фетишем, Эдипом и прочими пакостями. Так же придется и другим с властью, стайей, стрекалом.

«Я умираю от жажды, дай мне испить от вод памяти».

Орфическое

Отдельные буквы отскакивают сами собой и теряются; не угадать какие.

Злые слова падают с твоего карандаша, будто черви с носа Энкиду.

Не сбавлять хода перед смертью — скорей, скорей.

Там, где кончаются твои воспоминания и начинаются воспоминания других.

Несносна жизнь, о которой известно слишком многое.

Его народ ему недостаточно древен. Что Иордан! Что Синай! Раньше, раньше!

У тебя ни одного друга среди животных. Полагаешь, что это жизнь?

Читать. До тех пор, пока не перестанешь понимать ни единой фразы. Только это и значит — читать.

Краткость пути в сатире становится ему несносна.

Шум схлынул, и он стал никто. Какое счастье! И он еще успел его испытать!

Пьянящая передышка. Сколько выиграно? Одна зима? Одна бесконечная зима?

Не слишком ли они стали важны для тебя, эти давнишние люди? Забыл, кто сегодня пускает по ветру мир?

Говорит ли оно о зрелости, это стремление все дальше назад? Спасти и сберечь, разумеется. Но сегодня, не больше ли поставлено на карту сегодня: все?

Он говорит «нет», просто для практики.

Пусть отзовется тот, кто сумел научиться чему-нибудь на чужом опыте. А на собственном?

Любовь к каждому слышанному слову. Ожидание всякого слова, какое еще может раздаться.

Ненасытная жажда слов.

Это бессмертие?

Философы, сокращенные до колоды карт.

Он растворяется, исчезает, если не рассказывает. Какая власть речи, его собственной, над ним самим.

1985

Да пей же, пей, ты иссохнешь от жажды, не рассказывая!

Сумма жизни, меньшая, чем ее части.

И каждой правдой ты так выдавал себя, словно это была неправда.

Если б это было согласно принято всеми, то утратило бы достоверность. Ловушка рассказанной истории жизни: все вызванное из небытия — вот оно, здесь, и продолжает действовать. Ни остановить, ни отменить, ни спрятать. Оно заявляет свои права. Отыгрывается за долгую сокровенность. Разгорается гневом на недоверие.

Он бы и рад стать лучше, да слишком дорогое это удовольствие.

Десять минут Лихтенберга — и в его голове разом проносится все, что он целый год подавлял в себе.

Ни дня без знака на бумаге. Кому-нибудь пригодится.

Так краток, как хотелось, ты никогда еще не был.

Человек из частей речи.

Они презирают тебя, оттого что ты скрываешься. Они бы презирали тебя не меньше, продолжай ты торчать на виду.

Старость слишком зависима от своих законов. Недостаточно в ней случайности.

Тебе ставят в укор сопряженность событий рассказанной истории жизни, то, что все происходящее указывает на нечто последующее.

А существуют ли такие жизни, которые не разворачиваются навстречу своему будущему? Если кто дожил до 80, то ведь не может он изображать свою жизнь так, будто прикончил себя в 40. Если главная его книга после немислимых отяжек наконец готова и продолжает работать дальше, то не может он в угоду чьему-то капризу делать вид, будто она не удалась.

Так что пусть тебя упрекают в том, что ты веришь в «Массу и власть», в то, что раскрытое в ней — несмотря на легкомыслие, с которым этим пренебрегли, — сохраняет свою истинность и актуальность. В этом убеждении ты писал историю своей жизни: и форма ее, и добрый кус содержания обусловлены им.

Что она так густо населена и что многие из этих людей занимают больше места, чем сам рассказчик, может показаться странным. Однако это единственная возможность передать действительный облик отдельной судьбы, ее направленной силе наперекор.

Думай о людях, тогда кое-что узнаешь.

Жаждающий власти, которому не дано ее обрести, становящийся поэтом историком.

Ему 80. Такое ощущение, будто он недозволенно вступил в другое столетие.

В Шопенгауэре подкупает то, что он отворачивается от Бога решительно и бесповоротно.

Свободное от влияния власти мышление, исходящее из существования Бога, невозможно.

Свое вызывает раздражение. Не то чтобы оно стало хуже, просто слишком знакомо.

Во многом можно позавидовать Стендалю. Особенно — его прямо-таки заброшенности после смерти.

Все искажается и на тот или иной манер пускается в распродажу. С чего бы это быть важным тому, что тебе думалось? Поскольку ты не сумел повлиять ни на что, даже на самую малость, все это может спокойно исчезнуть. Откуда тебе, впрочем, знать, может, позже, в изменившихся обстоятельствах, это и могло бы дать какой-нибудь результат. А может, и *не должно* быть никакого результата. Может, что-то должно быть ни для чего, лишь самого себя ради, но уж тогда *неискаженно*, только и всего.

[...] Ты пугаешься себя, потому что обнаруживаешь в других так много своего. Тебя приводит в ужас и другой, едва осмеливающийся пошевелиться, который слушает тебя, стараясь ничего не упустить, будто дело касается чего-то драгоценного. Но ты ведь вовсе не драгоценен, тебе отвратительно считаться таким, просто вот уже 80 лет ты живешь на свете, и наибольшая часть узанного и пережитого все еще неисчерпанной заключена в тебе.

Ты делаешь все возможное, чтобы усилить сознание неизбежности смерти. Опасность, которая и без того велика, ты раздуваешь еще, чтобы она ни на мгновение не исчезла из поля зрения. Ты полная противоположность человеку, принимающему наркотики: твое знание ужасного не должно знать передышки.

Но что ты выигрываешь от этого своего недремлющего сознания смерти?

Становишься так сильнее? Можешь лучше защитить тех, кто в опасности? Вселяешь в *кого-нибудь* мужество, все время думая об одном?

Весь этот чудовищный аппарат, воздвигнутый тобой, не служит ничему. Никого не спасает. Он создает обманчивую видимость силы: сплошная похвальба и от начала до конца — та же беспомощность, как и у любого другого.

Правда в том, что ты еще не нашел той позиции, которая была бы верна, истинна и полезна людям. Тебя не хватило на большее, чем сказать «нет».

Но я проклинаю смерть. Я не могу иначе. И даже если бы мне пришлось ослепнуть на этом, я не могу иначе, я отталкиваю смерть. Признан я ее, я был бы убийца.

И нет у меня мелодий, что принесли бы с собою покой, нет гамбы, как у них, нет жалобы, никому не различимой как плач, оттого что звук ее сдержан, оправленный в несказанно нежную речь, у меня только эти черточки на желтоватой бумаге и слова, что никогда не новы, целую жизнь говорящие все то же.

Он нуждается в животных формах, чтобы его не поглотило все множество форм.

Он не желает знать, как они складывались. Переходы в них стерты. Он нуждается в этих скачках.

Человек из колосьев, и как все они склоняются, вслушиваясь.

Что он существовал, тебе не желают верить. Сделай ты Зонне чуть поплоче, он был бы правдоподобен. Но он был, каким был, я знал его четыре года, и пусть отсохнет моя рука, которая исказит хоть малейшее в нем.

Так сильно я его любил, пятьдесят лет молча, никогда не писал ему об этом, никогда бы ему этого не сказал, а теперь об этом трезвонят на все лады и его последнее стихотворение красуется в газете, и все совсем наоборот, совсем не так, как хотел он.

Но открылось то, что он для меня сделал, а тут стало известно и от других, каков он был, и воспринимавшееся как моя игра в таинственность оказалось теперь просто *свойством его натуры*, и за то, что я не сказал о нем больше, чем было мне тогда известно, не станет меня винить ни один из тех, кто сумел его понять.

Говори о самом личном, говори об этом, одно только это и нужно, не стыдись, об общественном говорится в газете.

Последних распоряжений он не делает. Он не окажет смерти этой чести.

Ну и как далеко — после всех своих заявлений — ты продвинулся в подготовке к книге, направленной против смерти?

Попробуй обратное, ее восхваление, и ты быстренько вернешься к себе самому и своему подлинному намерению.

Едкие имена.

Некто, с давних пор знающий каждое твое слово и не имеющий с тобой ничего общего.

«Человек» для него больше не чудо. Чудо для него «животное».

Дни, когда надежда медлит, прежде чем иссякнуть, — счастливые дни.

А если бы это означало: еще один час?

Памятники. Кому? Вымышленным персонажам?

Человек, который в течение дня растет и ложится спать великаном.

Утром он просыпается совсем маленький, сжавшийся во время сна, и опять принимается за свой дневной рост.

Ну наконец. Через 25 лет он способен читать свою книгу как посторонний.

Но почему он считает что-то верным просто потому, что оно так старо?

Ошибка в расчетах? Наш мир?

Что касается языка, то ты святоша. Он для тебя неприкосновенен. В тебе вызывают отвращение даже те, кто его *исследует*.

Экзотичность слова «Атем»¹, будто оно из другого языка. В нем есть нечто египетское и нечто индийское, но еще сильнее в нем отзвук некоего праязыка.

Найти в немецком слова с отголосками праязыка. Первое: Атем.

Хотелось бы завершить свою жизнь в медитациях над словами и тем продлить ее.

Он не сожалеет ни о каких препятствиях, ни о чем, что задерживало его. Знай он, что доживет до 80, так подождал бы со всем еще дольше.

Нужно напоминать себе о том, как плодотворны недоразумения. Нельзя пренебрегать ими. Один из мудрейших людей был собирателем недоразумений.

Он ищет нечто, чему смог бы безнаказанно поклоняться.

Становится ясно, что те высокие умы, которые он так глубоко почитал, наводили бы на него смертельную скуку, повстречайся они ему во плоти.

Народы, о которых он читал в юности, тем временем вымерли.

Он полагает, что все известное им — его личная собственность. Это его собственность лишь до тех пор, пока неверно.

¹ Atem (нем.) — дыхание.

Бессмертие у китайцев — это долголетие. Речь идет не о душах. Всегда присутствует тело, пусть даже легкое и окрыленное, прошедшее сначала долгий путь по горам в поисках таинственных корешков.

И оттого, что они жили еще до нас (китайцы), задолго, с незапамятных времен, оттого так больно видеть, как теперь они тянутся за нами. В конце концов, нагнав нас, они растеряют все, чем нас превосходили.

Одно из условий бессмертия в том, что за кандидатами на него должно тянуться немало упреков, иначе и величайшая заслуга взойдет скукой.

Почему ты готов терпеть всякого? Потому что он так ненадолго здесь.

Верни, верни богов, тех, что были ими, которых ты слишком рано узнал и потому не распознал.

Что говорят людям в письмах к ним и что о них — в дневниках. Сравнить!

Никакая отвратительная вера не препятствие для еще более отвратительной.

В конце исламской биографии *Платона* * встречается следующий неожиданный пассаж о его громком *плаче*:

«Он любил бывать в одиночестве в безлюдных сельских уголках. И где он находился, можно было большею частью распознать по доносившемуся плачу. Когда он плакал, в пустынных сельских местностях его было слышно за две мили. Он плакал не переставая».

В переводе Франца Розенталя

Вот он стоит и разглядывает смерть. Она приближается к нему, он отталкивает ее назад. Он не оказывает ей чести принимать ее в расчет. И если даже придет день и помутится разум — он не склонится перед ней. Он назвал ее имя, он ненавидел ее, он отверг ее. Как бы мало ему ни удалось, это больше, чем ничего.

Слишком много в голове имен, как булавки.

Надо только стать достаточно старым, чтобы получить все, что тебе не причитается.

Он отказывается от себя самого и облегченно вздыхает. Ничего больше не желает он знать о себе, никогда.

Голоса Марракеша



Веце Канетти

Возгласы слепых

Я пытаюсь рассказать о чем-то и, едва замолкнув, чувствую, что, в сущности, еще ничего не сказал. Какая-то густая, дивно светящаяся субстанция не может из меня вытечь и насмехается над словами. Язык ли это, которого я там не понимал и который постепенно должен теперь внутренне переводить? Тут были события, картины, звуки, смысл которых лишь в тебе *возникает*, которые нельзя ни записать, ни очертить словами, которые существуют по ту сторону слов, глубже и многозначнее их.

Мне видится человек, забывший все языки на свете, так что ни в одной стране он уже не может понять, что говорится.

Что такое язык? Что он скрывает? Чего он тебя лишает? За недели, что я провел в Марокко, я не пытался научиться ни по-арабски, ни по-берберски. Я не хотел, чтоб чужеродные возгласы утратили для меня хоть частицу своей силы. Я хотел, чтобы звуки коснулись меня сами по себе, не ослабленные недостаточным или искусственным знанием. Я ничего не читал об этой стране. Ее обычаи были мне столь же неведомы, как и ее люди. То немного, что набираешь за свою жизнь по части сведений о какой бы то ни было стране и о каком бы то ни было народе, стирнулось в первые же часы.

Но осталось слово «Аллах», без него обойтись я не мог. Оно отчасти подготовило меня к восприятию опыта, чаще всего повторявшегося, лезшего в уши, самого постоянного. Речь идет о слепцах. В путешествие берешь с собой все, возмущение оставляешь дома. Смотришь, слушаешь, увлекаешься даже самым ужасным, потому что оно ново. Хорошие путешественники бессердечны.

Когда в прошлом году, после пятнадцатилетнего отсутствия, я подъезжал к Вене, дорога шла через *Слепой рынок*, место, о су-

ществовании которого я прежде никогда не подозревал. Это название подействовало на меня точно удар хлыстом, с тех пор оно не шло у меня из головы. В этом году, попав в Марракеш, я вдруг оказался среди слепцов. Их было сотни, бесчисленное множество, большая часть нищих, они стояли на базаре плотными группами по восемь-девять человек в ряд, их хриплые, из века в век повторяющиеся возгласы можно было слышать издалека. Я стал перед ними, не двигаясь, как они, и не вполне уверенный, чувствуют ли они мое присутствие. Каждый из них держал перед собой деревянное блюдо для подаяний, и, когда кто-нибудь что-нибудь туда бросал, поданная монета переходила из рук в руки, чтобы каждый потрогал, каждый ощупал ее, прежде чем один из них, которому это полагалось, не сунет ее, наконец, в суму. Они вместе *ощупывали*, как вместе бормотали и восклицали.

Все слепцы просят именем Господа. С Господа они начинают, Господом кончают, они повторяют его имя по десять тысяч раз на день. Божье имя варьируется во всех их возгласах, но возглас у каждого свой, однажды заведенный и неизменный. Это акустические арабески вокруг Бога, но впечатляют они куда больше оптических. Некоторые полагаются лишь на его имя и ничего другого не произносят. Что-то странное есть в этом упорстве. Бог вдруг представился мне в виде стены, которую они стараются взять приступом в одном и том же месте. По-моему, нищие держатся больше своими формулами, чем подаением.

Повторяющийся возглас характеризует возглашающего. Его запоминаешь, его узнаешь, он здесь всегда; возгласом он вполне четко обрисован. Больше о нем ничего не узнаешь, дальше он защищен, возглас — одновременно его граница. Здесь, в этом месте, он именно то, что означает его возглас, не больше, не меньше — нищий, слепой. Но возглас тут же и умножается, быстрое и равномерное повторение делает его групповым. Тут есть особая энергия требования, он требует за многих и получает за всех. «Ради всех нищих, ради всех нищих! Бог благословит тебя за всех нищих, которым ты подаешь».

Говорят, бедные войдут в рай на пятьсот лет раньше богатых. Подаением ты покупаешь у бедных частицу рая. Когда кто-то умирает, «за ним идут к могиле пешком, торопясь, чтобы усопший быстрее достиг блаженства. *Слепцы поют молитву*».

Вернувшись из Марокко, я попробовал, закрыв глаза, сесть с поджатыми ногами в углу своей комнаты и в течение полчаса достаточно быстро и достаточно сильно повторять: «Аллах! Аллах! Аллах! Аллах!» Я попробовал вообразить себе, что говорю так весь день и добрую часть ночи; что немного поспав, все начинаю снова; что так продолжается дни и недели, месяцы и годы; что я стар, и продолжаю стареть, и так живу, и цепко держусь за эту

жизнь; что я прихожу в ярость, когда что-то в этой жизни мне мешает; что я не хочу ничего другого; что я закоснел в этом состоянии.

Я понял, какой соблазн заключен в этой жизни, где все сводится к простейшему повторению. Но много ли или мало разнообразия в труде ремесленников, которых я видел за работой в их маленьких мастерских? В торговле купцов? В движениях танцоров? В бесчисленных чашках мятного чая, которым здесь потчуют всех гостей? Много ли разнообразия в деньгах? Или в голоде?

Я понял, кто такие на самом деле эти нищие: святые повторения. Из их жизни изъята большая часть того, что для нас пока еще не повторяется. Есть неизменный возглас. Есть ограниченное число монет — три-четыре, разного достоинства, — на которые они могут надеяться. Есть, правда, и подающие, они различны, но слепцы этого не видят, и своей благодарностью стараются сравнять и подающих.

Посещение Меллаха

На третий день, оказавшись один, я нашел дорогу в Меллах. Я дошел до перекрестка, где стояло много евреев. Уличный поток огибал их и сворачивал за угол. Я увидел людей, проходящих под свод, как будто вырезанный в стене, и последовал за ними. Внутри этой стены, замкнутый ею с четырех сторон, и находился Меллах, еврейский квартал.

Я оказался на маленьком, открытом базаре. В низких помещениях среди своих товаров сидели, поджав под себя ноги, мужчины; некоторые, одетые по-европейски, сидели на стульях или стояли. У большинства на головах были черные шапочки, которые отличают здесь евреев; очень много было бородатых. В первых лавках, на которые я наткнулся, продавали ткани. Кто-то мерил локтем шелк. Другой задумчиво и быстро водил по бумаге карандашом — он что-то подсчитывал. Даже сравнительно богатые лавки выглядели очень маленькими. Во многих были посетители; в одном помещении двое весьма толстых мужчин в свободных позах расположились вокруг третьего, худого, который был владельцем, и вели с ним оживленную, но при том степенную беседу.

Я шел мимо как мог тихо и приглядывался к лицам. Некоторых я в другой одежде счел бы арабами. Были старые евреи, от которых исходил внутренний свет, как на картинах Рембрандта. Были католические священники, лукавые в своем спокойствии и смирении. Были Вечные Жиды *, весь облик которых выражал беспокойство. Были французы. Были испанцы. Были рыжеватые русские. Одного можно было приветствовать как па-

триарха Авраама, он снисходительно говорил что-то Наполеону, и в разговор их встревал азартный всезнайка, выглядевший совершенным Геббельсом. Мне подумалось о переселении душ. Возможно, сказал я себе, душа каждого человека должна однажды побывать в обличье еврея, и вот они все здесь: ни одна не помнит, чем она была прежде, и, хотя внешние черты выдают это столь отчетливо, что я, посторонний, их узнаю, каждый из этих людей твердо уверен, что он по прямой линии потомок тех, о ком сказано в Библии.

Но было в них что-то для всех общее, и, когда я привык к богатству их лиц и выражений, я попытался понять, в чем же заключается это общее. У них была особая манера окидывать проходящего быстрым взглядом и составлять о нем суждение. *Ни разу* я не прошел незамеченным. Когда я останавливался, во мне могли почуять покупателя и оценить с этой точки зрения. Но чаще всего я чувствовал на себе быстрыймышленный взгляд задолго до того, как останавливался, я ощущал его, когда шел еще по другой стороне улицы. Даже у тех немногих из них, что лежали, как арабы, лениво, взгляд не был ленив: вот он коснулся тебя, как верный разведчик, и быстро ушел в сторону. Среди этих взглядов были враждебные, холодные, равнодушные, пренебрежительные и бесконечно мудрые. Но никогда они не казались глупыми. Это были взгляды людей, которые всегда начеку, но не хотят давать повод для враждебности, которой они ожидают: ни тени вызова — и страх, благоразумно запрятанный.

Можно было сказать, что мудрость этих людей — в их осматрительности. Лавка открыта лишь с одной стороны, и им не нужно заботиться о том, что происходит у них за спиной. На улице те же самые люди чувствуют себя менее уверенно. Я скоро заметил, что Вечные Жиды, то есть те из них, что производили впечатление беспокойных и подозрительных, всегда были *прохожими*; это были люди, которые все свои товары носили с собой и должны были с ними прокладывать дорогу через толпу, которые никогда не знали, не накинется ли кто-нибудь на их убогое добро сзади, слева, справа или сразу со всех сторон. Кто имел свою лавку и в ней находился, тот был почти спокоен.

Но многие сидели на корточках в переулке и торговали всякой всячиной. Часто это были совсем жалкие кучки овощей или фруктов. Казалось, эти люди, собственно, и не думают ничего продавать, им достаточно просто видимости занятий. Их было много, вид у них был запущенный, и вначале мне казалось странно на них смотреть. Но вскоре я ко всему привык и уже не особенно удивлялся, когда видел сидящего на земле старого болезненного человека, который держал для продажи единственный засохший лимон.

Так я шел по улочке, которая вела от базара при входе

в глубь Меллаха. Она была полна людей. В большинстве это были мужчины, но встретилось мне и несколько женщин, без покрывал. Древняя, изборожденная морщинами старуха еле ползла — она выглядела самым старым на земле человеком. Ее глаза были неподвижно уставлены вдаль, но казалось, она хорошо видела, куда идет. Она никому не уступала дорогу, тогда как другие должны были ее обходить; вокруг нее всегда оставалось пустое пространство. По-моему, ее боялись: она двигалась очень медленно и нашла бы время послать проклятия любому. Страх, внушаемый ею, похоже, наделял ее энергией для этого странствия. Когда она, наконец, прошла мимо меня, я обернулся и посмотрел ей вслед. Она почувствовала мой взгляд, потому что оглянулась, так же медленно, как и шла, и уставилась в мою сторону. Я поскорей отошел, и эта реакция была так инстинктивна, что я не сразу заметил, насколько ускорил шаг.

Я прошел мимо ряда цирюлен. Молодые люди, парикмахеры, праздно стояли перед дверьми. На земле напротив мужчина продавал корзину с жареной саранчой. Я вспомнил знаменитое египетское бедствие * и удивился, что евреи тоже едят саранчу. В одном полуподвальном помещении сидел на корточках человек, черты лица и цвет кожи его были совсем негритянские. На голове у него была еврейская шапочка, он торговал углем. Уголь лежал вокруг него высокими кучами; казалось, его должны в них замуровать, и он ждет только мастеров, которые придут этим заняться. Держался он так тихо, что я поначалу его не заметил, и лишь потом обратил внимание на глаза, блестящие среди этих углей. Рядом с ним какой-то одноглазый торговал овощами. Невидящий глаз ужасно заплыл и производил угрожающее впечатление. Сам он задумчиво манипулировал со своими овощами: то осторожно отодвигал их в сторону, то так же осторожно возвращал обратно. Еще один сидел на полу, перед ним было пять или шесть камней. Он брал каждый отдельно в руку, взвешивал, смотрел на него, еще немного держал на весу. Потом возвращал к остальным и снова повторял ту же игру. На меня он не взглянул *ни разу*, хотя я стоял прямо перед ним. Это был единственный во всем квартале человек, не удостоивший меня взглядом. Камни, предназначенные для продажи, не давали ему покоя и, казалось, интересовали его больше, чем покупатели.

Было заметно, что все становилось беднее по мере того, как я углублялся в Меллах. Красивые ткани и шелка остались позади. Уже никто не напоминал Авраама богатым и царственным видом. Базар сразу у входных ворот был своего рода роскошным кварталом; обычную жизнь, жизнь простого народа, можно было увидеть здесь. Я вышел к небольшой прямоугольной площади, которая показалась мне сердцем Меллаха. У продолговатого колодца стояли вперемешку мужчины и женщины. Женщины

несли кувшины, которые наполняли водой. Мужчины наполняли свои кожаные бурдюки. Их ослы стояли рядом и ждали, пока их напоят. Посредине площади сидели на корточках трактирщики. Одни жарили мясо, другие маленьких карпов, тут же были их семьи, женщины и дети. Казалось, будто они вынесли на площадь все свое хозяйство, здесь жили и здесь готовили еду.

Кругом стояли крестьяне в берберских одеждах, с живыми курами в руках; они держали их за ноги, которые были связаны, куриные головы свешивались вниз. Когда приближались женщины, они протягивали им кур. Женщина брала птицу в руки, причем бербер не отпускал курицу и даже не менял своей позы, ощупывала ее, щипала, трогала там, где полагалось быть мясу. И пока шла проба, никто не произносил ни слова, ни бербер, ни женщина; нема оставалась и курица. Потом женщина оставляла птицу висеть в руке торговца и переходила к следующему крестьянину. Ни одна не покупала курицу, не опробовав сперва как следует всех других.

Вся площадь окружена была лавками, во многих работали ремесленники, перестук их молотков громко звучал среди общего гомона. На углу площади горячо спорили о чем-то несколько мужчин. Я не понимал, что они говорили, но по выражению их лиц мог заключить, что речь шла о великих мировых делах. Все были несогласны друг с другом, каждый выдвигал свой аргумент; мне показалось, что аргументы других доставляют им удовольствие.

Посредине площади стоял старик-нищий, первый, которого я здесь видел; это был не еврей. Получив монету, он тотчас спешил к одному из тех маленьких карпов, что громко шипели на сковороде. Вокруг повара было несколько клиентов, и старому нищему приходилось ждать, пока очередь дойдет до него. Но он не терял терпения, даже когда до исполнения его заветной мечты оставалось так близко. Получив наконец карпа, он снова садился с ним посреди площади и съедал, широко открывая рот. Его аппетит распространял над площадью нечто вроде облака удовольствия. Никто не обращал на него внимания, но каждый вдыхал запах этого удовольствия; он показался мне едящим памятником этой площади, необходимым для ее жизни и благополучия.

Однако не скажу, что лишь ему одному я был обязан чувством счастливой очарованности, которое испытал на этой площади. Это было чувство, как будто я в самом деле достиг некой цели своего путешествия. Мне отсюда больше никуда не хотелось; я здесь уже был сотни лет назад, но просто забыл об этом, а теперь все вдруг вспомнил. Здесь оказалась вынесена наружу та теплота и плотность жизни, которую я чувствовал в себе са-

мом. Я был этой площадью, когда стоял на ней. Пожалуй, я и сейчас еще эта площадь.

Оторваться от нее для меня оказалось столь трудно, что я возвращался туда каждые пять-десять минут. Куда бы я теперь ни шел дальше, в каком бы месте Меллаха ни оказывался, я все оставлял, чтобы вернуться на маленькую площадь, пройти через нее в одну сторону, в другую чтобы удостовериться, что она еще тут.

Сначала я свернул в одну из улочек потише, где не было никаких лавок, лишь жилые дома. Всюду, на стенах, возле дверей, на некоторой высоте от земли были нарисованы крупные руки, каждый палец отчетливо очерчен, чаще всего синим цветом: это считалось защитой от дурного глаза. Подобный знак встречался мне здесь чаще всего, людям нравилось помечать им свое жилище. Через открытые двери можно было заглянуть во дворы; они были чище улочек. От них на меня дохнуло миром. Мне очень хотелось туда войти, но я не решался, потому что не видел там людей. Неизвестно, что бы я стал говорить, наткнувшись вдруг в таком доме на женщину. Я испугался, представив себе чей-то испуг. Тишина домов настраивала на осмотрительность. Но это продолжалось недолго. Все сильнее стал слышен звонкий высокий шум, поначалу как будто верещание, потом оно вызвало у меня мысль о вольере с птицами. «Что это может быть? Нет же здесь вольеры с сотнями птиц! Дети? Школа?» Скоро сомнения не осталось: оглушительный шум доносился из школы.

Через открытые ворота я заглянул в большой двор; там, вплотную друг к другу, сидели, наверное, сотни две крохотных малышей; другие прыгали вокруг или играли на земле. Многие из сидевших на скамьях держали в руках буквари. Маленькими группами по три, по четыре они усердно раскачивались вперед-назад и повторяли высокими голосами: «Алеф. Бет. Гимель». Ритмично склонялись туда-сюда маленькие черные головы; один из них всегда оказывался усердней прочих, его движения были самыми пылкими, и звуки еврейского алфавита звучали в его устах как рождающийся декалог*.

Я вошел во двор и попытался разобраться в действиях этого множества детей. Самые маленькие из них играли на земле. Среди них стоял учитель, очень бедно одетый; в правой руке у него был кожаный ремень для битья. Он почтительно подошел ко мне. Его вытянутое лицо было плоским и невыразительным, его безжизненная неподвижность представляла разительный контраст с оживленностью детей. Чувствовалось, что он не может быть для них авторитетом, что ему для этого слишком мало платят. Это был молодой человек, но на фоне их юности он казался старым. По-французски он не говорил ни слова, да и мне

от него ничего не было нужно. Хорошо было просто стоять среди оглушительного шума и понемногу оглядываться. Но я его недооценил. За этой безжизненной окаменелостью крылось своего рода тщеславие: он хотел показать мне, на что способны его дети.

Он подозвал к себе одного маленького мальчика и, держа перед его глазами страницу букваря так, чтобы я тоже мог туда заглядывать, стал быстро показывать один за другим еврейские слоги. Он перескакивал от строки к строке без всякого порядка: я не должен был думать, что мальчик выучил это наизусть и воспроизводит вслепую, не читая. Глаза малыша блестели, когда он громко читал: «Ла-ло-ма-ну-ше-ти-ба-бу». Он не сделал ни одной ошибки и ни разу не запнулся. Он был гордостью своего учителя и читал все быстрее. Когда он закончил и учитель забрал у него букварь, я погладил его по голове и похвалил, по-французски, но *это* он понял. Он вернулся на свою скамью и сделал вид, будто больше не обращает на меня внимания, а его тем временем сменил другой мальчик. Этот был гораздо более робкий, и он делал ошибки. Учитель с легким подзатыльником отослал его и подозвал еще одного-двух. Пока все это происходило, оглушительный шум ни на мгновение не стихал, еврейские слоги падали, как капли дождя, в бушующее море школы.

Между тем подходили и другие дети, они рассматривали меня с любопытством, кто нагло, кто робко, кто не без кокетства. Учитель почему-то с робкими обращался сурово, а наглым потворствовал. Все имело свой смысл. Это был бедный и унылый господин своих школьных классов; когда демонстрация закончилась, с его лица исчезли даже скудные следы удовлетворенной гордости. Я поблагодарил его весьма вежливо и, чтобы приподнять его в собственных глазах, чуть свысока, словно был важный посетитель. Я был в самом деле доволен; не забываясь о такте, которого мне явно не хватало в Меллахе, я решил вернуться сюда на другой день и дать ему немного денег. Посмотрел еще на читающих мальцов, меня трогало, как они покачиваются взад-вперед, они мне понравились больше всех. Затем я ушел, но частицу шума унес с собой. Он сопровождал меня до самого конца улицы.

Эта улица становилась чем дальше, тем оживленнее, как будто она вела к какому-то важному общественному месту. Я увидел поодаль стену и большие ворота. Я не знал, куда они ведут, но чем ближе к ним подходил, тем чаще встречал нищих, сидевших здесь то по правой, то по левой стороне. Меня это удивило, потому что нищих-евреев я прежде не видел. У самых ворот их сидело в ряд на земле десять или пятнадцать, мужчин и женщин, по большей части это были старые люди. В некото-

ром смущении я остановился посреди улицы и сделал вид, будто изучаю ворота, тогда как на самом деле рассматривал лица нищих.

Ко мне подошел молодой человек со стороны, показал на стену и сказал: «*le cimetière israélite*»¹ — и выразил готовность проводить меня туда. Это были единственные французские слова, которые он говорил. Я быстро последовал за ним через ворота. Провожатый двигался проворно, и нужды говорить с ним не было. Я оказался на совершенно голом пространстве, где не росло ни травинки. Могильные камни были такие низкие, что их можно было не заметить и споткнуться о них на ходу, как об обычные камни. Все кладбище выглядело огромным навалом щебня; возможно, когда-то оно и было таким навалом, и лишь потом приобрело нынешнее, более серьезное значение. Ничто здесь не поднималось ввысь. Камни, которые были видны, и кости, которые можно было представить мысленно, — все *лежат*. Было даже как-то неловко ходить здесь распрямившись, этим отнюдь нельзя было гордиться, ты лишь казался себе смешным.

В других местах земли кладбища устроены так, чтобы живые могли радоваться. Там много жизни, там есть цветы, и это ободряет посетителя, единственного человека среди множества мертвецов, это придает ему силы. Он чувствует, что ему стоит позабавоваться. На надгробных камнях он читает имена людей; каждого из них в отдельности он пережил. Не признаваясь в этом себе, он испытывает от этого некоторое удовлетворение, как будто победил каждого в единоборстве. Конечно, он и горюет тоже, ему жалко многих, кого уже не стало, но сам он чувствует себя непобедимым. Иначе как бы ему удалось такое? На каком поле битвы в мире он остался один? Он стоит среди них прямо, а они все лежат. Но прямо стоят и деревья, и надгробия. Они для того здесь и посажены, и поставлены, для того и окружают его как своего рода наследство, чтобы ему было приятно.

Однако здесь, на этом пустынном кладбище евреев, нет ничего. Это сама правда, лунный ландшафт смерти. Посетителю искренне безразлично, где кто лежит. Он не наклоняется над камнями и ничего в них не пытается разгадать. Они для него все как щебенка, и хочется проскользнуть над ними побыстрее, пошакальи. Это пустыня мертвецов, где ничто уже не растет, последняя, окончательная пустыня.

Пройдя немного, я услышал сзади оклик. Я обернулся и остановился. По внутренней стороне стены, близ ворот, тоже стояли нищие. Это были старые бородатые мужчины, некоторые на костылях, некоторые слепые. Я замер, потому что прежде их не заметил; мой провожатый шел так быстро, что между ними

¹ «Еврейское кладбище» (франц.).

и мной была уже добрая сотня шагов. Я заколебался, перейти ли мне еще раз через это пустынное место, прежде чем углубляться дальше. Но *они* не колебались. Трое из них отделились от группы у стены и весьма поспешно заковыляли ко мне. Возглавлял их широкоплечий грузный мужчина с могучей бородой. Он был одноног и продвигался вперед, тяжело перекидывая свое тело на костылях. Скоро он далеко опередил других. Низкие надгробья не были для него препятствием, его костыли касались земли всегда в нужном месте и ни разу не поскользнулись на камне. Он устремился на меня подобно грозному старому зверю. В его лице, которое быстро ко мне приближалось, не было ничего, возбуждающего сострадание. Оно, как и вся его фигура, выражало одно лишь неистовое требование: «Я живу. Дай мне!»

У меня было смутное чувство, будто он готов всей своей тяжестью обрушиться на меня; мне стало жутко. Мой проводник, легкий, тонкий человек с движениями ящерицы, быстро стал тянуть меня вперед, не давая нас настичь. Он не хотел, чтобы я подавал этим нищим, и что-то кричал им по-арабски. Грузный мужчина на костылях еще некоторое время пытался нагнать нас, но, увидев, что мы удаляемся все быстрее, прекратил погоню и остановился. Еще долго слышны были его гневные проклятия, и голоса других, отставших, сливались с его голосом в один злобный хор.

Я ощутил облегчение, ускользнув от них, и одновременно стыд от того, что напрасно пробудил в них ожидания. Одноногому старику помешали не камни, которые ему и его костылям были хорошо знакомы; он потерпел неудачу из-за проворства моего провожатого. В таком неравном соревновании, видит Бог, нельзя было рассчитывать на победу. Я захотел что-то узнать о нашем бедном враге и обратился с вопросом к провожатому. Он не понял ни слова, и вместо ответа по его лицу расплылась тупая ухмылка. При этом он сказал „Oui" и еще раз „Oui". Я не знал, куда он меня ведет. Но после случая со стариком эта пустыня уже не казалась такой пустынной. Он был законный ее обитатель, хранитель голых камней, щебня и невидимых костей.

Впрочем, я переоценил его значение. Потому что вскоре обнаружил здесь целое многочисленное население. Обогнув небольшой холм, мы вышли к какой-то низине и оказались вдруг перед крошечной молельней. Возле нее расположились полукругом, наверное, с полсотни нищих, мужчины и женщины вперемишку, отмеченные всеми недугами, какие только возможны под солнцем; это было словно одно племя, причем преобладали все-таки глубокие старики. Они сидели на земле живописными группами и при нашем появлении постепенно, не спеша задвигались, забормotalи благословения, стали тянуть руки. Но ник-

то ко мне не приблизился, пока я не перешагнул порог молельни.

Я увидел очень маленькое продолговатое помещение, в котором горели сотни свечей. Они были воткнуты в низкие стеклянные цилиндры и плавали в масле. Большая часть их была расставлена на столах обычной высоты, и ты смотрел на них сверху, как на книгу, которую читаешь. Меньшая часть свисала в больших сосудах с кровли. На каждой стороне помещения стоял человек, очевидно назначенный для того, чтобы совершать молитвы. На столах возле них лежало по несколько монет. Я помедлил на пороге, потому что нечем было покрыть голову. Провожатый снял с головы свою черную шапку и дал мне. Я надел ее не без замешательства, уж очень грязной она была. Служители кивнули мне, и я вступил под свечи. Меня не считали евреем, и я не совершал молитвы. Провожатый показал на монеты, и я понял, что надо сделать. Я оставался здесь совсем недолго. У меня вызывало робость это маленькое помещение посреди пустыни, помещение, наполненное свечами, состоявшее из одних свечей. От них исходила тихая ясность, как будто говорившая, что ничто не кончается, покуда они горят. Может, эти нежные огоньки были единственным, что осталось от мертвых. А снаружи к тебе подступала близко, вплотную, исполненная страстей жизнь нищих.

Выйдя, я вновь оказался среди них, и вот тут-то они оживились. Они подступали ко мне со всех сторон, как будто именно их увечья я мог не заметить, они демонстрировали их мне в каком-то искусном и в то же время яростном танце. Они трогали мои колени и целовали мою одежду. Они благословляли, казалось мне, каждое место моего тела. Как будто вся эта масса людей со ртами, глазами и носами, с руками и ногами, лохмотьями и костылями, со всем, что у них было, из чего они состояли, превратилась в одну сплошную *мольбу*. Я был испуган, но, не стану отрицать, в то же время и очень тронут, и весь испуг растворился вскоре в этой растроганности. Еще никогда люди не приближались ко мне так телесно близко. Я забыл их грязь, она была мне безразлична, я не боялся вшей. Я почувствовал, какой может быть соблазн в желании дать людям растерзать свое тело на части. Такая ужасающая степень почтения, кажется, стоит жертвы, и она способна породить чудо.

Но мой провожатый позаботился, чтобы я не остался в руках нищих. Он имел на меня больше прав, и его претензии отнюдь еще не были удовлетворены. Моих мелких денег не хватило бы на всех. Во всю бранясь и ругаясь, он разогнал неумных и потащил меня за рукав дальше. Когда молельня оказалась позади, он трижды со своей тупой улыбкой произнес „oui", хотя я ни о чем его не спрашивал. На обратном пути кладбище уже не казалось мне прежним навалом щебня. Теперь я знал, где сошлись его

жизнь и его свет. Старик у ворот внутри, который с такой энергией пустился за мной в погоню на своих костылях, посмотрел на меня мрачно, но ничего не сказал и удержал свое проклятье про себя. Я вышел за ворота кладбища, и мой провожатый исчез так же мгновенно, как возник, на том же самом месте. Может, он жил в одной из расщелин кладбищенской стены и редко оттуда выбирался. Но прежде чем исчезнуть, он получил то, что ему причиталось, и на прощание сказал „oui“.

Семейство Дахан

На следующее утро вновь придя в Меллах, я поскорее прошел к маленькой площади, которую назвал «сердцем», а оттуда к школе, потому что чувствовал себя все же в некотором долгу перед учителем, напоминавшим какую-то маску. Он встретил меня точно так же, как в прошлый раз, будто видел меня впервые, и, наверное, повторилась бы вновь вся процедура чтения, но я опередил его и дал ему то, что считал должным. Он взял деньги быстро, без малейшей заминки и с улыбкой, от которой его лицо показалось еще более неподвижным и более глупым. Я немного походил среди читающих детей, наблюдая их ритмичные движения, которые произвели на меня такое впечатление накануне. Затем я покинул школу и пошел куда глаза глядят по улочкам Меллаха. Мне все больше хотелось заглянуть в какой-нибудь из домов. Но как я туда войду? Нужен был повод, и, на мое счастье, он мне скоро представился.

Я остановился перед одним из самых больших домов, портал которого выделялся среди других своей внушительностью. Ворота были открыты. Я заглянул во двор, где сидела молодая, смуглая, очень яркая женщина. Возможно, именно она вначале привлекла мое внимание. Во дворе играли дети, и, поскольку у меня уже был некоторый опыт общения со школами, я решил при надобности сделать вид, будто принял этот дом за школу и просто интересуюсь детьми.

Остановившись, я стал смотреть поверх детей на женщину, когда отделился от стены молодой рослый мужчина, которого я раньше не заметил, и подошел ко мне. Он был строен, голову держал высоко и в своем развевающемся одеянии выглядел весьма благородно. Он остановился передо мной, посмотрел на меня серьезно и испытующе и по-арабски спросил, что мне угодно. Я ответил по-французски: «Это школа?»¹ Он меня не понял, немного помедлил, сказал: «Attendez!»¹ — и отошел. Это было не единственное слово по-французски, которое он знал, потому

¹ «Подождите!» (франц.)

что вернувшись с каким-то мужчиной помоложе, одетым на французский манер, в лучший европейский костюм, словно сегодня был праздник, он сказал еще: «Mon frère» и «Parle français»¹.

У этого парня помоложе было плоское, тупое крестьянское лицо, он был очень загорелый. В другой одежде я принял бы его за бербера, не особенно, правда, красивого. Он действительно говорил по-французски и спросил меня, что мне угодно. «Здесь школа?» — спросил я, не совсем, впрочем, с чистой совестью, потому что снова, не удержавшись, бросил взгляд на женщину во дворе, и это от них не укрылось.

— Нет, — сказал тот, что моложе. — Здесь вчера была свадьба.

— Свадьба? Вчера? — Бог знает почему я так удивился, и, увидев столь оживленную реакцию, тот счел нужным пояснить:

— Мой брат женился.

Легким движением головы он показал мне на старшего брата, столь благородного на вид. Мне следовало бы поблагодарить за справку и продолжить свой путь. Но я медлил, и молодой супруг сказал мне, сопровождая свои слова приглашающим движением руки:

— Entrez! Входите! — А брат добавил: — Хотите посмотреть дом?

Я поблагодарил и вошел во двор.

Дети — а их было около дюжины — разбежались врассыпную, освобождая мне дорогу. Я пересек двор, оба брата сопровождали меня. Яркая молодая женщина поднялась — она оказалась гораздо моложе, чем я думал, лет, наверное, шестнадцати, — и младший брат представил мне ее как свою невестку. Это она вышла накануне замуж. Открыли дверь в одно из парадных помещений, располагавшихся в дальнем конце двора, и пригласили меня войти. Довольно маленькая комната, тщательно убранная и чистая, была устроена на европейский манер: слева от дверей находилась широкая двуспальная кровать, справа от нее большой квадратный стол, покрытый темно-зеленой шелковой скатертью. За ней у стены стоял буфет, в котором видны были бутылки и ликерные рюмочки. Стулья вокруг стола дополняли картину; все выглядело как в каком-нибудь скромном французском мелкобуржуазном жилище. Ни один предмет не мог свидетельствовать, в какой стране ты находился. Наверняка это была их лучшая комната, любая другая в их доме интересовала бы меня больше. Но они думали, что оказывают мне честь, пригласив именно сюда.

Молодая женщина, которая понимала по-французски, но не

¹ «Мой брат» и «Говорит по-французски» (франц.).

раскрывала рта, взяла из буфета бутылку и рюмку и налила мне крепкой водки, той, которую гонят здесь евреи. Ее называют «манья» и пьют много. В разговорах с мусульманами у меня часто возникало впечатление, что они, которым пить алкоголь не дозволяется, завидуют из-за этой водки евреям. Мы сели втроем: младший брат, его невестка и я, тогда как старший, молодожен, из вежливости еще немного постоял у дверей, а затем пошел по своим делам. Дел у него наверняка было много, и, поскольку понимать мы с ним друг друга не могли, он перепоручил меня своей жене и младшему брату.

Женщина смотрела на меня неподвижными карими глазами, она не сводила с меня взгляда, но ни малейшим движением лица не выдала, что она обо мне думала. На ней было простое цветастое платье, должно быть из французского магазина, оно подходило к убранству комнаты. Молодой деверь в своем темно-синем костюме, до смешного хорошо отглаженном, выглядел так, будто его только что сняли с витрины парижского магазина одежды. Единственно чужеродным во всем помещении был смуглый цвет кожи обоих.

Пока молодой человек задавал мне вежливые вопросы, на которые я пытался ответить так же вежливо, хотя и не так чопорно, я думал о том, что красивая молчаливая женщина, сидевшая напротив меня, только что встала со своего брачного ложа. Было уже далеко за полдень, но наверняка она сегодня и встала поздно. Я был первый незнакомец, которого она видела после того, как произошла эта существенная перемена в ее жизни. Мое любопытство к ней было сравнимо с ее любопытством ко мне. Именно ее глаза привлекли меня к этому дому, и теперь они смотрели на меня молча и неподвижно, тогда как я все говорил, хотя и обращался не к ней. Мне помнится, что, сидя там, я думал о чем-то абсурдном. Я надеялся, что она мысленно сравнивает меня со своим женихом, который мне так понравился; мне хотелось, чтобы она оценила его превосходство и предпочла его торжественную простоту и скромное достоинство иностранной самоуверенности, за которой она, возможно, предполагала власть и богатство. Я желал ему своего поражения и благословения их браку.

Молодой человек спросил меня, откуда я приехал.

— Из Англии, — сказал я. — Лондон. — Я привык давать здесь этот упрощенный ответ, чтобы не запутывать людей. Я чувствовал, что он слегка разочарован моим ответом, но не знал, что бы ему больше понравилось.

— Вы здесь гостите?

— Да, я еще никогда не видал Марокко.

— Были вы уже в Бахье?

Тут он начал спрашивать меня об официальных достоприме-

чательностях города: был ли я там-то и там-то, а закончил тем, что готов предложить себя в провожатые. Я знал, что если возьмешь в провожатые местного жителя, то уже ничего не увидишь, и чтобы как можно скорей покончить с этой идеей и перевести разговор на другую тему, объяснил ему, что нахожусь здесь с английской киногруппой, которой дал провожатого лично паша. Собственно, я не имел к этим киносъемкам никакого отношения. Но один мой английский друг, который их затеял, пригласил меня в Марокко, а другой друг, с которым я здесь был, молодой американец, играл в нем главную роль.

Сказанное мной произвело впечатление. Он больше не настаивал на том, чтобы показать мне город, но перед его глазами открылись совсем другие возможности. Не найдется ли у нас для него места? Он может все. Он уже давно без работы. Его лицо, в котором было что-то тупое и мрачное, до сих пор казалось мне непонятным; его реакции были слабы или так замедленны, что поневоле засомневаешься, реагирует ли он вообще. Но теперь я понял, что его костюм ввел меня в заблуждение насчет его обстоятельств. Возможно, он выглядел мрачным потому, что давно был без работы, а может, и семья давала ему это почувствовать. Я знал, что все мелкие должности в группе моего друга уже давно заняты, и, чтобы не морочить ему голову, сразу про это сказал. Он немного наклонился ко мне через стол и вдруг спросил:

— Etes-vous Israélite? ¹

Я с удовольствием ответил «да». Было так приятно иметь возможность хоть что-то наконец подтвердить, и, кроме того, мне было интересно, как подействует на него это признание. Он улыбнулся во все лицо, показав большие, желтоватые зубы, обернулся к своей невестке, которая сидела немного поодаль напротив меня, и горячо закивал ей, чтобы и она разделила радость от услышанного. Ни одна черта на ее лице не шевельнулась. Мне показалось, она скорей была даже немного разочарована; ей хотелось, чтобы чужестранец был совсем уж чужим. Так он сиял еще некоторое время, и, когда теперь я обратился к нему с вопросом, стал отвечать несколько более свободно, чем можно было ожидать.

Я узнал, что его невестка родом из Мацагана. Дом не всегда был таким многолюдным. Члены семьи съехались на свадьбу из Касабланки и Мацагана и привезли с собой детей. Все остановились здесь, в доме, вот почему так необычно оживлен был Двор. Его звали Элия Дахан, и он с гордостью услышал, что и я ношу то же имя. Брат его был часовщик, собственного дела у него не было, он служил у другого часовщика. Мне еще раз предложили выпить и поставили передо мной фруктовый ком-

¹ Вы еврей? (франц.)

пот, какой делала моя мама. Я выпил, но от компота вежливо отказался — может быть, потому, что он напоминал мне о слишком близком; и лишь тут на лице невестки наконец что-то ясно выразилось — сожаление. Я рассказал, что мои предки родом из Испании, и спросил, есть ли еще в Меллахе люди, говорящие по-испански. Он никого не знал, но он слышал про историю евреев в Испании, и это смутное представление было, казалось, первым, что не имело отношения к его французскому стилю и его ближайшему окружению. Потом опять стал спрашивать он. Сколько евреев в Англии? Хорошо ли им там и как с ними обращаются? Есть ли среди них большие люди? Я вдруг ощутил нечто вроде обязанности как-то поблагодарить страну, в которой мне было хорошо, в которой я обрел друзей, и, чтобы он меня понял, рассказал ему об одном английском еврее, достигшем высокого политического положения, лорде Самуэле.

— Самуэль? — спросил он, и лицо его вновь засияло. Я решил, что он про этого человека слышал и знает о его жизни. Но тут я ошибся, потому что, обернувшись к молодой женщине, он пояснил: — Это фамилия моей невестки. Ее отца зовут Самуэль.

Я вопросительно поглядел на нее; она живо кивнула.

С этого момента он стал задавать вопросы смелее. Сознание отдаленного родства с лордом Самуэлем, который, как я ему сказал, был членом британских правительств, воодушевило его. Есть ли в нашей группе еще евреи? Один, сказал я. Не могу ли я привести его с собой в гости? Я обещал. А нет ли среди нас американцев? Впервые он выговорил слово «американец»; я почувствовал, что это для него золотое слово, и понял, почему он был разочарован, услышав, что я из Англии. Я рассказал ему о своем американском друге, который жил в той же гостинице, что и мы, однако вынужден был добавить, что он не «Israélite».

Вновь появился старший брат; возможно, он решил, что я здесь сижу уже слишком долго. Он бросил взгляд на свою жену. Она все еще смотрела на меня. Я понимал, что остался здесь ради нее, и еще надеялся заговорить с ней. Я сказал младшему брату, что при желании он может найти меня в гостинице, и поднялся со своего кресла. Я попрощался с молодой женщиной. Оба брата проводили меня к выходу. Новобрачный остановился у ворот с таким видом, будто загораживал мне путь, и я подумал, что он, наверное, ждет платы за осмотр дома. В то же время мне не хотелось бы его оскорблять, он мне все еще нравился, так что какой-то момент я находился в жалком замешательстве. Моя рука, потянувшаяся к карману, замерла на полпути. Младший пришел ко мне на выручку, он что-то сказал по-арабски. Я услышал слово «иегуди», еврей, это относилось ко мне, и меня отпустили дружелюбно, немного разочарованно пожав руку.

Уже на другой день Элия Дахан появился в моем отеле. Он не застал меня и пришел снова. Но я отсутствовал долго, так что ему не везло; возможно, он подумал, что я велел не говорить о себе. На третий или четвертый раз он меня наконец застал. Я пригласил его на кофе, и он проводил меня в Джем-эль-Фна, где мы сели на террасе кафе. Одет он был точно так же, как накануне, говорил поначалу мало, но сам вид его красноречиво свидетельствовал, что пришел он не просто так. К нашему столу приблизился старик, продававший гравированные латунные блюда; по черной шапочке, одежде и бороде нетрудно было узнать еврея. Элия таинственно наклонился ко мне, как будто хотел сообщить что-то совершенно особенное, и сказал: «C'est un Israélite». Я обрадованно кивнул. Вокруг нас сидели сплошь арабы да еще один-два европейца. Лишь теперь, когда возникшее взаимопонимание между нами было восстановлено, он почувствовал себя свободней и приступил к делу.

Не могу ли я дать ему письмо к коменданту лагеря Бен-Герир. Он хотел бы работать у американцев.

— Какое письмо? — спросил я.

— Скажите коменданту, чтоб он дал мне место.

— Но я совершенно не знаю коменданта.

— Напишите ему письмо, — повторил он, как будто не слышал, что я сказал.

— Я не знаком с комендантом, — повторил я.

— Скажите ему, чтоб он мне дал место.

— Но я даже не знаю, как его зовут. Как я могу ему написать?

— Я скажу вам имя.

— Какую работу вы хотели бы там получить?

— Comme plongeur, — сказал он, и я решил, что, может, это значит мыть посуду.

— Вы там уже бывали?

— Я работал у американцев как plongeur, — сказал он весьма гордо.

— В Бен-Герире?

— Да.

— А почему вы оттуда ушли?

— Меня уволили, — сказал он так же гордо.

— Давно это было?

— Год назад.

— Почему же вы опять не устроились?

— Жителей Марокко не допускают в лагерь. Только если они там работают.

— Но почему вас уволили? Может, вы тогда сами захотели Уйти? — добавил я тактично.

— Не хватало работы. Многих уволили.

— Но если там работы не хватает, тогда вряд ли и для вас найдется место.

— Напишите коменданту, пусть он мне даст место.

— От моего письма не будет толку, ведь я с ним не знаком.

— С письмом меня пропустят.

— Но я даже не американец. Я же сказал вам, что я англичанин. Разве вы забыли?

Он наморщил лоб. Впервые какой-то довод заставил его задуматься. После некоторого размышления он сказал:

— У вас друг американец.

Теперь мне стало ясно. Я, живой друг живого американца, должен был написать письмо коменданту лагеря Бен-Герир с требованием, чтобы он предоставил Элии Дахану место *plongeur*.

Я сказал, что мне надо поговорить с моим американским другом. Он, наверное, знает, как в таких случаях поступают. Может, он сам и возьмется написать такое письмо; но, конечно, сначала мне надо его спросить. Я знаю, что лично с комендантом он не знаком.

— Напишите, чтобы он дал еще место и моему брату.

— Вашему брату? Часовщику?

— У меня есть еще младший брат. Его зовут Симон.

— Чем он занимается?

— Он портной. Он работал у американцев.

— Портным?

— Он считал белье.

— И ему тоже год назад пришлось уйти?

— Нет. Его уволили четырнадцать дней назад.

— Значит, для него уже нет работы.

— Напишите про обоих. Я скажу вам, как зовут коменданта лагеря. Напишите из своей гостиницы.

— Мне надо поговорить с моим другом.

— Зайти за письмом в отель?

— Зайдите дня через два-три, когда я поговорю с моим другом, тогда я вам скажу, сможет ли он написать для вас письмо.

— А как зовут коменданта, вы не знаете?

— Нет. Вы ведь сами хотели мне сообщить его имя, разве не так?

— Значит, я должен принести вам в отель имя коменданта?

— Да, пожалуйста.

— Я сегодня сообщу вам имя коменданта. Вы напишите ему письмо, чтобы он дал место мне и моему брату.

— Приходите с этим завтра. — Я начал терять терпение. — Я не могу вам ничего обещать, пока не поговорю со своим другом.

Я уже проклинал миг, когда вошел в дом этого семейства.

Теперь он станет являться каждый день, и наверняка не по одному разу, и каждый раз будет повторять ту же самую фразу. Не надо было пользоваться этим гостеприимством.

И тут он сказал:

— Вы не хотели бы снова прийти к нам?

— Сейчас? Нет, сейчас у меня нет времени. Как-нибудь в другой раз.

Я встал и покинул террасу. Он неуверенно поднялся и последовал за мной. Я заметил, что он как-то медлит. Когда мы прошли несколько шагов, он спросил:

— Вы уплатили?

— Нет.

Я про это забыл. Я хотел поскорей от него удрать и забыть уплатить за кофе, на которое сам его пригласил. Мне стало перед ним стыдно, и мое раздражение прошло. Я вернулся, уплатил и побрел с ним по улице, которая вела в Меллах.

Теперь он взял на себя роль провожатого и стал показывать мне все, что я уже и так знал. Его пояснения состояли из двух однотипных фраз: «Это Бахья. Вы уже были в Бахье? Это ювелиры. Вы уже видели ювелиров?»

Мои ответы были не менее стереотипны: «Да, я уже был там» или «Да, я уже их видел». Одно простое желание владело мной: как бы от него отделаться. Но он решил показать себя полезным, а решимость глупого человека невозможно поколебать. Увидев, что отделаться от него не так просто, я попробовал схитрить. Я спросил про Берриму, султанский дворец. Там я еще не был, сказал я, хотя прекрасно знал, что туда не пускают.

— Беррима? — повторил он обрадованно. — Моя тетя живет там. Проводить вас туда?

Сказать «нет» я теперь уже не мог. Хотя и не понимал, что могла делать его тетя в султанском дворце. Может, она была там привратницей? Прачкой? Поварихой? Было бы интересно попасть во дворец таким образом. Может, я сумею с этой тетей подружиться и узнаю что-нибудь о тамошней жизни.

По пути в Берриму мы заговорили про Глауи, пашу Марракеша. За несколько дней до того в квартальной мечети было совершено покушение на нового султана Марокко. Богослужение давало покушавшемуся единственную возможность оказаться в непосредственной близости к правителю. Этот новый султан был старый человек. Он был дядя прежнего, которого сместили французы и выслали из Марокко. Освободительные группы всячески боролись против этого дяди-султана, считая его инструментом в руках французов. Внутри страны, среди местных жителей он имел лишь одного сильного сторонника, это был эль-Глауи, паша Марракеша, которого уже два поколения знали как надежнейшего союзника французов. Глауи сопровождал но-

Вого султана в мечеть и застрелил покушавшегося на месте. Сам султан был лишь легко ранен.

Незадолго перед этим событием я прогуливался со своим другом в той части города. Мы случайно оказались перед этой мечетью и видели толпы людей, ожидавших появления султана. Полиция была в большом возбуждении, так как уже произошло несколько покушений, она действовала суетливо и шумно. Нас тоже оттеснили недружелюбно, но на местных жителей набрасывались с бешеными криками, даже когда они стояли именно там, где было разрешено. Все это не вызывало особого желания дожидаться прибытия султана, и мы пошли опять своей дорогой. Спустя полчаса произошло покушение, и известие об этом с быстротою ветра распространилось по городу.

Теперь я со своим новым спутником снова шел по тем же самым улочкам, что и тогда, и именно потому разговор коснулся Глауи.

— Паша ненавидит арабов, — сказал Элия. — Он любит евреев. Он друг евреев. Он не позволяет трогать евреев.

Он говорил больше и живее обычного, и его слова звучали странно, как будто он читал наизусть старую книгу по истории. Даже от Меллаха не дохнуло на меня таким средневековым, как от этих слов про Глауи. Я украдкой смотрел на его лицо, а он все повторял.

— Арабы его враги. Он держит при себе евреев. Он говорит с евреями. Он друг евреев.

Он предпочитал фамилии Глауи титул «паша», который означал сан. Я говорил «Глауи», он отвечал мне «паша». В его устах это звучало как слово «комендант», которым он недавно довел меня до бешенства. Но даже Глауи было не таким высоким словом и не связывалось с такими надеждами, как слово «американец».

Между тем мы прошли через ворота в квартал, располагавшийся за городской стеной. Дома здесь были одноэтажные и довольно бедные с виду. На маленьких неровных улочках нам не встретилось ни одного человека, лишь кое-где можно было увидеть несколько играющих детей. Я с недоумением подумал, как же мы пройдем ко дворцу, но тут он остановился перед неказистым домом и сказал:

— Здесь живет моя тетя.

— Разве она живет не в Берриме?

— Вот Беррима, — сказал он, — весь квартал называется Беррима.

— И евреям здесь можно жить?

— Да, — сказал он, — паша разрешил.

— Много их тут?

— Нет, большинство здесь арабы. Но есть и евреи. Хо-

тите познакомиться с моей тетей? Моя бабушка тоже здесь живет.

Я обрадовался новой возможности посмотреть внутренние помещения дома и был очень доволен, что дом этот оказался таким простым и неказистым. Замена меня вполне устраивала; и, если бы я с самого начала понял, о чем идет речь, я предпочел бы такой осмотр посещению султанского дворца.

Он постучался, и нам немного пришлось подождать. Появилась молодая крепкая женщина с открытым приветливым лицом. Она провела нас дальше, но казалась несколько смущенной, потому что все комнаты были свежевыкрашены, и ей негде нас было принять как положено. Мы очутились в крохотном дворике, на который выходили три маленькие комнаты. Там была бабушка Элии, выглядевшая вовсе не старой. Она встретила нас с улыбкой, но мне показалось, она не особенно гордилась своим внуком.

Трое маленьких детей возились во дворе и кричали что есть мочи. Малышки хотели на руки; особенно оглушительно орал двое младших. Элия заговорил со своей молодой теткой, говорил он необычно много. Его арабская речь звучала даже не без горячности, что вообще ему не было свойственно, но может, дело было в самом языке.

Тетушка мне понравилась. Это была пышнотелая, молодая женщина, которая смотрела на меня удивленно и безо всякого подобострастия. На первый взгляд она напоминала восточных женщин, каких рисовал Делакруа *. У нее были такие же удлиненные и в то же время крупные черты лица, такой же разрез глаз, такой же прямой и немного длинноватый нос. В маленьком дворе я стоял совсем рядом с ней, и наши взгляды сами собой встретились. Я так смутился, что опустил глаза и тогда увидел ее крепкие лодыжки, они были столь же привлекательные, как и лицо. Приятно было бы посидеть с ней рядом. Она молчала, а Элия что-то все ей говорил, и дети кричали все громче и громче. Казалось, сейчас их мать была ближе ко мне, чем к ним. Конечно, она что-то чувствует, подумал я, это было мне неприятно. Скучная мебель была выставлена во двор, комнаты, которые удалось увидеть, были пусты; негде было даже присесть. Стены были свежевыкрашены, как будто сюда только что въехали. От молодой женщины пахло чистотой, как от этих стен. Я попробовал представить ее мужа и позавидовал ему. Я поклонился, подал руку ей и ее матери и ушел.

Элия вышел со мной. Когда мы оказались на улочке, он сказал:

— Она сожалеет, что вы пришли во время ремонта.

Я, не удержавшись, сказал:

— Ваша тетушка красивая женщина.

Мне хотелось это сказать; может быть, вопреки всякому здравому смыслу, я надеялся, что он мне ответит: «Она приглашает вас зайти еще». Но он замолчал.

Он настолько не обратил внимания на мою внезапно вспыхнувшую симпатию, что предложил теперь повести меня к своему дяде. Я поддался, немного пристыженный тем, что выдал себя; возможно, в моих действиях было что-то непозволительное. Безобразный или скучный дядя уравновесил бы прекрасную тетюшку.

По дороге он стал объяснять мне свои сложные семейные отношения. Впрочем они были скорей обильны, нежели сложны; члены этого семейства имелись в самых разных городах Марокко. Я перевел разговор на его невестку, которую видел накануне, и поинтересовался, кто ее отец в Магадане. «C'est un pauvre», — сказал он, — «бедняк». Звали его, как я мог вспомнить, Самуэль. Он ничего не зарабатывал. Вместо него работала его жена, она одна содержала семью. Много ли в Марракеше бедных евреев? «250, — сказал он, — община их кормит». Бедняками для него были те, которые совсем уж нищенствовали; себя от этого сорта он явно отделял.

Дядя, к которому мы теперь шли, имел маленькую лавку за чертой Меллаха, там он торговал шелковыми тканями. Это оказался худой маленький человек, бледный, печальный и немногословный. Людей в его лавке не было, никто к ней даже близко не подошел, пока я здесь стоял. Казалось, будто все прохожие обходят ее стороной. На мои вопросы он отвечал по-французски, язык его был правильный, но несколько односложный. Дела шли очень плохо. Никто ничего не покупал. Денег не было. Иностранцы не приходили, напуганные покушениями. Он был тихий человек, покушения были для него делами слишком громкими. В его сетованиях не было ни остроты, ни ожесточения. Он относился к числу тех людей, которые всегда помнят, что их могут услышать чужие уши, и так приглушал голос, что я его почти не понимал.

Мы ушли от него с тем же, с чем пришли. Меня подмывало спросить Элию, как этот дядя вел себя на свадьбе. В конце концов, всего два дня назад семья собиралась на большое торжество. Но я подавил в себе это желание немного позлословить, которого он все равно не понял бы, и сказал, что мне уже пора домой. Он проводил меня до гостиницы. По дороге он показал мне еще часовой магазин, где работал его брат. Я заглянул туда с улицы и увидел старшего брата серьезно склонившимся над столом, он рассматривал через лупу детали каких-то часов. Я не захотел ему мешать и, незамеченный, прошел дальше.

Перед гостиницей я остановился, чтобы попрощаться с Элией.

Щедрость, с какой он продемонстрировал мне своих родственников, прибавила ему смелости, и он снова заговорил о письме.

— Я принесу вам фамилию коменданта, сказал он, — завтра.

— Да, да, — сказал я и поскорей вошел в гостиницу, уже предвкушая завтрашний день.

Он появлялся после этого ежедневно. Если меня не оказывалось на месте, он обходил квартал и возвращался снова. Если меня все еще не было, он становился на углу против входа в отель и терпеливо ждал. Иногда, набравшись смелости, он присаживался в гостиничном холле. Но никогда он не сидел там дольше нескольких минут. Он боялся арабского персонала гостиницы, они обращались с ним пренебрежительно, вероятно узнав в нем еврея.

Он принес фамилию коменданта. Но заодно прихватил и все документы, какие только накопил за свою жизнь. И приносил их не один раз. Каждый день прибавлялись еще один-два новых, про которые он успевал тем временем вспомнить. Он, кажется, был убежден, что дело только за моим желанием написать нужную записку коменданту Бен-Герира, а уж в действии ее, если она будет написана, он не сомневался ничуть. Против бумаги было нельзя устоять, если под ней стояла иностранная подпись. Он приносил мне документы о каждой службе, на которой когда-либо состоял; действительно он какое-то время работал в качестве «plongeur» у американцев. Он принес мне документы своего младшего брата Симона. Не было ни разу, чтобы он, придя, не вытащил из кармана и не положил передо мной какой-нибудь бумаги. Обычно он некоторое время выжидал, какое воздействие произведет чтение, а затем предлагал очередную поправку в текст письма, которое я должен был написать коменданту.

Между тем я подробно обсудил все это дело с моим американским другом. Он выразил готовность рекомендовать Элию Дахана своим землякам, однако не надеялся, что молодому человеку это что-нибудь даст. Ни с комендантом, ни с кем-либо другим, от кого зависело бы предоставление места, он не был знаком. Но мы оба не хотели лишать Элию надежды, и письмо было написано.

Я испытал облегчение, когда при следующей встрече смог сообщить ему эту новость и для подтверждения достал из кармана бумагу.

— Прочтите! — сказал он недоверчиво и немного резко.

Я прочел английский текст от начала до конца и, хоть знал, что он ни слова в нем не понимает, читал как можно медленней.

— Переведите! — сказал он, не шевельнув и бровью.

Я перевел, придавая звучанию французских слов выражение

убедительное и торжественное. Я вручил ему письмо. Он что-то поискал глазами, затем проверил подпись. Чернила были не очень темные, и он покачал головой.

— Комендант это не прочтет, — сказал он и вернул мне письмо. А потом без малейшего смущения добавил: — Напишите мне три письма. Если комендант не ответит, я пошлю второе в другое место.

— А третье вам зачем? — спросил я, чтобы не показать, насколько ошеломлен его наглостью.

— Для себя, — сказал он гордо.

Я понял, что он хотел присоединить его к своей коллекции документов, причем не приходилось сомневаться, что это третье письмо было для него самым важным.

— Напишите *ваш* адрес, — добавил он. Название отеля нигде не было обозначено — вот чего он искал.

— Но какой в этом смысл, — сказал я. — Мы скоро уезжаем. Если вы ждете ответа, на письме нужно указать ваш адрес.

— Напишите ваш адрес, — ответил он невозмутимо; мой довод не произвел на него ни малейшего впечатления.

— Можно, конечно, и мой, — сказал я. — Но ваш адрес тоже надо указать, иначе все не имеет смысла.

— Нет, — сказал он, — напишите адрес отеля.

— Ну а если вам действительно захотят предоставить место? Как вас тогда найдут? На следующей неделе мы уезжаем, а так быстро ответа не будет.

— Напишите название отеля!

— Я скажу своему другу. Возможно, его и не рассердит, что придется писать письмо еще раз.

Надо было все-таки наказать его за упрямство.

— Три письма, — был его ответ. — Напишите адрес отеля на всех трех письмах.

Я раздраженно с ним распрощался и подумал, как хорошо было бы его больше не видеть.

На следующий день он явился ко мне с особенно торжественным выражением на лице и спросил:

— Не хотите ли познакомиться с моим отцом?

— Где он? — спросил я.

— В лавке. Он там с моим дядей. Это в двух минутах отсюда.

Я согласился, и мы пошли. Лавка располагалась на современной улице, которая вела от гостиницы к Баб-Агенау. Я часто хаживал по этой дороге, несколько раз в день, и иногда заглядывал в лавки по левой и по правой стороне. Среди владельцев этих лавок было много евреев, их лица были мне уже знакомы. Возможно, один из них был его отец, и я мысленно их перебрал. Который из них это мог быть?

Но, оказывается, я недооценил количество и разнообразие здешних лавок, потому что едва мы свернули с улицы, как я удивился, что вообще не замечал прежде этот странный магазин. Он весь был заполнен разнообразным сахаром в виде сахарных голов или в мешках. На всех полках вокруг, внизу и вверху не было ничего, кроме сахара. Никогда еще не видывал я магазина, где не продавалось бы ничего, кроме сахара, и бог знает почему мне показалось это весьма забавным. Отца на месте не оказалось, но был дядя, и с ним я познакомился. Это был неприятный тщедушный человек с лицом, перекошенным какой-то усмешкой, такому я не доверился бы ни на грош. Одет он был по-европейски, но его костюм имел грязный вид, и было ясно, что эта грязь представляет собой необычную смесь из уличной пыли и сахара.

Отец отлучился недалеко, за ним послали. Между тем мне, по здешнему обычаю, подали мятный чай. Но из-за царившей здесь приторности сама мысль о питье вызывала у меня легкую тошноту. Элия объяснил по-арабски, что я из Лондона. Господин с европейской шляпой на голове, которого я принял за покупателя, приблизился ко мне на два шага и сказал по-английски: «Я британский». Он был еврей из Гибралтара и говорил по-английски не так уж плохо. Он осведомился о моих занятиях, и я, не зная что еще сказать, повторил старую историю про кино.

Мы успели немного поговорить, и я отведал чаю, когда пришел отец. Это был видный мужчина с красивой белой бородой. Он носил шапочку и одежду марокканских евреев. У него была большая круглая голова с широким лбом, но особенно привлекали мое внимание его смеющиеся глаза. Элия стал возле него и сказал с торжественным жестом:

— Je vous présente mon père! ¹

Он еще никогда не говорил так серьезно и убедительно. «Рёге» звучало в его устах прямо-таки возвышенно, я и не думал, что столь глупый человек способен на такую возвышенность. «Рёге» звучало даже значительней, чем «американец», а о комманданте, к моему удовольствию, и говорить было нечего.

Я потряс руку мужчины и заглянул в его смеющиеся глаза. Он спросил у сына по-арабски, откуда я и как меня зовут. Поскольку он не понимал ни слова по-французски, сын стал между нами обоими и, против обыкновения, довольно старательно начал переводить. Он объяснил, откуда я приехал и что я еврей, он назвал мое имя. Произнесенное его равнодушным невнятным голосом, оно прозвучало невыразительно.

— Э-ли-ас Ка-нет-ти? — повторил отец вопросительно и как

¹ Познакомьтесь с моим отцом! (франц.)

бы взвешивая. Он еще раз-другой произнес имя, отчетливо разделяя слоги. В его устах оно обрело значительность и красоту. При этом он смотрел не на меня, а перед собой, как будто имя было существенней, чем я, и как будто ему было важно его узнать. Я вслушивался удивленно и озадаченно. В его напевном произношении мое имя словно оказывалось принадлежащим к какому-то особому языку, которого я даже не знал. Он великодушно взвесил его четыре или пять раз; показалось, будто слышится звон гирь. Мне не о чем было тревожиться, он не был судья. Я знал, что он только выявит смысл и тяжесть моего имени, и, когда это произошло, он посмотрел мне в глаза и засмеялся.

Он стоял, точно хотел сказать, что имя хорошее, но не было языка, на котором он мог бы мне это сказать. Я прочел это на его лице и ощутил неудержимую любовь к нему. Невозможно было себе представить, что этот человек окажется таким. Его тупой сын, его перекошенный брат — все они были из другого мира, и лишь часовщик унаследовал что-то от его стати, но его здесь не было, среди всего этого сахара ни для кого уже не оставалось места. Элия ждал, что я скажу, чтобы перевести; но я ничего не мог вымолвить. Я остался безмолвен — из благоговения ли, для того ли, чтобы не спугнуть дивных отзвуков напевного имени. Так мы стояли друг против друга несколько долгих мгновений. Если бы только он понял, почему я не могу ничего сказать, думал я, если бы мои глаза могли так смеяться, как его. Невозможно было вновь довериться этому переводу, *никакой* перевод не показался бы мне сейчас достойным его.

Он терпеливо ждал, а я упорно молчал. Наконец что-то вроде тихого неудовольствия пробежало по его челу, он сказал своему сыну по-арабски фразу, которую тот перевел не сразу.

— Мой отец просит его извинить, ему нужно вернуться.

Я кивнул, и он протянул мне руку. Он улыбнулся, давая понять своим видом, что вынужден заняться делами, которые не доставляют ему удовольствия; наверно, это были торговые дела. Затем он повернулся и покинул лавку.

Спустя несколько мгновений и мы с Элией вышли на улицу. Я сказал ему, как мне понравился его отец.

— Он большой ученый, — ответил тот почтительно и поднял пальцы левой руки вверх, где они выразительно застыли. — Он *читает* все ночи напролет.

С этого дня Элия мог считать себя победителем. Я усердно выполнял все его докучливые мелкие просьбы, потому что он был сыном этого замечательного человека. Мне было даже немного жаль, что он так мало просит, ибо теперь не было ничего, что я бы для него не сделал. Он получил *три* английских письма, где до небес превозносились его усердие, его надежность и честность, даже необходимость в работе. Его младший брат Симон,

которого я вовсе не знал, изображался не менее дельным в другой области. Адреса обоих братьев в Меллахе не указывались.

Вверху письма красовалось название нашего отеля. Все три мой американский друг подписал черными и, надо полагать, вечными чернилами. Не зная, что еще сделать, он добавил свой домашний адрес в Штатах и номер своего паспорта. Когда я объяснял Элии эту часть письма, он едва сам себе верил от счастья.

Он передал мне приглашение от своего отца на пурим: я мог бы встретить праздник у них дома, в кругу семьи. Я с благодарностью отказался. Я представил себе, как был бы разочарован его отец моим невежеством по части старинных обычаев. Я почти все делал бы неправильно, а молитвы произносил бы как человек, который никогда не молится. Мне было бы стыдно перед этим старым человеком, которого я полюбил, и я решил избавить его от этого огорчения. Я отклонил приглашение, сославшись на работу и зная, что никогда больше его не увижу. Мне было достаточно, что я видел его однажды.

Рассказчики и писцы

Больше всего народа собирают рассказчики. Люди толпятся вокруг них особенно плотно и особенно стойко. Их выступления длятся долго, слушатели, образуя внутреннее кольцо, садятся на землю и не спешат расходиться. Во внешнем кольце стоят и тоже не шевельнутся, все очарованно следят за словами и жестами рассказчика. Иногда рассказчиков двое, они выступают по очереди. Их слова разносятся далеко и звучат в воздухе дольше, чем слова обычных людей. Я ничего в них не понимал и все-таки словно прикованный все время старался держаться на расстоянии слышимости. Произносимые веско и страстно, эти слова были лишены для меня какого-нибудь значения; для произносившего же их они были важны, он ими гордился. Он подчинял их ритму, и этот ритм, казалось мне, у каждого был свой. Если рассказчик запинаясь, то дальше продолжал говорить с особенной силой и подъемом. Я мог ощутить, как торжественно звучали одни слова и какое коварство крылось в других. Лстивый тон задевал меня так, словно обращались ко мне; я боялся какой-то угрозы. Все было подчинено воле рассказчика, самые сильные слова летели не дальше, чем ему было нужно. Воздух бурлил над головами слушателей, и тот, кто понимал так мало, как я, представлял, что испытывают они.

Ради своих слов и рассказчики были наряжены по-особенному. Их одежда всегда отличалась от одежды слушателей. Они предпочитали ткани пороскошнее; некоторые выходили

ли в голубом или коричневом бархате. Они производили впечатление важных лиц, причем из сказки. Редко они удостаивали взглядом людей, их окружавших. Они видели своих героев, своих персонажей. Если же их взгляд падал на кого-то из присутствующих, этот обычный человек поневоле казался себе столь же невзрачным, как остальные. Чужеземцы же для них вовсе не существовали, они не имели отношения к царству их слов. Сначала мне даже не верилось, что я их так мало интересую, это было слишком необычно, чтобы быть правдой. Я задерживался здесь как нигде долго, хотя меня уже тянуло к другим звукам этой богатой звуками площади, но на меня не обращали внимания даже тогда, когда я уже начал чувствовать себя в этом большом кругу почти что своим. Конечно, рассказчик меня замечал, но я оставался для него чужим в его волшебном кругу, потому что не понимал его.

Мне часто давали это почувствовать, и я еще надеюсь когда-нибудь воздать должное этим бродячим рассказчикам. Но в то же время я был рад, что не понимал их. Они оставались для меня островками древней и нетронутой жизни. Их язык был столь же важен для них, как мой для меня. Слова были их пищей, и никакой соблазн не заставил бы их обменять ее на другую, получше. Я гордился властью, какой обладал их рассказ над сотоварищами по языку. Они представлялись мне старшими и лучшими братьями. В счастливые мгновения я говорил себе: и я могу собрать вокруг себя людей для рассказа, и меня они слушают. Но вместо того, чтобы странствовать с места на место, никогда не зная, кого встретишь, чей слух тебе откроется, вместо того, чтобы жить чистым доверием к собственному рассказу, я препоручил себя бумаге. И вот я живу под защитой столов и дверей, трусливый мечтатель, а они — в сутолоке базара, перед сотнями незнакомых, каждодневно меняющихся лиц, не отягощенные никаким холодным, никаким лишним знанием, без книг, лишённые честолюбия, не думая о престиже. Среди собратьев по перу, людей, живущих литературой, я редко чувствовал себя хорошо. Я презирал их, ибо презирал что-то в самом себе, и, пожалуй, это что-то было — бумага. Здесь я ощутил себя вдруг среди поэтов, которыми мог восхищаться, потому что ни единого слова у них нельзя было *прочсть*.

Но тут же совсем рядом, на той же самой площади, мне пришлось убедиться, как сильно я погрешил и против бумаги. В нескольких шагах от рассказчиков расположились писцы. Возле них было совсем тихо, это была самая тихая часть Джемэль-Фна. Писцы никак не рекламировали свое умение. Они сидели себе спокойно, маленькие, тщедушные, перед ними были их письменные принадлежности, и ничто не говорило о том, что они ждут клиентов. Взглянув на человека, они рассматривали

его без особого любопытства и вскоре отводили взгляд. Их скамьи располагались немного поодаль друг от друга, так, чтобы не было слышно, что говорится возле каждого. Самые скромные, а может, более старомодные сидели прямо на земле. Здесь они обдумывали свои дела или писали — сами по себе в своем скрытном мире, окруженные буйным шумом площади и все-таки обособленные от него. Похоже было, что с ними советуются о тайных невзгодах, и, поскольку происходило это у всех на виду, они все привыкли немного таиться. Они сами здесь были почти не в счет, значение имело лишь одно: тихое достоинство бумаги.

К ним подходили отдельные мужчины, подходили пары. Однажды я увидел сидевших на скамье перед писцом двух молодых женщин в покрывалах, их губы едва заметно шевелились, а он кивал и почти так же незаметно писал. В другой раз я увидел целую семью, весьма импозантного и внушительного вида. Она состояла из четырех человек, и все расселись вокруг писца на двух маленьких скамьях в правом углу. Отец был старый, крепкий, на редкость красивого сложения бербер, на лице которого можно было прочесть все признаки опыта и мудрости. Я попытался представить себе его положение и не мог найти ни одного, которого он казался бы недостоин. А вот здесь он был беспомощен, рядом со своей женой, которая столь же впечатляла своей осанкой, ибо покрывало оставляло открытым на всем лице лишь необычайно большие, очень темные глаза, а на скамейке рядом были две их юные дочери, тоже в покрывалах. Они сидели прямо и очень торжественно.

Писец, который был гораздо мельче, держался с ними почтительно. Его вид выражал изысканную внимательность, она была так же заметна, как преуспевание и красота семейства. Я видел их с небольшого отдаления, не слыша ни звука, не замечая ни движения. Писец еще не приступил, собственно, к своей деятельности. Он уже выслушал, о чем идет речь, и теперь обдумывал, как бы это лучше изложить словами письменного языка. Группа выглядела сплоченной, как будто все участники встречи давно знали друг друга и бог весть сколько уже сидели в этом положении.

Я даже не задавался вопросом, почему они пришли все, настолько они составляли одно целое, и лишь время спустя, уже покинув площадь, вдруг подумал об этом. Что же в самом деле могло заставить прийти к писцу все семейство?

Клевета

Больше всего дети-попрошайки любили собираться поблизости от ресторана «Кугубья». Здесь мы все обедали и ужинали,

и они, стало быть, знали, что нам от них не уйти. Для ресторана, дорожившего своей репутацией, дети, конечно, не были желанным украшением. Когда они подходили к дверям слишком близко, владелец их прогонял. Лучше им было дожидаться нас на углу напротив, и, когда мы приходили есть, обычно маленькими группами по три-четыре человека, они тотчас нас окружали.

Некоторым, жившим в городе уже несколько месяцев, подавать надоело, и они старались от детей отмахнуться. Другие подавали, но не без колебания, потому что стыдились этой «слабости» перед знакомыми. В конце концов, надо было научиться здесь жить, и местные французы показывали в этом смысле пример, а хорош он был или плох — это как для кого: они принципиально никогда не лезли ради попрошаек в карман и немного даже гордились этой своей толстокожестью. Я был в городе еще человеком свежим и, так сказать, молодым. Мне было все равно, что про меня думали. Пусть меня считали за дурака, но я любил детей.

Когда они однажды меня пропустили, я почувствовал себя несчастным; я сам старался найти их, чтобы не пройти незамеченным. Мне нравилась их оживленная жестикуляция, их маленькие пальцы, которыми они показывали на рот, жалостливо при этом скуля «manger! manger!», нравилось, какие они строят неописуемо печальные рожи, как будто в самом деле вот-вот упадут от слабости и голода. Мне нравилась их буйная радость, когда они что-то получали, и с каким смешливым азартом они разбегались, ухватив жалкую добычу, нравилась невероятная переменчивость их лиц, когда из умирающих они вдруг становились счастливыми. Мне нравились их маленькие уловки, когда они протягивали мне младенцев, чьи крохотные и почти нечувствительные ручонки тянулись ко мне, а эти просили: «Для них тоже, для них тоже, manger! manger!» — чтобы удвоить подавание. Детей было немного, я старался быть справедливым, но, конечно, у меня были среди них свои любимчики, те, чьи лица отличались красотой и живостью; я просто не мог на них насмотреться. Они следовали за мной до дверей ресторана, чувствуя себя уверенно под моей защитой. Они знали, что я хорошо к ним отношусь, и им хотелось подойти поближе к этому сказочному, запретному для них месту, где так много ели.

Владелец ресторана, француз с круглой лысой головой и с глазами, напоминавшими липучку для мух, у которого для завсегдатаев имелся, однако, теплый, добрый взгляд, терпеть не мог, когда дети-попрошайки приближались к его ресторану. Слишком неприглядны были их лохмотья. Пусть приличные гости в свое удовольствие заказывают себе дорогие кушанья, не думая при этом о голоде и вшах. Когда я, входя, открывал дверь и он, случайно оказавшись поблизости, видел снаружи кучу де-

тей, он неодобрительно качал головой. Но поскольку я принадлежал к группе из пятнадцати англичан, которые по два раза в день обязательно у него ели, он не решался мне что-либо сказать и искал способа уладить все иронично и любезно.

Однажды в полдень, когда было очень душно, дверь ресторана оставили открытой, чтобы впустить свежего воздуха. Мы с двумя моими приятелями уже выдержали натиск детей и уселись за свободным столиком поближе к открытой двери. Дети остались перед ней довольно близко, они стояли так, чтобы видеть нас. Им хотелось продолжить дружеские отношения, а заодно и посмотреть, что мы будем есть. Они делали нам всякие знаки; особенно забавляли их наши усы. Одна девочка, лет, наверное, десяти, самая из них красивая, давно заметившая, что она мне нравится, все время показывала на крохотное место между своей верхней губой и носом, захватывала там двумя пальцами воображаемые усы, щипала их и тянула. При этом она от души смеялась, и другие дети смеялись с ней вместе.

Хозяин подошел к нашему столу, чтобы принять у нас заказ, и увидел смеющихся детей. С сияющей миной он сказал мне:

— Вот, уже играют в маленьких кокоток!

Мне было неприятно это злословие, да, наверное, и не хотелось верить, потому что мне в самом деле нравились мои попрышки, и я безобидно заметил:

— Ну, не в этом же возрасте!

— Представьте себе, — сказал он, — за 50 франков вы любую из них можете иметь. Любая хоть сейчас пойдет с вами на часок.

Я очень возмутился и резко ему ответил:

— Не может этого быть, такого не бывает.

— Да вы не знаете, что здесь творится, — сказал он. — Вам стоило бы немного понаблюдать ночную жизнь Марракеша. Я здесь живу уже давно. Когда я только приехал, это было во время войны, я был тогда еще холостой — он бросил беглый, однако довольный взгляд на свою немолодую жену, которая, как всегда, сидела за кассой, — мы были тут с несколькими друзьями, и чего только не насмотрелись. Однажды нас привели в дом, и едва мы уселись, как нас окружила сразу куча голых маленьких девочек. Они садились у наших ног, прижимались и так, и этак — они были не старше, чем вон те за дверью, некоторые даже помладше.

Я недоверчиво покачал головой.

— Да что угодно можно было иметь. Мы здорово поразвлеклись тогда, позабавились в свое удовольствие. Было у нас одно замечательное приключение, это я должен вам рассказать. Нас было трое, три друга. Один пошел в комнату к Фатьме (так французы презрительно называли местных женщин), но эта была уже не ребенок, а мы двое заглядывали туда через дырку.

Сперва он тихо с ней договаривался, потом они сошлись в пенс, и вот он дал ей деньги. Она спрятала их в ночной столик, который стоял у кровати. Потом потушила свет, и оба легли. Мы все это наблюдали. Как только свет потух, один из нас прокрался в комнату, тихо-тихо пробрался к ночному столику. Там осторожно залез в ящик, и пока эти двое занимались своим делом, вынул деньги. Потом он быстро выбрался обратно, и мы оба убежали. А потом и наш друг пришел. Он побывал у Фатмы бесplatно. Представляете, сколько было смеха? И это была только одна из наших проделок.

Мы могли себе это представить, потому что он хохотал всю глотку, он трясся от смеха, и рот его был широко раскрыт. Мы даже не знали, что у него такой большой рот, мы его еще таким не видели. Обычно он ходил по ресторану с некоторой важностью, сам принимал заказы у избранных гостей, достойно и вполне сдержанно, как будто ему было совершенно все равно, что заказывают. Если он давал советы, то не назойливо, и, казалось, исключительно лишь ради этого гостя. Сейчас он потерял над собой контроль, так он восхищался своей историей. Наверно, это было славное для него времечко. Лишь однажды он как бы вспомнил обычную свою повадку. Посредине рассказа какой-то маленький официант приблизился к нашему столу. Хозяин барственным жестом отослал его с каким-то делом, чтобы тот не слышал, о чем он нам повествует.

Но мы превратились в холодных англосаксов. Оба моих друга, один из которых недавно стал англичанином, другой был им с рождения, и я, живший среди них пятнадцать лет, испытывали общее чувство презрительного отвращения. К тому же и нас было как раз трое, все у нас было слишком в порядке и, может, мы чувствовали какую-то вину за тех троих, что общими силами украли у бедной туземки ее заработок. Он рассказывал это, сияя от гордости, для него это была лишь шутка, он все еще был полон воодушевления, пока мы с кислыми минами улыбались и смущенно кивали.

Дверь все время оставалась открыта, дети стояли перед ней в терпеливом ожидании. Они чувствовали, что, пока длится рассказ, их не прогонят. Я подумал, что они этот рассказ понять не смогут. Человек, с таким презрением заговоривший о них, вдруг сам оказался достойным презрения. Правда ли было то, что он говорил о них, или клевета, чем бы ни занимались эти маленькие попрошайки, он был намного их ниже, и мне хотелось, чтобы нашлось все же такое наказание, когда ему пришлось бы ждать заступничества от *них*.

Масса и власть



МАССА

Боязнь прикосновения и ее метаморфозы

Ничего так не боится человек, как непонятого прикосновения. Когда случайно дотрагиваешься до чего-то, хочется *увидеть*, хочется узнать или по крайней мере догадаться, что это. Человек всегда старается избегать чужеродного прикосновения. Внезапное касание ночью или вообще в темноте может сделать этот страх паническим. Даже одежда не обеспечивает достаточной безопасности: ее так легко разорвать, так легко добраться до твоей голы, гладкой, беззащитной плоти.

Эта боязнь прикосновения побуждает людей всячески отгораживаться от окружающих. Они запираются в домах, куда никто не имеет права ступить, и лишь там чувствуют себя в относительной безопасности. Взломщика боятся не только потому, что он может ограбить, — страшно, что кто-то внезапно, неожиданно схватит тебя из темноты. Рука с огромными когтями — обычный символ этого страха. Отсюда во многом двойственный смысл немецкого слова *angreifen*. Оно может означать и безобидное прикосновение, и опасное нападение, причем в первом значении всегда присутствует оттенок второго. Основное же значение существительного *Angriff* уже исключительно отрицательное: нападение, атака.

Нежелание с кем-либо соприкоснуться сказывается и на нашем поведении среди других. Характер наших движений на улице, в толпе, в ресторанах, в поездах и автобусах во многом определяется этим страхом. Даже когда мы оказываемся совсем рядом с другими людьми, ясно их видим и прекрасно знаем, кто это, мы по возможности избегаем соприкосновений. Если же, напротив, мы рады коснуться кого-то, значит, этот человек оказался нам просто приятен, и сближение происходит по нашей инициативе.

Быстрота, с какой мы извиняемся, нечаянно кого-то задев,

напряженность, с какой обычно ждешь извинения, резкая и подчас не только словесная реакция, если его не последует, неприязнь и враждебность, которую испытываешь к «злоумышленнику», даже когда не думаешь, что у него и впрямь были дурные намерения, — весь этот сложный клубок чувств вокруг чужеродного прикосновения, вся эта крайняя раздражительность, возбудимость свидетельствуют о том, что здесь оказывается задето что-то затаенное в самой глубине души, что-то вечно недремлющее и коварное, что-то никогда не покидающее человека, однажды установившего границы своей личности. Такого рода страх может лишить и сна, во время которого ты еще беззащитней.

Освободить человека от этого страха перед прикосновением способна лишь *масса*. Только в ней страх переходит в свою противоположность. Для этого нужна *плотная* масса, когда тела прижаты друг к другу, плотная и по своему внутреннему состоянию, то есть когда даже не обращаешь внимания, что тебя кто-то «теснит». Стоит однажды ощутить себя частицей массы, как перестаешь бояться ее прикосновения. Здесь в идеальном случае все равны. Теряют значение все различия, в том числе и различие пола. Здесь, сдавливая другого, сдавливаешь сам себя, чувствуя его, чувствуешь себя самого. Все вдруг начинает происходить как бы *внутри одного тела*. Видимо, это одна из причин, почему массе присуще стремление спланиваться тесней: в основе его — желание как можно в большей степени освободить каждого в отдельности от страха прикосновения. Чем плотней люди прижаты друг к другу, тем сильнее в них чувство, что они не боятся друг друга. Этот *переход боязни прикосновения в другое качество* — свойство массы. Облегчение, которое в ней начинаешь испытывать и о котором еще пойдет речь в другой связи, становится наиболее ощутимо при самой большой ее плотности.

Открытая и закрытая масса

Масса, вдруг возникающая там, где только что ничего не было, — явление столь же загадочное, сколь и универсальное. Стояли, допустим, вместе несколько человек, пять, десять, от силы двенадцать, не больше. Не было никаких объявлений, никто ничего не ждал. И вдруг все уже черно от людей. Они стекаются сюда отовсюду, как будто движение по улицам стало односторонним. Многие понятия не имеют, что случилось, спроси их об этом — они не смогут ответить; и все-таки они спешат присоединиться к толпе. Их движению присуща решительность, свидетельствующая отнюдь не о простом любопытстве. Можно сказать, что движение одного оказывается заразительным для другого, но дело не только в этом: у них есть цель. Она появилась пре-

жде чем они это осознали; цель — самое черное место, место, где собралось больше всего людей.

Об этой ярко выраженной форме спонтанной массы следует кое-что сказать. В месте своего возникновения, то есть собственно в своем ядре, она не так уж спонтанна, как кажется. Но в остальном, если не считать пяти, десяти или двенадцати человек, с которых она началась, масса действительно характеризуется этим свойством. Возникнув однажды, она стремится *возрастать*. Стремление к росту — первое и главнейшее свойство массы. Она готова захватить каждого, кого только можно. Всякий, имеющий облик человеческого существа, может к ней примкнуть. Естественная масса есть *открытая* масса: для ее роста вообще не существует никаких границ. Она не признает домов, дверей и замков; ей подозрительны те, кто от нее запирается. Слово «открытая» здесь следует понимать во всех смыслах, она такова всюду и во всех направлениях. Открытая масса существует, покуда она растет. Как только рост прекращается, начинается ее распад.

Ибо распадается масса так же внезапно, как возникает. В этой своей спонтанной форме она образование чувствительное. Открытость, позволяющая ей расти, одновременно опасна для нее. Предчувствие грозящего распада всегда присутствует в ней. Она пытается избежать его, стараясь быстрее расти. Она вбирает в себя всех, кого только можно, но, когда никого больше не остается, распад становится неизбежным.

Противоположностью открытой массе, которая может расти до бесконечности, которая есть повсюду и именно потому претендует на универсальность, является *закрытая* масса.

Эта отказывается от роста, для нее самое главное — устойчивость. Ее примечательная черта — наличие границы. Закрытая масса держится стойко. Она создает для себя место, где обособляется; есть как бы предназначенное ей пространство, которое она должна заполнить. Его можно сравнить с сосудом, куда наливается жидкость: известно, сколько жидкости войдет в этот сосуд. Доступ на ее территорию ограничен, туда не попадешь так просто. Границы уважаются. Эти границы могут быть каменными, в виде крепких стен. Может быть установлен особый акт приема, может существовать определенный взнос для входа. Когда пространство оказывается заполнено достаточно плотно, туда никто больше не допускается. Если какая-то часть желающих осталась за его пределами, в расчет всегда берется лишь плотная масса внутри закрытого пространства, остальные не считаются принадлежащими к ней всерьез.

Граница препятствует нерегулируемому приросту, но она затрудняет и замедляет также возможность распада. Теряя в росте, масса соответственно приобретает в устойчивости. Она за-

щищена от внешних воздействий, которые могут быть для нее враждебны и опасны. Но особенно много значит для нее возможность *повторения*. Перспектива собираться вновь и вновь всякий раз позволяет массе избежать распада. Ее ждет какое-то здание, оно существует специально ради нее, и, покуда оно существует, масса будет собираться здесь и впредь. Это пространство принадлежит ей даже во время отлива, и в своей пустоте оно предвещает время прилива.

Разрядка

Важнейший процесс, происходящий внутри массы, — *разрядка*. До нее массы в собственном смысле слова еще не существует, по-настоящему ее создает разрядка. Это миг, когда все принадлежащие к ней отбрасывают различия и чувствуют себя равными.

Имеются в виду прежде всего обусловленные внешне должностные, социальные, имущественные различия. Каждый по отдельности человек обычно очень хорошо их чувствует. Они тяжело его гнетут, поневоле и неизбежно разъединяют людей. Человек, занимающий определенное, надежное место, чувствует себя вправе никого к себе близко не подпускать. Он стоит, выразительный, полный уважения к себе, словно ветряная мельница среди просторной равнины; до следующей мельницы далеко, между ними — пустое пространство. Вся известная ему жизнь основана на чувстве дистанции; дом, которым он владеет и в котором запирается, должность, которую он занимает, положение, к которому он стремится, — все служит тому, чтобы укрепить и увеличить расстояние между ним и другим. Свобода какого-либо более глубокого движения от человека к человеку ограничена. Все порывы, все ответные попытки иссякают, как в пустыне. Никому не дано приблизиться к другому, никому не дано сравниться с другим. Прочно утвердившиеся иерархии в любой области жизни не позволяют никому дотянуться до более высокого уровня или опуститься на более низкий, разве что чисто внешне. В разных обществах соотношения этих дистанций между людьми бывают различными. В некоторых решающую роль играет происхождение, в других род занятий или имущественное положение.

Здесь не место подробно характеризовать эти субординации. Важно отметить, что они существуют повсюду, повсюду осознаются и решающим образом определяют отношения между людьми. Удовольствие занимать в иерархии более высокое положение не компенсирует утраты в свободе движения. Застывший и мрачный, человек стоит на отдалении от других. На его пле-

чах тяжелый груз, и он не может сдвинуться с места. Он забывает, что сам взвалил эту тяжесть на себя, и мечтает от нее освободиться. Но как ему это сделать? Что бы он ни решил, как бы ни старался, он живет среди других, которые сведут все его усилия на нет. Пока они сами продолжают соблюдать дистанцию, ему не приблизиться к ним ни на шаг.

Освободиться от этого сознания дистанции можно лишь сообща. Именно это и происходит в массе. Разрядка позволяет отбросить все различия и почувствовать себя *равными*. В тесноте, когда между людьми уже нет расстояния, когда тело прижато к телу, каждый ощущает другого как самого себя. *Облегчение* от этого огромно. Ради этого счастливого мгновения, когда никто не чувствует себя *больше*, лучше другого, люди соединяются в массу.

Но миг разрядки, столь желанный и столь счастливый, таит в себе и свои опасности. Уязвима главная иллюзия, которую он порождает: ведь люди, вдруг ощутившие себя равными, не стали равными взаправду и навсегда. Они возвращаются каждый в свой дом, ложатся спать каждый в свою постель. Каждый сохраняет свое имущество. Никто не отказывается от своего имени. Никто не прогоняет своих родственников. Никто не убегает от своей семьи. Лишь когда дело доходит до действительно серьезных перемен, люди порывают старые связи и вступают в новые. *Такого* рода союзы, которые по своей природе могут охватить лишь ограниченное число участников и, чтобы обеспечить свою устойчивость, должны устанавливать жесткие правила, я называю кристаллами масс. О них еще будет сказано подробней.

Но сама масса распадается. Она чувствует, что распадется. Она боится распада. Она может сохраниться лишь в том случае, если процесс разрядки продолжится, если он вовлечет в себя людей, примкнувших к ней. Лишь *рост* массы дает возможность принадлежащим к ней не возвращаться к грузу своих частных тягот.

Жажда разрушения

О страсти массы к разрушению говорится часто, это первое, что в ней бросается в глаза, и нельзя отрицать, что эту страсть действительно можно наблюдать всюду, в самых разных странах и культурах. Все это констатируют и осуждают, но никто по-настоящему не объясняет.

Больше всего масса любит разрушать дома и предметы. Поскольку имеются в виду чаще всего предметы хрупкие, такие, как оконные стекла, зеркала, горшки, картины, посуда, принято считать, что именно хрупкость предметов побуждает массы их

разрушать. Несомненно, шум разрушения, звук разбиваемой посуды, звон оконных стекол немало добавляет к удовольствию от процесса: это мощные звуки новой жизни, крик новорожденного. То, что их легко вызвать, делает их еще более желанными, все кричит на разные голоса, и вещи рукоплещут, звеня. Особенно бывает нужен, очевидно, такого рода шум в самом начале, когда собралось еще не слишком много народа и событий еще мало или вовсе не произошло. Шум сулит приход подкрепления, на него надеются, в нем видят счастливое предвестие грядущих дел. Но неверно было бы полагать, что решающую роль здесь играет легкость разрушения. Набрасывались и на скульптуры из твердого камня и не успокаивались, покуда не уродовали их до неузнаваемости. Христиане отбивали головы и руки греческим богам. Реформаторы и революционеры порой низвергали изображения святых с таких высот, что это бывало небезопасно для жизни, а камень, который пытались разрушить, нередко оказывался таким твердым, что цели удавалось добиться лишь отчасти.

Разрушение произведений искусства, которые что-то изображают, есть разрушение иерархии, которую больше не признают. Атаке подвергаются установленные дистанции, для всех очевидные и общепризнанные. Их прочность соответствует их незыблемости, они существовали издавна, как полагают, испокон веков, стояли прямо и непоколебимо; и невозможно было приблизиться к ним с враждебными намерениями. Теперь они низвергнуты и разбиты на куски. В этом акте осуществилась *разрядка*.

Но она не всегда заходит так далеко. Обычное разрушение, о котором шла речь вначале, есть не что иное, как атака на всяческие *границы*. Окна и двери — принадлежность домов, они самая уязвимая их часть, ограничивающая внутреннее пространство от внешнего мира. Если разбить двери и окна, дом теряет свою индивидуальность. Кто угодно и когда угодно может туда войти, ничто и никто внутри не защищены. Но в этих домах обычно прячутся, как считают, люди, пытавшиеся обособиться от массы, ее враги. Теперь то, что их отделяло, разрушено. Между ними и массой нет ничего. Они могут выйти и присоединиться к ней. Можно их заставить сделать это.

Но и это еще не все. Каждый в отдельности человек испытывает чувство, что в массе он выходит за пределы своей личности. Он ощущает облегчение от того, что утратили силу все дистанции, заставлявшие его замыкаться в самом себе, отбрасывавшие его назад. Освободившись от этого груза, он чувствует себя свободным, а значит, может преступить собственные границы. То, что произошло с ним, должно произойти также с другими, он ждет подобного от них. Какой-нибудь глиняный горшок раздра-

жает его тем, что это, в сущности, тоже граница. В доме его раздражают закрытые двери. Ритуалы и церемонии, все, что способствует сохранению дистанции, он ощущает как угрозу, и это для него невыносимо. Повсюду массу пытаются расчлениить, вернуть в заранее навязанные пределы. Она ненавидит свои будущие тюрьмы, которые были для нее тюрьмами и прежде. Ничем не прикрытой массе все кажется Бастилией.

Самое впечатляющее из всех разрушительных средств — *огонь*. Он виден издали и привлекает других. Он разрушает необратимо. После огня ничто не вернется в прежнее состояние. Масса, разжигающая огонь, чувствует, что перед ней не устоит ничто. Пока он распространяется, ее сила растет. Он уничтожает все враждебное ей. Огонь, как еще будет показано, — самый мощный символ массы. Как и она, он после всех причиненных им разрушений должен утихнуть.

Прорыв

Открытая масса — это масса в собственном смысле слова, которая свободно отдается своему естественному стремлению к росту. Открытая масса не имеет ясного чувства или представления, *насколько* большей она могла бы стать. Она не привязана ни к какому заранее известному помещению, которое ей требовалось бы заполнить. Ее размер не определен; она склонна расти до бесконечности, а для этого ей нужно лишь одно: больше и больше людей. В этом голом состоянии масса особенно приметна. При этом она воспринимается как что-то необычное, а поскольку она рано или поздно распадается, ее трудно сполна оценить. Наверно, к ней и дальше не относились бы с достаточной серьезностью, если бы чудовищный прирост населения и быстрое разрастание городов, характерное для нашей современной эпохи, не способствовали все более частому ее возникновению.

Закрытые, массы прошлого, о которых еще будет идти речь, превратились в организации для посвященных. Своеобразное состояние, характерное для их участников, кажется чем-то естественным; ведь собирались всегда ради какой-то определенной Цели: религиозной, торжественной или военной, и состояние, казалось бы, определялось этой целью. Пришедший на проповедь наверняка пребывал в искреннем убеждении, что его интересует проповедь, и он бы удивился, а может быть, и возмутился, скажи ему кто-то, что больше самой проповеди ему приятно множество присутствующих. Смысл всех церемоний и правил, характерных для таких организаций, в сущности, *удержание* массы: лучше надежная церковь, полная верующих, чем весь ненадежный

мир. Равномерность посещения церкви, привычное и неизменное повторение определенных ритуалов обеспечивали массе своего рода массовые переживания, только введенные в какое-то русло, рамки. Исполнение этих обрядов в строго определенное время заменяет потребность в чем-то более суровом и сильном.

Возможно, таких учреждений было бы достаточно, оставаясь число людей примерно одинаковым. Но в города прибывает все больше жителей, рост народонаселения в последние сто лет происходит нарастающими темпами. Тем самым создавались и предпосылки для образования новых, более крупных масс, и ничто, в том числе самое опытное и умелое руководство, не способно было при таких условиях остановить этот процесс.

Выступления против традиционного церемониала, о которых рассказывает история религии, всегда были направлены против ограничения массы, которая в конечном счете хотела вновь ощутить свой рост. Вспомним Нагорную проповедь Нового завета: она звучала под открытыми небесами, ее могли слушать тысячи, и она была направлена — в этом нет никакого сомнения — против ограничительного церемониала официального храма. Вспомним стремление христианства во времена апостола Павла * вырваться из национальных, племенных границ еврейства и стать универсальной религией для всех людей. Вспомним о презрении буддизма к кастовой системе тогдашней Индии.

Событиями подобного рода богата и *внутренняя* история отдельных мировых религий. Храм, каста, церковь всегда оказываются слишком тесными. Крестовые походы порождают массы таких размеров, что их не могло бы вместить ни одно церковное здание тогдашнего мира. Поздней флагелланты устраивают свои действия на глазах у целых городов, причем они еще путешествуют из города в город. Проповедник Весли * еще в XVIII веке организует свое движение методистов, устраивая проповеди под открытым небом. Он прекрасно сознает, как важно привлечь к себе большие массы, и не раз отмечает в своем дневнике, сколько людей слушало его на этот раз. Прорыв из закрытых помещений, где принято собираться, всегда означает желание массы вернуть себе прежнюю способность к внезапному, быстрому и неограниченному росту.

Итак, *прорывом* я называю внезапный переход *закрытой* массы в *открытую*. Такое случается часто, однако не следует понимать этот процесс как чисто пространственный. Порой впечатление такое, как будто масса вытекает из помещения, где она была надежно укрыта, на площадь и на улицы города, где она, все в себя вбирая и всему открытая, получает полную свободу действий. Но важнее этого внешнего процесса соответствующий ему процесс внутренний: неудовлетворенность ограниченным

числом участников, внезапное желание привлечь к себе других, страстная решимость вобрать *всех*.

Со времен Французской революции такие прорывы приняли форму, которую можно назвать современной. Очевидно, потому, что масса в значительной мере отказалась от связи с традиционными религиями, нам стало с тех пор легче наблюдать ее, так сказать, в голое, биологическое виде, вне трансцендентных толкований и целей, которые она позволяла себе внушать прежде. История последних 150 лет отмечена быстрым возрастанием числа подобных прорывов; это относится даже к войнам, которые стали массовыми. Массе уже не достаточно благочестивых правил и обетов, ей хочется самой ощутить в себе великое чувство животной силы, способность к страстным переживаниям, а для этого всегда можно использовать любой повод, любое социальное требование.

Важно прежде всего констатировать, что масса никогда не испытывает насыщения. Пока существует человек, ею не охваченный, она проявляет аппетит. Сохранит ли она его, если действительно вберет в себя всех, никто не может сказать наверняка, но это весьма вероятно. В ее попытках *удержаться* есть что-то бессильное. Единственный перспективный путь тут — образование двойной массы, когда одна масса может сопоставлять себя с другой. Чем ближе обе по силе и интенсивности, тем дольше, меряясь друг с дружкой, смогут они продлить свое существование.

Чувство преследования

К наиболее бросающимся в глаза чертам жизни массы принадлежит нечто, что можно назвать чувством преследования. Имеется в виду особая возбудимость, гневная раздражительность по отношению к тем, кто раз и навсегда объявлен врагом. Эти люди могут вести себя как угодно, быть грубыми или предупредительными, участливыми или холодными, жесткими или мягкими — все воспринимается как проявление безусловно дурных намерений, недобрых замыслов против массы, заведомым стремлением откровенно или исподтишка ее разрушить.

Чтобы объяснить это чувство враждебности и преследования, нужно опять же исходить из того основного факта, что масса, однажды возникнув, желает как можно быстрее расти. Трудно переоценить силу и настойчивость, с какой она распространяется. Покуда она чувствует, что растет — например, в революционных процессах, которые зарождаются в маленьких, однако полных напряжения массах, — она воспринимает как помеху всякое противодействие своему росту. Ее можно рассеять или

разогнать с помощью полиции, однако это оказывает воздействие чисто временное — как будто рукой согнали рой мух. Но она может быть атакована и изнутри, если требования, которые привели к ее образованию, оказались удовлетворены. Тогда слабые от нее отпадают; другие, собравшиеся к ней примкнуть, поворачивают на полпути.

Нападение на массу *извне* может лишь ее укрепить. Физический разгон лишь сильнее сплачивает людей. Гораздо опасней для нее нападение *изнутри*. Забастовка, добившаяся каких-то выгод, начинает распадаться. Нападение изнутри апеллирует к индивидуальным прихотям. Масса воспринимает его как подкуп, как нечто «аморальное», поскольку оно подрывает чистоту и ясность первоначальных настроений. В каждом члене такой массы таится маленький предатель, который хочет есть, пить, любить, который желает покоя. Покуда это для него не так важно, покуда он не придает этому слишком большого значения, его никто не трогает. Но едва он заявит об этом вслух, его начинают ненавидеть и бояться. Становится ясно, что он поддался на вражескую приманку.

Масса всегда представляет собой нечто вроде осажденной крепости, но осажденной вдвойне: есть враг, стоящий перед ее стенами, и есть враг в собственном подвале. В ходе борьбы она привлекает все больше приверженцев. Перед всеми воротами собираются прибывающие друзья и бурно стучатся, чтобы их впустили. В благоприятные моменты эту просьбу удовлетворяют; иногда они перелезают и через стены. Город все больше и больше наполняется борцами; но каждый из них приносит с собой и маленького невидимого предателя, который поскорее ныряет в подвал. Осада состоит в попытках не допустить в город перебежчиков. Для врагов внешних стены важнее, чем для осажденных внутри. Это осаждающие все время их надстраивают и делают выше. Они пытаются подкупить перебежчиков и, если их нельзя удержать, заботятся о том, чтобы маленькие предатели, уходящие вместе с ними, прихватили с собой в город достаточный запас враждебности.

Чувство преследования, которому подвержена масса, есть не что иное, как чувство двойной угрозы. Кольцо внешних стен сжимается все сильнее и сильнее, подвал внутри становится все больше и больше. Что делает перед стенами враг, всем хорошо видно; но в подвалах все совершается тайно.

Впрочем, образы такого рода обычно раскрывают лишь часть истины. Прибывающие извне, желающие проникнуть в город — для массы не только новые приверженцы, подкрепление, опора, это и ее *питание*. Масса, переставшая расти, пребывает как бы в состоянии поста. Существуют средства, позволяющие выдержать такой пост; религии достигли по этой части немало

мастерства. Дальше еще будет показано, как мировым религиям удается сохранять массы своих приверженцев, даже если не происходит их большого и быстрого роста.

Укрощение масс в мировых религиях

Религии, претендующие на универсальность, добившиеся признания, очень скоро изменяют акцент в своей борьбе за души людей. Первоначально речь для них идет о том, чтобы охватить и привлечь к себе всех, кого только возможно. Они мечтают о массе универсальной; для них важна каждая отдельная душа, и каждую они желают заполучить. Но борьба, которую им приходится вести, постепенно порождает нечто вроде скрытого уважения к противнику с его уже существующими институтами. Они видят, как не просто им держаться. Поэтому институты, обеспечивающие единство и устойчивость, кажутся им все более важными. Побуждаемые примером противников, они прилагают все усилия, чтобы самим создать нечто подобное, и, если им это удастся, со временем такие институты становятся для них главным. Они начинают жить уже сами по себе, обретают самоценность и постепенно укрощают размах первоначальной борьбы за души. Церкви строятся таких размеров, чтобы вместить тех верующих, которые уже есть. Увеличивают их число осторожно и с оглядкой, когда это действительно оказывается необходимо. Заметно сильное стремление собирать верующих по группам. Именно потому, что их теперь стало много, увеличивается склонность к распаду, а значит, опасность, которой надо все время противодействовать.

Чувство коварства массы, можно сказать, в крови у исторических мировых религий. Их собственные традиции, на которых они учатся, напоминают им, как неожиданно, вдруг это коварство может проявиться. Истории массовых обращений в их же веру кажутся им чудесными, и они таковы на самом деле. В движениях отхода от веры, которых церкви боятся и потому преследуют, такого рода чудо обращается против них, и раны, которые они ощущают на своей шкуре, болезненны и незабываемы. Оба процесса — бурный первоначальный рост и не менее бурный отток потом — питают их постоянное недоверие к массе.

Они хотели бы видеть нечто противоположное ей — послушную *паству*. Недаром принято говорить о верующих как об овцах и хвалить их за послушание. Пастве совершенно чуждо то, что так важно для массы — а именно стремление к быстрому росту. Церковь довольствуется временной иллюзией равенства между верующими, на которой, однако, не слишком строго настаивает, определенной, причем умеренной плотностью и вы-

держанностью курса. Цель она предпочитает указывать очень отдаленную, где-то в потусторонней жизни, куда вовсе не нужно тотчас спешить, пока еще жив, ее еще нужно заслужить трудом и послушанием. Направление постепенно становится самым главным. Чем дальше цель, тем больше шансов на устойчивость. Как будто бы непрменный принцип роста заменяется другим, весьма от него отличным: повторением.

Верующие собираются в определенных помещениях, в определенное время и при помощи одних и тех же действий приводятся в состояние, присущее массе, но состояние смягченное; оно производит на них впечатление, не становясь опасным, и они к нему привыкают. Чувство единства отпускается им *дозированно*. От правильности этой дозировки зависит устойчивость церкви.

В каких бы церквях или храмах ни приучились люди к этому точно повторяемому и точно отмеренному переживанию, им уже от него никуда не уйти. Оно уже становится для них таким же непрменным, как еда и все, что обычно составляет их существование. Внезапный запрет их культа, подавление их религии государственной властью не может остаться без последствий. Нарушение тщательного баланса в их массовом хозяйстве может спустя время привести к *вспышке* открытой массы. И уже эта масса проявляет тогда все свои известные основные свойства. Она бурно распространяется. Она осуществляет подлинное равенство взамен фиктивного. Она обретает новую и гораздо более интенсивную плотность. Она отказывается на время от той далекой и труднодостижимой цели, для которой воспитывалась, и ставит перед собой цель *здесь*, в этой конкретной жизни с ее непосредственными заботами.

Все религии, подвергавшиеся внезапному запрету, мстили за себя чем-то вроде *секуляризации*. Сильная, неожиданно дикая вспышка совершенно меняет характер их веры, хотя сами они не понимают природы этой перемены. Они считают эту веру еще прежней и полагают, что лишь стараются сохранить свои глубочайшие убеждения. На самом деле они вдруг совершенно меняются, обретая острое и своеобразное чувство, присущее открытой массе, которую они теперь образуют и которой во что бы то ни стало хотят оставаться.

Паника

Паника в театре, как уже часто бывало замечено, это *распад* массы. Чем сильнее объединяло людей представление, чем более замкнута форма театра, который держит их вместе внешне, тем более бурно происходит распад.

Впрочем, может быть и так, что само по себе представление

еще не создает настоящей массы. Часто оно вовсе не захватывает публику, которая не расходится просто потому, что уже пришла. То, чего не удалось вызвать пьесе, тотчас делает *огонь*. Он не менее опасен для людей, чем звери, самый сильный и самый древний символ массы. Весть об огне внезапно обостряет всегда присутствовавшее в публике чувство массы. Общая, несомненная опасность порождает общий для всех страх. На какое-то время публика становится подлинной массой. Будь это не в театре, можно было бы вместе бежать, как бежит стадо зверей от опасности, черпая дополнительную энергию в единой направленности движения. Такого рода активный массовый страх — великое коллективное переживание всех животных, которые живут стадом, быстро бегают и вместе спасаются.

В театре, напротив, распад массы носит насильственный характер. Двери могут пропустить одновременно лишь одного или нескольких человек. Энергия бегства сама собой становится энергией, отбрасывающей назад. Между рядами стульев может протиснуться лишь один человек, здесь каждый тщательно отделен от другого, каждый сидит сам по себе, на своем месте. Расстояние до ближайшей двери для каждого разное. Нормальный театр рассчитан на то, чтобы закрепить людей на месте, оставив свободу лишь их рукам и голосам. Движение ног по возможности ограничивается.

Таким образом, внезапный приказ бежать, который происходит от огня, вступает в противоречие с невозможностью совместного движения. Дверь, через которую каждый должен протиснуться, которую он видит, в которой он видит себя, резко отделена от всех прочих, это рама картины, которая очень скоро овладевает его мыслями. Так что масса подвергается насильственному распаду как раз на вершине своего самоощущения. Резкость перемены проявляется в самых сильных, индивидуальных действиях: люди толкаются, бьются, бешено колотят вокруг.

Чем больше человек борется «за свою жизнь», тем яснее становится, что борется он *против* других, которые мешают ему со всех сторон. Они выступают здесь в той же роли, что и стулья, балюстрады, закрытые двери, с той только разницей, что эти другие еще движутся против тебя. Они теснят тебя отовсюду, откуда только хотят, вернее, откуда теснят их самих. Женщин, детей, стариков щадят не больше чем мужчин, здесь просто никого не различают. Это характерно для массы, где все равны; и хотя каждый уже не ощущает себя частицей массы, он все еще ею окружен. Паника — это распад массы *внутри* массы. Отдельный человек отпадает от нее в момент, когда ей как целому грозит опасность, он хочет от нее отделиться. Но так как он физически еще принадлежит ей, он вынужден против нее бороться. Довестись ей теперь означало бы для него гибель, поскольку гибель

грозит ей самой. В такой момент он делает все, чтобы как угодно выделиться. Ударами и пинками он навлекает на себя ответные удары и пинки. Чем больше он их раздает, чем больше получает в ответ, тем яснее он ощущает *себя*, тем отчетливей начинает вновь осознавать границы собственной личности.

Интересно наблюдать, как много общего оказывается между массой и пламенем для вовлеченных в эту борьбу. Масса возникает благодаря неожиданному виду огня или возгласу «Пожар!»; подобно пламени она играет с тем, кто пытается из нее вырваться. Люди, которых этот человек расталкивает, для него словно горящие предметы, их прикосновение к любому месту тела враждебно ему, оно его пугает. Это общее чувство враждебности, напоминающее об огне, захватывает каждого, кто попадает на пути; то, как он постепенно подступает к каждому предмету отдельно и наконец полностью его охватывает, весьма напоминает поведение массы, грозящей человеку со всех сторон. Движения в ней непредсказуемы, вдруг вырывается из нее рука, кулак, нога, точно языки пламени, которые могут взвиться внезапно и где угодно. Огонь, приобретший вид лесного или степного пожара, *есть* враждебная масса, каждый человек может это ярко почувствовать. Огонь вошел в его душу как символ массы и таким остается в его сознании. А когда приходится видеть, как в панике старательно и как будто бессмысленно топчут ногами человека — это есть ни что иное, как *растоптывание* огня.

Панику как распад можно предотвратить лишь в том случае, если продлить первоначальное состояние общего массового страха. Это возможно в церкви, которой что-то грозит: тогда в общем страхе начинают молиться общему Богу, ибо ему одному дано совершить чудо — потушить огонь.

Масса в виде кольца

Двойко замкнутую массу можно наблюдать на *арене*. Не лишено интереса исследовать ее в этом своеобразном качестве.

Арена хорошо отделена от внешнего мира. Обычно ее видно издали. Ее местоположение в городе, здание, которое она занимает, известны всем. Даже когда о ней не думаешь, всегда чувствуешь, где она. Крики оттуда разносятся далеко. Если она открыта сверху, многое из того, что на ней происходит, становится известно в городе.

Но как бы ни возбуждали эти известия, беспрепятственный доступ внутрь арены невозможен. Число мест здесь ограничено. Ее плотности положен предел. Сидения расположены так, чтобы люди не слишком теснились. Им всем должно быть удобно.

Надо, чтобы все могли хорошо видеть, каждый со своего места, и чтобы никто никому не мешал.

С внешней, обращенной к городу стороны арена представляет собой *безжизненную* стену. Изнутри же здесь выстраивается стена из людей. Все присутствующие обращают к городу свои *спины*. Они отделены от структуры города, его стен, его улиц. Пока они находятся внутри арены, их не заботит ничто происходящее в городе. Жизнь с ее обычными заботами, обычными правилами и привычками отодвинута в сторону. На какое-то время люди получают возможность собраться в большом количестве, им обещаны положенные эмоции — но при одном важнейшем условии: масса должна разряжаться *вовнутрь*.

Ряды расположены один над другим, чтобы все видели, что происходит внизу. Но в результате выходит так, что масса располагается сама против себя. Каждый видит перед собой тысячу людей, тысячу голов. Пока он тут, они тут все. Всё, что волнует его, волнует и их, и он это *видит*. Они сидят от него на некотором отдалении; отдельные подробности, обычно различающие людей, делающие их индивидуальностями, смазаны. Все становятся друг на друга очень похожи, все сходно ведут себя. Каждый замечает в других только то, что переполняет его самого. Возбуждение, которое он видит в них, подогревает его собственное возбуждение.

Масса, которая таким образом оказывается выставлена сама себе на обозрение, нигде не прерывается. Кольцо, образуемое ею, замкнуто. Ничто из него не вырвется. Кольцо, составленное из рядов очарованных лиц, представляет собой нечто на удивление однородное. Оно охватывает и вбирает в себя все, происходящее внизу. Никто его не покидает, никто не хочет уйти. Каждое пустое место в этом кольце могло бы напомнить о предстоящем, когда все должны будут разойтись. Но пустот здесь нет: эта масса замкнута двояко — по отношению к внешнему миру и внутри себя.

Свойства массы

Прежде чем предпринять попытку *классификации* массы, уместно вкратце обобщить ее главные свойства. Можно выделить следующие четыре черты:

1. *Масса хочет постоянно расти.* Природных границ для ее роста не существует. Там, где такие границы искусственно созданы, то есть в институтах, служащих сохранению замкнутой массы, всегда возможен и время от времени происходит прорыв массы. Безусловно надежных учреждений, которые могли бы раз и навсегда помешать приросту массы, не существует.

2. *Внутри массы господствует равенство.* Оно абсолютно, бесспорно и никогда не ставится под вопрос самой массой. Оно имеет такое фундаментальное значение, что можно определить состояние массы именно как состояние абсолютного равенства. У всех есть головы, у всех есть руки, а чем там они отличаются, не так уж важно. Ради этого равенства и становятся массой. Все, что могло бы от этого отвлечь, не стоит принимать во внимание. Все лозунги справедливости, все теории равенства вдохновлены в конечном счете этим опытом равенства, который каждый посвоему пережил в массе.

3. *Масса любит плотность.* Никакая плотность для нее не чрезмерна. Не должно быть никаких перегородок, ничего чужеродного внутри, все должно по возможности ей принадлежать. Чувство наибольшей плотности она получает в момент разрядки. Возможно, еще удастся подробней определить и измерить эту плотность.

4. *Массе нужно направление.* Она находится в движении и движется к чему-то. Общность направления для всех, кто к ней принадлежит, усиливает чувство равенства. Цель, лежащая вне каждого в отдельности и относящаяся ко всем, вытесняет частные, неравные цели, которые были бы для массы смертельны. Для того чтобы она существовала, ей необходимо направление. Поскольку масса всегда боится распада, ее можно направить к какой-то цели. Но тут существует еще и темная инерция движения, зовущая к новым, более важным связям. Часто нет возможности предсказать, какого рода будут эти связи.

Каждое из четырех обозначенных здесь свойств может играть большую или меньшую роль. В зависимости от того, какое из них превалирует, можно по-разному *классифицировать* массы.

Когда речь шла об открытых и закрытых массах, было подчеркнуто, что эта классификация устанавливается по признаку *роста*. Покуда этому росту ничто не препятствует, масса открыта; она закрыта, когда ее рост ограничен.

Другое деление — о нем речь впереди — между ритмической и замершей массами. Оно основано на двух следующих главных свойствах: *равенстве* и *плотности*, причем на обоих вместе.

Замершая масса живет ожиданием разрядки. Она не сомневается в ней, однако оттягивает ее. Она хочет относительно долго оставаться плотной, чтобы подготовиться к мгновению разрядки. Позволительно сказать, что она в этом плотном состоянии разогревается, а разрядку откладывает как можно дольше. Масса начинается здесь не с равенства, а с плотности. Равенство же становится главной целью массы, которого она наконец до-

стигает; всякий совместный крик, всякое совместное проявление оказывается тогда выражением этого равенства.

В массе же *ритмической* плотность и равенство, наоборот, с самого начала присутствуют одновременно. Здесь все связано с движением. Всякое возбуждение тел, которое можно наблюдать, заранее известно и выражается в танце. Расходясь и вновь сближаясь, участники как бы умело расчлняют плотность. Равенство же демонстрируется само собой. Демонстрация плотности и равенства искусно создает чувство массы. Быстро возникают ритмические образы, и положить им конец может лишь физическая усталость.

Следующая пара понятий, *медленной* и *быстрой* массы, связана исключительно с характером цели. Самые приметные массы, о которых обычно идет речь и которые составляют столь важную часть нашей современной жизни, — политические, спортивные, военные массы; они ежедневно у нас перед глазами — все это *быстрые* массы. Весьма отличны от них религиозные массы *потустороннего мира* или *паломников*; их цель вдали, путь их долог, подлинное образование массы отодвигается в отдаленную страну или в царство небесное. В сущности, мы можем наблюдать лишь стечение этих медленных масс, потому что конечные состояния, к которым они стремятся, невидимы и недостижимы для неверующих. Медленная масса медленно собирается и видит собственное осуществление лишь в дальней дали.

Все эти формы, суть которых здесь лишь обозначена, требуют более детального рассмотрения.

Ритм

Ритм первоначально — это ритм ног. Каждый человек ходит, а поскольку он ходит на двух ногах и попеременно касается земли ступнями, поскольку он передвигается, откуда происходит это касание, независимо от его желания возникает ритмический звук. Шаг правой и левой ноги никогда не бывает совершенно одинаков. Разница между ними может быть больше или меньше, это зависит от личных свойств или настроения. Можно также идти быстрее или медленнее, можно бежать, внезапно остановиться или прыгнуть.

Человек всегда прислушивался к шагам других людей, они наверняка интересовали его больше, чем свои собственные. Хорошо известна и походка разных животных. Многие из их ритмов богаче и выразительней, чем у людей. Когда бегут стада копытных — словно движутся полки барабанщиков. Древнейшим знанием человека было знание животных, которые его окружали, которые ему угрожали и на которых он охотился. Он учился

распознавать их по ритму движения. Древнейшим шрифтом, который человек учился читать, был шрифт *следов*. Это была своего рода ритмическая нотопись, существовавшая испокон веков; она сама собой запечатлевалась на мягкой земле, и человек, читавший следы, связывал с ними шум, при котором они возникали.

Следы зачастую бывали многочисленные, густые. Люди, первоначально жившие мелкими ордами, молча разглядывали их и проникались сознанием, как велика разница между их малым числом и громадностью этих стад. Они были голодны и все время искали добычу; чем больше добычи, тем лучше для них. Но они так же хотели, чтобы их самих было *больше*. Стремление людей умножаться всегда было сильным. Не стоит, однако, понимать под этим словом простое желание плодиться. Люди хотели, чтоб их было больше теперь, в данном конкретном месте, в этот самый момент. Многочисленность стад, на которых они охотились, и желание множить собственное число своеобразно переплетались в их душе. Свое чувство они выражали в определенном состоянии общего возбуждения, которое я называю *ритмической* или *конвульсивной* массой.

Средством для этого был прежде всего ритм их ног. Вслед за одними идут другие. Шаги, быстро вторя шагам, создают впечатление множества людей. Они не сдвигаются с небольшого пятачка, танцуют все время на одном месте. Шаги их не становятся тише, они повторяются и повторяются с неизменной громкостью и живостью. Их интенсивность компенсирует недостаток численности. Когда топот становится сильней, впечатление такое, будто людей больше. Для всех людей вокруг танец обладает притягательной силой, которая не ослабевает, покуда он не кончится. Все, кто только может его слышать, присоединяются к нему, включаются в него. Самым естественным было бы, если бы этот приток людей продолжался. Но поскольку вскоре не остается уже никого, кто мог бы к ним присоединиться, танцующие, сознавая свое ограниченное число, должны изображать нарастание сил. Они двигаются так, как будто их становится все больше. Их возбуждение растет и доходит до неистовства.

Но каким образом они компенсируют недостаток численности? Тут особенно важно, что каждый из них делает то же, что и другие, каждый топает так же, как и другой, каждый машет руками, каждый совершает одни и те же движения головой. Эта равноценность участников как бы разветвляется на *равноценность* членов каждого. Все, что только в человеке подвижно, обретает особую жизнь, каждая нога, каждая рука живет сама по себе. Отдельные члены сводятся к общему знаменателю. Они совсем сближаются, часто покоясь друг на друге. Их равноценность подкрепляется плотностью и совмещается с равенством. И вот перед тобой пляшет единое существо с пятьюдесятью

головами, сотней ног и сотней рук, все движутся единообразно и с единой целью. На вершине возбуждения эти люди действительно чувствуют себя одним целым, и лишь физическое изнеможение валит их с ног.

У всех конвульсивных масс — именно благодаря ритму, который ими овладевает, — есть что-то сходное. Это наглядно может продемонстрировать рассказ об *одном* таком танце, относящийся к первой трети прошлого века. Речь идет о танце *хака* новозеландского племени *маори*, танце первоначально воинском.

«Маори стали в длинный ряд по четыре человека. Танец, называемый «хака», должен был внушить страх и ужас каждому, кто видел его впервые. Все племя, мужчины и женщины, свободные и рабы, стояли вперемешку, независимо от занимаемого ими положения. Мужчины были совершенно нагие, если не считать патронташей, опоясывавших их. Все были вооружены ружьями и штыками, прикрепленными к концам копий и к палкам. Молодые женщины с обнаженной грудью, включая жен вождя, также принимали участие в танце.

Такт пения, сопровождавшего танец, выдерживался весьма строго. Подвижность этих людей была поразительна. Вдруг все они высоко подпрыгивали, отрываясь от земли одновременно, как будто ими двигала *одна* воля. В тот же миг они взмахивали своим оружием и изображали на лице гримасу. Со своими длинными волосами, которые у них обычны как для мужчин, так и для женщин, они были подобны войску горгон. Опускаясь, все издавали громкий стук о землю двумя ногами одновременно. Этот прыжок в воздух повторялся часто и во все более быстром темпе.

Черты их были искажены так, как только возможно для мускулов человеческого лица, и всякую новую гримасу в точности повторяли все участники. Стоило одному сурово, как будто винтом, стянуть лицо, все тотчас ему подражали. Они так вращали глазами, что порой виден был только белок и казалось, что в следующий миг они выскочат из орбит. Все одновременно высовывали длинные-предлинные языки, как этого никогда не смог бы сделать ни один европеец; для этого нужно долго, чуть ли не с детства, упражняться. Их лица представляли собой зрелище ужасающее, и облегчением было отвести от них взгляд.

Каждая часть их тела жила отдельной жизнью: пальцы рук и ног, глаза, языки, равно как сами руки и ноги. Они громко били себя ладонями то по левой части груди, то по бедрам. Шум их пения был оглушителен, в танце участвовало более 350 человек. Можно себе представить, какое воздействие производил этот танец в военные времена, как он возбуждал храбрость и как усиливал враждебность обеих сторон друг к другу»¹.

¹ I. S. Polack. New Zealand. A narrative of travels and adventures. London, 1838, Vol. 1, p. 81—84.

Вращение глазами и высовывание языка — знаки вызова и противостояния. И хотя война, вообще-то, дело мужчин, причем свободных мужчин, возбуждение хакой охватывает всех. Маса здесь не знает ни пола, ни возраста, ни общественного положения: все действуют как равные. Однако что отличает этот танец от других подобного же рода — это особенно ярко выраженное *разветвление* равенства. Получается, будто каждое тело оказывается разложенным на отдельные части, не только на руки и ноги, это как раз бывает часто, но также и на пальцы рук и ног, языки и глаза, причем все эти языки действуют синхронно, делают одно и то же в один и тот же миг. Равными в одном и том же действии оказываются то все пальцы, то все глаза. Самые мелкие частицы тел объединяются этим равенством, которое проявляется в непрерывно нарастающем действии. Вид 350 человек, которые одновременно подпрыгивают вверх, одновременно высовывают языки, одновременно вращают глазами, должен произвести впечатление неодолимого единства. Плотность здесь — это не только плотность людей, но также плотность отдельных частей их тела. Кажется, что, даже если бы эти пальцы и языки не принадлежали людям, они могли бы действовать и сражаться сами по себе. Ритм хаки делает самоценным каждое из этих равенств в отдельности. Все вместе и на таком подъеме они неодолимы.

Ведь происходит все так, как будто предполагается, что это *увидят*: как будто враг на них смотрит. Интенсивность совместной угрозы — вот что такое хака. Но возникнув ради этой цели, танец стал чем-то большим. Выучиваемый с малых лет, он имеет разные формы и исполняется по всяким возможным поводам. Многих путешественников приветствовали, исполняя перед ними хаку. Из их рассказов мы и получили эти сведения. Две дружественные группы, встретившись, также приветствуют друг друга исполнением хаки; и это делается так серьезно, что неосведомленный наблюдатель каждый миг опасается начала битвы. При торжественном погребении большого вождя, после всех горьких стенаний и актов самоистязания, принятых у маори, после торжественного и весьма обильного пиршества все вдруг вскакивают, хватают свои ружья и начинают хаку.

В этом танце, в котором могут участвовать все, племя ощущает себя массой. Они исполняют его всякий раз, когда испытывают потребность в том, чтобы быть массой и предстать в этом качестве перед другими. Добившись ритмического совершенства, племя обретает необходимую уверенность в своей цели. Благодаря хаке его единство не подвергается серьезной внутренней угрозе.

Неподвижность

Замершая масса плотно стиснута, действительно свободное движение было бы для нее невозможно. В ее состоянии есть нечто пассивное, замершая масса *ждет*. Она ждет, пока ей покажут обещанную голову или что-то скажут, или она следит за борьбой. *Плотность* значит здесь особенно много: давление, которое отдельный человек ощущает со всех сторон, дает ему представление о мощи целого, лишь частицу которого он собой представляет. Чем больше стекается людей, тем это давление сильнее. Ноги никуда не могут двинуться, руки стиснуты, свободными остаются лишь головы, они могут видеть и слышать; всякое возбуждение передается непосредственно от тела к телу. Чувствуешь себя телесно связанным одновременно со многими вокруг. Знаешь, что это разные люди, но, поскольку они здесь так плотно объединены, ощущаешь их как единство. Этот вид плотности существует определенное время, действуя какой-то срок как постоянная величина; она аморфна, не подчинена никакому известному или выученному ритму. Долго ничего не происходит, однако потребность в действии нагнетается, возрастает и тем сильнее в конце концов прорывается.

Терпение замершей массы, возможно, не покажется таким удивительным, если как следует уяснить, что значит для нее это чувство плотности. Чем масса плотнее, тем больше она притягивает к себе новых людей. Плотность для *нее* — *мера* собственной величины, и она же побуждает ее к новому росту. Самая плотная масса растет быстрее всего. Неподвижность перед разрядкой есть выражение этой плотности. Чем дольше масса остается неподвижной, тем дольше чувствует и проявляет свою плотность.

Для каждого в отдельности из составляющих массу длительность неподвижного состояния есть длительность накопления; можно отложить в сторону оружие, убрать многочисленные шипы, обычно направленные друг против друга; можно стоять тесно и не чувствовать тесноты, не испытывать страха перед прикосновением, не бояться друг друга. Прежде чем тронешься с места, все равно куда, хочется проникнуться уверенностью, что ты останешься вместе со всеми. Нужно, чтобы ничто не мешало этому процессу срастания. Замершая масса еще не вполне уверена в своем единстве и потому как можно дольше держится тихо.

Но у этого терпения есть свои границы. Разрядка в конце концов необходима, без нее вообще нельзя сказать, действительно ли масса существовала. Крик, звучавший обычно при публичных казнях, когда палач поднимал голову преступника, или возгласы, знакомые по нынешним спортивным соревнованиям, — это

голоса массы. Важнее всего их спонтанность. Возгласы, выученные заранее и регулярно повторяемые время от времени, еще не означают, что масса обрела собственную жизнь. Они, видимо, должны способствовать этому, но они могут быть чисто внешними, как отрепетированные движения воинской части. Напротив, спонтанный, заранее не подготовленный массой крик — это без обмана, и его воздействие огромно. Он может выражать эмоции любого рода; порой не так важен их характер, как сила, разнообразие и непредсказуемость последствий. Именно они формируют душу массы.

Впрочем, порой они бывают столь сильными и концентрированными, что в следующий момент *взрывают* массу. Таков эффект публичных казней — ведь одну и ту же жертву можно убить лишь однажды. Если казнят кого-то, кто считался неуязвимым, в возможности его смерти можно сомневаться до последнего момента. Такое сомнение еще усиливает неподвижность массы. Тем острее и резче действует затем вид отрубленной головы. Крик, следующий за этим, будет ужасен, но это уже последний крик данной определенной массы. Таким образом, можно сказать, что в этом случае она расплачивается мгновенной смертью за избыток напряженного ожидания, которое переживает с особой интенсивностью.

Гораздо целесообразнее наши нынешние спортивные мероприятия. Зрители могут *сидеть*; это наглядно подчеркивает общее терпение. Свобода ног им дана, чтобы топать, но они не двигаются с места. Рукам обеспечена свобода хлопать. Для состязания предусмотрено определенное время; обычно не предполагается, что оно может быть сокращено; по меньшей мере какое-то время все остаются вместе. За это время может произойти что угодно. Нельзя знать заранее, когда, в какие ворота и будет ли вообще забит гол; а наряду с этим вожделенным главным событием существует много других, порождающих бурные вспышки. Возгласы звучат здесь часто и по разным поводам. Однако необходимость распада, когда все в конце концов должны разойтись, заранее предусмотрена по истечении срока и потому не имеет такого болезненного характера. Кроме того, проигравший может взять реванш, а значит, здесь нет ничего совсем уж окончательного. Итак, масса получает возможность по-настоящему удобно расположиться; скопиться сначала у входа, затем замереть на сидениях, при подходящем случае как угодно кричать, и, даже когда все кончится, в будущем у нее есть надежда на повторение.

Замершие массы гораздо более пассивного рода образуются в *театрах*. Идеальный случай — когда играют при полном зале. Желательное число зрителей известно с самого начала. Они собираются сами по себе, находя дорогу в зал каждый по отдель-

ности, если не считать некоторых скоплений перед кассами. Их места указаны. Все установлено заранее: исполняемая пьеса, занятые артисты, время начала и само наличие зрителей на местах. Опоздавших встречают с легкой враждебностью. Как упорядоченное стадо, люди сидят тихо и бесконечно терпеливо. Но каждый хорошо сознает свое отдельное существование; он со- считал и отметил, кто сидит рядом. Перед началом представления он спокойно наблюдает ряды собравшихся голов: они вызы- вают у него приятное, но ненавязчивое чувство плотности. Равенство зрителей состоит, собственно, лишь в том, что все получают со сцены одно и то же. Но возможность спонтанных реакций на происходящее здесь ограничена. Даже для аплодис- ментов есть свое определенное время, и аплодируют действи- тельно тогда, когда положено аплодировать. Лишь по силе аплодисментов можно судить, насколько сформировалась мас- са; это единственный для нее масштаб; так относятся к аплодис- ментам и артисты.

Неподвижность в театре стала уже настолько ритуальной, что ее воспринимают лишь внешне, как мягкое давление извне, которое не оказывает на людей более глубокого воздействия и, во всяком случае, вряд ли может породить в них чувство вну- треннего единства и общности. Не следует, однако, забывать, какой степени достигает совместное ожидание, с которым связа- но их присутствие здесь, причем это ожидание длится все время, пока идет представление. Редко покидают театр прежде, чем оно окончится; даже если зрители разочарованы, они держатся; но ведь это значит, что они все это время держатся вместе.

Противоположность между тихим поведением зрителей и громкой деятельностью аппарата, на них воздействующего, еще сильней проявляется на концертах. Здесь все рассчитано на пол- ное отсутствие помех. Любое движение нежелательно, любой звук предосудителен. В то время как для музыки, звучащей со сцены, много значит ритм, никак нельзя не чувствовать, чтоб этот ритм сказывался на зрителях. Непрерывно меняющаяся му- зыка вызывает самые разнообразные и бурные чувства. Не мо- жет быть, чтобы большая часть присутствующих их не испыты- вала, не может также быть, чтобы они испытывали их не *одновре- менно*. Но никаких внешних реакций на это не заметно. Люди сидят не шелохнувшись, как будто им удастся *ничего* не слышать. Ясно, что такое умение замирать нужно долго и искусно воспи- тывать, к результатам этого воспитания мы уже привыкли. Ведь если взглянуть непредвзято, немногие явления в нашей культур- ной жизни столь достойны удивления, как концертная публика. Люди, позволяющие музыке действовать на себя *естественно*, ве- дут себя совершенно иначе; если они прежде вообще не слыша- ли музыки, первое соприкосновение с ней может вызвать у них

безудержное возбуждение. Когда матросы, высадившиеся на берег Тасмании, сыграли туземцам «Марсельезу», те выражали свое удовольствие такими странными телодвижениями и удивленными жестами, что матросы тряслись от смеха. Один восторженный юноша дергал себя за волосы, скреб себе голову обеими руками и время от времени что-то восклицал.

На наших концертах сохранился лишь жалкий рудимент физической *разрядки*. Рукоплескания звучат как благодарность за исполнение, хаотичный короткий шум — за хорошо организованный долгий. Когда аплодисменты кончаются, все так же тихо, как сидели, расходятся, уже вполне охваченные чем-то вроде религиозного благоговения.

Из религиозной сферы первоначально и пришла тишина концертов. *Совместное стояние* перед Богом — упражнение, распространенное во многих религиях. Ему присущи те же черты неподвижности, что наблюдаются и у светских масс, и оно может вести к таким же внезапным и сильным разрядам.

Пожалуй, самый впечатляющий пример — знаменитое «*Стояние на Арафате*»¹, кульминация паломничества в Мекку. На равнине Арафат в нескольких часах ходьбы от Мекки в определенные, установленные ритуалом дни собираются 600—700 тысяч паломников. Они располагаются большим кольцом вокруг «Горы благодати», голого холма, возвышающегося посреди этой равнины. В два часа пополудни, самое жаркое время, паломники занимают свои места и стоят так до захода солнца. Головы у всех обнажены, все одеты в одинаковые белые паломнические одежды. Со страстным напряжением слушают они слова проповедника, который обращается к ним с холма. Его проповедь — это непрерывная хвала Господу. Все произносят в ответ формулу, повторяемую тысячекратно: «Мы ждем твоих повелений, Господи, мы ждем твоих повелений!» Многие плачут от восторга, многие бьют себя в грудь. Многие падают в обморок от чудовищной жары. Но существенно, что все эти раскаленные долгие часы они терпеливо ждут на священной равнине. Лишь с закатом солнца дается знак отправляться в путь.

О том, что нам известно относительно сути других религиозных обычаев, относящихся к числу самых загадочных, будет сказано позднее и в другой связи. Здесь нас интересует лишь многочасовой *момент неподвижности*. Сотни тысяч людей в нарастающем возбуждении будут стоять на равнине Арафат и, что бы ни случилось, не позволят себе покинуть это свое место перед лицом Аллаха. Вместе они собираются здесь и вместе получают знак выступить. Проповедь их воспламеняет, и они сами воспаляются себя возгласами. В формуле, употребляемой ими, упоми-

¹ Jaudefroy — Demonbynes, *Le Pèlerinage à la Mekke*. Paris, 1923, p. 241—255.

нается «ожидание», это ожидание напоминает о себе вновь и вновь. Солнце, продвигаясь по небу, заливают всех пылающим светом, медленно и незаметно погружает все в тот же зной; его можно назвать *воплощением неподвижности*.

Существуют разные *степени* оцепенения и молчания религиозных масс, но в состоянии высшей пассивности масса приводится насильно, извне. В *битве* две массы устремляются друг на друга, и каждая хочет оказаться сильнее другой. Боевым кличем они пытаются доказать как врагу, так и *себе*, что они действительно сильней. Цель битвы — заставить замолкнуть другую партию. Когда все противники повержены, их громкий, единый голос, полный действительно серьезной угрозы, смолкает навсегда. Самая тихая масса — это масса *вражеских трупов*. Чем опаснее она была, тем приятней видеть ее неподвижным скоплением. Ведь так хотелось, чтобы она стала именно такой беззащитной грудой мертвецов. Ибо грудой они только что на тебя нападали, грудой кричали на тебя. Эту *утихомиренную массу* мертвецов раньше отнюдь не считали безжизненной. Предполагалось, что они где-то еще будут на свой лад жить дальше, также все вместе, и эта жизнь, по сути, должна не так уж отличаться от прежней. Враги, лежащие в виде трупов, представляют, таким образом, для наблюдателя крайний случай замершей массы.

Но и это еще не предел. Вместо павших врагов можно представить себе вообще *всех мертвецов*, лежащих в общей земле и ждущих своего воскресения. Каждый умерший и похороненный умножает их число; все, кто когда-либо жил, принадлежат к их числу, а таких бесконечно много. Земля, их связывающая, обеспечивает плотность этой массе, и, даже если они лежат раздельно, есть чувство, будто они рядом друг с другом. Они останутся лежать так бесконечно долго, до самого дня Страшного суда. Их жизнь замирает до момента воскресения, и это тот самый момент, когда они соберутся перед Господом, который их будет судить. Между ними ничего нет, они лежат как масса, и как масса восстанут вновь. Ничто так великолепно не подтверждает реальности и значения замершей массы, как развитие этой концепции воскресения и Страшного суда.

Медленность, или Отдаленность цели

Понятие *медленной массы* связано с *отдаленностью цели*. Цель неизбежна, люди настойчиво движутся к ней и все время пути, что бы ни случилось, держатся вместе. Путь далек, препятствия неведомы, опасности грозят со всех сторон. Разрядки не дано, пока не будет достигнута цель.

Медленная масса имеет форму процессии. Поначалу она мо-

жет включать в себя всех, кто к ней принадлежит, как при исходе сынов израилевых из Египта. Их цель — земля обетованная, и они составляют массу, покада веруют в эту цель. История их странствия есть история этой веры. Часто трудности столь велики, что людей начинают терзать сомнения. Они голодают или томятся жаждой, и, если возникает ропот, им грозит распад. Человек, который ими предводительствует, каждый раз старается возродить в них веру. Каждый раз это удается — если не ему, то врагам, чью угрозу они чувствуют. За время странствий, которые длятся более сорока лет, не раз в силу той или иной необходимости возникают отдельные кратковременные массы, и о них при случае еще будет кое-что сказано. Однако это образования внутри одной всеобъемлющей медленной массы, которая движется к заветной цели — земле, им обещанной. Взрослые участники странствия стареют и умирают, рождаются и вырастают юные, но, хотя меняются личности, шествие в целом остается тем же самым. В него не вливаются никакие новые группы. С самого начала определено, кто к нему принадлежит и кто имеет право на землю обетованную. Поскольку эта масса не может скачкообразно расти, кардинальным во все время странствия остается один вопрос: что сделать, чтобы не *распасться*?

Другую форму медленной массы можно скорее сравнить с водной системой. Она начинается с маленьких ручейков, которые постепенно стекаются вместе; в возникшую реку отовсюду вливаются другие реки, и, если впереди оказывается достаточно пространства, все вместе становится потоком, цель которого — море. Наверное, самый впечатляющий пример для этой формы медленной массы — ежегодное паломничество в Мекку. Из самых отдаленных частей мусульманского мира отправляются караваны паломников, все в направлении Мекки. Одни могут быть поначалу совсем незначительными, другие снаряжаются властителями сразу с таким блеском, чтобы ими могла гордиться страна, из которой они выходят. Но и те и другие во время своего путешествия встречаются с новыми караванами, у которых та же цель, так что все они растут, ширятся и вблизи своей цели становятся могучими потоками. Мекка — море, в которое они впадают.

Для таких паломничеств весьма характерно то, что их участникам остается много места для переживаний обычных, не имеющих ничего общего со смыслом затеянного. Каждый день люди преодолевают многочисленные опасности, по большей части бедствуют и должны заботиться о еде и питье. Жизнь их, протекающая на чужбине, причем на чужбине все время новой, подвержена опасности гораздо больше, чем дома. И это вовсе не опасности, связанные с характером их предприятия. Словом, эти паломники в значительной мере остаются индивидуумами,

живущими каждый сам по себе, как люди повсюду. Но поскольку они помнят о своей *цели* (а так обстоит дело с большинством из них), они все время остаются также частью медленной массы, которая — в каких бы отношениях они с ней ни находились — продолжает существовать и существует, покуда они не достигнут цели.

Третья форма медленной массы представлена всеми случаями, где люди обращены к невидимой и в этой жизни недостижимой цели. Потусторонний мир, где почившие праведники ждут всех, кто заслужил здесь место, — вот хорошо обозначенная цель, доступная лишь верующим. Они видят ее перед собой ясно и отчетливо, им нет нужды довольствоваться лишь каким-либо смутным ее символом. Жизнь подобна паломничеству в мир иной, который отделяет от мира реального только смерть. Путь туда в подробностях не обозначен и труднообозрим. Многие блуждают и пропадают на этом пути. Жизнь верующих так сильно окрашена неугасающей надеждой попасть в потусторонний мир, что можно с полным правом говорить о медленной массе, включающей всех приверженцев данной религии. Поскольку друг друга они не знают и рассеяны по разным городам и странам, анонимность этой массы особенно ярко выражена.

Но что происходит *внутри* ее и чем этот вид массы отличается в основном от *быстрых* ее форм?

Для медленной массы невозможна *разрядка*. Можно сказать, что это ее важнейший признак, так что медленную массу позволительно также назвать массой без разрядки. И все же первое определение предпочтительней, поскольку дело не в том, что разрядка здесь вовсе не предполагается. Идея ее все время присутствует в представлении о конечном состоянии. Она отодвинута в дальнюю даль. Где цель, там и разрядка. О ней все время грезят, она обещана в конце.

Медленная масса ориентирована на то, чтобы как можно дольше *растягивать* процесс, ведущий к разрядке. Великие религии достигли по части этого растягивания особенного мастерства. Заполучив приверженцев, они заботятся о том, как бы их удерживать. Чтобы их сохранить и завоевать новых, необходимо время от времени собираться. Добившись однажды на таких собраниях сильной разрядки, нужно ее повторить, а то и превзойти по силе; во всяком случае, регулярное повторение разрядок необходимо, чтобы объединение верующих не распалось. Происходящее во время такого рода богослужений, которые разыгрываются ритмическими массами, нельзя контролировать издалека. Центральная проблема универсальных религий — сохранение власти над верующими в дальних уголках земли. Это сохранение власти возможно лишь при условии сознательного замедления процессов, происходящих в массах. Отдаленная цель дол-

жна стать более значительной, близкая цель становится менее важной и наконец вовсе теряет цену. Земная разрядка никогда не бывает длительной, постоянно то, что отодвинуто в мир потусторонний.

Итак, разрядка перемещена вдаль, но цель недостижима. Ибо земля обетованная здесь на земле может быть занята врагами и опустошена, народ, которому она обещана, может быть из нее изгнан. Мекка была покорена карматами и разграблена, священный камень Кааба был ими похищен *. Много лет никакое паломничество туда не было возможно.

Но потусторонний мир, обитель праведников, недоступен никаким подобным опустошениям. Он живет лишь одной верой и лишь для верующих существует. Распад медленной массы христианства начался в тот самый миг, когда начала рушиться вера в потусторонний мир.

Переживший других

Миг, когда ты *пережил других*, — это миг власти. Ужас перед лицом смерти переходит в удовлетворение от того, что сам ты не мертвец. Мертвец лежит, переживший его стоит. Как будто прошла битва и ты сам победил тех, кто мертв. Когда речь идет о выживании, каждый враг другого, по сравнению с этим изначальным торжеством всякая боль ничтожна. При этом важно, что выживший *один* противостоит одному или многим мертвым. Он видит себя одного, он чувствует себя одного, и если говорить о власти, которую дает ему этот миг, то нельзя забывать, что она порождается его *единственностью*, и только ею.

Все мечты человека о бессмертии содержат в себе что-то от желания пережить других. Хочется не только быть всегда, хочется быть тогда, когда других больше не будет. Каждый хочет стать старше других и знать это, а когда его самого не будет, пусть скажет об этом его имя.

Самая низшая форма выживания — это *умерщвление*. Как умерщвляют животное, чтобы употребить его в пищу, когда оно беззащитно лежит перед тобой и можно разрезать его на куски, разделить, как добычу, которую проглотишь ты и твои близкие, так хочется убить и человека, который оказался у тебя на пути, который тебе противодействует, стоит перед тобой прямо, как враг. Хочется повергнуть его, чтобы почувствовать, что ты еще тут, а его уже нет. Но он не должен исчезнуть совсем, его телесное присутствие в виде трупа необходимо для этого чувства триумфа. Теперь можно делать с ним что угодно, а он тебе совсем ничего не сделает. Он лежит, он навсегда останется лежать, он никогда уже не поднимется. Можно забрать у него оружие;

можно вырезать части его тела и сохранить навсегда, как трофей. Этот миг конфронтации с убитым наполняет оставшегося в живых силой особого рода, которую не сравнить ни с каким другим видом силы. Нет другого мгновения, которое так хотелось бы повторить.

Ибо переживший других знает о многих мертвецах. Если он участвовал в битве, он видел, как падали вокруг него другие. Он отправлялся на битву специально, чтобы утвердить себя, увидев поверженных врагов. Он заранее поставил себе целью убить их как можно больше, и победить он может, лишь если это ему удастся. Победа и выживание для него совпадают. Но и победители должны платить свою цену. Среди мертвых много и их людей. На поле битвы вперемешку лежат друг и враг — общая груда мертвецов. Нередко в битвах бывает так, что враждовавших покойников нельзя разделить: одной массовой могиле суждено объединить их останки.

Оставшийся в живых противостоит этой груде павших как счастливчик и привилегированный. Тот факт, что он все еще жив, а такое множество других, только что бывших рядом, нет, сам по себе потрясает. Беспомощно лежат мертвецы, среди них стоит он, живой, и впечатление такое, будто битва происходила именно для того, чтобы он их пережил. Смерть обошла его стороной и настигла других. Не то чтобы он избегал опасности. Он, как и его друзья, готов был встретить смерть. Они пали. Он стоит и торжествует.

Это чувство превосходства над мертвыми знакомо каждому, кто участвовал в войнах. Оно может быть скрыто скорбью о товарищах; но товарищей немного, мертвых же всегда много. Чувство силы от того, что ты стоишь перед ними живой, в сущности, сильнее всякой скорби, это чувство *избранности* среди многих, кого так сравнила судьба. Каким-то образом чувствуешь себя *лучшим* потому, что ты еще тут. Ты утвердил себя, поскольку ты жив. Ты утвердил себя среди многих, поскольку все, кто лежат, уже не живут. Кому пережить таким образом других удастся часто, тот *герой*. Он сильнее. В нем больше жизни. Высшие силы благосклонны к нему.

Выживание и неуязвимость

Человеческое тело голо и уязвимо; в своей мягкости оно открыто любому нападению. То, чего человек с трудом и всяческими ухищрениями не допускает до себя на близком расстоянии, может легко настичь его издали. В него могут вонзиться копье и стрела. Он изобрел щит и доспехи, построил вокруг себя стены и целые крепости. Но главная цель всех его предохранитель-

ных мер — чувство *неуязвимости*.

Достичь его он пытался двумя различными путями. Они прямо противоположны друг другу, а потому и весьма различны их результаты. С одной стороны, он старался отдалить от себя опасность, отделиться от нее пространствами большими, но обозримыми, которые можно было бы охранять. Он, так сказать, прятался от опасности, и он отгонял опасность.

Но больше всего отвечал его гордости другой путь. Во всех древних текстах полно хвастовства и самовосхвалений такого рода: человек сообщает, что он искал опасности и подвергал себя ей. Он подпускал ее к себе как можно ближе и рисковал всем. Из всех возможных ситуаций он выбирал ту, где был больше всего уязвим, и обострял ее до крайности. Он кого-то сделал своим врагом и вызвал его на бой. Возможно, это уже и прежде был его враг, возможно, он только сейчас его объявил врагом. Как бы там ни было, он сознательно выбирал путь высшей опасности и не старался оттягивать решение.

Это путь *героя*. Чего хочет герой? На что он в действительности нацелен? Слава, которой все народы окружают своих героев, стойкая, непреходящая слава, если их деяния разнообразны или достаточно часто повторяются, может обмануть относительно более глубоких мотивов этих деяний. Предполагается, что лишь слава их и интересует, но я думаю, в основе здесь лежит нечто совсем другое: возможность быстрее всего обеспечить себе таким образом чувство неуязвимости.

Конкретная ситуация, в которой оказывается герой после испытанной опасности, — это ситуация пережившего других. Враг покушался на его жизнь, как он на жизнь врага. С этой ясной и твердой целью они выступили друг против друга. Враг повержен. С героем же во время борьбы ничего не случилось. Переполненный необычайным чувством этого превосходства, он бросается в следующую битву. Ему было все нипочем, ему будет все нипочем. От победы к победе, от одного мертвого врага к другому он чувствует себя все уверенней: возрастает его неуязвимость, а значит, надежней становятся его доспехи.

Чувство такой неуязвимости нельзя добыть иначе. Кто отогнал опасность, кто от нее укрылся, тот просто отодвинул решение. Но кто принял решение, кто действительно пережил других, кто вновь утвердился, кто множит эпизоды своего превосходства над убитыми, тот может достичь чувства неуязвимости. В сущности, он лишь тогда герой, когда этого добивается. Теперь он готов на все, ему нечего бояться. Возможно, мы больше бы восхищались им, если бы ему еще было чего бояться. Но это взгляд постороннего наблюдателя. Народ хочет неуязвимого героя.

Однако деяния героя отнюдь не исчерпываются поединком, которого он сам искал. Ему может встретиться целое скопище

врагов, и если он тем не менее их атакует, если он не только не избегает их, но всех их убивает — это может мгновенно породить в нем чувство собственной неуязвимости.

Один из самых давних и верных друзей спросил как-то Чингисхана: «Ты повелитель, и тебя называют героем. Какими знаками завоевания и победы отмечена твоя рука?» Чингисхан ответил ему: «Перед тем, как взойти на царство, я скакал однажды по дороге и натолкнулся на шестерых, которые поджидали меня в засаде у моста, чтобы лишить меня жизни. Приблизившись, я вынул свой меч и напал на них. Они осыпали меня градом стрел, но все стрелы пролетели мимо, и ни одна меня не тронула. Я перебил их всех своим мечом и невредимый поскакал дальше. На обратном пути я вновь скакал мимо места, где убил этих шестерых. Шесть их лошадей бродили без хозяев. Я привел всех лошадей к себе домой»¹.

Эту неуязвимость в борьбе против шестерых врагов одновременно Чингисхан считает верным знаком завоевания и победы.

Стремление пережить других как страсть

Удовлетворение от того, что удалось пережить других, своего рода наслаждение, может перейти в опасную и ненасытную страсть. Она растет при каждом новом случае. Чем больше груды мертвых, перед которой ты стоишь живой, чем чаще видишь такие груды, тем сильнее и настоятельней потребность повторить это переживание. Карьеры героев и наемников свидетельствуют о том, что здесь возникает своего рода наркомания, от которой ничто не избавляет. Обычное объяснение, которое дается в таких случаях, гласит: такие люди способны дышать лишь воздухом опасности; безопасное существование для них тускло и пусто; мирная жизнь уже неспособна доставить им никакого удовольствия. Опасность обладает притягательной силой, этого не следует недооценивать. Но нельзя и забывать, что эти люди выходят навстречу своим приключениям не в одиночку, вместе с ними подвергаются опасности и другие. Что им действительно нужно, без чего они уже не могут обойтись, так это возобновляющееся вновь и вновь наслаждение от того, что ты пережил других.

Дело также и не в том, что для удовлетворения этой потребности надо вновь и вновь подвергать опасности самого себя. Ради победы на полях сражений действует несметное множество

¹ Vladimirov. The Life of Chingis-Khan. London, Roufledge, 1930, p. 168.

людей, и если ты их предводитель, если ты контролируешь их движения, если ты лично принял решение о битве, можно присвоить и ее результат, за который несешь ответственность, с кожей и волосами всех трупов. Полководец не случайно носит свое гордое имя. Он повелевает, он посылает своих людей против врага на смерть. Если он побеждает, ему принадлежит все поле битвы, усеянное мертвецами. Одни пали за него, другие против него. От победы к победе он переживает их всех. Триумфы, которые он празднует, наиболее полно соответствуют его стремлениям. Их значение измеряется числом мертвых. Этот успех достоин усмешки, даже если враг храбро защищался, даже если победа далась тяжело и стоила множества жертв.

«Цезарь превзошел всех героев и полководцев тем, что он провел больше всех битв и уложил больше всех врагов. Ибо за те неполные десять лет, что шла война в Галлии, он взял штурмом более 800 городов, покорил 300 народностей, сражался в общей сложности с тремя миллионами людей, и миллион из этого числа убил в боях, а еще столько же взял в плен»¹.

Так пишет Плутарх, один из самых гуманных умов в истории человечества, которого нельзя упрекнуть ни в воинственности, ни в кровожадности. Это суждение особенно ценно потому, что в нем так заостряется итог. Цезарь сражался против трех миллионов, один миллион убил, один взял в плен. Позднейшие полководцы, монголы и немонголы, его превзошли. Но это античное суждение примечательно еще и той наивностью, с какой все происходившее приписывалось одному полководцу. Взятые штурмом города, покоренные народы, миллионы поверженных, убитых, плененных врагов—все это принадлежало Цезарю. Тут нашла выражение не наивность Плутарха, а наивность истории. Это привычно со времен военных сообщений египетских фараонов; и здесь едва ли что изменилось до наших дней.

Итак, Цезарь счастливо пережил великое множество врагов. В таких случаях считается бестактным подсчитывать собственные потери. Они известны, но их не ставят в упрек великому человеку. В войнах Цезаря их, по сравнению с числом поверженных врагов, было не так уж и много. И все-таки он пережил еще несколько тысяч союзников и римлян, с этой точки зрения он тоже вышел не совсем с пустыми руками.

Эти гордые итоги передавались от поколения к поколению; у каждого находились свои потенциальные герои-воины. Их страстное стремление пережить массы людей распалялось, таким образом, до безумия. Приговор истории как будто оправдывает их замысел еще до того, как им удастся его осуществить. Наиболее изощренные в этом умении пережить других обре-

¹ Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, гл. 15.

тают в ней самое величественное и надежное место. Для такого рода посмертной славы чудовищное число жертв в конце концов важнее, чем победа или поражение. Еще неизвестно, что в самом деле творилось в душе у Наполеона во время русского похода.

Властитель как переживший других

Параноическим типом властителя можно назвать такого, который любыми средствами стремится избавиться себя от опасности. Вместо того чтобы бросить вызов и выступить против нее, вместо того чтобы в борьбе с ней прийти к какому-то результату, пусть он даже окажется и неблагоприятным, он старается преградить ей путь хитростью и осторожностью. Он создает вокруг себя свободное, хорошо обозримое пространство, чтобы заметить любой знак ее приближения и принять нужные меры. Так, он будет озираться по сторонам, поскольку сознание, что ему грозит множество врагов, которые могут выступить против него все одновременно, заставляет бояться окружения. Опасность грозит отовсюду, не только *спереди*. Она даже больше за его спиной, где он не может увидеть ее достаточно быстро. Поэтому он оглядывается, прислушивается даже к самому тихому шороху, ибо за ним может крыться враждебный умысел.

Воплощение всех опасностей — это, конечно, смерть. Важно знать точно, откуда ее можно ждать. Первый и решающий признак властителя — это его право распоряжаться жизнью и смертью. К нему никто не вправе приблизиться; кто явится к нему с известием, кто должен к нему подойти, того необходимо обыскать, ведь он может быть вооружен. Смерть старательно отдалается от него: он сам может и должен ею распоряжаться. Вынесенный им смертный приговор всегда исполняется. Это знак его власти; она абсолютна лишь до тех пор, пока остается неоспоримым его право приговаривать к смерти.

Ибо по-настоящему подвластен ему лишь тот, кого он может послать на смерть. Именно к этому сводится при необходимости последнее испытание покорности. Солдаты воспитываются в двоякого рода готовности: их посылают убивать его врагов И они сами готовы принять за него смерть. Но не только солдаты, все другие его подданные также знают, что в любой момент от него зависит их жизнь или смерть. Страх, который он внушает, — одно из его свойств; этот страх его право, и за это право его больше всего почитают. Поклонение ему принимает самые крайние формы. Так сам Господь Бог держит в своих руках смертный приговор всем живущим и тем, кто еще будет жить. От его прихоти зависит, когда он будет приведен в испол-

нение. Протестовать никому не приходит в голову — это бесполезно.

Однако земным властителям не так просто, как Господу. Они не вечны; их подданные знают, что их дни тоже сочтены. И конец этих дней можно даже ускорить. Как всегда, это делается с помощью насилия. Кто перестал повиноваться, тот решается на борьбу. Ни один властитель не может быть раз и навсегда уверен в покорности своих людей. Покуда они позволяют ему себя убивать, он может спать спокойно. Но едва кому-то удастся избежать приговора, властитель оказывается в опасности.

Чувство этой опасности никогда не покидает обладателя власти. Позднее, когда речь пойдет о природе приказа, будет показано, что его страхи *должны* становиться тем сильнее, чем больше его приказов выполнено. Он может успокоить их, лишь преподав урок. Ему нужна будет казнь ради самой казни, даже если жертва не так уж виновата. Время от времени ему придется повторять казни, тем чаще, чем быстрее растут его сомнения. Самые надежные, можно сказать, самые желанные его подданные — это те, кто посланы им на смерть.

Ибо каждая казнь, за которую он ответствен, прибавляет ему немного силы. Это сила *пережившего других*, которой он таким образом набирается. Его жертвы вовсе не собирались на самом деле выступить против него, но они могли бы это сделать. Его страх превращает их — может быть, только задним числом — во врагов, которые против него боролись. Он их осудил, они побеждены, он их пережил. Право выносить смертные приговоры в его руках становится оружием наподобие любого другого, только гораздо действенней. Варварские и восточные властители нередко очень любили собирать свои жертвы где-нибудь возле себя, так, чтобы они всегда были перед глазами. Но и там, где обычаи этого не позволяли, властители все-таки подумывали, как бы такое сделать. Зловещую забаву в подобном духе устроил, как рассказывают, римский император *Домициан* *. Пир, который он придумал и подобного которому наверняка никогда больше не было, дает самое наглядное представление о глубинной сути параноического властителя. Вот что сообщает об этом Кассий Дио *:

«В другой раз Домициан поступил с благороднейшими сенаторами и всадниками следующим образом. Он оборудовал зал, в котором потолки, стены и полы были совершенно черными, и приготовил непокрытые лежа такого же цвета, которые находились на голом полу. Гостей к себе он пригласил ночью и без сопровождающих. Возле каждого он велел сначала поставить пластинку в форме надгробия с именем гостя, тут же был и маленький светильник, какие висят в склепах. Затем в зал вошли horribly сложенные нагие мальчики, тоже раскрашенные черным,

словно призраки. Они совершили вокруг гостей зловещий танец, после чего расположились у их ног. Затем гостям были предложены угощения, какие обычно приносят в жертву духам умерших, сплошь черные на блюдах того же цвета. Гости же дрожали от страха, ожидая, что в следующий миг им перережут горло. Все, кроме Домициана, онемели. Царила мертвая тишина, как будто они уже находились в царстве мертвых. Император же принялся громко рассуждать о смерти и об убийствах. Наконец он их отпустил. Но сперва он удалил их рабов, которые их ждали в передней. Он поручил гостей другим рабам, им незнакомым, и велел препроводить их в повозки или носилки. Таким образом он внушил им еще больше страха. Едва гости оказались у себя дома и перевели дух, как к каждому стали являться посыльные императора. Теперь каждый из них был уверен, что тут-то и настал его последний час. Между тем один из них принес пластинку из серебра. Другие пришли с разными предметами, среди них — блюда из драгоценного материала, которые подавались во время еды. Наконец у каждого из гостей появился мальчик, прислуживавший ему как его особый дух, но теперь вымытый и украшенный. После ночи, проведенной в смертельном страхе, теперь они получали подарки»¹.

Таков был «Пир покойников» у Домициана, как это назвал народ.

Непрерывный страх, в каком он держал своих гостей, заставил их замолкнуть. Говорил только он, и он говорил про смерть и умерщвление. Казалось, будто они мертвы, а он один еще жив. На это угощение он собрал всех своих жертв, ибо именно жертвами они должны были себя чувствовать. Наряженный, как хозяин, но на самом деле словно переживший их, он обращался к своим жертвам, наряженным гостями. Ситуация подчеркивалась не только количеством тех, кого он пережил, в ней была особая утонченность. Хотя они были *как будто мертвы*, он мог в любой момент умертвить их на самом деле. В сущности, так был начат *процесс*, позволявший ему пережить других. Отпуская этих людей, он их милует. Еще раз он заставляет их дрожать, поручая чужим рабам. Они добираются до дому — он вновь посылает к ним вестников смерти. Они приносят им подарки, в том числе самый большой — жизнь. Он может, так сказать, послать их из жизни в смерть, а затем опять возвращать из смерти в жизнь. Этой игрой забавляется он не раз. Она дает ему высшее чувство власти — выше уже не придумаешь.

¹ Dio. Römische Geschichte. Epitome von Buch LXVII, Cap. 9.

ЭЛЕМЕНТЫ ВЛАСТИ

Насилие и власть

С *насилием* связано представление о чем-то близком и теперешнем. В нем больше принуждения, и оно более непосредственно, чем власть. Подчеркнуто говорят о физическом насилии. Самые низкие и самые животные проявления власти лучше назвать насилием. Насильно хватают добычу и насильно отправляют ее в рот. Если для насилия есть достаточно времени, оно становится властью. Но в миг, когда ситуация потом все-таки обостряется, когда надо принять решение и пути назад уже нет, она вновь оказывается чистым насилием. Власть — понятие более общее и более широкое, чем насилие; она гораздо содержательней и не так динамична. Она более обстоятельна, даже по-своему терпелива. Само немецкое слово „Macht" происходит от древнего готского корня „magān", что значит „мочь, иметь возможность", и никак не связано с корнем „machen" — „делать".

Разницу между насилием и властью можно продемонстрировать на очень простом примере — на отношении между *кошкой* и *мышью*.

Мышь, схваченная однажды, подверглась со стороны кошки насилию. Та поймала ее, держит и собирается умертвить. Но как только она начинает с нею *играть*, возникает нечто новое. Она отпускает ее, позволяя чуть-чуть отбежать. Стоит же мыши повернуться к кошке хвостом и побежать, как она уже оказывается вне сферы ее насилия. Но во *власти* кошки настичь мышь. Если она позволит ей убежать совсем, та покинет и сферу ее власти. Однако, покуда кошка наверняка может достать мышь, та остается в ее власти. Пространство, которым распоряжается кошка, мгновения надежды, которые она дает мыши, но под строжайшим надзором, не теряя интереса к ней и к ее умерщвлению, все это вместе: пространство, надежда, надзор и заинтересованность в умерщвлении — можно назвать сущностью власти или просто самой властью.

Таким образом, власти — в противоположность насилию — присуща несколько большая широта, у нее больше и пространства, и времени. Можно сказать, что *тюрьма* похожа на *пасть*: отношение между ними — это отношение между властью и насилием. В пасти уже не остается подлинной надежды, для жертвы здесь нет уже ни времени, ни пространства. И в том и в другом отношении тюрьма — как бы расширенная пасть. Можно сделать несколько шагов на спине туда-сюда, как мышь под надзором кота, то и дело чувствуя на спине взгляд надзирателя. Есть еще время и есть надежда за это время бежать или получить свободу, при

этом всегда чувствуешь заинтересованность тех, в чьей власти ты находишься, в твоей гибели, даже если эта гибель как будто отсрочена.

Но разницу между властью и насилием можно проследить и в совсем другой области, в многообразных оттенках религиозной преданности. Каждый верующий в Бога постоянно чувствует себя в божьей власти и должен с ней по-своему считаться. Но некоторым этого недостаточно. Они ждут открытого вмешательства, непосредственного акта божественного насилия, чтобы удостовериться в нем и ощутить его на себе. Они все время ждут приказа, Бог для них имеет ярко выраженные черты повелителя. Его активная воля, их активное подчинение в каждом отдельном случае, в каждом проявлении составляют для них суть веры. Религии такого рода склонны подчеркивать роль божественного предопределения, так что приверженцы их получают возможность воспринимать все, что с ними происходит, как непосредственное выражение божественной воли. Они всякий раз могут подчиняться ей, и так вплоть до самого конца. Как будто они уже живут во рту Господа, который в следующий миг их разжует. Однако в этом ужасном состоянии они должны бесстрашно жить дальше и действовать праведно.

Наиболее полно выражена эта тенденция в исламе и кальвинизме. Их приверженцы жаждут божественного *насилия*. Одной божьей власти им недостаточно, в ней есть что-то слишком общее, далекое, и она слишком много предоставляет им самим. Постоянное ожидание приказа решающим образом влияет на людей, раз и навсегда вручивших себя повелителю, и определяет их отношения с другими. Оно создает тип верующего-солдата, для которого наиболее точным выражением жизни является *битва*, который не боится ее, потому что все время чувствует себя ее участником. Об этом типе более подробно будет сказано в связи с исследованием темы приказа.

Власть и скорость

Скорость, о которой может идти речь в связи с проблемой власти, — это скорость, позволяющая *настичь* и *схватить*. И в том и в другом случае образцами для человека служили животные. Умению настигать он учился у быстро бегающих хищников, особенно у волка. Умению схватить, внезапно прыгнуть его могли научить кошки; достойными зависти и восхищения в этом искусстве были лев, леопард и тигр. Хищные птицы соединяли оба умения: и настигать, и хватать. Когда хищная птица парит одиноко и не скрываясь, а потом издалека устремляется на добычу, мы наблюдаем этот процесс во всей яркости. Он подсказал чело-

веку такое оружие, как стрела, давшая ему в руки на долгое время самую большую скорость: своей стрелой человек как бы устремляется к добыче.

Вот почему эти животные с давних времен служат и символами власти. Они олицетворяют собой богов, предков властителей. Волк был предком Чингисхана. Сокол-Гор — божество египетского фараона. В африканских империях лев и леопард — священные животные царских родов. Из пламени, на котором сжигалось тело римского императора, вылетал в небо орел как воплощение его души.

Но быстрее всех во все времена была *молния*. Суеверный страх перед молнией, от которой нет никакой защиты, распространен повсюду. Монголы, рассказывает францисканский монах Рубрук *, посланный к ним Людовиком Святым, больше всего на свете боятся грома и молнии. В грозу они удаляют из своих юрт всех чужаков, сами закутываются в черный войлок и прячутся так, откуда она не пройдет. Персидский историк Рашид, находившийся у них на службе, сообщает, что монголы остерегаются есть мясо животного, пораженного молнией, более того, они боятся к нему приблизиться. Множество разнообразных запретов у монголов служит тому, чтобы умиловить молнию. Рекомендуются избегать всего, что могло бы ее вызвать. Зачастую молния — главное оружие самого могущественного бога.

Ее внезапная вспышка среди темноты действует как откровение. Молния настигает и озаряет. По ее особенностям люди пытаются судить о воле богов. Какой она имеет вид и в каком месте неба возникает? Откуда она берется? Куда направлена? У этрусков разгадкой этого занимался особый разряд жрецов, которые потом у римлян стали называться «фульгураторы».

«Власть повелителя, — говорится в одном древнем китайском тексте, — подобна молнии, хотя и уступает ей в мощи» *. Удивительно, как часто молния поражала властителей. Рассказы об этом не всегда бывают достоверны. Однако показательно уже само желание увидеть здесь связь. Известий такого рода много у римлян и у монголов. Для обоих народов характерна вера в верховного небесного бога, у обоих сильно развито представление о власти. Молния рассматривается здесь как сверхъестественное повеление. Она поражает того, кого *должна* поразить. Если она поражает властителя, значит, она послана властителем еще более могущественным. Она служит самой быстрой, самой внезапной, но при этом и самой наглядной карой.

В подражание ей человек создал и свое особое оружие — огнестрельное. Вспышка и гром выстрела из ружья и особенно из пушки вызывали страх у народов, которым это оружие было неведомо: оно воспринималось ими как молния.

И прежде люди всячески старались сделать себя быстрее-ми из животных. Приручение лошади и образование конницы в ее наиболее совершенной форме привели к великому историческому прорыву с Востока. В каждом сообщении современников о монголах подчеркивалось, насколько они были *быстры*. Их появление всегда было неожиданным, они возникали так же внезапно, как исчезали, и вновь вырастали будто из-под земли. Даже поспешное бегство они могли обернуть атакой: стоило подумывать, что они бежали, как ты уже оказывался ими окружен.

С тех пор физическая скорость как свойство власти всячески возрастало. Излишне останавливаться на ее проявлениях в наш технический век.

Что касается хватания, то с ним связан особый вид быстроты — *разоблачение*. Перед тобой безобидное или покорное существо, но сдерни с него маску — под ней окажется враг. Чтобы оказаться действенным, разоблачение должно быть внезапным. Такого рода скорость можно назвать *драматической*. Настигать приходится лишь в небольшом, ограниченном пространстве, здесь этот процесс сконцентрирован. Засада как средство маскировки известна с древности, ее противоположность — разоблачение. От маски к маске можно добиться решающих перемен в отношениях власти. Притворству врага противопоставляется собственное притворство. Властитель приглашает военных и гражданскую знать к себе на пир. Вдруг, когда они меньше всего ожидают враждебных действий, их всех убивают. Смена одного положения другим точно соответствует прыжку из засады. Быстрога процесса доведена до крайности; от нее одной зависит успех замысла. Властитель, хорошо знающий свое собственное постоянное притворство, всегда может подозревать его и в других. Всякая быстрота, чтобы их опередить, кажется ему дозволенной и необходимой. Его мало трогает, если он набросится на невинного: в общей сущности масок можно и ошибиться. Но его глубоко заденет, если из-за промедления враг ускользнет.

Вопрос и ответ

Всякий вопрос есть вторжение. Используемый как средство власти, он проникает словно нож в тело спрашиваемого. Известно, что там *можно* найти; но хочется непосредственно прикоснуться к найденному. С уверенностью хирурга кто-то добирается до твоих внутренних органов. Он поддерживает в своей жертве жизнь, чтобы побольше о ней узнать. Это хирург особого рода, он работает, сознательно *вызывая* местную боль. Он раздражает определенные части жертвы, чтобы достоверно узнать о других.

Вопросы рассчитаны на ответы: если ответа не следует, они подобны стрелам, пущенным в воздух. Самый невинный вопрос — изолированный, не влекущий за собой других. Спрашиваешь незнакомого про какой-нибудь дом. Тот тебе его показывает. Ты удовлетворяешься этим ответом и идешь дальше своей дорогой. На какой-то миг ты задержал незнакомца. Ты заставил его что-то вспомнить. Чем ясней и убедительней его ответ, тем быстрее он освобождает человека. Он дал, что от него ожидали, и больше тебе с ним видется незачем.

Но задавший вопрос может этим не удовлетвориться и начнет спрашивать дальше. Если вопросов становится слишком много, они скоро вызывают неудовольствие спрашиваемого. У него не просто отнимают время, с каждым ответом он еще немного раскрывает себя. Это может быть какой-нибудь пустяк, лежащий на поверхности, но незнакомец вытянул его из тебя насильно. И он связан с чем-то другим, более сокровенным и гораздо более для тебя важным. Неудовольствие, которое ты ощущаешь, скоро перерастает в недоверие.

Ибо с каждым вопросом у спрашивающего возрастает ощущение власти; это поощряет его расспрашивать все дальше и дальше. Отвечающий подчиняется тем больше, чем чаще он поддается вопросам. Свобода личности здесь в значительной мере связана с возможностью защищаться от вопросов. Самая сильная тирания — та, что дает право задавать самые сильные вопросы.

Умен такой ответ, который кладет конец вопросам. Тот, кто может себе это позволить, задает встречный вопрос; среди равных это испытанное средство защиты. Кому положение не позволяет задавать встречных вопросов, тот должен либо дать исчерпывающий ответ, выложив таким образом все, чего от него хочет другой, либо как-то хитро уклониться от дальнейшего проникновения. Он может польстить, признать физическое превосходство спрашивающего, так что у того не будет нужды самому его демонстрировать. Он может перевести разговор на другое, о чем спрашивать интереснее или выгоднее. Если он знает толк в притворстве, он может выдать себя не за того. Тогда вопрос, так сказать, переадресуется другому, он же сам объявляет себя некомпетентным, чтобы отвечать.

Если конечная цель вопросов — расчленение, то первый вопрос подобен прикосновению. Прикасаются затем ко многим и разным местам. Там, где оказывается меньше сопротивления, происходит внедрение. Извлеченное откладывают в сторону, чтобы пустить в дело потом; им не пользуются тотчас же. Надо сначала добраться до чего-то, определенного заранее. За вопросом всегда кроется хорошо осознанная цель. Неопределенные вопросы, вопросы ребенка или дурака, не имеют силы, от них легко отделаться.

Опаснее всего, когда требуются ответы краткие, сжатые. Тогда трудно, а то и вовсе невозможно убедительно притвориться или в нескольких словах выдать себя за другого. Самый грубый способ защиты — прикинуться глухим или ничего не понимающим. Но это помогает только, если разговор ведется на равных. Вопрос сильного к слабому может быть поставлен письменно или переведен. Тогда ответ на него становится еще обязательней. Его можно подтвердить документально, и противник может на него сослаться.

Человек, беззащитный внешне, может прикрыться доспехами внутренними: такими внутренними доспехами против вопроса является *тайна*. Она подобна второму, более защищенному телу, скрытому внутри первого; попытка приблизиться к ней чревата неприятными сюрпризами. Тайна выделена среди остального как нечто более *плотное* и укрыта мраком, осветить который дано лишь немногим. Всегда больше волнует исходящая от тайны угроза, чем собственно ее содержание. Самое важное, можно сказать, самое плотное в тайне — это недоступность вопросу.

От *молчания* вопрос отскакивает, как меч от щита. Полное молчание — крайняя форма защиты, причем в ней столько же преимуществ, сколько и недостатков. Упорно молчащий человек ничего не выдает, зато он производит впечатление более опасного, чем есть на самом деле. Начинают думать, что он знает не только то, о чем в действительности умалчивает. Раз он молчит, ему есть о чем умалчивать; тем важнее не отпускать его. Упорное молчание ведет к мучительному допросу, к пытке.

Однако ответ всегда, в том числе и в обычных обстоятельствах, связывает человека. От него уже не так просто отказаться. Он закрепляет человека на определенной позиции и вынуждает на ней оставаться, тогда как спрашивающий может целиться отовсюду; он, так сказать, ходит вокруг другого и выискивает, откуда его удобнее поразить. Он может зайти с одной стороны, с другой, застать врасплох, привести в замешательство. Перемена позиции дает ему своего рода свободу, которой другой лишен. Он атакует человека вопросом, и если удастся его задеть, то есть вынудить к ответу, — тот уже связан и ему никуда не уйти. «Кто ты?» — «Я такой-то». Теперь человек уже не может быть никем другим, иначе его ложь поставит его в затруднительное положение. Он уже лишился возможности ускользнуть, выдав себя за другого. Этот процесс, если он продолжается некоторое время, можно рассматривать как своего рода *связывание*.

Первый вопрос выясняет личность, второй касается места. Поскольку оба предполагают языковое выражение, интересно посмотреть, мыслима ли архаичная ситуация, которая предше-

ствовала бы словесному вопросу и ему соответствовала. Интерес к месту и к личности здесь бы еще не разделялся — одно без другого не имело бы смысла. Такая архаическая ситуация нашлась: это пробное прикосновение к добыче. Кто ты? Можно ли тебя есть? Животное, непрерывно занятое поиском пищи, ощупывает и обнюхивает все, что находит. Оно сует свой нос во все: можно ли тебя есть? Каково ты на вкус? Ответом является запах, сопротивление, безжизненная неподвижность. Чужое тело обрело здесь для себя место, а обнюхивание и ощупывание означает знакомство с ним, в переводе на наши человеческие понятия: ему дают название.

По-видимому, на ранней стадии воспитания детей все больше нарастают, перекрещиваясь, два процесса; их роль неодинакова, тем не менее они тесно связаны. Если родители постоянно отдают приказы, категоричные и настойчивые, то и дети бесконечно спрашивают. Эти ранние детские вопросы подобны крику о пище, только в другой, более высокой форме. Они безобидны, ибо отнюдь не дают ребенку полного знания о родителях, чье превосходство остается непоколебимым.

С каких же вопросов начинается ребенок? Среди самых ранних — вопросы о месте: «Где то-то и то-то?» Другие ранние вопросы: «Что это?» и «Кто это?» Можно видеть, какую роль уже играют место и идентификация. Это действительно первое, что интересует ребенка. Лишь потом, в конце третьего года, начинаются вопросы «Почему?», а еще гораздо позднее: «Когда?», «Как долго?» — вопросы о времени. Так продолжается до тех пор, пока у ребенка не сформируется точное представление о времени.

Начинаясь неуверенным прикосновением, вопрос, как уже было сказано, старается внедриться дальше. В нем есть нечто разделяющее, он действует подобно ножу. Это чувствуется по сопротивлению, с каким младшие дети встречают двойные вопросы. «Что ты хочешь больше, яблоко или грушу?» Ребенок будет молчать или скажет «грушу», потому что это было последнее слово. Но действительное решение, разделение между яблоком и грушей, дается ему трудно; в сущности, он хотел бы того и другого.

Подлинной остроты разделение достигает там, где возможны лишь два простейших ответа, да или нет. Поскольку они часто противостоят друг другу, поскольку ничего промежуточного между ними не оставлено, решение того или другого рода оказывается особенно обязывающим и важным.

Пока не задашь человеку вопрос, зачастую не знаешь, что у него на уме. Вопрос вынуждает человека сделать выбор «за» или «против». Будучи вежливым и ненавязчивым, он предоставляет человеку решать.

В «Диалогах» Платона своего рода царем вопроса предстает *Сократ*. Он с презрением относится ко всем обычным видам власти и тщательно избегает всего, что о ней бы напоминало. Его превосходство — в мудрости, которой может набраться у него всякий желающий. Однако чаще всего он проявляет ее не в связных речах — он задает свои вопросы. Диалоги строятся так, что больше всего вопросов ставит он, причем эти вопросы самые важные. Так он овладевает своими слушателями, вынуждает их ко всевозможным разделениям. Господства над ними он достигает исключительно с помощью вопросов.

Важное значение имеют формы культуры, *ограничивающие* выспрашивание. Об определенных вещах нельзя спрашивать незнакомого. Если это все *же* делают, то это воспринимается как насилие, вторжение; спрашиваемый вправе чувствовать себя уязвленным. Сдержанность же должна свидетельствовать об уважении к нему. С незнакомым ведут себя так, будто он сильнейший; эта форма лести побуждает и его вести себя так же. Лишь находясь на некоторой дистанции по отношению друг к другу, не угрожая друг другу вопросами, как будто все они сильны и сильны одинаково, люди чувствуют себя уверенно и настроены миролюбиво.

Чудовищный вопрос — вопрос о *будущем*. Это, можно сказать, предел всех вопросов; в нем же больше всего и напряжения. Боги, к которым он обращен, не обязаны отвечать. Такой вопрос к сильнейшему — отчаянный вопрос. Боги ничем не связаны, в них никак нельзя внедряться дальше. Их выражения двусмысленны, разделению они не поддаются. Все вопросы к ним остаются *первыми* вопросами, на которые дается только *один* ответ. Часто ответ состоит просто из знаков. Жрецы разных народов свели их в большие системы. До нас дошли тысячи таких вавилонских знаков. Бросается в глаза, что каждый из этих знаков обособлен от других. Они не вытекают один из другого, между ними нет никакой внутренней связи. Это просто списки знаков, не более, и даже тот, кто знает их все, может каждый раз лишь по каждому из них отдельно делать заключения о чем-то отдельном в будущем.

В противоположность этому *допрос* призван восстановить *прошлое*, причем во всей совокупности происходившего. Он направлен против слабейшего. Но прежде чем рассмотреть, что такое допрос, имеет смысл сказать несколько слов об учреждении, существующем сейчас в большинстве стран, о всеобщем *полицейском учете* людей. Вырабатывается определенная группа вопросов, повсюду однотипных и в основном направленных на обеспечение порядка. Желательно знать, насколько кто-либо может быть опасен, и, если кто-то окажется опасным, желательно

иметь возможность тотчас его схватить. Первый вопрос, который официально задается человеку, — как его зовут, второй — где он живет, адрес. Как мы уже знаем, это два древнейших вопроса, вопрос об идентификации и о месте. Следующий вопрос, о профессии, призван выяснить род его деятельности; наряду с возрастом это позволяет судить о влиянии и престиже человека: как к нему относиться? Семейное положение говорит о более узком круге его связей; поэтому важно: есть ли муж, жена или дети. Происхождение или национальность могут дать представление о его образе мыслей; сейчас, в эпоху фанатичного национализма, это более важный показатель, чем религиозная принадлежность, теряющая свое значение. В общем и целом — вдобавок к фотографии и подписи — установлено уже довольно много.

Ответы на такие вопросы принимаются. Поначалу их не подвергают сомнению. Лишь в ходе допроса, который преследует определенную цель, вопрос начинает звучать подозрительно. Тут складывается система вопросов, служащая для контроля ответов; теперь каждый ответ сам по себе может оказаться неверным. Допрашиваемый находится в состоянии вражды с допрашивающим. Будучи гораздо более слабым, он может ускользнуть, если сумеет уверить, что не является врагом.

Допрос в ходе судебного следствия *еще более* усиливает позицию спрашивающего как всезнающего. Дороги, по которым шел человек, дома, где он бывал, события, которые он пережил, как ему казалось тогда, свободно, в стороне от чьих-либо глаз, — все вдруг оказывается можно проследить. По всем дорогам приходится пройти вновь, во все дома опять заглянуть, пока от былой невозвратимой свободы не останется самая малость. Судья должен как можно больше знать, прежде чем будет вправе вынести приговор. Всеведение значит для его власти особенно много. Чтобы его добиться, он имеет право задавать любые вопросы: «Где ты был? Когда ты там был? Что ты там делал?» Если ответы должны доказать алиби, место противопоставляется месту, личность личности. «Я был в это время в другом месте. Я не тот, кто это сделал».

«Однажды, — рассказывается в одной вендской легенде, — в полдень близ Дехсы на траве лежала юная девушка и спала. Рядом с ней сидел ее жених. Он думал, как бы ему избавиться от своей невесты. Тут подошла полуденная дева и стала задавать ему вопросы. Сколько бы он ни отвечал, она спрашивала его все дальше и дальше. Когда колокол пробил час, сердце его остановилось. Полуденная дева заспрашивала его до смерти» *.

Тайна

Тайна—самая сердцевина власти. Акт *выслеживания* по своей природе тайный. Затаившись, существо становится неотлично от окружения и не выдает себя ни малейшим шевелением. Оно как бы целиком исчезает, облекается тайной, словно чужой кожей, и надолго замирает в своем укрытии. В этом состоянии его отличает своеобразная смесь нетерпения и терпения. Чем дольше удастся его выдержать, тем больше надежды на внезапную удачу. Но чтобы в конце концов что-то удалось, терпение существа должно быть бесконечным. Если оно выдаст себя хоть на мгновение раньше, все пойдет прахом, и, отягощенное разочарованием, оно должно будет начать все сначала.

Потом уже хватать можно открыто, потому что здесь должен действовать ко всему еще и страх, но когда начнется пожирание, все вновь окутывается тайной. Рот темен, желудок и кишки невидимы. Никто не знает и никто не задумывается, что там беспрестанно происходит у него внутри. Этот самый изначальный процесс пожирания в основном покрыт тайной. Он начинается с тайны, с сознательного и активного выслеживания, и в тайной тьме тела завершается неосознанно и пассивно. Лишь миг хватания ярко вспыхивает в промежутке, подобно молнии, ненадолго сам себя освещая.

Сокровеннейшая тайна—то, что происходит внутри тела. *Знахарь*, силу которому дает знание телесных процессов, должен вытерпеть необычные операции на собственном теле, прежде чем будет допущен к своим занятиям.

У племени *аранда* в Австралии человек, желающий быть посвященным в знахари, отправляется к пещере, где обитают духи. Там ему вначале протыкают язык. Он остается совсем один, несмотря на то что очень боится духов. Способность выдержать одиночество, да еще именно в таком месте, где это особенно опасно, по-видимому является неременным условием для этой профессии. Считается, что потом будущего знахаря убивают копьем, которое пронзает ему голову от уха до уха, и духи уносят его в свою пещеру, где живут как бы в своего рода потустороннем мире. Для нашего мира он просто потерял сознание, в потустороннем же мире у него тем временем изымают все внутренние органы и заменяют новыми. Надо думать, что эти органы лучше обычных, может быть, неуязвимее или, во всяком случае, меньше подвержены колдовским угрозам. Он приобретает таким образом силу для своей профессии, но если вникнуть, его новая власть начинается с его внутренностей. Он был мертв, прежде чем вступил в свои права, но эта смерть служит более совершенному наполнению его тела. Его тайна известна только ему и духам: она в его теле.

Примечательная черта — наличие у колдуна множества мелких кристаллов. Он носит их вокруг своего туловища, они — неперенная принадлежность его профессии: усердные манипуляции с этими камешками совершаются при всяком действии с больным. Иногда колдун сам раздает такие камешки, затем вновь извлекает их из пораженных частей тела больного. Чужеродные, твердые частицы в теле оказываются причиной его страданий. Это как бы своеобразная валюта болезни, курс которой известен лишь колдуну.

Если не считать этих весьма интимных действий с больным, колдовство обычно совершается на расстоянии. Втайне изготавливаются всевозможные виды острых волшебных палочек, затем их издали направляют на жертву, которая, не подозревая об этом, оказывается поражена ужасным действием колдовства. Здесь в ход идет тайна выслеживания. Выпущенные с дурными намерениями маленькие стрелы иногда можно увидеть на небе в виде комет. Сам акт совершается быстро, но его действия приходится иногда ждать некоторое время.

Индивидуальные колдовские действия с целью причинить зло доступны каждому аранда. Но защита от злых действий — в руках одного лишь знахаря. Посвящение и практика дают им особые возможности защиты. Некоторые очень старые знахари могут навлекать напасть на целые группы людей. Так что существует как бы три степени власти. Тот, кто способен одновременно напустить болезнь на многих, — самый могущественный.

Немалый страх внушает колдовская сила чужаков, обитателей отдаленных мест. Вероятно, их боятся потому, что не так хорошо знают противоядие против их колдовства, как против собственного. Кроме того, здесь нет такой возможности привлечь к ответу за причиненное зло, как внутри собственной группы.

Поскольку речь идет о защите от зла, об излечении болезней, власть знахаря можно считать доброй. Но от него же может исходить и всяческое зло. Ничто плохое не происходит само по себе, все навлекает злонамеренный человек либо дух. То, что нам обычно представляется *причиной*, для них — *вина*. Всякая смерть — убийство, и это убийство требует отмщения.

Поразительно, насколько все это близко к миру *параноика*. В другом месте [...] об этом будет сказано подробнее. Будет детально описано даже вторжение во внутренние органы; после их полного разрушения, после долгих страданий они вновь обретают неуязвимость.

Двойственный характер присущ тайне и дальше, во всех высших формах проявления власти. От примитивного знахаря до параноика не более шага. И не больше шага от них обоих до

властителя, во всем множестве его хорошо известных исторических обличий.

У тайны здесь весьма активная сфера действия. Властитель, прибегающий к ней, хорошо это знает и прекрасно умеет оценить, что ему надо в каждом конкретном случае. Он знает, за кем надо следить, если хочешь чего-то добиться, и он знает, кого из своих помощников использовать для слежки. У него много тайн, поскольку он много хочет, и он приводит их в систему, где одна тайна скрывает другую. Одну он доверяет тому, другую — этому и заботится о том, чтобы они не могли друг с другом связаться.

Каждый, кто что-то знает, находится под надзором другого, которому неизвестно, какой собственно тайной владеет тот, за кем он следит. Он должен брать на заметку каждое слово и каждое движение порученного его надзору; эти сведения, накапливаясь, дают повелителю представление об образе мыслей наблюдаемого. Но и сам соглядатай находится под наблюдением других, и донесения одного корректируют донесения другого. Таким образом, властитель может всегда судить о надежности сосуда, которому он доверил свои тайны, о том, насколько стоит ему доверять, и способен заметить, когда этот сосуд окажется настолько полон, что может уже перелиться через край. Ключ ко всей сложной системе тайн в руках у него одного. Он чувствует, что опасно доверить его целиком кому-то другому.

Власть означает неодинаковую степень *просматриваемости*. Властитель просматривает все, но он не позволяет просматривать себя. Никто не вправе знать ни его настроений, ни его намерений.

Классическим примером такой загадочности был *Филиппо Мариа*, последний *Висконти* *. Его герцогство Милан было великой державой в Италии XV века. Не было равных ему в умении скрывать свою сущность. Никогда не говорил он открыто, чего хочет, но все затуманивал с помощью своеобразной манеры выражаться. Если кто-то становился ему не по душе, он продолжал его хвалить; наделяя кого-то почестями и подарками, он обвинял его в горячности или глупости и давал человеку понять, что он не достоин своего счастья. Пожелав кого-то иметь в своем окружении, он на время приближал человека к себе, обнадеживал, а затем оставлял ни с чем. Но когда человек уже считал, что его забыли, он призывал его к себе обратно. Удостоив милости людей, в чем-то перед ним отличившихся, он с удивительным притворством спрашивал потом об этом других, как будто ничего не знал об оказанном благодеянии. Как правило, он давал не то, что его просили, и всегда не так, как этого хотели. Задумав вручить кому-то подарок либо оказать почести, он за много дней до этого любил расспрашивать человека о посторонних вещах,

чтобы тот не мог догадаться о его намерениях. Более того, чтобы никому не выдать, что у него на уме, он нередко сожалел о дарованной им же самим милости или о смертном приговоре, привести в исполнение который сам же приказал.

В этом последнем случае он действовал так, будто пытался держать что-то в тайне даже от самого себя. Терялось ощущение тайны осознанной и активной, ее вытесняла пассивная форма тайны, той, что скрывается в темноте собственного тела, что хранят там, где к ней уже нет доступа, тайны, о которой не помнишь сам.

«Право царей — хранить свои тайны от отца, матери, братьев, жен и друзей», — говорится в арабской «Книге династии», где рассказано о многих древних традициях двора *Сасанидов**.

Персидский царь Хосров II Победоносный * придумал совершенно особый способ, чтобы удостовериться, умеет ли человек, которого он хочет использовать, хранить тайну. Зная, что двое из его приближенных связаны узами тесной дружбы, во всем и против всех заодно, он уединялся с одним из них и доверял ему тайну, касавшуюся его друга. Он сообщал ему, что решил этого друга казнить и под угрозой наказания запрещал выдавать тому эту тайну. Затем он наблюдал, как тот, к кому относилась угроза, появлялся во дворце, наблюдал за его поведением, походкой, за цветом лица, когда он предстал перед царем. Если видно было, что его поведение ни в чем не изменилось, он убеждался, что друг не выдал ему тайну. Тогда он этого человека приближал к себе, повышал в чине, всячески отличал и демонстрировал свое расположение. Позднее, наедине, он ему говорил: «Я собирался казнить этого человека, потому что мне кое-что о нем сообщили, но, разобравшись в деле поближе, я убедился, что все это была ложь».

Но если он замечал, что названный им человек проявлял страх, держался особняком и отворачивал взгляд, становилось ясно, что его тайна выдана. Тогда он демонстрировал предательскую свою немилость, понижал его в чине и сурово с ним обращался. Другому же он давал понять, что всего лишь испытывал его друга, доверив ему тайну.

Он доверял способности придворного молчать, когда вынуждал его предать своего лучшего друга, обреченного на смерть. Но самым скрытным старался быть он сам. «Кто не годится, чтобы служить царю, — говорил он, — тот и сам ничего не стоит, а кто сам ничего не стоит, от того мало проку»*.

Власть молчания всегда высоко ценилась. Она означает способность не поддаваться никаким внешним поводам для разговора, а им нет числа. Ты ни на что не даешь ответа, как будто тебя и не спрашивают. Невозможно понять, нравится тебе что-то или не нравится. Молчишь, хотя и не онемел. Но слышишь.

Стоическая добродетель непоколебимости в своем крайнем выражении сводилась к молчанию.

Молчание предполагает, что ты хорошо знаешь то, о чем умалчиваешь. Поскольку в действительности ты онемел не навсегда, существует выбор между тем, о чем можно сказать, и тем, о чем ты умалчиваешь. То, о чем умалчивается, лучше известно. Это знание точнее, и оно больше пенится. Оно не только защищается молчанием, оно сосредоточивается в нем. Человек, который много молчит, всегда производит впечатление более сосредоточенного. Предполагается, что, раз он молчит, он много знает. Предполагается, что он много думает о своей тайне. Она у него на уме всякий раз, когда приходится ее защищать.

Таким образом, тайна в молчащем не может забыться. Его уважают за то, что она жжет его все сильнее и сильнее, что она растет в нем и что он все-таки ее не выдает.

Молчание изолирует: молчащий более одинок, чем говорящие. Значит ему дана власть обособленности. Он хранитель сокровища, и это сокровище в нем.

Молчание противостоит *превращению* *. Кто чувствует себя на внутреннем посту, не может от него отлучиться. Молчащий может кем-то прикинуться, но уже надолго. Он может надеть какую-то маску, но уж тогда ее не меняет. Текучие превращения не для него. Они слишком неопределенны, с ними никогда не знаешь заранее, куда попадешь. Молчат всегда там, где не хотят превращаться. Замолкнув, обрывают всякую возможность превращения. Разговором все начинается между людьми, в молчании все застывает.

Молчащий обладает тем преимуществом, что его высказывания больше ожидают. Ему придают больше цены. Оно звучит кратко, обрывисто и напоминает приказ.

Между приказывающим и тем, кто должен ему подчиняться, возникают отношения искусственного видового различия, предполагающие отсутствие общего языка. Они не должны говорить друг с другом, как будто они этого не могут. При всех обстоятельствах считается, что отношения между ними возможны лишь в форме приказа. В рамках таких отношений получающие приказ становятся молчаливками. Но обычно ожидают также, что, когда молчаливники наконец заговорят, их высказывания будут звучать как приказы.

Недоверие ко всем более свободным формам правления, презрение к ним, как будто они вовсе не способны серьезно функционировать, связаны с тем, что в них мало тайны. В парламентские дебаты вовлечены сотни людей, смысл этих дебатов в их открытости. Здесь провозглашаются и сравниваются противоположные мнения. Даже заседания, объявленные закрытыми, трудно держать в полном секрете. Профессиональное любопыт-

ство прессы, финансовые интересы часто влекут за собой разглашение тайны.

Считается, что сохранить тайну может отдельный человек или совсем небольшая группа близких ему людей. Совещаться надежней всего, по-видимому, совсем маленькими группами, где все обязались хранить тайну и предусматриваются самые тяжелые санкции за предательство. Но доверять ее лучше всего отдельному человеку. Тот может сам не знать ее суть, пока ему ее не доверили, а получив, воспримет как приказ, который необходимо быстрее выполнить.

Почтение, с каким относятся к диктатурам, в значительной мере основано на том, что те имеют возможность сконцентрировать всю мощь тайны, которая в демократиях разбавлена и разделена между многими. С издевкой подчеркивается, что демократии всё способны *проболтать*. Каждый обо всем болтает, каждый во все вмешивается, нет ничего, о чем бы не было известно заранее. Кажется, будто сетуют на недостаток решительности, на самом деле разочарованы недостатком тайны.

Люди готовы вынести многое, если что-то нагрянет на них насильственно и внезапно. Похоже, существует какой-то особый рабский соблазн, ведь сам не замечаешь, как оказываешься в могучем брюхе. Непонятно, что на самом деле произошло, непонятно когда; другие еще рады первыми угодить в пасть чудовища. Почтительно ждут, трепещут и надеются стать избранной жертвой. В этом поведении можно видеть апофеоз тайны. Ее прославлению подчинено все прочее. Не так уж важно, что происходит, если только это происходит с внезапностью извергнувшегося вулкана, неожиданно и необратимо.

Но когда все тайны оказываются у одной стороны и в одних руках, это может в конечном счете оказаться роковым — не только для тех, кто ими владеет, что само по себе было бы не так уж и важно, но также и для тех, к кому они относятся, а вот это имеет значение огромное. Всякая тайна взрывчата и все больше раскаляется изнутри. Клятва, скрепляющая ее, есть то самое место, где она и раскрывается.

До чего опасна может быть тайна, стало особенно ясно лишь в наши дни. Она обрела еще больше власти в различных сферах, только внешне друг от друга независимых. Едва скончался диктатор, против которого мир вел объединенную борьбу, как тайна явилась теперь уже в виде атомной бомбы — более опасная, чем когда-либо, и быстро набирающая силу в своих отпрысках.

Концентрацией тайны можно назвать отношение между числом тех, кого она касается, и числом тех, кто ею обладает. Из этого определения легко увидеть, что наши современные технические секреты — самые концентрированные и опасные тайны из когда-либо существовавших. Они касаются всех, но осведо-

млено о них лишь малое число людей, и от пяти—десяти человек зависит, будут ли они применены.

Суждение и осуждение

Стоит начать с явления, знакомого всем, с *радости осуждения*. «Плохая книга», говорит кто-нибудь, или «плохая картина», и кажется, будто он высказывается о сути дела. Между тем выражение его лица свидетельствует, что говорит он с удовольствием. Ибо форма выражения обманывает, и скоро высказывание переносится на личность. «Плохой поэт» или «плохой художник», следует тут же, и это звучит, как будто говорят «плохой человек». Каждому нетрудно поймать знакомых и незнакомых, себя самого на этом процессе осуждения. Радость отрицательно-го суждения всегда очевидна.

Это жесткая и жестокая радость, ее ничем не собьешь. Приговор лишь тогда приговор, когда в нем звучит этакая зловещая уверенность. Он не знает снисхождения, как не знает осторожности. Он выносится быстро; по своей сути он больше подходит к случаям, когда не требуется размышления. Его быстрота связана со страстью, которая в нем чувствуется. Безусловный и быстрый приговор — это тот, который вызывает на лице про-износящего его выражение удовольствия.

В чем суть этого удовольствия? Ты что-то от себя отстраняешь в худший разряд, причем предполагается, что сам ты принадле-жишь к разряду лучшему. Унижая других, возвышаешь себя. Естественным и необходимым считается наличие двоякого рода ценностей, противопоставленных друг другу. Хорошее суще-ствует всегда постольку, поскольку оно возвышается над пло-хим. Что считать хорошим, а что плохим, определяешь ты сам.

Таким образом ты присваиваешь себе власть — власть *судьи*. Ибо это лишь кажется, что судья стоит *между* двумя лагерями, на границе, разделяющей добро и зло. Сам-то он в любом случае относит себя к лагерю добра; право исполнять эту должность ос-новано в значительной мере на его безусловной принадлежно-сти к царству добра, как будто он там и родился. Он, так ска-зать, судья по природе. Его приговор имеет обязательную силу. Судить он должен о вполне определенных вещах на основании приобретенного опыта. Он много знает о добре и зле. Но и те, кто не являются судьями, кому никто не поручал эту роль, да при здравом рассудке и не поручил бы никогда, постоянно по-зволяют себе изрекать приговоры о чем угодно. Для этого от-нюдь не требуется быть специалистом: по пальцам можно пере-считать тех, кто воздержался бы от приговора из чувства стыда.

Болезнь осуждения — одна из самых распространенных сре-

ди людей, ей подвержены практически все. Попытаемся вскрыть ее корни.

Человеку присуща глубокая потребность разделять всех, кого он себе только может представить, на группы. Подразделяя неопределенную, аморфную совокупность людей на две группы, он придает им нечто вроде *плотности*. Он группирует их, как будто они должны друг с другом бороться, он их обособляет и наделяет враждебностью. Такими, как он их себе представляет, какими он хочет их видеть, они могут друг другу только противостоять. Суждение о «добре» и «зле» — древнейшее средство дуалистической классификации, отнюдь не совсем, однако, абстрактной и не совсем мирной. Между тем и другим предполагается напряжение, и судящий создает и поддерживает это напряжение.

В основе этого процесса — тенденция образовывать враждебные орды. Конечным же результатом должна стать военная орда. Распространяясь на другие всевозможные сферы жизни, тенденция как бы *разбавляется*. Но даже если она проявляет себя мирно, даже если она выражается всего в одном-двух осуждающих словах, все равно всегда существует потенциальная возможность довести ее до активной и кровавой вражды двух орд.

Каждый, будучи связан в жизни тысячью отношений, принадлежит к многочисленным группам «добра», которым противостоит столько же групп «зла». Нужен только повод, чтобы та или другая из них, распалившись, стала ордой и набросилась на враждебную орду, пока та ее не опередила.

Тогда мирные на вид суждения оборачиваются смертными приговорами врагу. Тогда границы добра четко обозначаются, и горе носителю зла, который их переступит. Ему нечего делать среди носителей добра, он должен быть уничтожен.

Власть прощения. Помилование

Власть прощения — это власть, на которую у каждого есть право и которой обладает каждый. Было бы интересно рассмотреть жизнь с точки зрения актов прощения, которые человек себе позволяет.

Характерная черта *параноидального типа* — когда человек с трудом способен прощать или вовсе этого не может, когда он долго над этим размышляет, постоянно помнит обо всем, что надо простить, придумывает якобы враждебные действия, чтобы их никогда не прощать. Больше всего в жизни человек такого типа сопротивляется всякой форме прощения. Но если прощение полезно для его власти, если ради ее утверждения *нужно* кого-то помиловать, это делается только для видимости. Властитель ни-

когда не прощает на самом деле. Каждое враждебное действие берется на заметку, скрыто хранится в душе до поры до времени. Иногда прощение дается в обмен на истинную покорность; все великодушные акты властителей имеют такую подоплеку. В стремлении подчинить все, что им противостоит, они порой платят за это непомерно высокую цену.

Безвластный человек, для которого властитель невероятно силен, не видит, сколь важна для того всеобщая покорность. Он может, если вообще это ему дано, судить о росте власти лишь по ее реальной мощи и никогда не поймет, как много значит для блистательного короля коленопреклонение самого последнего, забытого, ничтожного подданного. Заинтересованность библейского Бога в каждом, назойливость и озабоченность, с какой он старался не упустить ни одной души, может служить высоким образцом для каждого властителя. Бог также устроил сложную торговлю с прощением; кто ему покоряется, тех он вновь берет под свою опеку. Но он внимательно следит за поведением вновь приобретенного раба, и при его всеведении ему не составляет труда заметить, что его обманывают.

Не подлежит никакому сомнению, что многие запреты введены лишь для того, чтобы поддерживать власть тех, кто может карать и прощать преступивших их. Помилование — весьма высокий и концентрированный акт власти, ибо оно предполагает осуждение; без осуждения невозможен и акт помилования. С помилованием связан также *выбор*. Не принято миловать больше, чем какое-то определенное, ограниченное число осужденных. Карающему не следует проявлять чрезмерной мягкости, и, даже если он делает вид, будто жестокое наказание глубоко противно его природе, он обоснует эту жестокость священной необходимостью кары и ею все оправдает. Но он всегда оставит открытым также путь помилования, распорядится ли о нем в избранных случаях сам или порекомендует его какой-то более высокой инстанции, занимающейся этим.

Высшее проявление власти — это когда помилование происходит в последний момент. Приговор осужденному на смерть должен быть уже приведен в исполнение, он стоит уже под виселицей или под дулами винтовок тех, кто должен его расстрелять, и тут внезапное помилование как бы дарует ему новую жизнь. Это предел власти, поскольку вернуть к жизни действительно мертвого она уже не может; однако придержанным напоследок актом помилования властитель зачастую производит впечатление, будто он перешагнул эту границу.

СОВЕСТЬ ЛИТЕРАТУРЫ

Публикуемые статьи, за исключением «Призвания поэта», содержатся в сборнике "Das Gewissen der Worte. Essays" (München: Hanser, 1975). Статья «Призвание поэта» была опубликована год спустя в мюнхенском издательстве «Ханзер» отдельной книжкой и вошла во второе издание сборника статей "Das Gewissen der Worte" (1976). Речь, посвященная Герману Броху, впервые была опубликована в сборнике избранных сочинений "Welt in Kopf" (Graz und Wien: Stiasny, 1962). Доклад «Реализм и новая действительность», сделанный в 1965 г. в Австрийском обществе литературы, впервые опубликован в журнале "Die Neue Rundschau" (1966). Речь «Пароксизмы слов», произнесенная в Баварской академии изящных искусств, впервые напечатана в "Die Neue Rundschau" (1969). Речь, произнесенная в связи с присуждением премии Георга Бюхнера, впервые опубликована в 1973 г. в Ежегоднике Немецкой академии языка и литературы в Дармштадте. Статьи «Гитлер по Шпееру», «Конфуций в своих „Беседах"», «Толстой, последний родоначальник» и «Дневник доктора Хасия из Хиросимы» впервые опубликованы в сборнике "Die gespaltene Zukunft. Aufsätze und Gespräche" (München: Hanser, 1972). Эссе «Карл Краус, школа сопротивления» и «Диалог с жестоким партнером» впервые увидели свет в "Macht und Überleben. Drei Essays" (Berlin: Literaturisches Colloquium, 1972).

22 *Брох Герман* (1886—1951) — австрийский писатель. В романах «Лунатики» (1931—1932), «Смерть Вергилия» (1945), «Искуситель» (1953) показал распад ценностей в современном ему мире. Был связан с Канетти узлами дружбы.

23 *Ибо если ему очень повезет, то он проживет этот срок...* — Долголетие было излюбленной темой размышлений Канетти, неоднократно высказывавшего желание достичь преклонного возраста. «Прежде чем думать, я хочу все прочувствовать в себе, — писал он, — а поэтому мне необходима долгая жизнь». Кроме того, долголетие представля-

лось писателю своеобразным протестом против всемогущества смерти. В интервью, данном Р. С. Бауру, Канетти следующим образом обосновывал свой интерес к долголетию: «Мне решительно недостаточно утешаться тем, что когда-нибудь что-то может быть иным, чем сейчас, что когда-нибудь, возможно, настанет вечная жизнь. Гораздо важнее, кажется мне, продлить и наполнить большим содержанием эту посюстороннюю жизнь, которой мы реально обладаем, и тем самым побороть смерть, которую мы не можем устранить окончательно. Этого мы должны достичь путем морального отрицания, а также биологическими средствами, делающими возможным сугубо физическое продление жизни. Нашей целью должно стать осуществление более полной, богатой и ответственной жизни».

- 26 *...впечатление, какое на него производила универсальная духовная замкнутость Средневековья...* — Цельности и духовной завершенности Средневековья, основанном на безоговорочной вере в абсолютную ценность, воплощенную в Боге, согласно Г. Броху, противостоит современный мир всеобщей разобщенности и относительности, для которого «не существует ни абсолютной истины, ни абсолютной ценности, а значит, и абсолютной этики». В результате «распада ценностей», определявшего духовное развитие Европы на протяжении пяти — шести веков (об этом задолго до Г. Броха писал и Я. Буркхардт — см. коммент. к с. 291), опьяненная успехами естествознания, отвернувшаяся от Бога и боготворившая науку западная культура оказалась перед полной катастрофой. Осмыслению этого процесса духовного упадка Г. Брох посвятил множество своих художественных и философских работ.

«Распад ценностей» — так называется обширное эссе, содержащееся в третьей части трилогии Г. Броха «Лунатики».

...первое крупное произведение роман-трилогия «Лунатики»... — Трилогия Г. Броха «Лунатики» состоит из следующих частей: «1888. Пазенов, или Романтика», «1903. Эш, или Анархия», «1918. Хугенау, или Деловитость».

«Роман должен быть зеркалом всех прочих систем мира». — Приводимые высказывания заимствованы из доклада Г. Броха «Образ мира в романе». Последнее из них дословно повторяется в статье «Мыслительное и поэтическое познание».

«Джеймс Джойс и современность» — речь, произнесенная Г. Брохом в связи с пятидесятилетием выдающегося английского писателя, ирландца по происхождению, Джеймса Джойса (1882—1941), автора знаменитого романа «Улисс» (1922), а также романа «Портрет художника в юности» (1916) и сборника рассказов «Дублинцы» (1914).

Витгенштейн Людвиг (1889—1951) — австрийский философ, представитель т. н. «аналитической философии» — анализа употребления языковых средств и выражений как подлинного источника фи-

лософских проблем. С помощью этих средств и строится логическая модель мира. В главном произведении Витгенштейна «Логико-философский трактат» (написан в 1918, опублик. в 1921, впервые переведен на русский язык в 1958 г.) эта модель и есть собственно философия — «зеркальный образ всей совокупности элементарных фактов (не предметов, а структур предметов), на которые «распадается мир»; задача философа — выявление правил и законов, сочетаний и взаимных трансформаций этих факторов.

27 *Смерть — это первый и древнейший, так и хочется сказать — единственный факт.* — Смерть стала одной из центральных тем творчества как

Э. Канетти, так и Г. Броха. Броху она представлялась своеобразным посредником между психофизической и метафизической реальностями. Сама по себе смерть, считал он, есть наиболее отдаленное от жизни и непостижимое явление, ибо никому не дано высказать положительное суждение о ней. Но она обретает конкретность как граница, с которой приходится сталкиваться каждому человеку и через которую в наше существование заглядывает сумрак и неизвестность иного мира. Необходимость встречи со смертью превращает метафизический страх в психическую реальность. А поэтому искусство, рассматриваемое Брохом как извечная форма освобождения человека от страха, неизбежно должно быть направлено против смерти как самого непосредственного источника этого страха. Отношение Канетти к смерти более эмоционально. Смерть воплощала для него зло, так как ограничивала жизнь. Поэтому он категорически отвергал ее и не соглашался признать ее власть над человеком. Он настаивал на том, что она в самой своей сути несоотносима с человеческим существованием и неприемлема, ибо есть нечто внеположное по отношению к жизни. В своем неистовом отрицании смерти Канетти неисправим. Критики называют его «одним из самых великих ненавистников смерти в литературе».

30 *Древнейшая из известных... экспериментальная психология...* — Имеется в виду система дыхательных упражнений, являющая собой составную часть йоги.

32 *Китайские оракулы в своих предсказаниях очень считались с ветрами.* — В Древнем Китае «вода» и «ветер» были центральными категориями гадательной науки, в значительной степени определяющими результат гадания.

«Возвращение» — новелла Г. Броха из цикла «Новеллы Зодиака», написана в 1933 г. и опубликована в декабрьском номере журнала «Нойе Рундшау» за 1933 г.

34 *Краус Карл (1874—1936)* — австрийский писатель и публицист, оказал огромное влияние на творчество Канетти.

35 *Весной 1924 года...* — Речь идет о 300-й лекции Карла Крауса, состоявшейся в Большом концертном зале Вены 17 апреля 1924 г.

36 *Мир законов, которые «хрустальным голосом», как «гневный волшебник»...* — Цитируются слова австрийского поэта Георга Тракля (1887—1914) из четверостишия, посвященного К. Краусу и опубликованного в журнале «Бренер» 15 июня 1913 г.

37 *«Слуховая цитата»* — прием, которым с успехом пользовался сам Канетти для речевой характеристики персонажей. Критики говорят о «слуховой» или «акустической цитате» как наиболее специфической особенности повествовательного искусства Канетти.

Но так как его уши всегда были открыты... — Канетти считал ухо самым важным, необходимым писателю органом чувств (см. также коммент. к с. 136). Слух, отождествляемый им со знанием вообще, непосредственно связан с речью, со способностью слышать и отвечать. Воплощением этой способности, человеком, тонко улавливающим шум времени и вместе с тем в совершенстве владеющим искусством речи, ему представлялся К. Краус.

...со времен испанца Кеведо и Свифта... — Франсиско Кеведо-и-Вильегас (1580—1645) и Джонатан Свифт (1667—1745), крупнейшие писатели-сатирики.

38 *...активное почитание своих богов, к которым принадлежали столь различные, как Шекспир, Клаудиус, Гёте, Нестрой, Оффенбах.* — Одной из существенных заслуг К. Крауса следует признать оживление интереса к драматургическому наследию Шекспира, многие драмы которого были обработаны им в тридцатых годах, и к творчеству двух, казалось бы, столь разных художников, как австрийский драматург Иоганн Непомук Нестрой (1801—1862) и французский композитор и театральный режиссер Жак Оффенбах (1819—1880). Именно Нестрою и Оффенбаху посвящены две наиболее важные программные статьи К. Крауса, опубликованные им в «Факеле» (см. коммент. к с. 41), — «Нестрой и грядущие поколения» (1912) и «Ренессанс Оффенбаха» (1927). Маттиас Клаудиус (1740—1815) — немецкий лирик и публицист, редактировал журнал «Вандесбекский вестник». Во время своих выступлений К. Краус часто читал стихотворения Клаудиуса, его песню «Взошел месяц» он оценивал как одно из самых прекрасных немецких стихотворений.

41 *«Факел»* — журнал, основанный К. Краусом в апреле 1899 г. в Вене и с 1911 г. единолично издававшийся им на протяжении всей жизни. Последний, 922-й номер журнала вышел в 1936 г. К. Краус был практически единственным автором этого журнала.

42 *...раннего Гауптмана вплоть до «Пипты»...* — Речь идет о символической драме немецкого писателя Герхарта Гауптмана (1862—1946) «А Пиппа пляшет» (1906).

...вчитывался ...в Стриндберга и Ведекинда... — Шведский писатель Август-Юхан Стриндберг (1849—1912) и немецкий драматург Франк Ведекинд (1864—1918) до 1911 г. сотрудничали в журнале

К. Крауса «Факел». Любопытно отметить, что Краус, энергично пропагандировавший творчество Ведекинда, в 1905 г. в венском театре «Трианон» осуществил постановку его пьесы «Ящик Пандоры», в которой сам сыграл роль Кунгу Потти.

...вчитывался... в Тракия и в Ласкер-Шюлер. — С выдающимися поэтами-экспрессионистами Георгом Траклем и Эльзой Ласкер-Шюлер (1869—1945) К. Крауса связывала тесная дружба. Тракль, называвший Крауса «первосвященником истины», посвятил ему одно из лучших своих стихотворений «Псалом», Э. Ласкер-Шюлер — стихотворение «Старый тибетский ковер».

Для Аристофана, которого он обрабатывал... — К. Краусу принадлежит обработка комедии древнегреческого комедиографа Аристофана (ок. 446—385 до н. э.) «Птицы».

«Гильгамеш» — ассирийско-вавилонский эпос, запись которого была найдена в библиотеке ассирийского царя Ашшурбанипала.

Грюневальд Маттиас — так начиная с XVII в. называли немецкого живописца Маттиаса Нидхардта (между 1470 и 1475—1528).

Брейгель Старший Питер (прозванный Мужиком, между 1525 и 1530—1569) — нидерландский живописец, рисовальщик и гравер.

- 48 *«Войцек»* (1837) — драма немецкого драматурга Г. Бюхнера (1813—1837). Впервые опубликована в 1875 г.

«Бесы» (1871—1872) — роман Ф. М. Достоевского.

- 49 *Достаточно назвать имя Кафки...* — Имеются в виду «Дневники» немецкоязычного писателя Франца Кафки (1883—1924), изучением творчества которого много занимался Канетти. В 1968 г. в журнале «Нойе Рундшау» им было опубликовано обширное эссе «Другой процесс. Письма Кафки к Фелиции».

...наиважнейшее из оставленного таким человеком, как Павезе, — это его дневники. — Имеются в виду опубликованные посмертно дневники покончившего самоубийством итальянского писателя Чезаре Павезе (1908—1950) «Ремесло жизни. Дневник 1935—1950» (1952).

- 53 *Цзан Сюань* (602—664) — буддийский монах, с целью собирания буддийских текстов отправился в Индию, по возвращении в Китай перевел собранные им рукописи с санскрита на китайский язык.

Баттута Ибн (1304—1377) — арабский путешественник, объездил большинство стран Азии, был в Индии, Китае, на Суматре, в Восточной и Северной Африке.

- 54 *Сэй Сёнагон* — японская писательница X века, ок. 990 г. числилась придворной дамой императрицы Садако. Знаменитые «Записки

у изголовья» Сэй Сёнагон положили начало жанру «дзуйхицу» (эссе) в японской литературе.

Сикибу Мурасаки (ок. 978 — ок. 1016) — придворная дама в Киото, автор нравоописательного романа «Гендзи-моногатари» (ок. 1001—1006), признанного вершиной классической литературы Японии.

Гейбель Фридрих (1813—1863) — немецкий драматург, дневники которого были изданы посмертно в 1885—1887 гг.

...дневники *Паскаля и Кьеркегора* — имеются в виду «Мысли» (1669) французского математика, физика и философа Блеза Паскаля (1623—1662) и «Дневник соблазнителя» (1843), вошедший в сочинение датского философа и религиозного мыслителя Серена Кьеркегора (1813—1855) «Или-или».

55 *Гелиодор* (3 или 4 в. н. э.) — древнегреческий писатель, автор любовного романа «Эфиопика».

56 *Даже те два из них, что им закончены...* — По-видимому, имеются в виду романы «Воспоминания эгоиста» (1832) и «Жизнь Анри Брюлара» (1835).

57 *...загадка превращения...* — Человеческое «я», согласно Канетти, есть результат многочисленных превращений, протекающих во времени и оставляющих неизгладимый отпечаток на личности. Способность превращения, «вживания» человека в самые разные, казалось бы, диаметрально противоположные образы, есть свидетельство жизни, противостоящее смерти. В одной из глав «Массы и власти», посвященной этой проблеме, Канетти писал: «Способность человека к превращению, которая дает ему столько власти над другими существами, до сих пор вряд ли была хоть сколько-нибудь исследована и осмыслена: Она представляет собой одну из самых великих загадок: каждый обладает ею, каждый использует ее и каждый считает ее совершенно естественной. Но очень немногие отдают себе отчет в том, что самым лучшим в себе они обязаны этой способности».

59 *Тибетская молитвенная трещотка* — сосуд цилиндрической формы, называемый чаще «молитвенной мельницей», содержащий написанные па бумаге молитвы и религиозные изречения. Такие «мельницы», имеющие широкое распространение у буддистов, например в Тибете, приводятся в движение рукой, водой или ветром и при вращении издают неимоверный шум.

60 *Бюффон Жорж Леклерк де* (1707—1788) — французский естествоиспытатель, в своем основном труде «Естественная история» (1749—1788 гг.) описал множество животных и выдвинул положение о единстве растительного и животного мира.

Золя в своем манифесте об экспериментальном романе тесно примыкает к физиологу Клоду Бернару... — «Экспериментальная медицина» фран-

цузского естествоиспытателя и физиолога Клода Бернара (1813—1878) и в особенности его труд «Введение в изучение экспериментальной медицины» (1865) сыграли значительную роль в становлении теории натурализма, развернутой Эмилем Золя (1840—1902) в программном сочинении «Экспериментальный роман» (1880).

Джеймс Уильям (1842—1910) — американский философ, один из основателей прагматизма, как известно, имел определенное влияние на творчество Дж. Джойса.

...влияние Бергсона — Прусту. — Анри Бергсон (1859—1941), французский философ, один из наиболее значительных представителей т. н. «философии жизни»; Марсель Пруст (1871—1922), французский писатель.

...Музилю с помощью гештальтпсихологии удалось защититься от психоанализа... — Гештальтпсихология, одна из ведущих школ зарубежной психологии, выдвинула принцип целостности (введенное Г. фон Эренфельсом понятие «гештальта») в качестве основы исследования психических явлений. Об отношении австрийского писателя Р. Музиля (1880—1942) к гештальтпсихологии см. также коммент. к с. 211.

...книга становится тождественна дню. — Действие романа Дж. Джойса «Улисс» происходит в течение одного дня — 16 июня 1904 г.

62 *Речь в Баварской академии изящных искусств* — произнесена Канетти в 1969 г. в связи с присуждением литературной премии Баварской академии изящных искусств.

66 *Шпеер Альберт* (1905—1981) — немецкий архитектор, с 1942 г., после смерти Ф. Тодта (см. коммент. к с. 72), занимавший должность имперского министра военной промышленности; приговорен Международным военным трибуналом в Нюрнберге к 20 годам лишения свободы и отбывал заключение в крепости Шпандау в Берлине.

Строительные планы Гитлера... самая ошеломляющая часть его книги. — Речь идет о «Воспоминаниях» (1969) Л. Шпеера.

72 *Тодт Фриц* (1891—1942) — национал-социалистский политик, архитектор и инженер, с 1933 г. руководил дорожным строительством, был имперским министром военной промышленности.

73 *В случае Шребера...* — Даниель Пауль Шребер был параноиком, проведшим 8 лет в психиатрической лечебнице Зонненштайн близ Дрездена и описавшим свою болезнь в книге «Размышления нервнобольного» (Лейпциг, 1903). Сочинение Шребера подробно рассматривается в исследовании З. Фрейда «Психоаналитические заметки по поводу одного автобиографического случая описания паранойи» (1911).

- 78 *Пример Людвига II Баварского его не пугает...* — Канетти намекает на безграничную расточительность короля Людвига II Баварского, затеявшего строительство большого дворцового ансамбля и завязшего в долгах, которые впоследствии были покрыты Бисмарком, связанным с Людвигом II союзническими обязательствами.
- 80 *Лютер Мартин* (1483—1546) — религиозный мыслитель и крупнейший деятель Реформации, глава протестантизма в Германии. Выступление Лютера против римско-католической церкви встретило широкую поддержку крестьянских масс.
- 81 *Близкое окружение Гитлера в Оберзальцберге...* — В Оберзальцберге, расположенном на одном из северо-восточных склонов Баварских Альп, размещалась резиденция Гитлера.
- 82 *«Философия» Розенберга* — имеется в виду апологетика расизма в книге «Миф XX века» идеолога фашизма Альфреда Розенберга (1893—1946).
- 83 *Грютцнер Эдуард фон* (1846—1925) — немецкий художник, автор многочисленных жанровых зарисовок, изображающих, главным образом, застолья.
- ...резко высказался он о Гиммлере, когда тот назвал Карла Великого истребителем саксов.* — Имеется в виду казнь 4500 саксонских заложников под Верденом, учиненная Карлом Великим в отместку за поражение, нанесенное саксонцами его войску в 782 г.
- 89 *Высадку в Нормандии он долго считает обманным маневром...* — Имеется в виду высадка союзнических войск в Нормандии 6 июня 1944 г. и открытие второго фронта в Европе.
- Неудавшееся покушение 20 июля...* — Как известно, покушение на Гитлера, предпринятое 20 июля 1944 г. группой офицеров, которой руководил полковник Клаус Шенк фон Штауфенберг, провалилось. Бомба, подложенная в резиденции «Вольфшанце», всего лишь легко ранила Гитлера. 180 участников заговора были казнены.
- 90 *Фридриха спасла от грозной опасности смерть его злейшей врагини.* — Намек на внезапную смерть русской императрицы Елизаветы в разгар Семилетней войны, когда Пруссия после ряда побед русских войск оказалась на грани катастрофы, и спасительный для Фридриха II союз с Россией, заключенный Пруссией в период царствования Петра III.
- 91 *«Беседы»* — один из великих памятников мировой культуры «Беседы и высказывания» (Лунь юй) древнекитайского мыслителя Конфуция (551—479 до н. э.).
- «На циновку, которая лежала не так, как надо, он не садился».* — Лунь юй, X.12.

- 92 Эти сведения ставят его позднейшие враги легисты. — Школа легистов (законников) появилась в Китае в конце правления Чжоуской династии (VI в. до н. э.). Легисты критически относились к конфуцианству, резко отвергали методы управления, основанные на ритуале и родовых традициях, ибо полагали, что основой социального устройства должны быть не этические нормы и выспренные рассуждения, а единые и обязательные для всех законы (фа).

Хань Фэй-цзы (288—233 до н. э.) — древнекитайский философ, один из крупнейших теоретиков легистской школы.

- 93 ...властитель Чжоу, живший за 500 лет до него — т. е. Чжоу Гун (ум. 1105 г. до н. э.), младший брат основателя династии Чжоу У-вана и правитель государства Лу, где родился Конфуций. Чжоу Гун заложил основы чжоуского ритуала, музыки, законодательства и принципов управления; пользовался огромным авторитетом у Конфуция и его учеников.

Образец является ему во сне... — Ср. «Учитель сказал: „О, как я ослабел: я уже давно не вижу во сне Чжоу Гуна"» (Лунь юй, VII. 5).

- 94 «К молодому человеку»... — Лунь юй, IX. 23.

«Если еще не знаешь жизни, то как можешь знать смерть?» — Лунь юй, XI.12.

- 95 «Ли-цзи» (Книга обрядов) — один из основных памятников конфуцианского канона, сложившийся в основном в IV—I вв. до н. э., представляет собой собрание взглядов Конфуция на ритуал и мораль в изложении его учеников и последователей.

«Через три дня опять начинают есть...» — это и последующие высказывания содержатся в «Ли-цзи».

- 96 ...его паразит Руссо. — Канетти имеет в виду «Исповедь» (1781—1788) французского просветителя, писателя и педагога Жан Жака Руссо (1712—1778).

- 97 Франклин Бенджамин (1706—1790) — американский просветитель, государственный деятель, ученый.

- 101 *Биография А. Труайя* — книга французского ученого Анри Труайя (наст. имя и фам. Лев Тарасов) «Толстой, или Бегство в истину» (1965) является одним из самых популярных на Западе монографических исследований, посвященных жизни Л. Толстого.

- 102 *Жизнь Толстого под конец разворачивается как в «Ослеплении»...* — Имеется в виду роман Э. Канетти «Ослепление», в котором друг другу противостоят отрешенный от жизни ученый-синолог Петер Кин и его экономка, а в будущем жена — Тереза, воплощающая низкие инстинкты и примитивные страсти. Роман завершается огромным пожаром, в котором погибает Кин и сгорает вся его библиотека.

...ищет он в учебнике психиатрии Корсакова... — Имеется в виду «Курс психиатрии» (1893) выдающегося русского ученого, основоположника московской научной школы психиатров С. С. Корсакова (1854—1900).

103 *Город сорока семи ронинов...* — В начале XVIII в. 47 самураев из клана Аки, ставших «ронинами», т. е. утратившими связь со своим кланом после убийства их сюзерена, отомстили за погибшего, выследив убийцу и отрубив ему голову. Тем самым они соблюли кодекс самурайской чести, «бусидо», и после их казни прославлялись как герои и мученики.

104 *«Пикадон»* — японское просторечное слово, образованное от «пика» (выпешка молнии) и междометия «дон» (звук сильного взрыва) и означающее взрыв атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки.

110 *Лихтенберг Георг Христофор* (1742—1799) — немецкий просветитель; родился в местечке Оберрамштадт под Дармштадтом.

111 *«Ленц»* — повесть Г. Бюхнера, героем которой является писатель и драматург эпохи «Бури и натиска», друг юности Гёте, Якоб Михаэль Рейнхольд Ленц (1751—1792).

«Я считаю... что ты рядом». — Приводимое высказывание содержится в письме матери Г. Бюхнеру от 30 октября 1836 г.

...как много значил когда-то Страсбург... и ... видный в те годы Ленц. — Канетти имеет в виду богатое литературное прошлое Страсбурга, в частности, состоявшуюся в 1770 г. встречу немецкого философа и просветителя Иоганна Готфрида Гердера (1744—1803) и И. В. Гёте, по существу положившую начало течению «Бури и натиска». В Страсбурге же некоторое время жил и Я. М. Р. Ленц.

112 *...студенты встречают Раморино, борца за свободу Польши.* — Речь идет о восторженной встрече, устроенной населением Страсбурга герою Польского освободительного восстания 1830—1831 гг. генералу Джироламо Раморино. Описание этого события содержится в письме Бюхнера родителям от декабря 1831 г.

113 *Его смелое поведение перед следователем...* — Имеется в виду резкий протест Бюхнера по поводу обыска, произведенного в отсутствие писателя на его квартире в Гисене в начале августа 1834 г.

Миннигероде Карл Фридрих (1814—1894) — член «Общества прав человека» и ближайший соратник Бюхнера, изучал право в Страсбурге. 1 августа 1834 г. был схвачен в Гисене с пачкой прокламаций «Гессенский сельский вестник» и брошен в тюрьму. Г. Бюхнер некоторое время строил планы побега своего друга из тюрьмы Фридрихсберга, но ухудшившееся здоровье Миннигероде не позволило их осуществить.

...явка к следователю брата Вильгельма, вместо поэта, вызванного на допрос... — В конце февраля 1835 г. Бюхнер был вызван на допрос к дармштадтскому следователю. Опасаясь ареста, Бюхнер послал на допрос своего брата Вильгельма. Много лет спустя в письме австрийскому писателю и издателю сочинений Г. Бюхнера Карлу Эмилю Францозу (1848—1904) от 9 сентября 1878 г. Вильгельм Бюхнер вспоминает это событие: «От приглашения на допрос к следователю в Оффенбах он (Г. Бюхнер. — Р. К.) уклонился; допроса же в дармштадтской тюрьме он избежал потому, что вместо себя послал меня; я был предварительно проинструктирован ни в коем случае не выдавать себя до начала допроса, а также постараться выяснить, есть ли у следователя намерение арестовать меня вместо Георга. Уже много дней у ограды нашего двора мы держали наготове лестницу, по которой он смог бы сбежать в соседние дворы, если бы за ним пришли охранники».

...его письмо Гуцкову... — Автор имеет в виду известное письмо Г. Бюхнера немецкому писателю и публицисту Карлу Гуцкову (1811—1878), к тому времени редактору франкфуртского издательства «Зауэрлендер». Это письмо, датированное 21 февраля 1835 г., было приложено к рукописи «Смерть Дантона» (см. коммент. ниже). Среди прочего, в нем говорилось: «...не удивляйтесь, что я врываюсь в Вашу комнату, приставляю рукопись к Вашей груди и требую милостыню. Другими словами, я прошу Вас прочитать прилагаемую рукопись как можно скорее и, если Ваша совесть, совесть критика, позволит это сделать, рекомендовать ее г-ну Зауэрлендеру и сразу ответить мне. О самом произведении могу сказать Вам лишь одно: несчастные обстоятельства заставили меня написать его в спешке, за месяц с небольшим. Говорю это, чтобы смягчить Ваше суждение об авторе, но не о самой драме. Не знаю, что мне с ней делать; знаю только, что у меня есть все основания не краснеть перед историей; утешаюсь мыслью, что все поэты, за исключением Шекспира, склоняют голову перед историей и природой, как пристыженные ученики».

«Дантон» — т. е. «Смерть Дантона» (1835), драма Г. Бюхнера.

- 114 *...мысли о раздоре с отцом...* — Бегство Г. Бюхнера в начале марта 1835 г. из Дармштадта, подтвердившее для родных его бунтарство, привело к разрыву с отцом.

...забота о друзьях, томящихся в тюрьме... — В заключении находились друзья и соратники Г. Бюхнера — Ф. Л. Вайдинг (1791—1837), К. Миннигероде, А. Бекер (1818—1871) и др.

- 115 *...Гуцков в одном из писем...* — Речь идет о письме К. Гуцкова Г. Бюхнеру от 12 мая 1835 г.

...Вогезы... превращаются... в ландшафт страха. — В повести рассказывается о пребывании Я. М. Р. Ленца в Вогезах, в доме пиетистского пастора Оберлина, и о его начавшемся психическом заболевании,

отразившемся на восприятии писателем окружающего его горного ландшафта.

...исследованием нервной системы усачей... — так называлась диссертация Г. Бюхнера, завершенная в Страсбурге в марте 1836 г. О результатах этой работы Бюхнер докладывал 13 и 20 апреля, а также 4 мая 1836 г. на заседании страсбургского Société du Museum d'Histoire Naturelle.

- 116 *Что печальное известие оказалось ложным...* — На самом деле К. Миннигероде в 1837 г. по состоянию здоровья был освобожден из-под ареста и выпущен на свободу. В 1839 г. он эмигрировал в Америку, преподавал там языки, был пастором.

...по заключению надворного советника Кларуса об убийце Войцек. — Г. Бюхнер, конечно, был знаком с «Заключением о вменяемости убийцы Иоганна Христиана Войцека», подписанным надворным советником Иоганном Христианом Августом Кларусом (1774—1854) и выпущенным в свет Лейпцигским издательством «Герхард Флайшер» в 1824 г. Об этом свидетельствуют встречающиеся в «Войцек» многочисленные цитаты из сочинения Кларуса.

Люнинг Август (ок. 1818—?) — кантональный врач. Приводимые далее слова доктора Люинга заимствованы из его воспоминаний о Г. Бюхнере, написанных в ноябре 1877 г. по просьбе К. Э. Францова.

Штёбер Август (1808—1884) — известный собиратель эльзасских сказаний, сказок и народных песен, в 1830—1831 гг. изучал теологию в Страсбурге и поддерживал близкие отношения с Г. Бюхнером. Канетти цитирует строчки из письма Бюхнера А. Штёберу от 9 декабря 1833 г.

- 118 *...растроганность капитана по поводу его висящего мундира и бессмертные гороховые эксперименты доктора.* — В драме Г. Бюхнера цельному в его естественности характеру Франца Войцека противостоят карикатурные образы капитана и доктора. Первый приходит в умиление и пускает слезу при виде своего мундира, висящего на стене. Второй, ничего не смысля в медицине, только и делает, что занимается бесполезными экспериментами, например прописывает Войцеку гороховую диету.

...вспоминаешь историю Марион... — Марион, куртизанка, возлюбленная Дантона, персонаж драмы «Смерть Дантона». В разговоре с Дантоном Марион защищает свое право на наслаждение: «Не все ли равно, от чего получать удовольствие — от мужского тела, от иконы, от цветов или от игрушек? Чувство одно и то же. Кто больше наслаждается, тот чаще молится».

- 119 *...немногое мы находим в записях Каролины Шульц...* — Дневниковые записи Каролины Шульц, урожденной Сарториус, соседки Г. Бюхне-

ра по цюрихской квартире, являются наиболее ценным свидетельством о последних днях жизни писателя.

- 121 ...убили нескольких рабочих. Суд оправдал убийц. — 30 января 1927 г. в местечке Шаттендорф во время столкновения шуцбундовцев с монархическими фронтовиками были убиты безработный инвалид войны Маттиас Ксмартис и семилетний мальчик Иозеф Грессинг. Суд, проходивший с 5 по 13 июля в Вене, квалифицировал убийство как непреднамеренное и оправдал семерых подсудимых.

- 124 *Фукидид* (ок. 460—400 гг. до н.э.) — древнегреческий историк, автор восьмитомной истории Пелопоннесской войны.

Виланд Херцфельде, основатель издательства «Малик». — Специализирующееся главным образом на публикации зарубежной социально-критической и революционной литературы издательство «Малик» было основано немецким писателем Виландом Херцфельде (1896—1988) в 1917 г. и просуществовало до 1933 г. После прихода к власти национал-социалистов издательство было вынуждено эмигрировать в Прагу, оттуда в Лондон и осело, наконец, в Нью-Йорке, где еще некоторое время было известно под названием «Аврора».

Шлихтер, Шванеке — популярные в двадцатые годы рестораны Берлина.

Грос Георг (наст. имя и фам. Георг Эренфрид, 1893—1959) — немецкий график и живописец (см. также коммент. к с. 182).

Ашингер — модное кафе Берлина.

- 125 *Берг Альбан* (1885—1935) — австрийский композитор, один из самых значительных представителей «новой венской школы».

Веберн Антон (1883—1945) — австрийский композитор и дирижер.

- 126 *Средства для существования я обеспечил себе несколькими книгами Эптона Синклера, которые взялся перевести для издательства «Малик».* — В начале тридцатых годов Канетти по заказу издательства «Малик» перевел на немецкий язык романы американского писателя Эптона Синклера (1878—1968) «Испытания любви» (1930), «Деньги диктуют» (1930) и «Пьяный парад» (1932).

- 128 ...я обязан ... фототипиям *Изенгеймского алтаря*. — Роспись алтаря в Изенгейме является шедевром немецкого живописца Маттиаса Грюневальда (см. коммент. к с. 42).

- 129 *Меркель Георг* (1881—?) — австрийский художник.

Вотруба Фриц (1907—1975) — австрийский скульптор. Его творчеству посвящена одна из первых эссеистических публикаций Канетти: «Фриц Вотруба» (Вена: Розенбаум, 1955).

- 134 *«Метаморфозы» Овидия* — поэма римского поэта Публия Овидия Назона (43 до н.э. — 17 н.э.)

Ариосто Лудовико (1474—1533) — итальянский поэт эпохи Возрождения, автор поэмы «Неистовый Роланд».

- 136 *И здесь не обойтись без чуткого настороженного уха.* — Противопоставление уха как наиболее важного органа чувств глазу прослеживается на протяжении всего творчества Канетти. Слух, считал он, в отличие от зрения, скользящего по поверхности, способен схватывать глубинную, сокрытую от глаз суть явлений. Глаз активен, а ухо пассивно и покорно. Поэтому оно более чутко и непосредственно воспринимает самые незначительные превращения, постоянно происходящие в мире. Оно есть единственный и неподкупный свидетель не уловимых глазом движений души — радости и страдания, тоски и педали, признательности и сочувствия. В противопоставлении культуры слуха культуре зрения в творчестве Канетти проявилась сознательно архаизируемая писателем тема противоположности иудейско-библейской, т. е. нравственной, и греческо-античной, т. е. эстетической, культур.

Эмпатия — сопереживание; в психологии и психотерапии — метод и процесс эмоционального проникновения в психический мир и актуальное состояние партнера.

- 138 *Ad usum Delphini* (лат.) — досл. для пользования дофина. Так называлось составленное при короле Людовике XIV собрание сочинений античных авторов, которое предназначалось для наследника престола (дофина) и в котором поэтому все предосудительные с воспитательной точки зрения пассажи были вынесены в приложение. Впоследствии так стали называть любые издания, в которых авторский текст подвергался редактированию по цензурным соображс-

- 139 *...как бы ни расценивать... истинность психоаналитического учения, добрую толику своей силы оно почерпнуло в слове «Эдип»...* — Канетти намекает на одно из наиболее широко известных понятий психоанализа — «эдипов комплекс», выражающий конфликт между досублиматорной (природной) и сублиматорной (индивидуальной) фазами психического развития человека.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Э. Канетти до настоящего времени опубликовал три книги воспоминаний, объемлющие период 1905—1937 гг.: „Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend“ (München: Hanser, 1977); „Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921—1931“ (München: Hanser, 1980); „Das Augenspiel. Lebensgeschichte 1931—1937“ (München: Hauser, 1985). Первым толчком к созданию автобиографической книги, по свидетельству писателя, была болезнь его младшего брата Жоржа Канетти (1911—1971): «Во время его последней болезни я решил написать для него историю нашего дет-

ства, в надежде, что она поможет ему преодолеть болезнь. Помню, я еще сказал ему об этом. Книга, появившаяся таким образом, называется «Спасенный язык». К сожалению, я не успел ему показать даже первые главы. Он умер. Книга посвящена ему, и без него ее вообще бы не было». После опубликования первой книги в 1977 г. вскоре появились и следующие части автобиографии.

- 141 *...квартал, к которому примыкал наии, сефардский.* — Сефардами называли потомков евреев, изгнанных из Испании в 1492 г.

Вервольф — оборотень. Вервольфами, согласно древним представлениям, называли людей, время от времени превращающихся в волка и сохраняющих при этом человеческое сознание.

- 142 *Фердинанд I Кобургский* (1861—1948) — болгарский князь (с 1887 г.) и царь, правивший в 1908—1918 гг. Основатель династии Кобургов.

«Бургтеатр» — знаменитый венский театр, основанный в 1741 г.

- 149 *Шаббат* — сутки от вечера пятницы до вечера субботы, являющиеся, согласно иудаистской религии, священным временем отдыха и включающие в себя определенные ритуалы.

- 151 *Пурим* — иудейский религиозный праздник, согласно преданию восходящий к чудесному спасению евреев от истребления в Персидском царстве при Артаксерксе; справляется ежегодно 14 и 15 адара (февраль/март). Об установлении праздника пурим в книге Есфирь в Библии (9.21—32).

Следующее событие — большая комета... — Имеется в виду комета Галлея.

- 155 *...помнится, первого августа...* — 1 августа 1914 г. Германия объявила войну России, 3 августа — Франции. 4 августа Англия объявила войну Германии.

"God save the King" (англ.) — «Боже, храни короля», британский национальный гимн.

- 156 *«Заря, заря, светишь ты мне...» ...«Там на лугу — две галки...»* — две популярные немецкие песни. Первая из них („Morgenrot, Morgenrot, leuchtest mir zum frühen Tod") является переложением стихотворения знаменитого сказочника Вильгельма Гауфа (1802—1827) «Утренняя песня всадника». Вторая („Drüben am Wiesenrand hockten zwei Dohlen") принадлежит австрийскому писателю Хуго Цукерману (1881—1914), приобретшему благодаря этой песенке огромную популярность в Германии.

- 157 *...увлекся историей освободительных войн греков...* — Речь идет об освободительных войнах, которые греки вели против Турции в 1821—1830 гг.

160 *Кружок Хоттинген* — литературный кружок в Хоттингене (район Цюриха), основан в 1882 г. с просветительскими целями. При кружке имелаась библиотека, издавался журнал, слушались доклады. С чтением своих произведений выступали такие выдающиеся писатели, как Р. Вальзер, К. Шпиттелер, К. Краус, Т. Манн. Кружок просуществовал до 1941 г., постепенно утрачивая свое значение с развитием средств массовой информации.

161 *«Хороший друг»* („Der gute Kamerad“, нем.) — популярная иллюстрированная газета для юношества, издававшаяся в Штутгарте с конца прошлого века до 1944 г.

«Золото реки Сакраменто», о приключениях швейцарского старателя Зуттера в Калифорнии. — Иоганн Август Зуттер (1803—1880), колонизатор Америки, был родом из Швейцарии, основал в Калифорнии колонию «Нью-Гельвеция». Открытие Зуттером золотых приисков положило начало золотой лихорадке в Америке. К истории этого швейцарского авантюриста обращались многие писатели; так, ей посвящена одна из миниатюр книги Стефана Цвейга «Звездные часы человечества» — «Открытие Эльдорадо».

...рассказ о Сеяне, фаворите тирана Тиберия. — Луций Элий Сеян (между 20/16 до н.э. — 31 н.э.), единоличный командующий императорской гвардией, пользовался безграничным доверием римского императора Клавдия Нерона Тиберий (42 до н.э. — 37 н.э.). В 31 г. н.э. был изобличен в заговоре и казнен.

Лацко Андреас (1876—1943) — немецкий писатель, автор пацифистских романов «Люди на войне» (1917) и «Мировой суд» (1918).

Франк Леонгард (1882—1961) — немецкий писатель.

162 *Рагаз Леонгард* (1868—1945) — швейцарский проповедник и религиозный мыслитель, представитель т. н. «христианского социализма».

163 *...она высказывалась о «Иеремии» Стефана Цвейга...* — Премьера драмы С. Цвейга «Иеремия» (1917) состоялась в Цюрихском городском театре 27 февраля 1918 г.

Солон (ок. 638 — ок. 559 до н.э.) — афинский политический деятель и писатель.

Фемистокл (ок. 525 — ок. 460 до н.э.) — афинский полководец, в период греко-персидских войн с 493/492 г. архонт и стратег.

Она... считала своим идеалом мать братьев Гракхов. — Воспитанием своим и высокими стремлениями римские народные трибуны братья Гракхи — Тиберий (162—133 до н.э.) и Гай (153—121 до н.э.) — обязаны своей матери Корнелии, дочери римского полководца Сципиона Африканского, приобщившей сыновей к кружку

Сципионов — центру греческой образованности и передовой политической мысли.

- 165 *Бузони Ферручо Бенвенуто* (1866—1924) — итальянский пианист, дирижер и композитор, концертировал во многих странах. В годы первой мировой войны жил в Цюрихе.

Квартет Шэше — Йенский струнный квартет, концертировал в 1911—1914 гг. под руководством Александра Шэше (1887—?).

«*Страсти по Матфею*» (1728—1729) — знаменитая оратория Иоганна Себастьяна Баха (1685—1750).

Дуриго Илона (1881—1943) — выдающаяся венгерская певица, непревзойденная исполнительница партии альта в сочинениях И. С. Баха.

- 166 *Штайнер Рудольф* (1861—1925) — немецкий философ и мистик, основоположник антропософии; увлекался натурфилософией Гёте, был сотрудником архива Гёте в Веймаре и издателем двадцатитомного собрания сочинений Гёте, воздействие которого сказалось на его собственных философских сочинениях. Во время первой мировой войны находился в Швейцарии, где развил бурную деятельность — читал лекции и руководил строительством антропософского «храма» Гетеанум.

- 170 *Келлер Готфрид* (1814—1890) — классик швейцарской литературы.

Ведекинд Франк (см. коммент. к с. 42) — неоднократно приезжал в Цюрих на гастроли со своей женой, драматической актрисой Тили Ведекинд (1886—1970). В пьесе «Дух земли» он исполнял роль доктора Шена, Тили Ведекинд выступала в роли Лулу.

- 171 *Реклам* („Reclam“) — крупное лейпцигское издательство, специализирующееся на издании книг дешевого карманного формата.

14 пунктов Вильсона — программа демократического урегулирования разногласий стран-участниц первой мировой войны, сформулированная американским президентом Томасом Вудро Вильсоном (1856—1924). За разработку этой программы Т. В. Вильсон был удостоен Нобелевской премии мира.

- 173 «*Три праведных гребеника*» — одна из новелл сборника «Люди из Зельдвилы».

...издавались писатели, которые добились известности после революции. — Издательство «Малик» сыграло огромную роль в популяризации русской советской литературы. В течение двадцатых годов оно опубликовало произведения М. Горького, В. Маяковского, К. Федина, И. Эренбурга, Л. Сейфуллиной, Л. Коллонтай, С. Третьякова, М. Ильина и др. Кроме того, в 1928 г. издательство приобрело

права на издание сочинений Л. Толстого и выпустило их в свет в 14 томах.

- 174 ...заклеймив порядки на чикагских скотобойнях... — Имеется в виду роман Э. Синклера «Джунгли» (1906).

Ибби—Иболия Гордон (урожд. Фелдмессер), австрийская писательница венгерского происхождения.

- 175 ...добился дружбы Эльзы Ласкер-Шюлер. — Ласкер-Шюлер (см. коммент. к с. 42) в 1901—1911 гг. состояла в браке с основателем журнала «Штурм» (см. коммент. ниже) Гервартом Вальденом (псевдоним Георга Левина, 1878—1941) и была дружна с писателями и художниками, сотрудничавшими в журнале,

«Штурм» — общественно-политический журнал, основанный в 1910 г. Г. Вальденом; наряду с журналом «Аktion» был одним из наиболее значительных центров экспрессионистского движения. В журнале активно сотрудничали Р. Демель, А. Дёблин, А. Эренштейн, И. Голль, Я. ван Годдис, Э. Ласкер-Шюлер, Р. Леонгард, Р. Шикеле, А. Штрамм и др. Велика была заслуга «Штурма» и в пропаганде нового изобразительного искусства. На его страницах публиковались репродукции П. Клее и Ф. Марка, Л. Фейнингера и О. Кокошки, М. Шагала и В. Кандинского, Э. А. Кирхнера и Э. Нольде.

- 176 *Хартфилд Джон* (наст. имя и фам. Гельмут Херцфельц, 1891—1968) — художник-плакатист, график и типограф, создатель пролетарского антифашистского фотомонтажного плаката, оформлял книги для издательства «Малик».

- 180 *Помона* — римская богиня плодов и садовых деревьев. См. подробнее: Овидий. Метаморфозы. Книга 14 (623-й стих и далее).

- 182 *Ессе Ното* — т. е. Георг Грос (см. коммент. к с. 124), один из значительных художников-экспрессионистов и лидеров возглавляемого Р. Хюльзенбеком берлинского дадаизма в 1917—1920 гг. Характерное для этих течений анархическое бунтарство приобрело в карикатурах Г. Гроса острую социально-критическую направленность. „Ессе Ното“ (1922) — так называлась серия графических работ Гроса, выполненная в характерной для него гротескной манере.

- 184 ...после визита господина Хунгербаха... — Посещение господина Хунгербаха, человека грубого и малообразованного, описано в одной из первых глав второй книги воспоминаний Э. Канетти. Это посещение связано с намерением давнишнего знакомого матери взять воспитание шестнадцатилетнего подростка в свои руки и «сделать из него человека».

Огер — так называл в детстве автор воспоминаний своего дядюшку с материнской стороны Соломона Ардитти. Господин Ардитти был преуспевающим торговцем в Манчестере и воплощал для маленько-

го Элиаса все отрицательные качества — жестокость, бессердечность, расчетливость и высокомерие.

187 *Борхардт Ганс Герман* (1891—1951) — педагог и писатель, коммунист, в двадцатых годах сотрудничал с Б. Брехтом, в частности помогал ему в работе над пьесой «Святая Иоанна скотобоев» (1929—1930).

188 *Лот Андре* (1885—1962) — французский художник, теоретик искусства и педагог. В 1922 г. на Одесской улице в Париже основал частную академию, где безвозмездно обучал молодых людей технике живописи.

191 *Аркус Аня* — немецкая писательница, поэтесса.

206 *Дёблин Альфред* (1878—1957) — немецкий романист, драматург и эссеист.

Бенн Готфрид (1886—1956) — немецкий поэт.

209 *...труд, который должен был так много в себя вместить.* — Речь идет о незавершенном романе Р. Музиля «Человек без свойств» (т. 1—3, 1930—1942), в котором распад Австро-Венгерской империи рассмотрен как модель современного кризиса европейской цивилизации.

210 *Всего отвратительней была ему верфелевская пена урта.* — Австрийский писатель Франц Верфель (1890—1946) имел тяжелый характер.

211 *...«Улисса», только что появившегося тогда по-немецки...* — Авторизованный немецкий перевод романа Дж. Джойса «Улисс», выполненный Г. Гойертом, был опубликован в 1927 г. в Базеле.

...он общался с основателями гештальтпсихологии... — В годы пребывания в Берлине Р. Музиль довольно тесно соприкасался с последователями берлинской школы гештальтпсихологии (см. коммент. к с. 60), оказавшей значительное влияние на формирование его взглядов. В начале 1909 г. он даже был приглашен для завершения своей диссертации в Грац одним из лидеров этой школы А. Мейнонгом (1853—1920), но отказался от академической карьеры. Особенно высоко ценил Р. Музиля крупнейшего представителя берлинской школы В. Келера (1887—1967), на труды которого неоднократно ссылался.

212 *Трилогия Броча* — см. коммент. к с. 26.

213 *Мальволио* — комический персонаж комедии У. Шекспира «Двенадцатая ночь, или Что угодно?».

ИЗ КНИГИ «НЕДРЕМАННОЕ УХО. 50 ХАРАКТЕРОВ»

В 50 гротесковых миниатюрах сборника «Недреманное ухо» Э. Канетти в резкой аллегорической, подчас сюрреалистической манере рисует пластически яркие, запоминающиеся психологизированные образы различных сторон человеческой личности. «В этой необычной книге, — отмечается в издательской аннотации, — автор продолжает традицию описания характеров-типов, заложенную в античный период Теофрастом, однако же в современном собственном преломлении. Он заново, не поддаваясь влиянию окоченелых психологических категорий, открывает человеческую индивидуальность и индивида в человеческом сообществе».

Перевод выполнен по изданию: Canetti Elias. Der Ohrenzeuge. Fünfzig Charaktere (München Wien, Carl Hanser, 1974).

ИЗ «ЗАМЕТОК»

«Заметки» Э. Канетти создавались параллельно книге «Масса и власть» и первоначально мыслились автором как своеобразные «рабочие заготовки» для его монументального труда. Лишь в 1956 г. решился он опубликовать часть «Заметок» в журнале „Wort in der Zeit“ (1956, Н. 4). В дальнейшем «Заметки» публиковались в журналах „Literatur und Kritik“ и „Jahresring“. Наиболее полно «Заметки» Э. Канетти представлены в следующих изданиях: „Aufzeichnungen 1942—1948“ (München: Hanser, 1965), „Alle vergeudete Verehrung. Aufzeichnungen 1949—1960“ (München: Hanser, 1970), „Die Provinz des Menschen. Aufzeichnungen 1942—1972“ (München: Hanser, 1973), „Das Geheimherz der Uhr. Aufzeichnungen 1973—1985“ (München: Hanser, 1987).

254 *«Дневник для Стеллы»* — серия интимных писем Свифта, описывающих один из наиболее тяжелых периодов в его жизни — 1710—1713 гг. Опубликовано посмертно в отрывках в 1760 г., полное издание увидело свет лишь в 1948 г. Перевод на русский язык подготовлен А. Г. Ингер и В. Б. Микушевич (М., Наука, 1981).

256 *Что такое тигр, я... знаю лишь после стихотворения Блейка.* — Канетти имеет в виду стихотворение английского поэта Уильяма Блейка (1757—1827) «Тигр» из сборника «Песни опыта» (1794).

259 *Эссекс — его Александр.* — Греческий философ Аристотель был воспитателем подростка Александра — будущего Александра Македонского. Английский философ Френсис Бэкон (1561—1626) пользовался покровительством знатного вельможи графа Эссекса, которого впоследствии предал.

261 *...мое собственное имя наполняет меня гордостью. Я пытаюсь говорить себе, когда истории Иосифа или Давида грозят поглотить меня, что они околдовывают меня как поэта...* — Здесь Канетти сближает истории Давида (1 Царств. 16; 2 Царств. 2, II; I Парал. 10—29) и Иосифа (Быт.

37—49) и значение их имен (Давид, *евр.* — любимец и Иосиф, *евр.* — Бог да умножит) по общему для этих фигур смыслу: в равной мере как иудаистскому, так и христианскому представлению о них как проразах, выражающих мессианские чаяния, а также идею богоизбранничества и спасительной миссии. Видимо, по этому же знаменательному смыслу он соотносит с фигурами Давида и Иосифа также и фигуру Илии (3 и 4 Царств.), греческий вариант имени которого — Элиас; в значении этого имени Канетти усматривает собственное предназначение и утешение: Илия (*евр.* — Бог мой, Яхве) — чудотворец, пророк, предсказатель будущего от имени Бога, после смерти поселившийся на небе, где записывает людские деяния, извлекает души грешников из геенны, появляется там, где нужно вмешательство Бога; он исцелитель, советчик, примиритель; и главное, подобно Давиду и Иосифу, он предтеча и провозвестник Спасителя — Иисуса Христа¹.

272 *Гоббс Томас* — (1588—1679) — английский философ.

273 *Он все объясняет эгоизмом...* — Природа человека, пребывающего в естественном состоянии, согласно Т. Гоббсу, определяется двумя мощными импульсами — стремлением к самосохранению и жадой власти.

274 *Макиавелли Никколо* (1469—1527) — итальянский политический мыслитель, писатель и историк, сторонник сильной государственной власти («Государь», 1532).

...для которого Фукидид был... — В юности Т. Гоббс интенсивно читал Фукидида. Его первой публикацией был напечатанный в 1629 г. перевод из Фукидида, который будущий философ рассматривал как «важную инструкцию для английской знати».

Ливий Тит (59 до н.э. — 17 н.э.) — римский историк, автор «Римской истории от основания города».

«*Левифан*» — наиболее значительное сочинение Т. Гоббса, в котором он уподобил государство библейскому чудовищу Левифану. Государство, согласно Т. Гоббсу, является результатом добровольного договора между людьми, положившего конец естественному состоянию «войны всех против всех».

287 *...планы персидских походов Цезаря перед близящейся кончиной...* — Имеется в виду планировавшийся Гаем Юлием Цезарем (102 или 100—44 до н.э.) поход против парфян, незадолго до его убийства в сенате.

Будто они остались бы немые если бы... миллион из них не были убиты Цезарем. — Намек на галльские походы Цезаря 58—51 гг. до н. э.

290 *Монтень Мишель де* (1533—1592) — французский философ, автор «Опытов» (1580—1588).

¹ Комментарий А. Науменко.

291 *Местр Жозеф Мари де* (1753—1821) — французский публицист, политический деятель и религиозный мыслитель.

Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ-идеалист, основоположник метафизического пессимистического волюнтаризма, испытал сильное влияние философии Веданты и буддизма.

Буркхардт Якоб (1818—1897) — швейцарский историк и философ культуры, основоположник т. н. «культурно-исторической» школы, выдвинувшей на первый план историю духовной культуры.

292 *Лао-цзы* (4—3 вв. до н. э.) — древнекитайский философ, автор трактата «Дао дэ цзин», канонического сочинения даосизма (см. коммент. к с. 303).

297 *Вальзер Роберт* (1878—1956) — швейцарский писатель.

301 *Сюнь-цзы* (ок. 313—238 до н.э.) — китайский философ, последователь Конфуция.

Менций — Мэн-цзы (372—289 до н.э.), китайский философ, признанный «вторым святым» в конфуцианском пантеоне, пытался претворить положения учения Конфуция в практической политической жизни страны. В этой своей деятельности он исходил из представления об идеальном правлении, основанном на добре и справедливости.

303 *Чжуан-цзы* (ок. 369—286 до н.э.) — древнекитайский философ, автор многочисленных притч и коротких рассказов, иллюстрирующих основные положения даосизма. Сочинениям Чжуан-цзы присуща яркая образность и исключительная убедительность доказательств.

Даосизм — одно из основных направлений древнекитайской философии, возникшее в IV—III вв. до н.э. Основное понятие — *дао* (путь, принцип, логос), понимаемое как основа бытия, определяющее все превращения, происходящие в мире. Даосизм противопоставлял конфуцианству такой образ жизни, который бы находился в согласии с дао, т. е. — жизнь, близкую природе.

304 *Мо-цзы* (Мо Ди, 479—400 до н.э.) — древнекитайский философ, противник конфуцианства.

309 *Краффт-Эбинг Рихард* (1840—1902) — немецкий врач-психиатр. Кроме специальных психиатрических исследований, занимался проблемами судебной психиатрии. Широким вниманием в Германии пользовалось его учение об извращении полового чувства.

311 *...ничто не стало лучше, а скорее, наоборот, хуже.* — Как известно, Я. Буркхардт (см. коммент. к с. 291) с сомнением относился к идее исторического прогресса. В «Рассуждениях о мировой истории» (опубл. в 1905 г.) — курсе лекций по философии истории, одном из основных сочинений Буркхардта, — он резко отмежевывался от тех

историков, которые «рассматривают прошлое как нечто противоположное и предварительное по отношению к нам — более развитым», и полагал повторяемость отдельных типологических фаз наиболее характерной особенностью исторического процесса.

313 *Унамуно Мигель де* (1864—1936) — испанский писатель и философ, представитель экзистенциализма.

319 *Дандоло Энрико* (ок. 1108—1205) — венецианский дож с 1192 г., сыграл важную роль в 4-м крестовом походе, покорил далматское побережье, Константинополь и ряд греческих провинций, обеспечив тем самым руководящую роль Венеции в торговле с Востоком.

328 *Жубер Жозеф* (1754—1824) — французский писатель, друг и советник Шатобриана, снискал себе славу как непревзойденный стилист.

Аттар Фарид-ал-дин (XII в.) — персо-таджикский поэт-суфий, автор поэмы «Беседа птиц» и антологии «Жизнеописания шейхов».

341 *Прокопий Кесарийский* (ок. 500 — после 565) — византийский историк, автор книги «Тайная история», которая является обвинительным документом против правителя Юстиниана I и его жены Феодоры.

350 *«Цуредзурегуса»* — памятник японской литературы XIV в., сочинение буддийского монаха Кэнко-хоси, в миру Урабэ (Ёсида) Канэёси (1283(?) — после 1352). См.: Записки от скуки. М., «Наука», 1970.

Зонне Абрахам (1883—1950) — немецкий поэт и ученый, друг Г. Бреха.

351 *Карма* — одно из основных понятий индуистской религии и философии, связанное с представлением о перевоплощении душ. В самом общем смысле кармой обозначается общая сумма совершенных поступков и их последствий, определяющая характер нового рождения каждого существа после его смерти.

358 *В конце исламской биографии Платона...* — По-видимому, речь идет об арабской биографии Платона, написанной неким Хунаином и изданной в Мадриде в 1760 г.

«ГОЛОСА МАРРАКЕША»

В 1954 г. 9. Канетти предпринял путешествие в Марракеш — город, расположенный на юго-западе Марокко, в предгорьях Высокого Атласа. Отчет об этом путешествии он опубликовал 13 лет спустя: «Die Stimmen von Marrakesch» (München Wien, Carl Hanser, 1967).

362 *Были Вечные жидаы...* — Согласно средневековой легенде, Вечный жид, т. е. Агасфер, был одним из тех евреев, которые на пути к Голгофе надругались над Иисусом Христом; в наказание он должен был дожидаться второго пришествия. Каждые сто лет он превра-

щался в тридцатилетнего мужчину и скитался по свету в ожидании Страшного суда.

- 363 *Я вспомнил знаменитое египетское бедствие...* — Библейская аллюзия. Ср. Исход, 2.10—14—15.
- 365 *Декалог* — десять ветхозаветных религиозно-нравственных заповедей в Библии.
- 379 *...она напоминала восточных женщин, каких рисовал Делакруа.* — Французский художник Эжен Делакруа (1798—1863) в 1832 г. совершил продолжительное путешествие в Марокко. Кисти Э. Делакруа принадлежат многочисленные полотна, изображающие жизнь средиземноморского Востока: «Алжирские женщины», «Еврейская свадьба в Марокко» и др.

ИЗ КНИГИ «МАССА И ВЛАСТЬ»

«Масса и власть» (1960) — крупнейшее сочинение Э. Канетти, над которым он работал в течение тридцати лет. В определенном смысле оно продолжает труды французского врача и социолога Гюстава Ле Бона (1841—1931) «Психология масс» и испанского философа Хосе Ортега-и-Гассета (1883—1955) «Восстание масс», исследующие социальные, психологические, политические и философские аспекты поведения и роли масс в функционировании общества. Однако в отличие от этих авторов Э. Канетти рассматривал проблему массы в ее диалектической взаимосвязи и обусловленности с проблемой власти. В этом смысле сочинение Канетти имеет гораздо больше точек соприкосновения с исследованием Зигмунда Фрейда (1856—1936) «Психология масс и анализ Я», в котором ученый обращает внимание на роль вождя в формировании массы и поступательный процесс отождествления большой группой людей своего Я с образом лидера. Однако в отличие от З. Фрейда, главным образом исследующего действие психического механизма в отдельной личности, обуславливающее ее «растворение» в массе, Э. Канетти прежде всего интересуется проблема функционирования власти и поведения масс как своеобразных, извечно повторяющихся примитивных форм защиты от смерти, в равной мере постоянно довлеющей как над властью имущими, так и людьми, объединенными в массу.

Перевод отдельных глав из книги выполнен по изданию: Canetti Elias. Masse und Macht (Frankfurt/Main, Classen, 1984).

- 398 *Вспомним стремление христианства во время апостола Павла...* — Ср. Послание апостола Павла к римлянам, 10.10—12; 11.32; Послание к галатам, 3.28.
- Весли Джон* (1703—1791) — английский религиозный деятель, основатель методизма.
- 418 *Мекка была покорена карматами и разграблена, священный камень Кааба был ими похищен.* — Карматами назывались члены тайной организации, к концу IX в. создавшие несколько азиатских государств. 12

января 930 г. они неожиданно напали на Мекку, разграбили ее и угнали в рабство паломников и жителей города. Они же выломали из стены святилища черный камень Каабу — предмет домусульманского поклонения, сохраненный исламом, — и разбили его на две части.

- 424 *Домициан Тит Флавий* (51—96) — первый из римских императоров, приказавший величать его Dominus et Deus (господин и бог). Многочисленными пышными празднествами и пирами довел государственную казну до разорения.

Дио Кассий (?—42 до н.э.) — один из организаторов убийства Цезаря. Вместе с Брутом боролся против второго триумvirата.

- 428 *Рубрук Виллем* (между 1215/1220—1293) — фламандский путешественник, монах. В 1253—1255 гг. совершил путешествие в Монголию.

«Власть повелителя...» — См.: Franz Kuhn, *Altchinesische Staatsweisheit*. Zürich, 1954.

- 434 *«Однажды, — рассказывается в одной вендской легенде...»* — См.: Wendsche Sagen. Hrsg. von Fr. Sieber. Jena: Diderichs, 1925, S. 17.

- 437 *Висконти Филиппо Мариа* (годы правл. 1412—1447) — последний тиран Милана, в длительных войнах с Венецией и Флоренцией частично восстановил территорию Миланского герцогства. Сведения об этом знатном ломбардском феодале 9. Канетти почерпнуты из издания: Pier Candido Decembrio, *Leben des Filippo Maria Visconti*. Ub. von Funk. Jena: Diderichs, 1913 (Kap.43).

- 438 *Сасаниды* — династия иранских шахов в 224—651 гг.

Хосров II Победоносный — т. е. Хосров II Парвиз (ум. 628), царь Ирана с 591 г. Присоединил к Ирану восточные и южные провинции Византии.

«Кто не годится, чтобы служить царю...» — См.: *Le Livre de la Couronne*, attribué à Gahiz, traduit par Ch. Pellat. Paris, 1954, p.120.

- 439 *Молчание противостоит превращению* — см. коммент. к с. 57.

Р. Каратаивити

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Александр Македонский 72, 287
 Ариосто Лудовико 134, 313
 Аристотель 257, 259, 293, 313, 348
 Аристофан 42, 57
 Аркус Аня 191
 Аттар Фарид-ал-дин 328
- Бабель И. Э. 18, 124, 173, 188—194, 208, 209, 336
 Бальзак Оноре де 55, 345
 Барбюс Анри 161—163
 Баттута Ибн 53
 Бенн Готфрид 206
 Берг Альбан 125, 129
 Бергсон Анри 60
 Бернар Клод 60
 Блейк Уильям 256, 282
 Борман Мартин 82
 Борхардт Ганс Герман 186
 Браун Ева 80
 Брейгель (Старший или Мужик-кий) Питер 17, 42, 154, 155
 Брехт Бертольт 16, 124, 174, 177—182, 185—187, 194, 198, 202, 206
 Брох Герман 10, 18, 23, 25—33, 125, 129, 211—213, 215, 351
 Бруно Джордано 299
 Будда 302
 Бузони Ферручо Бенвенуто 165, 168
- Буркхардт Якоб 291, 311, 312
 Бэкон Фрэнсис 259
 Бюффон Жорж Леклерк де 60
 Бюхнер Вильгельм 113
 Бюхнер Георг 18, 20, 109—119, 342
- Вальзер Роберт 297, 318, 319
 Веберн Антон 125
 Ведекинд Франк 42, 170—172, 198
 Вергилий 351
 Верфель Франц 210, 212
 Весли Джон 398
 Вильсон Томас Вудро 171, 172
 Висконти Филиппо Мариа 437
 Вотруба Фриц 129
 Врешнер Вальтер 170—172
- Гауптман Герхарт 42
 Геббель Фридрих 54
 Геббельс Йозеф 75, 76, 363
 Гегель Георг Вильгельм Фридрих 313
 Гейне Генрих 197, 198
 Гелиодор 55
 Гераклит 292, 293, 320
 Гердер Иоганн Готфрид 111
 Геринг Герман 75, 82, 85
 Гёте Иоганн Вольфганг 18, 20, 38, 42, 111, 112, 115, 166, 172, 258, 259, 298, 323

- Гиммлер Генрих 83
 Гитлер Адольф 9, 20, 66, 67, 69, 71—88, 90, 214, 287
 Гоббс Томас 272, 273, 291
 Гоголь Н. В. 42, 173, 193, 266, 333
 Гордон Ибболла 174, 175, 178, 180, 181, 183, 184, 186—188, 199—207
 Горький Максим 173, 188
 Гофман Эрнст Теодор Амадей 197
 Гракхи, братья, Тиберий и Гай 163
 Грос Георг 124, 173—177, 182, 184—187, 198, 201, 203
 Грюневальд Маттиас (Маттиас Нитхардт) 42, 128
 Грютцнер Эдуард фон 83,
 Гуцков Карл 113, 114, 116
 Гюго Виктор 172

 Дандоло Энрико 319
 Дарвин Чарлз Роберт 123
 Делакура Эжен 379
 Демокрит 299, 301
 Дёблин Альфред 13, 206
 Джеймс Уильям 60
 Джойс Джеймс 60, 211, 212, 268
 Диккенс Чарлз 159—161, 171, 172
 Дио Кассий 425
 Домициан Тит Флавий 425, 426
 Дос Пассос Джон 13, 174
 Достоевский Ф. М. 42, 98, 337, 340, 347
 Дуриго Илона 165
 Дюрренматт Фридрих 21
Жан Поль (Иоганн Пауль Фридрих Рихтер) 197
 Жубер Жозеф 328

 Замятин Е. И. 5
 Золя Эмиль 60
 Зонне Абрахам 350, 351, 356
 Зошенко М. М. 12
 Зуркамп Петер 129
 Зуттер Иоганн Август 161

Канетти Веа 179, 250, 360
 Канетти Гера 310
 Карл Великий 83
 Кафка Франц 18, 49, 56, 127, 269, 270, 300, 316, 318, 351
 Кеведо-и-Вильегас Франсиско 37, 313
 Келлер Готфрид 170—173
 Кестнер Эрих 13
 Клаудиус Маттиас 38, 42, 198
 Конфуций 18, 20, 91—96, 257, 264
 Корсаков С. С. 102
 Краус Карл 7, 18, 19, 35, 37, 38, 40—42, 123—125, 174, 180—184, 195, 198, 315
 Крафт-Эбинг Рихард 309
 Кромвель Оливер 274
 Кьеркегор (Киркегор) Сёрен 54

 Лао-цзы 292
 Ласкер-Шюлер Эльза 42, 175
 Лацко Андреас 161, 162
 Ленин В. И. 157, 158
 Леви-Строс Клод 11
 Ленц Якоб Михаэль Рейнхольд 111, 112, 114
 Леонардо да Винчи 267, 268
 Ливий Тит 274
 Лихтенберг Георг Христофор 109, 299, 300, 350, 354
 Лот Андре 188
 Людвиг II Баварский 78
 Людовик IX Святой 428
 Люнинг Август 116
 Лютер Мартин 80

Макиавелли Никколо 274
 Манн Генрих 15, 129
 Манн Томас 128, 129, 319
 Менкель Георг 129
 Местр Жозеф Мари де 291, 327
 Микеланджело Буонарроти 120
 Миннигероде Карл Фридрих 113, 116
 Мирабо Оноре Габриэль Рикети 197
 Монтень Мишель де 290, 328
 Мопассан Ги де 188, 193
 Мо-цзы 304
 Музиль Роберт 18, 60, 125, 129, 209—215, 305, 346, 351
 Мэн-цзы 301, 304
 Мюллер Ойген 163

- Наполеон Бонапарт 72, 74, 77, 78, 84, 161, 287, 313, 363, 424
 Нерон 161
 Нестрой Иоганн Непомук 38, 40, 198
 Ницше Фридрих 9, 286, 291, 311, 313, 342, 349, 351
Овидий (Публий Овидий Назон) 134
 Ортега-и-Гассет Хосе 12
 Оруэлл Джордж 5
 Оффенбах Жак 38

Паскаль Блез 54, 297, 302
 Платон 257, 359, 434
 Плутарх 423
 По Эдгар 42
 Пруст Марсель 54, 57, 60
 Пушкин А. С. 283

Рагаз Леонгард 161
 Раморино Джироламо 11
 Ратенау Вальтер 8, 289
 Рашид-ад-Дин, Фаслах Хамадани 428
 Рембрандт Харменс ван Рейн 362
 Риббентроп Иоахим 71
 Розенберг Альфред 82
 Розенталь Франц 359
 Россини Джоаккино 313
 Рохас Фернандо де 313
 Рубрук Виллем 428
 Рузвельт Теодор 90
 Руссо Жан Жак 9, 96, 273

Свифт Джонатан 37, 254
 Сервантес Сааведра Мигель де 55, 313, 340
 Сеян Луций Элий 161
 Сэй Сёнагон 54
 Сикибу Мурасаки 54
 Синклер Эптон 8, 126, 173, 174, 183, 186
 Скотт Вальтер 55, 160, 161
 Сократ 434
 Солон 163, 314
 Софокл 48
 Сталин И. В. 89
 Стендаль (Анри Мари Бейль) 42, 56, 127, 148, 193, 306, 313, 328, 342, 355
 Стриндберг Август Юхан 42, 142, 158, 159, 161, 164, 167, 170, 172, 277
 Сюнь-цзы 301

Тодт Фриц 72
 Толстой И. Л. 99
 Толстой Л. Н. 18, 20, 96—102, 172, 173, 195, 196, 324
 Толстая М. Л. 99, 100
 Толстая С. А. 98—102
 Тракль Георг 36, 42

Унамуно Мигель де 313

Федорченко С. 336
 Фемистокл 163
 Фердинанд I Кобургский 142
 Флобер Гюстав 193
 Фолкнер Уильям 174, 329
 Франк Леонгард 161, 190
 Фрейд Зигмунд 11, 125, 307
 Фридрих II 90
 Фукидид 123, 274, 311

Хаксли Олдос Леонард 5
 Хань Фэй-цзы 92
 Хардт Людвиг 194—198
 Хартфилд Джон (Гельмут Херцфельде) 176, 177, 191
 Хасия Мисихико 103—105, 107—109
 Хемингуэй Эрнст 174
 Херцфельде Виланд 124, 173—177, 182—186, 189, 190, 195, 199
 Хосров II Парвиз 439

Цвейг Стефан 163, 212
 Цзан Сюань 52
 Цезарь Гай Юлий 287, 423

Чаплин Чарлз Спенсер 178
 Чертков В. Г. 98—100
 Черчилль Уинстон Леонард Спенсер 79
 Чехов А. П. 193
 Чжоу Гун 93
 Чжуан-цзы 303, 304, 313
 Чингисхан 285, 286, 421, 428

Шекспир Уильям 38, 42, 57, 134, 142, 172, 296

Шобер Иоганн 123	Штёбер Август 116
Шопенгауэр Артур 291, 310, 311, 346, 355	Шульц Каролина 118
Шпеер Альберт 20, 66, 67, 69, 71— 80, 82—90	Шэше Александр 165
Шребер Даниэль Пауль 73, 83, 275	Эмпедокл 301
Штайнер Рудольф 166, 167	Эссекс Роберт Деверс 259
	Янь Сюй 94

Содержание

Масса, власть и писатель Канетти. <i>Н. Павлова</i>	5
---	---

Совесьть литературы

Герман Брох. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	22
Карл Краус, школа сопротивления. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	34
Диалог с жестоким партнером. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	44
Реализм и новая действительность. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	58
Пароксизмы слов. <i>Перевод С. Шлапоберской</i> . . .	62
Гитлер по Шпееру. <i>Перевод С. Шлапоберской</i> . . .	66
Конфуций в своих «Беседах». <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	91
Толстой, последний родоначальник. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	96
Дневник доктора Хасия из Хиросимы. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	102
Георг Бюхнер. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	109
Первая книга — «Ослепление». <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	119
Призвание поэта. <i>Перевод С. Власова</i>	130

Воспоминания

Из книги: Спасенный язык. <i>Перевод Г. Туралиной</i>	141
Из книги: Факел в ухе. <i>Перевод В. Седельника</i> . . .	173
Из книги: Перемигивание. <i>Перевод М. Харитонова</i>	209

Из книги: Недреманное ухо. 50 характеров. <i>Перевод С. Власова</i>	225
Из книги: Заметки. 1942—1972. <i>Перевод</i> <i>С. Власова</i>	250
Из книги: Тайное сердце часов. Заметки 1973—1985. <i>Перевод С. Власова</i>	310
Голоса Марракеша. <i>Перевод М. Харитонова</i>	360
Из книги: Масса и власть. <i>Перевод М. Хари-</i> <i>тонова</i>	392
Комментарии. <i>Р. Каралашвили</i>	445
Указатель имен	470

Канетти Э.

К19 Человек нашего столетия: Пер. с нем. / Сост. и авт. предисл. Н. С. Павлова; Коммент. Р. Г. Каралашвили. — М.: Прогресс, 1990. — 474 с, 0, 5 л. ил. — (Зарубеж. худож. публицистика и докум. проза)

В сборник одного из крупнейших австрийских писателей XX века, лауреата Нобелевской премии (1981) Элиаса Канетти вошли отрывки из мемуаров и дневниковых записей, путевые заметки, статьи о культуре, фрагменты из книги политической публицистики «Масса и власть».

Как и в недавно опубликованном на русском языке романе Э. Канетти «Ослепление», главная тема этой разнообразной по жанру прозы — жестокая и трагическая связь человека и современного мира.

Рекомендуется широкому кругу читателей.

К 4703010400—255 90—90
006(01)—90

ББК 84.4 А

Э. Канетти

ЧЕЛОВЕК НАШЕГО СТОЛЕТИЯ

Редактор Л. Н. Григорьева

Художник В. С. Гордон

Художественный редактор В. А. Пузанков

Технические редакторы В. Ю. Никитина, А. М. Токер

Корректор Н. И. Шархнова

ИБ № 17489

Сдано в набор 4.05.89. Подписано в печать 6.03.90. Формат 84 x 108^{1/32}. Бумага офсетная. Гарнитура Баскервиль. Печать офсетная. Условн. печ. л. 24,2. Усл.кр.-отг. 24,62. Уч.-изд. л. 29,46.

Тираж 50000 экз. Заказ № 734. Цена 2 р. 40 к. Изд. № 45522.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР по печати.

119847, ГСП, Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 17.

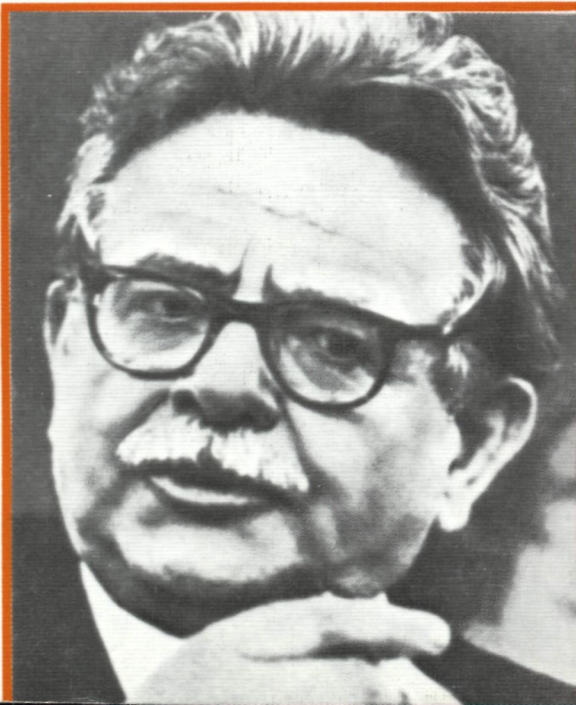
Можайский полиграф комбинат В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по печати.

143200, Можайск, ул. Мира, 93.

Элиас КАНЕТТИ

Человек нашего столетия

Воспоминания.
Масса и власть.
Совесть литературы.



“Я знаю только *один* вид спасения: когда находившийся в опасности остается жив. И в этот миг спасения я не спрашиваю себя — надолго ль, накоротко ль”.

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОГРЕСС"